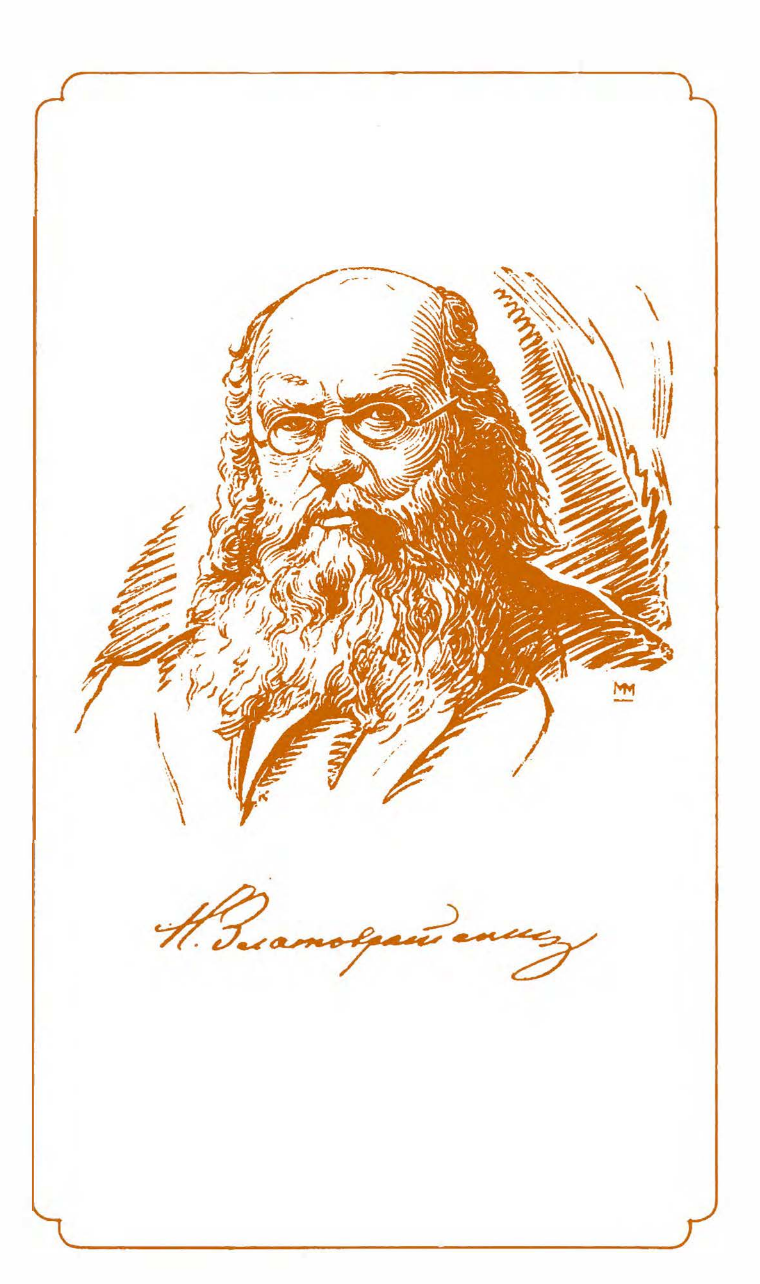


Н.Н.
ЗЛАТОВРАТСКИЙ



Необъятно богата сокровищница
русской литературы.
Помимо гениев, обозначивших вехи
в духовном развитии человечества,
свой вклад в нее вносили
и многие менее известные писатели,
заслуживающие нашего внимания
и доброй памяти.
Заботу об издании таких писателей
заповедал нам Владимир Ильич Ленин:
«...мы должны вытаскивать из забвения,
собирать их произведения
и обязательно публиковать отдельными томиками.
Ведь это документы той эпохи».
*(Ленин В. И. О литературе и искусстве.
6-е изд. М., 1979. С. 699)*

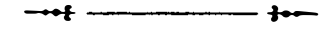

ММ
Н. Златовратский

ИЗ НАСЛЕДИЯ

Н. Н.
ЗЛАТОВРАТСКИЙ

Деревенский король Лир

Повести, рассказы, очерки



МОСКВА
«Современник» 1988

ББК84Р1
З-67

Составление и примечания *Т. А. Полторацкой*
Вступительная статья *С. П. Залыгина*

З $\frac{4702010100-244}{М106(03)-88}$ 16—88

ISBN 5-270-00125-х

Николай Златовратский и «крестьянский мир»

Имя Златовратского вошло не только в русскую литературу, но и в русскую действительность конца прошлого, начала нынешнего века в самой тесной связи с темой народничества.

Решетников, Глеб Успенский и Златовратский — вот, пожалуй, те три имени, которые наиболее активно формировали проблему в умах общества того времени. Ну и, может быть, еще Ремизов.

Однако это не значит ни то, что проблема была ими решена, ни то, что она ставилась и решалась ими художественно глубже, чем кем-либо другим. Если уж на то пошло, так Толстой тоже имел к ней непосредственное отношение, и не только он сам по себе, но и толстовство в целом.

Однако же для нас представляют несомненный интерес собственно «народники» типа Успенского и Златовратского, поскольку они воплощали эту проблему в том виде, который наиболее точно соответствовал пониманию ее тогдашним обществом.

Собственно, народ сам по себе никогда ведь не создавал идеи народничества — с этой идеей родилась и затем долгие-долгие годы не отступала от нее русская интеллигенция. Не отступала, конечно же, по-разному — вкладывая в народничество и в само понятие «народ» далеко не одинаковый смысл и даже противоположные политические убеждения, однако же вряд ли можно было назвать русского человека интеллигентом, если ему были чужды интересы народа и его будущее.

«Кому на Руси жить хорошо?» — именно в этом аспекте интеллигенция познавала себя, определяла и свое назначение и свои отличия как от народа, так и от власть имущих «верхов».

Нравственные каноны, мыслительная деятельность, знания, которые так или иначе приобретал русский интеллигент тех времен, в конечном счете или низводились, или возвышались им до уровня именно этой проблемы — служения народу, определения народного

лица и роли как в настоящем, так и в недалеком и даже в самом отдаленном будущем.

И это национальное и общественно-психологическое явление не только не могло не отразиться в литературе, но и во многом сформировало все то, что вошло затем в мировую культуру под именем русской классики XIX века.

Конечно, старая истина оставалась в силе и тогда: искусство не может быть втиснуто в лоно хотя бы и самой великой, но одной-единственной проблемы, это — не в его природе и не в его назначении, а попытки такого рода, откуда бы они ни исходили — сверху или снизу, справа или слева,— никогда не приносили лавров ни тем, кто их осуществлял, ни самому искусству, но другой факт налицо: два течения в русской литературе — классическое и народническое — оказались погодками; одни у них были родители, одни родственники, одни воспитатели, одна природа. Правда, их качества, судьбы и значение в этой жизни оказались разными.

Отчасти отсюда же, из этой родственности, возникает и поддерживается до наших дней интерес к творчеству таких писателей, как Златовратский. Привлекают же нас люди из ближайшего окружения Толстого, Тургенева, Достоевского, Гоголя, Чехова — нечто подобное происходит и здесь.

Николаю Николаевичу Златовратскому (1845—1911), сыну мелкого владимирского чиновника, недоучившемуся и крайне нуждавшемуся студенту, по всем статьям его биографии надлежало бы пойти в революцию, в «Народную волю», в «Черный передел», и, вероятно, только литературные увлечения решили его судьбу иначе, преобразовали его духовный облик на мирный беллетристический, но достаточно непримиримый ко всем инакомыслящим литературным школам и направлениям лад.

Не будучи писателем самого высокого полета, Златовратский становится бытописателем — более или менее обычная для того времени ситуация, в которой пишущий человек становился профессиональным литератором, литератор — народником, народник — писателем, писатель — бытописателем и рыцарем своей идеи, рыцарем без страха и упрека. Этот порядок вещей начинался с безвестных корреспондентов безвестных губернских ведомостей и уездных — с тиражом 300 экземпляров — газеток, а кончался, должно быть, Глебом Успенским.

Это был признанный лидер.

Отчасти я сам тому свидетель — я еще помню интеллигентов, которые полагали, что Глеб Успенский и Салтыков-Щедрин, а позже — Короленко — это литература, и литература для мужчин,

а Тургенев и Толстой — это «беллетристика» исключительно для дам и девиц. Ну, правда, «тихого» Чехова эти люди хоть и с некоторой растерянностью, но признавали, несмотря на то что Чехова никогда не задерживала цензура, и он ни разу не был в ссылке, а на Сахалин ездил по собственному почину.

Да ведь и в самом деле — разве легко поставить кого-нибудь рядом с Глебом Успенским, рядом с его публицистическим даром, с его умением создавать как публицистическую беллетристику, так и беллетристическую публицистику? Позже этому искусству учились многие поколения, но столь же разительных результатов так и не достигли.

Златовратский не обладал этим качеством в той же мере и, кажется, понимая это, не особенно доверял сам себе, так что произведения его в общем-то не оставляют впечатления чего-то единого, слитного, страницы легко различаются между собой — вот беллетристика, вот публицистика, а вот и газетная корреспонденция в лицах. Он опасался задерживаться долго на чем-нибудь одном, на одной, скажем, психологической сцене, чтобы, не дай бог, это «долго» не стало бы «слишком долго».

Однако же есть у Златовратского, в его непосредственности и безыскусности бытописателя нечто такое, что как раз и приближает его к литературе не столько проблемной, сколько к общечеловеческой, если на то пошло — к толстовской. И дело тут обстоит так: ведь чуть ли не вся мировая литература и чуть ли не всегда, создавая своего героя, видела его во взаимодействии — он и все остальные, он и семья, он и общество, он и народ, он и человечество. И это естественно.

Это не выдумка и даже не открытие литературы, а сама жизнь человека, а в какой-то мере — жизнь вообще, любого существа. Человек, ощущая себя частицей чего-либо целого, скажем природы, человечества, народа или общества, всегда ищет собственное понимание этого целого и себя в целом.

Для человека это жизнь в ее самой большой сложности, и недаром мы можем продолжать и продолжать подобного рода определения: он и коллектив, коллектив и общество, общество и государство, государство и человечество... Вместо «он» может быть поставлено «я», вместо «я» — они, и, значит, дело еще и еще усложняется.

История определила для России и еще одно составляющее в этой системе элементов — а именно «общину», а в нашей исконной привычке оказалось искать общинности и общности повсюду — и там, где они могут быть, и там, где не могут, искать

панацею от всех бед и противоречий — исторических, социальных, психологических и просто-напросто повседневно-житейских — вот уж подружимся все неразлучной дружбой; вот уж все поймут одного — один поймет всех; вот уж все за одного — один за всех, а тогда и заживем «как люди». Раньше — нет.

На Западе были Фурье и Оуэн, «города солнца», у нас Аксаковы и «крестьянский мир».

Очень труден этот поиск и далеко не всегда доказуема его необходимость и целесообразность, но ведь, погрузившись в него, в мечтаниях о жар-птице так легко многое потерять!— это тоже необходимо иметь в виду.

Потерять, скажем, чувство элементарного взаимоуважения друг к другу, чувство взаимопомощи и даже ощущение реальности в повседневных отношениях людей между собой,— будь это в семье, на работе, на отдыхе — всюду.

И если мы хотим более или менее тщательно и добросовестно проследить за эволюцией проблемы общинности и общины и общинного взгляда на мир, тогда нам нужно и сегодня внимательно вчитаться в Златовратского — поучительный опыт, и нравственный, и житейский, и литературный. Мне кажется, что именно в этом отношении он дает нам даже больше, чем Глеб Успенский, чем другие народники Решетников, Левитов, Слепцов, Ремизов. Можно даже сказать и так — творчество Златовратского посвящено именно этой проблеме.

Роман Златовратского «Устои» (читай — общинные устои), конечно же, устарел, но уже «Деревенские будни» — вещь не только более социальная, но и более широкая, и что-то от ее материала мы найдем и в жизни современной нашей деревни, современных проблем, таких, как «колхоз — колхозник». Здесь уже присутствует и та поучительность, которую никаким учебником показать и доказать нельзя — можно только через посредство литературы художественной.

Да, времена меняются неузнаваемо, и мы сами — не столько дети своих родителей, внуки дедов и правнуки прадедов, сколько нашего времени, но ведь есть же что-то в нас от времен ушедших, причем не столько, может быть, в нас самих, сколько опять-таки в отношениях между нами — членами одной семьи, одного общества, одного колхоза, работниками одного предприятия, учреждения или института. Да институт занимается проблемами, которые сто лет тому назад и в голову никому не могли прийти, но ведь порядок присутствия в нем людей все тот же — так же установлено время прихода и ухода с работы, так же

строго расписано, кто кому и в чем подчиняется, так же люди получают жалованье в выплатные дни, так же делятся между собой событиями своей семейной жизни, то есть они так же соотносятся друг с другом... И что-то во всем этом у нас не налаживается и не налаживается, и опять-таки, если мы и сможем понять — что именно и почему? — так только при участии опыта, который несет литература. Опыта фактологического, опыта эмоционального и нравственного.

Одной из самых значительных вещей в творчестве Златовратского мне представляется повесть «Крестьяне-присяжные».

В повести этой автор, кажется, далеко превзошел самого себя в том самом умении, которого ему, как было уже сказано, далеко не всегда хватало — в умении непринужденно соединить факт и богатейшую народоведческую информацию с беллетристикой, с письмом художественным, с системой художественных образов (в этой повести удивительно интересных).

В уездный город идут крестьяне-присяжные (теперь бы сказали — судебные заседатели), идут по крепкому морозцу, каждый — с запасом харчей в мешке за спиною. Идут они не один день, просятся на ночлег во встречных деревнях и рассуждают о том, насколько быстрее было бы ехать лошадьми. Но лошадей своих гонять по казенной надобности им резона нет, нанимать за счет казны — невыгодно, куда как выгоднее сэкономить «прогонные».

Приходят они в город. Там отводят им на всех одну комнату, и что удивительнее всего — бесплатно!

И вот уже заседают наши присяжные в суде и через несколько дней начинают кое-что понимать. И хотя, конечно же, сосет у каждого из них под ложечкой — дома остались дела хозяйственные и неотступные семейные заботы, но как же все-таки истово, как придирчиво начинают они исполнять свои обязанности; с каким вниманием слушают адвокатов, прокуроров и судей!

Человек впервые узнает — что такое суд — и уже судит — как это можно? Оказывается, можно! Если положиться на свою совесть и на свой здравый смысл. Судил же народ на сходах и на вече, и не столь уж несправедливо судил.

Кто-кто, а мы-то, цивилизованные, знаем, какие случались на наших глазах суды при участии весьма просвещенных заседателей!

Так узнает современный читатель и о суде присяжных в России, просуществовавшем недолго, но славно. Во многих и многих странах изучался затем опыт этого суда.

Может быть, читатель помнит «Подлиповцев» Федора Михай-

ловича Решетникова? Там речь идет об артели бурлаков — артели нищих, закабаленных, безропотных и темных...

Это тоже артель, артель разорившихся крестьян, и вот когда эти две повести вспоминаются одновременно — какое же народно-историческое полотно возникает перед глазами, какое «от» и «до» социальное, психологическое, фактологическое и, наконец, полотно с изображением души народной.

Все это — наша история.

И не только история.

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

Крестьяне-присяжные

Повесть

Глава первая

ПО ПУТИ В ОКРУГУ

I

Напутствие

К началу ноября пришла очередь выставить присяжных в «округу» — так у нас называют окружной суд и вместе губернский город, — за подгородными волостями уездного городка П., лежащего в палестине, омываемой водами Оки и ее притоков. В их числе была и Пеньковская, от которой на этот раз «в череду» значились: Лука Трофимов — мужик обстоятельный, уже раз бывший присяжным, значит, в таком деле советчик первый, Петр Спиридонов да Савва Прокопов, Еремей Петров да Еремей Горшков — народ все хозяйственный и в летах умеренных; из стариков только один и попал Фомушка, да и то занесли его в очередные списки в последний раз, по нужде, за сына: избу сыну нужно править, лес возить, погорели они несчастным делом. Потом значились: Дорофей Бычков, мужик базарный, ловкий и Петр Недоуздок, крестьянин «правильный», богобоязненный и даже состоявший в недавнее время сотским.

Приказали на михайлов день собираться. Порешил мир на сходе: считать по три пятака на брата в день. На подводы не полагается, потому до своего города можно пешком дойти, а там по шоссе — как ни то со христом, а где и с обозами, при случае. А лошади дома нужны лес возить, да и содержание их в городе дорого стоит.

В михайлов день очередные собрались в волостное правление, совсем снарядившись в путь: мешки за спины подвязали, в них бабы по обменке положили, по рубахе да по портам, и потискали ржаных кокурок на сметане; к мешкам пристегнули лапти и сапоги, по паре.

— Ну, братцы, пора уж... Неравно поторапливайтесь. Беда, слышь, запоздать. Штрафы берут, такие штрафы, что и казны всей нашей не хватит. Вот что! — говорил старшина.— Вы не смотрите на шабринских: они на подводах едут. Вишь, их Гарькины везут всех гуртом на фабричных конях!

— За что ж бы это они их ублажают, Парфен Силыч? — любопытствовал Недоуздок.

— Ну, уж это кто их знает. Не наше это, почтенные, дело... Да и вам мой приказ: коли что ежели и прознаете, так молчок. Наше, мол, дело сторона.

— Знамо, сторона... Мы по себе.

— Наше дело молчок. Так-то-сь! А то там, в округе, народ до всего дошлый... Обчество, братцы, берегите, чтоб за вас ответу не было.

— Как можно обчество!.. Ежели что — нас же накажете.

— Это так, к слову... Да еще присмотр за собой ежечасно имейте, оглядку вокруг себя... Ты, Лука, знаешь... Потому будете там у всех начеку, а народ там тонкий, во всем будет от вас ответа ждать. И чтоб нам, почтенные, ни против людей, ниже против господа дураками себя не оказать.

— Зачем дураками оказываться!

— Да еще, господи сохрани, не прохарчитесь как ни то на винище на подлое... Сдерживайтесь как можно. Деньги у нас, братцы, не очень вольные.

— Зачем баловаться!

— А то как бы нам с вами, судьями, после не поссориться. Да и еще приказ: коли ежели где в трактире али в харчевне будете, всего наипаче старайтесь молчать и ни с кем, а более с приказными да ходоками, зубы не точить.

— Слушаем, Парфен Силыч.

— Ну, и господи благослови! — сказал старшина и, встав, перекрестился.

— Благослови царь небесный,— ответили пеньковцы и тоже покрестились.

— Ну, вы, судьи, получай свои-то паспорты!— крикнул писарь и роздал повестки.

— А чем не судьи, Хрисанф Потапыч?

– Лапотники первый сорт! Лыком шиты!

— Годи мало: сапоги сошьем, не ты один в сапогах ходить будешь.

— Того и жди. С нас снимете да себе наденете. Кто у вас артельный?

— Лука артельный у нас. Он ходил в череду, знает порядки.

— На́ вот, получай; ты принимаешь — на тебе и спрос будет.

Лука Трофимыч принял харчевые деньги, собрал повестки и вместе на груди в кошель завязал.

— С богом! А ты, Лука, посматривай за Недоуздком-то!— крикнул им вслед старшина.— Попужайте его там, братцы, судьбищем-то... А коли что, так мы его после и лозой — судью-то!

Что же это за «юридические лица» были все эти Луки, Петры, Еремеи, которых еще можно лозой вспрыскивать? Все они были, прежде всего, трудолюбивые землепашцы, принадлежали к тому великорусскому типу, который отличается крупными чертами лица, ростом более среднего, шагистою и несколько развалистою походкой, серыми или бледно-голубыми глазами и белесовато-рыжими (двушерстными) бородами. Все они большие любители говорить и слушать разные сентенции, вроде того, например, что «мужику баловаться нельзя; мужика за баловство знаешь, как надо... Мужик — что бык...». Все они более легковерные художники, чем строгие мыслители, и хотя, прежде чем на что-нибудь решиться или решить какое-нибудь дело, долго носятся с ним, думают, исследуют со всех сторон, но вдруг, утомившись, бросают все свои длинные подготовительные изыскания и произносят решение, иногда совершенно противоположное всем добытым предварительными изысканиями результатам, но зато согласное с их душевным настроением. Они впечатлительны; в них заметна склонность решать дела «по душе», а не по хитросплетенным измышле-

ниям. Все это кладет на их характер печать добродушия. Эти общие свойства прилагались к нашим пеньковцам в разнообразных степенях: в одном преобладает долгая, упорная вдумчивость — «семь раз примерь»; другим, напротив, овладевает всецело вдохновение, и он живет «наитием минуты». Первый, по понятиям пеньковцев, будет считаться «мужиком основательным, правильным», второй — «неосновательным». Лука Трофимыч известен всем за самого основательного или, иначе, «обстоятельного» мужика. На печь он никогда не завалится, не увлечется ни делом, ни бездельем; все у него идет ровно: есть дело — он делает его не торопясь, основательно, толково, нет дела — он ходит с топором вокруг избы, в огороде — там стукнет, тут потешет, в другом месте скрепит. И везде у него крепко, плотно. Посторонним влияниям поддается он туго, осторожен, даже недоверчив; ходит в высокой шляпе грешневиком. Но при всем том с этим же Лукой Трофимычем случилось раз такое дело: облюбовал он сруб избяной; долго всматривался в него, долго уговаривался с владельцем; казалось, взвесил все, обдумал — и дело приходило к концу. Но тут кто-то, по дороге в город, заехал к нему в гости и, между прочим, заметил, что он бы, пожалуй, продал «хорошему человеку» и лошадь, и упряжь, и телегу. «А что? Пожалуй бы, я и купил,— сказал Лука Трофимыч.— Хоша мне и не очень нужно, да конь приглянулся, и человек-то ты хороший». Через десять минут Лука Трофимыч выложил половину денег, назначенных на сруб, а о нем и не вспомнил. Потом сам же добродушно подсмеивался и над собой, и над владельцем сруба: «Да вот поди ж ты, братец... кто знал? Вот мы полгода, почитай, с тобой сговаривались, а дело-то как вышло»... Но это нисколько не мешало Луке Трофимычу считаться мужиком основательным. Недоуздок — другое дело. Мужик он из наших пеньковских очередных самый младший: ему лет тридцать с небольшим. Мужики говорили, что и самое «обличие» показывало в нем «необстоятельного» мужика: у него русая, кудрявая, окладистая бородка, широкий, открытый и вечно улыбающийся рот, постоянно показывающий белые здоровые зубы; маленькие смеющиеся серые глаза; на русых, кудрявившихся,

под скобку, волосах носит он картуз, который лежит на них, как на форме. Идет «обстоятельный» мужик, задумчивый, сердитый, повеся длинную бороду, посмотрит на Недоуздка и не утерпит, чтоб не сорвать: «Ну, чего оскаляешься? Чего любо?» И Недоуздок тут и разольется над ним самым добродушным хохотом, хотя он прежде и не думал смеяться. Репутацию «необстоятельного» получил Недоуздок за свою впечатлительную и порывистую натуру и действительную «необстоятельность» своего характера. Как-то уж совсем он жил «под наитием». Парнем он был самый веселый, самый разбитной малый: ни один вечер, хоровод, посидки, свадьба не обходились без него; его всегда приглашали в дружки, так как никто не умел заразить всех таким добродушным весельем. «И рожа-то у него, что у скомороха»,— говорили обстоятельные мужики. А скоморох, когда ему минул девятнадцатый год, встретился с одним купцом. Купец этот был полуидиот, полуаскет, постоянно ходил в церковь, ставил свечи, крепко стукал лбом в кирпичный пол; на суставах пальцев на руках и на коленях образовались у него большие мозолистые наросты от поклонов. Это поразило Недоуздка, он сошелся с ним — и скоро нельзя было узнать парня; бросил пирушки, девок, хороводы, даже свою возлюбленную, которая с отчаяния скоро сошлась с другим, и стал «церковником»: читал псалтирь, звонил в колокола, целовал у попа руку и раздувал кадило; стал поститься, много молиться. Купец собирался идти в монастырь, и Недоуздок собирался «посвятить себя богу». Купец действительно ушел в монастырь, а Недоуздок сейчас же после этого вернулся к пирушкам, к хороводам и как ни в чем не бывало потребовал своих прав: и от свадеб, и от сверстников, и даже от своей возлюбленной, которую принудил выйти за себя замуж, отчего и устроил не очень красивую семейную жизнь. Он не мог себе представить, почему она его могла разлюбить. У них поначалу шли с женой такие разговоры: «Ориша,— скажет Петр,— подь сюды... Сядь... Ну, ведь ты врешь, что ты меня разлюбила? А? Врешь ведь?»—«Мне что-ка!— запевает Ориша.— Все одно: ты мне муж».— «У, дура! Поди прочь!» Он стал мечтать, как бы ему жениться

на другой, а эту жену отдать своему сопернику, допрашивался, нет ли таких подходящих законов, но их не оказалось. «Умрет, тогда женись,— говорили ему,— вот тебе и все законы,— располагайся». Но Петр не хотел смерти жены. Впрочем, мало ли что могло случиться «под наитием» и что могла наделать поселившаяся в голове мысль. Он мечтал уйти куда-нибудь, взять у старосты свидетельство, что жена умерла, и жениться на другой и пр. Но тут дела повернулись неожиданно: кто-то сказал ему, что житье на фабриках веселое и привольное. Он, не долго думая, бросил хозяйство, жену и ушел. Мотался по фабрикам года два; шлялся по кабакам, играл на балалайке, пил, плясал трепака. Он забыл о жене, та — о нем. Она оказалась ловкою бабой: забрала хозяйство в руки, взяла батрака и вместе с ним «подымала» землю. Но вдруг пришел Петр и потребовал признания всех своих на время отчужденных прав,— «к закону вернулся»,— как говорили мужики, сделался степенным, рассудительным, хозяйственным мужиком. Только свои и знали, как он заставлял и жену «вернуться к закону».

Лука Трофимыч и Недоуздок шли впереди. За ними следовали прочие «хозяйственные и правильные мужики». Только Фомушка (по списку Фома Фомин), это воплощенное смирение, плелся сзади всех.

Шли присяжные бойким и частым шагом, молча. Верст за пять от волости сиверком понесло с полей. Дорогу стало заметать, словно мучною пылью, мелким снегом. За полушубки, за воротники пробивала стужа к телу. Пройдя верст семь, путники остановились.

— Ишь ты как, братцы, заметает. Того и жди, что разыграется...

— Вьюжит... Кафтанишка-то, парни, у меня не очень чтоб хорошо приспособлен. Дырявит!— печалился Фомушка.

— Когда б засветло в слободу поспеть.

— Где поспеть? Сугробно.

— На печь бы, братцы, важно теперь али бы на полати забраться,— мечтал Недоуздок.— А то, глянь, какая подымается мятлица. Неровно закоченеешь. Ва-

ленки-то, вишь они, поистерлись. Хорошие-то жене покинул. Жалко стало, истаскаю, думаю

— Все мы тоже не очень чтоб в какие заморские меха-то разодеты. Эк ведь господь наслал за грехи наши. Хоть бы пообождать денек-другой.

— Нельзя. У судей все по срокам.

— И то. Не застаивайся, братцы. Нехорошо в экую божью волю.

Присяжные обернули головы платками и опять бойко двинулись вперед.

Снега наносило все больше и больше. Хотя времени было еще немного, но становилось заметно темнее. Лес вдали зачернел. По ветру волчий вой донесся. Влево стали показываться едва заметные придорожные елки.

— Вон путина-то. Способней теперь будет идти-то. Тракт многоезжий,— заметил кто-то.

По большой почтовой дороге идти стало легче; но и она была пустынна: никто не обгонял их. Вот кто-то где-то свистнул. На свисток еще ответили. Присяжные пошли уже не гусем, а кучей.

— Это он балуется. Любит он экую пору,— заметил один Еремей.

— Нет, это не он. Это овражники,— сказал Лука Трофимыч.

— Много, слышь, их здесь.

— Много, фабрики все кругом. Народ баловень... Народ отябель кругом их селится. Днем-то их не видать, а вот по ночам так знатно закучивают. По слободе у них как ночь, так и пойдет гульба. Позапрошлым годом такого молодца мы судили. Рассказал всего. Много, говорит, нас. Другой раз, говорит, на фабрике-то месяца по два расчета не дают, а то без муки сидим. Ну, и собираемся в слободу. А там есть коноводы такие: сейчас это тебе водки дадут на голодное-то брюхо. И денег предложат, только, говорят, по ночам на дорогу выходи. И идем, говорит,— кто в сигнальщики, кто в досмотрщики, кто в передатчики...

В это время кто-то промчался верхом, обогнал их, круто осадил лошадь, оглянул молча, свистнул и, обернувшись назад, скрылся в кустарник.

— Это, должно, из них,— досмотрщик.

— Они нас не тронут,— заметил Недоуздок.

— Что так?

— Не тронут. Мы судьи.

— А почем им знать?

— Как не знать! Кто в эту пору из пешеходов гурьбой ходит, кроме нас! Богомолы по зимам не ходят; на заработки тоже не ходят, а коли ходят, так в экую пору по своей воле не пойдут — не срочные.

— Это так. А что ж бы им нас и не тронуть? Разве они нас боятся?

— Судей бояться им нечего. Нет, они судей не боятся, потому — что им судьи? Они станового боятся. Ну, а все же судью ублажить им чем ни то нужно. С судьей ему, гляди, прилучится встретиться. Нехорошо, по совести, судью обижать.

— Нет, они нашего брата не обидят,— подтвердил Лука Трофимыч.— Рассказывал тот парень: нам, говорит, понапрасну людей обижать непочто, мы сами по горькой нужде идем. А там, говорит, как пустят фабрику в ход, заработки, харчи выдадут,— мы и опять работать... Плачет паренек-то, говорит: я было в покаянье пришел,— очень уж, вишь ты, душа-то стала тосковать от такого беспутства,— а они ж меня, дурака, и выдали.

— Дурака! А их не поймают, выходит, умников-то?

— На то он и умник... Умник-то в лисьей шубе ходит.

— Ну, и что ж, Лука, вы этого парня?..

— Оправдали... О господи, господи!— вздохнул Лука и помолчал.— А гляньте-ка, ребята,— огни! Это в слободе!

— Это волки!

— Где волки! Вишь вон, и колокольня мерещится будто...

— Поддай, братцы, ходу,— крикнул Недоуздок,— печка близко! Здорово знобит!

Присяжные прибавили шагу. Слобода была близко.

II

Присяжные на ночлеге

Наступила ночь. В слободе уездного города П. кое-где мелькали сквозь занесенные снегом окна мутные огни. Где-то выла собака. С одного постоялого двора по снегу бегали через улицу из-под подворотни длинные тени и лучи: кто-то ходил по двору с фонарем. Слышно фырканье лошадей.

— Осторожней с огнем-то... вы! — кричали из глубины двора.

— Мы осторожны... не впервой.

— То-то. Полуношники. Сожжете, — с вас взыски-то какие!

— Ну, не очень важны хоромы-то... Може, выплатим старыми лаптями...

— О, гужееды-зубоскалы! Сами бы нажили... Век изжили в одних портках, так не знаете, каково она, нажива-то, дается.

Присяжные, все занесенные снегом, подошли через сугроб к воротам и стукнули железным кольцом.

— Кого там еще в экую ночь носит?

— Ночевать бы, — откликнулись присяжные.

— Эко ночевальщики какие проявились! — огрызался голос со двора. — Куда это ветер гонит?

— В округу.

— Пешие, чай?

— Пешковые мы.

— Проходите дальше... Проходите... Местов у нас нет... Какие такие с вас барыши?.. Проходите в харчевню.

— Полно-се, ты, старый! Уймись! Загрызла тебя корысть-то! — крикнул женский голос из избы. — Куда их гонишь в экую погодь? Где они будут харчевню искать теперь?

— Ну, умны стали, — проворчал кто-то и стукнул дверью.

— Много ли вас? — спрашивал тот же женский голос за калиткой.

— Восьмеро.

— Много. Тесно будет... Экое дело!.. Возчики еще у нас стали, порожняки... Разве потеснятся.

— Мы потеснимся. Не важно привыкли спать! — откликнулись голоса со двора. — Пущай!

— Ступайте, родимые, ступайте... Да снег-то отряхните на воле. Намочите, — говорила женщина, отворяя калитку.

Присяжные вошли в избу, в которой по лавкам укладывались возчики; они, видно, только что поужинали. Работница собирала со стола посуду.

— Раздевайтесь, ро́дные, — говорила, входя, хозяйка, — посушитесь, а вы, возчики, потеснились бы.

— А кто будете? — спросили возчики.

— Чередные будем.

— Присяжные?

— Они самые.

— Ну, ну, грейтесь... Места будет... Всем хватит.

С печи послышалось ворчанье:

— Эка напустили побиральцев... Гольтяпы — какая орава.

— Полно, уймись...

— Спи, старичок, со христом; мы не обидим.

— Па́ужинать что будете? — спросила хозяйка, полная, с грудью-козырем, расторопная баба.

— Нету. У нас деревенское есть. Кокурками бабьими побалуемся. Тоже бабы наделили как быть, — любят.

— А то поели бы. Щи вот остались. Я ничего не возьму. Знамо, люди из повинности. В городе тоже, поди, четырнадцать дён прожить придется. Изъянно.

— Харчевито.

— Харчевито — что́ говорить! Похлебайте.

— Приживальщики! — ворчал голос с печи.

— Вот оно у меня, дитятко-то, — заметила баба. — Правду говорят, что малый, что старый — все одно.

— Мы, коли что, поплатимся за щи-то. Наливай. Знатно оно, с морозу-то. Зябко было.

— Как не зябко! Погрейтесь.

Работница поставила щи на стол.

— Где у нас гроза-то! Ай унялась? — спрашивали вошедшие со двора с фонарем возчики.

— На печке гроза-то. Оттуда гремит,— отвечала хозяйка.

— Ну, ну! Гремит еще? Грозён.

— Хозяин будет?—обратились присяжные к хозяйке, кивая на печку и залезая за стол.

— Нету. Отец. Блажной — не приведи господи...

— Нехорош стал отец — в гроб пора. Нажил добра — теперь довольно!— ворчал старик.

— Вот он на вас, на судей, больно сердит.

— Ой? Что так?

— Да вот года три тому назад штрафовали его. Тоже вот в череду был: повесткой вызывали. «Куды, говорит, еще в город ехать?.. Какой такой суд с мужиками — что за мода? Брось, вишь, хозяйство да судить ступай. Мало там их, приказных-то? Модники! Какой, говорит, я такой судья-мужик? Народу только баловство. Воры-то на смех подымут...» Ну, и не ходил; двадцатипятирублевкой штрафовали. С того и сердит... А хозяин мой тоже в череду. С вами, мотри, будет. Уехал позавчера.

— Мотри, с нами будет.

— Так думать нужно. Что поделаешь? Ваше дело подневольное. Убыточно оно, точно... да, толкуют, для души хорошо. Вы как?

— Это об чем?

— А вот говорят: для бога очень хорошо, для души. Из вас кто был ли в череду-то?

— Были,— откликнулся Лука Трофимыч.

— О! Так скажи-ка ты мне об этом. Уж я и буду спокойна.

— Это об душе-то тебе сказывать?

— Да, да... Об ней-то ты мне сказывай. Хозяин, признаться, тоже не хотел ехать, да поп уговорил. На этом и согласился. А то говорит: «Боюсь я,— говорит,— баба, этого самого суда». Да чего, мол, тут, Спиридон Иваныч, бояться? Не ты один. «Так-то так,— говорит,—а все же как это подумаешь, так тебя будто в зноб бросит... Перцовки,— говорит,— коли неравно что, перед судьбищем-то выпью».

— Это так, так,— заметил один из возчиков,— по себе знаю, помогает чудесно. Я ее, перцовку-то, во как уважаю. Однова́ настудился я. В за́жору, братцы, по-

пал совсем, и с возом. Так думал: «Ну, больше, мол, Петруха, не жилец ты...» А еще оженился недавно только. Жалко было бабу... Да перцовки, братцы, выпил это с фершалом штоф, ну, и опять хоть снова в за́жору полезай.

— Да ты это к чему сказывал о перцовке-то?— переспросила хозяйка.

— Это я к себе...

— А кто тебя просил? Ты слышь, я рассказываю: на хозяина, мол, страх напал. Говорит: «Мотри, кабы после-то совесть не заклевала». Я вот к чему... А он об за́жорах.

— Всякому свое мило,— заметил возчик и улегся на лавке, подостлав тулуп

— Так я вот об этом-то... Как ты скажешь... Бывалый ведь ты?— обратилась хозяйка к Луке Трофимычу.

— Ну, об этом как тебе говорить.— Лука Трофимыч затруднялся и продолжал смущенно: — Дело точно будет, так сказывать надобно, доброе... Да во всем нужно с рассудком... А пожалуй, и так скажем, что как ежели по человеку...

— Да, да... Без рассудка долго ли до греха. А все ж за благодушного-то судью бога помолят.

— Помолят. Это будь спокойна, хозяйка,— заговорил один из возчиков, подходя к столу.— Да вот как помолят-то, я вам скажу... Ты, что ли, в судьях-то был?

— Я был.

— Ну, так вот... Я, может, тебя за твое-то благодушие во́ как бы отблагодарил, кабы в силу было... Так вы меня племяшом уважили, что я за кашу не сяду, за вас не помолившись.

— Что ж у тебя племяша-то судили?

— Судили. Так, дело совсем непутящее было. Зашел, вишь ты, братец, он в городе с ребятами в кабак, да и забаловались там за полуштофом. А тут, на грех, и случилась в кабаке-то драка, да кто-то и умри непутевым часом. Всех и забрали. И нашего-то. Год сидел в тюрьме. Совсем мы со старухой, с маткой-то его (сестра мне будет), порешили, что уж пропадать ему за чужое дело... Паренек был исправ-

ный, кормилец, один после отца надел справлял...

— Ну, и оправили его, судьи-то?

— Об чем же я-то сказываю? Совсем уважили. Да вот как, братец: сестра-то это моя, старушка, ходочка́ какого-то упросила в округе, чтоб он ей всех судей-то на записку выписал, поименно. Вот как. Да с этою бумагой-то летось в Соловки сходила, перед угодниками по свечке за здравие судей затеплила старушка божья!

— Зачтется это твоей старушке от господа.

— А я об чем же?.. Она вот теперь говорит сыну-то: «Я, бат, вам уж больше, по старости моей, не работница, отпусти ты меня, бат, на гору Афон,— еще помолюсь за новых судей-то...» Так вот я и сказываю: за благодушного-то судью молитва в народе не пропадет...

— Нет, нет.

— Так ты за хозяина-то будь спокойна.

— Я спокойна...

— Ну, и ладно. А присяжных всегда уважь.

— Мы уважаем. Этого у нас греха нет.

— Ты бы им вот кваску нацедила, и я бы, может, хлебнул кстати.

— Федосья! Нацеди-кось.

— Благодарствуем, хозяйка,— сказали присяжные, вылезая из-за стола.

— Не на чем, ро́дные. Може, наш кусок не пропадет. Ложитесь-ко. Чать, завтра рано тронетесь?

— Порану. К вечеру нам быть бы нужно.

— Слышь, к нам сюда будет суд-то ездить... Хорошо было бы для нас, неизъянно.

— Для нас все одно...

— Все ж ходьбы-то поменьше.

— Это правда... Сапогам облегченье.

Утром поднялись присяжные рано, отдыхали они немного; еще свет не занимался, как они начали справляться. Возчики еще спали. Хозяйка поднялась за перегородкой, зевнула, вышла, почесывая обеими руками под повойником, и зажгла свечу.

— Ну, дай бог счастливо,— заговорила она, позевывая и крестя рот.— Увидите моего-то хозяина, известите, что, мол, мы благополучны.

— Ладно, скажем.

— Щи, мол, у твоей хозяйки хлебали... А останавливались, мол, у нее возчики, скажите.

— Ладно.

— Да известите (вот только что в просоньях-то вспомнила): Палагея, мол, родила... Уж там знает. В кумовья его думали, да уж заочно помянут. Родила, мол, родила... Девочку, мол.

— Скажем. И про Палагею известим. Будь покойна.

Один из возчиков повернулся на лавке, высунул голову из-под полушубка и, вытаращив осовелые глаза, долго смотрел на присяжных, потом спросил:

— Вьюжно?

— Метет!

— То-то зябко.

И, закутавши голову в полушубок, повернулся к стене.

— Почтенные,— сказал Лука Трофимыч,— вы бы присмотрели... Чтоб после греха не было.

— Ступайте, ступайте со христом!— кто-то крикнул с полатей.— Мы вас не опасаемся.

— Все же...

— Нету, нету... Зачем грешить на вас! Маетно вам будет идти-то?—спросил голос.

— Сугробно, думать нужно.

— Может, коли порожнем нагоним, подвезем.

— Спасибо.

Присяжные подвязывали мешки.

— Отчего не подвезти? Подвезем,— отозвался кто-то еще.— О-ох, господи!.. А у тебя, хозяйка, тараканов довольно.

— Ну, что они тебе, тараканы-то, помешали?

— Я так... к слову... Мне что? Пущай живут.

Вдруг кто-то забредил: «Суди-суди... у кобылы... кобылы... хвост украл... Ло-ви его, братцы!» — закричал впросонках возчик и проснулся.

— Ах, чтоб те... где кобыла-то?— спросил он, бестолково водя глазами.

— Лови ее!.. Увели!

— Домовик, чтоб его... Придушил совсем. А навалист он у тебя, хозяйка.

— Прощай, хозяйка... Прощай, дед! Не обессудь за беспокойство. Ай спишь?

— Ну-ну, уж ступайте... Судейщики! С этою вашею модой-то, того гляди, всех перережут да переграбят. Такой разбой кругом пошел,— когда было видано?.. Поблажники!

— Ах, грозен у нас на печи судья проявился!— заметили возчики.

— Федосья, запри за ними калитку-то!— крикнула хозяйка, опять укладываясь за перегородкой.

— Не ходи, незачем... Сам запру,— заворчал старик, спрыгивая с печи прямо в валеные сапоги.— Ноне только за всем своим глазом присмотри — то и цело.

Присяжные выходили один за другим. За калиткой они снова перекрестились и пошли вдоль слободы. Еще не рассветало. По улицам сугробы намело. Ноги вязнут. Где-то вдали светится огонь. У домишка стоят несколько саней; лошади дремлют и вздрагивают. Откуда-то слышатся взвизгивания песни и гармоники.

— Души-и!— вылетает из глубины двора подавленный выклик.

— Стой-ой!.. Ой!.. Вот все здесь — получай!..

— Вина-а!— неистово раздается ответный крик.

— Крра-а-а-ул! Косу вырвал... Па-ад-лец!— выбегает из калитки растрепанная женщина.

— Вот они где... Грехи-то!.. Сохрани господи!— боязливо промолвил Фомушка.

Присяжные удрученно молчали.

III

Деревенский статистик

Опять раскинулась пред нашими пешеходами «трактовая путина» — теперь почти безбрежная, совсем слившаяся под общим снеговым пологом, которым укутала вьюга за ночь и дорогу, и луга, и поля и до которого еще не коснулся ни лапоть, ни валеный сапог, ни копыто, ни санный полоз. Ровною и живописно однообразною скатертью раскинулась она впереди. Из-

редка только попадались путникам спасительные, уныло согнувшиеся в одну сторону, заиндевевшие и покрытые белою бахромой елки, вокруг которых наметала вьюга целые валы снега. Все же путина эта была не пустынная, и в другое время весело на ней путнику. То усадьба покажется в стороне за рощей с своими старыми службами, с красными тесовыми крышами, длинным барским домом, с не тронутыми еще новым владельцем или арендатором-купцом «балясами» и колоннами. То выселок выбежит на крутой берег плещущейся в овраге речки тремя-четырьмя новыми большими избами, мельницей, пасекой — это владения поселившихся на «своих» пустошах братьев-собственников, мирно живущих, пока ходок-аблакат не занесет к ним страшного слова «раздел» и не «натравит» их на бесконечную тяжбу, в которой каждый будет доказывать права свои «по стариковой памяти» и пока в этой «травле» не погибнет выселок, выпустив на вольный свет безземельных голяков и обогатив «за труды и юридические познания» ходока-аблаката и стакнувшегося с ним «большака-брата». То монастырь блеснет белыми стенами и золотыми главами среди необозримой поймы и заповедных лугов. То вдруг за лесом, на спуске к полной реке, усеянной правильными площадками бесчисленных плотов, где, бывало, разбиты были английские скверы и парки и с утра до поздней ночи слышались звуки охотничьих рогов, вдруг выдвинется чудище, длинное и высокое, шумящее и гудящее тысячами веретен, смотрящее сотнями мигающих в сумерки глаз...

Деревенька высыпала пред присяжными по обе стороны «трактовой путины» десятками двумя-тремя убогих изб. После вьюги еще печальнее смотрят они: какая-то пустота, заброшенность царит вокруг них. Овины, клети и риги развалились, клочками торчит на одних растрепанная ночною вьюгой солома, другие наполовину растасканы на дрова; «крестьянский двор» сглаживается, пустеет и оголяет сиротливо стоящие без хозяйственных служб избы.

Прошли ее наши путники в конец — никого не видали, ни у дворов, ни из изб голосов не слышно, только старуха глухая у одних ворот стояла. На конце

уже деревни старика заметили: он колол на дрова старую, изгрызанную и прогнившую колоду. Старик был высокий, сгорбленный, сухой, с длинными, высохшими и цепкими руками; из-за большой седой бороды и подстриженных усов показывался беззубый рот; лысая голова изборождена была ямами и шишками; сморщившаяся кожа старческими глубокими складками, словно шрамами, покрывала щеки и лоб; из-под длинных клочковатых седых бровей смотрели слезящиеся, но умные и зоркие глаза. Дырявый полушубок едва держался на его костлявых плечах; из-под него виднелась впалая, волосатая, тяжело, точно кузнечные мехи, подымавшаяся и ниспадавшая грудь.

— Видно, у вас, дедушка, без поселенцев деревня-то стоит? — спросили его присяжные. — Ты в досмотрщики, что ль, к пустым избам приставлен?

— Почитай что так,— неторопливо отвечал старик, вздохнув всею грудью, погладив ладонью лысину и надевая шапку.— Только нам, старым да грудным, и осталось... Ноне у нас вон где поселенье-то развеселое. Невесело в своих-то отцовских избах! — показал старик по направлению к фабрике.

— Где весело!.. Вишь, она, деревенька-то родная, как замухрилась...

— Замухряешь! Ноне мы за собой не смотрим... Ноне мы на купцов работники... А вы чьи будете?

— Мы пеньковские. В округу чередными пробираемся...

— Ну-у! Наших, поди, судить будете?

— Разве от вас кто есть?

— Еще как есть-то!.. Много от нас к суду идет.

— Что так?

— Народ от закона отбился... в тумане ходит. Мужья жен не знают, жены мужей покидали. Сватовства уже и не слыхано: сватов ровно из веков в заводе не было. Девки рожают без стыда, что бабы. Робят перемешали: не разберут, кой законный, кой нет. Недавно вот тут, на ильинки, баба родила, а муж-то и не признал. «Не мой,— говорит,— это машинный (фабричный, значит), из-под машины рожден...» — да в беспамятстве и об угол младенца! — отчетливо

и не торопясь излагал старик пред присяжными народную уголовную летопись.

— Экие дела скорбные!— заметил Фомушка.

— Кои в прорубь таскают: из года в год как пить дают по утопленнику... Жена мужа летось, в троицу, яичницей с мышьяком накормила — это в селе Семенках. В Болтушках мужик, на покров, бабу зашиб,— вишь, с приказчиком заприметил. На капельника дядя Петр на вожжах повесился из-за невестки... Вот какое место греха народного насчитал я вам, старый!

— И ты все это, дед, помнишь?— удивлялся Недоуздок точности, с которою высчитывал старик «несчастные случаи».

— Наказал господь памятью на такое дело! Сижу вот другой раз да и считаю: сколько за лето, сколько за зиму, сколько за тот год, сколько за другой господь за грехи несчастных дел на наши палестины напущает... Все помню, как на ладони все это предо мной видится... Во младенчестве, должно, согрешил пред господом, что наказал он меня такою памятью... За всю мою жизнь все злое, недоброе, непутное, что только на кару господь за грехи нам, мужикам, посылает,— все вижу год в год, день в день...

— А как тебя звать, сверстничек? Чтобы неравно нам на судьбище, вспоминаючи тебя, страх божий не забыть!— спросил благочестиво Фомушка.

— Архип Сук. Суком, друг, меня прозывают... Плохо, братцы, дело в нашей палестине! Судите строго-праведно, други мои! Может, и поослабнет грех-то...

— Всех бог рассудит!— ответили присяжные.— Спаси тебя господь...

— Вас спаси господи.

Старик покряхтел, посмотрел им вслед и снова начал раскалывать дубовую колоду.

— То-то здесь горе над людьми лютует!— далеко уже отойдя от деревеньки, заметил Лука Трофимыч.

— То ли уж народ глуп, то ли привык он на мамону чужую работать!— недоумевал как будто про себя Недоуздок.

— Поддержки народу нет,— порешил Фомушка,— что малый ребенок он... Как ты его осудишь?

Толковали присяжные, казалось, хладнокровно, а

между тем личность Архипа Сука, этого безвестного статистика народного «греха и несчастия», подействовала сильно на них. С каждым шагом к округе, с каждою встречей все сильнее начинали они ощущать, хотя смутно, свою близость к этому народному «греху и несчастию», свою нравственную обязанность к нему.

Так называемые «культурные» люди не могут иметь даже смутного ощущения этой близости. Для них народный «грех, несчастие» есть не более как «абстрактная идея» права (выражаясь их словами); для народа — это «боль человека с плотью и кровью». Фомушка, вспоминая Архипа, думал, что ежели осудить человека «греха и несчастия», то как бы не перевысить меру господня наказания и как бы тому человеку больнее не стало, чем по совести следует. В то время как по понятиям одних «грех» начинается с момента преступного акта и требует наказания,— для крестьянина он уже сам по себе есть часть «кары и несчастия», начало взыскания карающего бога за одному ему ведомые, когда-то совершенные поступки.

IV

«Божий помещик»

Чем дальше подвигались присяжные по многоезжему торговому тракту, чем чаще попадались им на пути различные селения, тем чаще приходилось снимать шапки, раскланиваться с встречными и отвечать на одни и те же вопросы всегда любознательного относительно своего брата селянина.

— Чьи будете? — спрашивает селянин.

— Чередовые,— откликаются, проходя, присяжные.

И спрашивающий еще долго смотрит, засунув одну руку в карман полушубка, а другую за пазуху, вслед уходящим. Другие, не желая упустить случая чем-нибудь разогнать зимнюю скуку, подшучивали над присяжными.

— Эй, пешковые! — окликнули присяжных в одном селе, и вслед за этим, заложив руки в карманы, стали, не торопясь, подвигаться к ним три-четыре селянина. По их походке, по оклику присяжные хорошо знали,

что почтенным селянам желательно «поточить зубы».

— Доброго здоровья! — приветствовали поселяне, слегка приподнимая высокие, в форме шампанских пробок, шапки, которые любят носить ямщики, а за ними и все прочие обитатели почтовых трактов.

— Спасибо.

— Присяжные, что ли, будете?

— Они будем.

— Ну, братцы, палками бы нужно вам у нас запастись.

— Что так?

— Для вас тут у нас засада есть.

— Нас не обидят.

— Вас-то и обидят.

— Чего с нас взять... Разве шалят у вас?

— Шалит-то, братцы, у нас все один — Аника-воин. Помещик будет... Вот с самой «воли» как он всем нам войну объявил, даром что мы казенные были.

— С чего ж это он у вас?

— А вот как положенье вышло... Барин он был хороший, легкий барин; мужики у него на оброке были. Машины все землепашные покупал; привезут, он соберет соседей, мужиков, начнет им показывать разные действа с машинами-то. И против воли не был: «Я,— говорит,— против мужицкой воли не стою, только всем зараз волю никак дать не можно: будет, пишут, буйство, грабеж». А тут прослышал, что всем воля, и сполуумствовал... Усадьбу свою — вам по дороге будет — принялся тыном обносить, ворот наделал, застав настроил и объезды стал делать. Ребятишек нарочно нанял, старых лакеев, да верхами, с оружием, что твои казаки, и рыщут вокруг усадьбы... Наряд себе такой приспособил: кафтанчик опушенный, с красными кармашками, шапку-черкеску, через плечо ружье, саблю, пистолетик... Чудесно.

— Для чего же нам палки-то брать?

— Чего, братцы, шутит-шутит, да инно, как очень разгорится, и до беды доведет... Скотину около рощи настигнут — загонят; баб али девок с грибами, с ягодами заприметят — всех по амбарам позапирают; на мужиков, где около своего тына наедут, — сейчас обыск; трубки найдут, спички, топоры, ножи — все

отберут, а потом все это и посылает к мировому целым этапом, при бумаге, как бы с поличным: спички — это у него поджог, грибы — это захват. Только ни мировой, ни исправник ему не верят. Уговаривали было да так и бросили: умрет-де скоро...

— Ну, а мы-то что же в вашей войне, при чем?

— А это, почтенные, вот какое дело. Сын у него, барчонок, в городе обучался, только, должно, скучно стало. Приехал и говорит: «Я,— говорит,— тятенька, не хочу учиться, довольно учен — все понимаю; я в аблакаты пойду...» — «Это помещик-то!— крикнул отец,— с купцами якшаться?.. Нет тебе ни моего благословения, ни денег! Ступай!» Ну, сынок сейчас себе шапку с красным околышем купил да и пошел по торговым селам с купцами чертить... Вскорости фальшивых бумаг на купцов наделал... Тут его под присяжный суд — да в Сибирь... Инда взревел отец-то: «Это,— говорит,— моего-то сына мои же мужики судили!» Так вот с тех пор вам с ним и опасно встречаться... Мы еще туда-сюда с ним, ну, а вы...

— Ничего. Нам этот воин не страшен,— сказали пеньковцы, расставаясь с поселянами.

Едва прошли путники две версты, как стала показываться вблизи дороги усадьба, с огороженными полями, с тыном из заостренных здоровых кольев около двора, с разными шлагбаумами, вереями, мачтами. На крыше дома подымался гигантский флюгер в образе русского петуха с выщипанными перьями; петух этот лениво повертывался на шпице и визжал самым жалобным образом. За тыном слышалась тревога; раздавались голоса. Кто-то суетился неимоверно и выкрикивал всеми легкими: «Палашка, замыкай! По местам! Заставы за-апри-и!.. Сергей!.. На пункты!.. Флоров!.. Отпусти!.. Есаул Клоп!.. Снаряжай!..»

— Папа, папа!— прерывал торопливую команду свежий, звучный, подхватываемый ветром женский голос.— Да куда вы?.. Где вы волков видите?

— Вижу, матушка, вижу... Отлично вижу..

— Да что вы видите?.. И нет никаких вовсе...

— Вижу, Раичка, вижу... ступай в комнату, душенька,— настудишься. За мной!— скомандовал вдруг кто-то.

— Ах, боже мой! Папа! Оставьте!

Ворота растворились. На рыжей высокой английской кляче выехал, бодрясь, седенький помещик, в черкесском костюме; за ним два старика в полушубках с прорванною шкурой и дырявых валеных сапогах — тоже верхами. Один держал на своре пару страшно худых собак. Два мальчонка, путаясь в глубоком снеге, бежали «на пункты».

— Стой в седле! Подсматривай! — скомандовал седенький старичок в черкеске и сам, гарцуя, поскакал за путниками и стал описывать около них круги, увязая в сугробах и геройски выскакивая из них. Чистокровная английская кляча пыхтела, фыркала и начинала пускать пар под усердным седоком. Пеньковцы продолжали идти молча. Пропустив их несколько за усадьбу, помещик круто повернул к своему шлагбауму.

— Вон он! Вон, батюшка, серый! — крикнул один из рыцарей в валеных сапогах, с длинною седою бородой.— Доезжайте его, сударь!

— Воззрись! — закричал седенький помещик.— Спускай в мою голову! Атту его-го-го-о-о!

И за этим раздался выстрел на воздух.

Собаки бросились за волком, которого они не видали; пробежав несколько сажен, они сочли за благо остановиться и подняли вой. Пеньковцы испуганно обернулись и невдалеке от себя увидели седого Дон Кихота, схватившегося обеими руками за живот.

— Ха-ха-ха! — надрывался он от добродушного хохота, кашляя и захлебываясь и обратив к ним свое раскрасневшееся маленькое лицо, по которому текли из помутившихся глаз непослушные слезы.— Оша-алее-ели, милые!.. Я ва-ас!.. Ха-ха-ха! — ребячески восторженно выкрикивал он, грозясь своим маленьким кулачком.

— Божьим помещиком стал барин-то! — посмеивались присяжные, ступая по сугробистой дороге и вслушиваясь в долетавший за ними по ветру неудержимый старческий смех.

V

Проходимцы

Между тем погода начинала снова разыгрываться; вьюга, ослабевшая немного, поднялась с удвоенною силой; сбоку надвигался сумрак; снег повалил хлопьями. То сзади, то с боков вдруг налетит облако снега, оболочет кругом, и дальше нельзя ступить шагу; захватывает дух, ноги заплетаются и тонут.

— Ну, братцы, божья воля, а нужно куда ни то укрыться. Только понапрасну изморимся,— говорили путники.

— Где укроешься!

— А вон, вишь, будто темнеет что в стороне... И собаки, слышно, лают.

Ветер рванул, порывисто пронесся с снежным облаком в сторону и вдруг стих. Путники могли разобрать в стороне дороги строения. Они повернули к ним уже прямиком, через сугробы, ощупью стали пробираться к воротам; ветер и снег заволокли снова все. Присяжные стукнули в калитку. Неистовый лай и вой здоровых псов ответил им, но никто не выходил. Они стукнули сильнее,— сильнее заливались собаки. Долго пришлось слушать присяжным этот лай и вой, сопровождаемый свистом и вызвизгом ветра; около них образовался сугроб; ноги коченели.

Наконец раздался за воротами здоровый горластый женский оклик, относимый ветром то в одну, то в другую сторону.

— Вы, что ли, это, Парамон Петрович?— спрашивал голос, силясь перекричать и собак, и вьюгу.— И не ходите лучше! Запили, батюшка, у нас... Говорит: лучше мне этот аблакат в экий час на глаза не показывайся,— за себя не отвечаю.

— Мы бы укрыться, хозяйка, укрыться-я!— насколько возможно подняв голоса, в пятый раз крикнули присяжные.

— Кто такие еще?

— Прохожие, милая... В округу пробираемся.

— Нету, нету... Проходите. Здесь ноне не пущают. Купцы живут. Купцы поселились.

— Переобуться бы только нам.

— Да кто такие?

— Чередные мы. Присяжные будем.

— Ахти, батюшки! Да мы сами от судов в этих пустынях отсиживаемся. Сами с этими присяжными в беду попали. Из города нарочно в тишину укрылись... Что?

— Ваше дело, родная, ваше дело.

— Нету, нету. Проходите. У нас этих заведеньев нет. Мы келейно живем... купцы мы. А вот тут недалечко помещики живут, подальше. Аблакаты, по вашей части будут...

Присяжные молча стали выбираться опять на дорогу, а горластый голос, словно разрываемый ветром, еще невнятно, клочками доносился до них вместе с неперестававшим собачьим лаем.

Скоро показалось и еще строение. На самом юру торчал новенький пятиоконный домик, без всякого признака хозяйственных служб, как будто он исключительно построен для наблюдений над открытыми для него со всех сторон окрестностями. Ветер угрожающе то насыпал вокруг него груды снега, то вновь разбрасывал их и ходуном охаживал его со всех сторон.

На стук присяжных полуотворилась калитка, и показалась седая, развеваемая ветром борода, прикрывавшая открытую, впалую, медно-красную грудь.

— Ах, болезные,— проговорил старик,— эк неволято вас гонит в экую пору. По делам, что ли, к нашему-то? Переждали бы хоть метелицу-то!

— Нету, дедушка. Укрыться бы нам. Путники мы. В округу пробираемся.

— О? Экое дело! Уж и не знаю. Входите, може, пустит наш-то. Временем он ничего...

Присяжные несмело вошли за стариком в холодную переднюю и остановились в дверях, переминаясь на одном месте. Скоро через сени, с другой половины, вошел средних лет мужчина с растрепанными, с проседью, баками, кудрявившимися на красных вздувшихся щеках, как будто он постоянно держал за ними по куску пирога; маленькие глазки, с за-

гноившимися ресницами и подпухшими веками, хотя и слезились, но старались метать серьезные взгляды. Он был в потасканном татарском халате, подпоясанном старою подтяжкой, с трубкой в руках.

— По какому делу?— спросил он.— Ведь я объявил по волостным правлениям, что по понедельникам ходатайств не принимаю.

— Мы, ваше бл-дие, нездешние.

— Все равно... Я всем готов служить своим...— хозяин задумался, затянулся и выпустил вместе с дымом:— юридическим образованием.

— Мы, батюшка, как по-христиански... Укрыться просились... Так вот старичок-то позволил. Думаем, идти в экую божью волю — как бы греха не случилось...

— Ну, это другое дело. Грейтесь, грейтесь. Я не прячусь ото всех, как вон эта шельма-купчина. Бочонок! Сорокоуша! Засел за псами и сидит, никого не пускает. Не пустил ведь?

— Не пущает, батюшка...

— Ну, я знаю... Подлец! Дать доверенность — и вдруг: «Не принимаю». Рюмки водки шельме жалко... адвокату своему! Чьи будете?

Присяжные сказали.

— Присяжные? Каково!— удивился помещик и быстро ушел на другую половину, однако ж скоро вернулся, но уже закусывая что-то соленым огурцом. Присяжные все еще боялись расположиться как нужно.

— Переобуться позвольте, ваше бл-дие.

— Переобуться? Можно, можно!— говорил он равнодушно, прожевывая огурец.— А повестки есть?

— При нас.

— Покажи.

Он протянул руку. Лука Трофимыч засуетился, полез за пазуху и, отвернувшись в сторону, вытащил из кожаного мешка повестки.

— Хорошо, хорошо... Вижу, что в порядке.

Помещик стоял посреди комнаты, попыхивал в трубку и хладнокровно обводил их глазами. Присяжные стали разуваться. Помещик растопырил ноги и поместился против них.

— Гм... оборы! — говорил помещик, попыхивая из трубки.

Мужики снимали лапти и сапоги.

— Гм... лапти! — продолжал он.

Мужики развертывали тряпки.

— Гм... онучи.

Мужикам становилось неловко. Но помещик вдруг повернулся и снова скрылся за сенцы.

— А он, нужно так полагать, прожженный! Он в лаптях-то наших теперь, может, хлеб себе усматривает.

— Чего дивить! И в лаптях, братцы, они, эти ходоки-то, корм себе провидят.

Присяжные, распоясавшись, сидели, забившись в угол, и, поворотившись к стене, закусывали.

Вошел старик, отворявший им калитку, седой, в больших валеных белых сапогах и рваном полушубке; кряхтя и сгорбившись, уселся он около двери, на краешек скамьи, держась за нее старческими трясущимися руками.

— Чьи, старичок, будете с хозяином-то? — спросили присяжные.

— Проходимцы, — сердито отвечал старик.

— Звание хорошее, — заметил Недоуздок. — Прыток он очень!

— Кто ноне не прыток! Нас, дураков, много. Насулят всего и званиев разных пожалуют, только горбы подставляй... Горбы-то у нас здоровые. Прыгай да прыгай, осаживайся, как тебе будет лучше... Мы готовы завсегда — повезем...

— А как он у вас прозывается?

— Парамошкой прозывают... По шерсти и кличка.

— Ничего, ласково прозван.

— Он не обидчив. Вот купца-соседа (благоприятель нашему-то) и хуже прозвали, да ничего. Даже доволен.

— За что ж это их?

— А за хорошие дела. Мало им стало у мужиков хлеб на корню скупать, так они кабачков настроили, а около больших волостей да фабрик притончики веселые завели... Восемьдесят лет прожил, а в таких притонах в нашей стороне никто не нуждался.

Речь старика прервал пришедший гость.

— Пути сообщения... пну! «Пожалуйте в гласные...» Да как же тут, когда ежели на мосту зимой провалился?.. Одна лошаденка — и та ногу повредила! — говорил в волнении, скидая с себя овчинную шубу, отряхаясь, отплевываясь, отфыркиваясь, снимая с бороды сосульки, низенький, толстенький, пузатенький человек, в длинном кафтане, подпоясанном широким поясом, и в шапке с длинными ушами.— Парамон Петрович у себя?

— Обедает.

— Ну, ладно... А ты что ж, братец, сидишь?.. А еще старик, умирать собираешься! Нет чтобы пойти да посмотреть: как, мол, он приехал, где у него лошадь-то? Нет, в вас этого послушания не ищи... На-ка, поди прикрой ее кошмой...

Старик ворча вышел, а приезжий не переставал суетиться; ходил он по комнате скоро, вприпрыжку, бегал глазами с предмета на предмет, морщился, гримасничал и то и дело что-нибудь переворачивал, перекладывал, рылся за пазухой.

— Умирать пора, в гроб смотрит, а об церкви не подумает. Заржавела душа-то... О-ох, господи! Не бойсь, это не купцы!.. Чего? А вы кто будете? Чьи? — спрашивал он присяжных как будто мимоходом, всецело занятый тем, что́ у него в длинных больших карманах и за пазухой.

— Присяжные мы.

— Что ж не кланяетесь? Отвалятся головы-то?.. Забывать стали? Гордыня обуяла?..

— Да ведь мы... признаться... как узнаешь? — сказали, подымаясь, присяжные.

— По одеждам видно, что не мужик... Костюм на что-нибудь дан! Много в вас этой своеобычности... Вы бы вот с господ купцов примеры-то брали: как они — с уважением, благочестием, доброхотством... Даром, что капиталы имеют... Зато и награждены... А вы что? Лапотники, а смирения ни на грош!.. Чего?

— Просим, мол, извинить,— проговорил Недоуздок.— Не всмотрелись сразу...

— То-то! Присяжные! А что такое присяга? А? А ежели церковнослужитель навозу на поле повозить

попросит, так двери на запор, оглобли воротить? Чего? А как восьмая заповедь читается?

— Мы, батюшка, по пальцам-то не происходили... Учил это нас, признаться, писарь, да думали, чего, мол, тут по пальцам-то высчитывать!

— Все вы такие... У вас учителя-то без сапог ходят, сами навоз возят... Чего? А где об церкви радение? К духовному сану почтение? Сначала бы вот об этом... Были ли на духу-то? Вот бы что заставлять нужно... «Увещавайте! На то вы и учители!» Легко говорить! А где поддержка?

— А! Это вы, Кузьма Демьяныч Бессребренник!— прожевывая остаток обеда, приветствовал приезжего помещик.— Должно быть, дело не хвали... А?.. Ежели в эдакое время не позадумались навестить...

— Душа-с скорбит, Парамон Петрович! Вот все с ихнею братией... Житья нет нынче... Просто звери стали!

— Они нынче судьи... Ну, что? Идете?— обратился Парамоша к присяжным.— Пора, пора... Отдохнули, обогрелись у меня...

— Много благодарствуем... Отошли будто немного...

— То-то... Добрых людей не забывайте... Помещик Парамон Петрович Перчиков — всякий знает! Дел не будет ли? О разделах, о побитии...

— Будем помнить.

— У односельцев не будет ли? Посылайте... Вот, мол, по дороге в округу... На самом, мол, пути адвокат живет, Перчиков... К нему, мол, толкнитесь...

— Уважительный барин!— прибавил Бессребренник, доставая из мешка за ногу замороженного поросенка.

— Душа, мол, человек... И недорого берет, как по крестьянству сподручнее... Даже под расписку... Берет зерном, крупой...

— Слушаем-с,— отвечал степенно и «обстоятельно» Лука Трофимыч.

— Яйца, кур, гусей...

— Слушаем-с.

— Поросят... Все, мол, берет... Потому — хозяйством заводится...

— А каков поросенок-то, Парамон Петрович! Слов-

но малый овен,— крикнул Бессребренник, тютюшкая и подкидывая на руках поросенка.— Где тетенька-с?.. Деревенский гостинчик...

Присяжные вышли из усадьбы помещика Парамоши и стали пробираться через глубокие сугробы к трактовой путине.

VI

Лесная сила

Лес показался; сначала по обе стороны шла порубь, едва теперь заметная по выскочившим кое-где из-под общего снегового покрова пням да сосновым, редко разбросанным подросткам, уныло согнувшимся под напором разгульного ветра. В лесу погода стихла. Вековые сосны непроглядною и мощно-угрюмою стеной стали на пути вьюги, и она, бессильно злясь и негодуя, только изредка ворвется в просеку, просвистит с одного конца до другого, тряхнет побелевшую лесную шапку и снова стихнет. Мирно стоят гиганты-деревья, опустив вниз свои отяжелевшие от снега ветви. И какая несметная рать стоит здесь этих гигантов и угрюмо ждет, когда нридет какая-то сила, повалит их и уложит в стройные ряды поленниц. А уж эта сила пришла: то с одной, то с другой стороны мелькают широкие подсеки, или усеянные выкорчеванными громадными корнями, или уставленные правильными кубами напиленных дров, бревен, досок... На небольших луговинах, защищенных гигантскою стеной от злой непогоды, молодая поросль и подростки прячутся от лютых морозов под толстою, мягкою шубой снега и рассыпаются кучками белоснежных пирамидок. Тихо. В лесу всякий звук слышится чутче; птица шарахнулась о сучок, осыпала с него снег, крикнула и, взмахнув крыльями, пронеслась вверху; зверь где-то захрустел по бурелому; вбок от дороги, к поруби, прошел волчий след.

— Стой, братцы!— сказал, приостановившись, Недоуздок.

Присяжные разом остановились.

— Чего пугаешь? И так жутко.

— Слышь: голосит!

— Это леший.

— Какой тут леший? И вся баба заливается.

Присяжные сбились в кучу.

— А и то, братцы... Уйдем от греха,— продолжал Бычков.— Далеко где-то. Место совсем пустое!

Ветер явственно донес плач.

— Где далеко? Совсем близко. Нам бы грех, братцы, на такое дело идучи, от горя бежать,— заметил Фомушка.

— Где ты его, это горе-то, здесь по лесу отыщешь? Вишь вон, то здесь оно огласит себя, то с другого боку... Как ты его по такому месту настигнешь?— сомневался Лука.

Но вдруг вопль раздался сзади них; все обернулись. Из лесу выходил высокий, в нагольном тулупе, опоясанном широким ремнем, в больших валеных сапогах, в мохнатой шапке лесник, у которого видны были только большие замерзлые усы да сросшиеся длинноволосые, выступавшие из-под шапки брови. Он держал в одной руке дубину, другою вел под уздцы лошаденку, запряженную в дровни. За дровнями шла баба, неся в руках топор, и навзрыд причитывала. В дровнях лежал связанный кушаком мужик.

— Что за люди? Чего нужно в экую пору в лесу?— окликнул присяжных полесовщик таким окриком, что и сам лес будто дрогнул вместе с присяжными.

— Мы, почтенный, своею дорогой.

— А куда путь?— спросил он, останавливаясь против них и вытирая замерзлые усы.— Экая погодка!..

— В округу... в черед.

— О!

Лесник прислонил к лошади дубину, скинул рукавицы и стал набивать трубку, вытащив из-за пазухи кисет.

— Вишь ты, тетка, какое твоему-то счастье!— обратился он к бабе.— Не успел украсть, а уж на судей напал. Другие по годам экое счастье в острогах ждут... Моли бога.

— Зверь ты, Федос, зверь стал!— завыла баба.

В дровнях застонал мужик; собачонка лесника,

присевшая у края дороги, подняв озябшую лапу, подвыла им обоим.

— Должно, впервой?— спросили присяжные.

— Впервой. Не бывал еще в переделах-то. Что заяц косой — сам на ружье лезет... Должно, холодно им с бабой стало, погреться захотели... Так что ж, чередные! Судите, что ли, нас с ним... Ха-ха-ха! Судейщики!— предлагал лесник, раскуривая трубку.

— А мы, дядя Федос, пожалуй бы, и рассудили,— сказал Недоуздок.

— Вишь ты! Ну-ко как?.. Суди, суди!..

— Да оправить бы мужика надо... Вон она, зима-то, какая... В кулак-то не надышишься... А ты ему ребра-то, должно, знатно пощупал.

— Ничего. На медведя ходил.

— Приметно... Так уж, кажись бы, и довольно.

— Ха-ха! Вишь ты... И в самом деле судейщики!.. А ты думаешь, вам за это спасибо скажут... а? Поблажникам-то?

— За спасибом-то не угоняешься... А ты вот что подумай,— заговорил Фомушка,— добро-то тебе здесь, по лесной жизни, не часто, чай, делать приводится? А нам на старости наших лет с тобой, в гроб-то смотрючи, добро-то бы не след упускать... И так от него, от лесу-то, душа черствеет, так не дело бы тебе еще на себя зверское-то обличие напущать...

— Поблажники и есть... Свой брат!

— Ну, скажи-ка ты нам, судьям, как мы его осудим, обличие-то твое вспоминаючи, строгий воин?.. Нну?— наступал на него Фомушка.

— Мы в это не входим.

— Ежели ты не входишь, так ты хошь образ-то зверский сокрой. Да сходи ты в божью церковь,— все грознее говорил Фомушка,— да возьми ты к себе в хижину-то ребячью душу, каких много по нашим местам сиротливыми бродит. Она, душа-то ребячья, сведет с тебя узоры-то зверские, что мягкий воск растает сердце твое от нее... Верь, по себе знаю! Был и я лесником. Обнял это меня лес, охватил, не вынесла душа, руки хотел на себя наложить... И случись тут старуха странняя; говорит, возьми, Фома, младенца на воскормленье,— лес над тобою силу потеряет, тоска

у тебя с души сойдет, от ребячьего глаза рукой твою тугу снимет... Сиротинка у нас на селе был,— взял...

— Погоди, старик!— прервал Фомушку лесник.— Есть и у меня, есть... Твое слово в руку: взял я ноне Федорку свою на колени, а она, глупая, мне: «Тятька,— говорит,— ты страшный... Боюсь я тебя... У тебя борода колючая отросла, а брови ровно осока торчат...» — «Ах ты, глупыш,— говорю,— да ведь у тебя тятька-то кто? Солдат тятька-то?.. Так разве можно ему другому быть?.. Ведь его двадцать пять лет в этом звании производили! А? Видал ли нашивки-то?.. Двадцать пять лет к этому-то обличию приспособляли! Зато он и лесник! Вишь, ему какую махину на охрану вверили! Глупыш ты,— говорю,— неразумный...» — «Нет,— говорит,— ты ровно лесовик стал... Молчишь нынче все: мало говоришь, сказки говорить разучился... Боязно мне с тобой! В деревню убегу!» — «Ах ты,— говорю,— порченый! Вишь, что сказал: лесовик!.. Тятька-то? Вот я тебя лозой!» Дал ей шлепка, думаю: бабы наболтали девчонке! А вот и ты, старый, не умнее Федорки моей сказываешь!

— Верь, милый человек, верь! Может, у тебя и сойдет с лица узор-то звериный... И улыбнется на тебя младенец...

— Али больно уж я на зверя-то смахиваю?— спросил старый солдат, дрогнув левым усом и бровями и силясь улыбнуться.

— Недолго, друг, оно,— продолжал убеждать Фомушка, заприметив, что по лицу солдата прошла какая-то дрожь.— Лес-то — он ведь сила, он человеком скорее обладает, чем ты им. По себе знаю. Большая в нем сила! И стоит она, эта нечисть, и досматривает, как бы душу христианскую от доброго дела отвести...

Фомушка так и впился своими слезящимися маленькими глазками в «обличие» лесника. Лесник снял шапку и рукавицу и стал чесать затылок.

— Х-ха-ха!— разразился он на весь лес, который с разных сторон отозвался грохотом на его хохот.— Зверское обличие, слышь, у человека стало! Полгода не прошло! Ай да Федорка! Надаю я тебе шелепов вдоволь, порченая! Сними-ка с своего кушак-то!— обратился он к бабе.

Баба опять зарыдала и, припав к лежавшему мужику, стала развязывать дрожащими руками кушак.

— Ну, ступайте своею дорогой! — сурово прикрикнул лесник присяжным.— Судите там, кто пойман. А уж этого рассудили...

— Это, милый, не наш суд,— твоя душа судила! — ответил Фомушка.

VII

Блаженненький

Верстах в трех за лесом раскинулось наконец пред присяжными длинное, вытянувшееся по обе стороны трактовой путины село Проскино с двумя церквами, одною каменной, другою деревянной,— последний переход, последняя станция до города, до «округи». Фомушка еще раньше говорил, что его знобит и что нужно бы в Проскине зайти в кабак и выпить. Выпить захотелось и всем по шкалику. Думали и рассуждали об этом долго; наконец порешили купить полуштоф. Кабак был рядом с почтовою станцией, около которой возились ямщики за кибиткой. На крыльце станционной избы стоял в лисьей шубе молодой краснощекий купец и грыз, держа в пригоршне, орехи. Проскинские мужики от нечего делать терлись у крыльца и смотрели то на ямщиков, то на купца. Некоторые из них подходили полюбезничать с лошадьми.

— Тпрру... Ну... Тпрру, милая... Ну, что, что? Хо-хо-хо! — разговаривал с одною лошадью мужик, дергая ее за холку и поглаживая ей морду, которой она старалась ткнуть ему в бороду.

В кабаке было тесно: присяжные, один по одному, выпивали, а закусывать выходили на волю; проскинские мужики заводили с ними разговоры неизбежным вопросом: «Чьи будете?»

Из станционной избы вышла молодая купчиха, полная, с лицом-пышкой, укутанная в ковровую шаль и куний салоп.

— Ты что? — спросил купец.

— Взопрела... Задохнулась совсем.

— Садись здесь.

Купчиха села на скамью, а купец достал ей в пригоршню из кармана орехов. Ямщики о чем-то переругивались. Откуда-то вдруг раздался страшный выкрик.

Мужики стали осматриваться.

— А-ах, чтоб его! Антипка-кокун из-под караула у старухи убег!

— Иго-го-го! Ко-окку-у! — выкрикивал хохлатый, нечесаный, низенький мужичок, трусцой подбегая к станции.

Он был в одной рубахе и портах, грудь открыта, ноги босые. Через шею, словно регалии, висели на веревке лапти.

— Антипка-шут, — пристали к нему мужики, — представь вот его степенству... Сыграй!

— Енарала представь, Антипушка!

— Как тебя судили? Ну-кось! Вот и судья здесь... Сам присяжный... Гли, — говорили ямщики.

Антипка безумно водил глазами, потом начал что-то бормотать и вертеться на месте.

— Дурак будет? — спросил купец.

— Блаженненький, — ответили мужики.

— Вы бы, ваше степенство, подоброхотствовали, — заговорили умильно мужики.

— Чего еще?

— Пожаловали бы на прокормление. Ноне такое положение.

— Какое положение?

— А подавать-то им, — показали мужики на Антипа.

— Не знаю. Кому?

— Он, ваше степенство, с суда такой... Помешавшись... Судили его: он там на суде и повихнулся. Испужался очень.

— Робкий всегда был крестьянин, — подтвердили ямщики.

— Соблаговолите, ваше степенство! Он вам комедь сыграет. Тогда ему присяжные в округе рублев десять собрали, — сладкими голосами убеждали мужики купца, некоторые даже шапки сняли.

— Дать, что ли? — спросил купец жену.

— Много их! Этот юродивый не из настоящих— представляется.

— Говорят, присяжные дают. Нам нельзя.

— Дай семитку.

— Прими,— сказал купец, протягивая монету, снял шапку, перекрестился и поправил волосы.

— Антипка, примай! Вишь, его степенство жалует... У-у, глупый, не разумеет!— говорили мужики, передавая ему семитку.

— За что судили?— спросил купец.

— За что? Да как бы сказать? Точно что будто как мы тут греха на душу маненько взяли,— замялись мужики.— Он, вот видишь, работал запрежде у купца; купец этот за его подати вносил, избу справил ему, и позадолжал ему Антипка. Ну, купец думает: пущай работает. А Антипка-то и убеги от него: оченно уж он над ним, купец-то, издевку большую стал позволять. «Ему,— говорил Антипка,— что больше служишь, то больше должаешь!» Убег, а купец к нам в обчество жаловаться.

— Ну?

— Мы, признаться, постегали Антипку тогда и приговорили, чтоб ему опять идти к купцу в услуженье. Говорил тогда Антипка: «Братцы,— говорит,— что вы делаете? Он мне душу по гроб контрактом опутает, что петлей; с каждым годом он меня туже да туже окручивает! В город он меня вести хочет, чтоб там я в суде за печатью за ним навек приписался. Лучше ж я ему хоть вдвое на стороне отработаю, а в контракт, что в хомут, голову класть не стану». Ну, мы и еще постегали малость за упрямство.

Подошли и наши присяжные к крыльцу и стали вслушиваться.

— Ну, а он у купца-то лошадь и угони, в городе и продай, штоб только откупиться от него чем. Там и взяли. А на суде-то, глупый, и помешался: думал, что его в крепость хотят к купцу приписать... Робкий!..

— Ну и что ж, оправдали?— спросил купец.

— Чего его оправдывать? Его бог оправдал.

«Бог оправдал!— повторил про себя Фомушка.— Им одним еще и правда на земле крепка!» — думал он, вспоминая Архипа Сука.

— А вот эти тоже с вами, мужички-то пешеходные!— показали ямщики купцу на присяжных.— Только им, должно, за вашим степенством не угнаться. Вы все торопите: проворней да проворней, а то штраф возьмут... А вот они пешком... Неужели ж скорей нас приедут на липовой-то машине?

— Да кто это?

— Чередные... Присяжные... Вместе судить будете.

— Мы купеческого звания.

— Ноне все одно, что пеший, что на троечке,— все на одной скамеечке сидят!

— Нет, мы в отдельности должны. Слышишь,— обратился купец к жене,— мы полагали сами по себе, своим разумом судить, а нас с лапотниками сажают. Это все неправда, я так полагаю.

Антипка опять запел кукушкой.

— Ну, Антипка, потешь!— начали приставать мужики.— Може, его степенство еще пожалует. Сыграй нам суд, как тебя в крепостные хотели опять обернуть. Вишь, вот здесь все судьи собрались.

— Спроси, может, пророчествует?— посоветовала купчиха мужу.

В это время подбежала к станции маленькая, сморщенная и горбатенькая старушка в черном с белыми горошинками платье, в накинутом на плече зипуне; грозно сверкнула она глазами на мужиков, причем сухие губы ее беззвучно шевелились и подергивались, а острый подбородок трепетал; молча схватила Антипку за руку и, таща за собой, почти бегом пустилась с ним вдоль улицы на противоположный конец села. Антипка загоготал во все горло.

— Это кто будет?— осведомился купец.

— Сестра... Тоже будто маленько и с ней попритчилось... Ведьма ведьмой стала, никому голосу не подает, ни с кем с того раза слова не говорит.

— Так все и молчит?

— Все и молчит. У нас часто бывают эдакие молчальники из стариков: молчат год-два, смотря как по обещанью, потом опять заговорят.

— С чего ж они... С обиды?

— Богу служат!

— Двое их только... Семьи-то у кукушки?

— Двое. Так и живут теперь в келийке безгрешно на конце... Любит его старуха-то сестра: в праздник вымоет, вычешет, рубаху красную наденет, шаровары плисовые (целую зиму нитки сучила — на то и купила; работящая старушка,— у нее всегда все в довольстве), в церковь сводит, по знакомым которым вместе ходят... Только беда, ежели увидит, что над ним потешаются.

— Чем же они живут? Сбирают у вас?

— Нет; кое-что, сказываем, робит старуха-то, а то и сбирают. Только от нас никак не принимает. По стороне ходит.

Присяжные послушали и пошли снова в путь. Проходили мимо последней избы, «келийки». Вдруг из нее выбежала та же старушка в платке горошком, поддерживая что-то в переднике, и молча стала оделять присяжных ржаными лепешками.

— Да за что это, кормилка? Не надо нам... Господь с тобой! Самой пригодятся,— сказали присяжные.

Старушка замотала головой и повалилась им в ноги.

— Ну, ну... Не гневайся, милая. Мы твоим добром не гнушаемся. Спаси тебя, господи, скорбную!

Все присяжные сняли шапки, перекрестились и вышли из села.

— Ко-окку-у! Ко-окку-у! Иго-го!— раздавались им вслед из келийки безумные выкрики Антипки.

Они уныло вслушивались в них, удаляясь все дальше и дальше от села, пока ветер перестал доносить до них эти дикие, прерывистые звуки и пока, наконец, они замерли совсем.

— Дело наше, милые, ответное пред богом и людьми! Как восковая свеча пред образом — вот оно какое!— проговорил Фомушка после долгого молчания и еще раз перекрестился.

Ему не отвечали — то ли от усталости, то ли от чего другого. Но только в эту минуту, может быть, более чем когда-нибудь, все присяжные чувствовали свою близость к «народному греху и несчастию», сознавали нравственную обязанность пред ним и думали одною думой с Фомушкой.

Глава вторая

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С НОВЫМИ ПРАВАМИ

I

Пеньковцы приспособляются

Поздно к вечеру присяжные входили в губернский город.

Долго шли они по длинной Московской улице, освещенной изредка мигавшими фонарями. отбиваясь от бросавшихся под ноги собак; наконец подошли к площади с собором и присутственными местами.

— Это она, что ли, Лука, округа-то?— спросили присяжные и, сняв шапки, стали креститься на собор.

— Она самая. Вот тут, братцы, горя-то нам кажут... Тут их насмотритесь.

— Насмотримся... Вишь, в какие хоромы засадят!

— На старое место нас, что ли, поведешь?

— Знамо. Все ж по знакомству безопасней.

Присяжные прошли на другой конец города и остановились среди Ямской слободы у постоялого двора.

— Сюда, молодцы, сюда пожалуйте!— зазывал их с крыльца постоялого двора мужик с фонарем.— Господа присяжные? Ну... сюда... здесь стояли... Это уж всем известно — наш двор для господ присяжных.

— Будто как не тот хозяин-то,— сомневался Лука.

— Как не тот? Что ты, голубчик! Господь с тобой! Что со мной поделалось! Ты вот завтра посмотри-ко, посветлее будет,— он самый...

— Завертывать, что ли, ребята?

— Мотри, не налететь бы... Четырнадцать ден ведь жить-то...— опасались путники.

— Завертывай, завертывай без сумленья! Тут обману нет! Эх, почтенные, на стуже-то стоять! А тут теплынь, покой — парься!— соблазнял дворник.— У нас все для вас как есть и приспособлено: нары, полати... Мы, кроме господ присяжных, редко пущаем... На той половине у нас трактирчик,— господа абвакаты пристают...

— А как пища?

Что пища? Пищей мы господ присяжных не обижаем: хлебово, крупяник... ну, картофель можно... Квас тоже, чай, пить будете... Мы для вас, господа, скидку даже делаем... Пожалуйте!

Присяжные не решались. Лука всматривался вдоль улицы, не признает ли где прежнего места, но было темно.

— Эй, господа присяжные!.. Куда же вы?

— Нам бы вот хотелось своих тут поискать... Шабринских...

— Да помилуйте... Что ж вы не сказали? Шабринские? Здесь они-с... у нас... Где же им больше быть! По городу и местов больше для господ присяжных нет. Пожалуйте.

— Ну, завертывай, Лука... К месту скорей бы... Изустал и так — беда!— порешил Фомушка.

— И то. Не покажется — переменим. Ведь не на цепь прикуют.

Дворник с фонарем повел их в избу. Они вошли в длинную, просторную комнату, по стенам которой действительно тянулись нары. Дворник, вынув из фонаря огарок, воткнул его в бутылку и полуосветил черные стены, кое-где обклеенные старыми газетами. Два человека спали, закутавшись, по углам нар; кто-то возился на полатях. В заднем углу стояла широкая изразцовая печь; на изразцах глазурью были наведены невозможные китайцы в широкополых шляпах. Вообще в комнате было пусто, сыро и прохладно. Но присяжным показалось хорошо.

— Ужинать, может, будете? — спросил дворник.

— Нету. Рады, что до места добрались.

— Так, так. У нас покойно. Вздохнете. Издалеча?

— Дальние. Из-под Горок.

— Да, да. Не близко. Может, пить захотите?

— Оно бы хорошо, кабы кваску хлебнуть,— мы бы с лепешкой прихлебнули. В горлах пересохло!

— Пересохнет. Разбирайтесь... Места у нас вдоволь.

Присяжные огляделись: просторно, как будто тепло. Им еще не верится, что не дует ветер и не

саднит лицо, не вязнут более и не скользят застывшие ноги.

— Ах, важно,— подхватил Недоуздок.— Шибко натрудили себя. Теперь дубинкой меня не разбудишь.

Ему весело подкрякивали и подкашливали прочие.

— А что-то шабринских не видать.

— Може, на полатях.

— Где на полатях! Они бы сказались.

Вошел хозяин с большим деревянным поставцом квасу.

— А где ж наши-то, говорил ты, почтенный?

— А они вот рядом... Помилуйте! У нас без обмана... Вот рядом... Спят, поди! Завтра свидитесь чудесно. Будьте покойны.

— Так, так... А печку-то, хозяин, должно, выдуло. А нам посушиться требуется,— осторожно поглаживая широкою ладонью по изразцам с китайцами, заметил Недоуздок.

— Печка-то? Ах, братец... Это городская, потому и остывает. А ты — сушить! Сушить если — на кухню приходите. Туда приносите.

— Так, так. Ну мы и на кухню, коли так...

— Выдуло! Это уж печка такая,— объяснил хозяин,— купецкая... Печка легкая. Она тебя исподволь греет... А не то что — лег, да и бок спалил.

— Бывает, почтенный,— подтверждал Недоуздок,— бывает у нас по деревням и это... Наработавшись, часто палят у нас бока-то. Умаявшись, на нашу печку ложись с опаской... Ожжет!

Присяжные даже расшутились. Снеся свои мокрые одеяния на кухню, они скоро улеглись по нарам и полатям.

Наутро, по обыкновению, пеньковцы поднялись рано; все они, по указаниям Луки Трофимыча, умылись, переодели рубахи, причесались, густо намазав коровьим маслом волосы, расчесали бороды и затем стали вынимать «обменки»: вынули — у кого были синие, у кого серые зимние суконные, а у кого летние тиковые поддевки и кафтаны, которые надеваются ими в деревнях только два-три раза в год в высоковажных случаях: на свадьбах, в приходский праздник, на рождество и пасху. Привели в порядок обувь:

пятеро надели кожаные сапоги, слегка их смазав сальною свечкой; прочие валенки. Лука Трофимыч одевался и прибирался вперед всех, другие делали то же, что делал и он. Надев «парадную» одежду, подпоясались все новыми кушаками; на горло туго повязали большие пестрые и красные платки. Богаче всех. «купцом», оделся Бычков: в сине-суконную чуйку, опоясанную красным кушаком с широкими концами с кистями, в кувшинные сапоги, собранные «в кольца», на шее был даже шелковый платок. Те, у кого хорошая «обменка» была летняя, накинули еще на плечи серые зимние разлетаи; только опять один Бычков, хотя и был в теплой чуйке, надел поверх широкий синий кафтан.

Все были степенно довольны и даже несколько трусили. Один Фомушка глядел уныло и кряхтел и одет был беднее всех; ему нездоровилось.

— А ведь нас, братцы, дворник-то объехал,— сказал Недоуздок.— Искал я шабринских — нигде рядом не нашел... Тут и стройки-то нет.

— Вчера изустали очень: рады месту. Где тут его поверять!

Вошел хозяин.

— Как же, брат, наших-то не видать?

— Ваших-то? Да на что вам они? В суде увидите... Разве у нас плохо? У нас чудесно, лучше не надо: простор, чистота, теплынь. А ваши, я говорил, рядом будут... Вот пройдешь три избы — тут тебе и будут.

— А говорили — здесь. Мы было с тем и шли. А то опаска есть насчет одежонки, тоже... по незнакомству-то.

— Здесь? Да это все одно: у дяди они у моего остановились. Дядя тоже двор держит... Что ж, мы родные, близкие... А насчет опаски будьте покойны: у нас этого баловства нету. У меня за всем свой глаз. Пожалуй, хоть заприте — вот в конничек. Прекрасно будет. Я и замок приспособлю.

Успокоившись на этот счет, присяжные надели шляпы, картузы и шапки и, перекрестившись, пошли в город.

Было еще рано. Звонили к ранним обедням. Попадавшиеся пеньковцам горожане, спешившие на рынок,

останавливались, видя разодетых по-праздничному мужиков, говорили: «Присяжные!» — и смотрели им вслед, словно на диво какое. «В новинку им мужики-то ряженые»,— замечал Недоуздок. Проходя площадь, зашли присяжные в собор, постояли на паперти, в дверях, помолились; издали поглядели на украшения, на купол, на большое паникадило; на паперти обратил их внимание Лука Трофимыч на большую картину страшного суда, написанную на стене, с полинявшими и облупившимися грешниками и бесами. «Вот она, полоса-то божьей грозы! — заметил Еремей Горшок.— Экие страсти!.. А это, братцы, гляди: судию неправедного поджаривают... вон этот черномазый-то. И весы, вишь. Один богомаз мне сказывал: судей, говорит, мы всегда с весами рисуем. Одна-то чашка, видишь, правда, другая — кривда... Ну, кривда правду у него перетянула — вот и поджаривают... Вот оно каково легко судьей-то быть!» — прибавил он боязливо и почти с ужасом посмотрел на соборного сторожа, который равнодушно, как с давнишними знакомыми, обращался с бесами без всякого страха: к одному лестницу поставит, к другому щетку пихнет, а третьему на самый нос,— куда, вероятно, им же был вбит здоровый гвоздь,— повесил скуфейку и ключи. Прошел важно протодьякон, расчесывая большою гребенкой кудрявую бороду; вид он имел осанистый, рост высокий, живот большой, волосы заплетенные в мелкие косички; присяжные полагали, что это сам благочинный по меньшей мере, и пожелали пред судом принять благословение, но протодьякон сердито махнул рукой и поспешно ушел в алтарь, загудев что-то сплошным басом на весь собор. «Не удостоил»,— с грустью прошептал Фомушка.

Из собора присяжные пошли к окружному суду. У крыльца мерзла какая-то крестьянка с котомкой за плечами и часто сморкалась в угол головного платка; она низко поклонилась им и, пропустив, вошла уже вместе в переднюю под сводом лестницы.

Усатый, высокий, с большими солидными баками и серьезным лицом, в полушубке и чисто вычищенных сапогах, швейцар ходил со щеткой между деревянными вешалками и выметал сор.

— Раненько, почтенные, раненько! — проговорил он, увидя присяжных.— Долго вам придется ждать. Присяжные?

— Они. Да ведь где у нас время-то знать! Поранее-то оно без опаски. А то вы, слышь, строги.

— Мы строги. У нас все строки. Как что маломальски упущенье, хоша полчаса,— сейчас строк... Ну, и штрафуют.

— Вишь, оно как, спуску не дают. Так тут, по нашим капиталам, и с ночи заберешься.

— Пожалуй, что заберешься. Посидите пока,— пригласил их швейцар.— А ты что, старуха, все ходишь?

— Я, ваша милость, по делу... Сынок у меня тут судился...

— То-то, судился... Так что ж теперь дожидаешь, каждый день ходишь?

— Говорят, потребуют еще... Да я богу молюсь... Вот к заутрени схожу, а оттуда и сюда.

— Привыкла, должно, к суду-то!

— А что ж, милая, али осудили сынка-то? — спросили присяжные.

— Осудили, родные!

Крестьянка заплакала.

— А за что?

— За поджог.

— Как же это он?

— По глупости.

Крестьянка замолчала, подумала, потом начала кланяться им.

— По глупости, ро́дные... Всего шестнадцатый годочек минул, что малый ребенок еще... Будьте милостивы! Все купцы да приказные судили: они наших делов не знают... Може, вы помилуете. Вам наши порядки известны.

— Теперь уж не воротишь.

— Все может... Слышь, опять приведут еще... Я вот и в церковь каждый день хожу: надежды на заступницу не теряю...

— Не воротишь, бабка, не воротишь,— уверял швейцар.— У нас на все порядок.

Швейцар стал «прибираться по-форменному». При-

сяжные смотрели, как он фабрил усы, «височки», чесал баки и приглаживал волосы на голове, как надевал ливрею с позументами.

— Вот оно, дело-то: как видел его в полушубке, так теперь и не боязно,— заметил Недоуздок,— а глянь-ка сразу — того и смотри, что сробеешь.

— Форма! Нельзя! У нас все форма. По́тому у нас дело с таким народом, чтоб страх был...

Наконец стали пробегать мимо присяжных молодые чиновники с портфелями и без портфелей, в очках и без очков, и непременно суетливо. Прежде в чиновниках никогда такой хлопотливости и серьезной «вдумчивости» в «приказное дело» не замечалось.

— А, присяжные!— удивлялись они и, шагая по лестнице через три ступени в четвертую, уносились вверх в достолюбезное лоно Фемиды.

— Вы теперь наверх ступайте,— посылал присяжных швейцар,— там уж ждите.

— А что ж, почтенный, хламиды-то у вас, что ли, сберегутся?

— У нас.

— То-то, посмотрите, хоть и мужицкие... Суд судом, а всякому свое дорого,— внушал швейцару Бычков, трусивший за свою «купецкую» одежду.

II

«На судейском положении»

Присяжные поднялись вверх по лестнице, а за ними и старуха-крестьянка. В приемной комнате, перед залой заседаний, скоро стали собираться разнообразные личности: свидетели, адвокаты, ходатаи, поверенные, купцы, помещики. Пришли и прочие присяжные: в числе их было большинство крестьян, тут же и шабринские; чиновник из уездного города П., два купца оттуда же; учитель духовного училища с белыми пуговицами на вицмундире и медалью за крымскую войну в петлице и один купеческий сын, одетый «по-статскому», лет пятидесяти, высокий, плотный и ширококостый, с проседью. Он был очень оживлен.

ко всем приставал, всех расспрашивал, рассказывал анекдоты, смеялся, вообще чувствовал себя как дома, очень свободно. Пришел и молодой купец с женой, наряженной теперь в невозможных размеров шиньон и шляпку, готовую ежеминутно слететь с затылка.

Купеческий сын повел носом и нюхнул воздуху: пронесли в буфет горячие пирожки. Зазвучали ружья, загремели цепи — ввели осужденных «для выслушивания решения в окончательной форме». Осужденные смотрели мрачно. Старуха-крестьянка подходила к каждому из них, всматривалась в лицо и отирала платком катившиеся слезы.

Кто-то прошел в шитом золотом мундире. Крестьяне-присяжные, пришедшие в первый раз, поднялись.

Кто-то, взглянув на них, обратился к сторожу:

— Присяжные?

— Точно так-с.

— Скажите, чтоб не вскакивали... пред всяким.

Лука Трофимыч, услыхав замечание, обратился к своим:

— Чего прыгаете? Упрыгаетесь: здесь много ходят. Мы сами теперь судьи...

Купеческий сын уговаривал учителя духовного училища зайти в буфет.

— А то не успеем, ей-богу, не успеем... Проморят часов до шести, тогда раскаетесь, да поздно будет.

— Да не хочется. Рано.

Купеческий сын шепнул ему что-то на ухо.

— Ну? Разве можно?

— Говорят... Ей-богу, я слышал: в ведре... за дверью, будто бы, дескать, вода... Рюмкой нельзя, а стаканчиком можно... Так и подадут вместо воды... Как же адвокаты-то? Неужто же терпеть будут?

Купеческий сын и учитель стали пробираться в буфет.

Между тем сторож обходил стоявших и сидевших кучками присяжных.

— Присяжные? — спрашивал он шепотом.

— Так точно-с, — отвечали некоторые, порываясь встать.

— А вы сидите, не вставайте. Не приказано. По-

тому вы сами судьи. Вы вперед не кланяйтесь, пусть вам сначала поклонятся. А то нехорошо. Вот сейчас член заметил, говорит: «Нехорошо».

— Слушаем.

— Чести-то, парень, не оберешься! — удивлялся Недоуздок.

А в это время почти рядом с ним шел разговор между молодым мундирным господином и «знаменитым» приезжим адвокатом, искусно вскидывающим на нос пенсне, во фраке, в безукоризненно белой сорочке с золотыми запонками, в белом галстуке и жилете, с прекрасною бородой и тщательно расчесанным на затылке английским пробором; в шляпе держал он свод кассационных решений.

— Помилуйте, что же это, наконец, будет? Ведь совсем нельзя защищать! Так неравномерно составлять списки! Борода на бороде, бородой погоняет! — говорит знаменитый адвокат.

— Гм, гм... Серо, серо, — морщась, ворчит другой, «не знаменитый» адвокат.

— Нынче вся сессия серая... Радуйтесь! Ха-ха-ха! — ядовито замечает мундирный молодой человек. — Цветы вашего красноречия можете и не тратить понапрасну. Поберегите до благоприятного времени! Да и дам что-то мало собирается. Серенькая сессия-с, серенькая...

— Это невозможно... Я отведу... всех серых отведу. Мое дело такое... деликатное...

— А у вас что? Растрата сумм?

— Да... «недоразумение»!

— Так «серые» не годятся; нужно «разумеющих»? Это не то что какого-нибудь сиволапого защищать, который то «по глупости» ребра поломает, то «по непреднамеренности», после полуштофа водки, жену удавит, то на закуску стащит стяг севрюги у соседа «со взломом»!

— Как бы то ни было, а мне нужен теперь состав деликатный.

— Э, батюшка! Будто бы не знаете, что с этими серяками ваш брат всякие штуки может проделывать! С ними еще лучше. Говорят, раздать вот каждому, хотя теперь, по записке и написать на ней: «Нет, не

виновен...» Пусть и помнят, и заучивают... Право попробуйте!

— Смейтесь! Я посмотрю, посмотрю да и велю своему клиенту сердцебиением захворать, вот мы другой сессии и дождемся... Ох, уж заедешь в эту вашу трущобу!..

— Столичная вы птица! Погодите, вот скоро у нас двоеженца будут судить... Вот бы вам!.. Что, не возьметесь? Из образованных...

— Слышал! Голяк...

— Ради красноречия... Можно бы цветы рассыпать: все наши сливки соберутся, все дамы — в самых лучших нарядах... Дело романтическое: он — молодой, умный, образованный, она — милая, грациозная, певица... Жалко, жалко, что вы упускаете случай блеснуть своею красотой и образованностью...

— При этих «серых»-то? Покорно благодарю!

— Недолюбливает нас, серяков, баринок-то! — заметил Недоуздок Фомушке.

— Дело господское.

Вдоль приемной степенно прохаживались, оглядывая присяжных, батюшка в шелковой рясе, с наперсным крестом, красным лицом и широкою лысиной, расчесывая жидкие вьющиеся волосы, и солидный толстый господин с широким лицом и большим носом, в форменном фраке не судебного ведомства; он держал в руках шелковый фуляр и вертел табакерку; на толстой шее болтался у него орденок.

— Вот посмотрите, каких присылают, — говорил толстяк, показывая на Фомушку. — Они думают, что если у них там выжившие из ума «старики» первые судьи во всем, так и в округе за первый сорт сойдут... Я полагаю, что закон в этом случае недосмотрел: шестьдесят лет — большой срок. Вы не поверите, как скоро эти господа глупеют! У меня крепостные, бывало, до тридцати лет — дурак набитый, ничего не понимает, только и знает: «как старики»; с тридцати лет начинает как будто в ум входить; не успел еще хорошенько войти в него, как лет с пятидесяти уже начинает «забываться» и опять глупеть. По-моему, пятьдесят лет — вот срок для них... Ведь это не мы!.. Если их «правоспособность» ограничить периодом

десяти лет, было бы много лучше. Списки составлялись бы равномернее, процент «серого элемента» был бы меньше, контроль был бы возможнее... А он необходим, потому что тут ведь один инстинкт...

— От непросвещения-с,— заметил батюшка, изгибаясь всем корпусом, чтобы достать со дна кармана платок из сиреневого цвета полукафтанья. Они остановились пред Фомушкой.

— Э-эх, старик, старик,— с сожалением сказал толстяк с орденом, слегка обмахивая нос шелковым фуляром,— сидел бы ты на печи дома да грелся... Присяжный ведь, поди?

— Удостоен на старости лет, сударь... Привел господь и мне на конце жизни хотя раз великому делу причаститься...

— То-то, «великому делу»... Ты думаешь, здесь то же, что у вас по волостям: сойдутся старики, покряхтят, сказку расскажут — и конец... Вот вы своего-то батюшку спросили ли, каково «велико» это дело-то?.. Он бы вам сказал. Кабы ты понимал, так лучше сидел бы на печи, да грелся, да богу молился, чтоб господь отвел с глупым-то разумом от мудреного дела.

— Неужто, батюшко, не годимся? Думается, что, мол, какие ни есть, сударь, тоже люди... Знамо, мужичий разум — что вода темная, только ведь мы с молитвой на это дело идем.

— То-то и есть, «вода темная»... А из-за тебя, глядишь, хороший человек в Сибирь угодит, а мошенник гулять пойдет.

Фомушка посмотрел во все глаза на большой нос толстяка, на его пухлые щеки, толстую шею с орденом. Что-то его словно резнуло по сердцу, задело за живое.

— Чать, у меня, милой, крест-то тоже есть на шее, хотя и не такой, что у тебя. Ума, может, с твое не хватит, а душа христианская.

Толстяк побагровел; батюшка закашлял, поспешил принять озабоченный вид и отойти. Кругом начали прислушиваться другие присяжные.

— У вас все «душа»,— процедил, поворачиваясь, толстяк.— Вы и глупы «по душе», и мошенники «по душе»!

— О чем вы? — любопытствовали присяжные.

— Огорчаются нами,— промолвил Фомушка.

Вошел торопливо судебный пристав с белою цепочкой на шее, с записочкой и карандашом в руках.

— Господа присяжные,— сказал он громко и внушительно,— потрудитесь все отойти — вот сюда.

Присяжные поднялись, задвигались и собрались в кучку — крестьяне в один угол, прочие в стороне.

— Купеческий сын Петр Иванович Сабиков!— начал перекликать пристав.

— Здесь. Налицо-с.

— Отойдите к этой стороне.

— Крестьянин Лука Трофимов!

— Здесь,— отвечал Лука.

— Отойдите. Крестьянин Петр Недоуздок!

— Здесь!— выкрикнул Недоуздок и перешел в другой угол.

— Крестьянин Филипп Иванов Савелов!

— Здесь... Сами-с,— тихо проговорил седой низенький и юркий старик, отходя к стене и прячась за спины присяжных.

Недоуздок, раскрыв, по обыкновению, «восторженно» рот, с удивлением смотрел на шабринского соседа. Пристав продолжал перекличку. К нему подошли с вопросами: «Ну, что? Все? А?»

— Нет, двадцать восемь только, а нужно тридцать шесть,— пожимая плечами, отвечал он.

— Ну-ну, не допущу,— сказал адвокат с пенсне,— отложат... И прекрасно.

— А ты с коих это пор, Пармен Петрович, в Филиппы-то Ивановы записался?— подошел и спросил Недоуздок Савелова.

— Ай ты забыл?.. С чего это ты, брат?— проговорил смешавшийся Савелов.

— То-то я тебя Парменом знавал, а теперь в судьи попал — Филиппом стал... Разве перекрестился?

Но тут подошли к ним Лука Трофимыч и шабринские.

— Чего ты пристаешь?— приступили шабринские к Недоуздку.— Свою волость знай, а в чужую не суйся. Что за пристав?

Савелов мигал своим, боясь скандала.

— Отойди, Петра! Вспомни, что старшина наказы-

вал,— сказал рассудительный Лука Трофимыч, видя, что их соседи косо смотрят на них.

— Мне-ка что!— говорил Недоуздок, передергивая плечами.— Пущай хоть Маланьей зовись. Они народ богатый... може, им позволительно...

— Да ты, может, ошибся? Запамятовал?

— Ну, вот! Чай, у него зятя так-то зовут: я и дружкой у его-то зятя был. У них на фабрике работал полгода. Это вы не знаете, а я знаю. Да и по фамилии-то они Гарькины будут.

— Все ж тебе не след соваться: ты не один. Спаси, господи, всех нас под свидетельство подведешь.

— Да ведь мне плевать на них! Пущай! Я ведь ничего!

— Ну, и молчи. И хорошо, что с нами на постоялом не встали. Вишь, им не по нраву.

Скоро ввели присяжных в залу заседаний. Прежде всего шли они по ней гуськом, боязливо передвигая ноги; затем Недоуздок испугался больше всего священника и налоя с евангелием и крестом: они произвели на него сильное впечатление. Присяжные старались не смотреть по сторонам и глядели прямо против себя, в упор, на поместившегося против них прокурора и «знаменитого» адвоката, который, рисуясь, метал на них из-под пенсне сердитые взгляды. «Чего этот баринок, подумаешь, взъелся на нас!» — размышлял Недоуздок и никак не мог понять. Раздались известные слова: «Прошу встать: суд идет!» Присяжные-крестьяне вздрогнули, испугались, смешались и, вставши, долго еще не решались сесть, ожидая, не скажет ли чего-нибудь еще пристав, но тот начал им молча махать руками. Началась известная процедура, но скоро встал адвокат и развязно, как не особенно важное, что-то сказал. Крестьяне-присяжные никак не могли разобрать, даже Недоуздок, которому очень хотелось знать, что «баринок» про них говорил, но как он внимательно ни вслушивался, ничего не понял. Затем председатель молча качнулся корпусом к прокурору, тот тоже, едва привстав, что-то ответил, а что именно — крестьяне ничего не поняли. Судьи стали шептаться и наконец объявили, что сегодня, по неполному комплекту присяжных, заседание не состоится.

Стали толковать о причине неявки присяжных; большую часть штрафовали. Недоуздок удивился величине штрафов. «Полсотни... слышь? — толкал он под бок Фомушку. — Купецкий шраф... Нам бы это ни к чему — и взять не с чего».

Наконец их отпустили, сказав, чтоб приходили завтра.

Общее впечатление формальной стороны суда на крестьян-присяжных было очень смутное, неясное; все они словно в тумане ходили и не могли ничего понять. Им все казалось, что их куда-то ведут, где-то сажают, поднимают, перекликают и все приказывают: «Встаньте, сядьте, подойдите, отойдите...» Поэтому первые дела всегда трудно даются присяжным. Наши были счастливее: им было время принаровиться, одуматься, присмотреться после разнообразных «внушительностей».

III

Общинники и собственники

Присяжные вышли из суда гурьбой; постояли на крыльце; потом стали спускаться с лестницы, шаг за шагом. Разбились на кучки; слышались возгласы: «Вот оно как ноне: не захотел судиться — до завтра оставят. Не притесняют, без прижимки».

— А все же, брат, завтра али послезавтра, а в свое место уйдет, куда судьба тащит.

— Уйдет! Суд свое возьмет.

— Ах, чтоб те! День-то даром пропал... Баловство, гульба! — ворчал какой-то мещанин, перегоняя пеньковцев.

— Знамо, гуляй. Мы судьи! — трунил Недоуздок.

— Тебе хорошо на общинные-то деньги, — говорил мещанин. — А вот тут — проежа! Кто тебе заплатит?

— Неужто у тебя меньше нашего денег?

— Всяк себе свой счет знает. Вот вы бы одни и судили с приказными, коли любо. Вам это в привычку. А нам ни к чему: у нас судов нет и не было. Нам баловаться некогда — у нас каждый день копейку вы-

жми, копейку произведи. А тут пятнадцать ден — заведенье! Только продержка, баловство, по трактирам обчистка, сиротской копейки прижимка.

— А ты, сиротская копейка, не балуйся, не ходи в трактир.

Шабринские шли в стороне и что-то горячо рассуждали со стариком Гарькиным (Савелов тож). Наконец один отделился от них и подошел к пеньковцам.

— Вы, соседи, теперь куда? — спросил он их.

— Ко дворам, обедать думаем.

— Рано. Лучше пойдем в трактир — чаю попьем. Благо денек выдался — погулять хоть. В другой раз, сказывают, и рад бы, да не выпустят.

— Капиталы-то у нас не очень припасены на чаи-то. Это вы уж гуляйте, — отвечал угрюмо Лука Трофимыч.

— И у нас тоже немного. Да коли угощают, так чего отказываться. У них денег много. От добра отказываться грех.

— Коли угощают, так и ступай.

— Вы подите. Вас зовут. Соседи ведь будем... По соседству.

— Что ж, соседи? — заговорил, подходя и приподнимая шляпу, старик Гарькин (Савелов тож). — Не обижайте, не откажите принять наше угощенье... Здесь, на чужой стороне, что за счеты! А мы тоже с вами не далекие, кабысь совсем свои. Недаром шабрами[1] из веков звались. Уважьте. Нам это будет не в разор, а в одолженье... Друг об дружке, а бог обо всех.

— Да ведь какие у нас с вами такие знакомства? Вы люди богатые, собственники...[2] Ваше дело купеческое, фабричное, — говорил Лука Трофимыч.

— Полно, отец, что ты! Мы ежели и собственники, так всегда к обчеству близки. Купцы! Что за купцы, коли в крестьянском звании находимся? А что насчет знакомства, так вот Недоуздок ваш нам большой благо-

---

[1] Шабер, шабры — сосед, соседи. *(Прим. автора.)*

[2] Крестьяне, в описываемой нами местности, называют собственниками только тех, которые владеют недвижимым имуществом, приобретенным помимо общего надела и выкупа, и то в значительном количестве. *(Прим. автора.)*

приятель даже... Чать, помнишь, Петра, как дружкой-то пировал? А тебя помнят: прибаутчик был ты завзятый.

— Как не помнить! Я с тех пор и имя-то твое крещеное помню...

— Ну, это, други, оставим. По крестьянству порой на это не очень смотрят. Как кто ни зовись, был бы человек хороший, с душой. Для дела в этом разницы нет. Может, еще другой-то человек с душой и лучше для дела-то. Так ли я говорю?

— Так что ж и в самом деле, братцы?— спросил Недоуздок.— Коли человек хороший, отчего не уважить?.. А? А оно пополоскать тепленьким животы важно было бы с дороги!

В это время присяжные подошли к трактиру; шабринские стали подниматься по лестнице; пеньковцы подумали, подумали и тоже пристали к ним. Только Фомушка не пошел,— он совсем разнемогся и поплелся на квартиру. Тут пеньковцы заметили, что старушка-крестьянка, которую встретили они в суде, не отставала от них и теперь поплелась вместе с Фомушкой.

Войдя в трактир, все отправились было, по привычке, мимо буфета на «черную половину», заметив в ней серые полушубки.

— Сюда-с, направо пожалуйте. Господа присяжные!— крикнул, выбегая из-за стойки, толстобрюхий, на коротеньких ножках хозяин, улыбаясь, расшаркиваясь и неимоверно быстро действуя локтями.— Помилуйте, господа присяжные, что вы-с! Вот сюда-с! Разве это можно-с?.. С черным народом? Что вы-с?.. Это для нашего города даже большой стыд, ежели... Даже для самого государства-с, я так полагаю... Как же можно-с? Мы обязаны со всяким уважением принять... Располагайтесь!.. Федька, салфетку поверни!.. Располагайтесь свободней, вот на диванчик...

— Почету-то сколько за нонешний день набрался, за пазухой домой не унесешь!— удивлялся Недоуздок.

— Как же-с! Помилуйте... Мы, горожане, вас обязаны даже с хлебом-солью принимать... Потому, господа, через вас сельское обчество с городским обчест-

вом в один интерес входят,— говорил политик-трактирщик.— А то на черную половину! Нельзя-с... Городу обидно... Мы городские представители-с, гласные, так скажем, а вы наши гости... Вот отсюда все на виду-с... Вот и господа там кушают... Чайку-с? Сколько парочек? На всех прикажете?

— Да, на всех... Чайку... Да там пропустить, что ли, с огурчиком,— заказывал Гарькин.

— Водочки-с?.. Сию минуту... Федька! «Поповки» господам присяжным!— распоряжался хозяин, так ловко повертывая большим животом, что вызвал даже Недоуздка на удивление: «Вишь ты, как брюхо-то поворачивает! Не даром копейку выжимает!»

Однако хозяин-политик все же посадил «господ присяжных» наших на средней половине, а не на «чистой», где сидели купцы и чиновники, хотя она и отделялась всего четырьмя колонками. Но и такой мизерный и призрачный «почет», которым сегодня с самого утра награждала «округа» мало избалованных крестьян-присяжных, доставлял им детское удовольствие.

— Важно быть присяжным! Со всяким ты равен! Изредка побаловать нашего брата можно... Ничего... Хорошо! Будто веселей неумытым-то рылом взглянешь!— высказывал вслух свои тайные ощущения Недоуздок.

Вообще он был, казалось, всех довольнее своим «судейским положением». Глубоко впечатлительный, он отзывался на все «по душе»; все его интересовало, все он любопытствовал и все принимал за чистую монету, но зато больше и грубее всех ему приходилось и разочаровываться и затем глубоко страдать или удивляться своему же разочарованию. Шутить с такими натурами опасно: что́ уже им дано, то они хотят пить полною чашей, не удовольствуясь полумерой, одним «прихлебыванием». Им все или ничего. Такие натуры — прекрасный пробный камень для «благих намерений» и «прекрасных слов».

— Те-те-те! Постойте!— вдруг заговорил купеческий сын Сабиков, заметив шабринских, и подошел к ним, всматриваясь в Гарькина.— Ну, так и есть! Вот ведь, насилу узнал... Смотрю на суде, что лицо знакомое

будто!.. Чье, мол, думаю? Да опять фамилия не такая! Думаю, забыл... Ведь Гарькины будете?

— Нет-с, мы Савеловы,— несколько смутившись, проговорил Гарькин.

— Опять Савеловы! И в суде Савеловы! Вот подите же! А у меня вот так на уме и вертится, что вы Гарькины.

— Нет-с, Савеловы. Это бывает часто: будто затмение...

— Да, это случается. Но все же я так ясно помню: ведь у вас фабрика полотняная в Шабрах?

— Имеем-с.

— Ну, вот... Ведь вы были в *** в прошлом году на ярмонке? Еще я у вас полотно покупал... Припомните-ка: еще я тогда забраковал у вас, руками разорвал чуть не полкуска.

— Не припомню-с. Это вот, может, зять мой. Так тот точно что и по фамилии Гарькин. Да я ему и все дела по фабрике сдал, потому, по старости, не занимаюсь.

— Странно, странно... А у меня где-нибудь дома даже и записано... Ну, батюшка, нажгли вы было меня с полотном-то! А я еще хотел тогда жене поручить... Вот уж именно пословица-то: на то щука в море, чтоб карась не дремал... А быть бы мне карасем. Вообще, видно, вы народ оборотливый...

— Не знаю-с. У меня так не бывало. Впрочем, за зятя не ответчик. Он, точно, человек оборотистый. Может быть, и было что... По купечеству... Хе-хе-хе! Дело коммерческое.

— Нда. Что́, если бы нашего брата не на две недели только, а каждый день в году заставлять присягу принимать? А? Пред каждою сделкой? Ведь коммерция рушилась бы, совсем бы рушилась.

— Не знаю... Нельзя полагать. Я так думаю, что, ежели тебе есть резон обмануть, так ты и с присягой и без присяги обманешь... А не обманешь — не продашь!— прибавил Гарькин и весело засмеялся. Он совсем овладел собой, смущение даже заменилось игривостью.

— Верно, верно...

— При этом-с, кроме того, и присяга ведь розная,—

продолжал Гарькин, ловко поправляя рукава и принимаясь развязно споласкивать чашки.— Примерно хоть присяжный: дает он присягу в том, чтоб судить по чести, по совести... И будет судить, и от присяги не отступится. Ну, только это дело от всех других его дел опять-таки сторона. Тут он слободен делать, как ему нужно. Судить дал он присягу по убеждению совести, нелицеприятно, и судит так... А спроси ты его в это время: как тебя зовут? Акулиной,— скажет он. И ничуть это противу присяги его не будет, коли ежели в этом его интерес есть: может, вся жизнь, дети, семья, состояние... Так ли я говорю-с?

— Оно, конечно... Только ведь каково дело, каков предлог?

— Знамо, коммерческое-с... В этом деле сам господь снисходительствует.

— Именно, снисходительствует... Пожалуй, что и правда... Ха-ха-ха!.. Ведь вот теперь хоть бы мое дело: ей-богу, с радостью бы сообщил, если б только поверили, что у меня жена умирает... Сейчас бы в суд прошение — и марш домой. Теперь, поверите ли, ведь совсем в две-то недели все дела станут. Ярмонка — и послать некого... Жена на сносях, седьмым, господь с ней... Просто хоть плачь. А тут опять расходы: ведь здесь рублем в день не обернешься, соблазны, притом ежеминутно! В суде опять: глядишь, пирожок — гривенник, котлетка — четвертак... Кушает господин прокурор, ну и тебе как-то обидно отстать. На серяках не взыщут, хоть каравай за пазухой притащи, а нам нельзя. Вот рассказывают: коммерсант один вдруг получил телеграмму на самом заседании, что у него отец умирает. Прочитал, даже побледнел, затрясся весь. Посмотрели: сейчас же отпустили, даже слова не сказали. А все вздор: отец-то здоровехонек был; вот ведь как представился! Побледнел! Знает, что справляться никто не поскачет. Нда-с... А у меня даже и случай есть: жена родит. Право, хочу уведомить, чтоб она телеграммишку сюда черкнула: «Приезжай, милый супруг! Совсем, мол, у меня дух вон!»

Недоуздок не утерпел, чтоб не заметить, что купцам, видно, и уставы не писаны никакие.

— Ну, а вы что?— накинулся на него купеческий

сын.— Святее, что ли, нас? Поди, нет у вас «нетчиков», али не запаивают мир, чтоб в очередь не заносили? Думаешь, вы одни святые?

— Да нам к чему в нетчики-то идти? Мы общинники. Нам ни к чему. Мы еще даже, пожалуй, в охоту по зиме-то сходим; проветришься лучше, чем на печи-то преть,— отвечал Лука Трофимыч.— Вот собственники — дело другое... Али вон летом и нам...

— Хорошо вам общинные-то деньги проедать!

— Хороша проежа!— крикнул Недоуздок.— Ах, купец! Мирскому пятиалтынному — и тому ты позавидовал...

— Все же хоть пятиалтынный есть с кого взять... А мы с кого взыщем?

— И у вас обчество есть.

— Наше-то, брат, общество скажет: у тебя денег много у самого, на то ты и купец.

— Так об чем же, почтенный, горюешь? Денег много, а он горюет! Это как будто не дело, как будто выходит: и не надо, а все-таки урвать.

Лука Трофимыч и прочие присяжные сосредоточенно и недовольно молчали, даже шабринских коробило от излишней «игривости» старика Гарькина, увлекшегося слишком своими «коммерческими принципами» в разговоре с купеческим сыном, и сидевший рядом с ним шабер не раз ткнул его исподтишка под бок. Луке Трофимычу начинали не нравиться трактирные разговоры: ему постоянно вспоминался старшина и его «напутствие», в основательность которого он не мог не верить по предшествовавшему опыту.

Между тем посетители собирались в трактире все отборнее и отборнее. Недоуздок обратился весь в слух и наблюдение.

— Ничего! Кажись нам теперь округа во всем обличии... Здесь на свободе... Посмотрим мы тебя, как ты об нас, серяках, теперь полагаешь...

Однако пеньковцы, наскоро напившись чаю, боялись долго оставаться в трактире и ушли. Только Недоуздок остался: он не мог не удовлетворить своего любопытства вконец.

IV

Мужики

Вернувшись на постоялый двор, пеньковцы удивились, найдя комнату, в которой они помещались, пустою и отпертою; но тут скоро заметили, что в одном углу, на нарах, ютилась старуха крестьянка. Она, казалось, совсем облюбовала этот угол и расположилась в нем «по-хозяйному»; вверху на гвоздочки развесила плетенки из суконной покромки, какие-то мешочки, бурачки и приладила образок. Сама она, обернувшись сгорбленною спиной к двери, копалась в мешке с холстинными постромками, подшитом сверху телячьей потертой шкурой с изношенного солдатского ранца. Старуха была теперь в крашенинном синем сарафане и в составленном из разных лоскуточков повойнике на голове; из-под серой грубой рубахи смотрела ее впалая грудь темно-коричневого цвета. Сморщенное маленькое лицо ее носило по изборожденным шрамами и морщинами щекам следы бесконечно пролитых слез, оставивших в них после себя темные дорожки примоченной грязи.

— А ты что, старушка, здесь делаешь?— спросил Бычков, заметив ее.

Старушка встала и низко поклонилась пеньковцам.

— А я вот, почтенные, со старичком вашим!— отвечала она.

— Сдружились?

— Спокою его... Слаб он у вас, старичок. Претерпел от вьюги. Зорок мой глаз на это: сейчас заприметит. Тем и по селеньям нашим известна. Тем и век свой проживаю, что болящего спокою...

— Лекарка будешь?

— Нету. Я молитвой. Жальливая я... Из-за наших грехов старичку напасть пришла... Из-за грехов наших потрудился.

— Из каких из наших?

— Так, из наших. И я для него должна потрудиться ради господа моего. «Бабочка,— говорит мне старичок,— тоска,— говорит,— мне на сердце большая. Шел я на великое дело, на ответное — за неразумный

грех человеческий у царя и закона постоять, да не принимает, должно, господь моего заступления, попустил он, батюшко, вьюге сломить старые кости, а людской обиде сломить и смутить до конца дух мой». Помолимся, говорю я, грешные.

— А где же ты нашего старичка сокрыла? А?— спрашивал Бычков.— Смотри, бабка, не смути его у нас... Где у тебя он?

— Нишкните, милые; чуточку забылся. На полатях он. Сном господь исцеленье всякой душевной истоме приносит.

— Так помолились, старушка? Дело доброе... Вот мы после суда-то и поженим вас, пожалуй. Ишь вы у нас как слюбились!— шутили присяжные, распоясываясь и снимая свои «парадные одеяния».

— Встали мы пред иконою,— неторопливо продолжала старуха,— и помолились: за сродников, за родителев, за царя-батюшку, за судию благодушного, за скорбящего, несчастного, за законом обличенного...

— Умеешь ты, бабка, хорошо молиться!— восхищались присяжные.

— Потому у меня душа чиста, что стекло прозрачное. Я давно так научилась молиться.

— За что ж это тебя господь сподобил?

— За смиренное терпение... Я не ропщу.

— А сын, старушка?

— Ежели господу угодно, он надежду мою поддержит. Не угодно — смирюсь.

— Истинно ты, бабушка, богу угодишь этим.

— Господь награждает меня. Благодарю его всечастно. Святыми целеньями я от него завсегда награждена на людскую нужду.

Крестьянка вынула из висевшего на поясе кармана, из разноцветного ситца, пузыречки и показала пеньковцам.

— Вот маслице от споручницы... Вот от Миколы-угодника из самой мощи... Вот от живоносного источника... Спрыснула я старичка святою водой от живоносного источника, обвязала ему голову ледяною примочкой. Успокоился старец божий, просветлел, что младенец. А болен у вас он, болен! Натрудился шибко.

— Что сделаешь, бабка!.. За наши грехи бог, долж-

но, наслал экую метелицу... Может, нарочно нас отстранял, потому, надо полагать, что недостойны... Вишь-де лапотники, пешкара эдкая, лошаденок жалеем, пешком идем, а туда же судьи... Недаром здесь нами гнушаются... Знамо, больно уж ловки стали, в судьи захотели... С барями да богатеями судить!.. Вот господь за гордость-то мужичью... и того,— философствовал Еремей Горшок,— и карает...

— Ври больше!— сердито сказал Лука Трофимыч.

— Да, право, тоска! Ты смотри, сколько на нас из-за этого самого обижаются... Пущай бы их одни судили, коли не по нраву с нами...

— Знал бы, не пошел,— сказал другой Еремей.— Лучше откупиться! Всякую напраслину на тебя гнут...

— Смирись,— поучал Лука Трофимыч.

— Мы, кажись, смирны... Уж так смирны, что малый ребенок и тот тебе в бороду плюнет!

— Обедать бы, братцы, лучше... А во всем прочем буди воля божия!— заметил Бычков, засунув широкие ладони за пояс.

— Обедать так обедать. Заказывай,— отозвались пеньковцы.— Недоуздка нам ждать нечего. Это уж мужик такой: по три дня скорее не евши пробудет, чем дело не выследит.

Сели обедать. Все стали добродушнее. Завели разговоры.

— Бабка, похлебай с нами. Недорого возьмем. А то за нашего старичка и так покормим,— предложили присяжные.

— Спасибо. Я этим себя не питаю.

— Что ж так?

— Я — что птаха малая... У меня и тела нет!

— Оттого и тела нет, что ешь мало...

— Нет, не от этого. А тела нет, оно и не требует... Сухонького пожую — и довольно... Пять лет уж я так-то...

— Из тебя, мотри, моща выйдет.

— Выйдет, думать нужно. Я и теперь моща, только живая.

— А ты чья, бабка?

— Я-то? Я беглая.

— Беглая? От кого?

— От хозяина.

— За что так?

— Пятый год я беглая. Жили мы большою семьей: два брата. Большак-то вдовый, трое малых ребятишек у него. Такой он тихой в характере, за ребятишками своими что баба ходил, нянчился. Зимой истопит печку, перемоет всех, вычешет. Дивно на него смотреть было, да и смешно. Мой был мужик рассудительный; он все подсмеивался над большаком, «женкой» его прозвал и считал себя не в пример умнее. Мой не скажет: «Люблю, мол, тебя, Паранька!» — нет, он все эдак норовит по уму сказать: «Мы с вами примерно, Прасковья Титовна, от самого господа бога и с благословения родительского любиться должны... Так ты по сторонам не разувай глаза-то». Не нравилось ему, что большак другой раз с базару платок мне привезет, сластей каких. Сынишку нашего тоже баловал. Пришло так, уехал мой-то в Нижний, а большак к знахарке ходил, питья мне какого-то в квас влил. Может, этим больше и обошел меня. Тем делу конец бы, потому я скоро свой грех пред господом сознала, стала в церковь ходить, покаянье на себя наложила. И все внутри меня что-то говорило: «Не видать тебе, раба Прасковья, до конца твоей жизни счастия! Весь дом твой несчастием порешится. А будет твоей душе спокой, ежели скитаться будешь по земле и помогать болящим... И даю я тебе провиденье — всякую болезнь в человеке признавать, и ты, болезнь ту провидевши, должна за тем человеком следовать... Вот тебе м о й приказ».

— Как же хозяин-то?

— Пришел и признал. Сейчас с братом в раздел. Стали делиться, а большак все себе и отсудил. Тут мой уж стал бить меня. Я молчу и только к сынку привязалась, десятый годок ему шел. Он и его у меня отнял в ученье. А сам все бьет; два года бил: грудки отшиб. Стала я сохнуть. Тут я надумала: «Божье повеленье исполнить требуется». И ушла в бега: в Соловки ходила, в Новом Ерусалиме была, по всем обителям странствовала. Вернулась тихонько домой — сынку четырнадцатый годок шел; и стал он щепка щепкой, и как будто рассудком тронувшись. «Петя, —

говорю,— это я, матка твоя».— «Вижу»,— говорит. «Не рад ты мне?» — «Нет,— говорит,— ступай опять в бега... Узнает отец — убьет и тебя, и меня!» Горько мне было, заплакала я — ушла опять к Киеву. Год ходила. Вернулась сюда, в город, слышу, говорит мне один мужичок из наших: «Твоего сына судить будут...» — «За что?» — спрашиваю. «Отец, слышь, его из-за тебя избил; привязал к телеге — да вожжами... Зверь стал — насилу оттащили. А после того Петьку-то поймали у задворок со спичками. Избу хотел поджечь. А отец-то пьяный спал. Хорошо, что усмотрели. Спалил бы и деревню!»

— А сколько тебе, бабка, лет?— прервал ее Бычков.

— Третий десяток в исходе.

Пеньковцы посмотрели на нее.

— Ну, истинно твое слово: недаром твое покаянье... В половину тебе господь годов прибавил — веку укоротил.

В эту минуту за дверью послышался разговор.

Пеньковцы стали вслушиваться.

— Не нас ли кто ищет?— сказал Лука Трофимыч, приподнимаясь, чтоб справиться.

Дверь отворилась, и в ней показался хозяин, за ним солдат, длинный и прямой, как веха, с корявым, усеянным прыщами лицом; в руках у него была книга.

— Господа присяжные? Вот здесь-с. Они самые. Получайте!— говорил хозяин, пропуская вперед солдата и показывая на пеньковцев.

Пеньковцы все поднялись, только крестьянка как сидела, так и осталась невозмутимою.

Солдат, не снимая кепи, молча подошел к окну и стал рыться в книге. Наконец он вынул лоскут бумаги.

— Фома Фомич кто из вас?— спросил он.

— Есть. Старичок будет. Вот на полатях он!

— Можно, чай, слезать с полатей-то. Не велик барин!

— Болеет он у нас, кавалер,— жалобно заговорил Лука,— уж просим прощенья... Потрогать жалеем... Забылся только что.

— Ну, мне все равно. Вот повестка. В семь часов приказано явиться. Вы с ним одной волости?

— Одной.

— Все?

— Мы все пеньковские. Других нет...

— И женка?— спросил солдат, кивнув на крестьянку и едва изобразив на корявом лице какое-то подобие улыбки.— От скуки, что ли, прихватили с собой... Али, может, и женка в присяжных тоже?

— Нет-с... Зачем же?..— умильно улыбаясь, объяснял Лука Трофимыч.— Так, бабочка... Набеглая... Присталая, выходит...

— Ну, и ее тащи к нам,— шутил солдат.

— Непочто, господин служивый, непочто... Мы вам не слуги... Мужики вам слуги, а мы, благодарение отцу милостиву, не слуги еще вам... Мы, бабы, не вам — богу служим!— заявила храбро «беглая бабка».

— Вот так женка — заноза!— продолжал шутить солдат и потом, быстро обернувшись опять к пеньковцам, сурово прибавил:— Так всем вам, пеньковцам, явиться к семи часам.

Пеньковцы перепугались и молчали.

— А не известны вы будете, господин кавалер, к чему это нас?— проговорил дрожащим голосом Лука Трофимыч.

— Там объявят... За хорошим делом к нам звать не станут.

Солдат оставил повестку и ушел.

— Что за грех?— спрашивал тихо Лука Трофимыч, всматриваясь в боязливо недоумевавших пеньковцев.— Ч-чу-де-са-а!.. Сохрани, господи-батюшко, Миколай-угодник! Что за притча? Не Пётра ли что?

— Фомушку, слышишь, зовут. К чему тут Пётра?— заметил Бычков.

— Ну-ко, Дорофей, прочитай поскладней, нет ли там чего еще? Не прописано ли?— обратился к нему Лука, подавая повестку.

Бычков стал читать по складам, но, кроме приказания крестьянину Пеньковской волости Фоме Фомину явиться в семь часов пополудни сего ноября, дня, такого-то года, не нашел ничего, хотя посмотрел и на другую сторону и даже долго и тщетно старался разобрать хитрый росчерк у подписи письмоводителя.

— Помилуй нас, грешных!— глубоко вздохнули пеньковцы.

— Смотри, братцы, часы-то бы как не проворонить. Вишь, здесь какие строгости — все строки,— внушал обстоятельный мужик.— Ты, Еремей, карауль смотри. Почаще к хозяину-то понаведывайся. Да не задрыхни, спаси господи, как ни то грехом; не ложись на лавку-то, а у стола присядь... Да вот, вот бабка-то, может, приглядит за тобой. А мы отдохнем пока.

— Ну, братцы, чудеса здесь!— продолжал он, собираясь ложиться.— И ума теперь совсем решишься... Не соображусь...

— Да прежде-то разве не бывало?— спросили другие.

— Как не бывало!.. Всяко бывало... То-то вот и пужаешься... Думается теперь, как-никак, а беспременно по трактирным делам... Вишь, что горожане чудят над нами.

— Тьфу ты, господи!— рассердился наконец всегда смирный и покорный Еремей Горшок.— Дались тебе, Лука, эти трактиры. На всякое дело у него одно решенье — трактир! Да неужто, кроме трактира, так уж над нами и чудить некому? Не клином, чать, округа-то сошлась... И опять, разве Фомушка был хоша раз в трактире?

— Так, так... Совсем оглупел, братцы! Простите,— признался благодушно Лука Трофимыч, зевая и крестя рот.

Смерклось. Зазвонили к вечерням. Дежурный Еремей Горшок, все время дремавший за столом и то и дело просыпавшийся и бегавший на хозяйскую половину справляться о времени, перебудил пеньковцев.

Встал и Фомушка. Спросили его товарищи, не знает ли он, зачем его вызывают.

— Господь знает, милые,— отвечал он.— Какой бы уж грех от старика мог быть? Только что разве вот в округе с барином одним говорил — с крестом был тот барин... Так он же меня обидел. А больше греха за собой не припомню.

Повздыхали присяжные и стали понемногу сбираться «на приглашение».

Собрался кое-как и Фомушка, окутав, по настоянию «беглой бабочки», все лицо, голову и шею, которые у него горели, платком.

— Не след бы старичку ходить... Ох, не след бы! — толковала она.— Трудно будет старичку перенести!

Когда пеньковцы выходили на Московскую улицу, заметили они сквозь сумерки чью-то подвигавшуюся к ним темную фигуру в картузе, шедшую неровным, торопливым шагом, постоянно сбиваясь с протоптанной по снегу дорожки в лежавшие по бокам сугробы; темная фигура изредка размахивала руками и, вероятно, вела таинственные разговоры сама с собой; вообще она сильно смахивала на подпившего человека.

Фигура в картузе прошла было, не замечая пеньковцев, мимо, но они, всмотревшись, окрикнули:

— Пётра!.. Ты это?

Фигура в картузе остановилась и в недоумении, как впросонках, не понимая ничего, смотрела на них.

— Чего ты опешил? Воротись: идти нам нужно всем. Объявиться приказ вышел.

— Куда? — спросил Недоуздок, быстро подходя к ним: это был действительно он.

— В контору приказано. Вот Фомушку требовают и нас всех с ним.

— А-а! Па-анимаю...— заговорил Недоуздок про себя.— Учить, значит...

— С шабринскими, что ли, угостился? — спросил недовольно наблюдавший за ним Лука Трофимыч.— Не след бы... И без угощеньев ихних беда на тебя из-за каждого угла налетает.

Недоуздок счел ненужным отвечать и доказывать неосновательность павшего на него подозрения: он знал, что был почти пьян, но только не от вина. Он присоединился к товарищам и снова погрузился в разрешение каких-то таинственных вопросов.

В канцелярии полувоенного ведомства долго сидели пеньковцы по скамьям передней, вздыхали и смотрели,

как солдаты курили махорку и играли у ночника в три листика.

Часа через полтора пришел высокий, толстый, бакастый господин, в полуформенной одежде. Сверкнув глазами на пеньковцев из-под фуражки, он, не снимая ее и бросив с плеч на руки подскочившим солдатам шинель, прошел быстро в дальние комнаты.

Минут через десять раздался по комнатам повелительный и несколько охриплый окрик:

— Фома Фомин! Здесь?

— Здесь! Фома Фомин, который?— засуетились солдаты.

— Сюда!— крикнул опять голос.

Солдат повел Фомушку через неосвещенные комнаты на голос. Фомушку била лихорадка, но не от боязни, а от развившейся болезни.

Дверь за ним затворилась, и все смолкло.

— Пеньковцев! Сюда!— раздался опять голос.

Тот же солдат ввел пеньковцев в комнату, где сидел перед столом, покрытым клеенкой, разбросанными бумагами, шнуровыми книгами, с медною лампой с тусклым абажуром, полуформенный господин, погрузившись внимательно в чтение каких-то листов. В стороне стоял Фомушка. Пеньковцы боязливо и бегло взглянули на него: лицо его было красно и лихорадочно пылало, губы дрожали.

— Вы кто?— сверкнул на них взглядом, на секунду подняв от бумаги голову, полуформенный господин.

— Крестьяне, ваше бл-дие.

— То-то. Мужики?

— Так точно-с.

— Я вас спрашиваю: мужики?

— Они самые будем-с,— упавшим голосом ответил Лука.

— И больше ничего?

Мужики молчали.

— Ничего больше?— тоном выше переспросил полуформенный господин.

— Так точно-с... То ись...

— Без всяких «то ись»!

Помолчали.

— И вы это звание свое помните хорошо?

— Довольно хорошо, ваше бл-дие.

— Плохо, я говорю.

— То ись... Ежели... Ваше бл-дие.

— Без «то ись»! (Тоны повышаются crescendo.) Плохо, говорю я.

Пеньковцы замолчали.

— Если вы забудете, кто вы и что́ вы (взор полуформенного господина молнией проносится по пеньковцам), тогда... Это что значит?— вдруг прерывает он себя, обращаясь к Недоуздку.— Что это значит? Я тебя спрашиваю! (Указательный палец допрашивающего начинает внушительно тыкать по направлению ко рту Недоуздка, у которого в углах губ начинается какая-то игра.)

— Не могу знать,— отвечал Недоуздок и стыдливо утер широкою ладонью усы и бороду.

— Ты не утирай, не торопись, братец... Что это у тебя выражает?.. А? Он всегда так смеется?— спросил быстро пеньковцев бакастый господин.

Пеньковцы посмотрели на Недоуздка.

— Не примечали, ваше бл-дие.

— Скажите, какой смешливый!.. А?.. Сма-атри, братец!.. Сма-атри!.. Как прозываешься? (Допрашивающий берет карандаш.)

— Недоуздок.

— Узду пора!.. Слышишь?

Полуформенный господин что-то бегло начал писать.

— Если вы забудете, кто вы и что́ вы,— проговорил он после небольшого молчания, растягивая слова,— так вот он вам скажет,— он показал на Фомушку.— Ты передай им,— прибавил он ему.— Ступайте!

Пеньковцы вышли. Молча и медленно подвигались они к квартире. К Фомушке, однако, не навязывались с расспросами, оттого ли, что щадили болевшего товарища, или оттого, что очень хорошо знали, в чем состояли бы его ответы.

— Пётра,— проговорил Фомушка,— ослаб я. Подведи меня.

Недоуздок взял его под руку.

— Ты не бойся, Фомушка... Ничего!— успокаивал он его.

— Чего мне бояться? Господь с ними! Пущай учат, коли любо.

— Что за грех такой, Фомушка?.. И за что это нам остраску задали? Ась? — осторожно спросил Лука Трофимыч.

— Тот... с крестом-то... толстый...

Губы Фомушки задрожали, застучали зубы; лихорадка опять забила и не дала договорить.

В квартире Фомушку приняла «беглая бабочка».

— Э-эх, старичка как ушибло! — ворчала она. — Ушибло старичка совсем. Не нужно бы ходить, говорила я. Сбегайте-ка, родные, за водкой, натрем мы его! — говорила она, укладывая Фомушку на нары.

— Братцы, тяжело мне! — простонал старик.

— Что́, Фомушка, велено тебе сказать-то нам? — спросил опять Лука Трофимыч, как будто боясь, чтобы он не испустил дух.

— Пустите! Зачем кушак? И зачем вы кушаком меня окручиваете? Только что сняли — и опять кушак...

Фомушка забредил. Лука Трофимыч боязливо отошел и перекрестился.

Долго и угрюмо сидели присяжные в этот зимний вечер в округе.

V

«Оправили»

Фомушке становилось хуже; идти ему в суд — нечего было и думать. Хозяин начинал сердиться и посылал в больницу. «Беглая бабочка» неустанно ходила за больным: спрыскивала его «святыми целеньями», привязывала к голове примочки из разведенного в водке снега, подавала ему пить. Пеньковцы были ей рады, так как могли совершенно спокойно оставить больного на ее попечении. Сами они пошли в суд. Лука Трофимыч искоса и пристально наблюдал за Недоуздком, который так необычно вел себя, что, не будь он на ногах, можно бы было принять его за больного одною с Фомушкой болезнью: он или задумчиво мол-

чал, или говорил что-то про себя, отвечал невпопад и несообразно совсем.

В суде народу было сегодня немного, только «свои», судейские. Приходили какие-то господа с барынями, посмотрели на вывешенное у залы заседаний расписание дел и, прочитав, что на сегодня назначено к разбору дело о покушении на поджог малолетнего крестьянина Петра Петрова, 16 лет, махнули рукой и ушли. Подсудимый был худой, с тупым и равнодушным взглядом мальчик лет пятнадцати; он так был мал и сух, что казался еще моложе; белые волосы у него острижены были в кружок и падали на лоб, он не поправлял их; ушедшие глубоко в орбиты глаза следили одинаково равнодушно и за судьями в мундирах, и за мужиками-свидетелями, и за дремавшим и клевавшим носом у двери залы сторожем, обязанным отпирать и запирать залу во время разбора дела. Он даже очень долго и пристально всматривался в ружье стоявшего с ним рядом солдата и так был занят, казалось, мыслью разузнать и превзойти всю хитрую механику курка, что не один раз заставлял председательствующего повторять вопросы. Отвечал он односложно, беззвучно. Свидетели, пятеро его однодеревенцев, из которых один был староста, другой сотский, постоянно выказывали желание отвечать за него, подсказывали ему, вроде того: «Петька, не трусь ты; чего трусишь? Свои здесь!.. Говори: ваше, мол, высокоблагородие, виноват, мол, точно, ну, а при сем... Ты, родной, смелее». А когда их председательствующий останавливал, они говорили между собой: «Глупыш еще!.. Не разумеет ведь... Что на нем взять?»

Присяжные, в числе двенадцати человек, все были крестьяне. Можно было предполагать, так как дело шло о поджоге, что защитник отвел богатых собственников, а прокурор, напротив, отвел тех из крестьян, которые казались на вид «нехозяйными»; но как большинство из тридцати человек все-таки были крестьяне, то состав исключительно и наполнился ими. Только купеческий сын попал в запас, чем и остался очень недоволен, так как дело было для него неинтересное, а приходилось «зря» быть внимательным. Из наших знакомцев вошли в состав суда: Бычков, которого, по

грамотности, выбрали в старшины, Лука Трофимыч и один Еремей; прочие были незнакомы, и в число их попал и мещанин. Недоуздок и другие пеньковцы не пошли домой, а поместились на скамьях, назначенных для публики. Пеньковцы только в конце судебного следствия догадались, что подсудимый мальчик был сын «беглой бабочки», а именно при показании одного из свидетелей, сотского, поймавшего его на месте преступления, о «буйстве» и «необстоятельности» его отца, от которого даже «женка должна в бегах состоять вот уж пятый год...». Из речи прокурора и защитника узнали они, что мальчик судится второй раз, так как решение первого состава присяжных почему-то было кассировано защитником, но почему именно — они никак не могли понять, ибо дело касалось какой-то хитрой юридической формы. Нашим присяжным, казалось, приятно было это случайное совпадение, и они весело переглянулись с пеньковцами, сидевшими в числе слушателей. Те тоже ответили им какою-то мимикой, дескать: «Вот он, бог-то!.. Ты и гляди... Каждый день бабочка понапрасну в суд ходила, ждала, а ноне, когда для богоугодного дела при мужике осталась, как нарочно господь на нас и навел... полосу-то». Пеньковцам нравилось и то, что суд шел скоро, без всяких «смущений». Прокурор и защитник не «травились». Медленно выплыли присяжные из совещательной комнаты и тем же торжественным шагом, каким обыкновенно идут в церкви к причастию, вышли перед судейскую эстраду. Бычков, до невозможности высоко подняв голос, прочитал оправдательный приговор. Пеньковцы, сидевшие на скамьях зрителей, были уверены в этом приговоре, но все еще боялись, что вот-вот председательствующий скажет: «Эх, вы! Разве так судят здесь, по-мужицки?.. Разве мужицкий здесь суд?» Когда же председательствующий поднялся и объявил: «Подсудимый, вы свободны; можете идти куда угодно», сердце у Еремея Горшка и Недоуздка застучало. Посторонняя публика вышла. Мещанин тотчас же, как ушли судьи, стремительно убежал «выжимать копейку». Дело «освобождения невинного» совершилось просто. Никаких восклицаний, восторгов. Пеньковцы и свидетели подошли к Петюньке.

— Ну вот, Петька, и молись за них теперь богу,— сказали свидетели, показывая на присяжных,— им скажи спасибо.

— Бога, малец, бога благодари!— откликнулись присяжные.

— Вот мы, брат, какие... так-то!— прибавил, улыбаясь, купеческий сын и тоже радовался, забыв, при общем увлечении, что он нисколько в этом деле не повинен, а сидел «в запасе».

— Ну, а теперь, Петька, в деревню с нами собирайся. Опять заживем!

— Я не пойду.

— Да куда ж ты, глупый, пойдешь? Ведь так-то и на поселенье сошлют... Почему ж ты не пойдешь?

— Отца боюсь.

— Отца не бойся теперь! Теперь он сократился... Теперь кто ж ему над тобой власть даст? Теперь ты по закону слободен!

— Я птицу стрелять пойду... Ружье достану...

— Ах ты, глупый!.. Вот он — малец, так малец и есть...

— А где у тебя, милый, матка-то?

— Матка в бегах.

— Вот и матку тебе разыщем мы,— сказали свидетели.

— Так, так. Мы и еще тебя порадуем: пойдем с нами, мы тебе ее, матку-то, покажем!— говорили присяжные.

— А где она? Она далеко.

— Совсем близко. При нас она живет. Она за тебя бога упросила. Так вот все к матке и пойдем. Господа кавалеры теперь уж тебя отпустят!

— Нет, нельзя... Мы его должны в тюрьму представить,— ответили солдаты.

— Зачем еще... али мало?

— Мало. Пущай попрощается. Тоже в чужой одежде нельзя. Казенное сначала вороти.

Солдаты встряхнули ружьями и, встав по обеим сторонам мальчугана, приготовились идти.

— Я не пойду! Пустите! Я убьюсь там,— проговорил «освобожденный» и заплакал.

В это время подошли к нему кругленький адвокат

и судебный пристав. Заметив слезы, они рассмеялись.

— Ты о чем плачешь? А?— спрашивает адвокат.— Недоволен мной, что я тебя освободил? А?.. Ну, как ты — не знаю, а я, брат, тобой доволен... Что ваш «товарищ»-то съел? — обратился он к приставу.— Ведь я говорил тогда, что кассация моя... Не хочет ли теперь еще со мной потягаться?.. Я так и быть уж, ради эдакого турнира, еще даровою защитой пожертвую... Ну, о чем же ты плачешь? А? Нá вот на калачи... Да меня помни!— прибавил адвокат Петюньке и сунул ему в руку рублевую бумажку.

Пеньковцы утешили мальчугана и объяснили, где ему найти их и матку, когда он совсем разделается с тюрьмой. Затем все вышли. У трактира нагнали они двух купцов, сидевших «в публике». Купцы повертывали ко входу и что-то сердито объясняли третьему.

— Конечно, это одна выходит зрятина,— говорил один.— Какой к суду страх будет? Мы же тогда обвинили, а теперь мужики верх взяли...

— Суды совсем мужицкие. Мужик задолеет — беда!— заметил другой.

— Конечно, беда!.. Теперь, господи благослови, первым делом они сейчас поджигальщиков оправдывают! Да теперь поджигальщики для хозяйного человека хуже из всех! Разбойник сноснее! Им, голякам, ничего! Они что? Однопортошники, одно слово... Сгорел шалаш у него в деревне — печали немного: взял порты под мышку и поселился у соседа... А разве мы при нашем имуществе можем это стерпеть?.. Судьи! Судилась бы гольтяпа промеж собой по деревням как знала.

— Это так. Нам с ними, мужиками, вовек не сойтись. Им преступник жалостен, а нам — страшен.

— Постой теперь! Теперь только дворников да собак позубастей заводи... Ха-ха-ха!..

Сумрачно, сыро и холодно в избе постоялого двора. Скверная сальная свечка, вставленная в горлышко бутылки, воняет и едва светит каким-то красноватым

светом. Фомушка лихорадочно мечется на нарах под дырявым полушубком; пеньковцы, понадев дубленки, или ежатся по углам, или бесцельно ходят с одного места на другое. В заднем углу нар «беглая бабочка» что-то копошится и шепчет около Петюньки, надевая ему на шею какие-то гайташки с ладанками. Петюнька сидит на лавке и, держа обеими руками французский хлеб, равнодушно жует и болтает ногами в большущих валеных сапогах. Недоуздок только что вернулся откуда-то; не сказав ни слова на недовольное ворчание Луки Трофимыча, подозревавшего его постоянно в сношении с Гарькиным и трактиром, он бросил в угол нар, в головы армяк и растянулся, закинув руки за голову; Лука Трофимыч чем-то недоволен и ворчит; Еремей Горшок сидит на лавке, сложив на брюхе руки, уткнув нос в бороду и покачивая головой, не то дремлет, не то думает о чем-то с закрытыми глазами. Бычков сидит у стола и соскабливает с него ногтем сальные лепешки. Видимо, все недовольны чем-то, всем не по себе. Так бывает всегда после неполной радости, нарушенного удовольствия, обманутого ожидания или же когда грубая, неуклюжая пошлость ни с того ни с сего ворвется к человеку в особенно высокие минуты душевного настроения и бессовестно оборвет высокую струну чувства, начинавшую звучать в душе.

Как будто впросонках слышит Недоуздок, что пришли однодеревенцы «беглой бабочки», староста, сотский и два крестьянина — народ по одежде, видно, бедный.

— Садитесь — гости будете!— приглашали пеньковцы, отодвигая от лавки стол.— Вот у нас хоромы-то какие, простор, да толку мало... Надули нас ловко. Тогда с вьюги-то показалось знатно тепло... Ну, а теперь господская-то печка не очень мужиков нежит!

— А мы вас насилу разыскали. Город. Народу всякого много.

Гости уселись по лавкам и стали говорить тихо, заметив метавшегося в лихорадке Фомушку.

— Болеет?— спросили они.

— Заболел. Вьюга по дороге-то настигла.

— Вы в больницу.

— Не желает. Погодите, просит, может, еще не смерть мне... Думает: что́ завтра.

— Ну, а мы, Петька, за сапогами, брат, пришли,— говорил сотский Петюньке.— Скидавай сапоги-то. Что делать? У меня у самого одни они надежа. В кожаных-то по теперешнему времени недалеко напляшешь до деревни, да и те худые... Разом с беспалыми ногами домой придешь. А ты вот получай свои узоры-то: в целости из тюрьмы выдали!— прибавил сотский, кладя на лавку растрепанные лаптишки.

— Стало, он в твоих сапогах-то? То-то больно уж велики.

— В моих. Чего! Пришел в острог-то, а ему и выйти не в чем; девять месяцев тому взяли его в шугайчике да лаптишках — они и есть только. А шапка?— спрашиваю. А шапки, говорят, и совсем не значится. Ну, сходил на фатеру, принес вот ему валенки да шапку дойти до матери.

Стукнули о пол сапоги,— Петюнька освободил из них свои худые, маленькие ноги.

— Вот так-то,— говорил сотский,— а ты богат теперь. Вишь, какую кредитку тебе дал аблакат-то на калачи! И на сапоги изойдет.

Слышит Недоуздок, как после того заговорил что-то Фомушка и заметался.

— Старуха,— тихо выговаривает он,— подь-ка ты сюды... Вот подыми-ка ты меня немного... Ну, так, так! Расстегни-ка грудь-то! Вот здесь... Ах, руки-то дрожат!.. На-ко вот, купи ребенку сапожнишки-то! Ох, дело-то студеное... Долго ли до беды... А у нас какие ведь вьюги-то!

Слышно, «беглая бабочка» всхлипывает и уговаривает Фомушку.

— Э-эх... Зачем только руки мне связали? Руки зачем?— начинает опять бредить Фомушка.— Лесничок, лесничок, Федосеюшко, развяжи кушак-то, родной...

Все молчат и боязливо слушают. Некоторые крестятся. «Беглая бабочка» спрыскивает Фомушку святою водой.

Немного погодя Фомушка успокоился. Стали опять разговаривать.

— Говорят, здесь обчество есть: помогает тем, которых освободят.

— Говорят, что есть. Ну, только хлопоты. Боятся они мужику деньги на руки выдать: пропьет, вишь! Так пойдут у них тут сначала справки от обчества, потом когда-то пришлют в волость. А из волости когда еще выдадут; и то с вычетом... Рубля три, может, и останется. На руки не дадут: это и говорить нечего... А ведь есть-то теперь нужно... Вот и босиком-то тоже зимой не больно находишься!

— Хорошо, кабы выдали. Вот и нам, может, что-нибудь перепало бы,— замечают свидетели.— Два раза гоняли. А мы люди небогатые. Прожились тоже.

— А помногу выдают?

— Нет, совсем стали помалу... Говорят, присяжные-крестьяне больно много голяков стали освобождать. Эдак, слышь, не годится. Денег не напасешься!

Опять бредит Фомушка. Невесело, вяло идет разговор про бедность, горе, несчастье. Кто-то опять заводит разговор с Петюнькой, чтоб повеселить компанию:

— Ну, Петька, рад, что домой пойдешь?

— Нет. Я не пойду,— отвечал Петька, грызя сухие баранки, которые сует ему в руку и за пазуху матка, тихо нашептывая: «Жуй, кровный, жуй со христом! Вишь, тельцо-то с тебя все посошло».

— В лес пойдешь? А? Птицу стрелять?

— В лес пойду... И мамку возьму...

— А мамку зачем?

— Отец убьет... Жалко...

— Мы отцу теперь не дадим бить.

Петюнька замолчал.

— А зачем раньше давали? — спросил он.— Все одно и теперь...

— Теперь мы его в холодную запрем.

— Из холодной он опять придет. А мы лучше с мамкой совсем уйдем.

— Вам нельзя. Земля за вами. Мы и пашпортов не дадим.

— Я в бега уйду.

— А чем жить будешь?

— Господи, помилуй нас, грешных,— прошептал Еремей Горшок, горячо молясь на сон грядущий.

Глава третья

СТОЛКНОВЕНИЯ В ОКРУГЕ И ПОСЛЕДОВАВШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

I

Во что разыгралась метелица

В предшествовавшую ночь, когда Недоуздок безысходно путался в неразрешимых противоречиях «судейского положения» и Еремей Горшок склонял к полу пред образом свою лысую голову, в эту пору на другой половине происходила такая сцена. Всю ночь дворник то ложился в постель, то сползал с нее, то зажигал свечу, босиком подходил к двери присяжных и чутко вслушивался, то будил жену.

— Стефанида, а Стефанида!— говорил он, подталкивая ее в бок.

— Ну!— откликалась впросонках супруга.

— Оторопь меня берет, дура!

— Да побоишься ли ты бога, Савелий Филиппыч, ни одной ты мне ночи спокою не даешь!

— Эка глупая,— удивлялся дворник,— хозяин мучается, а она спокой!.. И как это у тебя язык повернулся сказать!.. Дура ты, дура!.. Вставай, богу молись!

Едва стало светать, как Савелий уже явился на половину присяжных.

— Почтенные, почтенные!— покрикивал он в дверях, боязливо поглядывая в угол, где лежал под полушубком Фомушка.— Эй, господа присяжные!

Присяжные стали подыматься: сперва показалось им было, что не проспали ли они суд, так как некоторым из них уже во сне виделось, как их штрафовали за неявку, но потом удивились, к чему их так рано будит хозяин, так как припомнили, что суда на сегодня, по случаю праздника, не назначено, и еще вчера располагали поспать подольше.

— Чего требуется?— отозвались они.

Но в это время полушубок на Фомушке задвигался, и Фомушка стал медленно подниматься, опираясь на сухощавые руки.

Почтенный дворник задрожал и, быстро захлопнув дверь, ушел к жене.

Дело было в том, что почтенный гражданин, содержатель постоялого двора, в котором судьба указала ютиться нашим присяжным, стал с некоторого времени бояться покойников. И чем старше и степеннее он делался, чем полнее росло его довольство, чем ближе настигал он вожделенный идеал мирного мещанского жития, тем эта странная болезнь одолевала его все более. И чего только супруга его не делала: и отчитывала его, и свечи в соборе ставила, и молебны служила,— ничего не помогало. На беду, двор их стоял на пути к кладбищу, и хозяину каждый день суждено было следить за отправляющимися в лучший мир гражданами. Почтенный дворник перебрался было с супругой в задние апартаменты, но мирные тени опочивших горожан не оставляли тревожить и здесь по ночам чуткий сон его. Много толков, по обыкновению, ходило по этому поводу среди слободских обитателей, вообще любителей отыскивать причины тонких психических болезней, известных у них под общим собирательным именем «нечисти» или просто «чертовщины». Рассказывали, что это началось с дворником с тех пор, как в бытность его присяжным заседателем, в первую по открытии новых судов сессию, случилось что-то не совсем чистое: говорили, будто он запродал свой голос; рассказывали также, что ночью около его дома нашли среди дороги замерзшего, видимо в пьяном виде, свидетеля, который, как все знали, остановился дня за два пред тем на его постоялом дворе, и пр. и пр. Но так как психиатрические исследования обывателей должны быть принимаемы крайне осторожно, то мы и оставим вопрос «чертовщины» открытым и перейдем к изложению более достоверных наблюдений. Заметим только, что с тех пор как слег Фомушка, почтенным дворником совсем «он обладал», как по секрету сообщала своим приятельницам его супруга.

Присяжные еще почесывались, сидя на облежанных местах, и вздрагивали от пронизывающего холода и сырости, как вошла к ним жена дворника.

— Почтенные,— заговорила она,— уважьте нас, уберите своего старичка.

— Что́ вам старичок, чего он, старичок, мешает? — вступилась «беглая бабочка» из своего угла, торопливо подправляя под синий повойник выбившиеся седые косички.— Чем он вашему благополучию поперек встал?

— Ну, об нашем благополучии тебе говорить не подобает, сударка... А я тебе вот что скажу: и тебе хозяин приказал убраться... Живешь ты без платы, поселилась без приказу, того гляди умрешь — ишь вы какие с мальчонком-то и теперь точно мощи! А здесь город... Да и понятия тоже насчет смерти у нас другие...

— Не трожь ее... Мы заплатим,— сказал Лука Трофимыч.

— Что нам плата! Мы не из-за одной платы живем... Мы не мужики... У нас и другая какая причина найдется, чтоб за свой покой постоять. Вот за вашего старичка мы и от платы от всякой откажемся... Нам, может, тысяч не надо, только чтобы покой был... За тихий сон мы всем пожертвуем... Мы городские...

— Что я вам сделал? Э-эх, люди! — отозвался Фомушка.

— Ничего ты нам не сделал... Только покою лишил... Мы своим покоем дорожим... А потому в больницу ляг... В своем доме покойников не можем допустить, чтоб сна они нас решили...

— Да какой он покойник?.. С чего ты?.. Вон ему ноне полегче, и ночь спал спокойнее... Чего вы мужиков-то заживо боитесь?.. Ведь тебе ноне полегчало, Фомушка? — спросили пеньковцы.

— Как не легче? Известно, легче... А ежели в больницу, так тут и смерть моя!

— Чего не покойник? Совсем покойник! — уверяла дворничиха.— Хозяин мой уж ежели скажет, так верно... Дня за три уж он об этом извещен бывает...

— Кто ж его извещает? — спросил Недоуздок.

— Ну, ты над этим зубы-то не скаль... Мужик — так мужик и есть неверующий... Правда говорится: гром не грянет — мужик лба не перекрестит... А вот теперь присяжный ты, так после и увидишь, что это значит... Вам еще неизвестно, каково по благородным должностям состоять...

— А присяжные-то тут при чем?

— А так: измотает душу-то... Да и детям-то своим закажешь. Да и жену-то с ума сведешь...

— Н-ну! Настращены же вы, купцы!

— А я вот сказываю, чтоб ноне вы своего старика убрали. Без греха... Мы вам и лошадь приготовим... А коли нет, так все выбирайтесь подобру-поздорову... А тихий сон мне всех вас милее...

— Дай ты мне, милая, хоша денек отсрочки... Может, господь допустит, послужу завтра великому делу! — молил Фомушка, в душе которого едва заметное облегчение болезни вызвало вновь неудержимое желание «постоять за невольный грех человеческий пред царем и законом» и тем завершить дело своей жизни. Ему еще вчера снилось, как кто-то, неспознаемый, приходил к нему и шептал: «Заключенного в темнице посети, страждущего успокой, жаждущего напой, за обличенного постой»... Может быть, это долетали до его слуха слова длинной и четкой молитвы «беглой бабочки», которая, ложась вчера спать, перебирала на сон грядущий все статьи того кодекса отношений к несчастным, который создал себе народ под гнетом тяжелых веков. Но все равно, так или иначе это было, только Фомушке после того снилось, что он в суде, что стоит перед налоем с Евангелием и истово выговаривает: «Нет, не виновен!.. Господь с тобой!.. Молись за меня!» И на этом выражении всепрощения он проснулся и почувствовал, что ему как будто легче, как будто спал с него тяжкий кошмар горячечных видений.

— А ты полицией припугни!.. Чего тут еще канитель тянуть? Мы свой покой должны охранять! — раздалось за дверью.

— Опять они! — вскрикнул Фомушка, устремив свои серые, лихорадочно светящиеся глаза на дверь. — Они!.. Вот я их вижу... Вот толстый... И с крестом... Вот и этот... Зачем вы меня связываете? Зачем не допускаете?.. Милые, да разве я...

— Старичок, старичок!.. Смерть твоя тут пришла... Молись, что с твоим глупым разумом бог тебя от греха отвел...

— Опять! Слышу, слышу... Ум вам нужен, а душа

не нужна... Божью грозу вы своим умом отвести хотите?.. Руку господню задержать?

— Господи!.. Отходит, отходит! — крикнула в страхе дворничиха, крестя себя широкими размахами.— Что нам будет делать?.. Почтенные, прибирайте скорее его...

В эту минуту дверь отворилась, и дворник высунул в нее голову.

— Что ж это?.. Доколе же ты будешь сказки-то сказывать? — выпрямившись, загремел дворник.— Али я в своем дому не хозяин?.. Али я дурак, что вы надо мной издеваетесь? — гремел он сильнее, почуяв, что в слове любви нет места «ужасному заклятию».

— Н-ну, теперь вези меня...— прервал его Фомушка.— Погодь одну минутку... Вот, братцы, здесь... возьмите поберегите... А умру — так... этому горю... на сапожишки...

Фомушка снял с своей шеи кошель и подал его Луке.

— Ну, снаряжайтесь... Пойдем умирать!.. Помоги натянуть полушубок-то...

Дворник хотел что-то еще прогреметь, но в комнату вошел околоточный надзиратель, и он быстро изогнулся в его сторону.

— Ваше бл-родие!.. Сам бог вас посылает. Сделайте милость,— заговорил дворник,— моей мочи больше нет... В своем дому покоя не имею...

— В чем дело?

— А вот господа крестьяне заразу распространяют... Помилуйте, у нас тоже заведение, место входное... Сделайте милость!.. А уж мы вам... Жена!.. Что глаза-то пялишь? Живо — закусочку господину приставу... Самоварчик приставу... Самоварчик там, графинчик, грибов, белорыбочки...

— А кто здесь без паспорту проживает? — спросил полицейский.— Слух идет, что появилась какая-то женщина, называющая себя «беглой»...

— Беглая?.. Я, ваше благородие, беглая,— отозвалась «беглая бабочка» и, хитро встав перед полицейским, поклонилась ему в пояс.

— Ты по церквам ходишь?

— Хожу-с... Богу моему ежечасно служу...

— А в суде толкалась каждый день?

— И по судам ходила, ваше благородие.

— Собирайся... Тебя подозревают в покраже половой щетки и калош у швейцара суда и чайника с освященною водой из соборной трапезы... Не видал ли кто из вас у нее этих вещей?

— Не примечали,— сказал Лука Трофимыч,— точно что водица эта самая церковная была у нее. Старичка она нашего пользовала...

— Возьмите ее,— сказал околоточный солдатам.

— Извольте, ваше благородие... Я сама пойду,— смиренно проговорила «беглая бабочка»,— потому я против заступницы ничего не могу... Угодно ей на меня еще испытание наложить, я смиряюсь, за грех свой... Сказано: за грех твой кровь твоя прольется.

И «беглая бабочка» спокойно начала укладываться в своем ранце. Проснувшийся Петюнька сначала глядел, ничего не понимая, широко открытыми глазами на полицейских, но когда один из них подошел к ним и крикнул: «Нечего прятать: все равно осмотр будет»,— Петюнька заплакал.

— Мамка, зачем нас опять в острог? Не пойду я... Убейте меня... Убежим в лес, мамка...

— Не плачь, кровный... Не плачь... Это я уж теперь пойду... Ты уж отсидел свой черед... Теперь, кровный, тебе череда богу служить, мне терпеть... Так сказано...

— Мамка! А я куда?

— К богу, милый, ступай... К богу...

— Чего?— спросил пристав.— Да кстати, не здесь ли Фома Фомин проживает?— обратился он к пеньковцам.

— Здесь-с.

— По заявлению окружного суда требуется освидетельствовать его болезненное состояние через доктора земской больницы... Фома Фомин, собирайся!

— Я-то? Я готов... Да зачем вы бабочку тревожите? А? Али вконец ее, исстрадалую...

— Ты кто такой?— спросил полицейский.

— Я?.. Присяжный я, судья,— твердо выговорил Фомушка, даже с тем храбрым упорством, с каким иногда старики заявляют свои права на участие в жизни, в которой их песня спета.

— А вот сначала мы освидетельствуем... Нет ли у тебя чего-нибудь там,— повертел пристав пальцем около лба.— Собирайся!

— Готов я... Ведите!— порешил Фомушка, как будто сбросив со счетов жизни последнюю кость.

— Ну, и прекрасно,— похвалил пристав.

II

Городские сцены

В первый еще раз с начала зимы, утром нынешнего дня, солнце выглянуло из-за туч над городом и рассыпало целые снопы лучей и на белые, словно гагачьим пухом, покрытые мягким снегом кровли домов, и на тротуары улиц, по которым кое-где были протоптаны ранними пешеходами узкие тропки. День глянул весело; от бесконечно разнообразной игры света в снежных кристаллах приятно щекотало глаза, снег лежал так легко и мягко, что, казалось, достаточно было одного едва заметного дуновения, чтобы он вдруг поднялся с крыш к небу и там рассыпался в безбрежном воздушном пространстве. Легкий мороз подрумянивал щеки и, пробиваясь сквозь ткань к телу, бодрее гнал кровь в жилах, чутче и напряженнее делал нервы. В такой день тяжелая тоска овладевает сердцами тех, кого злая судьба приковывает к узкому, душному пространству, заключенному в четырех стенах, и тысячи таких сердец в эту минуту мучительно молят о свободе, о воздухе, стонут о жизни, о счастии...

Пеньковцы, ничего не привыкшие делать в одиночку, всякое дело решали скопом; так и в это утро, проводив всею артелью Фомушку в больницу, помещавшуюся за городом, медленно шли все они обратно, закинув руки за спины, распахнув широкие полы разлетаев, из-под которых виднелись красные кушаки, и уставив вниз бороды.

— Эко день-то какой — благодать!— сказал Бычков, любуясь на ярко блестевшие от солнца свои кувшинные купецкие сапоги.

— Кабы в такой день привел бог путину нас спра-

вить, може, и Фомушка был бы цел,— заметил Еремей Горшок.— А то вот и запрятали в духоту, смрад... Какое здоровье!.. А как он просил: здоров, говорит, я... Я, говорит, при этом солнышке-то оживу...

— А завтра, может, и еще кого запрячем,— в раздумье говорил Недоуздок и потом, оглянув всех, усмехнулся.

— Кого?— спросил Лука Трофимыч.

— Кому тоже солнышко мило...

— Ты всегда, что ворона, непутное пророчишь,— отозвался с неудовольствием Лука Трофимыч, вообще имевший какой-то суеверный страх ко всяким «непутным словам», которые порождали в нем разные «предчувствия».

Пеньковцы повернули к базарной площади. Базар был сегодня небольшой. Несколько возов виднелось кое-где; с полсотни мужиков что-то горланили у кабаков, и кабацкие двери постоянно визжали, то и дело отворяясь. Мужики выходили и входили в них, с заломленными на затылок шапками, с рукавицами под мышкой; у всех широкие ладони были распростерты; на ладонях лежали медные пятаки, которые они деликатно пересчитывали и поворачивали корявыми ногтями. Бабы, стоя около них и боязно поглядывая на эти распростертые ладони, с трепетом следили за выражением мужицких лиц, стараясь уловить витавшую на них мысль... Но выражение мужицких лиц было непроницаемо, как у сфинксов, и не было возможности уследить тот момент, когда «хозяева», утомленные долгими расчислениями и соображениями, вдруг быстро складывали распростертые ладони, опускали руки — и медяки пропадали от глаз жен в широких карманах, а мужья внезапно устремлялись к кабакам. Тут уж начиналась борьба. Бабы старались удержать хозяев за полы и рукава полушубков, разжалобить какими-то крикливыми нотами и напоминаниями. Но хозяйские ноги неуклонно шествовали к вожделенной цели. Такие толпы то там, то здесь рассыпались по площади, вполне поглощенные интересами «купли-продажи» и возможностью добыть малую копейку барыша для получения «хоть какого ни то для души удовольствия»... Пеньковцам понравилось на базаре.

Пред ними проходили знакомые картины родственной жизни. Они переходили от воза к возу, прислушивались к торгам, к громкому похлопыванию широких ладоней; прицenялись к муке, крупе, мясу, делали свои заключения. Они совсем увлеклись этими интересами. Даже мысль о «судейском положении» совсем вышла из головы пеньковцев.

Но в это время кто-то вдруг крикнул из толпы: «Везут! Везут!..» Все обратились по направлению, на которое указывал палец одного из обозников. Пеньковцы тоже приостановились и стали всматриваться: из переулка, примыкавшего к торговой площади, медленно двигалась какая-то процессия, похожая на похоронную. Она направлялась к какому-то черному помосту, высившемуся на середине площади, с торчавшим одиноко столбом.

— Братцы! Эшахвот! — крикнули в толпе, и вся она устремилась к помосту.

Из прилегающих улиц, домов и лавок бежали приказчики, купцы, сидельцы, кухарки и лакеи, с кулечками, из которых выглядывали мерзлые лапы всякой живности. Покорные общему инстинкту толпы, как-то совершенно невольно, торопливым шагом поспешили за нею и пеньковцы. Многие из них в былые времена бывали свидетелями таких позорищ, когда им случалось посещать округу. А что это были за позорища, то им напоминали о них их «железные» нервы, которые на много лет сохранили в себе следы впечатлений... Вероятная жажда повторения подобных же ощущений невольно влекла их и теперь вслед за толпой. Толпа уже собралась вкруг помоста, а поезд еще продолжал подвигаться: две клячонки, едва двигавшие разбитыми ногами, казалось, не тянули черные дроги, а сами подталкивались вперед огромным дышлом, которое, мотаясь то в ту, то в другую сторону, увлекало их за собой; сгорбившийся старый возница в дырявом полушубке и в шляпе из собачьей шкуры с поднятыми вверх ушами дергал неистово вожжами, махал длинным промерзшим и обледенелым кнутом и вообще так усердно поощрял своих кляч, что от них валил пар. Тем не менее поезд ни на шаг не подвигался скорее: ни клячи, ни возница не могли сократить

минут ожидания нетерпеливого чиновника в треуголке, махавшего белым носовым платком. Дроги, на летнем ходу, увязали в снегу, купались в ухабах, а замерзшие колеса не вертелись. Этапные солдаты ругались и грозились с возницей, то перегоняя, то останавливаясь поджидать слишком уж торжественно подъезжавший экипаж. Все это время толпа подсмеивалась над молодым «мундирным» человеком, одетым «налегке» и яростно бегавшим по помосту с портфелем под мышкой.

Слышался говор:

— Каторжный?

— К каторге приписан.

— А кто такой?

— Убивец.

— Из здешних?

— Нет, дальний... Из артельных... С чугунки... На чугунке работала артель-то...

— С чего ж это?

— Разно болтают...

— Знамо, не от добра...

Наконец поезд приблизился настолько, что можно было рассмотреть сидевшего на дрогах. Толпа сотнями глаз уставилась на обвиненного: это был молодой, не особенно здоровый мужик; лицо худое, весноватое; жиденькая бородка красиво обрамляла лицо; глаза полузакрыты; голова наклонена. При каждом ухабе, при каждом толчке он всем корпусом покачивался вместе с дрогами, как будто мускулы у него были расслаблены. За дрогами шли, спотыкаясь, две крестьянки с узелками: одна старая, другая молодая. Поезд заключал хромой, дряхлый старик с жиденькой седой бородкой; он торопливо ковылял, что-то бормоча себе под нос, и широко размахивал искалеченною ногой и толстою палкой, на которую упирался. Недоуздок весь был внимание; он не мог оторвать глаз от преступника, и чем ближе подвигались дроги, тем яснее ощущал он какое-то незнакомое ему прежде волнение: он не мог понять, отчего это с ним. Ему припомнилось, что он то же самое видел лет пятнадцать тому назад; но тогда была «кобыла», тогда он сам был мал... Недоуздок невольно бросил взгляд на помост: на нем

«кобылы» не было. Между тем, пока сходил с дрог преступник, пока молча делались приготовления на помосте, кучка любопытствующих обступила хромого старика и двух женщин.

— Сродственники будете? — спрашивали их.

— Родные... Сын будет.

— Ай-ай-ай! Горе какое! Что же это с ним у вас?

— Божье дело! Божье дело! — проговорил старик в изнеможении, обеими руками упираясь на костыль и низко опустив голову. Он тяжело вздохнул раз, другой и остался неподвижен: казалось, натрудившиеся члены застыли.

— Старик, а старик! Дяденька! Скажешь, что ль? — приставала к нему какая-то бойкая торговка.

— Оставьте его! Чего пристали?.. Видите, чай, тут горе замерло! — сказал кто-то.

Пеньковцы обернулись к старику: он стоял неподвижно, и только костыль подрагивал у него в руках.

Но бойкая торговка не унималась. Она допрашивала крестьянок. Крестьянки плакали и робели пред толпой.

— А ты не бойся, рассказывай... Нам ведь что!.. Нам только что из любопытства! — поощряли любопытные торговки.

— Недоимошники мы,— начала несмело старуха,— а у нас недоимошники все от мира в работу сдаются артельщикам... Артельщики за них подати внесут, а они к ним в работу, в правленьи, приписываются. Хошь не хошь — идешь... Артельщики их на чугунки справляют... На пристани... Так случилось, что нашего что ни год — к одному артельщику приписывали... Говорили мы волостному: «Ослобоните хошь годок, домом не справимся». А у него детки пошли... Жена молодайка... Ну, одначе, угнали... На чугунке они землю рыли... Осень стояла бедовая... По колени вода, в сараях — холод... Хворь пошла... Наш и подговорил артель убежать.... Прослышал он к тому, что артельщик похвалялся его молодайку смутить... Ну, бежали... Тут их вскорости поймали, на место опять вернули... Две недели их запертыми держали, потом на работы вывели... Тут приказчик этот над нашим надсмеялся...

А к вечеру его, артельщика-то, в яме нашли. Голова проломлена. Говорят, это Ванюша-то его...

Внятно слушали этот рассказ пеньковцы, между тем как глаза их пристально всматривались в «недоимошника». Он стоял у позорного столба, голова низко наклонена к груди, глаза закрыты; он не смотрел ни разу на толпу.

Только что мундирный человек начал читать, как откуда-то взявшийся изорванный «картуз» в валеных калошах вдруг крикнул, расталкивая толпу:

— Посторонитесь, посторонитесь! Присяжные здесь! Господа присяжные! Вперед!

Преступник поднял голову.

— Братцы, уйдем! Грех нам здесь стоять! — сказал Лука Трофимыч и перекрестился. Пеньковцы тоже перекрестились и, повернувшись к эшафоту, наклонив головы, вышли из толпы.

— Ванюшка!.. Что ты не потерпел, глупыш? — раздалось сзади их тихое восклицание, тут же поглощенное надорванным плачем.

Они обернулись: неподвижная фигура хромого старика отца стояла в той же позе, только все тело теперь вздрагивало, словно внутри его что-то переливалось. Еремей Горшок еще раз истово перекрестился.

В эту минуту присяжные сознали, что они уже с некоторых пор потеряли связь с «толпой».

III

* * *

Пеньковцы неторопливо опять двинулись было по Московской улице, как неожиданно сзади их раздались знакомые голоса:

— А это наши!.. Пеньковские... Гляди-кось!

— Они самые!.. Земляки! — окрикнул их голос.

Пеньковцы обернулись; к ним подходили двое фабричных с широкими улыбками, махая руками.

— Вот оно, бог-то привел где! — сказали и пеньковцы, озарившись тою же улыбкой. — Давно ли вы здесь?

— Почитай, полгода работаем... Вы как?.. Домишки наши что?

— Бог терпит пока.

— Ну, коли терпит, жить можно... Живы?

— Живы, все живы.

— Хлеб-то есть?

— Есть. До святой, так думаем, дотянем, ежели поосторожней... Ну, а там...

— Там мы пришлем... Скажите, чтоб не жались очень-то... Мы по десятке вышлем, прикупят... Ну, и слава те, господи!.. Больше хошь и не спрашивай! А вы как здесь? Вот здесь и забыли совсем... Очень уж рады вестям-то... Давно не получали...

— Мы здесь повинность правим...

— Присяжную?

— Присяжную.

— Ну-ну!.. Судьи, значит, вы теперь почетные! Вот как!.. И ты, Пётра, в судьях?

— Как же!

— Рад?.. Эх, хоть бы разок когда судьей побывать! — заметил один из фабричных.

— Радости мало, брат. То же и мы сначала-то полагали...

— Ну-у? Что так?

— Тяжело...

— Тяжело? — удивились фабричные.

— Недовольны нами. Плохо, говорят, мы судим... Судили бы, говорят, по деревням, а то в город залезли. Только и слышишь: серяки да серяки-неотесы... Дураки сиволапые.

— Пущай их! Вам что? Собаки лают — ветер носит... Вы вот не привыкли... А нам так это совсем нипочем. У нас своя гордость есть — тоже рыло всякому не подставим!

— Это так... Да главное дело в том, как тебе в уши-то постоянно трубят, что ты глуп, так и сам привыкнешь, и самому тебе думается. Какой ежели и был умишко, и тот потеряешь, и в тот веры решишься. Спознать-то себя времени не дадут. А уж ежели веру в себя потерял, какой уж тут судья!.. Грех такому судье быть!

— Какой уж тут судья! — согласились фабрич-

ные.— Да что мы, братцы, на холоду-то стоим!.. Это на радостях-то!.. Ну, дураки же мы... Земляки, пойдемте, хоть мы вас чайком попоим...

— Нет. Зачем же?— проговорил трусливо Лука Трофимыч.

— Что вы, братцы!.. Как «зачем»? Ведь нам не вчастую приходится чай-то с земляками распивать... Нынче ж праздник.

Присяжные и фабричные направились к трактиру политичного гласного.

— А у нас несчастие,— говорили пеньковцы по дороге.

— Ой? Не дай бог! Что такое?

— Старичка вот мы сегодня в больницу свалили... Настудился по дороге. Фомушку-то, знаете?

— Как не знать... Это благодушного-то?

— Он, он самый!

— Экая жалость! А уж кому быть судьей, так это ему... Как же так? Неуж пешком вы?

— Пешковыми.

— Ну, за это мы вас не похвалим. Всегда вы, деревенские, прижимисты. Человека не познобили бы...

— Точно, что поприжались немного... на этот раз, Недоимку внесли... Потрава тут у нас случилась, так судились, судились...

— Чай, поди, вдесятеро с писарями в кабаках пропили, как суды-то шли?

— Нет, оно точно что — капиталов мало.

— Нам бы отписали... Мы на это дело не постоим! Через год, что ли, очередь-то приходится? Али у нас денег нет!— шутливо ударил один из фабричных по карману с медяками.— Нас не обижайте!

Все улыбнулись, как улыбаются на героя-ребенка, храбро выступающего в бумажном шлеме с деревянною саблей.

— Братцы, неравно старичок долго проваляется в больнице-то, вы уж присмотрите за ним. Понаведайтесь.

— Что вы говорите!.. Разве мы не мужики?.. Нас не обижайте... Мы бы вот, пожалуй, и к себе взяли его, да у самих такие бараки, что ни день — в больницу

таскают... Кабы дворцы-то наши получше были, да хоша малую отдышку при работе, так жить можно... И молодух бы выписали. Мы не требовательны... Скажите молодайкам: ждут, мол, управляющий сменится, полегче будет; с бабами, слышь, жить будет можно... Управляющий новый, слышь, хозяина уговорил, что рабочий при бабе вдвое здоровее... И лекарь тут молодой приехал — тоже сказывает, что хозяину вдвое наработают, коли ежели рабочему хошь часок лишний отдышки при семействе дать да малую копейку на эту семью накинуть...

— Так... Так... Скажем... Рады будут... Так при бабах-то работа спорее?

— Много спорее. Теперь наш брат сколько денег по слободам тратит — страсть! А опять притом болезнь тащит. Фабрике тоже убыток — больные-то. Это все лекарь высчитал. Скажите: мужья, мол, вам, бабы, из городу наказали, чтоб вы как можно за этого лекаря молились. Не умолите за него бога,— и мужей вам, мол, не видать.

— Скажем, скажем. Они на это дело не постоят, лба не пожалеют. Лишний раз попам поклонятся. Они и так без нас такие-то ли богомолки стали,— шутили присяжные.

— Тут взмолишься! Да, земляки, не зайдем ли к нам, благо по пути? Вот только сейчас в переулок, тут около пруда и дворцы наши... Зайдемте. Посмотрите, как мы живем. Лучше рассказывать будете в деревне. Да и других наших, може, встретите, те тоже рады будут землякам.

— Что ж, мы с радостью. Время способное...

Все земляки Пеньковской волости повернули в переулок.

Пеньковцам беседа с земляками становилась все отраднее. Они были несказанно рады, что встретили близких людей в далеком, незнакомом городе, которым можно передать свои мысли и ощущения, с которыми могли потолковать от сердца, освободить души, переполненные несознанными, смутными впечатлениями.

Едва только прошли пеньковцы два коротких переулка, как свежее обоняние их тотчас дало знать, что завод близко.

— Вы кожевники ведь будете?

— Кожевники. Али уж наша-то амбра в нос шибанула?

— Приметно.

— А мы привыкли.

Когда прошли третий переулок, пред ними открылся кожевенный завод — огромное трехэтажное, с маленькими и частыми окнами, здание, кирпичное, почерневшее. По бокам и сзади стояли деревянные сараи серо-дымчатого цвета, с низкими фундаментами и высокими, готически-двухъярусными крышами. Пред фабрикой и кругом было грязно, неприглядно; несмотря на зиму, снег был перепачкан и забросан всякою дрянью; невдалеке был пруд, на котором пробито несколько прорубей. Около главного здания почти никого не было, зато у ворот, ведших во двор, была толкотня. Фабричные то входили, то выходили поодиночке и толпами, медленно и лениво, видимо, без определенной цели: войдут, пройдут несколько шагов, потопчутся на месте — и опять назад. На дворе то же самое. Двор лежит между деревянными флигелями, длинный и узкий; вдоль его, слева, тянутся кладовые, над ними сначала идут, во всю длину зданий, деревянные галереи, с протянутыми вертикально жердями, на которых висят провяливающиеся кожи, а затем высятся высокие крыши, с поместительными и свободно вентилирующимися чердаками. На дворе вонь становится еще невыносимее, а грязь от кожи и всяких обрезков так велика, что почти незаметно снега. Во флигеле, по правую сторону, те же галереи с кожами, хотя в нем отведены помещения для рабочих. По двору снуют рабочие, видимо, без толку; все они одеты по-праздничному — в синие кафтаны, новые картузы и шапки; у многих видны чистые рубахи, разноцветные шерстяные шарфы на шеях, но, заметно, они сами не знают, для чего вырядились: это было вроде того, как если бы съехались разодетые гости на давно ожидаемый бал в предвкушении приятного отдыха, веселых впечатлений, и вдруг им объявляют, что получена

телеграмма о смерти близкого к дому лица, и хозяева внезапно уехали. Потолкутся, потолкутся гости с вытянутыми физиономиями, скажут две-три остроты насчет «бренности земной жизни», кисло улыбнутся и разъедутся опять коротать вечер по домам. Незаметно и признака здорового, реального развлечения. По лицам ясно, что у всех бродит неопределенно тоскующая, «неустойчивая» мысль: такое состояние разрешается или отупением, или дикою выходкой. Вот идут навстречу один другому двое рабочих; у обоих в пригоршнях орехи; оба лениво грызут и еле передвигают ногами, оба как бы не замечают друг друга и сталкиваются. Орехи сыплются на снег. Ругань, а затем здоровый хохот. Весело обоим. Вот бросились рабочие на чей-то крик: рады скандалу.

— Бьют кого-то!— говорят пеньковцы.

— Что там?— допрашивают рабочие.

— Расправа... Опоек Васька стащил.

— У нас часто,— замечают земляки пеньковцам,— с вечера все спустили, а нынче на промысел. Ну, да у нас до суда не доводят всего-то. А то бы вам со всеми и не управиться.

У ворот еще раздается чей-то крик.

— Убью!.. Подступись!— кричит какой-то рабочий, размахивая правым кулаком, а левой рукой обнимая какую-то женщину.

— Ловок больно! Всем скучно!— кричат из толпы.

— Убью, говорю! Только подступись.

— Ха-ха-ха! Попалась Дунька в лапы...

— Долго ли до греха!.. А-ах!— покачал головой Еремей Горшок.

— У нас даже очень недолго. Мы вам говорили. У нас тут из-за солдаток такие баталии идут. Ну, земляки, теперь зажимай носы-то!— предостерегали фабричные, поднимаясь по широкой и убитой натасканным снегом лестнице в один из флигелей, где помещались рабочие.

Действительно, для непривычного человека вонь была нестерпимая. Во флигеле по стенам шли нары. Свет проходил только с одной стороны, и то плохо: окна были малы и заплесневели. Вентиляция в помещениях для кож была лучше, чем здесь.

— Лекарь этот,— говорили рабочие,— на том стоит, чтобы нам на вольных квартирах жить. А то, говорит, мы чистого воздуха не вдыхаем. Спросили нас; мы говорим: привыкли, не чувствуем... «Дураки,— говорит,— вы эдакие! Привыкнуть нос ко всякой гадости может, да здоровью-то от этого не лучше...» Такой чудак! А славный! Вот это он же о бабах-то хлопотал... А то вот поглядите, какое у нас веселье!— показали они в противоположный угол нар.

Там было человек пять рабочих. Среди них сидела растрепанная толстая женщина с раскрасневшимся лицом; она старалась повязать платок, но сзади кто-нибудь шутя сдергивал его.

— Черт хромой!— любезничала женщина, тузя кого-то кулаком в спину.

— Ха-ха-ха!— хохотали кругом.— Палагея Петровна, желаете, я вам унтера подпущу?— предлагал кто-то.

— Подпусти, подпусти!— поощряли прочие.

— Попробуй!— огрызалась женщина.

«Унтера» подпускали, и все разражалось хохотом.

Проходя дальше, пеньковцы-фабричные наткнулись на чьи-то ноги.

— Нну-у!.. Это — Опенок! Что ж вы человека-то не подымете?— обратились они к сидевшим у окон двоим молодым рабочим.— Недолго, чай!

— Пробовали, дерется... Не подымем.

Рабочие с пеньковцами подняли подпившего работника и положили на нары.

— Тоже вот!— рассказывали фабричные.— Был когда-то человек, а теперь, того гляди, сгинет.

— Что ж он?

— Очень об жене затосковал... Тоже ребятишки есть. Выписал было он их сюды, вольную квартиру снял. Все было спервоначалу хорошо шло. На ребятишек радовался,— мы их так и прозвали о п ё н к а м и... Месяца два протянул, а там, глядит, не в силу... Заработка не хватало... В деревне отец, земля — работницу надо... А жену взял, нужно работника нанимать. Думал, думал — никак не натянешь; опять в деревню проводил. Сам к нам перешел и затосковал, пить на-

чал. Чертит во всю мочь, а разве на это наших денег хватит?

— Вам бы его в деревню, к земле отпустить.

— К земле хорошо... С землей греха меньше...

— С землей — божье дело...

— Это так. Да ведь и от земли-то уйдешь, коли она не прокормит. Он теперь все ж как ни то управится с податями-то, а уйдет в деревню — волком вой.

Пеньковцы подошли к поместившемуся у окна рабочему. Он был худой, низенький, почти мальчик; но по бороде и старческому лицу ему было лет тридцать. Он лежал на животе, опершись на локти и подперев руками голову; под носом у него лежала книжка с лубочными картинами; он внятно и мерно читал, закрыв ладонями уши, весь погруженный в какой-то волшебный мир, который вызывала перед ним лубочная сказка.

— «И от-вер-жонный любовник упал к но-гам прелестной... Ельми-ры...» — истово выговаривал он.

— Это у нас грамотник,— рекомендовали пеньковцам,— рассказчик первейший! Сколько это он сказок знает — страсть! Другой раз попросим его — он и начнет!.. Начетчик! Не здесь бы ему быть!

— Что так?

— Умрет скоро... Вишь какой! — тихо прибавили фабричные.

Вот из дальнего угла раздалась гармоника: кто-то присел у дверей и, смотря в упор в окно, наигрывал со всем усердием камаринскую. Игрок ничего не замечал кругом себя; он, кажется, не чувствовал и своей музыки. По устремленным вдаль глазам приметно было, что его мысль витала где-то далеко отсюда.

— Зачем баб сюда водите? — вдруг окрикнул кто-то веселую компанию, подпускавшую «унтера».— Ведь сказано, что полиция запрещает...

— Это, Ван Ваныч, землячка.

— Все у вас землячки.

— Ей-богу! Из самой соседней слободы...

— Выбирайтесь, выбирайтесь!

— Мы только маненько поиграем, Ван Ваныч! Ей-богу.

— А это что за народ? — обратился к пеньковцам

допрашивавший седой старик с длинною бородой и выбритою маковицей,— очевидно, раскольник.

— Это земляки, Ван Ваныч.

— Опять земляки! А по-прежнему — кож не хватит, кто в ответе?

— На них не грешите, Ван Ваныч... Они — судьи...

— Судьи!.. Судьям-то нечего по фабрикам таскаться да с фабричною вольницей якшаться. Сидели бы по домам. А то наслушаются тут наговоров: то нехорошо, другое нехорошо. После только и слышишь: «Нет, не виновен!» Мы-де с судьями земляки! Нам теперь что!.. На замок бы запирать судей-то, чтоб они не шлялись да во все нос не совали...

Старик прошел дальше и долго еще что-то ворчал густым басом.

— Это кто будет?

— Это дядя нашему хозяину-то. Шишига как есть Сторожей не заводи: лучше пса хозяйское добро бережет. Каждый день с петухами встает да рабочих усчитывает. Ни минуты на работу не запоздай. Руки опустишь, сейчас приметит — штраф!..

— И в самом деле идти бы нам,— сказали пеньковцы.

— Что ж, посидите. Вот других-то земляков никого не видать. Ну, да мы скажем; они сами к вам забегут.

Посидели. Разговор не клеился.

— А у вас, точно, тоска...

— Не весело. С этой больше тоски и грех-то бывает. С ней и головы теряют. Жен нет, ребятишек тоже — к кому поластишься? Душа грубеет.

Скоро все вышли из флигеля на вольный воздух.

— Ну вот, землячки, и посмотрели наше житье-бытье... Каков заводский праздник?— говорили рабочие.

— Не очень чтобы весел.

— То-то и есть! Как тут в слободы не закатишься? Ну, а теперь уважьте нас: примите от нас угощенье... И нам с вами веселее будет.

Пеньковцы-присяжные и фабричные вошли в трактир политичного гласного.

IV

* * *

В трактир пеньковские рабочие вошли как «свои люди» и без стеснения начали располагаться на средней половине.

— Туда бы! — мотнули головами присяжные па серую половину.

— К чему? Мы не люди, что ли? А вам себя и подавно нечего унижать — нам стыд.

— Вы, фабричные, храбры.

— Мы себя знаем.

По случаю праздника в трактире много было народу, и наших присяжных не скоро заметили. Им это было по душе, только Недоуздок и Бычков то и дело заглядывали на чистую половину, где заметили Гарькина и шабринских, сидевших среди «господ». Это из ряда вон выходящее обстоятельство очень их интересовало.

— Наши бородачки-то... вишь ты! — показал Бычков на шабринских.

— Это все Гарькин их мутит, — заметил Лука Трофимыч. — Кабы не он, разве бы они полезли?

— И вам бы так нужно. Вы наши судьи, — сказали рабочие. — Лезть незачем, а прятаться по углам тоже не к чему.

— Способнее, — объявил Еремей Горшок.

Подали чай. Земляки повели беседу. Теперь уже рабочие отбирали вести во всех подробностях; пеньковцы обстоятельно им докладывали; выступили на сцену Матрены, Дарьи, Авдотьи, дядья Ферапонты и Наумы, тетки, отцы и матери крестные, пока не перебрана была почти половина деревни. Может быть, от родни дело перешло бы к начальству: старостам, писарям, но вполне «обстоятельному» разговору помешали какой-то приказный и мещанин, усевшиеся за соседним столом с полуштофом водки. Мещанин, должно быть, давно признал в пеньковцах присяжных; он несколько раз негодующе что-то ворчал и порывался встать с места, приходя в сильную ажитацию от разговора, который ведут присяжные.

— С-судьи!.. Ха! — взывал мещанин, с горькою иронией подмигивая приказному.

— Я тебе не раз говорил, — утешал приказный. — Одры! Я с ними принял муку, как старшиной был; благородного судили, чиновника! Пойми: титулярный советник. Ты можешь понять?..

— Да нет... Я вас спрошу, можете ли вы, — вдруг вскакивая и не обращая внимания на приказного, налетает мещанин на пеньковцев, искоса презрительным взглядом окидывая чашки, — можете вы понять, ежели... «адва-акат», «эксперты», «предупреждений совести»... теперича опять «юрист»?

Мужики сердито молчат и, стараясь не смотреть на мещанина, усиленно хлебают с блюдечек чай.

— Калачиков бы, хозяин! — спрашивает один из рабочих.

— «Калачиков бы»! — передразнивает мещанин. — С-судьи!..

— Софрон! Оставь! Плюнь! — говорит приказный.

Мещанин отходит, раздражительно подбирает полы чуйки и садится перед приказным.

— Выпей, — говорит ему приказный, — а потом, если ты хочешь, чтобы я с тобой водку пил, слушай меня. Первое дело — обвинение в мошенничестве. Я говорю: примите вы в резон, что он титулярный, — за что ему чин дан? Кто дал? Вы, говорю, подумайте, умные головы, кто это ему такой чин дал? Разве даром дают чины? Притом же он это сделал при своей бедности; потому он не может, чтоб у титулярного советника дочь полы мыла, а на фортепианах первая игральщица! При его превосходительстве, в личном присутствии, в дворянском собрании на благородных концертах играла. Так вы, умные головы, из деревеньто повылезши, эти дела перекрестившись обсуждайте, поопасливее... А они что?

— Что? — переспрашивает мещанин, снова начиная волноваться.

— Одры! Вот что!.. Два часа битых... из сил выбился... пот прошиб... Бился, бился — ничего не поделаешь... Ну, думаю, пускай! Так — так-так... Согласен, говорю, я с вами... Взял и подмахнул этот самый вердикт... Вышел, читаю: «Нет, не виновен»... А они

подумали, подумали да как бухнут: «Мы,— говорят,— так несогласны были...» Всех и вернули опять, нового старшину выбрали... Н-да, вот они какие!.. Ты вон послушай, что они говорят: Матрешки да Дуньки — это они знают хорошо... Это им по губе... А ведь у нас здесь «цивилизация». Понимаешь, Софроша?

Но мещанин опять не вытерпливает.

— Вы откуда будете?— грозно спрашивает он неньковцев, наморщивая брови.

— Мы-то?.. Мы из-под Горок.

— Горские! Так и есть, слава известная!.. Не вы ли двух крестьян с козой при царе Горохе судили?

Некоторые из гостей начинают прислушиваться.

— Нет, крестьян не судили.

— Не судили? Кто же их судил? Вы судьи-то!

— Кажись, тебе, слободская кость, лучше знать про козу-то,— сказали рабочие.

— Чего?

— Лучше тебе про козу-то знать. Коза — мещанину сноха. Кого хочешь спроси!

В публике хохот.

— Калашники!— ругается сконфуженный мещанин.

— Ну-ну!..— вступились рабочие.— Али нас не узнал?.. Мы ведь, брат, не деревенские...

— А слышали, братцы, что приказный про господ-то рассказывал?— сказал Еремей Горшок.

— Слышали, а что?

— То-то, мол... Это он верно. Мы вот тоже опасаемся. Слышь, придется скоро барчука судить, двуженца.

— Так что ж?

— То-то опасно. Бог их знает: ихняя душа нам потемки. Проштрафиться недолго.

— Это так,— подтвердили фабричные.— Вот мы вспомнили: было здесь такое дело, было. Рассказывали тогда по городу: из-за этого самого один присяжный мужичок в бега ушел.

— В бега?— переспросили присяжные.

— Совсем убег... Поискали, поискали — так и бросили.

— Что ж это с ним?

— А так: веры в себя решился... Очень уж мужичок-то был смирный да богу крепкий.

— О господи! — вздохнул Еремей Горшок. — Вот какие дела. Да бывает временем таково тяжело, что точно себя решишься.

В это время пеньковцев заметили с «чистой половины».

— А!.. Еще присяжные!.. Нужно представить! Нельзя! — кричал «градский представитель», имевший особенную страсть к представительству и всякого рода представлениям, толстенький, коротенький человек с розовыми, раздувшимися щеками, среди которых пропадал маленький нос пуговкой; он был в коротком узком пиджачке, который словно впивался в его рыхлое тело. — Нельзя! — кричал он. — Петя!.. Саша!.. Господа присяжные, вот рекомендую: местные адвокаты... Кандидаты прав, — рекомендовал он пеньковцам, показывая на двух братцев-адвокатов, в бархатных визитках, пивших у буфета на брудершафт, — вот-с они, петушки... Защитники наших интересов... Вот-с каких жеребцов вырастили... Все на городском фураже-с воспитывали! Еще по тридцати лет нет, а уж животики округляют... Ха-ха! Вот они какие нынче, наши-то ученые, не чета прежним, что сухопарыми цаплями ходили! А что касательно пушку, так вон, посмотрите-ка, какие вяточки у ворот стоят! Послужи нам — мы наградим!

Градский представитель пришел в совершенный восторг и до того увлекся, что начал что-то сообщать на ухо подвернувшемуся Недоуздку, хитро подмигивая на братцев-адвокатов.

— Так и споил, не глядя, что брат? — спрашивал Недоуздок.

— И споил! — восторгался представитель. — А дело было совсем труба. Как он его это накатил коньячищем (сам-то он крепок, Саша-то, ну, а Петя послабже будет), уснул тот, а Саша в суд, да к нотариусу, да пока тот спал, он все имение (князя какого-то) и заложил в тридцать тысяч... Ха-ха! А последний срок был! Проснулся Петя: «Ну, — говорит, — пора бежать в суд, как бы не опоздать запрещение наложить на княжеское имение, а то мои доверители-кредиторы

ничего не получат». — «Не торопись,— говорит,— Петя, я заложил уж!» — «Когда?» — «А вот, пока ты спал». — «И не совестно тебе брата спаивать? Ведь я тебе поверил...» — «Это тебе наука: вперед будь умнее...» Вот это так действо. И опять — как родные.

— Ну, и что ж они, эти ваши-то братья, только по денежным делам али и всех защищают?

— Они всех. Кого хочешь. Да, признаться вам сказать, кабы не они, так с нынешними судами — беда! Прежде знал, с кем дело имел, а нынче где судью-то искать будешь? Деньгами нынче не возьмешь. Вот ваш брат норовит все с обуха пришибить... Примерно купца вам засудить ничего не стоит. Вы в резон коммерции не принимаете. Тут одна надежда — на них. Напустят они этого туману мужикам в глаза...

— Нынче этому туману-то, почтенный, не очень даются. Спервоначала, может, и было, а теперь таких дураков мало,— заметил один из фабричных.

— Конечно, что... Мужицкие суды...

— Каких же бы вам, почтенные, судов нужно было, коль нонешние нехороши?

— Завсегдательских! Вот то суды!

— Хороши?

— Первый сорт! Примерно выбрали от сословий года на два, на три кого, ежели постепеннее, и спокойны... И знаешь, что тот уж настоящий судья, к нему и обращаешься, ему и почет такой. Да и сам уж он в этом направлении себя держит, а то — нынче лапти продает, завтра судит, а послезавтра свиней пасет...

— Обидно купцу стало крестьянское величанье,— заметил тот же фабричный.

— А подумаешь, нет?— накинулся на него представитель.— Нам, горожанству, одна полоса назначена, вам — другая. Так ты того и держись, и не суйся. Я еще говорить-то буду с тобой подумавши. Вот что! А то смешали всех... Земство! А сколько теперь город наш на мужиков зря денег переплатил? Одно это только неудовольствие... Мужики сдуру что́ сделают, а тут на всех мораль. Доблестное дворянство али степенное купечество вашим величаньем умаляйся! Величанье! Нет, ты сначала заслужи! Мы за медали-то

наши, может, сколько капиталов ввалили, а при чем они теперь? Храмов божьих настроили, градских богаделен, богоугодных зданий, украшений города — чье все?.. Все забыли... Мы, говорят, тоже мосты мостим! Ха-ха!..

— С чего же, друг почтенный, огорчился? Мы тебя не обижали,— сказал Недоуздок.

— Мы давно обижены.

Между тем на «чистой» половине, где собрались представители почти от всех сословий: купцы-присяжные и неприсяжные, чиновники, купеческий сын, шабринские, два коммерсанта, содержатели трактиров и водочных заводов и сам туз горожанства, замечательный только удивительною бородой-монстром, которую он, в то время когда ел и когда говорил «речь» в городской управе, ловко затискивал за борт жилета, с неизменным своим спутником «градским» архитектором,— шли такие разговоры:

— Согласитесь,— выкрикивал Саша, обращаясь к купеческому сыну, у которого все лицо лоснилось и блестело от какого-то удовольствия, как лоснились и его потертый сюртук, и старый жилет, и широчайшие тиковые штаны,— согласитесь: присяжные, представители общественной совести, и вдруг помещаются где-нибудь в харчевнях, питаются неудобоваримыми продуктами! Тогда как они должны иметь светлый взгляд...

— Прохарчка-с — это точно,— заметил купеческий сын, переходя за спину Саши.

— Прохарчка? Что такое прохарчка?.. Тут важно, чем мы с братом мотивируем. Брат, поди сюда! В чем главный мотив? Тут мотив важен. А какой мотив?— спросил Саша, уставив пристальный и даже сердитый взгляд на купеческого сына.— Позвольте предварительно спросить: у нас теперь что такое присяжные?

— Прися-яжные?— вдумчиво переспросил купеческий сын.— Все отцы семейств, смею доложить,— вдруг решил он.— Супруги, малютки, хозяйство оставлены на произвол, смею сказать, на четырнадцать ден-с без присмотру...

— Да я не в том смысле... Присяжные во все время сессии у нас разобщены, не имеют связи с обществом, им неизвестно состояние общественного мне-

ния по делу... От них скрыты симпатии и антипатии общества...

— Ежели к тому вести, конечно, что не мешает... Сначала ежели разузнать...

— Вот то-то и есть... Исходя из этих соображений, мы, я и брат, благодаря инициативе госпожи Штукмахер, дамы опытной в деле благих начинаний (она уже основала общество попечения о лицах «по суду оправдываемых» — слышали?), мы и решились приложить всевозможные старания, чтобы основать эдакий кружок, где могли бы предварительно всякое преступление...

— Преступное деяние, мой милый! — поправил, подходя, Петя.— Ну да, одним словом, обмен идей...

— Это верно-с... Только, извините-с, не каждому, осмелюсь сказать, по карману...

— Уж это будет дело общественной благотворительности. Нам уже обещано.

— Ежели так, очень даже приятно-с. Потому, как именно вы это сказали, много веселее... Насчет взгляду-то.

— Обещано!.. Вот почтенный гражданин Павел Павлыч... (Знаете?.. Нет? Познакомьтесь... Он теперь на поруках, но это одно недоразумение... Мы все это рассеем.) Он помещение даже предлагает в своем доме. Госпожа Штукмахер своим личным участием... Наш достоуважаемый, наконец, Петр Петрович...

— Ну, ты там, Сашенька, не заговаривайся... Я, брат, ничего тебе не обещал,— отозвался туз с «чистой» половины.

— Как не обещали? Ведь вы же согласились, что инициатива для нашего города необходима,— говорил Саша, подходя к «чистой» половине.

— Это, брат, не я, это губернатор...

— А сами просили еще написать доклад в управу!..

— Доклад, пожалуй... А только не обещаю, брат, на городское иждивение принимать...

— Да ведь выгоды-то какие! Мотив важен-с!

— Вот, впрочем, хочешь калачей? Могу обещать.

— Шутите!

— Ничего не шучу... Все же хоть калачи, чем по дворам ходить... А то вон один пейзан ко мне пришел наниматься дрова рубить...

— Ну, смотрите,— крикнул Саша.— Я на вас пожалуюсь госпоже Штукмахер!

— Да говори! Гуманничать!.. Знаю я, как она гуманничает на чужие-то калачи: мужа ей хочется в председатели земские втереть! Успокой ты ее, бога ради, скажи: очень, мол, рады, примем с радостью, без калачей. Только бы он из «невменяемости» не выходил, так для нас это будет рай... Руки нам, по крайней мере, развяжет...

— Вот Петр Петрович сказал слово к делу! — вскричал представитель, замахав руками.— Рублем подарил!.. Что́ значит голова так голова!.. Дай я хоть поцелую... Хочешь? Да мы за этим Штукмахером все вернем!.. А то, господи благослови, первым делом мы для души спасения богоугодных для города заведений настроили, а они — в земство!.. Да с чего ж это мы мужиков-то лечить обязаны? И теперича опять разговор про кормежку...

— Полно ты, буржуа эдакая бородатая! — фамильярно заметил Саша и прибавил ему на ухо: — Прошлым годом кто после побоища-то по постоялым дворам бегал да помещение со столом предлагал?

— Да, дурашка, разве это вчастую?

— Ну, и не в редкость... А ты лучше помолчи, если не понимаешь мотивов!

— Ну, конечно, дурашка, ведь я не юрист! Мотивы! Черт вас возьми! Пойдем лучше по доппелькюмельцу пройдем...

— Господа! Однако вы-то как же относитесь к нашему почину? — спросил Саша, подходя к пеньковцам.— Вы слышали?

— Слышали.

— Ну, так как же?

Крестьяне молчали.

— Нам не требовается,— ответил наконец Лука Трофимыч, дотянув с блюдечка чай и отодвинув с решимостью от себя чашку.

— Как «не требовается»? — удивился Саша, тонко пародируя «мужичий жаргон».— Вам-то и «требовается» главным образом... Мы так полагали, что скудость ваша...

— Мы обеспечены...

— Кто же вас «обеспечил»?

— Сами, обчеством...

— Но ведь, должно быть, не всех обеспечивает «обчество», когда присяжные принуждены колоть дрова...

— Не знаем... Не слыхивали нешто...

— «Не слыхивали нешто»! — заметил туз архитектору на «чистой» половине.— Понимаешь? Тоже стыдятся.

— Это-с, Петр Петрович, и скверно, что мужику стыдиться позволено... Я знал это еще по своим крепостным: коли стыдится — значит, самый опасный мужичонко... Так у меня на этот счет строгая система была: я подвергал его сначала осмеянию, наряжая в шутовские костюмы, заставлял доить коров какого-нибудь бородача, мыть телят и прочее в таком роде. И, могу сказать, достиг цели: даже девки стыд потеряли. Такие козыри стали — любо глядеть.

Саша пожал плечами и отошел на «чистую» половину.

В эту минуту шум на «чистой» половине вдруг смолк: стали к чему-то прислушиваться. Заинтересовались и пеньковцы, но в особенности Недоуздок: он уж давно наблюдал за Гарькиным, который был сегодня особенно игрив и развязен, польщенный вниманием «почетных» гостей. Он сидел против толстого, высокого и массивного, с грубым и широкоскулым лицом, чиновника, очевидно пользовавшегося на «чистой» половине особым авторитетом, что отражалось во всей его фигуре, в его внушительных покрякиваниях, многозначительных «гм», которые он произносил в ответ на обращаемые к нему вопросы. Гарькин и купеческий сын давно подобострастно увивались около него.

— Вы, так сказать, среди мужиков «столпы»,— говорил авторитетный чиновник густым басом и особенно напирая на букву «о», едва заметно обращаясь к Гарькину.

— Именно-с,— подтверждал Гарькин кивком головы.

— Вы, собственно, устои, на которых держатся обычаи...

— Так точно-с.

— Дедовские обычаи... Вековые...

— Совсем верно-с!

— Так вы должны между нами и темными мужиками составить, так сказать, звено...

— Завсегда-с.

— Вы обязаны им внушать...

— С удовольствием!.. Помилуйте-с!.. Мы ежечасно-с... И мужички нас слушают...

— То-то и есть. Ведь они глупы...

— Случается-с...

— Вот теперь двуженца будут судить...

— Нда-с.

— Дело это для вас будет темное. А мы знаем доподлинно, кто он такой, этот двуженец!

— Сама-азванец! — крикнул от буфета пьяный купец, у которого с бороды текли потоки водки и падали кусочки приставшей икры.

— Лицедей! — поддержал его представитель.

— Мало!.. Он у меня в учителишках был, сына от торговли отбил, дочь непокорству научил... Жена посты забыла...

. . . .

— Братцы! Собирай шапки, — заторопился Лука Трофимыч, перепугавшись. — К дому пора.

— Погодить бы. Любопытно, — заметил Бычков.

— Не́почто... нечего! — строго заметил Лука Трофимыч.

Пеньковцы вышли, а Недоуздок подвинулся ближе к «чистой» половине. В его воображении начинала создаваться драма, которая где-то когда-то родилась из отношений, так напоминавших его собственные к Орише. Ему сильно захотелось выследить суть этой драмы до конца.

V

«Смущение»

Молча вернулись пеньковцы на постоялый двор, молча отобедали и затем расселись по углам: каждый

из них как будто сосредоточился в самом себе. Впечатления этого дня не были, как прежде, одинаковы для всех пеньковцев... Обстоятельный Лука Трофимыч, против обыкновения, не мог заснуть после обеда и долго, так что успело почти совсем смеркнуться, не переставал вздыхать и говорить такие речи:

— Ну вот, здравствуй! Еще ни уха, ни рыла не видя, а уж, господи благослови, наслушались всего, нагляделись! В мужицкие-то головы уж успели туману напустить. Надурманились! Э-эх, мужики, мужики!.. А Недоуздок вдосталь теперь этого дурману-то набирается, должно... Чего там остался? Примем еще мы с этим мужиком муки!

— Ловкие, парень, эти городские,— высказался наконец Бычков.— Пальца в рот не клади — укусят! Что в зубы попадет — назад не вырвешь... Нет! Вон они как насчет своих-то правов собачатся... Ловко! Ах, чтоб...

— Небось не нам чета, что из медвежьих углов повытаскали. Нас как липку обдери со всех сторон — и не услышим... Лука! Ты слыхал, какие такие есть наши права?— спросил Еремей Горшок.

— А вот погоди — узнаешь. Здесь научат.

— Узнаешь! Глянь, ан в деревню-то и совсем без правов придешь... Ха-ха-ха!— засмеялся Бычков.

— Это вернее,— боязливо промолвил молчаливый Савва Прокопов, хотел что-то еще прибавить, но испугался, пожевал губами и опять смолк.

Странный мужичок был этот Савва Прокофьич. Многие, видевшие его смиренную фигуру среди присяжных, пожимали плечами; одни считали его выжившим из ума, другие говорили, что он «забываться стал», третьи просто считали его сонулей. А Савва был когда-то заведомый балагур, увлекательный сказочник и для выражения своих мнений не считал нужным выжидать благоприятных случаев. Давно то было,— еще когда Савва Прокофьич звался Савкой,— сидел Савка в лесу со своею невестой. Кругом — тишь лесная, над ними птицы чирикают; заяц один-другой выбежит из-за куста, посмотрит — и тягу; еж, побеспокоенный в минуты своего дневного сна, пробежал, ничего не видя, и врезался всею тонкою мордочкой

в муравейник. Савке было хорошо: расходился Савка, стал Савка вольные мысли перед своею невестой высказывать, рассказал Савка веселую штуку про то, как барин к горничной пробирался. Увлекся Савка — и вдруг: а-ах! Дикий крик вырвался у Савки, он схватился за голову и отскочил как раненый зверь. Пред ним стоял барин в охотничьем костюме, в одной руке ружье, в другой нагайка... Два года он не видал после того своей невесты, его услали в дальнюю деревню.

Зажила у Савки голова... Опять Савка балагурит, опять сказывает перед собравшеюся на деревенскую улицу толпой: «А вот, братцы, слышно, нам волю прислали»,— начинает он и пускается взапуски за своею неудержимою фантазией описывать какие-то такие вольные времена, что у самого дух захватывает. «Ну, рассказывай, рассказывай! Хорошо сказываешь! Любо! Ей-богу! Какой, братцы, у вас увеселитель есть! Редко такие бывают!» — вдруг раздалось сзади него. Он обернулся — за ним стоял становой... «Ну, что же ты, каналья, замолчал... А?» — крикнул становой. Задрожал Савва. Долго где-то был, где-то сидел Савва, так долго, пока не разучился сказки рассказывать.

Пеньковцы молчали.

Вдруг Бычков засмеялся опять.

— Дураки, одно слово — дураки! И хвалить не за что!— заговорил он и как-то нервически-торопливо заходил по комнате.

Обстоятельным мужиком овладело подозрение.

— Дорофей! Да ты что?— спросил он.

— А так... Тоска!

— Какая тоска?

— А я тебе вот что скажу: больше я быть дураком не желаю, Лука Трофимыч! Так ты и знай,— проговорил внятно Бычков, нервически подтягивая кушак и ища картуз.

— Ты куда?

— Будет! Довольно плевали нам в бороду-то! Пора и себя спознать, что тоже люди... Пора в ум войти!— отвечал Бычков и надел картуз.

— Постой!.. На беду бежишь!..

Бычков на минуту поколебался, но инстинкты деятельной натуры в нем уже заговорили. Он отворил дверь. Навстречу ему входили двое шабринских.

— А-а! Папашенька!.. Али куды собрались?— спросил, входя, низенький мужичок, с помятым лицом, масляными глазами и длинною, свалявшеюся в косицы рыжей бородой.

— Нет, никуда,— ответил Бычков, повесил на гвоздь фуражку и сел в дальний угол, не снимая верхней одежды.

— А мы к вам! Скучно одним на фатере. Признаться, мы тоже струсили малость: вина этого теперь очень много в трактире... Пармен Петрович, Гарькин-то, не пущал было, да думаем: ему, умному, и вино в пользу, а нам, дуракам, с ним не всегда сладить, с вином-то...

— Падки вы на него,— заметил сердито Лука Трофимыч.

— На вино-то?

Бычков из угла пристально всматривался, как Лука Трофимыч неторопливо и осторожно чиркает спичкой по китайцам; вот он зажег огарок; огарок долго не разгорается, рыжебородый шабер сморкается на сторону и долго, основательно вытирает нос полой кафтана; другой шабер сидит, вытянувшись, не сгибаясь, и тоже пристально смотрит, как зажигает Лука свечу и не может зажечь.

— Вино-то,— опять повторяет рыжебородый шабер.— Верно, папашенька... Я вот тебе, свет ты мой ясный, расскажу про него...

Шабер начинает что-то рассказывать. Бычков смутно слышит или вовсе не слышит.

— Как что скажет — так и будет, потому он умник, всякое слово ихнее понимает,— вслушивается Бычков, как рыжебородый шабер рассказывает пеньковцам.— Вино!.. Нет, папашенька, ты дальше смотри, где евойная власть-то, этого Гарькина... Ты вот что посуди: он у нас над двадцатью селениями, может, владыка, всякий у него в руках, всякий от его ума пропитывается... Вот мы, папашенька, и достаточнее других, а скажем так, что и весь достаток у нас им же держится... Потому: большому кораблю большое и плаванье;

большому уму и весло в руку... Ты погодь, папашенька, что я тебе скажу,— убеждал рыжий мужичок.— Вот мы, положим так, в зависимости от него... Так будто, точно, не можем ему перечить... А ты вот спроси его, Архипа Иваныча... Он человек вольный, сам — сила... А спроси его: почему он ему послушен?.. Потому, папашенька, ум! Так ли я говорю? А? Вот он, Архип-то Иваныч, и денежный мужик, и благожелательный, и сколько у него теперь этих несчастненьких привечено, сколько он теперь бедной родни у себя держит,— мужик от всего мира уважаемый,— а спроси его: почему он у Гарькина денно сидит?.. Потому, скажет, умом его не нарадуешься? Всякое дело он тебе знает, всякому делу толк даст... Так ли я говорю? А?

Всматривается Бычков в шабра Архипа сквозь красноватый полусвет свечки. Это — широкой кости, железных мускулов человек, гигантского роста; рыжая грива, закинутая на затылок, открывает его высокий лоб. Мощь и сила так и бьют в каждой его мышце. А между тем по лицу этого геркулеса расплывается благодушие, робость, смущение: он весь вечер не знает, куда убрать свою шапку, куда деть свои длинные ноги и руки. Это — гигант-ребенок. Даже глуповатость проглядывала в нем.

— Это точно,— говорит Лука Трофимыч,— не очень похвально это. Их дело, так скажем, дело пропойное,— показывает Лука на «папашеньку».

— А-ах, папашенька!

— Нет, ты погоди; что верно, то верно.

— Н-ну, папаша,— с горечью от такой незаслуженной обиды выговаривает «папашенька».

— А ты, Архип Иваныч, и в самом деле, с чего с ним якшаешься? Чего ему покорствуешь?

— Это Гарькину-то?

— Да.

— Гм... Умен!.. Сила ума!— говорит Архип застенчиво.

— У тебя своего-то нет, что ли?

— Столько нет... У меня ум в тело ушел, в силу, что у быка... А он в ум растет, он не жиреет.

— Так это ты ему и веришь во всем?

— Верю.

— А обманет?

— Он нас не обманет. Мы за него покойны. Я с малых лет с ним братаюсь, он меня пе обманывал, учил.

— А что ж сам свое дело не заведешь, чем у него денно торчать?

— Не могу... Пробовал... У него — любо: фабричка это орудует, машины, за всем сам глядит... Все у него колесом. Везде знает... Живой человек! А я не могу,— повторил Архип Иваныч и в смущении почесал свою рыжую гриву.

— Так ли, папашенька? А?— заговорил опять шабер.— Вот он где, корень-то... Дальше его ищи... А то — вино!.. Вон они теперь все с господами собеседуют... Обчество, вишь, какое-то заводят... Барчука одного, слышь, скоро судить, так они вперед уж об этом деле столкуются... А мы что, сидя здесь, узнаем? Много ли? Придем на суд-то: хлоп, хлоп ушами — и все. Обвиним — виноваты и не обвиним — виноваты... Так должны ли мы их слушать?

— А где Недоуздок? — спросил Лука.

— Это ваш-то молодец? С ними! Мысленный мужик. Он до всего допытается... А почет-то им какой!.. Тоже ведь городские-то знают, у кого сила в чем... Вот и почет этой силе, и вера, и правда у нее.

Бычков схватил картуз и быстро вышел в дверь.

— Дорофей!.. — крикнул ему вслед Лука Трофимыч.— Убег!.. Двоих теперь нет!.. Смутили!..

— Кто его, папаша, смущал? Что ты?

Сальная свечка трещит. В избе полумрак. Шабры ушли, потому что после огорчения обстоятельного мужика беседа ни под каким видом не могла вестись благодушно. Лука Трофимыч раздражен: скорбит и читает длинное нравоучение своей артели. Молчаливый Савва Прокофьич усердно слушает, зажмуря глаза. Горшок душеспасительно вздыхает и наконец сообщает:

— Бегуны, слышь, бывают.

— Че-ево? — с ужасом переспрашивает обстоятельный мужик.

— Бегуны-то, недаром, мол.

— Какие бегуны?

— А вот обыкновенные: присяжные бегуны.

— Ну, еще что? Да-альше!

Лука Трофимыч едва сдерживает свою обстоятельную скорбь пред явною необстоятельностью Еремеевой речи.

— То-то, мол, недаром. Своя душа дороже.

— Ну, ну!.. Придумай еще что!

— И убежишь...

— Ну, еще вали! У нас с тобой хватит головы-то!

— И в самом лучшем виде: наденешь валенки да и уйдешь.

— Дурья твоя голова! — крикнул Лука Трофимыч.— Аа-ах! Не согреша согрешишь, прости меня, господи! — одумался он.— Тьфу! Плевать! Бегите! Будет мне больше маяться... Все бегите!

Лука берет полушубок и решительно кидает его в угол нар, под голову.

— Ведь это мы к примеру... Как ежели, значит, к случаю... А то что нам до этих бегунов!.. Пущай бегут,— утешает Еремей.

Лука молчит, лежа на нарах лицом к стене. Это мужикам не нравится и наводит на них разные предчувствия.

— Лука, не дури,— говорят они ему.

От Луки ни звука, ни послушания.

Еремей думал, думал и... надумал молиться.

VI

«Засудили»

Тем этот день и покончился. На следующее утро всякие недоумения, встречи, столкновения этого дня изгладились из памяти пеньковцев; в суде начались усиленные занятия; пеньковцы выходили рано, приходили после вечерень, а то и позже, несколько усталые, с туманною головой от постоянно напряженного внимания. «Судейское положение» вошло в колею; ничто посторонее «не смущало» более пеньковцев, а сам Лука Трофимыч успокоился окончательно. Беседовали

они только между собою, за ужином, да разве кое-когда завернут шабры или земляки; разговаривали большею частью о решенных в суде делах, и то коротко, несколькими замечаниями. Затем рано ложились спать, утешая себя тем, что они теперь «служилые люди».

Наверное, такими исправными «служилыми людьми», такими честными и искренними исполнителями возложенного на них «великого ответного дела», по посильному убеждению своей совести, вернулись бы они в свои родные палестины, с сознанием, что они «ни против людей, ниже против господа бога дураками себя не оказали». Но одно обстоятельство несколько нарушило такой обычный мирный исход дела, хотя нимало не изменило общих результатов их «судейского положения». Обстоятельство это произошло опять от столкновения пеньковцев с «цивилизацией», постоянно приносившей им столько «смущений».

Серенький ноябрьский день, с самого утра хмурившийся все более и более и, наконец, охвативший весь город какою-то мглой миллионов хлопьев снега, крутящихся в необузданном вихре и разгуле ветра, по-видимому, нимало не располагал губернских обитателей к сильным ощущениям. Будь это в иные, «старосветские» времена, ни один обыватель не вышел бы в такой день на волю: мирно засели бы они за карточные столы вместо канцелярии, утешая себя, что за подобное занятие в служебные часы «в такой дьявольский денек и сам бог не взыщет». Но мало ли что было в старосветские времена. Много воды утекло с тех пор. Появились какие-то «гражданские доблести», какие-то «гражданские обязанности», а главнее того — забрались в душу какие-то смутные опасения «в ненарушимости», опасения за мирное и безмятежное житие, явилась потребность самосохранения, «охранения» этого мирного, непостыдного и безгреховного жития... И вот в то время, когда, как говорится, в былые времена благонамеренный гражданин паршивой собаки со двора не выгнал бы, теперь сам этот

гражданин летит в суд, невзирая ни на вьюгу, ни на сугробы, завалившие его пути сообщения, ни на забившийся в рукава и за воротник его «енотки» мокрый снег.

Серенький день, тщетно с самого утра старавшийся побороть некоторым подобием света туманную мглу снежной вьюги, готов был погрузиться в полные сумерки, а благонамеренный гражданин все еще не выходил из суда, и его лошади, стоявшие у крыльца, продолжали еще вздрагивать, волнуясь гривами и хвостами, развеваемыми ветром. Кучера успели выкурить по нескольку трубок на крыльце и не раз сходить в ближайший кабак под нотариальною конторой. Сторожа в передней тщательно осмотрели, исследовали и даже оценили все медведки, енотки, польские и иные бобры, которые сегодня невзауряд собрались в таком огромном количестве под их присмотр.

Зала судебных заседаний уголовного отделения была полна. Двери в приемную были раскрыты; публика свободно ходила из залы в буфет, из буфета в залу. Во всех было заметно напряженное ожидание; очевидно, что присяжные еще не вынесли приговора. В зале стоял какой-то смутный, но сдержанный гул, в котором все еще продолжала напряженно звучать томительно изнывающая струна «благонамеренных опасений».

— Охранят или не охранят?— гадает благонамеренный гражданин, закрыв глаза и стараясь свести один на один свои указательные пальцы.

Но в этом гуле звучали и иные струны.

На одной из скамеек шел сдержанный разговор.

— Это — риск,— говорил горбоносый господин,— только риск необходимый.

— Но ведь, согласитесь, здесь главным образом затрагивается непосредственное чувство справедливости,— возражал белокурый, красивый его собеседник с бархатными ресницами, с бархатными баками и с «бархатными» глазами.

— На непосредственность здесь рассчитывать невозможно. Да и что такое «непосредственное чувство»?.. Не прирожденное же оно правосудие.

— Вы, Сергей Владиславыч, слишком мрачно смотрите. Вы пессимист.

— А вы... оптимист?

— Кто же прав? — спросила, пытливо окинув их взглядом, сидевшая рядом с горбоносым господином молоденькая дама.

— Я думаю, что я, — отвечал ее сосед.

— Так, значит, ты... против? — дрогнувшим голосом проговорила молоденькая дама.

— Против... кого?

— Против них? — кивнула дама едва заметно к пустым креслам присяжных.

— А ты против того и той? — угрюмо промычал пессимист, показав глазами на подсудимого и скамью свидетелей, где сидела женщина и несколько мужчин.

— Значит, без исхода? — едва выговорила молоденькая дама и вдруг вся вспыхнула от сильного волнения.

— Пока — да.

— Следовательно, эти должны быть жертвой?

— Да. Чтобы просветились те, должны погибнуть эти...

Скрипнула боковая дверь. Глаза всех обратились на нее. Молоденькая дама лихорадочно откинула вуаль, нагнулась всем корпусом вперед и как будто замерла. В дверь один за другим выходили медленно присяжные: три купца, учитель духовного училища, купеческий сын, Гарькин, трое шабринских, Недоуздок, Савва Прокопов и Еремей Горшок. Пока они неторопливо устанавливались перед эстрадой судей, в зале было глубокое молчание. Слышалось поскрипывание сапог; из чьей-то груди вырвался подавленный вздох и замер. Купеческий сын Сабиков держал вердикт. Присяжные установились; Сабиков поклонился судьям, кашлянул и начал скороговоркой, раскачиваясь всем туловищем за каждою фразой:

— Виновен ли подсудимый, кандидатского университета, в том, что, получив ложные сведения о смерти своей жены, с которою он не имел совместного жительства, воспользовался этим и вступил в другой брак с девицею NN, то есть сделался двоеженцем?

Здесь купеческий сын неловко кашлянул и поперхнулся. Потребовался платок. Пауза была томительная.

— Да, виновен! — не сказал, а выкрикнул как-то

Сабиков, поклонился еще раз, подал председателю вердикт и, весь красный, обливаемый пóтом, обернулся к публике.

Присяжные направились к своим местам. Едва они сели, раздался слабый, болезненный, одинокий крик. Вздрогнул Недоуздок. Тишина внезапно порвалась, и по залу пронесся сдержанный глухой ропот. Осужденный, бледный, бесстрастными и широко открытыми глазами глядя на присяжных, опустился бессильно на скамью. Около скамьи свидетелей хлопотливо суетились горбоносый господин, принимая стакан с водой от пристава, белокурый бархатный красавец и молоденькая дама. С госпожой NN был обморок. Все время, пока судьи совещались о «мере наказания», Недоуздок упорно и неподвижно смотрел на подсудимого. Казалось, он или припоминал что-то давно забытое, или изучал и наблюдал новое, незнакомое явление.

Шумно расходилась многочисленная публика. Крестьяне-присяжные стеснились в углу. Недоуздок стоял рядом с Саввой Прокофьичем.

Толстяк с орденом на шее поравнялся с пеньковцами, и Лука Трофимыч торопливо шепнул: «Кланяйся, братцы!.. Это он самый, Фомушкин-то»... Савва перепугался. Пробежали братья-адвокаты, за ними торопливо представитель и купеческий сын, таща за руку вспотевшего Гарькина. Гарькин махнул за собой шабринских. Пеньковцы сошли медленно в швейцарскую.

— Присяжный будете? — вдруг окликнул кто-то Недоуздка. Петр обернулся: перед ним надевал «медведку» благонамеренный гражданин.

— Присяжный.

— А!

Благонамеренный гражданин улыбнулся во весь рот, приподнял шляпу, чуть не сделал ручкой и, завернувшись воротником, выбежал на крыльцо.

— Гришка! — крикнул он.

Подкатила пара в яблоках.

— Барыню отвез?

— Отвез.

— К себе?

— Так точно-с.

— Н-ну, так... к Амалии... Па-ашесл! — крикнул благонамеренный гражданин.

Лошади подхватили и вмиг скрылись в снежном вихре.

«Этот чему обрадовался?» — подумал Недоуздок.

С лестницы тихо спускались дама и мужчина; они вели под руки госпожу NN. Пеньковцы уже шли. Недоуздок с Саввой Прокофьичем приостановился и пристально смотрел на сходивших. За первыми на лестнице показались горбоносый господин, дама с опущенным густым вуалем и оптимист.

— Ты обвиняешь их? — спросила дама горбоносого господина, проходя мимо Недоуздка, и, как ему казалось, кивнула в его сторону.

— Я никого не обвиняю,— раздраженно проворчал пессимист.— Но умиляться-то тоже не от чего...

— Но согласитесь, что известная форма... — заговорил оптимист.

— Форма! Форма! — пессимист передернул плечами.— Насквозь прогнившее содержание...

— Сережа, ради бога тише! — прервала его с мольбою молоденькая дама, боязливо оглядываясь.

— Вы возмущены... Вы все видите... — заметил было опять оптимист.

— Я вижу только одно: глупо-добродушного ребенка, приходящего в восторг.

Оптимист горько улыбнулся.

— Но просвещающее влияние... Вы сами говорили, что «пока»...

— Говорил, потому что был так же глуп...

— Вы, по крайней мере, не можете отрицать, что душа народа...

— Слыхал. Посмотрите, кто идет впереди нас...

— Сережа! — проговорила в волнении молоденькая дама и крепко сжала ему руку.— Час тому назад ты был справедливее.

Горбоносый господин нервно передернул плечами. Разговаривающие прошли.

— О чем они, Петра? — спросил Савва Прокофьич.

— В оба уха слушал, ничего не понял,— отвечал Недоуздок. «И откуда они так научились разговаривать?» — подумал он.

Публика продолжала спускаться с лестницы. Чем ближе к выходу, чем дальше от залы суда, тем смелее высказывались замечания; глухой ропот, едва пронесшийся в зале заседаний, сделался здесь внушительнее и резче.

— Ну что, батюшка, как ты себя чувствуешь? — спрашивала старушка с седыми, распущенными из-под шляпки буклями, опираясь на руку провожавшего ее молодого человека.

— Ma tante[1], прошу вас...

— Нет уж, mon ami[2], ты извини: не поверю... Нет, нет, ты меня этим либеральничаньем не смущай больше... И если ты мне хоть заикнешься, — лишу, как хочешь... Все Неточке передам... Бог мой!.. Да это так и должно быть: мужики — так мужики и есть... Разве им что-нибудь значит засудить человека?

— Ma tante, из этого ничего не следует. — Юноша подаст старухе атласный салоп, и они выходят.

— Помилуйте!.. Разве это возможно? — говорит, гремя саблей, высокий и плотный капитан. — Чего же это прокурор смотрит? Заведомо засуживают мужики невинного человека — и...

— Вероятно, это дело не оставят, — успокаивает его статский.

Перед Недоуздком и Саввой Прокофьнчем вдруг останавливается седенький старичок, держа в руках табакерку и разминая в ней пальцами табак.

— Насколько могу припомнить, — говорит он, всматриваясь в них прищуренными глазами, — вы были в составе присяжных?

— Были-с.

— Нехорошо, нехорошо... Гм... — Старичок понюхал табаку. — Зачем же вы человека-то засудили?.. Впрочем, извините, не смею любопытствовать.

Старичок вытер нос, раскланялся и отошел.

— Да разве мы виноваты? — спросил Савва Недоуздка, боязливо глядя на него.

Зашуршал по полу длинный шлейф. Молодая дама вскинула лорнет и близорукими глазами пристально

[1] Тетя *(франц.)*.

[2] Мой друг *(франц.)*.

посмотрела в лицо сначала Недоуздка, потом Саввы Прокофьича и, сжав губы, прошла мимо. Савве было не по себе.

— Петра. уйдем,— сказал он.

Трактир политичного гласного был полон. Висевшие с потолков лампы смутно светили в удушливом, наполненном промозглыми парами и табачным дымом воздухе. Безалаберный гул голосов покрывал собою грохот машины, со всем старанием разыгрывавшей веселый мотив. Градский представитель, с блаженною улыбкой и размалеванными яркою краской щеками, стоял перед нею и, растопырив, подобно крыльям, руки, что-то выделывал и ими, и ногами в такт веселому мотиву.

— Наддавай, наддавай!.. Звуку больше! Маменька, вынеси! Голубушка, коленцо!— с каким-то замиранием объяснялся он с машиною.— Не пискни, голубушка! Раз! Начинает!.. Тише вы!.. Слушай!

Представитель замер. Пьяные гости, бессмысленно улыбаясь и выпучив осовелые глаза, широко раскрыли рты. как бы собираясь со всем усердием проглотить не только «колено», но и всю машину. Половые, ухмыляясь, замерли на своих местах, задержав на минуту неугомонную беготню.

Недоуздок, проходивший в это время с Саввой Прокофьичем мимо трактира, приостановился и не утерпел. чтобы не удовлетворить своего любопытства.

— Зайдем,— сказал он Савве.

— Нету... Ну их!..

— Не надолго... Только заглянем... Что они там...

Они вошли и присели у дверей. Савва Прокофьич долго не мог понять, что такое происходило перед ним. Впечатление строго торжественных сцен суда перед многочисленным сборищем городской публики, какое он когда-либо видывал, сцены разъезда после суда, грохот машины, пылающие лица трактирных гостей — все перемешалось у него в голове. И только когда машина смолкла, он мог рассмотреть разглаживавшего самодовольно бороду Гарькина, сидевшего

среди купцов, осклаблявшиеся физиономии мужиков, залезших за ним на «чистую» половину, и, наконец, умиленного представителя, кричавшего: «Важно, маменька! Уважила!»

— Позвольте вас спросить,— вдруг обратился к Савве Прокофьичу купеческий сын, чем-то озабоченный.

Савва Прокофьич смешался.

— Вы вот с энтим самым господином коммерсантом,— показал Сабиков на Гарькина,— из одной волости будете?

— Нет, мы разных будем.

— Ну, все ж, из одних мест?

— Из мест — из одних... Шабры...

— Ну вот! Ведь он Гарькин будет?

— Он самый.

— Не Савёлов?

Савва Прокофьич замялся: он испугался, как бы ему чего не было.

— Так не Савелов?— допрашивал купеческий сын.

— Нет, не Савелов.

— Ну, так и есть!.. У меня, я помню, где-то записано было... Жена тогда так и сказывала, когда он было меня нагрел... Вы позвольте... Будьте свидетелем... Я сейчас,— проговорил Сабиков и подошел к «братцам-адвокатам».

Савва Прокофьич совсем струсил.

— Н-ну вас тут совсем!— прошептал он и выбрался за дверь.

Гарькин обернулся — Саввы Прокофьича уже не было. Около купеческого сына между тем стали собираться слушатели.

— То-то, думаю себе, как будто затмение,— рассказывал он, размахивая руками.— Мы, изволите видеть, по своей коммерции такого обычая держимся: записывать, кто ежели нашего брата насчет какого товара объедет... Жена, изволите видеть, приехала и говорит: смотрю — полотно...

— Да в чем дело-то, говорите!— крикнул Саша.

— Самозванец,— растерявшись, проговорил Сабиков.

— Кто?

— Вот они-с, — показал он на Гарькина.

— Ах, черт возьми! — с досадой сказал Саша. — Теперь кассируют. А все это мужичье!

— Конечно, Сашурка, они, — поддержал представитель.

Гарькин давно уже подозрительно поглядывал на купеческого сына и вдруг, заметив Недоуздка, побледнел и смолк.

— Что такое? — переспрашивали в трактире.

— Оказия!

— Какая?

— Мужичье кого-то засудило...

— Господин купец! А почему, позвольте спросить, вы пили-пили — и вдруг самозванец? — обратился представитель к Гарькину.

Гарькина охватил столбняк.

В эту минуту какое-то непонятное, необычайное волнение овладело Петром; он покраснел, глаза его забегали.

— Обманщик! Иуда! — крикнул он в лицо Гарькину и, как ребенок, выбежал из трактира.

Гарькин очнулся...

VII

Бегуны

Между тем Савва Прокофьич вернулся на постоялый двор. Пеньковцы только что собирались обедать. Савва Прокофьич присел и ничего не сказал. После обеда он совсем затих, замер и забрался в самый дальний угол избы. Долго и подозрительно всматривался в него Лука Трофимыч, а Савва посидит-посидит и вдруг, без всякой видимой причины, пересядет на другое место.

— Прокофьич, а Прокофьич! — окликнул его Лука Трофимыч.

— А?

— Ты чего?

— Ничего.

Савва пересаживается.

— Чего ты не посидишь толком, Савва?

— Страх...

— Какой страх?

— А так: пред бедой бывает эдак.

— Пужа-ай! Чего у вас там с Недоуздком не было ли? — спрашивает он дальше.

— Было.

— Да что было-то?

— В том и страх, что не знаю.

— Как же так?

— В ум не возьму.

Так пеньковцы ничего и не добились от Саввы Прокофьича.

Стемнело. Дверь потихоньку отворилась, и медленно вошли все четверо шабринских; физиономии у всех вытянутые, глаза широко открытые, — пришли и, не говоря ни слова, уселись по лавкам, помолчали.

— А-ах, папашенька... Дело-то! — наконец произнес рыжебородый шабер.

— Что еще? — спросил Лука Трофимыч.

— Не слыхали нешто?

— Чего слыхать-то?

— Убег ведь...

— Кто?

— Наш-то... Парамен Петрович... Умница-то, в бега!

— Как так?

— А так, оченно, папашенька, даже просто: в моих и валенках-то... Вот оно что! Пришли этто мы к себе из трактира, глядим: валенок-то моих и нет, а его середь избы валяются... Это он с трусу-то не разобрал... И опять же теперь шапку баранью забыл, так в шляпе и улетел. Мы спрашивать; говорят: лови в поле ветер! Он теперь так-то ли на парочке по первопутью закатывает!

— С чего ж это он? Али что открылось?

— А вы бы об этом свово молодца спросили.

— Недоуздка? — спросил Лука Трофимыч.

— Верно, что его... Теперь, папашенька, беда... Дело поголовное!

Лука Трофимыч смутился.

Но в эту минуту вошел Недоуздок и молча снял разлетай.

— Петра, что у вас там? — спросил Лука Трофимыч.

— Человека засудили, — сказал Недоуздок и сердито сел за стол, положив на него локти.

— Ну, так и в трактире говорили, — заметил «папашенька».

На минуту все замолчали.

— Обманул! — прошептал Архип, замигав глазами, и вдруг как-то весь сократился еще больше.

Шабры давно уже ушли. Пеньковцы поужинали и собирались спать. Кто-то постучал в замерзлое окно.

— Не спите? — спросил голос с улицы.

— Нету. Входите, — откликнулся Лука Трофимыч. — Что бы это такое?

— Не в пору весть — худо, — сказал Еремей Горшок.

В это время в избу вошли, стуча сапогами, два земляка-фабричных и наскоро помолились в угол.

— Ну, молитесь, земляки, теперь и вы, — сказали фабричные. — Здравствуйте.

— А что так?

— Помер.

Пеньковцы поднялись и перекрестились.

— Упокой господь его душу! — произнес Лука Трофимыч.

— Не удостоился, значит! — заметил Савва Прокофьич и вдруг пришел в какое-то особенное возбуждение и стал копаться в своем углу.

— Ему эта кончина от господа зачтется, — заключили фабричные.

Потом все помолчали немного и затем стали толковать о приготовлении к похоронам.

— А вас кто известил? — спросили пеньковцы.

— У нас там фершалок есть знакомый...

— Проститься-то допустят ли?

— Допустят. Этот самый фершалок нам большой благоприятель... Он нам все это честь честью устроит... Как, значит, званию вашему подобает... А то ведь там как хоронят!

Земляки ушли поздно.

А наутро, когда поднялись пеньковцы и стали собираться в больницу, вдруг заметили, что Савва

Прокофьич не ночевал. Думали, не ушел ли он с земляками, но оказалось, что и мешка его нет. Пошли справиться у хозяина. не говорил ли он с ним. Но дворник только их же обругал, что они, не сказавшись, шляются по ночам и всякий народ к себе пускают; а после что пропадет — кляузы пойдут.

— За ваш пятиалтынный только греха не оберешься!— оборвал он, хлопнув дверью.— Неволя одна велит вас пущать-то...

— Ну, братцы, должно, справедливо это говорят: одна беда не ходит,— заметил Лука Трофимыч.

— И с чего бы это он?— раздумывал вслух Еремей Горшок.— Ах, Савва, Савва!

— А это вот все с твоих пустых слов, Еремей Гаврилыч,— ответил ему Лука,— ты все это про бегунов пророчил.

— Ну вот!.. Ври больше!.. Ведь это только у нас разговор был... Разве от этого что может?

— Раздумать это — дело нелегкое,— сказал угрюмо Недоуздок, сделавшийся вдруг почему-то много серьезнее и солиднее.

До суда пеньковцы сходили попрощаться с Фомушкой.

А на другой день схоронили Фомушку. На похороны собрано было несколько рублей с «судебного персонала» и купцов-присяжных; об этом в особенности хлопотал «мундирный молодой человек». Гроб проводили крестьяне-присяжные, к которым примкнул и купеческий сын, постоянно остривший над «судейским положением», и земляки с завода. Фомушку наскоро и попросту «уложили на вечный покой» под мягкие, пуховые сугробы городского кладбища, покрестились и кстати, тихомолком, вспомнили о Савве Прокофьиче.

Скоро разошлись провожавшие гроб, а часа через два пошла погода, и от свежей могилы не осталось следа.

ЭПИЛОГ

Стоял сильный мороз, не тот освежающий мороз, который бодрит дух и тело, но тот, который зовут костоломом, при котором тяжело дышать и в костях ощущается тупая боль. Воздух был сгущен, как будто в нем плавали застывшие пары. Наступали уже сумерки, когда у одного поворота с почтового тракта на проселок остановился обоз-порожняк. Около передовой лошади собралась кучка мужиков. Одни из них вынимали из саней мешки и вскидывали на спины, другие о чем-то говорили.

— Э, братцы,— говорил один мужик,— бог с ними!.. На их деньги не разживешься...

— Ну, ин, коли так... и то!— сказал другой и вскочил в сани.— Все, что ли, почтенные выбрали?

— Все. Невелико имущество,— отвечали седоки.

— Мы как рядились, так и поплатимся. Вы этим себя не стесняйте,— сказал один из седоков, высыпая на ладонь деньги из кожаного кошеля, висевшего у него на шее.

— Не-ету!.. Мало что там рядились!.. Это так, значит, больше для спокою... А грешить нечего! Он ведь, бог-то, видит!— резонировал первый возчик, берясь за вожжи.— А на полштоф — оно точно... Было бы не обидно... без греха... Мороз-то ведь тоже от господа, вишь какой!

— Ну, так получите. Спасибо вам, братцы. Кабы не вы, может, и не дошли бы в целости до дому.

— Все под богом... Счастливо!

— Дай бог путь!

Так на пятнадцатый день, по отправлении в «округу», возвратились наши пеньковцы в свои родные палестины. Поправив на плечах мешки, они выступили на узкую, малонаезженную проселочную дорогу, по бокам которой тянулись неоглядною далью сугробы вплоть до «волости». Они шли торопливым шагом и молчали. Через полчаса ходьбы замигали вдали огни, на беловатом фоне снежной пустыни зачернели избы. Показалась «волость». Волостные псы приняли было с разных сторон поздних гостей громким лаем, пока первый встречный пес не учуял «своих» и, виляя

хвостом, не подбежал к путникам, не обнюхал гладившую его заскорузлую ладонь и не переменил сердитого, сиплого лая на визгливое приветствие; поняли это и прочие псы и, смолкнув, снова позалезли за подворотни, как за единственную защиту этих неподкупных деревенских стражей от рыскающих в это время голодных волков.

— Гляньте, братцы, у старшины огонь. Надоть бы по-настоящему перво-наперво в волость объявиться, а там уж и домой. Успеем еще к бабам-то,— сказал Лука Трофимыч.

— Поздно,— заметил Бычков.

— Поспеешь. После когда еще собираться! А теперь оправим себя перед обчеством — и конец. Благо не спит старшина-то.

Пока они шли к волостному правлению, из изб уже выходили и смотрели, почесываясь, обыватели, поднятые с печей расходившимися было псами. Скоро на селе узнали, что кто-то прибыл в волость с новостями.

В «волости» старшина сидел у стола, за которым что-то бойко писал волостной писарь. Старшина то громко зевал, крестил рот, то от нечего делать поправлял, поплевывая на пальцы, нагар на сальной свечке или коптил печать и делал пробы на лоскутке бумаги. Видимо, ему было очень скучно, и он не знал, как дождаться, когда писарь подсунет ему бумагу и он приложит к ней обсаленную и накопченную волостную печать, предварительно, с помощью непослушных корявых пальцев, изобразив повыше ее: «Волостной старшина Парфен Силин»,— единственные слова, которые его выучил писать писарь в продолжение трех лет; больше же — при всем к чести его относящемся усердии и желании — успехов в грамоте сделать он не мог, благодушно сваливая этот неуспех на свою седину.

— Ну-ну!— встретил весело старшина пеньковцев, очень довольный, что есть чем разогнать скуку.— Вот и пришли... Наши судьи-то!.. Ну, здорово! Садитесь. Теперь вы уж у нас в чинах-то повысились... Поди, к вам и подступу теперь нет!..

— Полно, Парфен Силыч!.. С чего ты?— шутили пеньковцы.

— А что? Знаем мы, брат, каково этой самой понюхать... чести-то...

— Это верно. Ну мы, одначе, не того...

— А что?

— Больше смирились.

— И то дело. И то хорошо.

— Верь им! Как же! — сказал через засунутое между губ перо писарь.— Ты вот посмотри, как они станут поговаривать! Видали мы, что значит мужик в чести!

— Смирились, друг, смирились. Это верно,— подтвердил Лука Трофимыч.— Не ведаем, как с другими от этой чести, а что мы, так, скажем, страх божий узнали.

— И за то возблагодарим создателя!.. А Недоуздок как? Обуздался ли? А?.. Как ты, Петра?

Недоуздок улыбнулся.

— Останешься доволен... насчет узды-то, — сказал он.

— Как можно! Петра у нас много обстоятельнее стал,— подтвердил и Лука Трофимыч.— А уж это на что лучше!

— На что лучше!— согласился и старшина.— Ну, рассказывайте теперь — как, что... Вишь, вон уж набралась деревня-то... Тоже, живя за сугробами, новому рады.

В правление уже, действительно, набились любопытные; все они улыбались и пристально всматривались в пеньковцев, как будто с последними должна была совершиться за две недели удивительная метаморфоза; тут же явились жены Бычкова и Еремея Горшка, так как они были из самого Пенькова.

— Что рассказывать?— сказали присяжные.— Всего не припомнишь сразу... Разве уж помаленьку как ни то, исподволь... А что несчастия наши вам известны...

— Да, что поделаешь!.. Все под богом! Его святая милость,— благочестиво заметил старшина, вообще большой любитель выражаться «от божественного».— Царство небесное рабу твоему Фоме!.. Себя дураками не оказали? В грязь лицом не ударили? Перед господом богом не сфальшивили?

— Кажись бы, нет. А что насчет господа бога... так кто ему, батюшке, не грешен, царю не виноват? Вот хоть бы Савва.

— Ну, Савва... что ж! Дело ваше было немалое... Всяко бывает!.. На каждый час не убережешься,— благодушничал старшина.

— Приобвыкнем.

— Это так. Раз не так, а другой — послужим...

— Достало ли кокурок-то?— спросила Ерему Горшка его баба.— Все я оченно сумневалася.

— А-ах, баба!— сказал старшина.— Ты бы спросила, в каких они дворцах сидели... А она — кокурок!

— Почем знаешь! Думается, кто ж их в палатах-то кормить станет?

— А все ж, бабы, палаты палатами, а напредки больше пеките... Да одевайте теплее — вот что главное!

Старшина зевнул и перекрестил рот.

— И так... с господом! Спать, чать, хотите? А там после — обо всем прочем... Завтра вам честь будет: ко мне заходите... Завтра и об дворцах порасскажете...

— Там честь честью, а с Саввы взыскать штрафной суммы, по требованию окружного суда, в количестве десяти рублей,— проговорил скороговоркой писарь и повернул перед старшиной бумагу.

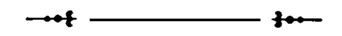
— Ваше дело,— заметили пеньковцы.

— Наше дело при нас останется... А учить вас тоже нужно... Копти!— сказал он старшине, подсовывая печать.

Пеньковцы сдали отчет и разошлись по домам.

Прошел месяц — и все забыли о чести «судейского положения», поглощенной общинною равноправностью. Только за Саввой Прокофьичем надолго осталось прозвище «судейщика», которым окрестили его деревенские ребятишки. Поводом к этому послужило его странное поведение после бегства из округи. Он как пришел в свою деревню, так и не выходил с тех пор из избы, и, при всех убеждениях, старшина не мог его вызвать на разговор, разузнать что-либо. Ребятишки долгое время засматривали любопытно в про-

мерзшие окна к «судейщику» и созидали по поводу его «отшельничества» разнообразные легенды. Одна из них с большою убедительностью рассказывала, как «судейщик спасается». Действительно, едва наступила весна, Савва Прокофьич пришел в первый раз в волость, чтобы выхлопотать паспорт, он отправлялся на богомолье в Соловки.



Золотые сердца

Повесть

Глава первая

МОРОЗОВ

I

Как теперь вижу эту оригинальную, высокую, сутуловатую фигуру в смешном длинном сюртуке, застегнутом под самое горло на одну верхнюю пуговицу и затем на одну внизу, это умное, сердито-доброе, но вечно угрюмое лицо, обросшее черною бородой, которую нервно и безжалостно трепал он левою рукой в то время, когда правая непрестанно ерзала в образовавшуюся между незастегнутыми бортами сюртука пазуху, как будто он всегда искал чего-нибудь в боковом кармане.

Я сидел на завалине около житницы, в далекой деревеньке одной из великороссийских палестин, и тянул из крынки парное молоко. Он порывисто ошагивал, как часовой, мимо меня пространство в три сажени, сердито смотря в землю и изредка окидывая взором окрестную местность: «зады» крестьянских дворов, смотревших на нас развалившимися гумнами, поля с тощим хлебом, плохой лесишко, раскинувшийся беспорядочно сбоку вперемежку с кустарником и перелогом. Мой собеседник негодовал, но у меня,— не знаю почему,— не сходила с губ самая добродушная улыбка, каждый раз, когда я встречал на себе его негодующий взор. Его доброе лицо, к несчастию, никак не укладывалось в мину негодования, и из этого выходило не-

что милое и смешное. Я хорошо знал его, и для меня не мог скрыться его недостаток — неуменье, при всем желании, лицемерить и владеть личными мускулами настолько, чтобы можно было скрыть природное добродушие. Он, казалось, знал это и часто сердился на свое лицо. «Черт знает,— говорил он,— что за рожа такая холуйская!.. Увидит станового — и тотчас же изобразит: милости просим закусить!» Поэтому никакое начальство не было на него в претензии, как он ни силился изобразить из себя беспокойного человека.

Он был действительно прекрасной души человек и оригинал. Ему лет под тридцать пять. В его боковом кармане (к которому он, по случайной привычке, так часто отправлял на ревизию свою правую руку) лежало пять дипломов, выданных на разные ученые степени из разных высших учебных заведений. Он перекочевывал из одного в другое десять лет: кончив курс в Московском университете по юридическому факультету, перешел на второй курс математического факультета Петербургского университета; кончив здесь, перебрался на третий курс Земледельческого института, отсюда на третий курс Технологического института и уже здесь закончил свою студенческую карьеру, набив карман разными дипломами, как паспортами на свободный проезд по всевозможным карьерам. Этому помогли, конечно, его замечательный ум, бесподобная память и неимоверная энергия, с которой он переносил все невзгоды необеспеченной жизни. Он был сын мелкого конторщика на фабрике, совершенно случайно попавший в «приватные» ученики к одному экс-студенту, который выучил его грамоте. Этот же студент остался для него какой-то святыней на всю жизнь, хотя он его уже не встречал более по окончании своей учебной карьеры. Он говорил, что это был «великий ум, высокая душа», что он, Морозов, «недостоин развязать ремень» и пр. Запасшись столькими учеными дипломами, он тем не менее не придавал им никакого значения. «Все это было приобретено,— говорил он,— не более как ввиду кормления. Вышел я из университета, потолкался было в адвокатах, только что расцветавших тогда, да не показалось. Пошел в лесной институт, в расчете на стипендию; по-

лучил, кончил, поехал на завод: думал, по глупости, нечто совершить, да кончил тем, что женился на помещице, бросил место и уехал опять в Питер, на стипендию в технологический, ибо с женою было жить нечем. Мы с ней без позволения сошлись, так тятенька, осердившись, ничего ей не дал. Вот таким манером ради кормления и нахватал бумажонок...» После этого он странствовал по разным местам, был опять юристом, техником, лесничим, даже учителем, но нигде не усидел больше года. Измучил этими переходами себя, расстроил нервы жене и дошел до того, что не нашел ничего лучше, как сделаться самостоятельным и независимым рабочим-механиком, в компании с двумя приятелями, уже пытавшимися изготовлять свои швейные машины. Но в это время умер у него тесть, и жена увезла его насильно в доставшееся ей по наследству имение. Его деятельность и виды приняли на некоторое время другое направление: он задумал устроить образцовое заведение сельского хозяйства, применительно к экономическим средствам среднего крестьянского хозяйства. Сзывал к себе мужиков-хозяев, поил их водкой, показывал им плодопеременные системы, опыты возращения леса и кукурузы, великолепную рожь, родившуюся у него... Мужики от всего этого ахали, приходили в восторг и говорили, что его, должно быть, бог возлюбил — потому ему и счастие...

— Врете вы! — кричал он. — Почему же у вас нет?

— Мы, должно, господа прогневили...

— Врете вы... Смотрите: вот и вот почему; делайте так... И пр.

Мужики стояли на своем и показывали на облака, «с которыми, брат, тоже пива не сваришь!.. Вон его, батюшку, кто ведает — куды несет: может, оно с градом, а может, и нет; может, с дождем, а может, и с засухой... Ты вот на это как скажешь?..»

Он опять ругался, кричал, выходил из себя, а мужики, выпив водки, уходили домой, может быть, коечто, впрочем, и унесши с собою из умственной пищи.

Однако он был недоволен, хотя жена не нарадовалась на образцовое хозяйство. Он заперся в кабинете и долго корреспондировал оттуда в газеты и журналы. Но, как человек живой, не вытерпел, стал опять

ругаться с мужиками и... во время этой ругани организовал артель для разработки местного алебастра...

Но все это — и проба различных профессий, и образцовое хозяйство, и производительные артели — было для него не более как суррогатом, которым он заглушал в себе искусственно потребность в чем-то ином, подобно тому как голодный бросается на различные суррогаты хлеба в виде древесной коры, мязги, лебеды и пр. Все это не столько удовлетворяло его, сколько еще больше раздражало. Он не только не видел во всех этих «экспериментах» что-либо прочное, не только не верил в какое-либо особое значение их, но, напротив, как будто и проделывал их с единственной целью доказать самому себе, что все это не более как «штуки» и «мазанье по губам».

— Русский человек — или романтик, или плут,— говорил он, залезая всей пятерней к себе в бороду.

— Будто бы так строго ограничено?

— Совершенно так. Какое же тут может быть общее дело? Общее дело только у плутов и может быть. А романтики к нему не способны уже потому одному, что расплывчаты.

— Но ведь у нас, как вы знаете, были попытки с довольно определенной целью?

— Ничуть. Один романтизм, стремление к чему-то очень хорошему, но в чем состояло это хорошее, а еще более — как к нему идти и что из сего выйдет,— мы ровно ничего в этом не понимали...

— Ну вот! Да и вы тоже романтик?

— И я романтик. Грешен теми же грехами уже потому, что сам русский...

— Но ведь вы — сын народа?

— Все некультурные народы — романтики; а наш тем более. Я, батюшка, такой крепкой верой в чертей заручился среди своих родичей, что, признаюсь вам, до сих пор еще кой от чего не освободился.

Он сплюнул на сторону, как будто действительно отплевывался от дьявольского наваждения. Я улыбнулся, но он не обратил внимания.

— И знаете что,— сказал он, уставившись на меня глазами и засовывая за пазуху сюртука правую ру-

ку,— пока народ не узнает хорошенько себя, до тех пор будут одни недоразумения...

— И все оттого что романтики?

— От этого.

— Но согласитесь, что у народа нередко бывало «общее дело»?

— Какое же это дело? Заносит в деревню отставной солдат какую-нибудь прекрасную идею, примерно хоть о том, что с такого-то срока выйдет приказание с неба галушкам валиться... Идейка эпидемически охватывает баб и мужиков-романтиков, деревню за деревней, село за селом... Начинается «общее дело», бросание работ, уличные сходы... Затем команда — и ушат холодной воды на романтические головы...

— Есть, однако, события и покрупнее... Вот, к примеру, двенадцатый год?

— Это сожжение-то своих хат и «животишек»?

— Да хоть бы и это.

— Помилуйте, да какой же народ солидной культуры дозволит себе такое молодечество?

— В таком случае все-таки нужно сознаться, что романтизм иногда бывал у нас «чреват результатами», как выражаетесь вы. И еще можно поспорить, что лучше: солидная культура с определенными и очень узкими идеалами или бескультурный романтизм...

— Может быть. Тем не менее то, что все мы романтики,— несомненно. А романтизм имеет одно очень скверное свойство: он живет и питается иллюзиями, а этим свойством очень удобно пользуются плуты. Кстати, вы знаете, что сегодня моя жена именины справляет?

— Нет.

— Пойдемте ко мне. К ней сегодня, наверно, съехалась вся здешняя уездная палестина, как, бывало, съезжалась к ее отцу...

— А вы что же не участвуете в приеме?

— Я-с? — круто повернулся он ко мне.— Я с плутами несколько строг и груб, а романтики здешние меня считают не более как мужем моей жены и поэтому, кажется, презирают... Да и мне в них мало проку. Впрочем, жена у меня добрая, любит угощать. Я ей не мешаю: она теперь попала в свою стихию и отдыхает.

Я и так бессовестно долго заставлял ее цыганствовать с собой... Пойдемте!

Замечу здесь кстати, что не только баре, но и мужики третировали его, не то чтобы свысока, а запанибрата. Они давно знали, что он сын фабричного, и часто запросто «тыкали» его, в то время как перед «барыней» холопствовали. В особенности «по душе» относились к нему мужики помельче, неполитики. Им было известно, что он назывался еще в мальчиках Петром Малым, а потому он и преобразился у них в Петра Петровича Малóва. Настоящая же фамилия его была Морозов.

Мы обогнули «крестьянские зады» и вышли на сельскую улицу, почти сплошь заросшую мелкою кудрявою муравой, напитанной, как губка, водой после недавнего дождя. Нам нужно было пройти через все село. На половине улицы от одного дома отделился мужик, без шапки, в одной рубахе и портах, подошел к нам и сказал «Здравствуйте», мотнув головой.

— А у барыни гости,— прибавил он, обращаясь к Петру Петровичу.

— А тебе что?— буркнул сердито Петр Петрович.

— Так, мол... Может, не знаешь... Она вон Дикóму твои заведенья показывает. Хвалит.

— И пускай показывает.

— Знамо... У тебя разве что худое есть. Тебе скрываться нечего. Твоим делом всякий любуйся — не налюбуешься... Твое дело начистоту у всех...

— То-то вот и есть... Так и пущай смотрят... На то я и ферму устроил... А вы вот мне не верите...

— Как не верить? Верим. Да разве нам пристали эти игрушки-то? Мало что хорошо — да не возьмешь!

— Знаю, лучше вас это знаю. Кабы вы только это говорили,— так я бы вам ни слова не сказал... А вы вон в облако пальцем тыкаете.

— Что ж! В облаке, брат, и ты не велик владыко...

Пока мы разговаривали с этим мужиком, к нам подошло еще несколько человек. Видимо, у них было до Петра Петровича дело.

— Петр Петрович, а мы опять к тебе по нашему делу... Крестьянское присутствие опять, вишь ты, затянуло нас,— заговорил тот же мужик.

— Я сказал — ступайте к майору.

— Да ведь что ж майор? Майор у нас душа-человек! Только в заправском деле выправки у него нету...

— Поспособствуйте! — заговорили мужики. — Мы бы по гроб жизни...

— Я уже вам способствовал, чего еще? Полгода из кожи лез, а что сделал?

— Так, так... Это что говорить! Продолжительное дело... Да, может, теперь оно ходчей пойдет...

— Ну, и ступайте к майору. А я не хочу, потому что все одно оно, что у майора, что у меня пойдет...

— Обстоятельнее бы с тобой.

Петр Петрович надвинул шляпу и зашагал от мужиков. Мы шли некоторое время молча.

— Вы знаете этого майора? — спросил он.

— Мало.

— Мы его встретим у жены. Потешный человек: стар, детски-наивен, храбрится, как отставной солдат на костылях. Он теперь гласным в земстве от крестьян; распинается там, шумит, заводит истории, одним словом — подвижничает. Нажил себе врагов, а больше, впрочем, насмешников. Крестьяне в нем души не чают, а по-моему, все это выеденного яйца не стоит, потому что — романтизм.

— Однако, значит, он полезен все-таки крестьянам?

— Наверно, но настолько, насколько полезен был бы и простой волостной писарь. Потому что ведь у нас все «на законном основании», а «законное основание» одинаково и для меня, и для майора, и для писаря.

— Потому-то вы им и отказали в содействии?

— Потому и отказал... Воображать, что могу сделать что-нибудь помимо «законного основания», как воображает майор, не могу, а потому отказал.

Мы прошли село, за которым невдалеке показалась усадьба Морозовых. От деревни вид на нее был прелестный. Она стояла на косогоре, отлого спускавшемся к реке, поросшей по берегам зеленым тростником. Все здания скрыты были в зелени садов и рощи, разросшейся по косогору, и только кое-где мелькали сквозь деревья красные и белые крыши с белыми, блестящими на солнце трубами.

— Эдакая благодать у вас в усадьбе! — показал я Петру Петровичу, останавливаясь на повороте дороги, чтобы полюбоваться этой действительно редкой картиной.

— Да, хорошо! — прошептал он как-то лениво.— Я рад за жену. Рад, что, устроив это имение, я хоть чем-нибудь мог отблагодарить ее за кочевание со мной. А самому мне хотелось бы вон отсюда.

— Опять кочевать?

— Опять.

Петр Петрович улыбнулся.

— Вам это кажется смешным? Да, оно смешно выходит, действительно,— проговорил он задумчиво и шмыгнул правой рукой к боковому карману. «Щупает дипломы»,— промелькнуло у меня в голове.

— Удивительное дело,— продолжал он,— не могу равнодушно смотреть ни на лес, ни на реку, в особенности на большую... Так и потянет руку к топору, к веслу. Тело у меня зудит. Кажется, с теми дипломами, какие у меня имеются, каким бы ученым можно быть, примерно хоть немцу! А у меня повалится из руки, потому что ей способнее и любезнее сжаться в кулак. И ведь не дилетант я, а вот, подите ж, больше дня в кабинете ни в жизнь не просидеть!

— Да и незачем совсем закупориваться.

— А что же делать? Науку я мог бы считать единственным делом, которое не напоминает романтизм. Да что ж вы сделаете, ежели тянет! Мой дед был бурлак,— понимаете, настоящий бурлак, рабочая сила, лошадь, запряженная в лямку, и, как русский мужик, романтик по преимуществу...

— А ведь русский романтизм имеет глубокие корни в тысячелетней невеселой народной жизни,— заметил я.

— Это совершенно верно. Этою жизнью народ дошел до замечательных обобщений. Но все эти обобщения романтичны и неизмеримо далеки от действительной жизни. Они далеко опередили его культуру — и вот почему ему теперь так «неможется». Мой дед любил петь и рассказывать про поволжскую вольницу, про Ермака, про Сибирь... При этом плакал. Да и есть о чем!.. Наш теперешний бурлак — и Ермак! А ведь дети

одной реки! Как же можно было не быть моему дедке романтиком! В своих рассказах он то возил меня с песнями по Волге, то тянул лямку по ее песчаным берегам, то уходил в сибирские леса, на Лену, Иртыш. В трескучие морозы мы валили вековые деревья, звенели топоры, жужжали пилы, раздавались выстрелы, падал пушной зверь, трещал огромный костер. Мы проживали на «новине» зиму, строили хаты, устраивали рыбные ловли и, основав поселение, уходили дальше, туда, в глубь дебрей. Вероятно, вследствие этого во мне так сильна «колонизаторская», «пионерская» жилка. Вот почему я и бросаюсь на такие предприятия, которые носят приблизительно этот колонизаторский характер, как, например, мое сельскохозяйственное заведение или артель, значению которых я, впрочем, не верю ни на грош. Дальше идти нельзя, ибо наткнешься на «законные основания», а удовлетвориться этим не в силах! Туда бы вот, в глубь доисторических времен, где еще «законных оснований» не было!

Он улыбнулся, снял шляпу и провел рукой по волосам.

— Что же,— сказал я,— в Сибирь! Она велика...

— Конечно, я бы давно был там, если бы жил вместе с дедкой, во времена Ермака... Но, пройдя искус цивилизации, хочется взглянуть и на это дело пошире, чем смотрел поволжский бурлак. А когда сложатся обстоятельства сообразно этому «пошире»? Впрочем, для этого не единичные силы требуются, а общее дело,— прервал он резко свою речь, которая так необычно плавно полилась было у него,— общее дело-с!

Мы подошли к усадьбе.

II

У палисадника из акаций, окаймлявшего передний двор, в глубине которого пропадал господский дом обыкновенной «барской» архитектуры, с двумя «парадными» крыльцами по бокам, со множеством окон, длинный и низкий, с высокою красною крышей, стояло два экипажа. Один из них был старинный тарантас, с откинутым верхом, на рессорах, заложенный

тройкой черных лошадей, две из которых были уже очень стары. Старый, угрюмый, с огромною седою бородой кучер похаживал вокруг них, изредка медленно и обстоятельно запуская в нос понюшки табаку, поправляя сбрую и вытирая полами ветхого кафтана старческие ноги своих господских воспитанниц с побелевшими губами и проседью на гривах. Другой экипаж представлял собой легкую крестьянскую плетушку на тонких жердях, заложенную в одну лошадь, сытую, молодую, с широким глянцевитым крупом, густой и длинной гривой, в наборной, широкой и массивной сбруе, с расписною дугой. К ней то подбегала со двора какая-то юркая, неугомонная чуйка с чрезвычайно хлопотливым, сосредоточенным маленьким лицом, как говорят, «в кулачок», с торчащею на подбородке клиновидною бородой и маленькими, быстро бегавшими «мышиными» глазками, то опять убегала внутрь двора, в «барскую приемную».

Вдали палисадника виднелась простая крестьянская телега с распростертыми по земле оглоблями; около нее ходила, помахивая хвостом, рабочая крестьянская лошадь, привязанная на всю длину вожжой, и подбирала придорожную траву.

Первый из экипажей, с заматерелым кучером и поседевшими лошадьми, принадлежал «Дикому барину», долго с честью и славою бившемуся за излюбленные «культурные начала», пока не удалился «в пустыню», как наилучший представитель их, и, обросши бородой, окутавшись в теплый шлафрок, не заперся наедине с самим с собой, с своею любовницей и единственной старой собакой в глухом кабинете своей разрушающейся усадьбы. Таков этот «Дикий барин», как прозвали его единогласно и окрестные крестьяне, и помещики, и начальство. Мрачный, капризный, нервный, ходит он по своей добровольной темнице, скрипя половицами, глотая без наслаждения и внимания старое бургонское из последних бутылок, оставшихся от былых времен. Он приходился крестным отцом Лизавете Николаевне (жене Петра Петровича) и сегодня в другой раз изменил своему затворничеству — приехал навестить ее, верный слову, данному при смерти ее отцу: заменить ей его и передать

его прощение, благословение и наследство. Первое его посещение относилось к тому времени, когда только что приехали Морозовы в свою усадьбу. На этой же тройке, в том же экипаже приехал он тогда, молча поцеловал в лоб свою крестницу, молча взял у несшего за ним лакея дорогой, обделанный в золото портфель, и, вынув из него документы, относившиеся к имению его покойного друга, отца Морозовой, подал их ей, лаконично определив их значение. Затем, подав ей одну руку, попросил другой Петра Петровича последовать за ним, обошел с крестницей усадьбу, с инвентарем в руках, и потом, так же молча раскланявшись с Морозовым и вновь поцеловав в лоб его жену, уехал к себе, не показываясь вплоть до нынешнего визита.

За домом, в глубине сада, из-за густо разросшихся деревьев мелькнуло пред нами белое платье Лизаветы Николаевны. Петр Петрович, не заходя в дом, пригласил меня пройти прямо в сад. Мы обогнули угол дома и пошли по узкой боковой липовой аллее, из-за которой невдалеке виднелись деревянные и каменные усадебные службы. В конце аллеи, где она подходила к скотному двору и затем поворачивала в сторону, нам навстречу вышли Дикий барин и Лизавета Николаевна, опиравшаяся на его руку. В белом платье, с сияющим лицом, сквозь бледную кожу которого пробивался румянец, она с самодовольно-гордым наслаждением о чем-то рассказывала Дикому барину, показывая то в ту, то в другую сторону рукой. Дикий барин, в длинном сюртуке, длинный и сутуловатый сам, с черными, с проседью, волосами на голове и с длинной эспаньолкой, в соломенной шляпе и толстою палкой в руке, послушно поворачивался в ту сторону, куда указывала Лизавета Николаевна, и одинаково сосредоточенно всматривался во все, что удостаивалось ее похвалы. А она хвалила все, потому что все это было делом рук ее мужа.

Нас долго они не замечали, но когда мы подошли уже довольно близко, Лизавета Николаевна, видимо, смешалась и несколько побледнела, как бледнеет нервный человек, опасливый и чуткий при всякой неожиданности. Она тотчас оставила руку Дикого барина и,

улыбнувшись, подала руку мужу, который молча раскланялся с гостем.

— Ваша жена,— заговорил Дикий барин,— мне успела уже показать все свое имение и, конечно, не поскупилась на похвалу вам. Впрочем, похвала вполне заслуженная. Прекрасно, молодой человек!— прибавил он и протянул ему руку.

Петр Петрович слегка нахмурился и наскоро принял протянутую руку. Это маленькое замешательство тотчас же отразилось на нервной Лизавете Николаевне: она боязливо взглянула в лицо мужа и, опасаясь, чтобы не вышло чего-нибудь, тотчас же предложила идти в комнаты.

Все мы повернули обратно и двинулись вместе по той же аллее по направлению к дому, выходившему балконом в разбитый перед ним большой цветник с живою изгородью из сирени, жимолости и тополей.

— К сожалению, я слышал,— заговорил с Петром Петровичем Дикий барин, надевая шляпу и закидывая руки с палкой за спину,— вы не придаете особого значения своим прекрасным работам по устройству родового имения вашей жены... Это справедливо?

— Да, не придаю,— отвечал Петр Петрович.

— Гм... Обыкновенная история! С таким небрежным отношением к делу русскому человеку никогда не быть передовым. В нем нет той упорной настойчивости, той культурной напряженности, которые так возвысили европейские нации. Русский человек — по преимуществу «не помнящий родства». Он не создаст себе почвы, с которой бы связали его крепко и неразрывно культурные предания. Он вечно будет цыганствовать. В его знаниях и способностях нет прочной устойчивости, нет уважения к ним. Он не сосредотачивает их на одном пункте, он, как расточительный и блудный сын, бесплодно разбрасывает их, не думая о том, попадут они на камень или на восприимчивую почву.

— Это справедливо,— заметил Петр Петрович,— но действительно ли это так плохо, как думают,— еще вопрос.

— Интересно знать,— заговорил Дикий барин, повернув в сторону от нас лицо и как бы не слыхав

последнего возражения,— интересно знать, что при подобных воззрениях сделаете вы... то есть вообще ваши... для блага вашей родины... Ваши, кажется, свысока третировали и английского лорда, и французского буржуа... Ну и прекрасно! События привели к тому, что дело у нас именно оказалось таким, как вам было желательно. Гм... События разрушили те культурные зачатки, которые вырабатывали наши отцы. Что же вы намерены наращать взамен того старого?

— Вместо ответа я бы спросил: помешали ли эти культурные традиции спустить «с веселой торопливостью» выкупные свидетельства и богатые имения в руки кулаков? Помогли ли они удержать оранжереи, парки, фруктовые сады, английские фермы и тому подобные культурные насаждения?

— Да ведь и вы совершенно хладнокровно оторветесь от той почвы, на которой возрастут посеянные вами плоды?

— Совершенно хладнокровно.

— И пойдете цыганствовать и бездомничать во имя каких-то исканий чего-то?

— Да.

— Вот оно, царство «не помнящего родства!..» Вот он, бесконечный Юрьев день!— произнес Дикий барин сквозь зубы, и у него вырвался короткий, сухой смех.

— Ах, боже мой!— воскликнула Лизавета Николаевна, все время смущенно слушавшая разговор мужа и Дикого барина.— Да вы оба безжалостно лжете на самих себя! Ведь вы, папа-крестный, не продали кулакам свое имение? А он, Петя, мог ли бы так устроить свое хозяйство, если бы не любил это дело, если бы не нашел в нем, наконец, то, чего так долго искал! Неужели вы думаете, что это дело, начатое с такой любовью, с такими знаниями, непрочно? О, это неправда, неправда! Здесь положены любовь, знание, свобода... И на них-то построится то новое здание, которое получат в наследство наши дети!..

Все это она выговорила торопливо, нервно, ускоряя с каждым словом шаги и в волнении махая свободною рукой. Мы подошли уже к дому, и на ее горячее возражение никто не отвечал, только Дикий барин горько, надменно улыбнулся, да Петр Петрович раза

два спутешествовал рукой за пазуху сюртука, что было у него признаком раздражения.

III

Когда мы поднимались по ветхим ступеням террасы, выходившей в сад, до нас донесся из залы оживленный говор.

— У тебя уже гости,— сказал Дикий барин Лизавете Николаевне, приостанавливаясь на первых ступеньках.— Я не пойду. Я поеду домой.

— Зачем же так скоро? Выпейте хоть стакан кофе.

— У меня с ними нет ничего общего. Я не могу... Я раздражаюсь.

— Да и у нас с ними нет ничего общего...

— Не знаю-с, не знаю-с... Может быть...— скороговоркой проговорил Дикий барин.— Впрочем... я у тебя так редко бываю... Я останусь на четверть часа... Но это — большая жертва с моей стороны... Это только для тебя...

Я заметил, как при этом коробило добродушного Петра Петровича. Он выделывал какие-то странные гримасы губами и покачивал головой, как будто говоря про себя: «Эк ведь изломался как! А романтик! Романтик чистый, как все мы!..» По его лицу и движениям заметно было, что он сам не раз был готов радушно пригласить Дикого барина, но всякий раз отступал и вместо приглашения только что-то бормотал беззвучно губами. «Что ж, коли ломается!» — говорило его добродушно-сердитое лицо. Это было понятно в Морозове. Насколько я его знал, он был чрезвычайно чуток ко всякой утрировке, ко всякой искусственности; он часто замечал ее в таких тонких формах, в таких, по-видимому, «душевных» отношениях, где другой глаз все принимал за чистую монету; и так как он по открытости и добродушию своего характера никак не мог удержаться, чтобы не дать заметить своих наблюдений, то и нажил себе много врагов; люди, прежде души в нем не чаявшие, сердились на него, начинали дуться и «отъезжали» от него. Вследствие же такого свойства натуры он не раз терял популярность во времена своего «молодечества», как называл он один из

периодов своей деятельности и, вместо того чтобы быть «передовиком». вопреки всем ожиданиям являлся на втором плане или даже совсем стушевывался. Это, впрочем, помогло ему избежать, помимо его воли, многих неприятностей.

Мы вошли в зал. Тут действительно собралась если не вся «уездная палестина», как говорил Петр Петрович, то кое-какие представители ее были налицо. Прежде всего бросились в глаза два высочайшего роста. уже немолодых джентльмена. с здоровыми мясами, стянутыми в поношенные венгерки. Они постоянно подергивали плечами, распрямляли члены, как будто неустанно производили гимнастические упражнения. Два Аякса были уже «изрядно заложивши», как было заметно по их глазам и испитым физиономиям. По отрывочной фразе, на которой мы их застали, оказывалось, что они стремились в Сербию — кого-то и за что-то «разжечь...». Но их пыл охлаждал земский председатель, человек крепкого сложения, румяный, с брюшком и одетый очень тщательно, даже слегка подвитой, очевидно с претензией нравиться дамам. Это был Бурцев, известный в уездной палестине под кличкой «Никаши», прежде большой забулдыга, а теперь «представитель». По уездной палестине ходила про него и Дикого барина сплетня. Рассказывали, что Никаша, промотав большую часть своего «родового», лет пять тому назад вернулся в свои палестины из столицы за приисканием «средств к жизни». Он сумел скоро втереться во все дома скучающих помещиков, которым нравилась «новая, свежая струя», вливавшаяся вместе с его громким хохотом, скабрезными рассказами и замечательно беззаветной «неунываемостью» в тоску и скуку их жизни. Он скоро заметил, что он нужен. В это же время, учуяв, что у Дикого барина осталось еще полпогреба бургонского, Никаша забрался и к нему. Дикий барин, никого не подпускавший к себе, отступил перед Никашей и позволил обольстить себя. Он глубоко верил, что, если в ком осталась теперь прямота и честность, так это в добродушных Бурцевых, кутилах и забияках; во всех других он видел «подленькие подходцы», «либеральные виляньяя», вообще «печать времени». Итак, Дикий

барин допустил Никашу к себе. Часто сидели они вдвоем по вечерам в усадьбе Дикого барина и распивали бургонское...

— Прикажете налить? — спрашивал Никаша.

— Налей.

— И мне-с?

— И тебе.

Стаканы наливались — и выпивались.

Одним таким же вечером вдруг влетает Никаша к Дикому барину весь сияющий, весь пропитанный букетом какого-то невиннейшего самодовольства.

— Чего ты ликуешь? — спросил его Дикий барин, сидя с поджатыми ногами на широком оттомане.

— Я нынче счастлив, ваше-ство... Позвольте чокнуться с вами!..

Дикий барин подозрительно поглядел на него. Он не допускал все-таки и с Никашей таких фамильярностей.

— С нынешнего дня я удостоен избранием почтенных представителей... — начал, сидя, Никаша.

— Ты? — спросил Дикий барин, и у него дрогнула рука.

— Я-с...

— Ты? На мое место? Ты, Никашка Бурцев?

— Ваше-ство, — обиделся Никаша, — в моем лице вы обижаете благосклонное внимание сословия...

— Во-он! — крикнул, весь побледнев, Дикий барин.

Никаша стушевался, а Дикий барин все еще стоял в одной и той же позе, бессознательно поводя сверкавшими из-под седых бровей глазами по двери, из-за которой он, казалось, все еще ждал появления кого-то. Вошел его старый камердинер.

— Одеваться! — приказал Дикий барин. Старик камердинер в недоумении стал чистить барский мундир; завозился, кряхтя, на печи седой кучер; заскрипел давно не смазываемый старый тарантас, выдвинутый на божий свет из кромешной тьмы сарая, и заматеревшие, в летах, клячи лениво становились в упряжь. Дикий барин поскакал в губернский город и через день же вернулся, еще более нервный, еще более мрачный.

Понятно, что Дикому барину и Никаше не особенно была приятна настоящая встреча.

Вместе с Аяксами, что-то доказывая, горячился старичок. Предупрежденный Морозовым, я сразу признал в нем майора. Он был в полувоенном сюртуке, с форменною фуражкой в руке, которою в споре махал по воздуху. Маленькие выцветшие глазки его так усердно бегали и метали такими взглядами, как будто хотели выпрыгнуть, не довольствуясь тем ограниченным пространством, которое отвела им природа под густыми седыми бровями; жидкие седые волосы торчали вокруг его маленькой лысины прихотливыми завитками «по-суворовски»; длинные белые усы, обрамляя небольшой рот и чисто выбритый подбородок, низко спускались к груди. Маленькое и легкое тельце майора поддерживалось и носилось с места на место словно невидимыми крыльями, так как тонкие его ножки, обутые в мягкие, стариковские сапоги без каблуков, дрожали и гнулись. В споре он старался перекричать всех, отчего краснел, задыхался и брызгал слюной, которую больше всех принимал на себя бывший тут же улыбающийся батюшка, мужчина лет тридцати пяти, из новых, гласный в земстве и член педагогического совета. Он все стремился ворваться в спор, но, пока вставал с места, пока запахивал ряску, пока поправлял широкие рукава и простирал руку, говоря: «Позвольте заявить возражение», всегда опаздывал, ибо о том, на что он хотел заявить возражение, уже давно не говорилось, и он отходил с улыбкой опять к стулу. Не участвуя в разговоре, с надменным высокомерием ходил вдоль комнаты, закинув руку со шляпой за спину, очень молодой человек, в золотых очках и во фраке. Я слыхал про него. Это был адвокат — феномен в своем роде; проникнутый глубочайшим уважением к родовитости и аристократизму, он презирал искренно, от всего сердца «мещанство» и брал защиту только родовых дворян. Наконец за входной дверью, в углу, сидел какой-то старик из крестьян, с подрезанными на лбу седыми волосами, в синем, застегнутом наглухо армяке; он от времени до времени то старался одним ухом вслушаться в спор, то плевал тихонько в угол и что-

то шептал,— вероятно, молитвы,— наклонив голову.

Когда мы вошли, спор прекратился. Начались поздравления. Пользуясь ими, Дикий барин торопливой, но твердой поступью прошел в соседнюю комнату, не обратив ни на кого внимания, даже на адвоката, который выразил на лице своем глубочайшее почтение и ловко отдернул стоящий на дороге стул. Когда поздравления кончились, от дальнего окна поднялась стройная женская фигура, с крупными чертами лица, большой косой, просто собранной в кольцо на затылке, и в простом ситцевом платье. Ей было с первого взгляда лет двадцать пять. Она медленно сделала два шага вперед, когда Лизавета Николаевна с радушным лицом направилась к ней, и молча пожала ей руку, без всяких поздравлений; так же холодно и молча подала она руку и Морозову, который наскоро отдернул свою и, как мне показалось, чтобы скрыть замешательство, подошел тотчас же к батюшке и стал приглашать его тихонько «курнуть» к нему в кабинет, на что батюшка также шепотом и мимикой изъявил согласие. Я тоже счел наилучшим отправиться вслед за Морозовым и либеральным батюшкой.

IV

Скоро я остался один в кабинете Морозова. Я не бывал еще у него в новой, «барской обстановке», как называл он свое настоящее положение в качестве «барынина мужа», и потому меня интересовала всякая мелочь. Может быть, я думал уловить какой-нибудь смысл, «идею». В наше время этим «мелочам обстановки» было придано такое значение, что на них почти невольно обращаешь внимание. Прежде всего мне бросилась в глаза замечательная скромность кабинета Морозова. Простой деревянный длинный письменный стол, покрытый черной клеенкой; у окна два-три деревянных, массивных стула, может быть, своей работы; старый диван с кожаной жесткой подушкой; вдоль стены стоял верстак, под ним валялись свежие опилки и тряпки; немного дальше, сбоку от письменного стола, у другого окна — токарный станок. По стене висели два ружья с принадлежностями, револьвер, рабочая

блуза, инструменты и подвесные полки с книгами, которых много, кроме того, лежало на письменном столе и на старинном комоде обыкновенного мещанского фасона, с полуобломанными медными ручками у ящиков. Книги были в здоровых, плотных переплетах, больше классики по различным «отраслям ведения»; все — томы внушительных размеров, компактной печати и тяжелого, неудобоваримого для обыкновенного смертного содержания. Я вынул одну из них: оказался том механики Вейсбаха. Но рядом с ним, к моему удовольствию, я откопал том Шекспира, из-за которого виднелась какая-то маленькая книжка. Я посмотрел: «Книга песен» Гейне На заглавном листочке женской рукой написано: «Катерины Масловой»... Тут же дата «1 декабр. 69 г.» А в самом низу, карандашом, два стиха из Шиллера:

В царство звуков из могилы,
В божий свет из тьмы густой!..

Я взял книгу и, сев к окну, стал ее перелистывать. Во многих местах были сделаны заметки карандашом и вписаны, уже мужской рукой, кое-какие стихи; попадались вопросительные знаки. Под одним из стихотворений, именно под второй главой «Горной идиллии», было написано рукой, кажется, Морозова: «Обращаю внимание своей дорогой воспитанницы... Прошу вникнуть». Но я заметил, кроме того, еще одну странность: заметно было, что книжка эта хранилась тщательно и с любовью, и все отметки и стихи, написанные карандашом женской рукой, были покрыты гуммиарабиком. «Словно министерские пометки!» — подумал я, улыбнувшись.

Пока я вертел перед глазами эту книгу, до меня долетали из соседних комнат в полуотворенную дверь обрывки разговоров. Речь, кажется, шла «о событиях дня», которыми было восстание славян. Два Аякса, вероятно выпив еще, выразили еще большее желание устремиться в Сербию, чтобы кому-то что-то «доказать». Никаша теперь уже не усмирял их пыл, а, напротив того, поощрял, тем более что и батюшка благословлял. Вообще, заметно было, что Никаша взял «высокую ноту» и уже вошел в какую-то роль, кото-

рая, по его словам, заключалась, кажется, «с одной стороны, в искоренении вредных элементов, с другой стороны — в поощрении глубоких начал»; в чем состояли последние, наверное, сказать было нельзя, но можно предположить, что дело касалось Аяксов. Всю эту «высокую ноту» он пускал, очевидно, в виду присутствия Дикого барина, потому что не раз повторял фразу: «Мы не с ветру-с... Мы сознательно идем к одной цели... Мы ясно определили для себя тот путь... Мы, как представители, обязаны уловить ту нить... Мы должны прозревать в среде направление общественных симпатий...» и т. п. Но батюшка с ним не мог согласиться, и, когда Никаша предложил проект панихиды «по убиенным славянам», он заявил, что-де «не будет ли это раненько и, так сказать, предвосхищением событий... У нас господин благочинный очень строг в политике и руководствуется наиболее официальными указаниями...». Никаша настаивал, но, несмотря на то что он даже жертвовал на это своих три целковых, батюшка колебался и только тогда решился, когда Никаша крикнул: «Я отвечаю!»

— Мы вот-с как это сделаем,— заявил батюшка,— чтобы господину благочинному (батюшка, как «новый», звал заочно своего благочинного «господином», а не «отец благочинный»), чтобы господину благочинному не подать каких-либо поводов, я-с отслужу после обедни панихиду вообще, о всех христолюбивых воинах, павших на поле брани... Тут уж все войдут — и севастопольцы, и двенадцатый год... Тенденции-то никакой и не будет!

Все согласились на это, даже майор примкнул.

— А вот мы теперь не выпьем ли за успех? — предложил один из Аяксов.

— Вот это прекрасно! — поддержал Никаша.— Я, кстати, и книжку предложу-с, пользуясь случаем...

— Какую книжку?

— А вот видите... от комитета!

— Что ж, это хорошо! — сказал батюшка.— Вы с меня за панихиду-то и зачтите. Я готов пожертвовать!

— Нет-с, позвольте... Сначала, как и подобает, инициатива должна принадлежать его-ству...

Все отправились в гостиную, где Дикий барин с Морозовым пили чай.

— Ваше-ство! — начал Никаша.— Вам, как и всем здесь присутствующим, небезызвестно, конечно, какие ужасные события совершаются в судьбе единопле...

Я нарочно подошел к двери, чтобы послушать речь Никаши, как вдруг он оборвал ее на полуслове.

— Извини, Лизочка, прощай! Я не могу больше... В другой раз!— заторопился Дикий барин.— Навестите меня как-нибудь... Буду рад... А теперь не могу... Где моя шляпа? Палка?

Но Никаша смутился только на минуту, и, в то время как Дикий барин поспешно уходил, сопровождаемый Морозовыми, он продолжал речь к оставшимся. Конец речи вызвал сильный протест со стороны майора. Майор закипятился: дело, кажется, состояло в том, что Никаша заявил о своем намерении собрать с крестьян пожертвования: с одной стороны, через становых, «с разъяснением сущности дела», и с другой стороны — путем земства.

Майор восстал против этого, поддерживаемый упорным несогласием на этот проект со стороны седого старика.

— Так, так, миленький! — поощрял его майор, ликуя и сияя всей своей маленькой персоной.— Верно! Держи выстойку... Мы, мол, и сами сумеем... За нами дело не станет; захотим — головы положим!

— А что, у вас много в земстве выживших из ума стариков? — спросил сдержанным голосом адвокат «от дворян» Никашу.

— Юноша! — загремел майор, нахмурив брови, и засеменил ножками (очевидно, он поторопился принять замечание на свой счет).— Не спеши обижать старого майора!.. Не опасайся! Он не тебя удостоит своим уважением... Вникни: в 1835 году...

Но тут майор заговорил так быстро, что до меня долетали только одни отрывки какой-то странной хронологии в таком роде: «...в 1835 году... состоял и, быв препровожден курьерно... в 1848 году... состоял и быв... откомандирован в Орск... В 1854 году... испросив всемилостивейшего соизволения пролить за отечество... всемилостивейше соизволено... пролил... За дело на

Малаховом кургане состоял... и быв... выслужил и получил... В 1861 году, в незабвенный день девятнадцатого февраля... поселился среди крестьян... и ныне, божьею милостью, пребываю...»

— Ха-ха-ха!.. Полно, старина, полно! — покровительственно посмеиваясь, заговорил Никаша.— Да кто же вас не знает! Ах, хорохора!.. Ха-ха-ха!..

И Никаша нежно тыкал его пальцем в живот. Батюшка посмеивался, а адвокат несколько струсил и конфузливо отошел к окну... Я взглянул на Морозова: он ходил по комнате, потрепывая бороду, и опять по лицу его носилась мысль: «Эк ведь ломается! И к чему ломается!.. А романтик! Чистый романтик!..»

— Так, так, миленький!..— опять поощрял майор седого старика, равнодушно и лениво внимавшего «барскому разговору», как слушает пустые речи больной или уже отрешившийся от мира человек, которому давно все это надоело,— так, так!.. Крепись, дружнее стойте... Хвалю!..

— Что нас хвалить? Стары уж мы, хвалить-то нас! — лениво и сердито, отворачиваясь к окну, проговорил седой старик.— Дурно ли, хорошо ли — наше при нас и останется. Нас уж бог разберет!..

— Да, да! — заволновался майор.— Все еще у меня это старое... Поощрить, похвалить... Эк в нас засело!.. Ха-ха!.. И Орск не вытрезвил... А? Петр Петрович! Орск — и тот не вытрезвил... А?

— И Орск — романтизм,— буркнул Петр Петрович, залезая рукой за пазуху и в нервном раздражении двинув ногой стоявшее не на своем месте кресло.

— И Орск? — переспросил майор внезапно надтреснувшим и даже дрогнувшим голосом.

— Ха-ха-ха!..— загрохотал опять Никаша.— Ах, хорохора!.. Ах, старина, старина!.. А он думал и невесть что!..

— И Орск? — проговорил уже еще тише майор, как бы для самого себя.— Ну, это... это, кажется...— слишком уж действительность...

Он весь покраснел, как уличенный школьник, смешался, смутился и закашлялся...

— Ха-ха-ха! Ах, хорохора! — поощрительно захохотал было опять Никаша и выразил даже намерение

радушно обнять старика, а батюшка уже поправил рукава ряски, приготовляясь «сделать и с своей стороны заявление», как из соседней комнаты показалась та серьезная девушка, которую заметил я раньше... Неся в руках фуражку и толстую суковатую палку майора, она быстрой, но твердой поступью подошла к нему и взяла его под руку.

— Папа, уйдем отсюда...— раздался чистый и ясный до резкости голос, несколько дрогнувший на последнем слове. А через секунду в глазах ее блеснул огонек, и кровь залила обе щеки, когда ее взгляд приметил нервную дрожь на лице Морозовых.

— Домой? Да?.. Пожалуй! Я ведь ничего... так... закашлялся! Это пройдет,— торопливо заговорил еще более смущенный майор.— Прошу извинить,— обратился он, расшаркиваясь по-военному, к присутствовавшим,— вот она... домой хочет!

И он вышел «петушком» вслед за дочерью.

Гости с усмешкой переглянулись; Лизавета Николаевна, чтобы скрыть смущение, занялась с прислугой, а Никаша подлетел к старавшемуся с нервной торопливостью свернуть папиросу Петру Петровичу и, подернув плечом по направлению к двери, куда вышел майор с дочерью, сказал полушепотом и полутаинственно: «Вредные элементы-с!»

— А его-ство тоже «вредный элемент-с»? — силясь улыбнуться, спросил его Петр Петрович.

— Н-да?! — вскрикнул нелепо Никаша, не зная, засмеяться ли ему на этот вопрос или обидеться.

— Это значительно любопытный вопрос! — вывел его из затруднения батюшка.

— Ха-ха-ха! Да, это интересный вопрос!

— А вот тут еще господин доктор, Башкиров, проживает,— сообщил батюшка,— тоже элемент-с! Умный он человек, надо полагать, но не люблю я его. Не своим делом занимается. Мораль христианскую изволит проповедовать. Хорошее, конечно, это дело, но всякому довлеет свое...

— А не выпьем ли мы еще, господа? — предложил Морозов.

Это предложение было очень кстати. Все выпили, но уже беседа не клеилась. Видя, что хозяева «не в

своей тарелке», по замечанию батюшки, которое он сделал мне шепотом, войдя с бутербродом в руках в кабинет, гости стали прощаться, тем более что на обед рассчитывать было нельзя, так как Лизавета Николаевна, по общему мнению, была «либералка» и старыми обычаями пренебрегала.

Остался один седой старик, все так же мирно сидевший в углу за дверью и безучастно внимавший совершавшемуся перед ним. Наконец он вздохнул, собрал тщательно с колен крошки белого хлеба, с которым пил чай, стряхнул полы и поднялся. Вытянувшись во весь рост, он был очень красив: во всей его фигуре чувствовалось какое-то настойчивое самосознание с примесью смирения, как это бывает у монахов; его умные и зоркие глаза светились такой глубиной, что, казалось, они глядели постоянно куда-то вдаль, поверх всего, что было вблизи.

— Благодарствую, матушка Лизавета Николаевна,— сказал он,— за чай-сахар, вашей милости...

— Ты-то чего же торопишься, Филипп Иваныч? — спросили Морозовы.

— Я уж в другой раз приеду пособеседовать с тобой, Петр Петрович... Неколи теперь, недосуг. Я вот барыньку-то, по-старинному, поздравить завернул...

— Ну, что же, как у вас в земстве, Филипп Иваныч? — спросил Морозов.

— Ты сам, Петр Петрович, знаешь, что́ там... А наше дело одно: как бы греха не наделать. В этом всю и мысль полагаешь. Много было грехов-то, так на старости только одно смотришь, чтоб еще на душу не принять. Вот и все наше дело в самом этом земстве.

Я улыбнулся, что старик, казалось, заметил.

— Ох, грехи, грехи! Дело, кажись, немудреное, а куды не легко! Ежели бы его-то исполнять по-настоящему, так и то бы в самый раз было! — проговорил он, смотря куда-то вдаль, поверх моей головы.— Прощенья просим! — прибавил он, мотнув головой и протягивая Морозову старую, медно-коричневую руку.

— А то остался бы пообедать, Филипп Иваныч,— приглашали Морозовы.

— Нетутка... Неколи! — ответил он, махнул шляпой и вышел.

— Кто это? — спросил я Петра Петровича по уходе старика.

— Умный мужик и в то же время не подлец и не романтик. Знает, чего не нужно делать, чтобы не подличать, и что возможно делать при данных условиях, чтобы не тратить даром пороха...

— То есть то, что выражается в одном слове: «не грешить»?

— То, что выражается в слове: «не грешить». Бывают такие условия деятельности, при которых сохранение и защита даже отрицательных добродетелей составляет подвиг... Наши крестьяне-присяжные и лучшие гласные из крестьян — живые примеры этого.

Мы замолчали.

— Ну, вот и опять мы одни! — сказала со вздохом Лизавета Николаевна, садясь пред неубранным еще чайным прибором и откидываясь с беспомощно сложенными на коленях руками к спинке дивана. На ее лице светилась не то улыбка иронического сожаления о чем-то, не то выражение какого-то затаенного предчувствия, возможности возврата чего-то старого, тяжелого, пережитого. Я узнал это выражение: оно было хорошо знакомо мне. Встретив Лизавету Николаевну в саду, цветущую, довольную, очевидно наслаждающуюся, наконец, устроившеюся по ее вкусу жизнью, я уже думал, что этому выражению не суждено больше налагать на ее лицо печать преждевременной дряхлости, пассивной покорности судьбе и вечно неопределенного томления. И вот опять — оно. Опять я вижу пред собой прежнюю Лизавету Николаевну, как десять лет назад, сидящую так же за неприбранным чайным прибором, на студентской угарной и сырой квартирке в Петербурге, в Семеновском полку. Она сидит с озябшими ногами в теплых калошах на старом, с перелопавшейся подушкой, диване, с книгой в посиневших маленьких аристократических, почти прозрачных руках. Она смотрит в книгу, но ее мысль, очевидно, витает где-то далеко, и на ее лице лежит томительное и как бы вошедшее в привычку страдание.

Дочь богатого помещика, она, как дитя того периода, когда русская женщина жила «накануне» чего-то, увлеклась молодым Морозовым, жившим в качестве

управляющего у соседнего помещика. Она страстно, беззаветно отрешилась от всего и во имя любви к нему, и во имя какой-то неопределенной идеи «новой жизни»: бросив отца, богатых женихов, роскошь окружавшей ее обстановки, она ушла за Морозовым. «Грубая действительность», конечно, не заставила себя долго ждать и начала безжалостно и обрывать и мять «цветы романтизма». Лизавета Николаевна волей-неволей вступила с нею в борьбу. Она выставила против нее все душевные силы, какие были в ней; а в ней было сердце глубоко любящее, самоотверженно-преданное. Но и только. Борьба была тяжела и едва выносима. Морозовых беспощадно жала нужда. Эта нужда была ничто для Петра Петровича; он «купался в ней, как сыр в масле», по его собственному признанию; но она была тяжела для Лизаветы Николаевны. И это видел и чувствовал Морозов; видел до жуткой ясности, что он ничего не может выставить против этой нужды. Он несколько раз хотел бросить свои скитания по «научным капищам» и «пристроиться»,— но могла ли эта жертва удовлетворить Лизавету Николаевну? Разве ей нужна была эта жертва? Мало этого: она угадывала чутьем, что она стесняет деятельность мужа. Были случаи, когда он отказывался от участия в некоторых рискованных предприятиях. Она даже слыхала, как прямо соболезновали об ее муже, что он пропащий человек для дела, что он изменил своим инстинктам, сойдясь с враждебным, в самом себе носящим разложение и расслабление элементом, то есть с нею. Она металась в этой ужасной дилемме, поставленной ей жизнью. Но ни слова ропота, ни звука жалобы или отчаяния не вырвалось из ее души. Иногда сам Морозов думал о ней так же, то есть как о веригах, но это были мысли мимолетные, скверные мысли: он глубоко раскаивался в них. Он целовал ее руки, просил у нее прощения за эти мысли: он чувствовал искренно, что не может ни под каким видом не преклониться пред этим «золотым сердцем», не уважить то самопожертвование, с которым пионеры того времени выносили на своих плечах «новую идею», не ценить эту чистую, беззаветную преданность...

— Вы не поверите, как тяжело быть всегда од-

ним,— продолжала Лизавета Николаевна, обращаясь ко мне,— не иметь дружка, солидарного по убеждениям и симпатиям! Вечно сидеть между двумя стульями и, оторвавшись от одних, не пристать к другим!.. Вы видели: мы для всех чужие, какой бы слой общества ни взяли мы...

— Это, Лизочка,— «историческая необходимость», говоря ученым языком,— заметил Петр Петрович, наливая сам себе стакан.— Бывают времена, когда «не помнящие родства» цыгане составляют «историческую необходимость»...

— Но ведь и цыгане могли бы быть солидарны между собой? Они-то где же? Ну, дайте их. Мы протянем им руку, мы дадим им свою любовь, свое сердце, всех себя.

— А солидарность между цыганами и «не помнящими родства» составит второй период «исторической необходимости». А когда он настанет, не знаю; значит, еще время не пришло. Но уж, вероятно, не мы в нем будем фигурировать...

— А кто же?

— Кто помоложе...

— И они с нами все-таки не сойдутся?

— Нет.

— И мы состаримся, исполнив какую-то странную миссию «цыганства»?

— И состаримся.

— Вы знаете Катерину Егоровну... майорскую дочь? — спросила меня вдруг Лизавета Николаевна.

— Нет, почти не знаю.

— Странная девушка! Я ее не понимаю. Ее манеры меня раздражают... раздражали всегда... Она ведь воспитанница Пети. Она приехала в Петербург и тогда познакомилась с нами. Мы знали ее сперва под фамилией Усташевой, потом вдруг она переменила фамилию и стала звать себя Масловой... Катериной Масловой...

Я вспомнил тотчас же книжку Гейне.

— Я ее не понимаю,— повторила опять задумчиво Лизавета Николаевна.

— И не понять нам. Или по крайней мере — трудно...— заметил Петр Петрович.— Вот тебе пример.

— Но неужели, Петя, мы, вчерашние «новые люди» (Лизавета Николаевна улыбнулась), так уже быстро успели состариться? Зачем эта сегодняшняя выходка Кати? Отчего к нам не ходит этот... Башкиров?..

Петр Петрович пожал плечами и задумчиво стал курить сигару. Задумалась и Лизавета Николаевна.

Я подал им руку; они молча пожали мне ее, и я ушел.

Глава вторая

БАШКИРОВ

I

Я безучастно глядел на расстилавшийся передо мною тихий, мягкий пейзаж, каков он бывает в наших скудных палестинах пред закатом солнца. Его грубые во всякое другое время линии приняли то освещение, при котором солнце как будто ласкает своими последними лучами убогие равнины нашей родины, как будто этим нежным, мягким блеском силится скрыть грубоватый колорит скудной природы и ее обитателей, недавно еще так рельефно бросавшийся в глаза под изнуряющими, палящими его лучами. Я стоял на косогоре; от меня вниз, в широкую и глубокую лощину, сбегало море ржи, залитой золотом косых лучей, по которой мелкою волной ходили едва заметные полосы теней. Оно казалось мне бесконечным водопадом, беззвучно катившим от моих ног куда-то далеко, в беспредельную область, волны, несущие в себе довольство и полноту жизни. Дальше, по зеленой пойме, стеклянной лентой блестела река; за нею, в глубине, тянулась полоса лесов, как дикая гряда облаков на горизонте, а там, еще дальше, где-то искрилась, переливалась и горела на солнце, до боли в глазах, глава одинокой колокольни. С реки несся едва слышный шум колеблемой ветром осоки, сторожившей берега этой маленькой, но глубокой речки; откуда-то долетало журчанье мелкой волны, бившейся о камни, запрудившие родник; с отавы слышались смешанные звуки зве-

нящих бубенцов и колокольчиков от пасшейся скотины... Все эти звуки лились мягко и плавно и погибали в беспредельном море чистого, теплого воздуха. И вдруг в смешанный хор разнообразных звуков, несшихся и со стороны реки, и с поля, и от леса, влился еще особенный, нежный и лепечущий звук.

Я остановился и стал прислушиваться.

— А мне нынче сон приснился,— тихо говорил чей-то свежий, ясный голос, в котором звучали резкие, твердые ноты,— такой чудесный сон!..

— Какой? Ангел, что ли? — спросил другой, тоненький, слабый, очевидно еще детский, голосок.— Мне вот ангел приснился, весь белый, вошел он к нам в окошко и стал у меня в изголовье. Так мне светом и резануло в глаза, даром что я закрывши глаза спала... Проснулась, а мне в лицо прямо из окна месяц таково светит!..

— Вишь, тебе какой сон приснился! Это хороший сон...

— А мне вот такие сны не снятся,— заметил еще чей-то, тоже слабенький голос,— мне страшные все... Все лешие да домовые, а то ведьмы. Меня все пужають ими дома... Нет, мне такое хорошее не снится...

— А ты помолись,— посоветовал первый голосок.

— Я молюсь... Да это уж не оттого. А тебе какой приснился?.. Хороший тоже?

— Мне хороший, только простой,— ответил голос постарше,— мне приснилось, будто маленькая я, совсем маленькая, и будто я в поле со своей мамой... Маме нужно было рожь жать... Она взяла меня, подняла на руках, проговорила молитву и опустила вот на эту, на рожь-то... Потом перекрестила, поцеловала и ушла жать. А мне так сделалось хорошо,— лучше, чем в люльке... Рожь эта качается так тихо, и мягко так на ней. Вверху синее-синее небо, как теперь; нет-нет облачко пробежит, белое, как сахар; бежит-бежит и вдруг остановится и растает...

— Ну?

— Я глядела-глядела, качалась-качалась, меня рожь и убаюкала... я и заснула.

— И только? — спросил четвертый голосок, хриплый какой-то, болезненный.

— И только... Чего же больше? Больше и не нужно. Я и во сне видела то, что наяву люблю. Я люблю вон с того косогора смотреть на эту рожь... Сяду и смотрю, как она колышется, а в это время мысли так и бегут в голове...

— А о чем ты думаешь?

— Да многое думается, о всяком... Думается и то, что лучше: умирать ли, чем жить, или идти дальше куда-нибудь и искать, все искать...

— Мне вот, ровно в слово, такое же привиделось,— сказал больной голосок.— Будто я в эту рожь, словно в реку, бросилась — и поплыла. Только так мне страшно стало, будто тону я... Хочу вскрикнуть, а тут вдруг турка выхватил меня за ноги и держит над рожью... Я закричала и проснулась. И страшно мне, страсть как боюсь взглянуть на стену. А на стене у нас картинка с этим туркой есть, и подпись под ним: «Турки валятся, как чурки».

Раздался чей-то тихий смех.

— А ты пойдешь их лечить?

— Кого?

— А вот этих самых, что теперь турки мучат.

— Да ты откуда знаешь это?

— У нас на селе учитель читал. Всей деревней мы слышали. Пойдешь? — настойчиво спрашивал тот же голосок...

— Нет, незачем мне. Кабы я лечить умела!

— А как же ты у нас, третье лето, по избам в холеру с Кузьминичной везде ходила с ящиком? Нет, ты ступай туда. Тебе и доехать можно: у вас лошади хорошие...

Я обернулся, и вдруг через две полосы от меня поднялась изо ржи стройная фигура майорской дочери, а за ней повыскакивали из глубины колосьев и васильков белые и темно-русые головки деревенских девчаток; кое-где в эти растрепанные головки всунуто было по цветку, на загорелых тельцах висели грязные рубашонки, прикрытые короткими сарафанами из синюхи.

Они побежали вслед за майорской дочерью, которая стала подниматься на косогор. Несколько приостановившись, она обернулась назад и равнодушно огля-

нула меня; ее стройный стан, в белом ситцевом платье, отчетливо обрисовался в слабевших лучах заходящего солнца, лицо носило выражение какого-то непонятного смущения, но было до того строго, что невозможно было предположить, что она только что рассказывала сон, как качали ее хлебные волны. Это была опять та резкая, грубоватая девушка, манеры которой так возмущали нервы Лизаветы Николаевны. Она приставила руку зонтиком к глазам, взглянула по направлению к лесу, к которому плавно катилось солнце, затем надвинула низко на лоб угол ситцевого платка, которым были прикрыты слегка ее волосы, повернулась и скорой походкой пошла с девочками по задам морозовской усадьбы.

Скоро все они скрылись. Я пошел вслед за ними. Взобравшись снова на косогор, я увидел, как вся группа уже спустилась и, рассыпавшись, занялась срыванием цветов. Девчата постоянно кричали что-то «барышне», подбегая к ней с новыми цветами; она, казалось, отбирала подходящие и связывала в букет. Минут через десять вся группа, перейдя луг, направилась к концу села. Я более кратчайшим путем пошел им навстречу и увидел снова, когда они выходили из-за задворок последней избы. Несколько в стороне от села, совершенно скрываясь в глуши придорожных деревьев, стояла дряхлая, полуразвалившаяся изба. По некоторым еще уцелевшим на ней признакам можно было догадываться, что здесь был прежде кабак, называвшийся в старину «притынный»... Группа оригинальных существ, за которою я так пристально следил, приблизилась к этому домику... Старый, поседевший пес, с вылинялой по бокам шерстью, бросился было с хриплым лаем с завальни, но тотчас завертел хвостом и, тоскливо замурлыкав, улегся опять у крыльца. Очевидно, пришедшие были ему знакомы, и он имел уже случай неоднократно убеждаться в их благонадежности.

Одно из маленьких лиц группы быстро забралось на завальню, перевесилось внутрь окна, оглядывая внутренность избы, и, наконец, крикнуло, обращаясь к майорской дочери и показывая взятый с окна стакан с засохшим букетом:

— Вона — повяли! Совсем! А самого-то нету. И халат на полу валяется.

Майорская дочь подошла к окну, взяла из рук девочки стакан, выбросила завянувшие цветы, заменила их новыми и снова поставила стакан на окно. Вся группа повернула было обратно, как вдруг откуда-то вышла им навстречу низенькая старушка, в темном кубовом платье, повязанная шалью.

— Ах, милая барышня, опять это вы цветочков принесли! Все вы моего Ва́нюшку-то утешаете! — заговорила старуха, ища торопливо в юбке своего платья карман с носовым платком.— Как же мне благодарить-то вас, дорогая моя? Все нами брезгают, все нами... Позвольте хоть ручку у вас поцеловать! — перебила свою речь старушка, найдя наконец платок и вытирая себе губы...

— Полноте, что вы? — вся вспыхнув и пряча руки, сказала майорская дочь.— За такие пустяки!..

— Нет, не пустяки это, дорогая барышня. Цветы-то эти для моего Ванечки, может быть, золота дороже.

И старушка заплакала.

— Что вы плачете? Вашим сыном вам бы не нарадоваться! Не всем такое счастье!

— Счастие!.. Дорогая моя, мне-то счастие, такое счастие, что и недостойна я, кажись... Да ему-то счастие ли? Ведь молодой еще он у меня, ведь любить тоже хочет. А кто его когда любил? Какая ему девушка бросила хоть словечко ласковое? А кто виноват? Ведь я все виновата, что его таким родила! Я, окаянная, должно быть, согрешила пред господом, что он, батюшка, попустил еще во чреве моем испортить его образ ангельский...

— Ну, что же делать... Зато он умница у вас. И сердце у него такое, что поискать надо!

— Умник он, дорогая моя! Да ведь с умом-то... разве ум нужен для любви?

Старушка печально покачала головой.

— Да что он у вас дичится всех?.. Ну, со мной бы поговорил... Если он уважает меня, то ему нечего скрываться, нечего думать, что я насмеюсь над ним. Вы скажите ему...

Она протянула старушке свою здоровую, сильную,

загорелую руку и крепко пожала сухие, костлявые ее пальцы.

А в это время я заметил, как сам «Ва́нюшка» с ружьем приближался к дому и вдруг, как заколдованный, остановился за деревьями и смотрел на происходившую у его ворот сцену.

— А вот он, дохтур-то! — крикнули девчата, заметив его сквозь деревья.

Все обернулись в ту сторону, но уже никого не было. В необычайном смущении и волнении, «Ва́нюшка» бросился к плетню сада и, разломав его, пропал среди густых деревьев.

Майорская дочь весело улыбнулась старушке и, еще пожав ее руку, быстро пошла по дороге от села к «своей усадьбе».

II

«Неужели она полюбила этого «доктора Ва́нюшку», это странное существо, которому не улыбнулось приветливо ни одно женское лицо?» — подумал я. Я знал «Ва́нюшку» по ходившим о нем странным рассказам среди московской молодежи и лекарей. Предо мной теперь вдруг ясно и ярко встала его фигура, маленькая, но крепкая и мускулистая, широкая в плечах, приземистая, что называется «башкирская», на тоненьких, но крепких и сильных ножках; несоразмерно огромная голова с сильно развитою затылочною частью, отчего она казалась двойной, сидела на короткой шее; монгольский тип во всем давал себя знать — и в маленьких глазках среди широкого лица, и в больших бровях, сходившихся над широким приплюснутым носом, и в больших скулах с выдающейся нижнею частью лица, едва прикрываемой жидкими волосами бородки. Его рождение совершилось при обстоятельствах, довольно романтичных, как бы в насмешку над всей последующей его судьбой. Его мать, страстная восемнадцатилетняя девушка, единственная дочь богатого помещика волжской палестины, воспитанная среди уединения дико-однообразной природы на рыцарских романах, которыми зачитывалась до умоисступления, влюбилась в одного «удалого молодца» из

кочевой вольницы, предводителя шайки башкиров, рыскавшей в окрестных местах. Ее увлекла страсть и романтический ужас такой любви. В глухую ночь, когда ее отец играл в вист на дворянских выборах в ближайшем городишке, она в лесу обнимала дикого сына степей: здесь зачала она Ва́нюшку. Пролетели месяцы, возвратился отец, пропал из виду «удалой молодец» с своей шайкой, и бедная девушка осталась одна с тайной думой о маленьком существе, развивавшемся под ее сердцем. Она с ужасом видела, что обыденная жизнь не укладывалась в романтические рамки, что за мгновение этого романтизма приходилось так или иначе платить. Неизвестно, что было бы с нею: может быть, она так же романтично погибла бы в одном из прудов своей усадьбы, если бы, наконец, рано или поздно, отец заметил ее беременность, но, на ее счастье, в это время влюбился в нее уездный лекарь, только что вышедший в отставку из полка, уже немолодой человек, любивший выпить и поиграть в картишки. Он сделал ей предложение, а она, не долго думая, приняла его. Через пять месяцев после свадьбы родился Ва́нюшка. Уездный лекарь сначала было зашумел и даже, по-военному, переломил о стену чубук и разбил трубку, но тотчас же смирился, сообразив, что все-таки очень приятно пить с тестем наливки и играть в пикет, имея в виду, что жена — единственная его наследница. Тем не менее больной, уродливый Ва́нюшка был в совершенном загоне; он не интересовался им, не любил говорить о нем, мать никогда не показывала его мужу, но зато сама отдала сыну всю душу и, как часто случается с романтическими натурами, предалась религиозному созерцанию. Через год родился еще сын — баловень отца. Отец сам воспитывал его, лелеял, баловал. Ва́нюшка никогда не сходился с своим братом, а если это случалось, то его били. Наконец отец с нетерпением стал дожидаться, когда ему можно будет «убрать» от себя куда-нибудь Ва́нюшку; едва минуло ему семь лет, как он тотчас же увез его в город и отдал на попечение дьякона, с тем чтобы тот пристроил его в бурсу. Отставной лекарь не хотел отдать его в гимназию, где должен был учиться его собственный сын. Восьми лет Ва́нюшка был «пристроен» в бурсу под

фамилией Башкирова, которую придумал для него уездный лекарь. Понятно, чем стала для маленького Башкирова эта ужасная русская школа — для него, забитого, смирного, уродливого мальчика, лишенного ласки отца и матери. «Двухэтажная башка» — вот прозвище, которое носил он в продолжение двенадцати лет. Насмешки, щипки, тумаки, порка сделались неизбежными элементами его воспитания. Но чем больше они сыпались на него, тем он становился более и более хладнокровным к ним. Они как будто теряли для него всякое значение. Помогали ли этому его крепкая физическая натура или сила его характера, но только равнодушие к врагам и какое-то безусловное всепрощение постоянно царили в его душе. Очень могло быть, что его забили бы совсем, если бы его не вывозила громадная, удивительная память, помогавшая ему избегать половину тех по́рок, которые переносили его товарищи. Сидя на постели и выделывая какое-нибудь украшение для своего единственного друга и любимца, дьяконского козла, он протяжным и ленивым голосом «покорнейше просил» зубрившего урок товарища прочитать ему вслух повнятнее. Товарищ читал, а Ва́нюшка говорил: «Будет» — и отправлялся к козлу. А на следующий день отвечал урок буква в букву. Учителя дивились; им даже было досадно, что нельзя было выпороть Ва́нюшку за незнание урока. Но зато находили случай пороть его по другому поводу. Он был сделан авдитором — и вот в этой-то должности не мог устоять от искушения ставить своим «слушанникам» самые похвальные баллы. Приходил учитель, вызывал ученика — тот ни в зуб толкнуть. «Авдитор — сюда! — Ва́нюшка вылезает из-за парты.— Пороть!» Ва́нюшку порют, а на следующий день опять Ва́нюшка поощряет своих слушанников отличными отметками. Кончил Ва́нюшка наконец курс удивительной школы, постаравшейся стереть с его типической физиономии почти все, что оставил ему в наследство «дикий сын степей». В это время был вызов в университет. Несколько его однокашников собирались в Москву и, подсмеиваясь, приглашали его прогуляться вместе с ними. Они подсмеивались, ибо чистосердечно не могли ожидать от него такой «прыти» и столько нравственной энергии.

В особенности они не могли представить его занимающимся «новыми языками». Действительно, последних боялся и сам Ва́нюшка. Но как-то раз полюбопытствовал он посмотреть книжку Марго. Прочитал первую страницу лексикона — и выучил, прочитал вторую, проверил себя, перегнул пополам страничку — знает. Он решился, и через две недели весь лексикон при этой книжке знал наизусть. В Москву он отправился в качестве не то товарища, не то лакея при одном из своих однокурсников, сыне благочинного, который постоянно читал ему наставительным тоном какие-то рассуждения о примирении науки с религией. Ва́нюшка за это чистил ему сапоги, бегал за вином в лавочку. Так прибыл он в Москву и поступил в студенты. Чем он жил, было совершенно неизвестно. Таскался по плотничным и малярным артелям, писал мужикам прошения, ночевал у них, и никогда никто не слыхал от него ни одной жалобы, несмотря на то что он очень часто ел только кусок черного хлеба с квасом. Ни у кого он и не просил ничего. Запуганный, робкий, неловкий, привыкший преувеличивать свою физическую уродливость, с которою, как ему думалось, нельзя было появиться в люди, чтобы не произвести смеха, он редко посещал лекции (за исключением анатомического театра), еще реже бывал у товарищей. Но к экзамену всегда являлся и сдавал его хорошо. Громадная память и здесь выручала его. Но эта же память приучила его отчасти к умственной лени: слишком уже легко ему давалось все. Каждая книга, которую он прочитывал, целиком укладывалась в его голове. Читал он немало, и так как прочитанное не улетучивалось у него, то «двухэтажная башка» его представляла собою какой-то чудовищный архив, в котором он, впрочем, не оказывал никакого желания разбираться. Обладающие огромной памятью обыкновенно бывают слабы в анализе и обобщениях: их будто гнетет избыток знания. Да, Ва́нюшка и любил больше жизнь, чем отвлечение. С четвертого курса он уже имел случай прямо прилагать свое знание. Постоянно толкаясь и живя в подвалах, он неустанно лечил массу люда: швеек, прачек, плотников, столяров, фабричных; ставил им горчичники, прописывал слабительные, крепительные, вырезал

чирьи, опухоли, вправлял вывихи. В это же время случилась с ним одна из тех неизбежных историй, которым платит дань каждый из юношей. Зашел он как-то раз к одному из приятелей, и тот представил его своей сестре. Ва́нюшка в нее влюбился. Это заметили. Но Ва́нюшка любил по-своему: он никому об этом не заикался, даже боялся заикнуться самому себе. Мысль о взаимности он гнал из своей головы, как что-то химерическое. Чем выше, чем красивее, чем милее представлял он себе предмет своей страсти, тем невозможнее считал он мысль о взаимности. Так любил он, долго и молча, все сильнее и сильнее, но зато и сосредоточеннее. Единственным утешением его было взглянуть хоть раз в день на предмет своего обожания. Он придумывал всякие предлоги, чтобы заходить ежедневно к приятелю, и это, конечно, скоро сделало его мишенью для веселых насмешек. Неизвестно, знала ли девушка об его любви, но только она никогда не сходилась с ним и через несколько времени вышла замуж. Долго ходил по этому поводу между товарищами следующий смешной анекдот. Говорят, что в день ее свадьбы кто-то зашел к Ва́нюшке в то время, как он только что стал надевать брюки и уже успел натянуть одну штанину. (Он одевался, как и все вообще делал, медленно и обстоятельно.) В эту минуту его товарищ сообщил ему, что сегодня свадьба его возлюбленной. Ва́нюшку как будто ударили оглоблей по голове. Он до того опешил, что товарищ испугался и ушел от него. Ва́нюшка не сказал ни слова: он долго смотрел в стену, потом поднялся и, не замечая, что все еще в одной штанине, поддерживая другую рукой, стал ходить из угла в угол комнаты. Так проходил он весь день, и этим разрешился вопрос его любви. С этих пор он еще дальше ушел от образованного общества и, наконец, мало-помалу потерял даже всякую нравственную связь с ним. В обществе сначала считали его оригиналом, потом стали называть полоумным. И вот в то время как ему нужно было защищать диссертацию, когда ему предложили остаться при клиниках, он вдруг все бросил и ушел в подвалы, в которых в то время свирепствовал тиф. Наконец на него махнули рукой. Он в представлении общества стал тем же, чем обыкно-

венные юродивые, бог знает по каким побуждениям расхаживающие босиком, с открытой грудью и головой в лютые русские зимы, «когда так легко простудиться». Но общество ошибалось; в натуре Ва́нюшки, к удивлению всех, лежала сосредоточенная, могучая нравственная сила, очень часто доходящая в подобных личностях до неимоверного упрямства, как следствие затаенной гордости. Но кто же мог предполагать, что у Ва́нюшки есть «принципы»? А между тем он, когда ему предлагали стипендию, отказался и никогда не получал ее. Оказалось, что Ванюшка дорожит своей независимостью. Это стоило ему очень дорого, но он пробился все пять лет на своем «коште», а стипендии так и не взял. Что у него были «принципы», об этом без смеха не могли бы и говорить его товарищи. Они его считали «осиной», «деревом» и крестили его этими именами, когда он равнодушно и лениво слушал их горячие споры о «народе», о «язвах», о различных «измах» и пр. А между тем, если у него и не было цельного миросозерцания, по неумению его, вследствие умственной лени, предаваться спекулятивным упражнениям, то было много кое-каких оригинальных «основных положений», «устоев». У человека непосредственной жизни всегда есть эти устои, заменяющие цельное миросозерцание; на этих устоях держится, бессознательно для него, все его нравственное здание, хотя они стоят у него одиноко и, по-видимому, ничем один с другим не связаны. Такие устои в особенности очевидны в народе. Какого рода они были у Ва́нюшки, мы для примера приведем следующий разговор.

Молодые товарищи его знали, конечно, что Ва́нюшка хорошо был знаком с простым народом, так как постоянно толкался среди него. Они это знали, но считали его совершенно неспособным и не желающим воспользоваться своим знанием, как могли бы воспользоваться они. По этому обстоятельству они часто предавались соболезнованиям. Некоторым приходила в голову мысль эксплуатировать его практические знания в этой области. Так, однажды пришел к нему один из самых рьяных его товарищей по части разных «общих вопросов». Ва́нюшка в то время жил в плотничьей

артели, занимая на день все ее помещение, так как днем рабочих никого не было.

— Скажи, Башкиров,— заговорил приятель,— ты хорошо ведь знаешь простой народ?

— Чаво я знаю? Знаю я Петра да Сидора. Вот чаво я знаю! (Нужно заметить, что Ва́нюшка говорил почти невозможным для порядочного общества языком: это была смесь семинарского жаргона с мужицким; да кроме того, он говорил протяжно, лениво ворочая языком.)

— Ну, да хотя этого Петра да Сидора изучил же ты? Вот они с тобой сходятся, тебе доверяют. Ты, значит, знаешь, чем можно добиться их доверенности, чем разрушить ту стену недоверия, которая существует между нами и ими?

— Знаю,— протянул Ва́нюшка, хитро улыбнувшись.

— В чем же, в чем штука-то? — вскрикнул обрадовавшийся юноша.— Трудно?

— Нет, ничего... легко!

— Легко?

— Не сумлявайся... легко...

— Ну, так в чем же штука-то?

— Штука-то?.. Быть несчастным!

Приятель отчего-то переконфузился, а Ва́нюшка стал хладнокровно переобувать сапоги и молчал.

Такого же характера были и другие его «устои». Как человек, живущий постоянно настоящею, реальною жизнью, он решал все сложные вопросы конкретно, а не в отвлечении. Нашелся у него один пациент из мастеровых, парень лет двадцати пяти, больной и хилый, вздумавший, кроме того, тосковать еще от любви.

— Мне,— говорит,— жениться очень нужно... Вот главная суть в чем!..— объяснял он Ва́нюшке.

— Так чаво ж тебе — женись!

— Жену прокормить нечем. Вот какая линия!.. Сам я хилый, а она того хуже. У меня и на свадьбу-то гроша нет.

Перед Ва́нюшкой сейчас же стал средний человек, человек, так сказать, «гигиенический», который в лекциях медицинских фигурирует да в популярных

гигиенах; явились у него в голове теория Мальтуса, и наследственность, и расположение нищих, и ответственность пред потомством. Ва́нюшка покрутил головой и затем плюнул.

— Ты, парень, лучше женись, пока не умерли вы оба. Женишься — умрешь и не женишься — умрешь. А все ж испробуете, что за штука любовь-то... Тоже ведь вашему брату счастие-то не вчастую... А на свадьбу я тебе денег принесу заимообразно... чтоб тебе это было не в огорчение!

«Потомство!.. Вишь что выдумали! Хитрые шельмы! Им это ничего... Говорят, имей в виду потомство! — твердил про себя Ва́нюшка и волновался.— А ты вот сними рубашку и отдай!»

По окончании курса Ва́нюшка остался в том же положении, в каком был и студентом. Года через два он вздумал было защищать диссертацию, да, как мы видели, самым легковерным образом не явился в назначенный день на защиту. Назначили другой срок, но едва он явился на кафедру, едва увидал пред собой группу растолстелых и вылощенных джентльменов, которые уже приготовились броситься на свою жертву (а им действительно диссертация была не по душе, ибо доказывала положительный вред некоторых медицинских учреждений), едва завидел публику, собравшуюся глазеть на эту «диалектическую травлю», как вдруг необычайно смешался, сконфузился — и не «защитил», к удовольствию смеявшейся публики и гг. оппонентов.

Вскоре же после этого случилась с ним неприятная история, из-за которой пришлось ему возвратиться на родину. Семь лет не видал он своей матери и теперь застал ее уже худой, больной женщиной, живущей в келейке у одной крестьянской «начетчицы». Она молилась богу, ходя по церквам и монастырям, и жила тем, что читала по покойникам. Это не удивило Ва́нюшку, так как он знал, что всеобщее «разоренье» давно уже погребло в своем бурном водовороте и их «дворянское гнездо». Отец его промотал половину имения еще прежде, чем получились выкупные свидетельства, а его брат покончил с ними, спустив все до нитки. В одно утро мать, давно уже погрузившаяся в религиозный пиетизм, к удивлению, но не к ужасу (ей было почти

все равно), узнала, что их имение перешло целиком к одному кулаку-купцу. С кое-какими деньжонками, оставшимися у нее от распродажи «родовой» рухляди, она перешла на житие к своей знакомой начетчице.

Ва́нюшка прожил некоторое время среди волжских мужиков, практикуя между ними и инородцами, и опять вернулся в столицу, взяв с собою мать. С этого времени он вел свою прежнюю жизнь и деятельность: зимой жил по подвалам и чердакам и практиковал там, а на лето уезжал куда-нибудь в деревню «проветриваться от миазмов», как говорил он. В деревне он что-то писал в серьезные медицинские журналы и изредка лечил мужиков. В это-то время мы и застаем у него майорскую дочь.

Знала ли эта серьезная девушка, кто был Ва́нюшка? По незнанию ли его личности ухаживала она за ним или именно потому и ухаживала, что знала, кто он и что он? И почему все эти добрые люди — и майор, и Морозов, и Ва́нюшка — не находят между собою общей точки соприкосновения, общего пункта, где бы они могли сойтись? Я чувствовал, что здесь легла густая тень какого-то общего тяжелого недоразумения. Я почувствовал какую-то жгучую потребность во что бы то ни стало проникнуть в суть этого недоразумения, осветить для них тьму ее, в которой они тоскливо бродили, и разогнать эту тьму, чтобы свои увидели своих и подали друг другу руки.

Глава третья

ОБИТАТЕЛИ МАЙОРСКОЙ КОЛОНИИ

Наутро я шел к майору. Его усадьба, которую все величали «полубарским выселком», находилась верстах в трех от деревни, в которой жил я, и верстах в двух от Морозовых. Полубарский выселок представлял из себя нечто оригинальное: это была кучка плотных, здоровых, обыкновенных крестьянских изб, вытянувшихся на косогоре пред речкой; сзади эта кучка примыкала к садам, переходившим в березовую рощу, а пред нею стояли в одиночку службы: амбары, овины.

Изб всего-навсего было четыре, из которых две — одна, напоминавшая собою маленькие, пятиоконные домики уездных городов, а другая — просто крестьянская — принадлежали майору, прочие — его пайщикам: выселившемуся из села юркому мужичонке Чуйке, первейшему майорскому другу и слуге, привязавшемуся к нему, как собака, и вольноотпущенному дворовому человеку, старику камердинеру, большому философу и резонеру, вечно спорившему с майором и препиравшемуся с ним по поводу разных «господских» и «мужицких» вопросов... Эти три оригинальные хозяина-собственника выделились из общего сельско-господского строя и образовали собою, непостижимо каким образом, особую колонию еще в конце шестидесятых годов. Клочок земли, на которой они поселились, принадлежал майору. Майор предложил сначала поселиться Чуйке, а затем и Троше (так звали камердинера, хотя ему уже было лет под семьдесят; он был в свое время любимец одного богатого барина, и тот никогда не звал его иначе как нежным прозвищем «Троша», которое и утвердилось за ним навеки, несмотря на то что старик очень сердился, когда мужики называли его так). Они поселились, разделили землю на паи и завели общее хозяйство: сняли вместе у соседей-помещиков землю и стали пахать; скупали у крестьян скот и завели скотный двор. Первым воротилой во всей этой «хозяйственной обстановке» был Чуйка, которому майор, по романтичности, а Троша, по «господской апатии и лени», доверились волей-неволей вполне. Была, впрочем, тут разница: майор доверялся вполне, беззаветно, хотя и следил сам за хозяйством или, по крайней мере, делал вид, что следил, ибо по живости своей натуры постоянно во все вникал, всегда шумел, всюду совался (на что Чуйка смотрел хитро-снисходительно и любовно), а Троша, напротив, постоянно ворчал, упрекал Чуйку за какие-то якобы «мазурнические дела», которые больше сочинял сам и которых в действительности не видал. Упрекал за всякое приобретение, какое Чуйка делал в своем личном хозяйстве: купит, например, Чуйка самовар, Троша уже направляется к майору и «конфиденциально» доносит, прося обратить внимание.

— Мне что! — говорил он при этом.— Мне не надо. Я это не по жадности какой вам докладываю, сударь... А только примечательно, что он очень уж юрок, очень в вашу доверенность вошел...

Натурально, майор при первом свидании передавал эти слова Чуйке, который волновался и шел сейчас же «требовать объяснений» от Троши. Троша был, однако, большой руки трус и боялся настойчивого, крикливого характера Чуйки; он тотчас же начинал врать и отбоживаться, вздыхать о людской несправедливости и угощать Чуйку чаем, за которым убедительно доказывал, что майор — большой руки выдумщик и что он на него, Трошу, постоянно взводит напраслину. Чуйка успокаивался этими объяснениями — и все входило в обычную колею. Он продолжал деятельно и неустанно блюсти общую хозяйственную обстановку, смотреть за рабочими, за скотом, ездить и маклачить на базарах; Троша по-прежнему продолжал ходить лениво из сарая в сарай, в барском пальмерстоне и вытертой бобровой фуражке, понюхивать табак и, ворча, сидеть на лавочке около своей «горницы», как звал он свою избу; а майор постоянно странствовал и «вел баталию» на земских собраниях, у мировых судей, на волостных сходах, в присутствиях по крестьянским делам и даже в окружном суде. Это была чрезвычайно живучая и подвижная натура. Несмотря на свои шестьдесят лет, на седые волосы, на разбитые ревматизмом и болью, от засевшей в правой ляжке пули, ноги, он не знал устали и постоянно кипятился, кричал с мужиками, кричал с господами — и только выпивал стакан за стаканом воду да вытирал красное от волнения лицо большим ситцевым платком. Между натурой Чуйки и майора было много общего, и это-то, вероятно, и свело их.

Таковы были обитатели «полубарской усадьбы», этой своеобразной колонии, таковы были их отношения друг к другу. Все это, понятно, я узнал не вдруг.

Я подходил к усадьбе в то время, когда уже у «господского дома» (майорский дом звали «господским») стояла кучка мужиков, из которых одни были дальние, другие — вчерашние знакомцы, говорившие с Морозовым. Последние, как люди «свои», развязно сидели на крылечке, а первые недоверчиво и боязливо слу-

шали Чуйку, который, не видя меня, горячо разговаривал с ними. Так как видимо было, что майора нет еще дома, то я приостановился, облокотившись на решетку палисада, и стал вслушиваться.

— Милый барин — они-с, господин майор,— говорил Чуйка,— вы не опасайтесь, мы с господином майором давно уже по крестьянским правам состоим...

— Разберет вас тут леший, прости, господи! — проворчал один угрюмый мужик, видимо раздраженный трескотней Чуйки и уверенный, что он только среди «своих».— Все вы нынче насчет этих правов разъезжаете...

— А вы чьи? — спросили пришлые мужики Чуйку.

— Мы? Ихние-с были, майорские. А теперича они с нами поселились на равных правах...

— На каких на равных?

— На всяких, на крестьянских... Нда-с!

— Да он барин, что ли?.. Али так... из кантонистов? — полюбопытствовали пришлые.

— Барин!.. Знамо, барин,— улыбнулись на недогадливость пришлых «свойские» мужики.

— Барин! — каким-то своеобразным тоном прокричал Чуйка.— Они майор, и ничего больше!..

— Так как же это он, почтенный, в монахи затесался? — интересовался один из пришлых.

— В монахи! Опять тут пустое слово,— как будто вконец обидевшись на несообразительность пришлых мужиков, сердито проворчал Чуйка.— В миру они, в безбрачии, пятьдесят лет жизни произошли... Двадцать лет тому назад, как они, господин майор, изволили свою вотчину, после покойников родителев своих, на волю отпустить, тут они и на безбрачие пообещались... Н-да!.. До всемилостивейшего манифеста изволили в этом обете пребывать, а девятнадцатого февраля, в незабвенный день, явились к нашему батюшке. «Соблаговолите,— говорит,— батюшка, теперича с меня безбрачие снять и обвенчать на вдове — крестьянке Василисе Ивановой». А теперь они во вдовстве, при дочке, божиею милостью.

— А вы при нем как состоите?..

— Мы у них по конторской части. Ну и в то ж время вместе землю подымаем. Коммерцию ведем ско-

тинкой... Мы на паях. А впрочем,— прибавил Чуйка, поправив фуражку,— обождите. Они сейчас будут и все вам скажут, что ежели можем.

— Да вы, почтенный, с майором-то аблакаты, что ли, будете?

— Аблакаты? Нет, не выйдет так,— подумавши что-то, отвечал Чуйка,— мы только единственно... И по судам ходим, но только не в том виде... Вы вот господина майора спросите. Они всякую, например, фальшь очень чудесно видят... Например, по земству, даже очень их эти земцы не любят! Обождите! — предложил Чуйка, заключив рекомендацию своего первейшего приятеля, пайщика и патрона, старого майора, репутацией которого он дорожил больше всего на свете и не упускал случая выставить личность старика в наивыгоднейшем свете, не пренебрегая даже, как заметно, украшениями из области своей личной фантазии.

Чуйка приставил козырьком руку к глазам, посмотрел по направлению пыльной дороги, затем моментально юркнул в один сарай, потом в другой, подбежал к амбару, освидетельствовал засов, притворил калитку дома, погладил мимоходом лежавшего пса, тут же кстати успел подразнить обидчивого индюка и, наконец, вновь посмотрел из-под ладони на дорогу.

— А вот и они-с, господин майор!

Чуйка еще раз показал фуражкой по направлению к ехавшему вдали экипажу и бросился отворять ворота сарая. Через несколько минут въехал в проселок знакомый майорский экипаж, плетушка из обыкновенных ивовых прутьев, поставленная на легкие дроги; в плетушке сидел майор и осторожно и внимательно правил здоровой, коренастой лошадью. Едва лошадь остановилась у сарая, Чуйка обязательно высадил майора, поддержав его под руки, и затем ввел лошадь в сарай. Майор, в старом военном плаще и фуражке, храбро постукивая своими плисовыми сапожками и грозно-добродушно поглядывая из-под нависших седых бровей серыми, бесцветными глазами на стоявших у крыльца мужиков, подошел к ним и крикнул свое обычное военное приветствие: «Здорово, ребята!»

— Здравия желаем, ваше сиятельство! — ответили, ухмыляясь в широкие бороды, «свойские мужики».

— Зачем майор нужен, молодцы? — спросил он, обращаясь к пришлым.

— Да мы вот, ваше сиятельство, как, значит, наслышаны об вашей милости...

— Ладно, ладно! Знаю, что наслышаны... Про майора худо не говорят... Об земле?

— Так точно. Об чем больше, как не об ней.

Мужики все враз что-то заговорили, стараясь возможно почтительнее и определеннее объяснить майору свое дело.

— Смирно! — крикнул вдруг майор командирским голосом.— Слушать команды! Объясняй, когда команда будет! Отойди к стороне!

Пришлые мужики совершенно растерялись при таком обороте дела и поспешили сбиться в кучу за крыльцом.

В это время подошел я.

— Что вы все воюете в мирное время? — шутя спросил я его.

— А! Здравствуйте!.. Иначе нельзя-с: форма и дисциплина, батюшка, давали направление великим событиям. Не будь их, был бы хаос... и я бы ничего не мог сделать, если б не придерживался этого принципа... Вам что? — обратился он к «свойским».

— Мы, ваше сиятельство, по команде,— снова улыбаясь в бороды, отвечали они.

— Ермил Петров, доложи!

— Мы, ваше сиятельство, как значится,— начал тяжелой поступью свою речь Ермил Петров,— как мы изволили вам тогда докладывать, выходит, что ежели касательно...

— У Морозова были?

— Это, значит, у Петра Петровича Малова?

— Ну, да.

— Были-с... Ну, только упирается, послал к вашей милости... говорит, что эти дела ему не под стать, а вашей милости в самый раз.

— «Нашей милости!» Белоручки! Ученые! — выкрикивал майор.— Нашей милости — мужицкие бороды, а им — великие дела! Наполеоны! Ступайте к ним! — крикнул майор, сверкая глазами и теребя седой ус.— Налево кругом, марш!

— Ваше сиятельство! — загалдели мужики. — Это вам Ермил сглупа наговорил! А вы извольте, ваше сиятельство, прислушать...

— Слушать команду! — крикнул майор. — Отойди к стороне!

Мужики отошли. Молчание.

— Прошу вас в мои апартаменты, — пригласил меня майор, показывая рукою на дверь.

Я пошел, но, обернувшись, заметил, как майор вдруг почти сбежал с крыльца к мужикам и заговорил с самой плачевной миной:

— Голубчики! Подождите! Устал я, ей-богу, устал... Поверите ли, во рту пересохло. Я только позавтракаю, рюмочку-другую пропущу... А вы присядьте!

Я вошел в переднюю и услыхал за дверью голоса в соседней комнате. Я прислушался.

— «Блажении алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся», — истово выговаривая каждый слог и скандуя, читал кто-то старческим, шепелявым, но еще внятным голосом.

— А каким образом они, Кузьминишна, насытятся? — расслышал я голос майорской дочери. — Как ты думаешь, что, по-твоему, должно разуметь под словом «насытятся»? Будут блаженствовать? Да?..

— Умрут, Катюшенька. Умрут за ближних. И Христос, господь наш, спаситель, душу свою положил за овцы, и все, кто искал правды... Все насытились. Сколько было подвижников, мучеников, рыцарей храбрых и благородных, воинов и проповедников — все легли за братий и насытились...

Мне не хотелось прерывать разговора, но опасение быть обвиненным в подслушивании заставило меня взяться за ручку двери. Я вошел. В маленькой, уютной и замечательно чистой гостиной с бледно-голубыми обоями, по бокам стола, стоявшего в простенке между окнами, сидели две собеседницы: майорская дочь и какая-то старушка, лицо которой я не успел еще рассмотреть. Катерина Егоровна (так величали дочку майора) сидела, наклонившись над шитьем; ее белое, почти матовое, но с здоровым румянцем лицо резко выделялось из полупрозрачной тени на бледно-зеленом

фоне от листьев, которыми было сплошь застлано все окно. Старушка сидела против нее с чулком в руках и смотрела сквозь большие оловянные очки, державшиеся на толстых шнурках, на разложенную пред нею книгу.

На мой поклон Катерина Егоровна медленно подняла голову и слегка кивнула ею, в то время как по лицу ее пробежала какая-то тень, а старушка, снимая очки и не вставая, несколько раз мотнула мне седою головой.

— Майор все у вас воюет, все практикует, по привычке, старые военные приемы,— проговорил я, чувствуя, что говорю пошлость, и только думая о том, что надо же что-нибудь сказать.

— Да... он иногда любит шутить,— лениво ответила Катя, очевидно, все еще не выходя из-под влияния какой-то идеи, каких-то образов, которые овладели ее мыслью.

Я не стал ей мешать больше разделываться с ними, как она хочет, и внимательно стал вглядываться в оригинальную старушку, так поразившую меня своей философией. Я смотрел в ее серые, бесцветные, но еще бойкие и выразительные глаза, на ее вытянувшийся длинный худой нос, на выдавшийся совсем лопаточкой, которою можно было с большим удобством заменить табакерку, насыпав на нее щепоть табаку, дрожащий нервно подбородок, с несколькими длинными седыми волосами, на всю ее длинную, костлявую фигурку,— и вдруг меня охватило какое-то далекое, неопределенное воспоминание. Чей-то знакомый, дорогой образ мелькнул раз, другой, третий в моем воображении, и моментально предо мной пронеслось все мое детство: знакомый образ был уловлен, весь, целиком, ясно, рельефно и определенно. Да, это была Кузьминишна, это была моя «старая нянька» (так звали ее, в отличие от молодых), пестун моих младенческих лет, моего юного ума, воображения и фантазии... И она еще все жива!

— Кузьминишна... няня, это ты? — вскрикнул я, сияя всем существом своим.

Старушка вздрогнула, замигала усиленно губами и задергала подбородком, потом наскоро протерла

слезившиеся глаза, затем опять замигала, всматриваясь в меня.

— Николушка! Так, так... ты! Ну, устарела я... Кончен путь живота моего! — проговорила она строго.

— Стали у тебя глаза уж слабы, няня. На тебе чего взыскивать! А вот я и молод, да тебя не узнал.

— Нет, нет, не говори, глаза тут ни при чем. Сердце провещать перестало. Чутье пропало, сердце-вещун холодеет. Охолодало... Пришел конец пути живота моего! — повторила она еще раз.— Уж это верно: сердце охолодеет если,— умер тогда человек, тогда уж он не от жизни... На свете жить без сердца нельзя,— продолжала она резонировать и потом вдруг переменила тон: — Ну-кося, ну-кося! Ах, я глупая! Не признала! А ведь я его, Катюшенька, до девятого годочка выхаживала, до тех самых пор, как в емназию увезли его. Да ты к чему это больной-то, родной мой?

— Пережил больше, чем нужно, няня,— вот в чем дело.

Она внимательно посмотрела мне в лицо, сжала сухие, тонкие губы и покачала в раздумье головой.

— Ты у меня люби его,— тихо, но строго приказала она Кате, которая улыбнулась,— у него сердце есть, хорошее сердце... Всем может человек перемениться, а сердцем нельзя... Сердце не вырвешь... Ну, чего там, старик-то твой нейдет? Пора бы и закусить. Вот погодите ж, коли так, я уж хоть этим заслужу!

Она зашумела в кармане ключами и, подмигнув мне, вышла.

Я еще никак не мог освободиться от всплывших в моей памяти картин детства. Я долго смотрел на дверь, в которую вышла старушка, и целиком погрузился в море воспоминаний, совершенно забыв о присутствии Кати.

Да, я как теперь вижу в моей детской эту старушку (она и тогда была уже, двадцать лет назад, такой же старушкой, или, по крайней мере, мне так казалось, что она нисколько не изменилась). Мы одни, сальная свеча горит, потрескивая, глухо постукивают ее спицы,

и беззвучно шевелятся ее губы, считая петли; я всегда вслух с нею учил уроки: был ли то закон божий, или арифметика, или история,— я все читал ей вслух, и каждый урок раза по два, по три; она всегда слушала с неизменным любопытством, вниманием и серьезностью. Как теперь помню, меня чрезвычайно удивляло одно обстоятельство. Я еще не умел читать бойко, то есть не умел вперед отгадывать то выражение, которое должно следовать по смыслу речи, и потому часто, желая прочитать скорее, врал или заминался; в это время Кузьминишна всегда поправляла меня или подсказывала «наизусть», не глядя в книгу. Помню, с каким удивлением, смешанным с уважением, смотрел я в ее строгое лицо, обращенное к чулку, и долго не в состоянии был продолжать. «Ты чего же, Николушка, остановился?» — спрашивала она меня. «Да я, няня, думаю: как ты это так, не учившись, отгадывать умеешь?» — «А ты думал, что вы только одни умны, что уж простые люди и разумения не имеют?.. Нет, Колушка, разумом бог никого не обидел...» Но я все же сомневался, чтобы одним разумом можно было узнать всякие там Гвардафуи да Гибралтары, и полагал, что она непременно когда-нибудь географию Ободовского изучала. Так я и не мог постигнуть ее уменья отгадывать вперед географические названия, пока не догадался, что уроки-то я с ней вместе учил и перечитывал одно и то же несколько раз вслух.

Помню я и то время, когда, сложив книги, помолившись, ложился я спать, а она садилась на край моей кровати и начинала мне рассказывать. Замечательно, что в ее рассказах всегда отсутствовал «чудовищный и бесовский» элемент; в ее рассказах никогда не встречалось, как это бывает у всех других, ни бабы-яги, ни «кипят котлы кипучие, точат ножи булатные», ни чудовищ с песьими головами, напротив: все ее рассказы больше воспевали геройские или, по крайней мере, генеральские подвиги Кутузовых, Суворовых, даже рыцарей-крестоносцев, английских королей и проч. Или подвиги мученичества и добрых дел из Четьи-Миней. Конечно, это объясняется тем, что она была грамотна и в свободное время читала жития святых, а в молодости ей, кажется, попадали в руки

«батальные» сочинения и даже рыцарские романы. Один рассказ ее поразил меня впоследствии удивительным сходством с романом Вальтера Скотта «Айвенго». Она была старая крепостная девка, но из хорошего, образованного помещичьего дома, и жила сначала в горничных при барышне, жившей со стариком отцом, кончавшим свой век среди уединения деревни и своей библиотеки, по независящим от него обстоятельствам, затем была после ключницей. Барышня читала вслух с нею все книги из библиотеки отца и сама выучила ее грамоте. Старик отец обращался хорошо с своими крепостными, а бывшие у него знакомые нисколько не шокировались тем, что его дочь читала книжки с крепостной горничной, и даже иногда заговаривали при последней «о материях важных». Все это имело на ее характер значительное влияние. Ее миросозерцание далеко хватало за пределы народных воззрений, а натура ее приобрела стойкость, развязность и удивительную безбоязненность. Замечательнее всего в ней было полное отсутствие холопства, даже самого невинного и добродушного... За смертию старого барина и отъездом за границу его дочери, она перебралась в город и через несколько лет попала в наше семейство. К кому она ни попадала, она тотчас же всех прибирала к рукам и начинала царствовать в доме. Но эта власть никогда никем особенно не чувствовалась. Так владычествовала она и над моими родителями, еще молодыми в то время людьми.

Наше семейство составляло одну из не особенно важных спиц обширнейшей чиновничьей общины. Кузьминишна и в этой общине успела составить себе репутацию «толковой девки» и пользовалась от нее если не уважением, то боязливо-сдержанным отношением. Последнее опять-таки внушала она к себе своей упорной настойчивостью и безбоязненностью. Она умела «резать правду-матку» в глаза всем чинам общины, которые хотя и с усмешечкой, но тем не менее ежились под этой «правдой-маткой». Я никогда не забуду одного обстоятельства, которое резко характеризует настойчивость и безбоязненность, с которыми Кузьминишна преследовала свои цели. Аккуратно каждое первое чис-

ло месяца, когда отец получал жалованье, она являлась к нему в кабинет, едва он возвращался домой со службы, и с смиренно-строгой решимостью на лице, сложив на груди руки, становилась в углу у дверей. Отец в это время всегда бывал крайне раздражителен и раздосадован всевозможными кредиторами, осаждающими обыкновенно в этот день чиновников, начиная от самых дверей места их служения вплоть до семейных очагов, не давая пропустить рюмку водки, съесть кусок пирога. Кузьминишна терпеливо выжидала всю эту стаю «хищников, архиплутов и архибестий», выслушивала брань и споры между ними и хозяевами, и когда наконец стая удалялась, а раздражение хозяина доходило до последней степени, она твердо выговаривала: «Пожалуйте жалованье!» Раздраженные супруги неистово набрасывались на нее, вконец огорченные такой «мужицкой нечувствительностью», ставили ей на вид всю неделикатность ее отношения к семейству, в котором она жила столько лет, обвиняли ее за это даже в «неблагодарности». Но Кузьминишна упорно смотрела в угол, молча выслушивала все это и снова выговаривала: «Никак нельзя-с... пожалуйте жалованье!» — «Да ведь ни на что не нужно тебе его! ведь так же растранжиришь деньги ребятишкам на пряники!.. Неужели чувства нет подождать немного?» — внушительно усовещевали ее отец и мать. «Никак невозможно, пожалуйте, что следует по уговору. В животе и смерти бог волен»,— настойчиво твердила Кузьминишна, пока наконец рассерженный хозяин не бросал ей трехрублевую бумажку, посылая ее «ко всем чертям, чтоб и духу ее не пахло». Кузьминишна на это смиренно раскланивалась, благодарила за хлеб за соль и уходила связывать в узелок свои пожитки.

Детям это всегда нравилось, мы окружали ее, разбирая ее лоскутки, и только уже под конец, когда узнавали, в чем дело,— начинали реветь. Само собой разумеется, что все кончалось ничем. На ее жалованье в крутые времена покупались нам, «ребятишкам», лекарства, шились на именины рубашонки, штанишки, посылались с оказией в деревню какой-то Глашке гостинцы. А один раз с этим «жалованьем» случилась

вот какая оказия. В одно прекрасное утро над нашей семьей разразилось несчастие: отцу отказали от места ввиду каких-то не совсем чистых побуждений со стороны начальника. Семья осталась ни при чем; в немногие месяцы было перезаложено все, что можно было заложить, и к тому времени как отец нашел какое-то ничтожное место, семье нечего было бы есть, если бы каждым ранним утром Кузьминишна не отправлялась на рынок и не приносила оттуда необходимое количество харчей. Ее трудовые деньги уходили быстро, и так же быстро возрастало ее негодование при виде некогда благоденствовавшей, а теперь голодавшей семьи. Наконец она решилась. Одним утром, приняв на себя личину смиренной просительницы, пробралась она в кабинет бывшего начальника отца и там, преобразившись в старую мегеру, «вырезала всю правду-матку» ему в лицо, пока насильно не вытащили ее лакеи. Она этим не удовольствовалась и пошла с жалобой к «господину начальнику губернии» и грозила «идти дальше», если б не успокоили ее на съезжем дворе, где просидела она недели две. Из последнего она снова вернулась к нам в смиренном сознании совершенного долга.

Повторяю: все это — и картины детства, и типичный образ старухи няньки во всех детялях — пронеслось в моем воображении почти моментально и вызвало столько приятных ощущений, что мне вдруг захотелось поделиться ими с кем-нибудь, и я передал все вышеописанное майорской дочери. К моему удивлению, задумчивая, сосредоточенная Катя внезапно оживилась при моем рассказе; ее глаза весело заиграли, она постоянно перебивала меня торопливо и дополняла, как будто переживала вместе со мной одно и то же прошлое, и, наконец, сказала: «Да, все это было и в моем детстве. Впрочем, я прибавлю вам еще кое-что про Кузьминишну и про себя, если уже на то пошло».

Но я лучше начну новую главу и передам в ней не только «кое-что», сообщенное мне Катей, но и все, что я узнал о майоре и его дочери.

Глава четвертая

ИСТОРИЯ ПОКАЯНИЯ

Двадцать два года тому назад, на том месте, где стоял полубарский выселок, был лес, а позади этого леса, в расстоянии полуторы версты, стоял небольшой помещичий дом, довольно ветхий, весь заросший кругом старым, запущенным садом, сзади которого лепились убогие избы небольшой господской деревеньки. Лет пять, как уже этот барский дом был наглухо заперт, после смерти стариков, барина и барыни, умерших скоро один за другим и оставивших свою небольшую усадьбочку наследнику — сыну, дравшемуся в то время на Малаховом кургане. В ожидании приезда «молодого» барина старый дом оберегала семья дряхлого дворецкого, поселившаяся в людской. Вся эта стража состояла из старика отца — дворецкого, старухи матери — бывшей барской ключницы, молодой их восемнадцатилетней дочери, Паши, юного племянника старика, сироты Кузи, да штук пяти старых псов, с которыми Кузя ходил на охоту. Мирно управлял старый дворецкий имением молодого наследника и, верный слову, данному старику барину, честно блюл интересы барского имения. Кончилась война, приехал наследник, оказавшийся зрелым мужчиной, закопченным пороховым дымом и закаленным жизнью, как кажется, прожитой не без треволнений. Барин поселился в уединении старого дома и занялся охотой, кое-что почитывая по временам да балагуря по вечерам с семейством своего крепостного.

Он ничего не изменил в исконном обычном течении жизни в его поместье, разве только сократил коекакие излишние повинности, установленные еще бог знает когда, вроде доставления на барский двор грибов и ягод. Он, казалось, не тосковал, был весел, выпивал со старым дворецким, навещал кое-кого из соседних помещиков и любезничал с своей крепостной девушкой Пашей. Как и следовало ожидать, эти любезности разыгрались в очень обыкновенную историю и могли бы кончиться тоже очень обыкновенно, если б молодой барин не был, во-первых, отчасти «тронут

духом века», а во-вторых, не считался «честным русским воином». Ввиду последних условий барская интрижка получила несколько иной, хотя и романичный, но тяжелый ход. Честный воин и вольтерьянец не имел ничего против брака с крепостной девкой и даже считал для себя это долгом, но старые традиции окружающей общественной жизни ставили для этого непроходимые преграды. Честный воин, добрый и любящий, храбрый и решительный на поле битвы с героями и слабый, нерешительный на поле брани с пигмеями мелочной жизни, сделался жертвою томительных душевных колебаний между долгом, совестью и сознанием просто человека и таковыми же, но уже окультивированными, в крепостнической среде. Эта томительная, душевная двойственность выразилась в нем еще более с беременностью Паши, но храбрый воин и тут не решался... И в то время пока старуха мать Паши бегала на поиски за повитухой, «честный воин» предавался скорбным думам о мрачном будущем нарождавшегося создания, и каялся, и оплевывал в душе свою нерешительность, свою косность, пока не донеслись до его слуха слова: «Ну, где у вас тут отец-то? Куда ты, батюшка, запропастился? На принимай: твоя дочь-то! Нечего отлынивать!» Эти слова поразили его своим необычным тоном, так как их произносила простая деревенская баба; пред ним стояла Кузьминишна, держа на руках крошечную Катю и поднося ее сконфузившемуся и растерявшемуся вольтерьянцу.

Это событие как раз совпадало с тем временем, когда Кузьминишна, по устройстве благополучно дел в нашей семье, вдруг заскучала по деревне, по какой-то девушке Глашке, о которой она часто вздыхала, и ушла от нас, вопреки слезным упрашиваниям. Как кажется, она уже не нашла в живых ни прежней своей барыни, ни девушки Глашки и поселилась в одной из соседних деревень, в качестве лекарки и повитухи, где и нашла ее мать Паши. Вольтерьянец вдруг проникся к ней необыкновенным уважением, упросил ходить ее за больной Пашей и ребенком и, наконец, уговорил остаться совсем в его доме. Она легко согласилась и скоро беззаветно привязалась к новому семейству.

Подрастала Катя, дитя «случайной семьи», выздоравливала и вновь хворала ее мать; вольтерьянец-майор, ее отец, продолжал по-прежнему малодушествовать между двумя крайностями, любовью к своей семье и общественным мнением, между которыми он, для успокоения, проложил очень оригинальную тропинку, скроенную из кое-каких курьезных силлогизмов. Силлогизмы эти собственно были придуманы на случай столкновений с Кузьминишной, которая не оставляла майора в покое, забрав власть над его «барским домом».

Кузьминишна, вступив в этот дом, тотчас поставила себе очень определенную цель и стала преследовать ее безбоязненно и неуклонно. Прежде всего, она ходила за хворой Пашей и холила ее, как свою дочь, в воспоминании о какой-то таинственной «девушке Глашке», на которой почему-то были сосредоточены все струны ее сердца. Затем она всецело захватила в свои руки воспитание маленькой Кати и в этом воспитании думала «провести принцип». Она старалась до ничтожных мелочей окружить ее тою обстановкой барского аристократизма, которую помнила со времен своей юности, пропитывала ее всеми воззрениями, какие успела удержать ее память от воспитания своей бывшей госпожи: главной ее целью было во что бы ни стало видеть в маленькой Кате заправскую барышню. В этом руководил ею тонкий политический расчет: этим путем она хотела нерешительного майора сбить на всех пунктах, постоянно, неуклонно, всякой мелочью давая ему знать, что Катя его — такая же дочь, какая была бы и от барского брака, и этим отрезывая ему всякое отступление. Может быть, в ней даже жила идея,— да и наверно жила,— что из мужички легко стать барыней, а из барыни мужичкой. Она практиковала эту идею на деле: заставила майора нанять старую гувернантку-немку, купить фортепиано, каждый месяц умела прогонять его в город за нарядами... Майор, добродушно посмеиваясь, исполнял все это, но венчаться все-таки не решался... «Ну, постой, окручу же я тебя, хромой черт!» — ворчала вслух Кузьминишна, а майор выпивал рюмку, набивал трубку и посмеивался в полуседые усы, слушая, как величала его Кузьми-

нишна за дверью (он хромал от засевшей в ляжке пули, которая с годами сильно стала донимать его)...

Странные бывают оказии в жизни русского человека: иногда он выкидывает неожиданные штуки — то покажет пример неимоверной храбрости, когда был заведомо трус, то вдруг удивит всех грандиозным подвигом самопожертвования, когда был известен всем за «шишигу» и «пройдоху», то, всеми признанный за человека радикального, безбоязненного, упорного и настойчивого во всех чрезвычайных и важных обстоятельствах, вдруг окажется, что никак не может (ну, вот решительно никак) расстаться с кое-какими мелочами, маленькими предрассудками, несмотря на то что от них зависят многие важные обстоятельства. Таков был и майор. Охваченный движением, начавшимся вскоре после войны, он весь всецело предался крестьянскому делу: стал выписывать журналы — и вдруг отпустил своих крестьян на волю, когда сгорела их деревенька, и переселил их на новое место, в другом уезде. А между тем он все еще никак не решался стать пред алтарем с бывшею своею крестьянской девкой, в которой души не чаял, не мог признать свою дочь за дочь и вдруг вспыхивал весь как зарево, терялся, когда приезжал кто-нибудь из помещиков, и торопил гостя к себе в кабинет.

Кузьминишна при виде такого малодушия приходила в необычайное негодование. Она связывала свои узлы, входила в кабинет майора, показывая пальцем на образа, поражала его грозными речами и, наконец, просила расчета или, лучше сказать, не расчета, а просто отставки. За смертью таинственной «девушки Глаши», которая, как я узнал впоследствии, была единственным плодом увлечения ее юности, Кузьминишна отреклась окончательно от всякого корыстолюбия и предалась всей душой Кате, заглушив в себе все личные потребности. Майор спешил успокоить ее и пускал в ход силлогизмы, вроде тех, каковыми характеризовал его Чуйка,— плод его «глубоких соображений» и хитрых извивов ума, которым он предавался после каждого нападения Кузьминишны. Кузьминишна редко сдавалась на эти компромиссы, и тогда майор давал ей честное слово, что скоро, очень скоро он

решится. Майор чего-то ждал, ждал лихорадочно, как ждала тогда этого чего-то половина России... Наступил «незабвенный день» 19 февраля; майор пришел в какое-то странное, возбужденное состояние, оделся в полную майорскую форму и, как-то особенно многозначительно посмотрев на Кузьминишну, уехал к попу в ближайшее село.

Вскоре после манифеста была его свадьба. Кузьминишна успокоилась. Но как она горько разочаровалась бы, если б была наблюдательным психологом, если б могла заглянуть в душу майора, в душу каждого тогдашнего вольтерьянца. «И чего он, хромой черт, еще малодушествует!» — воскликнула бы она в отчаянии. А майор действительно опять малодушествовал, но заметила это, к несчастью, уже не Кузьминишна, а другое существо.

Пока росла Катя среди дикого однообразия своей уединенной усадьбы, пока крепли ее молодые физические силы и еще спал рефлектирующий ум, пока она довольствовалась лесными экскурсиями с Кузей, подвигами бесстрашия относительно волков и иных лесных чудовищ, все шло мирно и спокойно: даже смерть матери, случившаяся на двенадцатом году жизни Кати, не произвела на нее никакого пробуждающего действия. Но вот наступил тот критический период, в который закладываются в душе человека первые «краеугольные камни» нравственного здания, те камни, которым уже нет разрушения, которыми обусловливается великая тайна будущего развития. Кузьминишна ждала давно этого дня, когда ее Кате стукнуло шестнадцать лет, и она давно уже подготовляла майора к этому дню. Давно ее настояниями все было припасено и приготовлено, чтобы достойно встретить этот день. Майор и здесь как-то стихийно подчинялся во всем Кузьминишне — и должен был решиться прожить зиму в губернском городе и показать людям свою Катю. Майор поехал.

Он, Катя и Кузьминишна — в маленьком домике губернского города. Декабрь. В городе особенное оживление по поводу дворянских выборов. Начались балы. На один из них должна была выехать в первый раз Катя. Накануне этого дня все взволнованы: и Катя, и

майор, и сама Кузьминишна. Наконец, напутствуемые благословением старухи, отец и дочь едут «в свет». Малодушие майора принимает все большие и большие размеры. Они в зале. Катя чувствует, как дрожит рука отца, как он вспыхивает при каждом нескромном вопросе, предлагаемом ему, как, наконец (все это она слышит), он малодушно отрекается от своей дочери, в необычайном волнении и смущении стоя пред одной сановитой особой, и называет ее своей «племянницей, дальней родней». Она в недоумении смотрит на новое для нее общество; ее гнетут любопытные взгляды барынь, рассматривающих ее как оригинальный монстр, и чутко слышатся ей фразы: «Дитя случайной семьи...», «Несчастный плод свободомыслия...» Вся — недоумение, вся — напряженная, сосредоточенная пытливость, вернулась она домой. Несколько раз, после бессонных ночей, хотела она спросить отца, спросить — что это значит; но майор, очевидно, избегал ее. Он стал пропадать по целым дням. Он ездил по всем дворянам, где чуял обед, и приезжал пьяным. Наконец она сказала: «Папа, я не хочу этой жизни... Уедем в деревню...» И, к удивлению Кузьминишны, майор тотчас же нанял лошадей, и они вернулись в деревню.

Кузьминишна не узнавала своей резвой Кати. Катя «засолидничала», но так и следовало, по мнению Кузьминишны. Только она не понимала, почему отец избегал своей дочери. Увы! Она не постигала всей бездны его малодушия. Но ум Кати работал энергично, быстро. Нет больше леса, полей, лугов; не существует для нее уже Кузя; разрозненные книжки журналов заняли ее дни и ночи... С каким-то гнетущим страхом, смешанным с малодушным отчаянием, наблюдал майор резкий перелом, совершавшийся в его дочери, и чем глубже он старался вникнуть в причины этого перелома, тем малодушнее становился он, тем чаще предавался он покаянным самооплевываниям. Мало-помалу он прекратил всякие связи с знакомыми помещиками; стал запивать, якшаться с мужиками. А в это время Катя неослабно работала над собою: в своем уединении поглощала жадно все, что только могла найти печатного в безалаберной библиотеке отца; и только из-

редка разнообразила свое уединение, навещая с Кузьминишной старую попадью и молодую дьяконицу ближайшего села, да одну вдову-помещицу, проживавшую мирно и тихо с своей племянницею в соседней усадьбе. В этих семействах наезжали на праздник молодые люди, заглядывавшие в медвежьи углы, где проживали «авторы их дней». Они были вестниками о какой-то иной, бурливой и непонятной жизни, кипевшей где-то там далеко, за дремучими лесами, за необозримо длинной степью.

Прошли два томительные года; капля за каплей, жадно воспринимала Катя случайные вести из далекого мира... «Папа, я не могу больше жить здесь, я уеду»,— одним вечером, наконец, решилась Катя выговорить отцу давно уже созревшее в ней решение, когда он был особенно весел, распивая со стариком дворецким рябиновую. Вольтерьянец не понял сначала, об чем говорила ему дочь, но, казалось, смутно чувствовал что-то и горько-застенчиво улыбнулся ей. Старый дворецкий ровно ничего не понял и продолжал благодушно сиять своими обесцветевшими глазами, и только когда подслушивавшая за дверью Кузьминишна, ворвавшись в комнату, грозно крикнула майору: «Да ты слышишь ли, сударь, что дочь-то тебе говорит?» — все вдруг всполошились, не то сконфузившись, не то испугавшись чего-то. Старик дворецкий внезапно заторопился «к себе, на кухню», покрякивая и утирая усы и бороду; майор почему-то быстро налил рюмку, быстро проглотил водку и тотчас же поставил графин на окно, а Кузьминишна торопливо отыскала в кармане очки и, надев их, стала через них строго и внимательно смотреть то на отца, то на дочь.

Майор прошелся по комнате и стремительно вернулся опять к окну, опять проглотил рюмку водки, с треском захлопнул графин и затем, сев в кресло, стоявшее в тени, стал набивать трубку «жуковым». Села и Катя, серьезная, задумчивая, но с какой-то нетерпеливой решимостью на лице; ее щеки и лоб горели; в глазах бегали искорки взволнованной мысли. Села и Кузьминишна против отца и дочери и все еще не переставала глядеть на них в упор поверх своих очков. Молчал майор, молчала дочь. «Да ты, сударь,

спросишь, что ли: куда она у тебя собирается?» — не вытерпев, выпалила Кузьминишна, повернувшись всем негодующим лицом к майору. Майор вздрогнул, завертелся, усиленно затянулся и закашлялся...

— Я еду в столицу,— скороговоркой сказала Катя, предупреждая смущение отца,— я еду жить с людьми... еду учиться...— Она хотела было продолжать, заикнулась и замолчала...

Майор усиленно засопел трубкой, опять нервно завертелся в кресле и заговорил, прерывая речь попыхиваниями в чубук:

— Что ж?.. учиться... да, дело хорошее... это хорошо... Что ж? Я не мог... Я виноват! Я недостойный!

— Папа, папа!.. Нет, не надо так! — вдруг прервала его странную речь Катя.— Зачем? Это же нужно... Это я сама... Тут никто не виноват, кроме меня!

— Да ты скажи: чему это ты учиться едешь, сударыня? Чему ты не научилась еще? — направила свою грозную физиономию Кузьминишна уже на Катю.

— Учиться? — улыбнулась Катя.— Многому, а прежде всего лечить... Пойду в фельдшерицы, в повивальные бабки...

Кузьминишна так и вскочила со стула и остановилась среди комнаты в необычайном недоумении; первая мысль ее была, что ее хотят провести.

— Да ты, сударь, не слышишь, что ли, что она говорит? — дернула она майора за рукав.— Али тебе не стыдно за дворянскую дочь?

Майор усиленно тянул из чубука. Кузьминишна подождала ответа, но он молчал.

— Ну, так этому не бывать,— азартно решила она и ушла, громко хлопнув дверью.

Отец и дочь остались одни и молчали.

— Мне, папа, завтра хочется ехать,— первая прервала молчание Катя.— Ты меня проводишь до города,— прибавила она с усилием и вдруг вся вспыхнула: в первый раз сказала она отцу «ты», приученная говорить с младенчества вежливое «вы», и это маленькое слово диким, терзающим диссонансом резнуло ее ухо.

— А дальше? — почти шепотом спросил майор, ко-

торого все сильнее и сильнее охватывала боязнь чего-то, у которого падали силы под наплывом чего-то гнетущего, неопределенного и непостижимого.

— А дальше... дальше не нужно... Дальше я не хочу никого...

— И не хочешь даже?..

— Да... и не хочу! — слабо и нерешительно выговорила Катя.

Майор поднялся — и вдруг замигал глазами, и щеки у него передернуло, губы свело судорогой: он силился улыбнуться...

— Я теперь, папа, спать пойду. Мы поговорим еще завтра,— сказала Катя и вышла, угнетенная первой борьбой.

По уходе ее майор опять сел в кресло и пролил покаянные слезы.

А в это время Кузьминишной овладела ужасная мысль, что с решением Кати та цель, неуклонно достижению которой посвятила она всю свою любовь, все свои заботы, исчезает окончательно, что ее «принцип» (повторяем, что у Кузьминишны были всегда принципы не менее крепкие, чем у образованных людей), ее идея, которую хотела она осуществить в лице Кати, подрывалась в корень, и из Кати, как и из тысячи ей подобных, случайных существ, являвшихся результатом барской прихоти и рабства, должно было выйти нечто уже давно знакомое, несущее на себе проклятие отвержения. Эта мысль глубоко волновала ее, и со всею силой своей старческой энергии восстала она против намерения Кати.

Она уговаривала ее, сердилась на нее, грозила больше «не знать и не ведать» ее, не молиться за нее, наконец решилась даже на непохвальное дело, стараясь тихими нашептываниями разных ужасов восстановить слабого отца против Кати. Но все было напрасно: воля и настойчивость Кати были достойны ее воспитательницы. Несмотря на то что Кузьминишне почти на целую неделю удалось задержать разными способами отъезд нерешительного майора и Кати, одним ранним утром, наконец, подъехала к майорской усадьбе давно жданная Катей тройка пунктовых лошадей. В это же замечательное утро совершилось нечто неожиданное и

с Кузьминишной: она вдруг круто изменила свой образ действий, принялась быстро и заботливо собирать и связывать вещи Кати, изредка только ворча себе что-то под нос. Катя улыбнулась, смотря на нее, а Кузьминишна, заметив это, полусердито, полунежно говорила ей: «Ну, так хорошо же! поезжай... Хорошо же! хорошо же! хорошо же!» Говоря это, Кузьминишна лукаво подергивала головой и хранила какую-то тайну: очевидно, в душе ее опять зрела идея. Все вышли на крыльцо; весело позвякивал колокольчик, 'весела была и Катя; около крыльца собрались ближние «добрые люди», в шапках и без шапок, нарочно и мимоходом, мало зная или совсем не зная, что за стремления и куда влекут уезжающих, но — все с сердечным напутствием на широко улыбающихся лицах.

— Ну, поезжай, хорошо же! — проговорила в последний раз Кузьминишна, благословляя костлявою рукою Катю и не отирая с лица бежавших слез. Заскрипел тарантас, застучали колеса; «добрые люди» вслед за Кузьминишной осенились крестным знаменем, и Катя скрылась надолго из родного гнезда.

Через месяц вернулся майор домой, скучный, расслабленный, разбитый. Две недели кутил он в губернском городе после проводов Кати, пока не прокутил все бывшие с ним деньги. Приехав, он вновь запил и с каждый днем падал все ниже и ниже, нравственно и физически: он теперь порвал уже окончательно всякую связь с соседними дворянами; он стыдился себя, а они гнушались им; стал ходить по деревенским кабачкам, таскаться с Кузей, сделавшимся ловким кулачком, по ярмаркам, по сельским трактирам. Здесь он то бушевал, то проливал покаянные слезы, несколько раз подвергался опасности быть избитым, а иногда совсем потерять жизнь, но всегда был спасаем самоотверженно Кузей, любившим его какой-то странной любовью. Иногда он запирался дома и грустил, грустил глубоко, давал обеты «вести осмысленный образ жизни». Это всегда случалось раз в месяц, когда на посылаемые им ежемесячно Кате 30 рублей он получал ее короткое письмо. «Я получила, папа, твои деньги; здорова, счастлива, учусь. Твоя Катя». Он целый день носился с этим письмом, выпивал только

пред обедом и ужином, но на следующий день опять ослабевал, проклинал себя и пил и плакал, плакал и пил...

Если бы знала это Катя? Но было ли бы лучше, если бы она знала? Прошло четыре месяца, как вдруг вместо ожидаемого письма майор получает обратно посланную им обычную сумму... Дрогнули руки майора, ноги подкосились, мысль, что она умерла, рванула его за сердце. Но он видит на адресе ее почерк; он дрожащими руками сламывает печать и читает: «Папа, я больше не хочу жить твоими деньгами. Я отрекаюсь от всего, что мне напоминает то... прошлое... Больше не беспокойся присылать мне... Я знаю, ты будешь сердиться. Но я так хочу и, чтобы избежать ни к чему не могущих привести переговоров, не пишу тебе своего адреса.— Катерина Маслова». (Это была фамилия ее матери по отцу — дворецкому; фамилия же майора была Усташев.) Майор облокотился обеими руками на стол, положил пред собою письмо и долго, сквозь слезы смотрел на сливавшиеся его строки. Он просидел так, не шелохнувшись, два часа, и, когда поднялся, Кузьминишна «не увидала на нем лица». На ее ужас он ответил отрывисто: «Все одно... умерла... то есть нет, я... я для нее умер». Он заскрипел зубами и, молча показав невидимо кому кулак, велел заложить лошадей и поехал в ближайшее торговое село.

Давно уже окрестные крестьяне не раз выказывали добродушное желание, зная майора за хорошего и умного человека, «приспособить к чему-нибудь» его барское ничегонеделание; давно уж они пытались поэксплуатировать в свою пользу его знания, но безалаберность майора, а отчасти и дворянский гонор не позволяли ему подчиниться этой «добродушной эксплуатации». Но мужики словно чутьем чувствовали, что рано или поздно он будет их, да и сам майор давал надежду на это, потому что часто, пьянствуя с ними, он волей-неволей втягивался в их интересы, давал советы — то злобно, с какой-то ехидной преднамеренностью, желанием напакостить или им, или помещикам, или начальству, то добродушно и бескорыстно, любовно и заботливо. Мужицким надеждам суждено было

осуществиться: диким, злым, пьяным протестом пошел майор на это «приспособленье». Ходя по кабакам и трактирам, нарочно искал он материала для этого приспособления: ни одна мужицкая просьба, ни одна жалоба, ни одно недоразумение между мужиками и помещиками и тех и других между посредниками не оставлялись им без внимания. Сначала полетели всевозможные «просьбы», «обжалования», «протесты», которые он строчил по кабакам, и, наконец, когда увидел, что эти «протесты» остаются в большинстве случаев мертвой буквой, он не вытерпел и стал принимать на себя личные ходатайства. Скоро имя майора загремело по окрестной палестине: он стал «тоской и надсадой» посредников, помещиков и мировых съездов. Все окрестные помещики негодовали на него, и только благодаря его севастопольским заслугам да пятидесятилетнему возрасту удалось ему остаться «неприкосновенным». Майор чувствовал, что он «не один в поле воин», и еще энергичнее направил свою деятельность: скоро он сделался «тоской и надсадой» уже не одних посредников, но целого местного земства. Вся эта деятельность, сначала какая-то стихийная, беспутная, вскоре мало-помалу поглотила целиком душу майора; майор перестал пьянствовать, в нем забродило и ожило кое-что из старого, он перечитал даже кое-какие книжки, не без дрожащих на ресницах слез. В нем иногда закипала надежда, что еще не все пропало для него... Иногда эти надежды так радужно сияли пред ним, что идея любви и всепрощения осеняла его уставшую душу. Но чаще он чувствовал, что что-то «утекло», утекло невозвратно. В эти минуты его сердце разрывалось тоскою о рано умершей жене, о потерянной дочери, и только неустанно-шумная, не дающая очнуться деятельность среди наплывавших нужд серого люда помогла ему перенести эту тоску. Когда деятельность его стала разумнее и отчасти спокойнее, он занялся своим имением, под давлением Кузи, сделавшегося в это время известным всему окрестному люду под именем Чуйки; и скоро на месте старой усадьбы «обосновалась» та оригинальная колония, которую прозвали «полубарским выселком».

Шли годы — один, другой, третий, четвертый...

Был душный июльский вечер; в воздухе еще чуялась дневная гарь и пыль, не успевшая улечься. Нынешнее лето было очень тяжело для окрестной палестины; нестерпимые жары и засухи привели к пожарам, скотским падежам и холере. Майор, Троша и Чуйка, сидя на крылечке майорского дома, вели медленную беседу о «тяжелом времени», причины которого Троша, по обыкновению, искал в освобождении крестьян и народной, вследствие этого, «необстоятельности», а Чуйка, печалуясь о павших у них двух коровах, путем каких-то хитрых соображений пришел к заключению, что все это оттого, что «в людях веры нет».

— Где нынче подвижники? Нынче, брат, их за брильянты не сыщешь! Ежели бы в старые времена, так в эдакую тяжелую пору сколько бы подвижников было! Сейчас бы иноки во власяницы одеялись, патриархи бы облеклись во вретище, бояре и гостиные богатые люди, изыйдя на площади и раздав одежды своя, посыпав главы пеплом и отженясь животов своих, пошли бы босы и наги по всей земле русской, инде учаще, инде милосердствуя, инде же вознося и укрепляя мятущийся дух. Вот как прописано в книжках... А нынче — все в копейку, в момент ушло! — закричал Чуйка, взволнованно поправив на голове фуражку.

Троша на это только скептически покачал головой и скосил глаза, понюхав табаку. А в голове у него егозила мысль: «Вот он — шишига-то! Аа-ах! Подвижники! А примерно, кто первым делом по базарам маклачит? В праздник божий, чем бы лоб перекрестить, а он, еле забрезжится, уж на ярманке и скупает где ни то? А теперь, из каких это капиталов, позвольте спросить, ваша супруга форсы задает: что ни лето — новый сарафан?.. Подвижники!..» Троша так увлекся этими размышлениями, что даже забыл о присутствии Чуйки и хотел было уже сообщить их майору, как вдруг издали послышался шум колес; из-за угла повернула телега, и майор, поднявшись, уже пристально всматривался в подъезжавших: из-за широкой спины мужика, сидевшего без шапки, в одной посконной рубахе, на передке, показалась шляпка, зонтик. Сердце майора забилось. Еще минута — и он вдруг как-то автоматично

снял фуражку, обнажив свою серебряную голову, и, опираясь другою рукою на суковатую палку, замер под неожиданным наплывом чего-то неизвестного, как замирает на мгновение человек после ослепившей его молнии, в ожидании, что вот-вот, еще секунда, и ужасный, потрясающий удар разразится над его головой..

Катя, не дав остановиться лошадям, выскочила из телеги, быстрыми, но неровными и слабыми шагами подошла к отцу и, взяв его старую руку, крепко сжала, без слов, без поцелуев. Что-то не выразимое словом было в этом пожатии для майора; из его глаз хлынули потоком слезы и сразу смочили, как благодатною росой, его старческое доброе лицо. Катя поспешно отерла платком эти слезы и молча поцеловала его в лоб.

— Пойдем, пойдем,— прошептал майор,— вон туда, ко мне...— Он заторопился и чуть не упал от волнения, но Чуйка успел уже поддержать его.

Отец и дочь вошли в дом, а Троша, давно уже лениво стащивший с головы своей бобровый картуз, недовольно опять натянул его на голову: в приезде барышни ему чувствовалось опять «что-нибудь новое», что могло нарушить его мирный покой хотя бы самым отдаленным и косвенным путем.

А в это время майор, усадив перед собою дочь, говорил ей с умоляющею просьбой в глазах:

— Голубушка! Пожми мне еще руку, еще так пожми... Мне ничего больше не нужно...

Он ловил ее руки, и она жала ему их крепко, со слезами и страданием в глазах, смотря в его розовое, влажное лицо, обрамленное седыми, подстриженными под гребенку волосами и длинными усами, висевшими над плохо выбритой нижней частью лица.

— И надолго? — боязливо спросил майор Катю.

— Да, надолго... теперь надолго...

— А-а!.. Ты, значит, слышала обо мне? — стыдливо спросил майор.

— Да, я слышала... Но нет... нет... я не поэтому! — вспыхнула Катя.— Я совсем по-другому... совсем по-другому,— повторила она задумчиво.

— И в такое время! Ты не слыхала, может быть,— у нас здесь вокруг холера...

— Слышала и это. Но мне все равно... Ведь ты же

не боишься! А Кузьминишна уж наверно не боится? Чем я хуже вас?

В дверях показалась строгая фигура Кузьминишны.

— Так и надо... Омойтесь в бане покаяния и очиститесь в горниле смерти,— проговорила она наставительным тоном, молясь в передний угол.

Катя бросилась было к ней, но Кузьминишна чопорно и серьезно расцеловалась с ней и смиренно, скрестив на груди руки (это ее обычная поза в чрезвычайных случаях), встала в углу у двери. Кузьминишна сердилась: она не могла простить Кате ее «бесчувственного забвенья» их, как будто их совсем на свете не было, как будто они не любили, или не умели уже, или отвыкли любить, как будто в них (то есть в майоре, в ней и «во всех прочих», подразумевала она) сердца не было, сердце вдруг застыло и охоладело. Она многое ей простила, она в продолжение долгих четырех лет предавалась наедине размышлениям о странном поведении Кати, о крутом переломе в ее характере, многое угадала, хотя и смутно, но угадала, и чем больше угадывала, тем больше прощала ей, но одного не могла простить, именно: «зачем сердце забыли; ведь сердце-то так же болело и страдало и о других, а забыли сердце, уму дали да отмщению волю!»

Но недолго, конечно, Кузьминишна фигурировала в этой роли огорченной матроны: она даже не выдержала и нескольких минут молчания, в продолжение которых отец безмолвно наслаждался, смотря в милое, дорогое лицо своей дочери и в каждой черте ища то того, старого, то совсем, совсем нового. В нем было и то, и другое: от старого осталась детская улыбка, иногда бойкий, резкий взгляд карих глаз, от нового — строгость и угловатость черт на лице и печать какого-то глубокого страдания, но такого, которое доставляло человеку много светлых, отрадных минут... Всего же поразительнее было в ней — строгая простота, почти аскетическая, из-под которой хотя и била ежеминутно свежая, знойная струя молодой, полной силы жизни, но тем не менее нисколько не вредила общему впечатлению. Кузьминишна не утерпела; ее волновало это «беспечальное созерцание» майором своей дочери.

— А вы бы, сударь, полюбопытствовали: чему ва-

ша дочка изволила научиться в иных землях? — предложила она майору.

— И всему, няня, и очень немногому,— поспешила ответить Катя.

— Так все ж таки научилась дельному... или так? — переспросила Кузьминишна.

— Кое-чему и дельному... Приехала вот в бабки сюда, в земство.

— Гм... Ну, так хорошо!.. Постой же,— погрозилась ей, улыбаясь, Кузьминишна и тотчас заволновалась, зашумела ключами, и лицо ее приняло то озабоченное выражение домовитых матерей, с которым они любят угощать своих возвращающихся из ученья детей. Кузьминишна устраивала праздник деревенского кулинарного искусства, сбив с ног для этого дела почти всю колонию, даже невозмутимого Трошу, которого заставила ловить курицу, забежавшую от страха пред гонявшейся за нею Кузьминишной к нему в огород.

Три дня Кузьминишна справляла по-старозаветному праздник в ознаменование возвращения «блудной дщери»: то заколола лучшего гуся, то индюшку, то каплуна. Но в то время как, увлекшись слишком воспроизведением притчи о «блудном сыне», она забыла о всякой гигиенической предосторожности, майор, напротив, окружил свою дочь самой нежной заботливостью и в каждой мелочи старался парализовать слишком усердное гостеприимство Кузьминишны. За обедом он то возьмет у Кати с тарелки слишком жирный кусок и положит ей тщательно выбранный им другой, то нежно спрячет у нее из-под глаз миску с земляникой и сливками, когда та слишком увлечется давно невиданною ею деревенскою роскошью, то запрет сад на ключ, в опасении, чтобы его дорогая Катя опять слишком не увлеклась красными вишнями, которые она так любила. По вечерам, когда Катя выйдет в сад, или ночью, когда она заснет мирным здоровым сном, майор тщательно дезинфицировал карболкой, ждановской жидкостью и уксусом четырех разбойников не только комнаты дома, но и всю усадьбу; принудил даже Кузю и Трошу заботиться об атмосфере своих жилищ. Его опасливость за нежно любимую и неожиданно возвращенную ему дочь доходила до нервной

и томительной болезни; он страдал бессонницей, его кидало в жар при мысли, что вот-вот занесут холеру в его усадьбу; он даже не подпускал мужиков из окрестных деревень близко к своей усадьбе. Часто ночью раза два заглядывал он в спальню Кати и чутко прислушивался к ее мерному дыханию... Он даже рискнул очень строго поступить с Кузьминишной: голосом, устраняющим всякое возражение, он запретил ей на сажень удаляться из усадьбы, а тем паче ходить в окрестные деревни — лечить или принимать у себя крестьянских беременных баб. Но бабы все-таки ухитрялись всевозможными способами проводить бдительность майора и проскользать на медицинские консультации Кузьминишны так ловко, что майор никогда бы не знал об этом, если бы не усердие Троши, который, еще более майора боясь холеры, уже по своей личной трусости доносил ему о замеченных им бабьих ухищрениях, нарушавших всякие карантинные предосторожности. Но скоро случилось такое непредвиденное событие, которое сразу положило конец этой охранительной войне майора и Троши против соседних баб. Случилось это событие как раз по прошествии трех дней с приезда Кати, когда Кузьминишна положила предел устроенному в честь возвращения «блудной дщери» празднику деревенского кулинарского искусства. На третий день к вечеру Катя случайно зашла в избу Кузьминишны и застала у нее проскользнувших из-под присмотра майора двух деревенских пациенток; пациентки было смутились, но Катя смутилась еще больше, когда ей сказали, под какой охраной держит майор свою усадьбу. Какая-то жгучая мысль пронеслась в ее голове, краска бросилась в лицо, и она как-то смущенно и порывисто стала расспрашивать баб о здоровье, исследовать, давать им советы и, наконец, велела им назавтра прямо приходить к ней, а если кто задержит их, то сказать, что сама барыня так приказала. Бабы ушли, а Катя и Кузьминишна целый вечер пробеседовали о бабьих болезнях. Катя как будто очнулась, как будто вспомнила неотложность какой-то обязанности, и ночью долго горел в ее комнате огонь, долго просматривала она медицинские книги, торопливо, нервно, как будто собираясь куда-

то. В эту ночь не спалось и Кузьминишне: какие-то мысли не давали ей покою; несколько раз вставала она с лавки и молилась об укреплении в чем-то и спасении от чего-то. На следующий день, рано утром, с подогом в руках и узелком с какими-то снадобьями тихо прошла она в комнату Кати. Катя была уже одета в простую серенькую блузу, затянутую кожаным ремнем, с клеенчатой шляпой на голове.

— Ты не бойся, Катюшка,— шепнула Кузьминишна,— я уж за тебя молилась, а теперь сама помолись.

— Хорошо, няня; я про себя, в уме помолюсь.

— С молитвой-то лучше... Я вот уж как боялась за тебя, не решалась все, да помолилась — и трусить перестала... Вера, сказано, горами двигает... Иисус Навин с верой-то солнышко остановил... А ты шляпку-то сними,— вдруг посоветовала она Кате,— повяжись платком: для нас, деревенских, лучше как-то...

Катя наскоро сняла шляпу, покрыла голову белым носовым платком и вышла вслед за крестившейся на ходу Кузьминишной.

Едва вышли они за околицу, как навстречу им показался майор, ехавший с Трошей с полевых работ. Кузьминишна перекрестилась.

— Куда?! — вскрикнул майор, в необычайном недоумении останавливая лошадь, едва они только поравнялись. Троша было поднес руку к своему бобровому картузу, чтобы с подобающим уважением раскланяться с «барышней», как вдруг его рука так и застыла на облупленном и вытопившемся на солнце козыре. Увы! Он услышал следующие слова Кузьминишны, ворчливо обращенные ею к майору:

— Ну, батюшка,— сказала она,— не все праздновать; пора и других вспомнить... Недаром, поди, учились.

Майор уже готов был что-то еще крикнуть.

— Мы идем в деревню: там много больных,— предупредила его Катя.

— Старуха! сумасшедшая! Это ты! ты! — закричал майор, выскакивая из плетушки и в негодовании наступая на Кузьминишну.

— Папа,— твердо выговорила Катя,— она не виновата... Я должна была сама...

Майор и Катя оба были взволнованны; у последней на минуту в глазах сверкнул какой-то странный огонь, который раньше не приходилось замечать майору. Он наскоро снял фуражку, наскоро перекрестился и, молча вскочив в плетушку, погнал лошадь...

— Ну, теперь загубили!.. Как пить дадут!.. я говорил? Мое слово с ветра не бывает,— ворчал Троша, беспокойно вертясь рядом с майором.— Сударь! Прикажите наистрожайше вернуться, пока не поздно!

Вплоть до усадьбы продолжал волноваться Троша, несколько раз взывая к майору, но майор продолжал упорно молчать и, приехавши домой, бросил Троше вожжи, выскочил из плетушки и скрылся в своем кабинете. Долго сидел он здесь, молча выкуривая трубку за трубкой; глаза его нередко наполнялись слезами, им овладевал малодушный страх пред чем-то. «Опять! — шептал он.— Что, если теперь она *так же* взглянет? Если опять отрешится от меня? Поймет ли она, что теперь уже не то... что теперь уже это я из любви к ней, к ней одной... Но, спросит, зачем же к ней одной?»

Покаянные мысли вновь обуяли душу майора, но уже это было последнее покаяние.

Глава пятая

ВЕРА СЕРДЦА

Общие впечатления детства скорее и вернее всего сближают людей. Так было и теперь. Вызванные мною в душе Кати воспоминания как-то незаметно нарушили ее сдержанность и холодность; она увлекалась, читая в моем лице, что я переживаю те же самые ощущения, какие овладели ею, и к концу рассказа мы были как будто давно знакомы. А последний эпизод с бабами и выходка Кузьминишны, когда она, вопреки всем майорским предосторожностям, повела Катю в деревню, охваченную эпидемией (этот эпизод Катя рассказала несколько иначе, нежели передал его я: она прямо всю инициативу дела приписала Кузьминишне, предоставив себе только пассивную роль, даже прибавила, как

она будто бы струсила), заставили нас даже очень добродушно расхохотаться. В конце концов Катя, кажется, осталась довольна мною, в особенности при рекомендации Кузьминишны, по которой оказывалось, что у меня «сердце есть»... Увлекшись такою доверчивостью Кати, я так-то невольно спросил ее:

— Скажите, что́ вас заставило вернуться сюда и жить здесь? Неужели только желание служить земскою повивальною бабкой?

— Нет,— ответила Катя и тотчас же насторожилась.

— Вас обманули т а м?

— Тот не обманывает, кто обманывается сам,— произнесла она докторальным тоном, в котором уже и следа не было прежней задушевности.

Но я, хотя и заметил это, хотел уже разузнать все, чего мне недоставало для понимания «истории майорской дочери».

— Значит, вы сами изверились?..

— Да,— предупредила она мой вопрос..

— И, как заблудшая дщерь, вернулись сюда, чтобы обратиться к старой вере?

— Нет, не к старой, а найти... н о в у ю.

— И нашли?..

— Отчасти... Да что вы меня допрашиваете? — резко спросила она.

— Меня это очень интересует, потому что я сам изверился... Вы мне не верите?

Она посмотрела мне в лицо.

— Нет, верю,— твердо сказала она после небольшого молчания.— Я о вас слыхала.

— Скажите, в чем же суть?..

— Вы знаете Башкирова? — прервала она.

— Знаю... Но, насколько мне известно, он не теоретик...

— Да, он не теоретик... У него нет системы. Но он сам — воплощение веры сердца...

— Как вы сказали?

— «Вера сердца»... Это не совсем точно, но еще нет названия, так как все это пока очень неопределенно... Башкиров сам по себе — факт, воплощение этой веры...

Я замялся и думал, что ей ответить. В это время за дверями послышался голос майора.

— Наполеоны! Волтеры! — кричал он.

— Да, этот грех за нами из веков,— ответил кто-то, сильно напирая на о.

Катя быстро встала, вспыхнув от чего-то: может быть, она узнала голос гостя.

— Говорите же что-нибудь... Вы понимаете, например, что такое Кузьминишна? — почти шепотом и нетерпеливо спросила она меня.

— Понимаю.

— Ну, вы должны чувствовать и это... эту «веру сердца»,— сказала она и вышла в соседнюю комнату.

— Каточек! Катя!.. Поймал, наконец, брат!.. Поймал! Ха-ха-ха! — кричал майор, проталкивая сзади в дверь какую-то странную фигуру.

— Ничаво, я теперь не убегу,— протяжно проговорил оригинально принимаемый гость.

Признаюсь, не скажи он ничего, я не скоро узнал бы в этой странной фигуре Башкирова. Весь в пыли и поту, в старой синей поддевке, подпоясанной веревочкой, в брюках, засунутых в дегтярные сапоги, с широко улыбающейся потной физиономией и довольными глазами, прикрытыми большими синими очками, он был оригинален и неузнаваем.

— Ха-ха-ха, брат! Поймал! Старуха! Припирай двери! Засовом! Крепче! — суетился, видимо, чрезвычайно чем-то довольный майор.

— Ничаво, я теперь не уйду. Я и сам изустал,— говорил Башкиров, садясь несмело на стул около двери, вытираясь большим клетчатым платком.

— Катя! Где же она? — озирался майор.— Ты посмотри-ка: затащил, брат, затащил!

— Наконец-то! — сказала Катя, скорой походкой выходя из соседней комнаты прямо к Башкирову, и пожала ему крепко руку.

— Потная. Издалека иду, виноват! — протянул конфузливо Башкиров, вытирая руку платком уже после того, как Катя ее пожала.

Катя ничего не ответила и снова села на прежнее место, с серьезным любопытством устремив взгляд на Башкирова и несколько даже подавшись вперед корпу-

сом, как бы ожидая разъяснения и этого визита, и странности костюма, в серьезной цели которых она, по-видимому, не сомневалась.

— Нет, ты спроси, Каточек, где он был? Какую он штуку сделал... нет, не «сделал», а как?.. Оборудовал? Да? — обратился майор к Башкирову.

— Оборудовал.

— Да, да! Никто ведь не сумел, никто не смог... А наш гениал-то, Морозов-то... Каков!.. Ха-ха-ха!.. Отказал!.. Вот они, Наполеоны! Волтеры!..

— Какое же это дело? — спросила Катя.

— Да я тебе, кажется, рассказывал? Нет? — заторопился майор, говоривший всегда скороговоркой, когда хотел сообщить что-нибудь чрезвычайное, как будто боясь, чтоб его не предупредили.— Помнишь, добросельцы с красносельцами хотели сообща луга и пашни снять у Дикого? У них ведь совсем лугов нет, на пашне скот пасут, а то по болотам, а рядом, у Дикого, поемщина в полтораста десятин лежит дарма: ни себе, ни людям. Кулаки к нему сколько раз было наведывались, цены нагнали страшные,— всех выгнал; мужички потом сами ходили, авось-де счастие не выпадет ли им, и их выгнал! Вот, изволите видеть, молодой человек (это майор ко мне обратился), мужички просто смотреть без слез не могут на эти луга. У них скотина — кожа да кости, а под глазами — пойма... Да-с, так вот какая, можно сказать, поразительная картина была! Думали-думали мужики и надумали кого-нибудь со стороны послать к Дикому: сейчас, конечно, ко мне. Ну, я их спровадил к Морозову,— все же скорее может успеть: некоторым образом чуть не родные они с Диким. А наш гениал-то, каков!.. Как вы думаете: что он сделал? А? Отказал!.. Да, отказал!.. «Я,— говорит,— тут никакого успеха не предвижу, братцы, потому что мы с Диким слишком в убеждениях расходимся. Ступайте к майору! Он сам помещик!» Каков!.. А? К майору! А майор — что? Майор, стало быть, не имеет убеждений? А?

Майор заходил в волнении по комнате.

— Старушенция! Да скоро ли ты нам водки-то дашь? — вдруг крикнул он, обращаясь куда-то за стену.

— Несу, несу... Слышу уж! — говорила Кузьминишна, внося поднос с закуской и ставя его на стол.— У нас, бывало, у барина моего, вот так же: говорят-говорят об этих Волтерах-то да и понапьются... Здравствуйте, батюшка! — поклонилась она Башкирову.

— Здравствуйте, здравствуйте, бабушка,— привстав, сказал Башкиров и подал ей с самым сердечным добродушием руку, к которой несмело прикоснулась своими пальцами Кузьминишна.

— А вы знакомы? — спросила Катя, по обыкновению широко открывая глаза.

— Мы... помалости собеседовали,— ответил Башкиров.

— Кто меня не знает?.. Все меня, старуху, знают... На-ткос, какую махину годов прожила! — заметила Кузьминишна, скромно уходя и тихонько притворяя за собою дверь.

— Хорошая баба, куда хорошая!..— с видимым удовольствием проговорил Башкиров и даже потер большими красными и толстыми руками свои колени.

— Н-да! Так вот майор, делать нечего, и отправился,— заговорил майор, прожевывая огурец и успев уже под шумок выпить.— А вы выпейте-ка... Пьешь ведь? — спросил он Башкирова (майор частенько говорил «ты» тем, к кому в данную минуту чувствовал особое расположение).

— Отчего ж? Пью... Нельзя не пить!..

— Я, брат, знаю! Ты не из этих, не из гениалов... От царской да от мужицкой чарки никогда не отказывайся! Грех! Да, так вот и «поехал наш Иван за кольцом на окиян...». Уж именно — окиян! Насилу принял... Из ума выжил!

— Хороший мужик... Беда — хороший! — опять с особым удовольствием заметил Башкиров, выпивая вполуборот от Кати водку, и затем почему-то сконфузился и покраснел.

— Хороший, брат, это верно. Только тут немножко тово... винта не хватает. Ну, да это — особая статья. Наконец добрался до него... Говорю: так и так: ежели даже по-христиански... И, боже мой!.. Поднялся, зашемел, заплевал... «Я,— говорит,— тебя уважал, старик, когда ты тем кровь портил... Ну, а мужицкое

брюхо растить я тебе помогать не намерен!..» Бился, бился — с тем и отъехал!

— Чем же кончилось это дело? — спросила Катя, внимательно всматриваясь в хитро улыбавшееся лицо майора, которое давало повод предполагать, что «штука-то» еще впереди.

— А ты вот его спроси! — показал майор на Башкирова.— Вот Дико́й всех прогнал, всем оглобли завернул,— а ему не завернул, его не прогнал! А почему?.. А потому, что вот он — не Вольтер; когда у одного мужика сошник лопнул,— а пора была страдная, ни взять негде, ни послать в город некого, ни самому от бороны оторваться нельзя,— вот он, не Вольтер-то, пехтурой в город отмахал двадцать верст, а к вечеру мужику сошник принес! Нет, ты расскажи! Пускай он сам расскажет. Ну, как ты ухитрился? Как ты оборудовал? А?.. Ведь отдал он мужикам луга на съем?

— Один лужок отдал,— сказал Башкиров.

— Ну, как же, как же ты оборудовал? — спрашивал майор и, подсев рядом к нему на стул, стал набивать трубку у себя в коленях, приготовляясь слушать.

— Да я не знаю... само сделалось,— протянул конфузливо Башкиров и засунул руки между колен.

— Нет, ты рассказывай все порядком, как было. Мы, брат, пойдем.

— Сегодня утром приходят мужики ко мне,— начал обстоятельно излагать Башкиров,— и говорят: «Сходи ты, сделай милость, к нему сам: что это, господи, царь небесный, за оказия! Ведь мы не милостыню просим у его; деньги вперед уплатим!» — «Ну, ладно,— говорю,— коли так — испробуем...» Надел вот эту хламидку-то, взял хлеба кусок за пазуху и пошел. Прихожу и говорю: доложите, мол, лекарь пришел... Конечно, глаза таращат слуги-то. Велел войти. Вхожу, говорю: «К вашей милости».— «Ты кто такой?» — «Лекарь»,— говорю. «Знахарь?» — «Нету, батюшка, как быть: из ученых... Вот извольте посмотреть» — и ему на стол диплом выложил. Он сейчас же издивился... «А! — говорит,— прошу покорно садиться,— и кресло мне ногой придвинул.— Федот! принеси нам вина!» Приказал, а сам с меня глаз не спускает. Все охаживает ими меня с головы до пяток. «По какому

делу-с? Вы, кажется, обедняли, ищете места? Виноват, деньгами, несколькими рубликами, могу снабдить; а более ничего не могу... Я ни с кем теперь не имею ничего общего — ни с земством, ни с администрацией!..» Ну, я ему сейчас и доложил. «Чего-с? Вам что за дело? — воззрился он на меня.— Вы служите? Может быть, в гласные хотите?» — «Нету,— говорю,— не хочу...» — «Имеете практику?..» — «Нету, не имею, а лечить лечу, кому надобность есть...» — «Извините, я вас не понимаю!» — говорит и поклонился мне.

— Ха-ха-ха!.. Вот тут и раскуси! — восторгался майор, постоянно повертываясь на стуле, перекладывая ноги с одной на другую, попыхивая в чубук и в самых интересных местах ероша свои седые волосы.— Ну, ну! — подгонял он.

— Ну, я ему и стал докладывать. «Мы,— говорю,— друг друга, ваше-ство, скоро поймем, потому что вы отрешились и я отрешился...» Ну, и повел в эдаком роде параллель... Он все слушал, все слушал. «Признаюсь,— говорит,— не ожидал. Хорошо,— говорит,— я согласен! Интересный вы молодой человек, заходите ко мне!» Ну, я теперича пойду уж,— заключил Башкиров, тяжело вздохнув, как будто, сделав этот доклад, почувствовал себя совершенно свободным.

— Куда? Куда? — вскочил майор.— Старушенция, припирай двери!..

— Да чего же я здесь буду приятно собеседовать, когда мужики меня ждут! Нет, уж я пойду!

— Да, да, ступайте,— торопливо проговорила Катя и, быстро встав с места, пожала ему руку еще сильнее, чем прежде.

— Ну, нечего делать!.. Хоть поцелуемся, брат, на прощание! — сказал майор, при всяком удобном случае падкий на нежные излияния,— и расцеловался с Башкировым.

— Хороший старик! — проговорил, улыбаясь, Башкиров, взглядывая то на майора, то на Катю. Очевидно, впрочем, эта фраза назначалась собственно для Кати. Щеки Кати покрылись легким румянцем довольства, и она вновь с глубоким чувством признательности пожала Башкирову руку. Мне почему-то невольно припомнилась при этом сцена у Морозовых на именинах,

когда Катя на легкое раздражение Морозова, вызванное наивным докладом майора о своих заслугах, резко отвечала: «Папа, уйдем отсюда...» Сопоставление казалось мне знаменательным.

— Теперь вы, наконец, поняли?.. Видели, что такое о н? — спросила меня Катя несколько напряженным голосом, когда Башкиров вышел в сопровождении майора, не перестававшего еще долго за дверью кого-то хвалить и кого-то бранить.

— Отчасти,— сказал я.— Впрочем, все это я знал о нем и раньше... Но ведь он, может быть, исключение?

— Нет, нет,— настойчиво ответила она, как-то особенно высоко подняв голову и проводя рукой по волосам, которые слегка всклокочил легкий ветер, пробивавшийся в окно сквозь застилавшую его зелень,— потому что иначе невозможно было бы жить... по крайней мере, для меня... Я лучше объясню вам примером: что сделали бы вы, если бы тот храм, в котором вы молились, обратили в торжище, одни — сознательно, другие — помогая по недоразумению или по неопытности?

— Я ушел бы из этого храма, унося в своем сердце бога и свою веру,— ответил я.

— И только?

— И только.

— Нет, этого мало... Нужно же проявить в каких-нибудь формах свою веру... А они не должны быть настолько податливы и растяжимы, чтобы дать место лицемерию или обману... Вот что нужно найти, чтобы спасти себя и всех!

— И возможное осуществление этого вы находите в Башкирове? — спросил было я, но в это время вернулся майор. Я успел только по глазам Кати заметить, что вряд ли бы еще она на этот вопрос ответила без колебания: «да».

Она, очевидно, еще изучала его.

— И Орск — романтизм! А? Помните вы это? — крикнул майор, обращаясь ко мне.— И Орск — романтизм! каково!.. Вот тебе сын народа! Как прошли цивилизованную школу да понюхали культурного житья, да ежели еще при этом жена богатая...

— Папа! Ты слишком стал нападать на Петра Пет-

ровича,— заметила Катя, кладя со стола на колени шитье и принимаясь снова за прерванную работу.

— Как нападать? Ведь ты сама видела! — несколько недоумевая, обратился майор к дочери.— И ведь ты, кажется, сама...

— Тогда, папа, было дело принципа, но собственно сам по себе он — человек очень хороший!

— Ну, извини. Я что-то мало тут понимаю...

— Морозов прежде всего очень хороший человек; он не падает так низко, как думаешь,— продолжала Катя,— я его уважаю... я уважала и его принципы, я сама жила его верой, и ежели теперь... Но я знаю, я уверена, рано или поздно Морозов поймет это.

Все это Катя проговорила несколько взволнованным голосом, нервно делая складки на полотне.

— Ну да, ну да! Защищай его! — сказал майор, любовно посмеиваясь и подмигивая мне на дочь.— Воспитатель ведь твой! Как, как ты говорила про него? «Он — пахарь, он — сеятель, он бросил первые зерна...» Так, что ли? А до жатвы ему нет дела?

— Да, жатва не его,— едва слышно проговорила задумчиво Катя.

— То-то вот и есть! А, что я тебе говорил: он — Рудин! Вы думаете, Рудины были и быльем поросли? Нет, брат, они живучи! Ты думаешь, что он артели устраивает, так будто и дело делает? А я тебе скажу, что все это — та же рудинщина, только в иных формах. Знаем мы их — этих разочарованных наполеонов-то, что «по свету рыщут, дела себе исполинского ищут!».

— Да, это отчасти справедливо. Я не сомневаюсь, что он может умереть так же, как умер Рудин. Но если ты говоришь в ином смысле, в смысле фразы, в смысле надутого ученого самомнения — это неправда. Нет! Нет! Это неправда! В нем сильны хорошие инстинкты, он чуток к истине! — торопливо проговорила Катя, как будто боясь, чтоб ее не перебили.

— Ну да, ну да! Разве с вами можно сговорить! То из-за одного слова чуть скандала у него не наделала, меня, старика, утащила, а теперь...

В эту минуту в дверях показался Чуйка.

— Ты что, Кузя? — спросил его майор.

Чуйка сел у двери.

— Господин Башкиров, кажись, изволили навестить? — спросил он, больше обращаясь к Кате.

— Как же, как же,— отвечал майор,— навестил! А ты его встретил?

— Встретил-с; идут, палочкой помахивают. Сожалею, что не потрафил сюда ко времени.

— А что, Кузя, он тебе нравится? — спросила, улыбнувшись, Катя.

— Как же! — протянул Чуйка с каким-то непередаваемым выражением в голосе.

— Чем же он тебе нравится? — спросила опять Катя, по лицу которой было заметно, что она очень хорошо знала и то, что Башкиров нравился Кузе и почему он ему нравился; очевидно, эти вопросы задавались с целью только еще раз услыхать подтверждение любимой идеи, а отчасти, может быть, еще более убедить меня.

Кузя не скоро отвечал на этот вопрос; он сначала исподлобья посмотрел на Катю, потом на меня, потер колени и, запинаясь, проговорил:

— А потому — как вполне человек... ежели судя по настоящему времени...

— Ну, ладно! мне, брат, некогда,— сказал майор, когда Чуйка придумывал, что сказать дальше.

— Это так точно,— подхватил он, быстро вскакивая и запахивая полы чуйки,— мужики томятся. Пожалуйте-с!

— Сейчас, сейчас, вот только еще трубочку выкурю... Ну, а какое ты сообщение хотел сделать?

— А вот насчет этой самой алебастровой артели господина Морозова-с.

— Был там? — с видимым интересом спросил майор, раскуривая трубку.

— Был-с.

— Видел его?

— Его не видал, потому еще почесть на заре ходил... прохладнее. А с мужиками собеседовал. «Ничего,— говорят,— мы согласны!» Ну, честь честью, пригласили меня поутренничать: кашицу они вчерашнюю в котелке разогрели; я сейчас же к ним примостился... Люблю я так есть! Пары с речки подымаются,

холодком тянет, дымком попахивает из-под котелка... Помнишь, в иные-то времена, как помоложе были, какие мы теплины на речке около лесу зажигали: дым-то у нас выше лесу стоячего, выше облака ходячего подымался!..— увлекся Кузя, обращаясь к Кате.

Его глаза забегали и засияли, все лицо засветилось улыбкой, и он весело и любовно глядел в лицо Кати, как бы видя пред собой не эту взрослую, солидную девушку, но бойкую тринадцати-четырнадцатилетнюю дикарку, полную, румяную и загорелую, с кучей растрепанных кудрей на голове, с которой делал он некогда лесные экскурсии. Катя улыбнулась на это обращение к ней Кузи, но улыбнулась так, как улыбается юность при свидании с старой няней на ее длинные и обстоятельные рассказы о том времени, когда эта юность и как сначала ползала, потом «пешком под стол ходила», когда и как расшибала себе нос и прочее. Кузя так же было пустился, поощренный улыбкой Кати, в подобные же подробности, но майор докурил трубку и заторопился.

— Ну, пошел, пошел! Правду говорят мужики, что у тебя чирей на языке. Что же Морозов-то, Морозов-то что же?

— А господин Морозов, так надо полагать, нашего брата не допущают.

— А-а! отчего ж так? — спросил майор и бегло взглянул на дочь.

— А так, надо полагать, что они против нас мнение имеют, в том роде, что мы, по своей коммерческой практике, в их понятии, кулаки выходим. Ну, а они, господин Морозов, артель свою на подборе устраивают. Тут тоже рассказывали, один мужичок, с пахлей сбившись, пристанища не находя, прослышал об этой самой артели — и к ним было. Ну, тоже господин Морозов отказал, то есть этим самым артельным мужичкам растолковал, что-де им наистрожайше нужно народ избирать!

— Так, так! нам чистеньких подавай! — взволновался майор, быстро выпил еще рюмку водки, взял фуражку, сказал мне, шаркнув ножкой: «Прошу извинить», — и вышел.

— Это точно... ежели подбор,— размышлял Кузя,

разводя руками,— только ведь для этого нужно, чтобы было д а н о... А кому это дано? — спросил он меня, улыбаясь.— Никому не д а н о-с еще, по настоящему времени судя... ха-ха! — закончил он, особенно внушительно подчеркивая слово д а н о, и затем, раскланявшись, тоже вышел.

Я взглянул на Катю: она сидела, низко наклонив голову к шитью, и нервно спешила окончить шов; все лицо ее и уши сплошь были залиты краской, вероятно, вследствие сильного внутреннего волнения; она не поднимала головы, очевидно стараясь скрыть от меня это волнение; но, наконец, не выдержала, усиленно стегнула два раза иглой и, кладя на стол работу, поднялась, выпрямилась во весь рост и вдохнула полной грудью лившийся в окно из сада свежий, ароматический воздух.

— Вы пойдете сегодня к Морозову? — спросила она меня деловым тоном и прищурила глаза, вероятно желая хоть несколько умерить их блеск.

Я сказал, что пойду.

— Пожалуйста, занесите от меня записку... несколько строк. Я сейчас напишу.

Она быстро вошла в свою комнату. В полуотворенную дверь я видел, как она, взяв первый попавшийся листок бумаги, лихорадочно стала писать. Написав несколько строк, она отбросила этот листок и принялась писать на другом. Она сидела ко мне спиной, и я не мог видеть выражения ее лица; но краска все еще покрывала ее слегка загорелую шею. Наконец она вышла ко мне, читая на ходу.

— Вот,— заговорила было она.— Или нет... это бесполезно... этого мало!

Она быстро скомкала в руке письмо, сунула его в карман и, взяв со стола легкий шейный платок, накинула его на голову.

— Хотите, по дороге? — спросила она меня, слегка подвязывая платок у подбородка.

— С удовольствием. Вы куда же?

— К Морозову.

— Но ведь теперь самое жаркое время?

— Это мне все равно, я его должна видеть.

— Мы пойдем с вами здесь,— сказала Катя, выходя не на так называемое мужиками «парадное крыльцо» майорского дома, со стороны которого слышался шумный говор, а в узенькие сени, из которых маленькая дверь вела в сад.

— Как вы думаете: не взять ли большой дождевой зонтик? Должно быть, очень жарко; да, пожалуй, и гроза соберется,— проговорила она, смотря из-под ладони на безоблачное небо.— Ступайте вот по этой дорожке. Я вас нагоню.

Я сошел в сад. Майорский сад был обыкновенный провинциальный садик, с кривыми полузаросшими дорожками, с полусгнившими деревянными скамьями, сплошь закрытыми крапивой, с густою травой, среди которой особенно высоко выдаются сочные дягили; одна сторона сада сплошь заросла густым вишенником, над которым подымались корявые яблони с кое-где обломанными сучьями и берестовыми пластырями, подвязанными мочалками вокруг стволов; другая сторона была исключительно посвящена ягодам: густо разросшиеся кусты малины, смородины и крыжовника, подобранные снизу в перегородочки из старых драниц, так густо зарастили представленную им местность, что поместившаяся было среди них молодая рябина, заглушенная ими, стала сохнуть; только в дальнем углу густая древняя ель, вероятно оставшаяся от бывшего когда-то здесь леса, могуче подымала свою пирамидальную вершину и царила над всей окрестной растительностью, усыпав широкую площадку засохшими иглами и шишками; вокруг ее еще здорового смолистого ствола была сделана из трех скамеек беседка, тут же стоял треснувший от дождей и солнца, полинявший красный столик; на нем виднелся клубок ниток, вязальные спицы, книга и майорский табачный кисет; вероятно, это было любимое место, где собирались на мирную беседу все обитатели майорской колонии.

За садом начинались гуменники, обращенные в майорской усадьбе в огороды; длинные ряды гряд зеленели разнообразной сочной листвой, среди нее были разбросаны маленькие яблони и груши, как подростки, нуждавшиеся в обильном и жирном черноземе; подпертые козелками на хорошо взрыхленной и часто по-

ливаемой земле, они, видимо, росли под бдительным надзором чьей-то заботливой руки; некоторые из них начинали уже набирать плоды, и стая всякой прожорливой птицы усиленно нападала на них и на гряды с огурцами, нисколько не пугаясь старого майорского мундира, распяленного на кресте из кольев, и старого повойника Кузьминишны, венчавшего то место, на котором пернатые должны были предполагать строгую главу военного стража. Впрочем, строгий стра́ж оказался теперь сам налицо, и в подобном же повойнике: в дальнем углу огорода я увидел Кузьминишну, которая с большим сухим суком в руках бегала между грядами, с азартом нападая и покрикивая необычайно строгим голосом на глумившихся над ней воробьев. Я подошел к ней; она выразила было желание вступить со мною в длинную беседу и, уже взяв за руку, потащила меня под заветную ель, как в это время нагнала нас Катя с большим распущенным парусинным зонтиком.

— Пойдемте,— торопливо сказала она.

— Да куда ты его тащишь? — запротестовала Кузьминишна.— Не успела я с ним и двух слов перемолвить.

— После, Кузьминишна, после. Нам нужно,— проговорила Катя, уже подходя к выходу.

Слышно было, что Кузьминишна что-то забормотала, но что — разобрать было никак нельзя; через минуту она уже начала вновь с сучком в руке военные действия против прожорливой птицы.

За огородом мы пошли с Катей по гладко протоптанной и обросшей по краям полевою ромашкой борозде, между озимым полем и паром. Катя мерной и уверенной поступью шла впереди меня, задумчиво наклонив голову и твердой рукой держа тяжелый старинный зонтик, с одного бока которого мерно прыгало большое медное кольцо.

Было время послеобеденного отдыха, и отчасти поэтому, отчасти вследствие томящего зноя кругом не было видно ни одной живой души. Над высохшим и трескавшимся на солнце паром изредка пролетали один за другим вороны, пристально высматривая полевых мышей. Во всей окрестности чувствовалась то-

мительная тишь, и в воздухе проносились только редкие звуки то скрипевших где-то далеко колес, то фырканье лошади, бродившей в ближайшем овраге, то шум от пронесшейся стаи галок да карканье вороны, усевшейся на брошенную среди пашни борону.

Мы шли несколько времени молча.

— Ах, я вас совсем замучила... Посмотрите, что с вами: на вас лица нет! — вскрикнула Катя, обернувшись ко мне.

Действительно, я изнемогал от жары.

— Давайте руку, теперь недалеко,— сказала она и, не дожидаясь моего согласия, взяла меня под руку.

Поднявшись из оврага, мы очутились у старого полусгнившего и кое-где уже растасканного, вероятно, крестьянами на дрова забора из толстых кольев, окружавшего морозовский сад. Мы не стали обходить его, а прямо прошли в отворенную калиточку, заросшую бурьяном, сквозь который пробита была свежая тропа.

Из чащи густо разросшихся деревьев повеяло свежестью; несмотря на жар, воздух здесь был влажен, вероятно, от находившегося невдалеке пруда, сплошь покрытого зеленью. Эта часть сада была запущена и мало кем посещалась, что заметно было по той безбоязненности, с какою поместились здесь на жительстве целые колонии ворон, грачей и галок, унизавших гнездами старые вязы. Сопровождаемые карканьем, мы вышли в другую часть сада, где уже были заметны следы культуры: расчищенные дорожки были усыпаны песком; по бокам их кое-где виднелись цветочные клумбы; попадались скамейки, запрятанные в глушь сиреней, брошенные грабли, валявшиеся на боку лейки. Наконец мы свернули на главную аллею, примыкавшую к барскому дому. На террасе мы заметили Лизавету Николаевну, сидевшую за столом, уставленным мисками и блюдами, и отбиравшую ягоды. Она нас не заметила, пока Катя, оставив мою руку, не вбежала быстро на лестницу террасы. Лизавета Николаевна вздрогнула и смешалась.

— Извините, что мы прошли здесь... Так ближе... Петр Петрович дома? — спросила Катя, наскоро пожимая ей руку.

— Да, дома. Кажется, он там... в комнатах.

— Могу я его видеть?

— Да, конечно. Отчего же! — заминаясь, говорила, все еще не успевши прийти в себя, Лизавета Николаевна, вытирая перепачканные красным соком руки.

Катя сдернула с головы платок, слегка поправила волосы и вышла в залу.

— Здравствуйте! Я вас и не заметила,— сказала Лизавета Николаевна, протянув мне руку.— Садитесь... или, может быть, и вы хотите туда, к мужу? — спросила она, стараясь не смотреть мне в лицо.

Я сказал, что останусь с ней, и сел возле перил. Сначала мы молчали, затем перекинулись несколькими пустыми фразами о погоде, о кое-каких общих знакомых — и снова замолчали. Лизавете Николаевне, казалось, чувствовалось несколько не по себе. Движения ее были нервны, порывисты. Наконец она крикнула девушку, заставила ее отбирать ягоды и спросила: «Барин у себя, в кабинете?» Белобрысая, лет двенадцати девушка, с растрепанной короткой косичкой на затылке, отвечала, что он в саду и что барышня прошла через другое крыльцо туда же.

— Пойдемте и мы в аллею,— пригласила меня Лизавета Николаевна.— Здесь душно.

Мы тихо спустились с террасы и так же тихо пошли к аллее. Я заметил, чем ближе мы подходили к ней, тем медленнее ступала Лизавета Николаевна; казалось, она нарочно задерживала шаги.

— Не правда ли, как у нас хорошо здесь? — сказала она, когда мы вошли под густую сень древних лип, как будто дремавших в приятной истоме, опустив неподвижные ветви, на которых не шелохнулся ни один лист. Так неподвижно, пригретые солнцем, дремлют на завалинках дряхлые деревенские старцы, и в их жилах медленно движется спокойная, старческая кровь.— Если бы всем можно было жить так же, как мы! — продолжала она.— Сколько свободы для любимых дум, для любимой работы, без мысли о давящей нужде, о куске насущного хлеба! Знаете что? Если еще теперь невозможно это дать всем, всем, то я, по крайней мере, эти мирные, заветные уголки предложила бы нашим работникам мысли, этим беднякам, изнывающим по душным меблированным комнатам столиц,

по чердакам и подвалам... Как вы думаете, хорошо бы это было? Сколько сократилось бы тогда надорванных грудей, преждевременных смертей! Сколько сохранилось бы для родины драгоценных созданий мысли и фантазии!

Я смотрел на Лизавету Николаевну: она говорила совершенно серьезно; ее глаза смотрели вдаль и, казалось, ясно видели уже перед собой этот будущий приют работников мысли.

— Вот вам пример: Петя... Сколько даром потрачено было им сил на борьбу с нуждою! Он должен был разменять свой ум, свои знания на мелочь... А теперь...

Но она не договорила; из глубины аллеи донесся до нас громкий, резкий голос Кати, вероятно говорившей с Петром Петровичем. Лизавета Николаевна вздрогнула и замерла, невольно вслушиваясь в этот голос.

— Зачем вы меня обманули? Вы меня обманывали? — спрашивала Катя, несколько понизив голос.— Вы — мой учитель?

— Нет, я вас не обманывал,— глухо отвечал Петр Петрович.

— Что же вас держит здесь?.. Зачем вы живете в атмосфере этого расслабляющего общества? Вы полюбили эту жизнь, а сами... сами чему вы учили меня?..

— Нет, я не люблю этой жизни!

— Но что же вас держит здесь?

Лизавета Николаевна медленно и как-то автоматично подвинулась вперед.

Я взглянул на нее: она была бледна, в лице ни кровинки, глаза лихорадочно заблистали.

— Что с вами? — спросил я, взяв ее за руку (руки были влажны и холодны).

— Ах, эта... ужасная девушка! Зачем она... зачем? — прошептала Лизавета Николаевна и, закрыв лицо руками, бросилась от меня, заглушив рыдание, обратно к террасе.

Я не хотел смущать ее своими услугами — и остался. Невдалеке от меня была старая, сгнившая скамейка. Я присел на нее.

Вдруг как-то стало совсем тихо; стрекотавшие в траве кузнечики замолкли все разом, словно по угово-

ру; стая воробьев, щебетавшая на одной из соседних лип, мгновенно поднялась, прошумела крыльями и пропала куда-то. Из чащи не слышно было никакого звука. Вероятно, Катя и Морозов прошли по нерасчищенной дорожке, вившейся в чаще деревьев, дальше. Мне не хотелось уходить; почему-то думалось, что я еще услышу ответ Морозова. Скоро действительно до меня долетел невнятный говор; послышалось хрустенье валявшихся сухих веток, шуршанье платья о траву.

— И вы можете так жить? — донесся до меня голос Кати.— От скуки повторяя зады, которые давно потеряли смысл?

— Тяжело, но жить нужно,— отвечал Морозов.

— Нет, так нельзя!.. Это неправда! Вы только хотите прикрыться этим. Вы, не замечая, может быть, сами, с каждым днем все дальше уходите от тех, среди которых вы родились. В вас глохнет инстинкт правды; вы утеряли чуткость сердца. Да, вы меня обманывали!

— Вы слишком строги ко мне,— глухо проговорил Морозов.— Вы слишком строги,— повторил он после небольшого молчания.— Я не обманывал вас, покуда верил... Но теперь...

— Да? — переспросила Катя, не дав ему договорить.— Ну... так вы еще придете... если вы честны! Иначе — невозможно жить...

Из-за деревьев показалось платье Кати, но тотчас же опять пропало. Вероятно, она вернулась...

— Знаете ли,— заговорила она тихо,— вы... вы берете на себя большой грех!

— Я?

— Да, вы, своим малодушием, своим сомнением. Вы не можете не знать, что я привыкла верить в вас, идти с вами рука об руку. Я не могу оставить вас,— я нравственно связана с вами!.. Вы должны решить. До свидания!

Из чащи показалась Катя; ее щеки пылали; она шла торопливой, ровной походкой, приложив левую руку к разгоревшемуся лбу; глаза ее были опущены в землю. Подойдя к скамье, на которой я сидел, она безучастно и равнодушно взглянула на меня и, не останавливаясь, не сказав ни слова, прошла мимо.

Глава шестая

НАЗАМУЖНИЦЫ

После первого знакомства я стал очень часто, не только что ежедневно, но раза по два в день, заходить в полубарский выселок. Старая Кузьминишна связывала меня с ним все сильнее, почти родственными узами, и меня что-то тянуло к майорской колонии, едва я успевал утром протереть глаза. Я перестал пить парное молоко у своей хозяйки и договорился насчет его с Кузьминишной; я стал даже очень редко навещать Морозовых. Я полюбил всей душой майорский садик с его древней, могучей, одинокой елью, величественно царившей над окрестною зеленью, с лавочками под ее густо и тяжело нависшими ветвями, от которых лился здоровый смолистый аромат. Я любил лежать на копне скошенной травы, у ее массивного ствола, смотреть сквозь ветви на голубое, чистое, как бирюза, небо, внимать мерному, добродушному ворчанью Кузьминишны, обыкновенно сидевшей рядом на лавочке в своих оловянных очках, и слушать постукивание и потрескивание деревянных спиц, которыми она вязала какую-то бесконечную штуку. Детством, самым ранним, самым зеленым, пахнуло на меня, и моя изболевшая грудь сладко отдыхала в этой мирной истоме. Ничто не нарушало этого покоя, ничто не тревожило моей груди. Напротив, мне чрезвычайно нравилось, когда кто-нибудь завертывал в этот уголок: то майор придет, весь в поту, в пыли, красный, но живой, деятельный; присядет на угол лавки, сострит что-нибудь на наш с Кузьминишной счет, набьет трубку и долго сопит ею; то Кузя забежит «на одну секунду», бросит мимоходом какой-нибудь афоризм собственной философии, вроде того, «что ежели, по настоящему времени судя, то самое лучшее — отрешиться,— потому везде — единственно, как мамон, и более ничего!» Приходила к нам и Катя, улыбалась нашим «собеседованиям» и, полузадумчиво-рассеянно помахав зеленой веткой в лицо, порывисто опять уходила куда-то.

По уходе ее на меня почему-то постоянно наплывали целые вереницы мыслей, вопросов, недоумений и до

того овладевали мною, что я часто ничего не слышал из болтовни Кузьминишны, даже не замечал, когда она уходила. Да, я стал замечать, что, помимо Кузьминишны, помимо той невыразимо умиряющей душу истомы, в которой отдыхал мой больной организм, меня влекло к майорской колонии что-то другое, еще более сильное: это был образ загадочной девушки с глубокими карими глазами, в которых светилась не понятая еще мною, не поддававшаяся точному анализу и определению «идея», одушевлявшая этот образ, придававшая ему особый, таинственный смысл. И вот, совершенно непреднамеренно, незаметно для самого себя, я стал старательно наблюдать за Катей. Разговаривая с Кузьминишной, я всегда как-то невольно сводил разговор на Катю. Кузьминишна, впрочем, этого не замечала, так как и сама имела слабость кстати и некстати болтать о своей питомице.

Помню, как-то раз зашла Катя в сад, улыбнулась нам, присела на скамью и стала играть с большим дымчатым котом, неизменным спутником и любимцем Кузьминишны, пригревшимся на солнечном пятне. Мы смотрели на нее.

— Что же вы замолчали? — спросила Катя, оставляя кота.— Разве я вам мешаю?

— Ну, матушка, уж ты-то не мешаешь! Бог знает, что с тобой поделалось. Нет, чтобы посидела с людьми да поговорила, а то сидит одна али ходит бог знает где! — ворчала Кузьминишна.

— Да о чем говорить? Говорить-то не о чем. Обо всем уже давно переговорили.

Нужно заметить, что Катя не говорила со мною еще ни разу так, как в день первого знакомства: она действительно как будто считала, что уже тогда слишком многое сказала, так много, что больше говорить нечего и незачем. Это часто бывает с сосредоточенными и порывистыми натурами: то они неожиданно выложат пред вами всю душу, помимо вашего ожидания и часто помимо собственного желания, то вдруг сделаются к вам холодны, равнодушны, недоверчивы, — и тем холоднее, чем сильнее, чем жарче был первый сердечный порыв.

Кузьминишна совсем разворчалась, а Катя опять

присела к коту и стала щекотать его веткой. Затем она с обычной своей порывистостью поднялась, сняла с шеи платок и накинула его на голову.

— Я ухожу, Кузьминишна. Приедет папа обедать — меня не ждите,— сказала она. Лицо ее сделалось опять так внушительно-серьезно, что, казалось, никакие возражения не могли иметь для нее значения.

— Ну, опять пошла егозить,— буркнула Кузьминишна.— Да ты скажи хоть, куда идешь-то? Чай, по избам бродить с этой... с Морозихой?

— Да, к ней... До свидания,— обратилась Катя ко мне.— Я вас, наверное, завтра опять увижу здесь... Вы позволите, мы будем уже по-родному: я не стану постоянно повторять вам «здравствуйте да прощайте!» Как-то смешно выходит.

— Нет, не могу согласиться, потому что тогда вы со мной совсем уже перестанете говорить.

— Когда будет о чем говорить, так наговоримся.

Она улыбнулась и скорою походкой пошла через огород в поле.

— Егоза, как есть настоящая егоза! — опять заговорила Кузьминишна.— Яблочко от яблони недалеко падает: вся в отца, вылитая! У того, даром что до седин дожил, а еще все зуда-то не прошла; и она по нем идет. Спокойна была, как приехала, год прожила: сидит себе да книжки читает... Ан, хвать-похвать, и проговорилась: «Я,— говорит,— хочу в лекаря учиться, в бабки это мало...» И отцу так сказала: «Только,— говорит,— я уж теперь не одна поеду, а с тобой вместе там жить будем...» Ну, старый хрыч и рад!

— Так они скоро едут совсем отсюда?

— Чего тут — едут!.. И сама теперь не пойму... Старый и то все думал, что поедут... И не разберу уж!..

— А она раздумала?

— А уж и не знаю... Вот ведь она — какой крепыш, настоящий кремень! У не тоже скоро-то ни до чего не достукаешься... Один раз только проговорилась; пришла этта такая задумчивая, весь день молчала, да уж ночью со мной и разговорилась... Проснулась я, дай-ка, думаю, посмотрю, откуда это так свежо дует,— а она сидит в одной юбке да в кофточке на окошке, растворила его... «Чего ты,— говорю,— не спишь?» —

«Не спится, няня, бессонница...» Тут и разговорилась со мной... «Я,— говорит,— пока подожду ехать учиться...»

— А кто это Морозиха?.. Сестра Морозова?

— Она самая.

— Я, кажется, видел ее раза два у них.

— Она не живет с ними. Брат-то с женой сердятся на нее за это; уговаривают, чтобы с ними жила, а она не хочет. Знамо дело — мужичка она, так мужичка и есть. Ведь Морозов-то из мужиков, только теперь, как науки произошел, в баре попал...

— Что же она делает такого, что ты как будто недовольна знакомством с нею Кати?

— Ничего она дурного не делает... Незамужница она... «перехожая»...

— Какая это «перехожая»?

— А так... Есть у нас такие девки, ежели которые грамотны, что из семей уходят. Возьмет — уйдет да и начнет ходить из деревни в деревню, из избы в избу, ребят учат, по покойникам читают, а то заодно с девками в светелках работают, ткут. Есть из них всякие: одни для бога идут, а кто из паскудства. Ну, этих мужики к своим ребятам не допущают. Про Морозиху грех что-нибудь сказать, даром что девка — кровь еще с молоком... Всякий тоже видит, что от довольства ушла по своей воле, для бога. Ну, только все же — мужичка! Мало что нашей сестре хорошо!..

— По-моему, Кузьминишна, что вашей сестре хорошо, то и нашей — тоже...

— Бывает, бывает... Так уж тут и определи себя так: хочешь богу служить — и служи... Тут уж божье произволенье, значит; тут уж свыше дано.

Кузьминишна попала на свою любимую тему о «подвижниках». Она говорила долго; речь ее делалась то торжественной, то скорбящей, когда она приходила к заключению, что в наши времена все меньше и меньше становится подвижников и что им теперь «не надо проявляться».

— Ну, а если проявится? — спросил я.

— Дай господи! — торжественно произнесла Кузьминишна.

Я не смотрел на Кузьминишну; я только слушал,

как лилась ее речь, а в это время перед моими умственными очами носился в каком-то полутаинственном, неопределенном очертании фантастический образ подвижника...

— А что, Кузьминишна, ты когда-нибудь говорила вот так... как теперь... с Катей?

— Много я ей, глупая, наговорила всякого... Да ведь и то сказать: кто знал, что она такая!..

— А что Башкиров? Часто она у него бывает?

— К нему-то она не ходит, а к матери... ну, да это так только! Чего ей в нас, старых! У ней тут все свое на уме; со всеми перезнакомилась, кто к лекарю-то ходит. А недавно вот целых два дня пропадала; ждали-ждали, гадали-гадали, куда ушла, так мы со старым ни до чего и не додумались. А это она к мужичонке одному ходила: так мужичок, из самых-то что ни на есть плохоньких, на десятой версте отсюда живет, в деревеньке... Тихий такой мужичок: от земли отбился, на охоту ходит да с лекарем приятельствует...

— А где теперь чаще можно застать Морозову?

— Ее-то? Верно, она теперь у келейниц живет... Чай, помнишь, в дом-то ваш муку возили две девки, деревенские девки... Одну-то Павла зовут, другую — Аксентья... Али забыл?

Я старался припомнить.

— Это суровецкие?

— Вот-вот, оне самые... Пять верст от нас Суровка-то всего...

— Так я побываю у них...

— Побывай и то... Девки хорошие, старые уж теперь стали, а все еще куды бойки! По всем поселеньям у нас здесь гремят. Начальству всему известны, самой даже губернаторше их предоставляли: вот, дескать, какие у нас бабы проявляются по деревням! А народ мимо их не пройдет, не проедет, чтобы не завернуть: хорошее слово али совет услыхать. Сходи, от меня поклонись,— может, вспомнят!

На другой день я шел по направлению к Суровке. Слова Кузьминишны вызвали в моей памяти ряд об-

разов и картин, давно когда-то волновавших мою ребячью душу.

Припомнился мне наш маленький провинциальный домик, с засоренным и плохо прибранным садиком позади, с маленьким двором между домом и сараем. Я особенно любил и этот уютный двор, и этот садик ранним-ранним утром. Бывало, проснешься случайно раньше обыкновенного — и выйдешь: тишь кругом (в особенности меня очаровывала эта тишь); никто еще из людей не копошится, не кричит, не суетится; не слышно еще этой бестолковой провинциальной сутолоки жизни, которая так нарушает днем общую гармонию в природе. И вот среди этой тиши постепенно пробуждается жизнь: поперек двора лежит еще густая тень, и только противоположная стена вся уже залита утренним солнечным светом; я силюсь увидать солнце, поднимаюсь на цыпочки, но не могу,— оно еще скрывается от меня за крышей. Вот выпорхнул из слухового окна петух и, усевшись на конец крыши, захлопал крыльями и заорал на всю улицу; ему тотчас же ответили его единоплеменники, и несколько времени в разных концах слышалось их перекликанье. Мерной, неторопливой походкой, поклохтывая, вышли из курятника куры, сотни цыплят рассыпались по двору, расправляя маленькие пушистые крылья. Дворняжка Орелка почуяла меня и, выставив из окна конуры две передние лапы, прищуриваясь, понюхала воздух и, наконец, лениво потягиваясь, вылезла вся.

В хлеву промычал теленок, и его рыжая, с белыми пятнами, голова высунулась между перекладинами, задвигавшими хлевное окно. Я, весь объятый какой-то особенно приятной дрожью, весь проникнутый невыразимо теплыми и нежными ощущениями, конечно, не забывал приласкать и Орелку, и теленка. А в саду было еще лучше. По мокрой траве лежали длинные тени от яблонь; через забор, сквозь густые вязы и липы, пробивались целые снопы лучей и, разбившись о густую листву, рассыпались золотом по траве и блестели изумрудами в каплях росы. Ни вороны, ни галки с их дисгармоническим карканьем не просыпались еще. Но зато утренние птицы уже давно приветствовали солнце.

Мне вспоминается воскресенье, и я уже слышу доносящиеся до меня откуда-то очень издалека особенные, присущие воскресному дню звуки: мерное поскрипыванье лениво катящихся колес, иногда редкое фырканье лошади, изредка — тихий окрик возчика. Это — крестьяне, едущие в город на базар из дальних и ближайших деревень: это от их возов слышится скрип, а вот скоро потянуло и дегтем, который так резко поражает обоняние в утреннем воздухе. Я почему-то был всегда неравнодушен и к этому колесному скрипу, и к этому дегтярному аромату. Скрип и запах дегтя становятся все слышнее: возы уже проезжают мимо дома. Мы с Орелкой выбегаем на улицу. Мимо нас, слабо поднимая пыль, медленно тянутся телеги, летние роспуски, плетушки и одноколки, мерно покачиваясь на колесах и поталкивая дремавших, спустя ноги, мужиков и баб. Это, вероятно, крестьяне очень дальние, верст за пятьдесят, которые ехали, не спавши, целую ночь. Усталые лошади, понурив головы, ступают тоже медленно; за возами идут лениво привязанные к задам телеги коровы, изредка пытаясь натянуть бечевку и оторваться; с некоторых возов глядят добрыми большими глазами головы телят. Проснувшиеся бабы начинают креститься на виднеющиеся вдали колокольни, «прибираются», повязывая головы красными платками. Весь поезд, возов в пять — десять, тянется лениво, и только два жеребенка оживляют это путешествие, позвякивая весело бубенцами да перебегая с одной стороны улицы на другую. Не успел еще скрыться с глаз первый поезд, как уже издали снова слышится скрип и запах дегтя и свежего сена,— и новый ряд возов тянется за первым. Но мы недаром стоим и ждем с Орелкой. Из-за поворота улицы появляется новый ряд возов, и вот едва они успели поравняться с нами, как из средины их отделяется знакомая сивая старая кобылка с поблекшими серыми, добрыми и вечно унылыми глазами; грубо покрикивая на нее, две сидящие в телеге женщины приправляют к воротам нашего дома. Я и Орелка весело бросаемся к подъезжающим.

— На-ткась, на-ткась, кто нас повстречал!.. Вот уж не ждали, не гадали! Да чего это ты, родной, встал так

рано? — ласково приветствуют меня приезжие женщины, выскакивая неторопливо из телеги.— У нас ребятишки по деревням — и то еще спят об эту пору...

— Хорошо очень утром-то! — отвечал я, ликуя, что мне удалось перещеголять даже деревенских ребятишек.

— Хорошо, родной! Здорово эдак-то вставать. А папенька с маменькой здоровеньки ли?

— Здоровы, ничего; все здоровы.

— Ну и слава те господи! Мы вот вам мучки привезли, заказывал тогда папенька-то. Первая мучка, только что смолота. Вот на-ко тебе деревенского гостинчику, испробуй. Из этой самой мучки лепешку спекла, кушай во здравие.

И женщины тащили откуда-то из глубины телеги выволянную в сене лепешку и совали ее мне, с прибавлением двух каленых яиц с полуоблупившеюся шелухой. Я не могу уже теперь передать ясно те ощущения «деревни», которые тогда охватывали меня всецело, но помню что-то невыразимо приятное и в поглаживании заскорузлых рук, которыми нежили меня крестьянки, и в прикосновении теплых побелевших старых губ сивки, которыми любезничала она со мной, когда я гладил ее голову. Что-то невыразимо вкусное было и в этом особенном запахе «деревни», который вдруг наполнил весь наш маленький дворик, когда телега была введена в ворота, и в этой серой, крутой, разрисованной крестиками и кружочками большой деревенской лепешке из «первой мучки». Но всего яснее, всего резче врезались в мою память образы этих двух женщин. Случалось, когда они были заняты чем-нибудь и не обращали на меня внимания, я долго, молча, наблюдал над ними, всматриваясь в их грубые, загорелые лица, в их мерные, медленные движения, когда они таскали на спинах трех-четырехпудовые мешки. Я вслушивался в их тягучую, размеренную, вежливую, но неподобострастную речь, когда они говорили с моим отцом. Из своих наблюдений прежде всего я вывел одно: что эти женщины не были женщины, как я представлял их по окружавшим меня, что они если и женщины, то совершенно «особенные», как, например, совершенно особенными представлялись мне

женщины Новой Гвинеи или Африки, которых я рассматривал в Живописном обозрении. И на такое представление я имел много данных. Так, например, я привык видеть наших городских женщин непременно в качестве подспорья: я не мог иначе представить их себе, как именно чьей-либо женой, сестрой, дочерью, матерью, непременно служащею, покоряющеюся, подчиняющеюся отцу, брату, мужу, чаще всего мужу. Если я встречал какую-нибудь женщину из городских, то в моем уме сейчас же, по ассоциации представлений, рисовался образ ее супруга, сообразно тому выражению, какое носило ее лицо. Здесь же не было ничего подобного. Чем больше я всматривался, чем ближе наблюдал этих женщин, тем окончательнее терялась для меня всякая возможность представить возле них мужика. Он при них совершенно делался ненужным. Кажется, не было для них такого положения, такого затруднения, с которым они не управились бы сами и при котором нужно было бы понуканье или помощь мужика. Вот эта-то именно черта и выделяла их в моем уме из всех прочих женщин, это-то соединение в одном лице того, что во всей окружающей меня обстановке было немыслимо, в особенности и поражало мое воображение, заставляло меня причислять их к какому-то особенному миру, жившему совершенно иной жизнью. Я приведу только один случай, который помню особенно хорошо и который еще более укрепил во мне такое представление. Нужно, впрочем, кстати заметить, что одну из них звали Павла (сама она звала себя «Павлия»), а другую — Аксентья (что это за имя и существует ли такое в календаре, я не знаю, но ее все так звали, хотя оказывалось, что она была крещена Секлетеей); обе они были девки, каждой лет около тридцати, почти одногодки. Вместе они были известны под названием «келейниц».

Однажды, когда они таким же образом заехали к нам в дом свалить пуда два муки, умыться, «прибраться» и затем поспешить на базар, я попросился ехать вместе с ними. Они согласились, посадили меня на передок телеги и, к моему величайшему удовольствию, дали в руки вожжи, которыми, впрочем, я ничего не мог поделать, так как сивка не выражала ни малей-

шего желания не только идти вскачь, как мне хотелось, но даже прибавить шагу. Впрочем, после нескольких напрасных попыток я стал очень нежно править, так как крестьянки постоянно мне замечали, что их «сивушку» забижать не следует, что она сорок верст без отдыху прошла и т. д.

Скоро добрались мы до базарной площади, где кипела уже жизнь, несмотря на раннюю пору. Приехавшие крестьяне выбирали места; заспанное начальство хрипло покрикивало на них, уставляя воза «по ранжиру»; поместились и мы около казенных весов. Павла и Секлетея сейчас же захлопотали: распустили у лошади хомут, бросили ей связку сена, затем вытащили три мешка с мукой и горохом и поставили у колеса телеги. Не прошло и полчаса, как базар загудел. Появились городские покупатели. Все шумело, кричало, волновалось. Кричали и шумели Павла и Секлетея с покупателями, но не теми пискливыми голосами, которыми пронзительно оглушают наши городские торговки, а грубыми, мужицкими, резонно-наставительными речами. Они бились из каждой лишней копейки на меру, из каждой полушки, которую приходилось сдавать покупателю; из-за этой полушки они бегали по соседним продавцам, по лавочкам, чтобы разменять деньги и не дать покупателю случай утянуть у них целую копейку, пользуясь неимением сдаточной полушки. Иногда то Павла, то Секлетея уходили надолго и ворочались с какой-нибудь покупкой: лоханкой, оглоблей, связкой веревок. Так прошло часа два. Я уже сильно затомился и совсем было задремал под однообразный базарный гул, как вдруг позади меня раздался крик, шум, хохот. Я обернулся и увидел, что уже лошадь наша заложена, мешки и покупки сложены в телегу, а Павла и Секлетея, окруженные огромной толпой, бегут куда-то, крича: «Держите, держите, православные!.. Куцавейку стащил проходимец-то!»

— Лови, лови его, бабы!.. Ха-ха-ха! — покрикивал вслед им базар.

Скоро я увидел, как Павла и Секлетея нагнали какого-то пьяного, с глупым лицом парня, тащившего под мышкой куцавейку. Они ухватили его за руки и повисли на них. Парень стал выбиваться, ругая и гро-

зя, но куцавейки не отдавал. Вдруг, к моему изумлению и к удовольствию всего базара, на парня посыпались удары все чаще и чаще; наконец он был сшиблен с ног, Павла и Секлетея вцепились ему в волоса, сидели на нем верхом и кричали: «Отдай, оглашенный, честью! Отдай, говорят, не то, не ровен час, тут и жизни твоей конец!»

— Ха-ха-ха!.. Важно! Ну, бабы... Лихо!.. Эдакой бабе попасться в лапы, что черту!..— поощрял базар.

У парня, наконец, была вырвана куцавейка, но он, вырываясь, изорвал на Павле и Секлетее сарафаны и рубахи.

— Нет, ты погоди, оглашенный! Ты не буйствуй! На твое буйство начальство есть! Ах, оголтелый!.. Благо силен — так думает, на него и управы нет!.. Думает, что бабы — так и обижать!.. Ах, обидчик! — покрывали базар голоса Павлы и Секлетеи, которые наскоро скрутили парню назад руки и, завязав их кушаком, потащили его к своему возу. Парень, красный от стыда, глупо глядел на толпу и, подталкиваемый сзади Секлетеей, шел за Павлой, которая вела его впереди за пояс, как барана.

— Ах, грех какой!.. Ах, грех какой! — повторяла запыхавшаяся Павла на ходу.

Когда они подошли к возу, парень опять было выразил намерение вырваться, но его опять удержали...

— Нет, нет, постой... Теперь нам по дороге... Нет, ты нам выплати, что требуется...

— Так, так, бабы! Веди до конца! Не отпущай! — опять поощрял базар.

И вот через несколько минут мы двинулись. Павла и Секлетея, стоя по бокам парня, крепко держали его за руки, а другой рукой Секлетея вела под уздцы сивку. Я восседал на телеге и торжественно ехал за ними, перебирая вожжами.

Базар проводил нас поощрительным гамом и смехом. Скоро мы подъехали к полицейскому управлению. Я остался с лошадью, а Павла и Секлетея ввели парня в канцелярию. Немного спустя вышла Секлетея, и мы с нею вдвоем отправились домой, оставив Павлу вести «судное дело».

Был уже довольно поздний вечер, когда я подходил к Суровке. Я, впрочем, нарочно рассчитал прийти к тому времени, когда мои «келейницы», управившись с дневной работой, должны были отдыхать дома. Суровка — большое некогда барское сельцо — растянулась на целую версту вдоль бойкой «столбовой» дороги, на берегу довольно большой реки, среди заливных лугов с одной стороны и большого леса — с другой. Несмотря, впрочем, на такое приволье, Суровка была замечательно бедна. Большинство изб в ней или окончательно развалились, или пустуют с провалившимися крышами, разбитыми окнами и голоторчащими вблизи столбами, остовами деревенских служб, или же так малы, дряхлы и неприглядны, что тяжело было смотреть на эту «голь вопиющую»; в особенности поразителен был контраст между ними и несколькими новыми деревянными и каменными домами, крытыми железом, с резьбой в русском стиле, с вычурными флюгерами на дымовых и водосточных трубах. А между тем и эти малые, хилые, неприглядные избы, крытые соломой, и эти если не дубовые, то все же довольно плотные терема, как-то нахально мозолившие глаза своей узорчатой пестротой, охраняли под своим кровом ту же крестьянскую «душу», принадлежали тем же суровецким крестьянам, прадеды которых некогда «собща осели» на этом привольном месте, а дети их и сами они принадлежат одному «обчеству», хранят, по крайней мере формально, традиции пресловутой сельской общины, оставленные им теми же «собща осевшими» здесь прадедами-колонизаторами, расчищавшими первобытную почву и строившими одинаково однообразную избу «для всех вопче»...

Красный шар заходящего солнца, словно разрезанный на две половины узкой облачной полосой у горизонта, медленно катился к лесу. Деревенская улица была еще шумна. Кое-где запоздавшие бабы загоняли потерявшихся овец и коров. Больше всего были оживлены крестьянские ребятишки, рыскавшие по улице верхами на лошадях, сбивая их в «ночное». Кучки малых девчат стояли на дороге и завистливо смотрели на гарцевавших братишек, в тайном томлении от ожидания, когда они отзовутся на их просьбы и, посадив

впереди себя на шею смирного бурки, лихо прокатят их по улице. К первой попавшейся мне такой кучке обратился я с расспросами о «келейницах».

— А где бы мне у вас тут тетку Павлу да Секлетею найти?

— Это бабушки будут — Павла да Секлетея-то — вот кто!..— поправили меня девчонки.

— Да, да, это верно, что теперь они — бабушки...— поправился я.— Так вот их-то мне и нужно...

— Коли тебе нужно, так мы тебя проводим. Они вон у нас там, на тыку, живут.

— Ну, проводите. Я вам за это целый пятак дам на пряники,— поощрил я.

— Подем, подем! Мы все тебя за пятак-то проводим! — зашумела куча и побежала, обступив меня со всех сторон. Некоторые даже пустились несколько вперед, вприпрыжку. Самая малая из них, с растрепанной головой и большим вздутым животом, с тонкими грязными ногами, старалась забежать вперед меня и посмотреть мне в лицо; ей, видимо, хотелось что-то сообщить мне.

— А они от нас уйтить хочут, баушки-то! — наконец удалось ей выкрикнуть, рискуя попасть мне под ноги.

— Отчего так?

— Гонют их.

— Кто?

— На миру!.. Богатеи гонют.

— Пашка!.. Перестань!.. Замолчи!..— закричали на малую солидные старшие.— Экая долгогривая!.. Космы-то долгие, а ума нет!

— За что же это? — спрашивал я.

— А они, богатеи-то, говорят: больно ишь старухи-то супротивны.

Но девчурке не дали продолжать, и одна, постарше всех, схватила ее из-за моей спины за рукав и оттащила назад...

— Поговори еще!.. Не видишь рази — чужак он! Кто его знает! Может, подослан! Тятько-то вздерет тогда!..— наставительно и строго шептали сзади меня.

Я обратился с расспросами к старшим, но они как-

то испуганно все спрятались за меня. Вдруг разговаривавшая со мною малая девчурка вырвалась от сдерживавшей ее толпы сверстниц, отбежала на середину улицы и храбро прокричала оттуда мне: «Баушка-то Павла недавно в темной сидела! Она самому старшине...»

Но тут вся куча, шумевшая вокруг меня, как стая воробьев, бросилась за девчуркой. Девчурка, выпятив еще больше свой живот, со всех ног побежала от них, заливаясь на всю улицу пискливым смехом.

Посередине Суровка пересекалась широким переулком, делившим ее с давних времен на две значительно различные половины: на одной жили преимущественно бывшие помещичьи крестьяне, на другой — государственные, или, как говорят мужики, казенные. С одной стороны этого переулка находился небольшой, грязноватый и полузаросший прудок; около него лежала на козелках водопойная колода, а близ нее было брошено большое старое бревно. Это старое бревно, вероятно, искони было седалищем деревенских старцев, около которых собирался мир и часто толковал о своем житье-бытье. Около него и теперь собралась толпа. Проходя мимо, я рассмотрел человек пять стариков, сидевших на бревне; в кружок около разместились мужики помоложе: кто, сидя на корточках, ковырял задумчиво щепкой землю, кто просто сидел на траве, поджав ноги, кто стоял, переваливаясь с ноги на ногу или медленно переходя с одной стороны сборища на другую. Все они слушали кого-то, изредка вставляя односложные замечания.

— Вот она, баушка-то Павла, со стариками говорит! — показали мне девчонки на высокую, сгорбленную и сухую женщину, с черным платком на голове, в синем крашенинном сарафане и лаптях, стоявшую среди толпы пред стариками.

— А вона и келья ейная тут! Вона, на пригорке-то!.. Ступай, теперь сам найдешь!

Подойдя к угольной избе и никем не замеченный, я стал вслушиваться в мирской говор. Сначала я никак не мог понять, о чем шла речь, и только внимательно следил за Павлой, на которой было сосредоточено общее внимание.

Как изменилась она! Как тяжело осели на ней тридцать лет безустанной рабочей жизни! Я едва мог признать в ней ту высокую, здоровую, мускулистую девку, которую знал я в детстве. В ее наружности теперь было еще меньше женственности, чем прежде. Она, казалось, ничем не отличалась от стариков, сидевших на бревне, кроме костюма. Рубашка висела мешком на ее загорелой, сухой, впалой груди, из впадины которой резко виднелся большой осьмиконечный медный крест, висевший на суровом шнурке; сумрачно-сердитые глаза смотрели из-под седых бровей; сухой, длинный нос выдавался вперед между глубокими складками щек, а на костлявом подбородке выросло несколько седых волос. Несмотря на это, несмотря на ее согбенную горбом спину, несмотря на то, что в ее цепких, длинных руках был посох, в ней не чувствовалось ни упадка сил, ни старческой дряблости. Напротив, ее грубоватый, почти мужской голос раздавался замечательно резко и сильно. Я заметил даже, что теперь этот голос производил особенное впечатление на мирян: они все при словах Павлы чувствовали себя как-то не по себе, чем-то сильно смущались и старались не глядеть ей в глаза. Я, должно быть, пришел уже к концу мирской беседы, потому что скоро все замолчали, даже Павла, как замолкают люди, когда уже исчерпали весь материал по данному вопросу, но решение еще не успело сложиться, а каждый в уме подводил итоги.

— А засим честному миру кланяемся... От нас ему последнее слово сказано!.. Прощенья просим! — проговорила Павла и с суровым взглядом поклонилась в обе стороны в два приема.

Мужики смущенно молчали.

— А ты обожди, обожди малость! Ах, бабы! — прошамкал самый дряхлый из всех стариков, с огромною седою головой, сидевший на бревне в середине всех.— А ты не суровься... зачем суровиться?.. Мало что мы в Суровке родились!..

Павла остановилась, облокотившись на посох, и ждала. Старик крякнул.

— Так, значится, новых наложеньев вы с Аксентьей не примаете? — стал он допрашивать.

— Не примаем. Потому — это наложенье от богатеев, а не свыше... Пущай богатеи и платят...

— Ах, бабы! А-ах, бабы! — сокрушался старик.— Так, значится, старшинского приказу сполнять не хотите?

— Нету, не желаем... Хочет с нами честной мир жить, как исстари жили, и мы согласны...

— Ах, бабы!.. Да разве мы что сказали бы, кабы у нас земли было вдосталь... Ну-тка, сообрази!..

— Как земли нету? Есть земля, есть! У богатеев есть! Пущай богатеи за тую землю платят! А наша земля сиротская... А греха разве вы на себя не возьмете, коли с сиротской земли будете наложенья брать?

— Ты молчи, молчи об этом. Верно это, а-ах, верно! — заговорили разом старики.— Да не об этом речь, а об том, что вас велено на бабье положенье свести, а тую вашу землю плательщикам отдать.

— А мы на бабье положенье не желаем... И это наше вам слово сказано... Потому вам, честному миру, ведомо, что мы отродясь мужиками в миру изжили и вам честно служили...

— Молчи, молчи об этом! Ах, это мы все знаем!.. Да кабы у нас власть была на это самое дело!.. А вы смиритесь!

— Нету, мир честной, от нас умиренья не будет.

— Ах, бабы! Ах, бабы! — не переставал сокрушаться большеголовый старик, поглаживая бороду.— Так, значит, от вас умиренья не будет? — опять стал он допрашивать, как будто надеялся этим путем сбить настойчивую Павлу, выведя ее из терпения.

— Нету, не будет. Не слуги мы миру, коли он от своих устоев отрешается... Не слуги, коли мир стал сирот обирать...

— И новых наложеньев не примаете?

— Нету, не примаем...

— И на бабье положенье не желаете?

— Не желаем.

— Так, значит, порешить меж нами хотите?

— Ваша мирская воля! — поклонилась Павла.— А вконец себя покорять не желаем...

Павла поклонилась еще раз, мотнула подогом и торопливо пошла к своей келье.

— Ах, бабы!.. Да ты обожди! Постой, может, сговоримся! — кричали ей вслед старики.

Но Павла, не оборачиваясь, махнула рукой и ушла.

— Что ты тут сделаешь? А? Ах, грех какой!.. Сколько годов прожили, а на-ткось, чем кончили! А? Каких баб от себя оттолкнули! — сокрушались мужики.

— Упрямства в них много. Ровно коровы бодливы.

— Это так, так.

— А по нонешнему времени, смирись — то и жизнь. Смирненько бы, смирненько надоть — то и поживешь,— резонировал какой-то старичок.— Не прежняя ноне пора, ноне уж миру против богатея не выстоять... Нету! Ну, и умирись!

Я послушал сокрушения мужиков и направился к «келейницам». Келья их стояла несколько в стороне от прочих изб, вдаваясь в глубь гуменников. Это была небольшая, с одним окном на улицу, но длинная во двор, разделенная сенцами на две половины изба, построенная еще их отцом. Оставшись после него сиротами, они тридцать лет прожили в этой избе, так хорошо знакомой всему окружному крестьянскому миру. Так как вместе с ними остался после смерти отца молодой брат, отданный в ученье на завод, то за ними был оставлен надел, и этот надел обрабатывали Павла и Секлетея, как они выражались, «на всем мужицком положении». Они так свыклись с этим положением, что и не замечали, что оно было совершенно особенное и исключительное; привыкли к этому и мужики-миряне, и само начальство, так как Павла и Секлетея заодно с прочими мирянами отбывали все натуральные повинности, участвовали на сходах, даже бывали сотскими. Это «положение» так, наконец, укрепилось за ними, что по смерти брата-фабричного, умершего в молодых годах на заводе, никому и на мысль не пришло отобрать у «келейниц» землю и «ссадить их на бабье положенье», тем более что с годами Павла и Секлетея, грамотные начетчицы, стали пользоваться все большим и большим уважением. Их сила, терпение, уменье вести хозяйство, а больше всего то, что они, ведя почти аскетическую жизнь, привечали у себя много деревенских сирот, давали им большой вес среди

прочих крестьян, а сами они вследствие своего особенного положения были храбры со всяким начальством, и их иногда трусили не на шутку сами старшины. В особенности умели они всегда выхлопатывать разные льготы для сирот у мира. У них же самих с мирским начальством происходили частые стычки из-за разных «новых наложений», которых по каким-то причинам никак не хотели признавать Павла и Секлетея. Разбор этих столкновений старшины всегда передавали на мирское обсуждение, и мир обыкновенно освобождал их от этих «наложений», принимая уплату их на себя. Но в последнее время, когда этих «наложений» стало все больше, а население росло, земли же недоставало, и, кроме того, среди суровецкого общества появились богатеи, разжившиеся кулачеством, собственники, скупившие у помещиков окрестные земли и обрабатывавшие их батраками из своих же сообщинников, между миром и «келейницами» эти столкновения сделались чаще. Богатеи не хотели брать на себя круговую поруку уплаты за них «новых наложений»; кроме того, они жаловались, что за «келейницами» земля даром пропадает, а на миру недоимки растут. Между «келейницами» и богатеями началась борьба. Начальство стояло за богатеев, а мир малодушествовал...

Мы уже видели, к чему пришло дело. В Павле и Секлетее, кажется, уже созрело окончательное решение, и они не желали поступаться чем-либо и не шли «на умиренья».

Я вошел в темные сенцы и отворил дверь налево. Войдя в эту древнюю, с почерневшими стенами комнату, с русской печкой, по обыкновению, в левом углу, но довольно просторную, я тотчас почувствовал ту особенную приятность, которая возбуждает в нас домовитость. Всюду виделась замечательная чистота, выскобленные и вымытые мылом лавки и столы; в переднем углу была большая божница с деревянным голубем, висевшим с потолка, с толстыми, в кожаных переплетах книгами, с черными иконами, на которых чуть видно светились лики святых от лившегося на них слабого сияния зажженной восковой свечи, которую держала в руках Секлетея, стоя пред божницей «на по-

клонах». Павла, что-то тихо бормоча, копалась за печкой.

Старухи встретили меня ласково, даже у Павлы голос стал чуть-чуть нежнее. Секлетея была много женственнее Павлы: она и ростом была ниже, и черты лица у нее мягче, и голос певучее, хотя спина у нее так же была сгорблена, как и у Павлы. Начались, конечно, расспросы. Расспрашивала меня больше Секлетея, усевшись передо мной со свечкой в руках и смотря мне в лицо своими несколько ослепшими, мутными глазами. Павла собиралась меня угощать.

— Ну, ну,— приговаривала Секлетея к каждому моему рассказу о моем житье, о судьбе моих родных и часто крестилась.

Скоро Павла поставила на стол ватрушку и стакан молока.

— Покушай-ка, Миколаич, покушай нашего угощеньица, не побрезгуй,— пригласила она и села по другую сторону стола.

Я стал в свою очередь расспрашивать их, и они передали мне все, что рассказал я раньше. Говорила больше Павла, как-то тягуче и нараспев, перемешивая свою речь церковнославянскими оборотами. Рассказывала она долго. Секлетея только изредка вставляла слово, а больше вздыхала и не переставала смотреть на меня.

— Как же вы решили? — спросил я.

— А такое наше решенье: все сдать на мир и отрешиться... Будет уж, Миколаич, пожили для миру...

— И уйти?

— И уйти.

— Куда же?

— Нигде путь не заказан тому, кто отрешился,— сказала Павла.

— И это не тяжело вам, тридцать лет проживши здесь?

— Возьми крест свой, сказано... Чем тяжелее, тем и богоугоднее. В том-то, милушка, и сила, что умей от куска, от жилища, от живота отрешиться, и будет вера твоя велика. А без этого — все тлен и слабость... Посмотри теперь на наш мир: где в нем сила, где кре-

пость? Нету той силы... А отчего? Оттого, что разучился человек отрешаться. Умирать человек не умеет. А ежели я умереть умею, ежели отрешиться осилю себя, то кого убоюся? Кто против сердца заставит меня что сотворить? Нету той силы, вот что я тебе скажу... Так-то! А в ком теперь это есть? Ни в ком нету: все ради грешные и слабые плоти живет...

Долго говорила на эту тему Павла, говорила глубоко убежденным словом. Секлетея крестилась при всяком тексте, который Павла вставляла в свою речь. Вдруг в середине ее речи раздался сзади меня вздох и чей-то шепот. У дверей на скамье сидели старик и старуха и еще две какие-то бабы и благочестиво слушали проповедь Павлы. В таком же роде, вероятно, шли беседы между Павлой и расколоучителями, которые, как мне сказывали, нередко заходили к «келейницам», хотя Павла и Секлетея держались только старообрядчества и ни к какой секте не принадлежали. Среди этих слушателей, в полутьме, я заметил еще женскую фигуру, сидевшую в углу с скрещенными на груди руками. При слабом свете восковой свечи я не мог рассмотреть издали ее лица и полагал, что это Морозиха.

— Ну, что, любушка, как она там? — спросила Павла, обращаясь к этой женщине.

Та поднялась.

— Теперь ничего... Нужно будет зайти завтра к Ивану Терентьевичу, к лекарю... Здравствуйте! — протянула мне руку Катя и прибавила, понизив голос: — Если бы я не слыхала вашего разговора здесь, я бы подумала, что вы за мной следите.

— Али знакомы? — спросила Павла.— Ну, вот и дело... Так зайди, любушка, к нему... Пущай завернет. Он — человек душевный, Иван-то Терентьич! Она ведь тоже мать; ребятишки... Нельзя не помочь! А об нашем деле скажи ему, касатка, чтобы оставил хлопотать... Мы уж решенье уставили...

— Хорошо! Прощайте пока,— сказала Катя, повязываясь платком.

— Не по дороге ли мне с вами?..— спросил я ее.

— Пожалуй, проводите...

— Ну, до свидания, бабушки! Еще увидимся?

— Увидимся еще, касатик! Еще ведь не скоро уйдем. Желание будет со старухами поговорить, приходи. Теперь мы у безделья, потому как с землей уж все покончили. Сдали уж ее...

— Что же еще осталось вам?

— Мало ли делов! Вот тоже сиротки у нас есть. Мать-то у них заболела, пристроить нужно... Вот старичка слепенького тоже не бросишь середь улицы, давно уж он у нас, годов, поди, пять живет, да вот еще девушки, тоже сироты, есть. Много дела, много горя... Немалый тоже муравейник потревожился! Ох, немалый! Все же нужно к месту прибрать... Матрена-то Петровна обещалась, слышь ты, в Семенки сходить посправиться? — обратилась она к Кате.

— Да.

— Так ты уж, касатка, завтра пришли ее сюда.

Старушки с поклонами проводили нас до ворот.

Наступила уже ночь. На небе загорелись звезды. Воздух становился влажен. С реки подымался холодный пар. На лугу за деревней было тихо, и только слышались изредка те особенные звуки, которые присущи русской ночи: кое-где крякает утка, полуночник прошумит крыльями; откуда-то доносится мерный шум падающей воды; слышится тяжелое отфыркивание и звон цепей стреноженной лошади. Вдали, по дороге, скрипит обоз. Где-то скрипнула запоздалая калитка. Мы шли скоро, перебрасываясь незначительными фразами. Не доходя до перекрестка, от которого шла влево дорога к полубарскому выселку, а вправо — в деревню, где жил я, Катя неожиданно спросила меня:

— А что вы думаете относительно философии этих простых русских баб?

— Это о том, что нужно уметь умирать и отрешаться?

— Да.

— Я думаю, что эта философия специально выработана ими для себя, так как носителями ее бывают только они.

— Вы думаете?

Я не отвечал. Мы подошли к перекрестку; Катя пожала мне молча руку, и мы расстались.

Вскоре после этого, как-то ранним утром, я направился из своей деревни к полубарскому выселку, спеша застать у Кузьминишны парное молоко. Я, обыкновенно, входил не с улицы выселка и не через переднюю калитку, чтобы никого не тревожить, но прямо пробирался задами, через огород и сад, к заветной ели и здесь ожидал в прохладной утренней тени Кузьминишну.

Я шел не спеша. Утро было особенно хорошо. Солнце еще стояло низко, и его косые лучи, казалось, скользили по верхушкам деревьев и кустов. Воздух был свеж и редок; едва ощутительное дуновение ветра приносило откуда-то запах липового цвета. Вблизи чирикали малиновки, перелетая по кустам впереди меня. На зелени лежала сильная роса. Стаи воробьев выпаривали внезапно из густой зелени овощей и, усевшись на дереве, начинали отряхать смоченные росою крылья. Было очень тихо. Я скрылся в кусты малины, соблазненный сочными ягодами. Несколько минут спустя, из-за ветвей малинника, я приметил женскую фигуру, спустившуюся с крыльца и легкой, торопливою походкой направившуюся под ель. На ней было легкое кисейное платье и маленькая соломенная шляпка с опущенною вуалью; на плечи накинут был пестрый платок, в который маленькая фигурка лихорадочно старалась закутать плечи и руки; видимо, ее тревожила утренняя сырость. Я в недоумении следил за нею. Она повернула в беседку под елью и вдруг заговорила с кем-то. Я тихо обошел кусты и, дойдя до плетня, где валялся обрубок дерева, присел на него. Здесь не было такой гущины, и сквозь редкие ветви я мог рассмотреть собеседников.

В пришедшей фигуре я узнал Лизавету Николаевну; она села на край скамейки и старалась закинуть за голову спутавшийся вуаль. Пред нею сидела Катя, широко открыв глаза, в боязливо-вопросительном недоумении.

— Я к вам,— заговорила порывисто Лизавета Николаевна, задыхаясь от нервной одышки,— извините, что рано... Но так лучше: теперь никого нет.

Она оглянулась кругом.

— Я давно собиралась к вам, но мне хотелось рань-

ше все, все обдумать, приготовить. Я хочу вам сказать: если вы, Катерина Егоровна... если я вам мешаю... если, может быть, совершенно невинно стою на пути к тому...

— Вы... мне? — еще более недоумевая, спрашивала Катя.

Но Лизавета Николаевна, кажется, не слыхала этих слов: она низко опустила глаза и, взяв руку Кати, проговорила торопливо:

— Я все обдумала, все решила. Да, я была виновата... Но вы поймите... вы простите мне: я была молода, я верила... Теперь я вижу... нет, не теперь, я давно уже должна была знать... Господи! Знала это, и у меня не было сил!.. Я так любила его, я так была молода... А теперь я все решила: довольно! Не я нужна была ему в спутницы... Сколько лет он потерял со мной! Катерина Егоровна, скажите мне только одно слово, только одно — и я уйду! Я уже все решила: имение отдам крестному отцу в заведование. А сама... сама... уеду опять в Питер, куда-нибудь там... Там стану сиделкой, мамкой, воспитательницей... Это по мне, это мне по силам... Вы видите, мне не будет тяжело: я выбираю себе дело по любви... А вы, вы и Петя, будете свободны... Вы займете при нем место друга, которое не по праву заняла я... Вы рука об руку с ним пойдете, не стесняя и не обременяя один другого.

Пока говорила Лизавета Николаевна, Катя напряженно смотрела ей в лицо, и ее щеки постепенно покрывались краской, пока не зарделись сплошь.

— Я вас, право, очень плохо понимаю,— почти прошептала она, боязливо смотря в лицо Морозовой (и действительно, все лицо ее выражало какой-то испуг).

Лизавета Николаевна при этих словах с горькой улыбкой подняла на нее глаза.

— Катерина Егоровна! Я думала поговорить с вами как с другом,— сказала она.— Я думала, что между нами не нужно никаких официальных объяснений. Я надеялась, что вы чистосердечно откликнетесь на мой порыв. Мы знаем друг друга давно... я вас всегда считала искренней, честной!

— Я и теперь та же,— сказала Катя,— но я только не понимаю, зачем вы принимаете *такое именно*

решение, когда можно бы все проще и лучше... Зачем уезжать и расходиться... когда могло бы быть общее дело.

— Да? Так вы...— хотела что-то сказать Лизавета Николаевна и не договорила, смотря все еще в лицо Кати, на котором светилась такая ясная искренность, что глаза Лизаветы Николаевны заискрились надеждой.

— О, если б это было так,— прибавила она, крепко сжимая руку Кати,— тогда... тогда я опять надеюсь, что еще сумею сделать все для него. Пока до свидания! — поднялась Лизавета Николаевна, быстро спуская на лицо вуаль.— Я не хочу, чтоб меня видел кто-нибудь! Лучше, если не будут знать.

Она пожала Кате руку и пытливо еще раз взглянула в ее смущенное лицо. Секунду обе женщины стояли молча одна пред другой.

— Если же... если вы еще сами не знаете,— заговорила едва слышно Лизавета Николаевна,— если вы сами ошибаетесь... если, может быть, вы сами убедитесь, что любите его, что он вас любит (он мне ничего, ничего не говорил,— торопливо вставила она,— это я сама)... если так, то вспомните, что я вам говорила сегодня, что я все решила... Не могу ли я пройти здесь через сад? — спросила Лизавета Николаевна, заметив дорогу прямо в поле.— Вы, кажется, ходили к нам здесь где-то... ближе?

— Да, можно... Вот прямо,— указала Катя, проходя с нею несколько шагов по дороге между грядами.

Лизавета Николаевна ушла; Катя медленно вернулась. Необычайное смущение лежало на ее лице: она шла тихо, наклонив голову, с пылающими щеками, приложив одну руку к груди.

О чем она думала? Чем больше я всматривался в выражение ее лица, тем для меня становился определеннее ответ. Выражение это было именно то, когда в душу человека вдруг забрасывают мысль, которая никогда ясно не сознавалась им прежде, никогда не стояла на первом плане... «Неужели это так?.. Неужели я в самом деле влюблена в него?» — казалось, говорили ее задумчивые глаза. Она чуть-чуть приостановилась и затем, вдруг покачав отрицательно головой, быстро

пошла к дому, как будто решившись что-то скорее, скорее кончить... По дороге она сломила ветку сирени, махнула ею несколько раз себе в лицо и вошла на крылечко. Здесь она быстро обернулась, как будто ей почуялось, что кто-то шел за нею, посмотрела по направлению дороги, по которой ушла Лизавета Николаевна, и скрылась.

На третий день после этой сцены, в то время как я только что подходил сзади к полубарскому выселку, мне навстречу подвигались две женские фигуры, шедшие той мелкой, семенящей походкой, которой обыкновенно ходят богомолки; у обеих были в руках кривые палки, за плечами по небольшому узлу, в который были связаны пальто на случай непогоды. Обе были одеты почти одинаково: в простые ситцевые платья, с такими же платками на голове, низкой крышей спущенными над лицами от солнечных лучей; обе о чем-то весело говорили. Они шли по межпольной дороге, по одной стороне которой лежала свежеподнятая пашня, а по другой — овраг. Из оврага прямо им навстречу подымался мужик, с косой на плече и точилом за поясом; голова у него была повязана красным платком вместо шапки; за ним шли, с граблями на плечах, две девки, в реденьких, полинялых ситцевых сарафанах, висевших на них как тряпки.

— Матрене Петровне!..— откланялся мужик, снимая с головы шлык и развязывая его.— Как здоровеньки?..

— Ничего!.. Что нам делается? — отвечала одна из женщин. Я узнал в ней сестру Морозова.

— Куда?

— В Семенки правим.

— Ну, ну! По болестям?

— Да.

— Так, так... Жарко будет идти-то! Да чего вы пешие?

— А что ж нам? Мы здоровые. А лошади теперь в деле.

— Верно. Ну, дай бог счастливо! Скоро ли вернетесь?

— Скоро.

— Ну, то-то! Ты от нас, смотри, совсем не уйди! В Семенках-то ведь хорошо жить, не то, что у нас... Мотри, как раз соблазнишься. Мою бабу с ребятишками не забудь. Плохо они поправляются, а мне некогли теперь присмотреть. Вот и девочкам тоже не впору.

— Нет, не забуду,— весело ответила Морозиха.

— Ну, так счастливо! Дай бог путь! — сказал мужик и протянул ей свою руку.

— Вы вот здесь идите,— посоветовали им вслед девки, показывая в овраг.— Здесь прохладнее... А то изморитесь.

— Мы и то хотели...

Мужик и девки зашагали дальше. Спутницы хотели было спуститься в овраг.

— Катерина Егоровна! — окликнул я.

— Ах, это вы! — сказала Катя, приостанавливаясь.— До свидания.

— Вы куда это? Далеко?

— Да. Верст за пятьдесят.

— За пятьдесят верст? — переспросил я.

— Да. Что вы так смотрите?

— Пешком?

— Как видите.

— И надолго?

— Да... Вероятно... На неделю, на полторы...

— Что же это вас побудило?

— Да я вот с нею...

— С Матреной Петровной? — сказал я, улыбаясь Морозовой. Матрена Петровна Морозова, или, по-народному, Морозиха — маленькая, но здоровая, хотя и с несколько бледным лицом девушка, уже в летах, как говорят,— то есть ей лет под тридцать, с чрезвычайно добрым лицом, по которому постоянно бегала чуть заметная, добродушная улыбка, с большими черными умными глазами, смотревшими замечательно смирно и кротко,— стыдливо опустила широкие ресницы и зарделась.

— Так это вы вместе?

— Да,— коротко отвечала Катя.— Прощайте!

Катя подала мне руку серьезно, порывисто, почти с сердцем, а Морозова протянула несмело и все с тою

же чуть заметною улыбкой на лице. Рука Кати была слегка влажна и горяча, но нежна; напротив, рука Морозовой была совсем потная, кожа на ней рябая, складками.

Обе женщины спустились в овраг и прежней мелкой походкой пошли вдоль его.

Матрена Петровна Морозова была сестра Петра Петровича, годами пятью моложе его. Пока он скитался по научным капищам. Матрена Петровна жила вместе с отцом и матерью на фабрике, где отец ее был самым мелким конторщиком. Жили они несколько лучше на вид, чем обыкновенные рабочие: так, у них была квартирка в четыре комнатки, обитая обоями, с цветами в окнах, а отец ходил в сюртуке вместо поддевки; но он получал так мало жалованья и, кроме того, любил так часто выпивать, что они вечно сидели без денег, и Матрена Петровна должна была работать. Когда помер отец, жить стали еще хуже; мать была стара и работать на фабрике не могла. Матрена Петровна должна была сделаться простой работницей. Впрочем, это продолжалось не более года. Мать тоже умерла, а к этому времени кончил курс в университете и Морозов. Он, задумавши тогда заняться адвокатурой, сейчас же взял было сестру к себе, но она пробыла у него недолго, так как он сам подумывал уже через полгода бросить адвокатуру и уйти опять учиться. Матрене Петровне снова пришлось идти в работницы. Да ей и не казалось это особенно тяжелым, а с братом ей было скучно. Он обещался ей высылать понемногу, хотя и у самого ничего не было. Так отрывал он ее несколько раз от рабочей жизни, но всякий раз она опять уходила на родину, так как Морозов очень часто менял место и профессию и сам сидел без денег. Это раздражало несколько Морозова: он хотел всячески вытащить сестру из условий невежественной среды и тяжелой работы, но не было средств, а без средств, он видел, что ничего ей лучшего доставить не мог, как опять сделать какой-нибудь швеей и заставить корпеть вместе с ним на студенческих квартирах. Между тем у Матрены Петровны была уже крепкая связь с фабрикой: здесь были у нее подруги, знакомые,— и она не тосковала.

Но вот наконец Петр Петрович, уже женатый, поселился в имении жены (посад с фабрикой, где он родился, был верстах в тридцати от имения; так как много народа из окрестных деревень и даже из имения его жены ходило на заработки на эту фабрику, то почти все крестьяне знали Петра Петровича и Матрену Петровну); он взял к себе тогда и сестру. Однако она опять прожила у них недолго. Ее слишком тяготила барская обстановка; притом же она никак не могла сойтись с нервной Лизаветой Николаевной, никак не могла помириться с тем бездельем и досугом, какой предоставился ей теперь. Она было просила «братца крестного», как звала она Петра Петровича, пустить ее опять на фабрику, но он и слышать не хотел. Он мечтал сам у себя открыть такое же заведение, думал приискать «хорошего, здорового, честного и развитого работника», который бы руководил им вместе с Матреной Петровной, сделавшись ее мужем. Но не так вышло дело. Матрена Петровна сначала поскучала, а затем скоро стала уходить к крестьянам, где она чувствовала себя как дома; ее деятельная натура тотчас же нашла себе приложение: она то помогала бабам и девкам ткать, то оставалась в рабочую пору с ребятишками и учила их по букварю, то ходила за больными крестьянками, а иногда напрашивалась на исполнение разных крестьянских поручений. Так вдруг она выдумала, что ей есть случай в город ехать, и собирала от баб разные поручения, пятаки на покупку платков, восковых свеч, вообще всего, чего нельзя было приобрести в деревне. Крестьянки были рады, и ей нравилось, когда, вернувшись из уездного городка (верст сорок до него было), она отдавала отчет в данных ей поручениях, и вся деревня встречала ее с вестями и обновами.

Морозову не особенно нравилось, что сестра его обращается в «христову невесту»; он боялся, что под давлением невежества она легко ударится в религиозный пиетизм, в ханжество. Несколько раз он ей, хотя и добродушно, выговаривал это, а она стала бояться его, чтоб он не сделал ее барыней, не заставил сидеть и зевать в барском доме вместе с «барыней-сестрицей», как прозвала она свою невестку; она стала избегать

встречи с ними и на несколько времени уходила в дальние деревни, где скоро опять все крестьяне делались ее хорошими знакомыми. Ходила она и в раскольничьи скиты, и на богомолье — с поручением помолиться за «грешных рабов». Ее кроткий нрав и привычка к работе, ее «золотые руки», как говорили крестьянские бабы, ее, наконец, заведомое целомудрие доставили ей общую любовь и уважение. Относительно ее целомудрия, впрочем, многие были в недоразумении, так как она не прикрывалась никаким лицемерным ригоризмом, гуляла с девками и вела себя весело и свободно. Только иногда влюбленные подруги ее замечали некоторую грусть в ней, когда приходилось им вести с нею интимные разговоры про своих возлюбленных. Очевидно, для нее уже был пройден период страсти, был пережит ею, и она свято хранила память о нем. Теперь чем старше делалась она, тем становилась религиознее.

Глава седьмая

СРЕДИ ДОБРЫХ ЗНАКОМЫХ

Однажды, подходя к крыльцу морозовского дома, я заметил в глубине двора два экипажа: один — легкий тарантас, запыленный, старомодный; другой, напротив, представлял собою нечто «новое», не похожее ни на один русский экипаж; это был тот легкий, но прочный и удобный фаэтончик, заложенный в шоры, на котором так и виднеется «вся английская складка». У Морозовых, значит, были гости. В передней я увидел двух мужичков с медалями на шеях, дремавших, сидя на рундуке, и вздрагивавших при малейшем шорохе в соседних комнатах. По этим неизбежным спутникам всякого начальства, налетающего на деревню, можно было с уверенностью предположить, что бросившаяся мне на глаза в соседней комнате фуражка, в виде ковша, украшенная золотым позументом по околышку, принадлежит начальству. У Морозовых гостил исправник, дальний родственник Лизаветы Николаевны, всегда останавливавшийся у нее во время своих поездок в нашу палестину.

Войдя в гостиную, я, однако, застал только Лизавету Николаевну. Она сидела около стола и что-то писала с напряженно-наморщенным лбом, как это делают те, которым приходится писать не особенно часто; пальцы у нее были испачканы в чернилах, несколько листов почтовой бумаги валялось на столе с начатыми строками и затем оставленными. Вообще было заметно, что писание для Лизаветы Николаевны составляло в некотором роде дело не совсем заурядное: все у нее не удавалось, все раздражало ее нервы — и перья оказывались плохи, и бумага рвалась, и чернила густы... В этот неудачный момент вошел и я. Она, кажется, обрадовалась случаю отказаться от писем, сейчас же отодвинула от себя бумаги и пошла мне навстречу...

— Наконец-то, наконец-то! — заговорила она.— И вам не совестно? Вместе, рядом живут люди одних симпатий и не хотят знать один другого! Непостижимо, что такое делается с нашим поколением! Вот мы обвиняем других в розни, в недоверии, а между тем не можем сойтись между собой. Посмотрите, я принуждена писать письма к друзьям и знакомым, чтобы они хоть откликнулись на мой призыв и приехали к нам.

— Вам скучно?

— Нет, это не скука,— сказала, вздохнув, Лизавета Николаевна, причем лицо ее сделалось грустным.— Тут не скука, тут поважнее. Я, право, не могу объяснить вам, что с нами делается. Я знаю только одно, что вы грешите против других.

— Я?

— Да, все вы, которые считаетесь друзьями Петра Петровича. Неужели вы не замечаете, что делается с ним? С каждым днем он становится меланхоличнее, в нем падает энергия, вера... А вы! Вы оставляете нас одних... совершенно одних... все!

Лизавета Николаевна чуть не плакала, говоря это; голос ее дрожал, и на глазах блестели слезы.

Мне было ее искренно жаль.

— Лизавета Николаевна, мы не столько виноваты, как вы думаете. Здесь, мне кажется, причина лежит глубже; здесь имеют влияние какие-нибудь общие законы...

— Может быть. Но что из этого! Не должны ли мы бороться с ними, не должны ли мы принимать против этих нравственных поветрий такие же меры, как принимаем против других эпидемий? Да нет, это неверно! Ведь есть же люди, которые делают дело, которые нашли его и полюбили, отдали ему всю душу и энергию! Если б все эти люди имели общение между собою, они, конечно, поддерживали бы энергию и веру друг в друга. Впрочем, я не обвиняю Петю. Постоянные мелкие неудачи, постоянная борьба с невежеством, с непониманием, с подозрением... Да, я понимаю, что это может на некоторое время лишить энергии... Но при содействии друзей, при нравственной поддержке это как рукой сняло бы!.. Я теперь очень рада, что у нас, кажется, соберется кружок друзей Петра Петровича (некоторых я пригласила тихонько от него; пожалуйста, не говорите ему об этом). Вот теперь приехал к нам кузен — исправник (я этого не считаю, конечно!). Приехал еще друг Пети, Колосьин. Вы знаете?

— Слыхал. («Так вот чья англизированная-то тележка?» — подумал я.)

— Я рада за Петю,— продолжала Лизавета Николаевна, откидываясь к спинке дивана,— в этом Колосьине есть какая-то оживляющая сила. Я не знаю, как это вам хорошенько выразить, но в присутствии его всегда как-то становишься бодрее, не чувствуешь апатии, приниженности. Все мелочные неудачи делаются как-то совсем ничтожными, когда видишь перед собой этот ровный, спокойный характер... Так и чувствуется, что для него никаких мелочей не существует... Вы ведь знаете: он — техник? Был пять лет в Англии, вернулся, открыл собственную фабрику (небольшую), женился (жена его вылитая он: какая-то обруселая англичанка, тоже ровная, спокойная). Рабочие не нахвалятся им, да и он весел, доволен, так весь и светится. Если бы я могла хотя на минуту увидеть у Пети такое лицо!

— Он теперь где же?

— Кажется, смотрит ферму. Они сейчас придут... Где вы пропадали все это время?

— Признаться вам, я полюбил здесь одно местечко, по воспоминаниям детства, и хожу туда каждый день...

— Куда же это?

— В полубарский выселок...

— Уж не влюблены ли вы в Катерину Егоровну?

Лизавета Николаевна хотя и улыбнулась, но при этом, как будто неожиданном для нее самой вопросе вдруг чуть заметно вздрогнула, и все черты ее лица мимолетно передернулись. Она, конечно, не могла и подозревать, чтобы я знал причину игры ее лица.

— Нет, не влюблен... Да и она ушла теперь надолго...

— Уехала? Куда?

Лизавета Николаевна силилась скрыть свое любопытство и сдерживала голос.

— Ушла верст за пятьдесят отсюда... Пешком...

— Пешком?.. Может быть...

Лизавета Николаевна не договорила, опустила ресницы и задумалась.

— Я с некоторого времени начинаю чувствовать, что была несправедлива к этой девушке. В ней есть что-то святое. Я прежде сердилась на ее угловатые выходки, на ее нежелание сходиться с нами, а теперь вижу, что мы для нее как будто и в самом деле малы. Она «не от мира сего», как говорят. Так, вы говорите, она ушла... пешком? — не поднимая головы, спросила опять Лизавета Николаевна.

— И знаете с кем? С Матреной Петровной.

Лизавета Николаевна вздохнула и поднялась с дивана; лицо ее было серьезно и грустно. Я не хотел нарушать это настроение и, взяв лежавший на диване роман Элиота, стал перелистывать. Лизавета Николаевна вышла на террасу, постояла на ней, помахала платком в лицо и снова вернулась.

— А слышали ли вы еще новость? — спросил я.

— Какую?

— Ваш опекун навестил Башкирова...

— Папа крестный?

Лизавета Николаевна выпрямилась и полуудивленно, полувопросительно смотрела на меня.

— Да.

— И он был в гостях у этого чудака-лекаря... в избе?

— Даже в карете приезжал...

— Это очень интересно,— сказала Лизавета Николаевна,— непременно нужно прогнать Петю к Башкирову, чтобы он его привел к нам. Тут что-то кроется, чего я никак не могу понять.

За дверью приемной послышались голоса, звон шпор и чьи-то тяжелые шаги. Перед нами явился исправник, мужчина в том возрасте и с тою солидностью на лице, которые дают право на титло почтенного семьянина, главы полудюжины дочерей, руководимых толстою, сырою и дебелою супругой-матерью. Он был высок, мягкотел и плечист, с толстою шеей, составлявшей с затылком одну сплошную площадь, с длинными рыжими баками и здоровенными руками, внушающими страх. Но при всем этом в гостиной умел держать себя вежливо, по-джентльменски, и говорил с Лизаветой Николаевной довольно нежным голосом.

— Merci, merci, сестрица,— заговорил исправник, любезно раскланиваясь со мной.— Я никогда еще не выносил такого приятного впечатления от преуспеяния помещичьего хозяйства, какое вынес сегодня. И все благодаря вашему истинно образованному супругу! Я всегда говорил: дайте мне больше таких людей, каковы господин Колосьин и ваш супруг, и в экономической жизни всего государства (он не имел привычки оканчивать фразу, доставляя возможность каждому округлять ее по своему вкусу и соображению)... Сама администрация примет наиболее успешный ход, а затем и государственные... Ma chere, vous permettez?.. С вашего позволения...

Исправник расстегнул белый китель, ловко вставил в массивный янтарный мундштук окурок сигары, погрузил свое тело в вольтеровское кресло и, поглядывая весело то на меня, то на Лизавету Николаевну, приготовился к дальнейшему разговору.

— Нравится вам? — спросила Лизавета Николаевна.

— Замме-ча-ательно!.. Я всегда говорил вашему папа́, сестрица: этими людьми нельзя так...

Исправник сделал какой-то странный знак рукой и не докончил. В это время вошли Морозов и Колосьин. Колосьин — маленькая, но здоровая и плотная фигура, в коротеньком, английском пиджаке, в каких

любят ходить управляющие заводами и механики, с угрюмою, наморщенною, вдумчиво-деловитою физиономией, с большим горбатым носом и длинною черною бородой. Быстро окинув нас черными глазами, он молча, наскоро и как бы мимоходом протянул мне руку и тотчас же обратился к исправнику:

— Извините-с, господин... как? Колпаков?

— Калмыков... к вашим услугам,— поправил любезно исправник, чуть двинувшись к нему туловищем.

— Если вам, господин Колпаков, будет угодно сопровождать меня, то прошу... Для меня время дорого.

— Да, да... сейчас, к вашим услугам, молодой человек! — ядовито вытянул исправник.— Я уважаю драгоценное время человека, который его посвящает высшим...

— Позвольте, сударыня, раскланяться,— перебил сурово Колосьин и тотчас же опять, словно мимоходом, стал подавать нам руку.

— Мы вас ждем обедать в четыре часа...

— В четыре? — Колосьин посмотрел на часы.— Да, я буду в свое время; я успею кончить все.

И, вынув из-под мышек кожаную фуражку, которую он все время держал там, пригласил исправника следовать за ним и скорою походкой вошел в дверь, как уходит занятый доктор-практик с консультации.

Исправник тоже поднялся, отдуваясь, застегнул китель, сунул мундштук в карман широких синих шаровар и сделал нам любезный поклон, шаркнув по-военному ногой.

— В четыре часа будем иметь удовольствие видеться?

— Конечно,— сказала Лизавета Николаевна.

Все это время я не имел случая вглядеться хорошенько в лицо Морозова, но теперь, когда он сел, словно разбитый, в угол дивана,— я удивился: так изменился он за последнюю неделю. Добродушие на его лице сменилось какою-то досадливою грустью; глаза смотрели скучно; во всем в нем чуялось раздражение.

— Ну, что, Петя, как показался тебе теперь Колосьин? Мы давно уж его не видали? — спросила Лизавета Николаевна.

— Как же он мне может иначе показаться? Все та

же самодовольная скотина! — проговорил Морозов и раздраженно повернулся в углу дивана.

Лизавета Николаевна взглянула на меня и грустно пожала плечами. Все молчали.

— Вот они,— заговорила опять Лизавета Николаевна, показывая на меня,— принесли две любопытные новости...

— Что же?

— Папа-крестный навестил Башкирова, а к нам даже не заехал. Говорят, они стали приятелями.

Морозов молчал.

— Катерина Егоровна ушла пешком... вместе с Матреной Петровной.

— Куда?

— Вероятно, за каким-нибудь делом.

— И прекрасно делают... Каждая баба, которая стучит лбом о пол где-нибудь в Соловках, бесконечно дельнее и честнее нас, дельцов...

Морозов выпалил это залпом и, быстро встав, пошел к себе в кабинет.

Лизавета Николаевна долго смотрела каким-то странным взглядом на затворившуюся дверь и потом, медленно поднявшись, сказала, что ей надо распорядиться по хозяйству, и попросила меня развлечь ее мужа.

Я пошел в кабинет к Петру Петровичу; он уже был в рабочей блузе. Сброшенный сюртук валялся на диване.

— Вот самый лучший медикамент при всяких психических неурядицах,— сказал он мне, показывая в руках рубанок,— только этим и спасаюсь... Дам себе гонку часа так на три, до третьего пота,— мигом всю чушь из головы выгонит. И опять хоть приблизительно на человека похож будешь...

— Лечитесь, а я вам помогу: буду молчать и не заикнусь ни о чем, что могло бы вызвать вновь приступы психической неурядицы.

Петр Петрович взворотил на верстак огромный конец доски и начал строгать. Работал он легко, плавно, хорошо. Скоро лицо его ожило, зарумянилось; на лбу показался здоровый пот; и через несколько минут он уже так увлекся физическою работой, что даже замур-

лыкал под нос свою любимую песню «Не белы-то ли снега в поле забелелись...». Я ему не мешал. Открыл окно, и, перевесившись туловищем через подоконник, я смотрел на вившуюся за палисадом дорогу, которая пускала от себя поворот к морозовскому дому. Вдали, вправо, из-за облака пыли то показывался, то пропадал английский экипаж Колосьина, куда-то уносивший его с исправником; влево виднелось село.

Седой мужик что-то копался около вереи. Ребятишки гонялись за поросенком по околице. У ворот морозовского дома лежала старая собака, высунув язык и прислушиваясь к чему-то. Две девочки-подростка выбежали из калитки, пошептались о чем-то, пугливо оглядываясь на барские окна; пес медленно поднялся и стал вертеться около них.

Часа через полтора по отъезде исправника к морозовскому дому подъехала большая, крепкая, так называемая «купецкая» телега с заложенною в нее коренастою гнедой лошадью. Скоро в дверях из передней в залу показался тот самый высокий седой старик, которого я встретил на именинах Лизаветы Николаевны, — тот «умный», по словам Петра Петровича, мужик, который знает, «чего не нужно делать, чтобы не подличать, и что возможно делать при данных условиях, чтобы не тратить даром порох». Переступив порог, он истово перекрестился три раза на образ, поклонился и пригладил напереди чуть заметно подрезанные волосы.

— Доброго здоровья, — проговорил он и, по обыкновению, устремил взор куда-то вдаль.

— Здравствуй, Филипп Иваныч, — сказал Морозов. — А к вам исправник поехал... Или не знал?

— Были у нас уж они... Сюда приказал мне приехать, кушать они здесь будут... А у нас уж были, теперь к суседскому управляющему поехали.

— Ну, садись, Филипп Иваныч. Садись сюда! — пригласил его Морозов к переднему столу.

— Нет, уж я вот здесь.

Старик сел близ двери, у маленького столика, поло-

жил на него шляпу и стал барабанить слегка по ней рукой, как обыкновенно делают крестьяне, когда что-нибудь обдумывают.

— Что нового скажешь? — спросил Морозов.

— Да есть... есть кое-что,— не скоро отвечал старик,— есть мне до тебя дело, Петр Петрович...

— Какое же?

— Да я уж — извини бога для — с артелью-то нашей хочу нарушить.

— Что так? — спросил Морозов. По его лицу пробежала было какая-то тень, но он, видимо, задал этот вопрос без особого изумления, а больше из простого любопытства.

— Ты, Петр Петрович, не думай, что это из-за тебя, а либо что в этом самом деле есть нехорошо... Дело это доброе, это я завсегда скажу... А ежели я отхожу, так от себя единственно... И никто, кроме меня, тут непричинен.

— Что же у тебя такое случилось?

— Так, братец мой, полоса у меня эдакая незадашная пошла... во всем... Грех на меня идет. В земцы эти удостоен был, думал: отчего не послужить? Послужим. А дело совсем дрянь вышло...

— А что у вас?

— Выборы были, пьянство это началось... А-ах, господи! Неудовольствия пошли... Один за другого... Доношение в подкупе объявилось... Меня в то же число, в пьяницы, в душепродавцы занесли... О-ох, дела, дела!.. В артель эту свою ты меня приурочил... Только что приспособился, а тут этот мужичок... помнишь, с пахвей сбившийся мужичок, просился к нам в артель?..

— Ну, что же? Помню...

— Ну, с петли сняли... Обезработел совсем, обголодал. А мужичок-то из моей волости... Пошли это в народе толки...

По лицу Морозова прошла тень уже так ясно, что это заметил даже старик...

— Все бог! Никто, как он! — поспешил успокоить старик.— Теперь опять волостным удостоили... Такие дела пошли! Ровно вот грех за мной следом идет... Думал, думал, да вот сегодня самому-то, его высокоро-

дию, и забросил словечко, чтоб меня то есть освободил...

— Что же у тебя там?

— Много, братец мой, много всего. Как все-то это сообразить, так, думается, и петли тебе мало... Вот каково! А ведь по душе-то, по совести тебе признаться,— только на одном и стоять тщился, чтобы как не согрешить, чтобы для всех было в любовь да в мир! Так, думается, что уж ежели на тебя эта полоса пошла, только одно тебе спасение — отойти... Значит, грех за тобой идет уж; значит, отойди,— чтобы твоя полоса другим не вредила... Вот что!

— По какому же делу к тебе исправник приехал?

— По порубке в колосьинской даче, а вторым делом — по «келейницам»... Старушьи проступки разбирать. А-ах, царь небесный! А вот перед истинной совестью говорю я: я и не заикался... Обидела меня старуха Павлия... знаешь, может, две у нас старухи живут? Павлия да Аксентья... Обидела она меня в сердцах, при всем мире... Ну, понимаю, что в сердцах. Посадил я ее в темную, для-ради чтобы соблазну не было, а опосля и выпустил... А вот со стороны, значится, доношение сделали,— якобы у нас в волости беспорядки проявились... Все это богатеи у нас там вертят... Старух-то им хочется выжить, чтобы землю от них отобрать, а их на бабье положенье ссадить. Теперь мир опять на меня пальцами указывает... До тебя, говорит, этого не было, а как ты проявился — и пошло все колесом...

— А порубка?

— Порубили — это точно... Да ведь и то сказать,— вдруг прибавил он, понизив голос,— где взять-то?!

— Так, значит, ты решил отойти, «отрешиться»,— спросил как-то особенно загадочно и задумчиво Морозов.

— Решил, Петр Петрович, отрешиться, решил... Выходит, недостоин. Зачем грех с собой в мир вносить! У мира своей тяготы много...

— Но мне кажется, вы умели и «не отрешаться» и в то же время «не грешить»? — спросил я старика.

Он молча посмотрел на меня, но опять не в лицо, а как-то поверх моей головы.

— Ох-ти, хти, хти! До времени все! — уклончиво отвечал он.

Нужно, впрочем, заметить, что и вообще, несмотря на видимую искренность, с какою старик рассказывал о своих невзгодах, в его речи замечалась недоговоренность, как будто он что-то скрывал.

Вошла Лизавета Николаевна. Разговор принял то скучное направление, когда при появлении нового лица начинаются передопросы, пересказы только что сообщенных новостей. Лизавета Николаевна, по обыкновению, всему удивлялась и при всем недоумевала. Я и Морозов снова собрались было в сад, но в это время послышался ямщицкий колокольчик и стук экипажей. Старик поднялся, погладил бороду и, тихо подойдя к Петру Петровичу, наскоро шепнул ему:

— Нельзя ли самому-то закинуть словечко, чтоб уж он меня не очень лаской-то удостоивал... А то говорит: ты для меня дорог, я с тобой в жизнь не расстанусь... А-ах, господи! Замолви ему, чтоб он меня уж не очень при себе задерживал.

— Хорошо, я поговорю.

— Поговори. Лучше без греха, так-то!

— Без какого греха?

Но старик заметил, что экипажи уже огибали угол палисадника, махнул шляпой и выбрался совсем в переднюю, стараясь подняться на носки сапогов и ступать возможно тише.

Экипажи остановились у ворот: вместе с колосьинской тележкой подкатил большой тарантас, в котором и помещались все приехавшие: исправник, ловко соскочивший с подножки, откинутой крестьянским начальством с бляхой; Колосьин, вышедший с другой стороны и тотчас же начавший деловито осматривать своих лошадей и английскую тележку; и, наконец, после всех выбрался все время улыбавшийся и еще издали почему-то махавший фуражкой и делавший в направлении Лизаветы Николаевны ручкой «земский представитель» Никаша Бурцев, которому и принадлежал тарантас.

В ожидании обеда гости собрались в гостиной. Исправник, теперь красный как рак от жары и от «ис-

полнения служебных обязанностей» (о тягостях которых он, видимо, силился заявить нам каким-то особым пыхтением), тотчас же попросил у Лизаветы Николаевны позволения расстегнуть китель, погрузился в вольтеровское кресло и по-прежнему ловко всунул в массивный мундштук крученую папиросу.

— Я говорю, сестрица,— тотчас же начал он,— дайте мне на выбор: управлять ли целым табуном толстобородых мужиков или двумя старыми крестьянскими девками,— я выберу первое. Да-с... Потому что две старые закоснелые девки (pardon за повторение), две старые ведьмы постоят за сто тысяч чертей!

Никаша, ходя вдоль комнаты и разминая ноги, заливался тоненьким смехом. При последних словах исправника он вдруг круто повернулся к Лизавете Николаевне.

— Позвольте, позвольте, позвольте! — заговорил он, таинственно подмигивая на исправника.

— Да я ничего не говорю, Никандр Ульяныч,— заметила Морозова.

— По-озвольте, позвольте...

— Я говорю, сестрица,— начал было опять изрекать исправник, но Никаша бросился, растопырив руки на него.

— Позвольте, позвольте!.. Я хочу предложить вопрос несколько в иной форме!

— Ну-с, какой же? Давно бы уже предложили!

— А что сказали бы вы, любезнейший господин начальник, если бы вам предложили на выбор: иметь ли в своем ведении ораву толстобородых мужиков или практиковать исполнительную власть над двумя прекрасными поселянками?

Никаша подождал секунду и затем разразился перекатистым смехом над своей будто бы «остротой». Лизавета Николаевна сделала легкую гримасу; исправник с снисходительным укором покачал головой, а Колосьин, бросив взгляд холодного презрения на разговаривающих, с серьезной миной вынул из кармана номер газеты и, отойдя к окну, погрузился в чтение. До этого он все время сидел в углу, поджав под стул ноги, с угрюмо-вдумчивым лицом, и занят был или делал вид, что занят глубокими соображениями, перед

которыми, наверно, гостинная беседа провинциальных джентльменов являлась просто пошлостью.

Через несколько минут вошел Морозов, как кажется преднамеренно ушедший к себе в кабинет. Вслед за ним из дверей соседней комнаты высунулась востроносая, растрепанная девушка и сказала Лизавете Николаевне, что «кушать подано». Все отправились в столовую на приглашение Лизаветы Николаевны.

— Я говорю, любезный Петр Петрович! — начал исправник, когда все сели за стол. («Мерси!» — вставил он, обращаясь с нежной улыбкой к Лизавете Николаевне и принимая от нее тарелку с супом.) — Мы ехали с Павлом Александровичем... Извините, так, кажется, ваше имя и отчество? — спросил он Колосьина.— Так мы ехали с Павлом Александровичем, и я говорю: вот вы, господа, представляетесь такими деловитыми, вечно занятыми, как будто у вас минуты свободной нет... Конечно! Конечно! Я ничего не говорю против... Люди европейского образования... ну, новые идеи... пионеры... Но я говорю... наша сфера деятельности значительно, позвольте так выразиться, напряженнее и в то же время представляет иногда такие сложные комбинации...

— А не жалуемся-с и, благодарение господу богу, без европейского образования благополучно обходимся,— вставил ядовито Никаша и тотчас же ядовитость эту скрыл под добродушно-лукавой улыбкой.

— Позвольте! — остановил его исправник.— Я говорю: возьмите, к примеру, хотя вашу фабрику... вполне образцовое, замечательное и, смею сказать, редкое у нас учреждение! Вы достигли замечательных результатов! Ваше учреждение... именно «учреждение» (я стою на этом), будет иметь для края важное значение как первый пример... Я говорю: первый пример или, лучше сказать, первый опыт разрешения задачи, о которую разбивались все мероприятия... Я признаю все это. Я не могу не признать, что фабрика, которая не давала прежде нам покоя, которая ежедневно выставляла целый ряд преступных действий: буйства, краж, неповиновения, пьянства,— что эта фабрика в ваших руках, под вашим высокообразованным наблюдением, сделалась таким тихим раем, куда мы забыли ездить...

И без строгости-с, без карательных мер — вот что важно!.. Я заявляю сам, пред лицом всех, тот факт, что вы никогда не обращались ко мне за помощью (я исключаю нынешнюю поездку: это — пустяки!). Все это так-с. Но позвольте сказать и нам... Позвольте вас спросить: посредством каких мероприятий имеете вы удовольствие любоваться столь прекрасным учреждением? Почему этих же самых мероприятий не можем практиковать мы, дабы вкусить всю сладость столь мирного течения дел? Так ли я говорю, сестрица? Это правда?..

— Конечно,— заметила Лизавета Николаевна, повидимому или вовсе не слыша, о чем шел разговор, или еще плохо понимая, к чему вел речь ее кузен.

— Конечно-с. Однако Павел Александрович думает иначе. Павел Александрович говорит, что это достижимо только для них, для избранных...

— Я этого не говорил,— сердито заметил Колосьин.

— Виноват: может быть, иначе выразились. Не отрицаю. Затем я обращаюсь с вопросом: позвольте вас спросить, достоуважаемый Павел Александрович, какие мероприятия употребили бы вы в том случае, если б на вашей фабрике попались в числе прочих две старые, закоснелые девки, невежественно протестующие против самых разумных начал?

— Что ж ответил Павел Александрович? — быстро спросила Лизавета Николаевна, видимо заинтересовавшаяся вопросом.

Исправник бросил искоса хитрый взгляд на Колосьина, который отвернулся к Петру Петровичу, сообщая ему что-то из газетных новостей.

— Павел Александрович отвечал очень, очень просто и коротко. Павел Александрович сказал: фю!..

Господин исправник сделал при этом поясняющий жест.

— Я этого не говорил, милостивый государь! — вспыхнул Колосьин, внезапно повернувшись к нему.

— Виноват: может быть, иначе выразились. Насколько могу, впрочем, припомнить, вы изволили высказаться так: мое правило — упразднять всякий элемент, не соответствующий общим интересам нашего учреждения; только путем строгого подбора необходи-

мых элементов... и прочее в таком роде... Прошу извинить: я запамятовал точные ваши выражения... Вы согласны, что я передал мысль вашу верно?

— Да, теперь, но не раньше. Здесь существенная разница...

— Ха-ха-ха! — добродушно расхохотался господин исправник.— Позвольте! Мне пришел на память один курьезный анекдот. Когда-то, где-то я в газетах прочитал известие, что какой-то там англичанин или другой какой нации просвещенный гражданин изобрел новый способ действия против неприятельских сил. Способ этот, насколько могу припомнить, состоял в том, что поливали неприятельские войска из пожарных труб горящим петролием или чем-то в этом роде. Но дело не в этом, а в том, как он назвал свой способ избиения неприятеля? Как вы думаете, сестрица? Конечно, как человек образованной нации, как ученый, он, может быть, совестился назвать свое изобретение убийством или там как-нибудь иначе, по-обыкновенному...

— А как же? Изведением врага, что ли? Ха-ха! — спросил Никаша и опять захохотал, довольный своим остроумием.

— Немножко не отгадали... Он назвал его: «способом упразднения неприятельских колонн с места действия»... Конечно, мы — люди неученые, не умеем деликатно выражаться; а попросту возьмешь да назовешь тем именем, как наши праотцы называли...

— Ваш анекдот, господин Колпаков, не идет к делу. Вы не перефразировали, но извратили мои слова...

— Согласен. Могло случиться и это. Но не от чего иного, как от неумения выражаться ученым языком... Впрочем, дело не в словах! Будем говорить об «упразднении».

Господин исправник выпил рюмку водки, медленно и тщательно вытер салфеткой усы и с самодовольно-хитрой улыбкой продолжал «развивать течение своих мыслей». Очевидно, он попал на тему, хорошо им обдуманную; очевидно, эта тема представляла очень выгодную позицию для него и была слабым местом противника. Исправник начал издалека, он коснулся и «обширности района, предоставленного его ведению»,

и «сложных комбинаций», которыми изобиловал этот район, и, наконец, проведя тонкую параллель между районом действий ученых пионеров и районом действий «всякого сына отечества, исполняющего долг службы», он заключил свою параллель следующим сопоставлением:

— Я говорю: вы, Павел Александрович, или вы, Петр Петрович, вы пользуетесь в своей деятельности замечательным упрощением, которое мы согласились называть «упразднением несоответствующих элементов». Прекрасно-с. Недавно Павел Александрович «упразднил» с своей фабрики около десятка таких элементов, а вы, Петр Петрович, «упразднили» одного пьяного мужичонку. Позвольте! Позвольте! — перебил он свою речь, заметив недоумение на лице Лизаветы Николаевны и гримасу на лице Колосьина,— я нисколько не хочу порицать ваш образ действий... Боже меня упаси! Вот вам свидетель — сестрица. Я еще сегодня говорил ей: нам нужно больше, больше таких людей, как уважаемый Петр Петрович или Павел Александрович!.. Не правда ли, сестрица? Но при этом я говорю: воздайте должное каждому. Петр Петрович и Павел Александрович, конечно, могут пользоваться и извлекать все выгоды из этого мероприятия... Они могут «упразднить» с поля своей просвещенной деятельности и тех двух закоснелых старых девок, о которых я уже говорил; но я — куда я их упраздню? Ведь и пьяный мужичок, и эти старые девки все-таки останутся в районе моих действий? Не правда ли, что мечтания мои о рае всегда будут отравляться их присутствием, пока они не совершат такого преступного деяния, которое я уже вправе буду представить на благоусмотрение высшего начальства?..

— Позвольте, господин Колпаков, вам заметить...

— Аристарх Федорович Калмыков — к вашим услугам,— поправил внушительно господин исправник.

— Позвольте, господин Калмыков,— не решился еще раз переврать фамилию Колосьин,— вам заметить, в заключение вашей речи, что ни я, ни Петр Петрович не имеем ничего общего с тем, о чем вы говорили так долго. Вы воспользовались словом «упразднение» и

между тем совершенно извратили его смысл. Мы никого никогда не упраздняем. Наш принцип — не вмешательство, но воздействие. Наши предприятия тем сильны, что они покоятся на основах самостоятельного, из себя выходящего развития. Мы оставляем полную свободу членам нашего предприятия, как членам свободной артели, распоряжаться так, как они считают сообразным с убеждением их совести, и только считаем необходимым предлагать им известные внушения, если образ их действий, по нашим понятиям, может вредить интересу общего дела...

Все это выговорил Колосьин залпом, сердито смотря в тарелку и ни на кого не поднимая глаз.

— Да ведь и мы «внушаем-с»! Только вы внушите и сейчас же упраздните зловредный элемент... а две старые, закоснелые девки при мне останутся, и я, как истинный сын отечества, по долгу службы обязан о них пещись! Да и пьяный мужичок, вами упраздненный, в моем же районе действий на свою душу руку налагает: ведь это все — неприятности-с! За это нас не хвалят, а? — закончил исправник таким тоном, что Никаша, все время блаженно улыбавшийся, счел нужным принять вид человека, задумавшегося над решением задачи высокой важности...

— Не замечаешь ли ты,— обратился Колосьин к Петру Петровичу, скривив рот в ядовитую улыбку,— не замечаешь ли ты, что господин исправник имеет наклонность смотреть на вещи радикальнее даже нас?..

— Да, замечаю,— как-то необычно резко перебил его Морозов и вдруг вспыхнул, так что Колосьин в недоумении искоса взглянул на него.

— Кстати, скажите,— переменяя разговор, обратился Петр Петрович к исправнику,— чем кончилось дело этих старух?

— Великолепно! Подобному решению я всегда покровительствую...

— То есть как именно? — спросила Лизавета Николаевна.

— Они — упразднились, говоря ученым языком, но упразднились сами.

Исправник засмеялся.

— Да разве можно самому «упраздниться»?

— Можно-с!.. Отчего же-с? У нас это часто, у мужиков...

— Каким же образом?

— А различным образом, смотря по тому, к чему кто более наклонен. Бабы преимущественно посвящают себя богу...

— И эти старухи тоже?

— Тоже-с. И давно бы пора. Это значительно упрощает решение вопроса. Конечно, они обидели у меня старика, представителя власти, а стало быть, некоторым образом и меня в лице его; но что же взять с двух старых, закоснелых девок? Бог с ними!..

— Я слышал, что старшина просит у вас отставки,— сказал Петр Петрович.

— Да, он говорил; но я ему сказал, чтоб он об этом и заикаться не смел...

— Напрасно. Я с своей стороны хотел просить вас уважить его просьбу.

Исправник несколько удивленно посмотрел на Петра Петровича.

— Прошу извинить, достоуважаемый Петр Петрович, никак не могу. Если б даже я сам хотел этого, не могу-с... потому что я — раб иных, высших соображений... Этот старшина — единственный в своем роде. Он умел привести в гармоническое слияние интересы управляемых и управителей... Это, батюшка, идеал! И чтоб я мог с ним расстаться!..

— Но вы забываете его самого. Каково-то ему самому достается это гармоническое слияние?

— Ну, это — другой вопрос... Служба — долг, уважаемый Петр Петрович! Мы все служим-с, все несем на алтарь-с... Про себя уже я не говорю, но вот представитель выборного начала... Вот Никандр Ульяныч... Спросите его: каково ему достается выборная служба? Обязанность пред обществом — это великая и трудная обязанность!.. Но зато и высокая! Не правда ли? — с улыбкой спросил исправник Никашу.

Никаша, очень плохо вникавший в разговор, выпучил на исправника глаза, крякнул и обвел всех блаженной улыбкой.

— Нет-с, и не просите,— решительно заявил исправник,— пока я здесь, Филипп Семенов будет стар-

шиной, даже если б пришлось коснуться и выборных начал... Ввиду несомненной пользы, это должно быть допустимо... Но, конечно, без злоупотреблений!..

— А слышали вы новость? — сказала Лизавета Николаевна.— Папа́-крестный стал приятелем доктора Башкирова! Недавно он навестил его в карете... парадным образом, с камердинером... И ни к кому больше не заехал, даже к нам.

Исправник вдруг отодвинул от стола кресло и принял величественную, полуудивленную позу, но, вероятно, заметив неуместность ее в кругу близких людей, тотчас же значительно затушевал величественность выражения на своем лице, хотя и остался погруженным в серьезное размышление.

— Сестрица! — начал он несколько торжественно.— Я говорю: это не может быть более допустимо... Я уже говорил Никандру Ульянычу, как представителю сословия, я говорил: в интересах общественной пользы вы должны принять меры...

— Да что такое «это»?

— Сестрица, не волнуйтесь! Прошу и вас, уважаемый Петр Петрович! Я говорю: не может быть допустимо расхищение имущества, которое может принести богатые плоды... Замечаются такие поступки, повторение которых не может быть допущено... С одной стороны — меланхолия, мизантропия, с другой — одиночество... Какая-то женщина из низшего звания, лакей, собака, отсутствие бдительного попечения родных... Затем — огромные брошенные поля, луга, даром пропадающий божий дар, которым пользуются преступно посторонние мужики... Значит, косвенная поблажка порубкам, самовольному скашиванию лугов, за которыми никто не смотрит... и, наконец, подчинение постороннему влиянию до того, что богатые земли бросают даром в руки первых попавшихся!

— Послушайте, кузен, бог знает, что вы говорите! Вы, наконец, хотите папа́-крестного совсем помешанным представить! — вскрикнула Лизавета Николаевна.

— Я этого не сказал, но тем не менее...

— И это все вывели из невинного визита его к полюбившемуся доктору?

— Гм... Я имел честь, сестрица, представить вам

значительный ряд совпадений... Что же касается до господина Башкирова, то я ничего не говорю... Боже упаси, чтобы я образованного, ученого человека мог заподозрить в каких-нибудь неблаговидных намерениях! Напротив, будь здесь господин Башкиров, я готов протянуть ему обе руки! Но это, конечно, не обязывает меня сочувствовать тому направлению, в котором его влияние на его с-тво...

— Полноте, полноте! — замахала рукой Лизавета Николаевна.— Вы слишком многое во всем провидите...

— По долгу службы-с, сестрица...

— Как вы думаете об этом? — спросила Лизавета Николаевна Колосьина.— Ведь вы знаете и папу-крестного, и Башкирова?

— Н-да... отчасти... Я полагаю, что все это вполне естественно... Естественно и то, что люди, не имеющие крепких научных основ в своем мировоззрении, бросаются в мистические бредни; естественно и то, что за отсутствием у нас солидной культуры и ввиду переходного характера нашей эпохи переход собственности из слабых рук в более сильные должен быть неизбежен... Это закон Дарвина: все более слабое, дряблое вымирает, все более сильное, энергичное захватывает поле действия в свои руки... Это — закон; это вполне естественно, а значит, и справедливо...

— Я совершенно с вами согласен, что это — закон... Гм... гм... закон... как вы изволили выразиться?..

— Закон Дарвина...

— Да... да... его-с... Я теперь припомнил... Этот Дарвин — он будет германский подданный?

— Англичанин.

— Гм... да-с... Так я говорю: я с этим законом вполне согласен. Он не противоречит истинным видам и стремлениям всякого благонамеренного сына отечества. Но позвольте заметить: нет правила без исключений... Так и из этого благотворного, смею так выразиться, закона могут быть, по слабости человеческой природы, изъятия. Так, например, в данном случае этот закон подвергается искажению, ибо собственность не переходит в образованные и просвещенные руки, но подвергается расхищению. Если бы такой переход совершился в ваши руки или Петра Петровича...

— Это ничего не значит, это только переходный период,— заметил Колосьин,— с течением времени все придет в гармонию, и, конечно, собственность не минует людей, которые могут научным образом эксплуатировать ее с наибольшею пользою.

— Это так-с, так-с... Но зачем же ждать! Не обязаны ли мы способствовать немедленному насаждению культуры, не подвергая собственность длинному периоду расхищения? Я говорю: вы, сестрица, как наиближайшая наследница после его с-тва и любимая его крестница, и вы, Петр Петрович, как человек, вполне достойный,— вы нравственно обязаны... А Никандр Ульяныч, я уверен, не откажет вам в содействии, как представитель сословия...

Никаша мотнул утвердительно, с большою готовностью, головой.

— О чем вы это говорите? — испуганно спросила Лизавета Николаевна исправника, взглянув в побледневшее лицо мужа и заметив беззвучно замершие на его плотно сжатых губах какие-то звуки. В ответ на этот вопрос Морозов быстро двинул кресло и поднялся, а исправник, посмотрев на него, махнул Лизавете Николаевне рукой и тихо проговорил: «Мы после! Еще успеем! В другое время!»

Все встали из-за стола. Обед кончился.

— Ну-с, теперь курнем!..— добродушно-весело заметил исправник Колосьину.

— Ах, Павел Александрович! Какие вы, право! — продолжал он любовно, стоя пред ним и покачиваясь слегка на ногах,— и к чему вот и вы, и Петр Петрович такие сердитые, такие угрюмые, как будто или вас кто хочет укусить, или вы кого собираетесь тяпнуть! А ведь совсем напрасно!.. Ха-ха-ха!.. Ей-богу, напрасно... Ведь ни в нас, ни в вас страшного ничего нет! Ах, голубчик! Ведь это все — только недоразумения, видимость, а в существе-то дела... Позвольте вас обнять, уважаемый Павел Александрыч!

— Вы очень любезны,— промычал конфузливо Колосьин, слабо выбиваясь из могучих объятий исправника.

— Ну, сестрица, вы нас извините с Никандром Ульянычем (Никаша еле стоял и по-прежнему бес-

толково ухмылялся). Мы уж к Морфею... Вы, господа,— люди молодые, вам ничего; а мы — потертые, послужившие! Нам и отдохнуть не мешает... Так ли, Никандр Ульяныч?

— Я давно готов,— выпалил неожиданно Никаша.

— Ну, так до приятнейшего свидания! Allons, allons, allons![1] — запел исправник под такт австрийского марша и, подхватив под руку Никашу, повлек его с собой.

— Черт знает, что за мерзость! — выругался Петр Петрович, едва скрылись два приятеля, и тотчас же вышел в кабинет.

Лизавета Николаевна вздохнула. Колосьин сделал ей какой-то знак глазами и мотнул успокоительно головой.

В кабинете Петр Петрович уже стоял у станка, в одной жилетке. Сброшенный сюртук по-прежнему валялся на диване. Петр Петрович принялся точить, а Колосьин стал ходить из угла в угол комнаты, потрепывая бороду и что-то соображая.

— Вот что,— заговорил он, приостанавливаясь около Морозова,— мне нужно бы с тобой поговорить...

Морозов молчал.

— Может быть, я буду лишний? — сказал я.

— Нет, нет... Можете не беспокоиться, если желаете,— сказал мне Колосьин и опять прошел в угол.

— Ну, через полчаса я должен ехать. Мне время дорого, хоть я и очень сожалею,— сказал он, смотря на часы.

— Ну что ж! — промычал Морозов.

— Хотя я и очень сожалею, что не могу поговорить с тобой больше... Да, впрочем, что ж разговоры! Для нас достаточно двух слов, чтобы мы поняли друг друга...

— Конечно!

— Я слышал, да и сам замечаю,— начал Колосьин, ходя по комнате и опять трепля бороду,— что тебя как будто муха укусила!

---

[1] Идемте, идемте, идемте! *(франц.)*.

— Может быть, и укусила!

— Гм... странно! Зачем ты поддаешься этому настроению? В тебе нет этого довольства, которое сопровождает прочное, крепкое убеждение, гармонию деятельности с образом мыслей...

— А в тебе есть?

— Есть... Я и хотел сказать: смотри вот на меня...

— Ну и твое счастие!

— Напрасно ты колеблешься, хмуришься... Я бы, при тех условиях, какими располагаешь ты, мог бы рай устроить для себя, и сколько из этого рая мог бы уступить другим, обществу... Ты счастливее меня. Вот хоть бы имение Ди́кого. Если бы мне так везло, я бы мог еще более расширить поле своей деятельности и, следовательно, еще больший процент уступить благу общества... Но я... Ты знаешь, сколько я должен был употребить труда, настойчивости, хитрости, ума, знаний, пока не приобрел опытности жить с людьми и...

— И уметь невинность соблюдать и капиталы наживать?..

— Ты смеешься?

— Нет. Ведь ты сам же сказал, что у тебя в душе гармоника.

— Ну да! Но ведь это досталось не без борьбы. А у тебя и борьбы-то никакой быть не может! У тебя все готово. Ты можешь сохраниться даже в нравственной неприкосновенности. И я не понимаю, отчего в тебе нет нравственного довольства? А в нем вся сила. Нет его — нет энергии... Вероятно, лошадь уже заложена? Как ты думаешь? — спросил Колосьин, смотря на часы.

— Наверно.

— Ну, мне пора. Я повторяю, что разговоры — это праздная потеря времени. Тем более между нами, когда мы хорошо понимаем друг друга.

— Еще бы!

— Я тебе дам категорический совет: старайся главным образом достигнуть нравственного довольства, несмотря ни на что. Если хочешь, уединись для этого, погрузись в науку (ты — математик? она очень помогает), брось политику, газеты и журналы, возьми какую-нибудь солидную книгу. Не смотри по сторонам. Вот

средство, к которому я всегда прибегал, чтобы установить в себе нравственную гармонию и довольство своего личного я. И всегда результаты получались благие. При этом условии ты принесешь возможную долю блага, хоть не большую, но зато прочную и солидную; без него не сделаешь ничего положительного... Я упираю на это слово. Химера, романтизм, утопия — вот какие результаты только могут выйти при отсутствии нравственного довольства и гармонии... Для подкрепления своих слов прибавлю, кстати, что предлагаемое мною средство испытано не только мною. Оно — результат исторического опыта... Я просто задался вопросом: отчего пошляки, кулаки и прочие необразованные дельцы преуспевают в сем мире? И нашел, что этот успех лежит в их самоуверенности, доходящей у них до наглости, а эта самоуверенность возможна только при полном нравственном довольстве. Следовательно... Но вывод ясен. (Колосьин опять посмотрел на часы.) Однако прощай! Спешу... Да я, кажется, успел все высказать?

— Успел. Прощай.

— Если в чем встретишь сомнение или недоразумение, пиши мне, и я успокою тебя двумя словами... Когда буду здесь по делам, заеду сам...

— Спасибо.

— Прощайте!

Колосьин подал нам наскоро руки и, как профессор, прочитавший лекцию, не снисходя дождаться возражений и даже не помышляя, чтобы они могли быть, вышел.

Морозов принялся усиленно работать. Я посмотрел на него, подождал немного и, когда коляска Колосьина проехала мимо окон, тоже распростился.

В зале я встретил Лизавету Николаевну. Она была как-то грустно озабочена.

— Кажется, ваши надежды не оправдались? — сказал я.

— Да, должно быть, для нас все кончено,— грустно отвечала она, пожимая мне руку,— все-таки, пожалуйста, заходите чаще.

Глава восьмая

СТРАННЫЕ ЛЮДИ

I

Через несколько дней я был снова у Морозовых.

Жар хотя и спадал, но было душно, откуда-то наносило гарью. Со стороны видневшегося влево села не было слышно ни звука, как будто все замерло под палящим зноем. Но вот эту беззвучную тишину нарушил враз поднявшийся на селе собачий лай. Телега с грохотом повернула к усадьбе Морозовых, поднимая за собою огромное густое облако пыли, которая и осела густым слоем на деревья палисадника. Я, сидя у открытого окна, мог очень тщательно рассмотреть подъехавших. В плохую, кажется, готовую рассыпаться в щепки при малейшем неосторожном толчке, деревенскую телегу были заложены две истомленные клячи в рваной веревочной сбруе; на пристяжной, впрочем, и ее не имелось, если не считать за таковую две в нескольких местах порванные и связанные узлами веревки, прикрепленные к какой-то рогожке, висевшей вместо хомута на лошади, и к деревянной палке, воткнутой в передок телеги вместо вальков. Лошаденки были вылинявшие, пегие, с плешинами на спине и боках, разбитые; как только подъехали они к воротам, так и остановились как вкопанные, выпучив глаза и широко расставив передние ноги, из опасения упасть. Возница был как нельзя более в pendant[1] и к экипажу, и к коням; сидя на передке, он казался съежившимся гигантом: так чудовищно огромна была его голова; но едва он встал на свои маленькие, худые, в изорванных портах ноги, оказалось, что его огромная, вводившая издали в заблуждение голова, покрытая шапкой сбившихся в мочку седых волос, была совершенно неосновательно посажена на тонкую, худую шею и сухое, худощавое, короткое туловище. Однако же субъект, сидевший в кузове телеги, был значительно интереснее и оригинальнее и самой телеги, и коней, и даже самого возницы.

[1] Дополнение *(франц.)*.

— Почтенный Харон! — кричал он вознице, еще сидя в телеге.— Изволили вы меня доставить к месту назначения?

— Да ты к кому рядился-то? — несколько недоумевая от такого вопроса, спросил возница.

— К господину Малову, моему первейшему другу...

— Ну, так, знаю, приехали. Вылезай!

Субъект высвободил из кузова телеги свои тонкие, как жерди, ноги в суконных брючках и штиблетках и, наконец, покряхтывая, выбрался совсем. На нем был короткий пиджачок, весь вываляный в сене, и большая, с широкими полями, поярковая шляпа, из-под которой смотрело маленькое лицо с жиденькою узкою бородкою, обрамленною длинными, по плечи, русыми волосами.

— Вели-ка-лепно! — говорил он, нетвердо стоя на ногах и что-то ища в телеге.— Наконец у цели!.. А! прекрасные поселянки! — крикнул он, заметив прятавшихся в калитке девушек, и стремительно, изображая собою элегантнейшего Дон Жуана и вывертывая ножками, подошел к ним, снимая одной рукой наотлет шляпу, а в другой держа какую-то корзину.— Прекрасные пейзанки! Осмелюсь узнать от вас, могу ли я лицезреть почтенного культурменша Петра Петровича, ci — devant[1] Петьку Малова?..

— Петр Петрович,— сказал я Морозову,— к вам приехал какой-то чудак. Как будто из знакомых кто-то.

— Не знаю... Войдет, так увидим,— проворчал Морозов, продолжая работать на станке.

Между тем прибывший субъект все еще продолжал объясняться с девушками.

— Насколько могу заметить,— кричал он, нарочно, кажется, пискливым голосом,— вы имеете честь состоять в камерфрейлинах у сих новых культурменшей? Позвольте же поручить вашему вниманию и заботе сего малого птенца, поднятого мною на дороге с переломленною ногою.

Приехавший с поклоном подал девушкам шевереньку, в которой уложенным в сене лежал кролик.

---

[1] Иначе говоря *(франц.)*.

Девушки крикнули обычное «а-ах!» и занялись зверьком.

— Сколько имеете вы получить с меня, мой строгий Харон? — обратился приехавший к вознице, который уже успел отыскать в глубине телеги рваный картуз (он ехал с открытою головой), хранившийся там исключительно, кажется, для чрезвычайных случаев, как, например, на случай объяснения с господами.

— Известно, два рубля... Али забыл?

— Получите же, строгий проводник в царство культурных теней, от меня три рублика,— сказал гость, роясь в портмоне.

— Ладно. Три так три...

Приезжий несколько времени молчал, как бы в недоумении, зорко всматриваясь в волосатое лицо возницы.

— Проси четыре, хам! Проси!.. Что ж ты не поддерживаешь издавна припасенной тебе хамской репутации? Проси еще на водку! — вдруг угрожающе закричал он, переменяя голос.

— Ладно, давай, давай три-то, коли тебе не нужно,— сердито ворчал большеголовый возница, вертя в руках нетерпеливо картузишко, казалось мозоливший ему руки.

— Прошу вас покорнейше, почтенный хам, пропить сей рубль немедленно и тем закрепить издавна признанную за вами репутацию... Понимаете? Иначе оставьте его у меня, чтобы я мог ему сделать то же употребление с большею виртуозностью,— продолжал лицедействовать приехавший субъект, подавая мужику бумажки.

Возница пересмотрел их, быстро кивнул головой в знак благодарности, подошел к телеге, опять сунул в ее передок картуз и, взобравшись на облучок, крикнул, отъезжая от ворот:

— Спасибо! Будь неравно знаком! Коли когда еще поедешь, перекинь мне словечко с кем и то... Мигом приеду... Свезу даром... А теперь деньги нужны... Живи счастливо!..

Лошаденки повернули от ворот, а приехавший субъект все стоял, погруженный, по-видимому, в раз-

мышление, и смотрел взад вознице, который усердно принялся работать локтями, передергивая вожжи.

— Ну, это он! — сказал я Петру Петровичу.

— Кто — он?

— А вот, увидите... Сейчас войдет... Бьюсь об заклад, что никак не ожидаете.

Петр Петрович взглянул в окно, но странный субъект уже скрылся за калиткой.

Минуты через три за дверью в соседних комнатах послышались легкие шаги и голос приезжего:

— Не беспокойтесь, синьора... Прошу вас... Я все с собой...— говорил он кому-то.— Omnia mea mecum porto[1] — торжественно произнес он, толкнув ногою дверь в кабинет Морозова, и остановился в ней с шляпой на голове, с саквояжем в руке.— Не узнал? — обратился он к Морозову, пытливо оглядывая нас подозрительным взглядом.

— Павел! Какими судьбами? — вскрикнул Морозов. Все лицо его при этом вдруг засияло прежним добродушием, любовью, радостью.

— Я, брат, я... и, как видишь, весь тут,— говорил Павел, все еще стоя в дверях и обнажив начинавшую лысеть голову.

— Ты опять? — покачал головой Морозов.— Да входи же наконец!

— Куда?.. Гм... В храм принципа? — кивнул Павел на токарный станок, верстак и инструменты.

— Полно вздор молоть!.. А ты сам что? Разве не ради принципа устраиваешь свои «перевороты»? Ну, давай, давай сюда,— говорил весело Морозов, беря у него из рук саквояж.

— Пер-ревороты! — проворчал Павел, тяжело садясь на диван от сильного утомления, внезапно как будто охватившего его.— Постой, брат, дай очнуться... А! Я и не заметил, что у тебя интеллигенция. Виноват! Прошу извинить! — обратился он ко мне.

— Полно же, перестань,— уговаривал его Морозов.

— А ты знаешь, зачем я сюда приехал? — спросил Павел. Его лицо как-то болезненно осунулось, глаза глядели устало и грустно.

---

[1] Все мне принадлежащее ношу с собой *(лат.)*.

— Конечно, нравы «наблюдать»,— сказал Морозов, подсаживаясь к нему.— Иссяк, чай, запас... Понаберешься мужицкого-то материалу и опять в распрекрасную столицу, в обстановочку, как и все ваши, писать для почтенной публики «веселые пейзажцы»... Ха-ха! Что? не нравится?

— Ну, брат, не угадал... Я теперь не пейзажи... Я, брат, теперь за делом, за настоящим...

— Ну?!

— Да-а. Я, брат, напал на идею — изучить хамство... И прежде всего избрал тебя, как наитипичнейшего представителя...

— Меня?

— Да, брат, тебя... Хамство идеи! Знаешь ли ты, что такое «хамство идеи»? А-а! Хамы, брат, не они,— ткнул он пальцем по направлению к селу,— а мы.

— Что ж, может быть, ты и прав.

— Это, брат, верно... Он полною жизнью живет... понимаешь? Полною жизнью,— ткнул он опять пальцем по направлению к селу.— Он один так живет, то есть, понимаешь, мужик... А вы — хамы, хамы! Все хамы!..

— Что же это значит у тебя — «хамство идеи»?

— А это, брат, грех старый, из веков он за нами... Вторую заповедь знаешь: «Не сотвори себе кумира»?.. Ну, так вот все против нее же...

— И я, по-твоему, хам?

— Хам, брат, хам!.. Потому ведь — барин тоже кумир для хама, ну, а для «принципных» наших либералов принцип кумир будет...

— Какой же принцип?

— А так: приведение к одному знаменателю, знаешь? Ну, вот это и есть ваш принцип... Мужика!.. Гм!.. Живого человека к одному знаменателю привести!.. Хамы, брат, мы, повторяю. А его, брат, под один знаменатель не приведешь... Он, брат, полною жизнью живет... Я вот хотя и не он (ну, положим, и недалеко ушел: дьячковская кровь-то), а вот попробуй-ка к одному знаменателю подвести... Ну-ка, попробуй!..

— Да ведь не все такие беспардонные, как ты? — смеясь, заметил Морозов.— А может, придет время —

устанешь, покоя захочешь, захочешь и к одному знаменателю привестись!..

— Я — успокоиться?.. Я? — вскочил Павел.— Смерть — вот общий знаменатель!.. А успокоиться на чем-нибудь помимо нее — вот оно, брат, хамство-то и есть. А я не хам!.. Потому — борюсь... борюсь, черт возьми!..

Павел полуискренно, полуиронически сжал кулаки, заскрежетал зубами и сел. Несколько времени он молчал, тихо проводя рукой по лбу, как бы отдыхая и приходя в себя от непосильного напряжения.

— Петруша, извини, брат... Я всхрапну... Этот жар... да водка... Кости болят!..

— Спи, спи, сделай милость,— засуетился Морозов.

— Извините меня, мил-сдарь! — обратился Павел ко мне, затем забрался с сапогами на диван, подложил в голову подушку, поданную ему Петром Петровичем, и, по-видимому, задремал на несколько минут.

Мы молчали.

— А знаешь что? — заговорил он словно в бреду, не открывая глаз.— Я, брат, все опять разнес... всю эту обстановочку... Ра-азрушил!.. Ха-ха!.. Я, брат, теперь опять «omnia mea mecum porto»!..

Павел снова замолчал и через несколько минут стал даже всхрапывать.

— Нервы!.. Он весь — нервы, нервный комок,— шепотом говорил мне Морозов, пожимая плечами и любовно, заботливо смотря на засыпавшего Павла.

— Петя! — тихо окликнул Павел.— А она здесь... эта... ну, эта наша кровная, русская «дщерь случайной семьи»?

— Катя?

— Да, Катерина Маслова... А ведь я ее любил... люблю, брат... То есть, понимаешь, как люблю? Люблю, брат, не вожделением... Нет... Ее так нельзя любить... Тип я, брат, в ней люблю, русский органический тип... Органический потому, что она именно «дщерь случайной семьи»... А из этой-то «случайной семьи» на нас свет пролился. Свет! Свет! А один уважаемый мною учитель этой «случайной семье» все наши невзгоды приписывает... Обидно, брат, мне это было... Когда я прочитал у него эту несчастную мысль,

я... с того, брат, момента, я всю и обстановку свою разнес... И господи, как же я «разрушал» все эти «аксессуары жизни», все эти зеркальцы, вазочки, собачки на пресс-папье, гарни́, лампочки, абажурчики... книжки в «изящных» переплетах... Великолепная, братец, была картина!.. Достойная кисти самого Каульбаха!.. Прелестный, братец, вышел бы у него пейзажец в «Сумасшедшем доме», если бы вставить этот русский эпизодец!.. Бррр!..

Павел скорчил злую гримасу и повернулся лицом к стене.

— И вот, брат, еще за что я люблю ее, эту «дщерь случайной семьи»: в ней, брат, этого хамства уж нет... Вот за что... Она, брат, тоже сумеет утечь, отрешиться... А в этом — свет! свет!..

Все это говорил Павел, медленно выговаривая слова, как будто в забытьи и, по-видимому, нисколько не интересуясь, слушает его кто-нибудь или нет. Морозов сидел около дивана на стуле, смотрел серьезно-задумчиво на Павла и трепал свою бороду.

— А кроме этой... этой «дщери»... у меня в груди еще есть сюжетец, по выражению первых любовников с Замоскворечья,— прибавил Павел после небольшого молчания.— Знаешь что? Чахотка, брат, злейшая! Один знакомый докторишка мне дружески советовал повременить «перреворотом», то есть, попросту сказать — погодить пить... Гм!.. Повременить! Ну, я ему «дурака» загнул.

Павел беспокойно завозился и смолк. Из кармана его панталон выпало портмоне, и деньги рассыпались по полу вместе с десятком смятых папирос. Морозов медленно и молча подобрал с полу монеты и тумбочкой положил их на верстак. Мы долго сидели молча, вслушиваясь в сиплое дыхание Павла. Я всматривался в эту худую съежившуюся фигурку, и, не знаю почему, несмотря на его длинные ноги, на его бороду, на его лысину и сорок лет, мне виделось — и в этих тонких, белых, почти прозрачных руках, хотя и маленьких, но носивших явные следы плебейского происхождения, и в этой безмятежной позе, с поджатыми «калачиком» ногами, и в выражении тихого успокоения на лице,— чуялось что-то младенческое, хрупкое, нежное и вместе

беспомощное, такое, что хотелось бы облелеять, охранить от невзгод жизни... Но уже, очевидно, было поздно: тяжелая рука жизни давно уже отметила свою жертву.

Павел Миртов был художник.

— Это обреченные! — как будто отвечая моей мысли, шепотом проговорил Морозов и, тихо ступая на носках, знаком пригласил меня выйти вместе с ним. Когда мы повернулись к двери, в ней показалось радостно улыбавшееся лицо Лизаветы Николаевны. Смотря на спавшего Павла, она, кажется, готовилась что-то крикнуть от восторга, но муж приложил к губам палец и тихо сказал ей:

— Тс! Оставь его пока!.. Он так измаялся, что, мне кажется, стоит только на него дунуть, чтобы он рассыпался прахом... Ему, как ребенку, нужно люльку... Может быть, и оживет тогда!..

Морозов зашагал к выходу в сад.

— Я все, все сделаю... Я спасу его,— шепнула мне Лизавета Николаевна.— Видите, судьба идет сама мне на помощь... Вот уже есть один — и самый желанный!..

Лизавета Николаевна радовалась, как ребенок.

II

Не один десяток раз прошли мы с Морозовым по длинной аллее, а интересовавший нас вопрос все еще не был исчерпан. Мы толковали о Павле, о «новых людях» былого времени, о судьбе наших молодых писателей. Морозов и в этой судьбе видел «фатальную миссию цыганства», исторически завещанную нашему переходному времени. Для доказательства он постоянно ссылался на биографию Павла и приводил разнообразные характерные эпизоды из его жизни. Судьба Павла была такова же, как судьба всех русских писателей-разночинцев недавнего периода. Какой глубокий смысл скрыт в ряде этих страдальческих биографий, этих психических мартирологов, из которых каждый так внушительно и назидательно повторяет и подтверждает другой, что болью сжимается сердце и глубокою скорбью наполняется душа! Кто не различал в каждой

из этих биографий трех резко определенных периодов: вначале школа, баснословно дикая и мрачная, и в тьме царящей в ней рутины, схоластики, отвлеченной морали и лицемерия еле мерцает, готовая потухнуть и сгинуть бесследно, «божья искра» в душе ребенка. Путем почти немыслимых страданий, под страхом загубить навеки все будущее, навеки потерять право на дальнейшее развитие, сохраняет юноша в глубине души, тайно от всех как нечто запретное, эту «божью искру», пока торжествующе не вынесет ее из мрачных стен бурсы в божий вольный свет. Далее — жажда света, новой жизни и длинный путь пешком в столицы из глухих деревень и городков обширной отчизны на поиски этого света, на поиски «душевного дела». Это — ряд голодных годов борьбы за существование, борьбы сомнения с надеждой, веры с отчаянием и в то же время лихорадочно-страстной, тяжелой выработки новых нравственных устоев... Наконец — проблеск зари, предчувствие близости «душевного дела», трепетание в груди ищущих исхода сил: одно мгновение — и загорелись лучи славы, в душу снизошел восторг нравственного удовлетворения, сердце полно беззаветной веры... Но это только мгновение... В сущности даже это мгновение — только ирония, грустная и тяжелая: это уголок обетованной земли, мелькнувший вдали усталому и разбитому путнику, у которого уже подкосились ноги, надорвалась грудь... В виду этой обетованной земли он изнемогает, скорбя за кого-то и посылая сквозь жгучие слезы невольные проклятия чему-то...

Павел Миртов был истинный «сын деревни». Рожденный в угарной, дряхлой, трехоконной избе сельского дьячка, кое-как перебивавшегося в плохом приходе, с двумя десятинами плохой земли, ходившего все лето в длинной белой холщовой рубахе за сохой и бороной, а зимой — в нагольном полушубке и только «на требу» надевавшего синее нанковое полукафтанье,— Павел все детство провел на глазах вопиющей нужды, среди рабочей жизни «униженных и оскорбленных», среди тихого однообразия деревенских полей и лесов. Воспоминанию этого иногда глубоко трагического и трогательного детства, как своего, так и своих сверст-

ников, посвятил он лучшие свои этюды, которыми и приобрел не громкую, но прочную репутацию.

Кончилось детство, самое зеленое детство, пролетевшее под благодушным и умиряющим влиянием деревенской природы. Настала школа... Бог с ней, с этой школой!.. Мимо ее!..

Юноша Миртов мерно шагает по шоссейной дороге с котомкой за плечами. Его молодые, здоровые ноги широко отмеривают саженные шаги; на лице пот и здоровая игра крови. На фуражке и пальто, перевязанном бечевкою, густым слоем лежит пыль. Вот он проходит село, усталый останавливается у одной избы и бессильно садится на завальне, сняв фуражку и ослабевшею рукой тщетно силясь расчесать свалявшиеся кудри. «Испей, касатик, испей!» — говорит ему старуха, вынося из избы жбан квасу и ватрушку. Жадно съедает юноша эту ватрушку и так же жадно выпивает квас. Крестьянские любопытные ребятишки обступают его полукругом издали. Кто-то о чем-то спрашивает его, но от усталости у него идет кругом голова, шумит в ушах, и сон окончательно одолевает его... «Эй, Прасковья! Кинь-ка ты нам с ним на задворках, под навесом, сенца!.. Молодчик, а молодчик! — кричит над его ухом мужик, только что приехавший с мельницы: — подем-ка уснем вместе в холодке... Ах, важно укрепишься в путь-то свой дальний!.. А после мы с тобою косушечку раздавим на дорогу-то... Мы все так, коли на заработки ходим... И не услышишься, как отмахаешь верст сорок после того!.. Верно говорю!..»

Шатаясь, идет Миртов под навес и, бросившись на свежее сено, сладко засыпает...

Так проходит неделя... Вот наконец и она — Москва! Он поднимается на последнюю гору, с которой столица видна как на ладони: вся освещенная и палимая солнцем, ярко предстала она пред его глазами, блистая куполами и крестами церквей... От нее несся к нему как будто какой-то невнятный призывный шум и звон... Павел выпрямил усталые члены, глубоко вздохнул полной грудью — и улыбнулся младенчески-радостно и восторженно... Но с первых же шагов, сделанных по длинным и кривым московским улицам, молодого человека тревожит вопрос: куда приютиться? Он

не знает Москвы. Он скорее ориентировался бы в родном лесу, чем в ней. Был уже вечер, когда он дошел до Москвы-реки. Искать товарищей поздно. Куда же? Среди этих высоких хором и палат, так негостеприимно и сурово смотревших на незнакомого пришельца, он не осмелился искать себе пристанища; чужие они ему: ни им не понять его нужды, ни ему не понять их суровости...

Но вот его глаза останавливаются на чем-то близком, родном, знакомом... Он быстро идет по спуску к реке, у берегов которой толпятся пустые, нагруженные и полуразгруженные барки. На них уже кончились работы. Рабочие сидят в кружок на палубах и хлебают тюрю из деревянной чашки. «Хлеб да соль,— говорит Павел.— Не знаете ли, братцы, нет ли здесь где поблизости среди вас бельцов, или толоканцев, или суровцев?» — «Есть, есть такие! — отзываются рабочие.— Вот Ивашка у нас будет суровец!» — «А! здорово, земляк!» — говорит Павел, протягивая ладонь молодому парню. «Никак, Павел Лександрыч будешь?» — спрашивает, осклабясь во весь рот, Ивашка. «Должно, он самый!» — «Так, так... Куды?» — «Да вот к вам пока... Приютите...» — «Братцы! — говорит Ивашка артели.— Нужно приютить земляка-то на первое время. Дьячков сын. Вишь, пешком шел, учиться идет... А ведь от нас считают семь сотен верст досюдова...» — «Что ж? Можно. Коли пешком шел, так не побрезгует нашим-то дворцом»,— откликнулись артельщики. Павел забирается в каюту и безмятежно засыпает на жестких рогожных кулях...

Итак, пунктом его отправления в «новую жизнь» была каюта, простая барочная каюта.

Прошел десяток лет. В последний день десятого года он так резюмировал этот период:

Я погибал!
Мой злобный гений
Торжествовал...

Эти строки были произнесены им в полночь на Новый год, который он встретил — одинокий, голодный,

беспомощный — в трактире «Крым» на Трубе, в Москве.

— Милостивый государь! — крикнул он, после долгого одиночного созерцания трактирного буйства, какои-то темнои личности с подбитым глазом, в опорках и в какой-то странной кофте вместо сюртука, когда эта личность тоскливо запускала тусклые взоры за стойку, где красовался соблазнительный ряд бутылок.

— Милостивый государь,— говорил Павел,— не имеете ли вы желания поздравиться со мною с Новым годом, с новым счастьем?

— С полнейшим нашим удовольствием-с! — вспорхнула и духом и телом темная личность.— Мы готовы-с... Потому как в одиночестве, и притом без финансов... Очень лестно... Как прикажете?

— Что?

— То есть насчет поздравления?.. С каким счастием прикажете, мы так и речь произнесем...

— Не трудитесь! Мы обойдемся без тостов. Наше счастье с вами — найденный мной в кармане рубль... Выпьемте же за этот рубль, с помощью которого мы можем отравиться целым штофом проклятого зелья.

— С удовольствием-с!

— Милостивый государь,— говорил Павел, чокаясь с темною личностью, когда часы пробили, шипя, двенадцать.— Милостивый государь, я погибал... Понимаете? Но...

Мой злобный гений
Торжествовал...

Понимаете, что я хочу сказать этими словами?

— Как же-с! Понимаем-с... Тоже насчет образования можем... Ибо в обер-офицерских чинах... Но по злоумышлению от врагов...— лебезила темная личность.

— Так ты понимаешь, говоришь? — мрачно спрашивал Павел.

— Помилуйте!.. Какой угодно разговор!.. Довольно обучены... В благородных собраниях с дамами имели обращение... Сам его превосходительство...

— Зачем ты лжешь, несчастный, зачем? — еще мрачнее допрашивал темную личность Павел.— Кто

тебя просит? Кто тянет из твоей души эту ложь?.. Ведь я тебя не просил лгать! Ведь я тебя не заставлял! — закричал он, поднимаясь.— За то, что я разделил с тобою последний ломоть хлеба, ты не нашел ничем лучше благодарить меня, как ложью?.. Ты говоришь, что понимаешь меня?.. Да знаешь ли ты, несчастный, что от этой лжи-то царящей я погибал и погибаю!.. Я правды искал, правды, везде — и там, вверху, и здесь — в лохмотьях отверженных и прокаженных... И ложь везде... Как злой дух преследует она меня!.. Пошел прочь от меня!.. Пошел!..— кричал Павел, скрежеща зубами и сжимая кулаки.— Пошел!.. Я опять останусь один!..

Морозов и Миртов были товарищи детства; они были сродни по происхождению: один был сын фабричного, другой — дьячка; только Морозов учился в гимназии, а Миртов — в семинарии. Это, впрочем, не мешало им брататься.

Долго Морозов, верный данному обещанию в своем кружке, долго искал Павла и, наконец, нашел — в сырой, провонявшей табаком и водкой конуре на Грачевке. Бледен, худ, мрачен был Павел. Это было в конце 60-х годов.

— Петр! — говорил он Морозову, сидя пред ним на каком-то подобии дивана, схватив голову обеими руками.— Петр!.. Я погибаю... чувствую, что гибну совсем. Дальше невозможно жить так... Но невозможно и иначе!.. Я погибаю, потому что не могу уйти от этих отверженных и прокаженных; а быть с ними... Я не могу не пить! Нет, не могу... Я погибаю, но мой злобный гений торжествует!.. Уйти к «торжествующим» для меня немыслимо... Я там погибну, но погибну еще хуже... Проклятая дилемма!.. Где же выход?.. Дайте мне, укажите выход!.. Укажите мне спасение!.. В поисках за этим выходом мой мозг отупел, сердце чуть не надорвалось... И нет, нет спасения!..

— Павел, оно есть,— сказал Морозов.

— Есть? У кого?

— У нас...

— Это у кого же?

— У нас, у «новых людей»... Пойдем к нам — и ты будешь спасен! Ты увидишь! Согласись, Павел, что ведь, в сущности, подло пить и еще подлее, когда мы свое пьянство окрашиваем в цвет гражданской скорби!..

— О, верно, верно, трижды верно!.. Да будет проклято это зелье, эта ведьма — всероссийская сивуха!.. Если вы нашли спасение только от нее одной — я ваш, юные трезвые философы! — крикнул Павел, стремительно тиская свои ничтожные пожитки в плохой чемоданишко.— Идем к вам!.. Дальше от этого «места пуста»! Я устал здесь... Я задыхаюсь!.. Дайте мне глоток свежего воздуха!.. Может быть, у вас действительно есть «правда»!

А ровно год спустя, также накануне Нового года, Павел Миртов опять сидел в «Крыму», в грязной, вонючей комнате, тускло освещенной висевшей с потолка лампой, за столом, покрытым облитой пивом и вином скатертью. Пред ним сидел мальчишка, лет семи-восьми, в женской кацавейке, с тряпкой на шее, в валеных опорках на голых ногах, один из тех несчастных детей, которых много встречается по большим городам снующими по тротуарам, кабакам и трактирам. Пред ним лежали пироги; ребенок, ухватив один иззябшими руками, молча и смачно жевал, а его щеки лоснились от масла.

— Ешь, мальчик, ешь!.. Я опять к вам пришел... Ваша ложь прогнала было меня... Сил у меня больше не стало быть с вами, и я ушел искать спасения для себя и для вас,— говорил Павел сквозь слезы, смотря на евшего мальчика.— Бежал я от вас к тем, которые говорили, что у них есть «правда». Ну, и вот, видишь, я опять с вами... Ну, и довольно одного этого, чтобы понять, почему я... Или ты не понимаешь? Нет? — спрашивал он, гладя мальчика по голове.

Мальчик молчал, ел и боязливо взглядывал исподлобья на Павла; может быть, он боялся, чтобы тот не раздумал и не отнял у него пироги.

— Погоди, мальчик, придет время — и они придут к нам искать у нас «правды жизни», здесь... здесь!.. Ну, что, сыт? Приходи же завтра опять... У меня,

мальчик, праздник: я переворот праздную!.. Да приведи ты ко мне еще таких же, как ты... Мы с вами «обстановку» разрушать начнем!.. Хватит нам!..

III

Мы и не заметили с Петром Петровичем, как проходили в саду около двух часов. Морозов увлекся, приводя мне разнообразные иллюстрации к общей идее «современного цыганства».

— Ну, теперь зайдемте-ка на ферму,— сказал Морозов,— нужно взглянуть... Потом уж и разбудим Павла, будет ему дрыхнуть.

Но едва мы повернули в боковую аллею, ведущую к ферме, как нам навстречу показались Павел и Лизавета Николаевна.

— Они уже нас предупредили! — сказал Морозов.

— Да, брат, предупредили,— отвечал Павел.— И, скажу тебе, я очень рад, что твоя супруга предупредила тебя... Сударыня! Вы не обидитесь, если я скажу такое лестное изречение: женщины обладают способностью всякую мужскую идею возвести в квадрат...

— Или, иначе сказать, всякие пустяки возвести в перл создания? — улыбнулась Лизавета Николаевна.

— Сударыня! это смотря по идее... Да, брат,— сказал Павел Морозову,— ручаюсь, что тебе никак не удалось бы рекомендоваться мне «совершенно новым человеком» так, как это сделала за тебя твоя супруга... Может быть, ты, по свойственной человеку деликатности и смирению, кое-где умолчал бы... кое-где покраснел бы... кое-где замялся бы... Ну, а тут уж все начистоту рекомендовали... без всяких сомнений, недоумений...

— Вот это и плохо, потому что, в сущности, тут недоумений и сомнений очень много,— возразил Морозов серьезно.

— У тебя вечные сомнения! — крикнула Лизавета Николаевна.— Это уж черта твоего характера... Вот ты и переносишь свои личные недоумения на самое дело, которое...

— Которое?.. Виноват, извольте продолжать,— перебил Павел.

— Которое совершенно точно, ясно и определенно...

— Совершенно верно, сударыня... Я повторяю: мужчины никогда не обладают такою искренностью... таким, так сказать, прямолинейным отношением к делу, как женщины... Да, брат Петя, ты напрасно умаляешь значение своего дела... По-американски, черт возьми, устроено!.. Я не ожидал, что ты такой практик... Я полагал, что ты больше теоретик... И все на основании «последнего слова науки»?

— Что?

— А вот это подведение-то к одному знаменателю?.. А ловко! Я не ожидал, что «новые идеи» могут на практике давать такие блестящие результаты... А каковы рабочие?.. Мужики?.. Все кровь с молоком, здоровы... и трезвые... Вот это главное — для прямолинейности-то... Потому ведь пьяный человек, по сущности, более имеет склонность шататься семо и овамо... Какая уж тут прямолинейность!.. Ну и что ж, все это достигнуто дарвинским «подбором»?

— Ты, Павел, совсем изострился,— заметил Морозов, когда мы входили на лестницу террасы.

— Напротив... совершенно искренно говорю... Ну, скажи, пожалуйста: много ли у нас таких блестящих результатов подведения мужиков к одному знаменателю?.. Ты сам знаешь, какими слезами обливаются сельские хозяева в своих собраниях. Нет, брат, честь отдать тебе! Прямолинейно! Сам, думаю я, Угрюм-Бурчеев, незабвенной памяти, и тот бы в умиление пришел... А уже на что был практик по части подведения мужиков к одному знаменателю!.. Однако черт знает как я скоро стал ослабевать! — почти беззвучно произнес Павел и тяжело опустился на диван, когда мы вошли в гостиную.

Лицо его стало мрачно и сердито: казалось, в уме его мелькнула мысль о смерти. Морозов тоже заугрюмел; в выражении его глаз светились досада, обида и грусть.

— Павел, мы перестали понимать друг друга... Это плохо! — сказал он, не обращая внимания на последние слова Павла, когда Лизавета Николаевна вышла.

— Напрасно, мой друг, ты так думаешь!.. Значит, ты плохо усвоил себе то, что разумею я под словами «хамство идеи»... Ты думаешь, я не знаю, что тебя, как человека честной души, мучат недоумения и сомнения? Знаю, брат... Но знаю и то, что, не имея в виду ничего лучшего, ты рабски, как хамово отродье, тянешь старую канитель и не находишь сил порвать крепостные цепи, которыми приковали тебя к себе старые божки... Верно, брат, это? Верно ведь?

— Верно... Но верно и то, что не могу я идти и к вам... Если у нас хамство, как ты говоришь, то у вас...

— Свинство, хочешь ты, может быть, сказать? — перебил Павел.— Что же? Вали... не впервой... Слыхивали и такие словца... Только, брат, зачем же к нам?.. Мы к себе уж никого не зовем... Мы люди отпетые...

— Но ведь должно же быть у вас что-нибудь впереди, что вы ищете, к чему вы стремитесь...

— Есть, мой друг...

— Что же?

— Койка в университетских клиниках,— проговорил снова почти беззвучно Павел.

Морозова передернуло было от досады (он не любил непрямых ответов), но, взглянув в лицо Павла, только теперь, казалось, он понял, что тут уже с «жизнью покончен расчет» и остается одно: de mortui aut bene, aut nihil[1]... По-видимому, это ужасно поразило его; хотя он сам говорил, что «они — обреченные», хотя он чувствовал, что «стоило только дунуть, чтобы Павел рассыпался прахом», но так ощутительно почуять близость конца, так почти воочию увидеть веяние смерти над дорогим существом, как заметил это Морозов по лицу Павла, было ему не легко. Сострадание, прощение, любовь снова, как и раньше, согнали с его лица выражение досадливой грусти.

— Покой, брат, нам нужен... Но, понимаешь, абсолютный покой... Только в абсолютном покое, в смерти, и есть абсолютная справедливость,— тихо и медленно говорил Павел.— Чувствовал ли ты когда-нибудь эту жуткую потребность покоя-смерти? Нет, ты еще не чувствовал... Для этого нужно «отжить», как мы...

[1] О мертвых говорят или хорошо, или ничего *(лат.)*.

— Полно, Павел, полно... Это вздор,— заговорил с участием Морозов.— Знаешь это:

Еще работы в жизни много,
Работы честной и святой!..

В особенности для вас — художников...

— Нет, брат, и нам есть конец. Чувствую, что будет... В этих терзаниях мозг отупел... нервы притупились... Чувствую, брат Петя, мысль меня оставила... Уже и самые образы в моем воображении являются туманными, без плоти и крови... Случалось ли тебе наблюдать, как умирает в чахотке смышленый в своем деле врач? А мне случалось... Жутко, брат, со стороны смотреть было, а он мне рассказывает: «Вот,— говорит,— чувствую, как уже вся внутренность, все внутренние оболочки перешли в катаральное состояние...» Потом помолчит и опять заговорит: «А вот теперь,— говорит,— чувствую, как понемногу парализуется отправление органов... кишки уже парализованы...» Опять молчание... «А вот теперь, чувствую, и почки уж... и мочевой пузырь... Скоро, брат, скоро ad patres!»[1]. Каковы тебе кажутся эти «чувствую»?.. Ну, вот и я как художник чувствую, как мысль покидает меня... Мысль... А что мы без мысли? Что? Ведь она-то и есть «божья искра», которая согревала нашу душу, поддерживала нашу энергию, укрепляла нас в страданиях и... питала наше грешное тело!.. Без мысли никто не даст нам гроша... Погибла мысль — и мы погибли от нравственного и физического голода!

Павел стал бледен, только болезненный румянец пятнами лежал на его щеках. Он провел рукою по лбу и смолк.

— А знаешь ли, что мне этот лекарь после того сказал, пред самым уж концом? — спросил Павел.

— Что?

— «А все же,— говорит,— Павлуша, мы с тобой летом еще в Эмс хватим. Что же,— говорит,— и нам можно... У меня есть кое-какие гроши... ребятишкам хотел было оставить... Только бы вот весну-то переждать!..» Ишь чего захотел — в Эмс!..

[1] К праотцам (*лат.*).

— Ну, вот видишь,— сказал Морозов,— жизнь свое возьмет!

— Да, а через полдня он умер, этот лекарь-то... И выходит:

Надежда, надежда,
Мой сладкий удел!
Куда ты, мой ангел,
Куда улетел?

А скажи, пожалуйста, говорят, где-то здесь некий лекарь (кстати уж, коли пошло на лекарей)... некий лекарь Башкиров проживает?..

— Проживает...

— Слыхал я о нем кое-что... Ты его знаешь?

— Знаю... Да ты вот что... перестал бы говорить-то много... Ляг лучше... Вот тут и подушка есть...

— Ну, ладно... Я лягу, а ты мне все же расскажи про него, что знаешь... Я буду молчать и слушать... Может быть, и засну, так уж ты извини... На меня нынче спячка иногда находит. Зловещий, брат, признак.

— Будет тебе!

— А твоя супруга сюда не придет?

— А что?.. Лежи... Я предупрежу ее, не конфузься...

— То-то... А то я теперь надлежащим джентльменством не обладаю... А она все насчет «украшения жизни»... Все уговаривает, чтобы я здесь остался... «Для «высоких дум» самое,— говорит,— удобное место... Вы,— говорит,— скрасите нашу жизнь... А ведь эти подвалы, чердаки да «комнаты с небилью» — гибель для вас...» Еще бы! «Я,— говорит,— и Башкирова приглашу... А то,— говорит,— все мы врозь глядим,— вот,— говорит,— настоящего-то дела и не выходит». Славная она такая женщина, добрая... Да ведь и в Питере много было их, хороших-то женщин, а все же я утек.

— Ну, так или иначе, а я все-таки тебя не отпущу,— сказал Морозов.

— Да куда уж мне!.. Я, брат, и сам радешенек, что хоть есть приличное место для «исхода души»!.. Будет уж, помытарствовал!.. Да, ну так что же о Башкирове-то знаешь?

— Знаю я не особенно много,— сказал Морозов.— Вы, кажется, тоже интересовались им? — спросил он меня.— Так вот и кстати.

Павел вытянул вдоль дивана свои тонкие ноги, положил руки на грудь и сурово стал смотреть в потолок.

— Я только два раза и видел его, перед тем как он поселился около нас, в избе,— начал Морозов.— ...Однажды я его встретил в Москве, на студенческой квартире у одного довольно обеспеченного студента... Он только что кончил курс. Он уже и тогда поразил меня своею оригинальностью, а в особенности я был поражен тем, с каким уважением относилась молодежь к нему, к этой невзрачной, смирной, застенчивой личности... А он только и делал, что добродушно улыбался да краснел и потел... Говорить он, кажется, вовсе не умел... А между тем тут, по обыкновению, ораторствовали вдоволь, и каждый оратор в конце речи непременно обращался к нему с вопросом: «Как вы на это взглянете, Иван Терентьич?..» И все смотрели на Ивана Терентьича, пока он медленно вытягивал из-под дивана ноги и приводил в движение язык, чтобы только сказать: «Что ж! Ничаво... дело хорошее, ежели вообще-то взять...» И, изрекши это, опять усаживался в угол... К концу вечера хозяин, который, кажется, очень заискивал у Башкирова, обратился к нему опять, наверное уже с неоднократною просьбою — поселиться у него: квартира была просторная, светлая, сухая... Гости тоже присоединились к хозяину... Башкиров смутился — и не соглашался. Его допрашивали: почему? Приводили все удобства этой квартиры, сравнительно с тою конурой, в которой он жил. Башкиров наконец выпалил: «Да чаво ж я от своих хозяев уйду? К ним, окромя меня, никто не пойдет... А я все ж им малую толику в доходную статью вношу...» С тем и ушел. Начались, конечно, о нем толки; говорили о том, что он жил с какими-то малярами, которые уступали ему маленькую, сырую комнатку, брали с него пять рублей в месяц и все эти пять рублей всею артелью ежемесячно пропивали... Иные считали такой образ жизни оригинальничаньем со стороны Башкирова, но другие жарко его защищали, как может защищать юность своих любимцев.

— Только вы его и видели? — спросил я.

— Нет, и еще раз видел... Я вам опять признаюсь, что, несмотря на жаркую защиту молодежи, Башкиров своею утрировкой уже и тогда произвел на меня впечатление не в его пользу. Но... вот год спустя после этого один молодец, большой руки либерал, затащил меня к нему. Мы пришли к нему уже вечером. Пробравшись через темный и грязный двор, мы вошли в сени, совершенно поглощенные мраком, и целые полчаса искали дверную скобку; наконец нашли. В отворенную дверь повалил пар и послышались целые десятки голосов. Вокруг стола сидели рабочие и пили чай; на столе горела сальная свеча, отчего в большой комнате было очень сумрачно. На наш вопрос нам указали на маленькую дверь в стене. Отворив ее, мы, наконец, попали к Башкирову. Комната была длинная и просторная, но почти ничем не меблированная, кроме письменного стола с лампой, покрытой бумажным зеленым абажуром, трех стульев, двух простых сосновых табуреток, кушетки, очень похожей на корыто, так как средина в ней провалилась, и железной кровати, купленной по случаю в больнице, даже с доской, прикрепленной на палке у изголовья; на ней, кажется, и тогда еще я заметил полустертую латинскую надпись. Башкиров встретил нас в потертом пальто, с растрепанными волосами и в ночной семинарской рубашке, завязанной у шеи грязными тесемками... Черные брюки у него попали за спустившиеся от дряхлости рыжие голенища, из одного сапога высовывалась какая-то тесьма, которую он, ходя, возил за собою по полу... Как видите, я до мелочей все заметил, и это именно потому, что я был уже предубежден и видел во всем утрировку... Может быть, впрочем, ее и не было, но уже все так складывалось, как нарочно... Встретил он меня с моим либералом не особенно радушно, хотя либерал мой и называл его своим приятелем. У него были гости: два мастеровых в нагольных полушубках, которые тотчас же было начали прощаться, но он их не пустил и усадил опять. А на кушетке сидела одна чрезвычайно странная личность: я не мог определить, сколько ей было лет. Длинные нечесаные волосы падали на плечи, лицо заросло белесовато-ры-

жею бородою, глаза блуждали; поверх выпущенной за пояс рубахи надет был широкий засаленный полукафтан, какие носят послушники и дьячки; из-за неприкрытых пол смотрели грязные белые штаны. Пока я вглядывался в эту странную личность, она вертела бестолково пальцами и, наконец, вдруг схватила стоявший за нею у стены посох с птицей вместо набалдашника... Башкиров, разговаривавший до этого с моим спутником, который предлагал ему принять участие в какой-то филантропической затее, тотчас же обратился к юродивому; этот понес обычную чепуху, в виде откровенных изречений — об отрешении, о пустыне... об обличениях на площадях, что будто бы он проповедовал на базарах, за что «терпел» и «нес крест» по полицейским кутузкам. Башкиров, нужно вам сказать, с чрезвычайным вниманием вслушивался в слова юродствующего. Мой спутник напрасно старался прервать эту болтовню. Башкиров только мельком взглядывал на него, мыча что-то в ответ, и опять обращался к юродивому... Это уже выходило из всяких границ, по крайней мере по мнению моего спутника. Он не вытерпел и, как-то заегозив на стуле, вскрикнул: «Послушай, Башкиров! Ведь это черт знает что такое! Неужели тебе не наскучило слушать дребедень дармоеда?..» Как вы думаете, что сталось с этим застенчивым, тихим и смирным Башкировым?.. Он освирепел: башкирские глазки его обратились просто в узенькие щелки, из которых сверкал огонь, лицо налилось кровью, мне даже показалось, будто волосы поднялись на его голове... Он медленно повернулся к моему спутнику и отвечал не тотчас, по обыкновению; помолчав секунд десять, он проговорил своим обыкновенным неторопливым голосом: «Ежели кому неохотно уважать моих гостей, такового прошу не утруждать себя знакомством со мною».— «Ну, ты сегодня чрезвычайно странно настроен,— перебил его мой знакомый, в замешательстве ища шляпу.— Мы коли придем лучше к тебе в другой раз...» Башкиров молча опустился на стул и, пыхтя, смотрел на нас, как будто дожидаясь, когда мы уйдем... Признаюсь вам, положение мое было невыразимо глупое... Выбравшись на божий свет из мрачного затхлого подвала, с которым так гармони-

ровала и душная духовная атмосфера в нем обитавших, я выругал и своего либерала, и Башкирова. Я был ужасно рассержен... С тех пор я уже не сталкивался близко с Башкировым; но его красное, освирепелое монгольское лицо так и застыло в моем воображении... Я и до сих пор иначе не представляю его себе... Боюсь я его,— закончил Морозов и улыбнулся. Павел молчал.

— Павел, ты спишь? — спросил Морозов.

— Кто? Я? — вздрогнул Павел.— Нет, кажется, я не спал... кажется, я о чем-то думал... Да!.. Вот что: пойдем-ка к тебе в кабинет... Я там, кстати, выпью... Мне легче будет... Но вот еще что: у меня есть заяц.

— Какой заяц?

— Собственно уж не заяц, а инвалид заячьей породы. Нога у него перебита. Мальчишки, чай, деревенские, шельмецы!.. Экая у них эта дикость. Никакой гуманности! Я отдал его на соблюдение твоим фрейлинам. Так уж ты, пожалуйста, прикажи им, чтобы пособлюли его.

— Ну, хорошо, хорошо!

Павел пошел в кабинет, а я стал прощаться с Морозовым.

— Как он своими «переворотами» напоминает мне такого же чудака — моего отца,— сказал Морозов, провожая меня.— Такой же был! Должно быть, и в этом сходстве есть какая-нибудь органическая связь. Может быть, потому он мне так и дорог.

IV

На третий день, ранним утром, свершая свой обычный моцион по полям и рощам, я случайно проходил по задам морозовской усадьбы, сплошь заросшей в этом месте густым парком, почти обратившимся в лес. Из маленькой калитки, уцелевшей в полуразрушенном заборе, мне навстречу показалась фигура, на длинных тонких ногах, в поярковой шляпе, с саквояжем в одной руке и с лукошком в другой. Я тотчас же узнал в ней Миртова.

— Павел Иваныч, куда вы? — окликнул я.

Миртов остановился и стал вглядываться в меня.

— А! это вы! — сказал он, как будто несколько смутившись.— Вы туда? — показал он по направлению к морозовскому дому.— Пожалуйста, не говорите, что меня встретили. Я утекаю-с. Да-с, утекаю, самым мазурническим образом... яко тать в нощи,— прибавил он почти шепотом.

— Да что же такое?

— Не мог-с, никак не мог-с иначе. Такая уж натуришка! Это я не впервой так. Ну, знаете, если уйти по-джентльменски, так пришлось бы объясняться. Я их люблю... и уважаю... поверьте. Ведь они, в сущности, хорошие, славные люди... Петр Петрович очень хороший человек, ну и супруга его... Да?

— Конечно.

— Ну, так вот видите: стали бы упрашивать, требовать объяснения... А я бы не устоял, никак не устоял бы. Потому что, первым делом, я никого не желаю огорчать.

— Вы куда же?

— Я? К Башкирову-с.

— Да вы идете в противоположную сторону! Вы знаете, где он живет?

— Доподлинно не знаю, но спросил бы когонибудь. Вы не укажете ли мне? А сюда я зашел-с нарочно... место глухое... так чтобы потихоньку пройти...

— Хорошо. Пойдемте вместе, я вам укажу.

— И прекрасно! Отправимтесь!

Павел, обремененный всем своим имуществом, зашагал впереди меня.

— Но что за причина? Ведь вы больны. Вам покой нужен. Вы же сами третьего дня, по-видимому, рады были отдохнуть в тишине деревенского уединения?

— Это так-с... Да... верно... Только уж умереть мне иначе нельзя, как в клиниках. Это также верно. А утек я потому... Видите: все тут уж очень «прямолинейно»... Эти эксперименты над мужиками «по последнему слову науки»... Новые фермеры, откормленные с вящими научными целями... А у меня грудь от этих «пейзажей» щемит. Нет, уж вы, пожалуйста, не говорите им, что встретили меня. Ведь они люди хорошие. Зачем же их огорчать!.. Теперь куда же прика-

жете повернуть? — спросил он, когда мы прошли мимо парка.

— А вот сюда.

Павел нарочно, кажется, зашагал быстрее, чтобы избегнуть объяснения со мною.

Мы прошли по задворкам все село. Я показал ему избу Башкирова и распрощался.

В этот же день я должен был уехать верст за двадцать. Мне пришлось навестить Морозовых только спустя уже неделю. Меня встретила Лизавета Николаевна и тотчас же, не дожидаясь моего вопроса, сообщила мне об уходе от них Миртова.

— Я уже знал это в тот же день.

— Вы знали? Что ж вы не сказали нам? Отчего вы не зашли к нам тогда?

— Я обещал ему не говорить вам.

— Господи! Что это за странные люди все у нас! — сказала Лизавета Николаевна.— Только посредственность у нас нисколько не странна, но все, что маломальски выше этой посредственности, все это — странные люди, к которым не знаешь, как подойти, не знаешь, как любить их. Петя после его ухода стал еще мрачнее.

— Вам неудачи все.

— Да. Я теперь еще яснее вижу, что для нас, может быть, все кончено. И какой он чудак, этот Павел Иваныч. Ведь он так слаб... ведь он мог умереть где-нибудь на дороге!

— Где ж он теперь?

— А вот Петя вам скажет,— сказала Лизавета Николаевна, когда в зал вошел Морозов.

— Вы спрашиваете о Павле? — спросил он меня.— Вот полюбуйтесь,— прибавил он каким-то разбитым голосом, кладя предо мною на стол письмо.

Я привожу его дословно (впоследствии я получил от Морозова это письмо вместе с другими бумагами).

«Дорогой мой Петр! Наконец я в центре самого лучшего тепла и какой-то милой, безмолвной тишины, то есть в клинике, в 18-й палате, на Рождественке. Да, брат, наконец в клинике! Наконец на один шаг от абсолютного покоя... чую близость могилы, которая

обоймет меня своими холодными объятиями, и из нее уже некуда будет утечь!.. Finis!..[1] Впрочем, и теперь я уже никуда не могу утечь: ноги отнялись, больше лежу и созерцаю. Большую часть времени пребываю в забытьи. Вот оно — предчувствие абсолютного покоя — смерти. Я уже и теперь почти мертв, почти уже снизошел в область этого абсолютного покоя, если бы... черт бы их совсем побрал!.. если бы слишком усердные юные жрецы науки не напоминали мне ежедневно, что я жив, обращаясь со мною, как с автоматом, с трупом. Мне это ужасно обидно, и я постоянно ругаюсь с ними, желая хоть чем-нибудь заявить, что еще я живой человек, что я еще не просто cadaver[2], любопытный для них с научной точки зрения. В особенности ненавижу я одного из них: какой-то прилизанный студент с оловянными глазами, до умопомрачения обуянный желанием выказаться пред профессорами. И ради этого он мучает меня по целым часам! Но что всего обиднее: по роже его вижу, что подлецу капитал хочется нажить, из науки некую дойную корову сделать!.. Всем, брат, хороши клиники, только скверно сознание быть препаратом этих господ. Впрочем, от них я начинаю избавляться. Кажется, решили, что я скоро умру и потому интересного во мне уже мало. Но зато явился другой мучитель. Как раз рядом со мною поместился какой-то оболтус, выше сажени ростом, с телячьим взглядом и брайтовою болезнью. Ты не можешь представить, чего стоит мне этот человек?.. Неужели это еще не последнее испытание, посланное мне жизнью, даже без возможности «утечь» от него!.. Нет, уж это, должно быть, последнее. Представь, я лежу, нарочно закрывши глаза, но сам чувствую на себе телячий взгляд этого болвана. Он с невероятным постоянством выжидает, когда я открою глаза. И едва я успею их открыть, чтобы хоть только чихнуть, как уже с широчайшею улыбкой оболтус несется ко мне и начинает, и начинает. Ни один бес на том свете не придумает хитрее мучений. В продолжение двух часов он сыплет на тебя статистикой, финансами, политическою эко-

---

[1] Конец *(лат.)*.

[2] Труп *(лат.)*.

номией, Вреденом и Бакстом, Шульце-Деличем и Бастиа и в заключение вынимает из-под подушки рукопись. О, ужасная рукопись! Я запомнил ее заглавие, чтобы не забыть и на том свете. Она называется «Опыт строго научного исследования о благосостоянии народов: ссудо-сберегательные кассы, как вернейшее средство... от блох, клопов, тараканов...» Тьфу!.. нет, не так! (извини, не хочется зачеркнуть), как «вернейшее средство от современных экономических зол»... Эту рукопись он называет «рассуждением» (!), имеющим быть представленным на степень «молодого нашего ученого»... то бишь на степень магистра Московского университета. С каким удовольствием утек бы я от этих «молодых наших ученых» на мою милую Грачевку! Но черт с ним! Говорят, завтра переведут его в другую палату. И тогда уж наверно — абсолютный покой!.. Постой, дай отдохнуть... Я ведь пишу урывками! Дай полежать часок в забытьи: славно уж очень это забвение-то! Славно и то, что я умираю один, один, в полном смысле этого слова. Стариков моих ведь уж давно нет вживе. Друзей... но виноваты ли они, что я всю жизнь «утекал» от них?.. Кто же виноват в том, что я один? Я сам, что ли? Ну, подожди до завтра. N3. Заяц мой издох доро́гой. Не вынес и он, бедняга, цыганства!»

«Утро. Я уже встал. Все еще спят... Тихо... Да по утрам и чувствую я себя лучше. Побеседую с тобой еще. Ты, вероятно, на меня огорчился, что я и от тебя утек?.. Что делать, Петруша! Это — фатально... Ты сам ведь человек умный, и, кажется, сам развиваешь последовательно теорию «российского цыганства»... Что ж огорчаться-то?.. Но ты, может быть, огорчился не на то, что я утек вообще, а на то, что я утек к Баширову?.. Брат! Ведь я еще тогда живой человек был, а не «загробный», как теперь. (С тех пор как я уже лишился возможности «утекать», а следовательно, заживо, так сказать, поступил в полное распоряжение меня окружающих, я потерял свою личность, провиденциальный смысл ее, специфическую сущность; ergo[1] — я уже теперь «загробный».) Жажда искания

[1] Следовательно *(лат.)*.

«правды жизни» жила, брат, во мне до того последнего момента, когда подкосились ноги и я уже очутился не в состоянии ходить на поиски этой «правды» и утекать от «неправды»... Мог ли же, брат, я отказаться услышать еще новый ответ на запрос о «правде жизни»?.. И я утек от тебя, но утек и от Башкирова, утек после того еще раз от тех, кого встретил после него... и, наконец, как видишь, добрался до предназначенного мне свыше пункта — до клиники. Может быть, ты хочешь знать, почему я так скоро утек и от Башкирова?.. Как тебе сказать? Вообще это трудно объяснить... Ведь и все свои перевороты я совершал как-то больше непосредственно, чем ясно сознательно, больше под давлением каких-то смутно чувствуемых мною стимулов, вроде, например, того, что у меня грудь начинает щемить, сердце ныть или вроде внезапно охватывающей меня боязни... (Скажешь ты, пожалуй, что это плохие резоны; я и сам знаю, но я привык верить им — и редко ошибался... Непосредственно чутье имеет свои права.) Нечто вроде этой внезапной боязни охватило меня на другой же день моего пребывания у Башкирова. Но только я испугался не его, как ты. Он совсем не так страшен, как показался тебе. Он человек добрый, славный. Иногда он проделывает кое-какие «выверты», ну, да русский хороший человек без этого еще не может обойтись, нужно полагать... Это, полагаю, оттого, что хороший русский человек слишком способен чувствовать сам то, что он хороший человек,— как ребенок, сделав похвальное дело, ходит гоголем, с блестящими глазами, с пылающими щеками... Это подчеркивание хороших черт в себе — удел молодости, в первый раз почувствовавшей в себе самобытные силы... Со временем это пройдет, как проходит это подчеркивание, когда юноша сделается мужем. Принял меня Башкиров радушно и предложил даже полечиться у него «по-деревенски»... И я рассчитывал надолго остаться у него. Когда я вошел в его чисто прибранную избу, просторную и вместе уютную, на меня повеяло чем-то родным, близким... Детством моим пахнуло на меня... Припомнилась родная изба... В переднем углу висел образ Спаса, хорошего, так называемого «строгого» письма; перед образом лампадка (мать у Башкирова — богомольная старушка). Под образом

сидел постоянно седой старик, глядевший кротко своими, уже давно, как кажется, ничего не видящими очесами. Седая борода его свалялась и висела двумя длинными косицами. Он был в простой изгребной рубахе и синих портах, босиком... Тихий, вздрагивающий свет лампадки лился на его покойное, старческое лицо... Я не мог оторвать глаз от этого старика... То напоминал он мне моего деда, то вызывал в памяти ряд родных деревенских картин... Он вновь вызвал было на мгновение во мне творческую мысль. Он напомнил мне другого такого же старца, которого я раза два прежде встречал на сельских базарах в храмовые праздники. Может быть, и ты припомнишь такую картину. (Не велено мне много писать, ну, да уж не могу удержаться! Вспомню хоть последний разок свою родину!)

Большая площадь в селе полна народа, двигающегося у возов. В конце площади — каменная посеревшая церковь с маленькою оградой вокруг; зеленая лужайка близ нее; на лужайку падает длинная тень, и в этой тени кучка баб с котомками, слепые нищие... С колокольни несется пронзительный звон «к отходу»; одни выходят из церкви, другие, запоздавшие, торопятся в нее... Слепые нищие стараются петь еще громче... Но вот в стороне вы видите толпу... Она собралась около высокого седого старика...

Вот уже двадцать лет, как и зимой, и летом, в валеных, истоптанных, с пробитыми подошвами сапогах, в засаленной, когда-то сшитой из хорошего «дворянского» сукна чуйке, с головой, покрытой густою седою гривой вместо шапки, ходит он в сопровождении своего неизменного спутника, «глупенького» мужичонки Стешки, по всем окрестным градам и весям... Давно всем и каждому знакома и его широкая, сбитая в войлок седая борода, которую приглаживает он заскорузлою ладонью, и его добрые, «по глупости», как говорят, глаза, и его высокий лоб, на котором многие видят следы бывшего у него прежде «крепкого рассудка»... Любил простой народ слушать этого «блаженного» старца, когда он, «изыдя на площадь» во время базаров, начинал «провещать» что-то, помахивая легонько своею клюкою и медленно поглаживая бороду... Часто прислушивались к его речам не только простой народ, а и «умные» люди —

сановитые купцы, образованные чиновники и начальство, да ничего не поняли в его мягко лившейся безалаберной речи... «И чего эти дураки его слушают!» — удивлялись только образованные люди... Но слушали его эти дураки не так, как люди образованные, не хитрым умом внимали его речи, а глазам их приятно было читать на его лице то «блаженное», что разливалось по его лицу и искрилось в его полубезумном взгляде,— сердцем и душой слушали они его... Подойдет к толпе старушка больная, долго и пристально взглядывает она на него и совсем ничего не слышит, а вдруг слезы и польются у нее ручьем, и польются... Шепчет молитву старуха, крестится и посылает «блаженненькому» всякие добрые пожелания... «Что, старушка, плачешь?» — спрашивает ее мимоходом бойкий и добродушно-любопытный сын народа. «А вот, красавец, Пименыча послушала... Посмотрела, как это от его лица такая ли мягкость да доброта исходит... Вот и плачу, и полегче мне стало...» — «Ну, дело хорошее! Так, так... От Пименыча речей, пожалуй, умней не станешь, а что душевнее будешь — это верно...»

Вот картина, вся освещенная ярким летним солнцем, обливающим своими лучами пыльную площадь, на которой совершается купля-продажа тяжкого народного труда...

Я передал все эти, охватившие меня воспоминания, Башкирову. «Ведь вы, известно, художники! — сказал он, добродушно улыбаясь.— А что вот ему с голоду пришлось было умирать под старость, так это тоже своего рода картина!..» И долго мы в этот вечер проболтали с Башкировым о народе... И ведь чудак — сам оказался таким же идеалистом! Как глубоко он чувствует и как беззаветно верит!.. Ну, мы, наговорившись, наконец, уснули... Старик давно уже спал на той же лавке под образами... Было два часа, а я еще не засыпал: вызванные стариком в моем воспоминании картины деревни, как в панораме, цепляясь одна за другую, бесконечною вереницей вставали в моем воображении... И... что я вижу?.. Во сне или наяву? В щель перегородки мне виден весь старик... Он поднялся, осмотрелся и, крадучись, стал развязывать на худых ногах онучи... Бережно, при свете лампадки, развернул он эти провонявшие и прогнившие

почти тряпки... Дрожащими старческими руками, боязливо и чутко оглядываясь, стал он считать... деньги!.. Мне стеснило грудь, слезы подступили к горлу... Я чуть не зарыдал... Я завернулся с головой в одеяло, но спать уже не мог... Едва забрезжилось, я поднялся, сказал Башкирову, что я ухожу,— и вышел. Старик уже стоял на крыльце и, обратясь на восток, молился, едва держась на трясущихся ногах и цепляясь рукой за перила крылечка... Он посмотрел на меня своими бесцветными глазами... Не обертываясь, я побежал прочь, все дальше и дальше от этого взгляда... Но он преследует меня и теперь! О, этот старик!.. Ты, может быть, спросишь меня, как и Башкиров: «Да что же тут такого?» Не знаю, не знаю, не спрашивайте меня... Я чувствую только, что мое сердце ноет и ноет, что демон лжи не оставляет меня даже у порога могилы...

Прости, больше не могу... Рука ослабела... Устал... Лягу сейчас. Если бы забыться! Но этот демон лжи, развративший мою родину!..»

Здесь письмо кончалось словами, уже написанными, очевидно, после: «До свидания, Петр. Когда ты получишь это письмо, я, вероятно, уже буду на Ваганьковском... Вспоминай иногда мою «злохудожную» душу!.. Таких, как мы, уже, вероятно, не будет больше или, по крайней мере,— не должно быть... Мы сделали свое дело:

Мертвые в мире почили,
Дело настало живым!

Вот мое завещание...»

— Он не умрет еще! — сказала Лизавета Николаевна.— Этот покой, который был ему так нужен, спасет его...

— Он умер,— промолвил Морозов.

— Умер?!

— Да. Я сегодня получил телеграмму из Москвы.

Мрачен был Морозов, говоря эти слова. По-видимому, посещение Павла и его скорая смерть произвели на его душу глубокое впечатление.

Глава девятая

НАКАНУНЕ

Наступившее ненастье надолго засадило меня в моей избе, тесной, душной, с маленькими окнами, с плохими рамами, привязанными бечевками к косякам, с бесконечным количеством мух и запахом кислой прошлогодней капусты, которую усердно ели мои хозяева, в ожидании свежей, пользуясь постом, запрещавшим им есть скоромное, которого у них оказалось очень мало. Мелкий дождь семенил с утра до вечера. Небо хмурилось кисло и слезливо. Скучно в ненастье досужим людям в городе, а в деревне еще скучнее. «Лоно природы» обращается в нечто грязное, мокрое, вязкое. Прекрасные поселянки становятся злее, хмурее и молчаливее. Очень могло случиться, что в качестве досужего человека я окончательно затосковал бы от деревни, если бы не произошло одно обстоятельство, которое несколько нарушило гнетущее однообразие деревенского ненастного дня. Это обстоятельство вызвало на улицу всю деревню и дало свежий материал для собеседований. Обстоятельство это, если хотите, было очень обыкновенное. Как-то раз, утром, когда вороны каркали особенно настойчиво и надоедливо, через деревню проносили покойника. Впереди, задолго еще до гроба, показался мальчуган с почернелой иконой в руках, которую он держал на лоскутке белого холста: чинно и солидно пространствовал он по жидкой грязи среди улицы; два других мальчугана, в огромных сапогах и в длинных материнских кацавейках, с шапками в руках и мокрыми головами, сопровождали его, стараясь возможно шире шагать через лужи. Немного спустя показалась крышка, надетая на головы, принадлежавшие, вероятно, тем двум синим сибиркам, которых длинные полы развевались на ходу из-под крышки. Наконец показался и гроб, вымазанный охрой, покрытый вылинявшим и окончательно потерявшим позолоту стареньким церковным покровом. Шестеро мокрых мужиков несли его на серых холстинах. За гробом торопливо шли две старухи; одна из них несла в руках узелок с медом и кутьей. В них я признал Павлу и Секлетею. Рядом с ними шел Башкиров,

в больших сапогах, в старом черном пальтишке до колен, без шапки, с повязанными носовым платком ушами. Несколько сзади ковылял хромой мужик, размахивая одной рукой, в которой была шапка, а другой — опираясь на подог, да какая-то старуха, сгорбившись «в три погибели», трусила за ними и постоянно сморкалась в полу. Едва процессия вошла в деревенскую улицу, как из всех ворот повысыпали обыватели. Все крестились, а многие подходили к гробу и кидали гроши в деревянную чашку, поставленную в ногах покойника, и молча кланялись Башкирову. Посредине деревни мужики, несшие гроб, остановились, чтоб перетянуть холсты с одних плеч на другие. Подошли обыватели и предложили от себя «смену». Трое усталых носильщиков согласились. Все разговаривали тихо, шепотом. Раздавались советы: «Держи, держи прямей! Подтяни в ногах-то! Господи Иисусе! В головах-то поддержите! Святый боже, святый крепкий! Ну, теперь ладно! Со святыми упокой!» Бабы, благочестиво сложив на грудях руки, разговаривали со старухами, поглядывая то на покойника, то на Башкирова, вставшего к гробу на смену одному из носильщиков. Дождь тихо барабанил в сосновую крышку и пробирался за ворота́ провожавших. Звонко упал в чашку последний грош; процессия тронулась. Оставшиеся обыватели перекрестились, вздохнули и долго еще всей деревней смотрели вслед уходившим. Потом сбились в кучу под одними воротами с навесом и долго о чем-то толковали.

После обеда погода начала разведриваться; серые тучи рассеялись и превратились в белые, молочные хлопья быстро мчавшихся по голубому небу облаков; заходящее солнце весело заиграло на мокрой листве и соломенных крышах изб. Собаки вылезли сушиться из-под ворот на солнечные полосы, легшие поперек улицы. Ребятишки отправлялись странствовать по лужам. Деревня повеселела. Я вышел на улицу и завел разговор с первым же проходившим мимо мужиком.

— Кого это мимо вас утром пронесли?

— Пронесли-то? Мужика пронесли. Из суседских,— отвечал мужик и переложил хомут с одного плеча на другое.

— Это тот, что вешаться хотел, да сняли?

— Он самый. От смерти, брат, не спасешь, коли она идет,— заметил он.

— Ну, а Иван-то Терентьич Башкиров при чем тут?

— Иван-то Терентьич? — переспросил мужик и стал внимательно всматриваться в меня.— А вот что я тебе скажу,— неожиданно прибавил он,— ты тут посидишь, что ли?

— Посижу.

— Ну, ладно, посиди коли... А я вот сейчас мигом вернусь, только хомут в избу снесу... Так смотри, никуда не уходи! — крикнул он с дороги, трусцой пустившись к своей избе.

Минут через пять он шел обратно уже без хомута и нес, тщательно рассматривая, какую-то бумагу. Не доходя до меня, он спрятал ее за пазуху.

— Доброго здоровья! — сказал он, подходя ко мне и снимая шляпу.— Вот и ведрышко господь дает. Слава те, господи! Теперь как-никак управимся. А то беда, хлеб весь, того гляди, погноили бы. И ты, чать, поди, рад солнышку-то? Болеешь ведь?

— Да, рад.

— Что ж у Ивана Терентьича не лечишься?

— У меня есть лекарь там, в столице, свой...

— Так, так... У вас свои лекаря. Иван Терентьич точно, по нашим, по мужицким, болезням больше, должно полагать?

— Нет, все одно: и он по всяким.

— Ну, где уж! Это, братец, кто что изобрал. Я однова вот в городе к лекарю затесался с дурьих глаз, а он на меня как крикнет: «Разве ты не знаешь, что я барынь лечу только!» Нет, это — кто к чему. Тоже ведь с нашим братом не всякому валандаться повадно. От нас барышей-то немного. Это уж кто разве из приятельства,— резонировал мой собеседник, а между тем потихоньку вынимал из-за пазухи бумажку.— Ну-ко, вот посмотри,— сказал он тихонько, всовывая мне бумажку в руку, и отвернулся от меня вполоборота, как бы отстраняя себя от всякого соучастия в дальнейшем ходе дела.

— Что же это? Письмо?

— Письмо... Ребятам своим посылаю... в Москву.

В Москве они у меня на заработках... В плотничьей артели,— говорил он, изредка оборачивая лицо ко мне.

— Так прочесть тебе?

— Да. Проверку нужно сделать. Потому самый этот писец-то баловаться стал.

— Как баловаться? Он из каких?

— Из наших, из крестьян... бобыль. Что насчет письма — золотой был человек, а теперь только смотри за ним в оба... Избаловался, да и шабаш! Пить, что ли, стал много: балует — да и конец!

— Как же он балует?

— А так вот: ты ему говоришь одно, а он тебе напишет что ни то непотребное... Намедничка что ведь придумал: пишет вот также от одного мужичка. Мужичок говорит: «Пиши: у матки твоей зубы болят», а он написал, что у матки все зубы за ночь повыпали, не пьет, не ест, пришли, вишь ты, ей новых зубов заморских на целый рот... Вот ведь охальник какой!.. Думаем поучить его когда при случае...

— Да ведь он вам читает?

— Читает, как же, как быть надлежит, а потом и объявится какое ни то непотребство... Ну-ко, прочти, да потише! А то услышит — осерчает. Не любит он этих проверок.

Я развернул четвертку серой бумаги, всю исписанную толстым, так называемым «полууставным» почерком, и стал читать. Мужик сидел ко мне по-прежнему боком, наклонив голову, и слушал, сняв шляпу, перекладывая в ней платок и постоянно приговаривая: «Так, так! Как следует! Что верно, то верно!.. Вот-вот, как есть, все мое слово, все!»

Я не стану утомлять внимание читателя воспроизведением всем известных приемов крестьянского письма с неизбежным «к любезнейшим нашим кровным», с «родительским благословением, навеки нерушимым», с отчетами о здоровье всей родни, составляющей чуть не полдеревни, и с вторичным переименованием ее же в отделе поклонов. Я постараюсь воспроизвести только одно место, может быть, небезынтересное для читателя. «А что насчет сведомленья вашего об Иване Терентьиче и, как просили вы, от артели поклон ему

передать, так мы все в точности по вашей общей просьбе исполнили, сами со старухой к нему в троицын день ходили и чаем от него угощались, а живет он по-прежнему, и в согласии с нами то ж по-прежнему, и мы им довольны такожде по-прежнему. А в волости нашей большой вышел сюжет...»

— Вот, вот и пошел... Вот уж я этого слова в жизнь свою не говорил,— перебил меня мужик.— Ну-ко, ну-ко, прочти еще... Вишь ведь, попутал бес!.. Это что же значит?

— Да ничего особенного... Дальше видно, что это означает просто «происшествие», сумятица вышла.

— Ну, это так... так... точно, что сумятица... Так чего ж он эдакое слово ввернул?

— Так, захотел ученостью похвастать...

— Это, пожалуй что... У него эта повадка есть. Он прежде-то к дворне был приспособлен, ну и нашвырялся около бар-то. Это верно... Так оставить это слово-то? А то уж измени лучше, бога для!

Я обещал ему поправить и продолжал читать: «Старух наших Павлу и Аксентью суровецкие на месте их жительства очень убеспокоили и, что касательно земли и разных наложениев, утеснили. Слух идет, что от богатеев это все учинилось. А старухи были в большом огорчении, с миром и старшиной тягались. Слышно, уйтить хотят. А Иван Терентьич, слышь, у старшины по этим делам был и со стариками говорил, хлопотал, да тем временем старухи сами решенье уставили — отойтить. По сей причине старшина наш, Филипп Иваныч, просит себе у начальства увольнение, и как все это покончится — одному богу известно; о старухах же известим. А они вам кланяются и просят нижайше об этом отписать. А Иван Терентьич всем кланяются и будет он к осени опять в столице. И засим мы с маткой живы и невредимы».

— Так, так... это все точно,— перебил меня мужик,— только я тебя попросить хотел бы: пропиши ты тут еще, сделай милость (вот тут чистое местечко осталось), пропиши насчет вот покойника-то, как и что: Иван, мол, Терентьич за ним ходил неустанно, как его с петли сняли, и схоронил на свои капиталы (у мужика-то только одна матка и была старуха, чуть

с голодухи не померла), сам на вечное упокоение провожал!

Я сделал мужику все, что он просил.

Наступающие после долгого ненастья ведренные дни бывают как-то особенно хороши: воздух, еще несколько влажный, мягок и свеж; вымытая зелень блестит ярко и пышно, как будто все убралось, вычистилось, выходилось под праздник; по голубому небу весело бегут белые облака, словно гоняясь с вьющимися вверху стрижами и ласточками.

На другой день, совершенно неожиданно, на пороге моей отворенной комнаты появилась сгорбившаяся в дверях фигура Морозова.

— Вот и я к вам забрел,— сказал он, с добродушно-суровым выражением подавая мне руку.

— Милости прошу!

— Я все поджидал вас к нам, не утерпел, сам пришел...

— Садитесь, будем чайничать...

— Нет, чайничать не стану, а так побеседуем.

Он было присел, но тотчас же, по обыкновению, поднялся, зашагал по комнате, скрипя половицами, и с добродушной иронией стал осматривать мое «обиталище». Несмотря, однако, на его старание придать своему посещению вид простого, обычного визита, я заметил по его лицу, что оно не было обычно, что он что-то обдумывал; вообще заметно было, что он пришел неспроста.

— Что вы поделывали за это время? — спросил я.

Он быстро повернулся и сел к окну на лавку.

— Собственно, дела никакого не делал, а, если хотите,— приканчивал дела и итоги подводил.

— Итоги? Чему?

— Всему. А прежде всего делам по имению жены, в качестве честного управляющего, который оставляет свой пост.

— Значит, снова снимаете свои шатры? — спросил я шутливо и посмотрел на него. Он опять поднялся и стал ходить, потрепывая бороду.

— Да, снова снимаю свой шатер,— поправил он меня,— должно быть, пора...

— И Лизавета Николаевна?

— Нет, уж это зачем же!.. Будет.

— Одни?

— Один. Что же тут особенного? Нам бы давно уже не мешало брать пример с народа. Беспокойный, неусидчивый мужик, отправляющийся шляться по лицу бесконечной великой и малой России, в поисках за «устоем», за тем, «где лучше», не возьмет с собой жены. Вот, когда найдет этот устой...

— А если не найдет?

— Да, и это может быть... очень может быть. Я вам расскажу про одного такого чудака, очень близкого мне человека. Он уже давно умер. Это был мужик сообразительный, бойкий самоучка. Благодаря этим качествам он скоро пошел в гору, нажил денег и открыл даже собственную фабрику. Энергия и деятельность его были поистине изумительны; не имея раньше за душой сломанного гроша, презираемый всеми, с кем ему приходилось конкурировать, ежедневно бившийся из каждого рубля насмерть, он выказал замечательное терпение и выносливость. Наконец добился всего, чего желал, и именно самостоятельности и какого-то злорадного довольства, что он может теперь плевать в бороду тем, кто прежде его гнал и презирал. И он действительно наплевал. Когда стали лебезить пред ним, он выгнал всех. Семья его вздохнула: супружница завела себе приятельниц и налегла на самовары, которых по десяти в день выпивалось в приятной беседе. Ребятишки щеголяли в плисовых кафтанах, ставили вместо бабок в кон пятаки или писаные пряники. Казалось, чего лучше? Но чудак загрустил и зачудил. Не прошло и полгода, как он запил. Его дом с утра до ночи был полон самой оборванной, самой бесшабашной беднотой. Она тащила правдами и неправдами все, что ей попадалось под руку; сам он раздавал пригоршнями ей деньги, и раздавал с какой-то лихорадочной торопливостью, как будто боялся, что вот-вот скоро заметят это, и целый кагал родни, с женою и ребятишками, повиснут ему на руки и заголосят: «Сумасшедший! Сумасшедший! Вяжите его! Живота своего не бережет!» Действительно, скоро так и случилось, но уже было поздно: он успел раздать все, что у него было. Ужасно было выражение его лица в то время,— вы-

ражение насмешливое, злое, когда он смотрел, как жена его с ругательствами каталась, как помешанная, по полу, в отчаянии, что ее лишили счастия выпивать десять самоваров; как ребятишки ходили вокруг него злыми волчатами и, подзадориваемые окружающими, набрасывались на отца с кулачонками, с сверкающими глазами. Как много было в них благородного негодования против сумасшедшего, лишавшего их возможности есть писаные пряники! Но вот, наконец, чудак не вытерпел и в один прекрасный день, отколотив жену, выпоров ребятишек, взял палку, подвязал за спину мешок, надел лапти и ушел...

Морозов прошелся несколько раз молча и вдруг озабоченно стал рыться в боковом кармане.

— Впрочем, я пришел к вам вовсе не затем, чтобы рассказывать про чудаков...

— А это интересно. Что же сталося с этим чудаком и какое имеет он отношение к вам?

— Что с ним сталось, об этом не нужно много говорить: он скоро нанялся в другой губернии на фабрику, выписал к себе семью — и потекла обычная тяжелая рабочая жизнь... Так он странствовал с места на место... до смерти. А что касается его отношения ко мне, к «моей истории»... я вам на это одно могу сказать: он был очень близкий мне человек, очень близкий... А пришел я к вам вот зачем...

Морозов сел к столу и, вынув из кармана пакет, положил его перед собой.

— Вот зачем,— повторил он, повертывая пакет в руках.— Видите ли, у меня здесь мои записки... Так, иногда находили на меня глупые полосы откровенности... Впрочем, и по другим побуждениям. Собственно, я очень мало предаюсь личным излияниям, но я люблю иногда записывать все выдававшееся в моих глазах. Мне приходилось сталкиваться с разнообразными личностями, в разнообразных положениях, с различными «направлениями»... Так вот это я и записывал... Сам я с своими записками, по крайней мере теперь, ничего не могу сделать... Возьмите-ка вы их. Думал оставить жене, да она ничего из них, кроме «вечного памятника любви», не сделает. Так вот вы и возьмите. Как только придет весть...

— Да вы уж не умирать ли собираетесь? — в невольном изумлении вскричал я.

— Нет, я не собираюсь. Но почему-то мне думается (Морозов лихорадочно стал повертывать в руках пакет все быстрее и быстрее), что вряд ли я вернусь... У меня есть предрассудок: если навстречу попадался покойник, я всегда ожидал, что в моей жизни произойдет какая-нибудь радикальная перемена. И ведь всегда так случалось! Вчера я еще собрался было к вам, и о записках у меня не было и мысли, но недалеко от нас встретил покойника. Тут был и Башкиров. Я тотчас же вернулся домой и принялся приводить эти записки в порядок. А сегодня, как видите, принес их к вам. Вы, может быть, из них что-нибудь и сделаете...

— Но все же я не понимаю, к чему завещание-то? Ну, не сделаете здесь, сделаете в другом месте.

— А есть у меня, видите ли, другой предрассудок (у русского человека, как романтика по преимуществу, очень много предрассудков: ни наука, ни скептицизм, ни жизнь, часто очень неласковая, не могут еще выбить их из него)... Мне всегда казалось, что мы, русские, очень умеем умирать за других, даже за такое дело, в которое только смутно верим... Но как скоро это самое дело будет наше, будет притом вполне для нас ясно и определенно, ни за что не решимся пойти за него. У нас тотчас же начинается гамлетовщина, анализ, расчет. Так вот я и думаю, что и со мной будет в конце концов то же: за свое дело, реальное, я жизнью не пожертвовал, а за романтическую идею, пожалуй, умру...

— Полноте, что вы!

— Конечно, это — предположение... мое личное предположение, но все же...

Петр Петрович замолчал и задумался. Меня поразила его речь; он говорил теперь не так, как прежде; в его словах уже и следа не было добродушной ядовитости и раздражения: напротив, в ней звучали тоскливые, тихие, грустные ноты, какие издает постепенно ослабевающая струна.

— Вот что еще: не говорите пока ничего жене. Я лучше сам постепенно приготовлю...

Он опять помолчал.

— И вот еще что: у меня есть один воспитанник... там, в Москве, в техническом училище он... Он из крестьян, мальчиком я его взял. Вы его не знаете... Так вот он приедет скоро. Я ему оставлю кое-какие делишки: артель эту, ну, и другое. Я обо всем ему писал подробно... Так вот он приедет... Ну, конечно, юноша. Будет спрашивать обо мне... Ну, за жену я ручаюсь... А так как после жены знаете более или менее мою «историю» только вы, да еще одна личность... так я просил бы вас...

Петр Петрович остановился и замолчал, как бы ища подходящего выражения. Но он не нашел его. Он вдруг подошел ко мне и, крепко пожимая мои руки в своих, сказал: «Вы понимаете, что я хочу, чтобы сказали ему... Молодость и вера... Главное — вера... Вот что хотел я, чтобы сберег этот юноша!»

Петр Петрович сел и закрыл руками лицо.

— Впереди меня — тьма, нерассветная тьма,— продолжал он, не отнимая рук,— кругом и сзади — поверженные идолы и потухшие алтари... Я ничего не вижу, не ощущаю, кроме неуловимо быстро сменяющих одна другую стихийных метаморфоз, из которых последняя уничтожает созданное первою. Сжигается то, чему поклонялись, и снова поклоняются тому, что сожигали... Вот каков результат двадцатилетнего опыта. Посмотрите, у меня уже волос седой пробивается... Кажется, я имею право сказать, что назади кое-что испытано... И этим-то результатом я должен отвечать всему, что свежо и молодо, в ком еще бьется бессознательно пульс жизни?! Нет, никогда не повернется у меня на это язык. Пусть бьется этот пульс, пусть вера дольше, как можно дольше поддерживает это биение. Я никогда кощунственно не посягну на эту веру... Пусть... Придет время, и сама собой разверзнется эта пропасть, где... где,— как это говорили поэты?..— «где будет тьма без темноты, где будет бездна пустоты, без неба, света и светил...» Видите, и я когда-то не прочь был поэзией заняться!

— Поэзия поэзией, а знаете что? Мне кажется, вы сделали слишком поспешное умозаключение, слишком поспешили «итогами»... Потому, конечно, что чересчур преувеличили свою опытность... По-моему, жизнь, по

самой сущности своей, никого не оставляет без ответа, никого не ввергает «в бездну пустоты»... Мне кажется, какими бы струнами ни звучала душа человека, он непременно найдет себе в жизни отклик... Ответов, которыми располагает жизнь, бесконечное множество. Только была бы охота искать... Если бы ваша опытность была в тысячу раз больше, если бы вами были поставлены себе самые крайние вопросы, то и тогда вы не имели бы права сказать, что жизни нечем ответить вам. Всмотритесь хорошенько, поищите, и вдруг пред вами, где вы и не ожидали, предстанет этот ответ в лице какой-нибудь замухрястой бабенки, шляющейся по богомольям, или какого-нибудь чудака, вроде приведенного вами... Скажите: вы ведь знаете Башкирова?

— Да, знаю...

— Что это, по-вашему, за личность?

— Башкиров? Башкиров — фанатик... Очень может быть, что Башкировы, эти ходячие односторонние оригиналы, сделают больше, чем мы, любители общих идей, искатели какой-то всеобщей гармонии. Нам всякий диссонанс режет ухо... Мы — аристократы, идейные аристократы...

— А знаете ли что, Петр Петрович? Меня чрезвычайно интересует Башкиров... Сегодня я пред вашим приходом совсем было собрался к нему... И вот по какому поводу...

Я передал ему вчерашнюю похоронную сцену и затем содержание письма, которое читал мужику, с необходимыми к нему дополнениями относительно знакомства моего с Павлой и Секлетеей.

— Ну, что же-с?

— А то, что пойдемте-ка сейчас к нему вместе. А?

— К Башкирову? Зачем? — Морозов как будто был несколько удивлен и даже испуган.

— А может быть...

— Что может быть? — быстро переспросил он.

— Да ведь вы, в сущности, очень мало его знаете. Притом же вам должно быть известно, что он «отвечает» Катерине Егоровне... Что у него, значит, есть «ответ», которого нет у вас...

— А что, как вы думаете, вернулась Катерина Егоровна? — спросил меня Морозов вместо ответа.

— Не знаю. Но нужно полагать, что вернулась, судя по ее словам... Так что ж, идемте?

Морозов ходил вдоль комнатки и молчал; потом взял со стола свою фуражку и, комкая ее в руках, еще прошелся несколько раз. Я сел набивать папиросы.

— Нет, незачем!.. Теперь совсем незачем. Теперь уж поздно... Знаете: переломанные кости хорошо и быстро срастаются только в юности,— вдруг заговорил он.— Прощайте! — Он подал мне руку и, крепко сжимая в ней мою, продолжал: — Прощайте! Наверно, я с вами не увижусь здесь... Может быть, впрочем, что после где-нибудь и свидимся. Если же нет — не поминайте лихом... Вот здесь (он показал на лежавший на столе пакет)... когда прочтете, вы, может быть, будете лучшего обо мне мнения... Во всяком случае, мне было бы обидно, если бы вы думали обо мне плохо... Я вас знаю давно, и вы — единственный человек, которому я могу доверить свою «историю». Когда придет время, вы прочитаете ее и, если будет возможно, прочтите Кате... Катерине Егоровне... она поймет... Но не юноше, о котором я говорил вам... Вы знаете, чего я не хотел бы, чтобы знал этот юноша... Прощайте!

— Да надолго ли по крайней мере?

— Может быть, надолго; может быть, и нет!..

Он надвинул фуражку на глаза, и, сгорбившись снова в моих низеньких дверях, его длинная фигура скрылась. У меня сжалось сердце, как будто что-то ушло из него и оставило после себя пустоту. Я любил Морозова, любил его той привязанностью, которая никогда не высказывается, не выражается ни в каких особенно приятельских формах (мы всегда были с ним на «вы» и не допускали между собой никакой дружеской фамильярности); но я любил как-то издали любоваться его симпатичною личностью, его добродушной угрюмостью и раздражительностью и той тихой грустью, которая давно уже оттенила всю его нравственную физиономию. Я отворил окно и перевесился в него, чтобы еще раз взглянуть на Морозова (идти к нему я не хотел, так как он не желал этого, чтобы не увеличить, по-видимому, тяжесть объяснений с женой); он обернулся; его доброе лицо еще раз мелькнуло предо мной. На повороте дороги он немного при-

поднял фуражку и, спотыкаясь своими длинными ногами, повернул за угол.

Прошло три месяца; я давно уж покинул деревенское убежище и жил в Петербурге. Здесь я совершенно случайно узнал от одного из возвратившихся из Сербии добровольцев, что он видел Морозова под Алексинацем.

Авраам

Рассказ

Лето я провел в одной деревеньке, верстах в двадцати от губернского города, значит — «на даче», как говорят в провинции, хотя вся дача моя заключалась в светелке, нанятой за три рубля на все лето у крестьянина Абрама.

Абрам был мужик лет шестидесяти с лишком, высокого роста, довольно плотный, с широкою, сивою бородой и большими глазами, смотревшими из-под навеса седых бровей. Вообще, несмотря на лета, он очень сохранился; в нем не замечалось старческой дряхлости, но сам он, заметно, желал казаться дряхлее, изредка покряхтывая, пощупывая свою поясницу и горбясь более, чем, может быть, следовало. К такому невинному «остариванию себя», если можно так выразиться, он стал прибегать с тех пор, как вырастил и пристроил сыновей и почувствовал, что страда крестьянской жизни, которую тянул он в продолжение полувека, как будто отлегла от него. Он вступал уже в число «стариков», в этот ареопаг крестьянского мира. Не кряхтеть и не горбиться было нельзя, это требовалось для поддержания неотъемлемо принадлежащих этому званию прав; права сидения под вечер на завалине у общинной житницы, среди седовласых сверстников в нахлобученных по уши шляпах-гречневиках, права неторопливых и солидных рассуждений на темы, что «без бога ни до порога», что «обычай блюди», что «старики на душу греха брать не станут» и т. п., наконец, права выпивания с подобающею важностью штрафной косушки с приличными насчет штрафованного изречениями. Этого, впрочем, показалось Абраму

недостаточно; ему хотелось закрепить за собой не только право на звание «старика» просто, но еще и «благомысленного старика», носителя и хранителя старозаветных «дедовских» преданий, исконной морали и обычного культа. Вот почему, отделив младшего сына, выдав замуж дочерей и приведя, таким образом, согласно вековым традициям, к вожделенному концу все, что требуется по идеалу обстоятельного крестьянства, Абрам сказал детям: «Ну, родные, потрудился я для вас довольно; теперь надо мне и для своей души потщиться, сколь моей силы хватит. Пора и об душе старику подумать». Решив таким образом, Абрам пошел к священнику и принял от него благословение в путь за сбором с доброхотных дателей на украшение местной убогой церкви. Сбирал он, ходя по святой Руси, три года и только месяца за два до того, как я познакомился с ним, вернулся в свою родную деревню. Теперь он уже был вполне «благомысленным стариком»; почитаемый причтом, с батюшкой во главе, выбранный миром в помощники церковного старосты и в десятские своей деревни, он мог мирно доживать свой век, являя собою пред молодым поколением деревни тот идеал мирного и трудового крестьянского жития, который осуществил он в своей жизни.

Жить мне у Абрама было хорошо, покойно. В семье его старшего сына, Антона, с которым он жил по уговору вместе, по отделении младшего была «истинно райская тишина», как выражался он. Действительно, его сын Антон и невестка Степанида были очень мирные люди, молчаливые, добродушные.

Преимуществом вставать раньше всех со вторыми петухами, как известно, пользуются в деревнях старики, чем они обыкновенно и любят кольнуть в глаза своим молодым невесткам. Но этим преимуществом редко удавалось похвастаться Абраму. Антона не приходилось ему будить. Когда еще старик начинал только кряхтеть на печи и расправлять свои старые кости, Антон большею частью уже успевал умыться, разбудить жену. А когда показывался первый бледноватый свет, он уже выезжал из деревни, первый размахивая верею в околице, молился на видневшуюся вдали колокольню погоста, надевал шляпу, тихо и ласково

вскрикивал на лошадь и, торопливо шагая, пропадал вместе с нею в густой мгле стоявшего над потным болотистым лугом утреннего тумана. Когда же Абрам, наконец, соскакивал с печи и, почесываясь, подходил к окну, чтобы справиться о погоде, у Степаниды уже ярко горело и трещало на очаге пламя и кипел в чугуне картофель. Пока дед молился, кладя истово, «по старине», низкие поклоны, на улице раздавался пастушеский рожок, хлопанье и скрип ворот, рев сбиравшейся скотины и вскрикиванье баб, а Степанида, с нежными приговорами, выгоняла, осеняя крестным знамением, своих коров и телок, медленно выходивших из теплого парного сарая на свежий утренний воздух. После молитвы деду Абраму не оставалось ничего больше, как только сердито окрикнуть черного кота, забравшегося на стол. Как и все старики, ворчливые с утра, Абрам читал коту длинную нотацию, не упустив случая ругнуть при этом Степаниду, и продолжал нравоучение на дворе, обращаясь уже к хромоногому, старому Волчку, только что вылезшему из своей теплой конуры и сладко потягивавшемуся навстречу старику.

Часам к семи утра старик тихонько приотворял дверь в мою половину, и если замечал, что я начинал ворочаться, то говорил: «Не наставить ли?» — и, предварительно разбудив своего приемного внука, принимался разводить с ним самовар. В продолжение получаса я мог слышать, как дед обучал внука «порядку». Утренний чай мы всегда пили вместе; впрочем, по какому-то обету, Абрам пил не чай, а только кипяток. Я всегда приглашал и Васю. Старик недовольно покачивал головой, говорил, что это «баловство», но в конце концов соглашался и ограничивался тем, что обучал внука «учливости».

— Сядь с глаз подальше!.. Не егози пред глазами у старшего! — приговаривал он, отхлебывая кипяток.— Не болтай ногами,— беса тешишь!.. Чего сахар слюнявишь? Кусай учливей! — И т. п.

Вася только бойкими взмахами своей кудрявой головы откидывал волосы со лба, и видно было, что он не особенно боялся своего названого деда. Он и сам был не прочь сделать ему выговор. Нередко, во время

увлечения деда каким-нибудь рассказом, Вася вдруг конфузил его замечанием: «Утри, дедушка, бороду-то! Вишь, распустил потоки, а еще перед барином сидишь!» И дед, молча и послушно, спешил принять к сведению замечание шестилетнего внука. Так они и вообще мирно жили, уча и наставляя друг друга, пока дело не доходило до такого явного непослушания с одной стороны, как, например, высовывания языка в ответ на самые солидные моральные истины и до окончательного решения наломать гибких прутьев — с другой. Впрочем, тем дело и кончалось. Шестилетний внук, конечно, умел бегать лучше, чем шестидесятилетний дед.

На другой же день моего пребывания в деревне мы с дедом Абрамом вели за чаем такую беседу:

— Ну, что, дедушка Авраам?

— Ну-у, Авраам! Какой я Авраам,— улыбаясь, перебивал он меня.— Я не от Авраама иду... То Авраам, а то Абрамий-мученик... Так вот я оттуда — от мученика!

Тем не менее было заметно, что ему очень нравилось, когда я его звал дедушкой Авраамом.

— Что ж, доволен ты своим положением?

— Доволен,— твердо произнес старик, выпрямляясь и сановито поглаживая бороду,— не хочу грешить, прямо говорю — доволен. Слава тебе, господи! Потому я, Миколай Миколаич, что требуется от жизни, все исполнил, привел в заключение. Слабому опору оказал, тем, значит, и предел положил.

— То есть как это слабому?

— Так и есть. В чем всей нашей жизни положение состоит?

Дедушка Абрам любил иногда порезонерствовать, вероятно, оттого, что придерживался негласно «старинки» и часто беседовал с раскольничьими начетчиками.

— В чем же? — спросил я.

— А в том и есть, чтобы слабому опору оказывать. Пораскинь-ка умом-то, ан оно так и выйдет. Сызначала, когда я, по младенчеству своему, слаб был, родители мне опору оказывали. Возрос я, родителям своим, по дряхлости ихней, подпору обязан оказать... Так ли?

У самого малыши пошли, их обязан в возраст произвести, ихней слабости поддержку дать. Поставил их на ноги — ну, и предел, значит, свой положил.

— Ну, а внучки? — кивнул я на Васю.

— Внучки — это уж сверх всего, это уж не в пример прочему. Это уж смотря как, значит, привержен,— говорил он, поглаживая по голове внука, подошедшего за стаканом к столу,— это уж смотря по послушности да смиренству перед дедом,— прибавил он, улыбаясь. Правду ли я говорю, как, по-твоему? — спросил он меня и, не дожидаясь ответа, продолжал: — И во всем так подобает: в начальстве состоишь — слабого охрани, избытком от бога награжден — слабому поддержку окажи... Вот оно, значит, какое нам в жизни произволенье! В том и до конца живота твоего держись.

— И детьми своими ты доволен?

— Детьми доволен. Дети у меня, надо правду сказать, на редкость дети! Потому я их держал в послушности, в страхе божием. Вот, примером, Антон — изойди всю волость, такого к работе приверженного не найдешь. А смиренства, тихости, так по нынешним временам и нигде не встретишь! Чтобы он кому сгрубил, кого обидел или обманул — этого никогда запомнить даже нельзя! Истинно землепашец! Земле радеет. И жену ему бог дал, не хочу грешить, бабу правильную... Тоже тихостью да смиренством пред всеми взяла; кабы родных деток им, так и совсем бы благословенное семейство было, да вот не дает бог! Как-то уж у них и в работе-то эдакого удовольствия как будто не видно. Взяли вот мальчика, хоть и близкая родня, а все же не свой... Думается им: воспитаешь его, на него всю ласку положишь, а он, в возраст придя, тебе же укоры делать станет. От своего это точно снесешь, а от чужого-то как будто и обидно.

— А второй твой сын каков?

— Платон-то Абрамыч?

— Да.

— Про Платона Абрамыча — слов нет, вот он каков, Платон-то Абрамыч! — говорил внушительно и с расстановкой старик всегда, когда речь заходила о младшем сыне.— Платон Абрамыч — голова! Пройди

по всей округе, спроси: знаешь Платона Абрамыча? — и нет того человека, чтоб его не знал.

— Умом, значит, взял?

— Рассудком! Головой взял! Он с младости уж был отмечен. Да так я тебе скажу: стояли у нас уланы, а Платон-то Абрамыч в те поры еще маленький был, так — с бабий наперсток. Вот эти самые уланы накупят пряников, орехов и давай кричать ребятишкам: «Кто в ноги поклонится? Выходи!» Ну, ребятишки глупы, сосут кулаки-то да смотрят, а мой Платошка сейчас — хлоп в землю, не в пример прочим, так все только диву даются — откуда такая, значит, у него ко всему применительность!.. Ну, и накидают ему уланы полон подол гостинцев... Отцы-то да матери только и кричат: «Экое счастие этому Платошке Абрамову! Дает же господь такой разум еще в младости! И в кого бы он такой выдался?» И я вот тоже не придумаю...

— Побойчее, выходит, Антона?

— Где ж Антону против него! Антон смиренен, душевный крестьянин — слова нет, только против Платона Абрамыча даже и помыслить ему нельзя! Платону Абрамычу от всех почет и уважение...

— Он где же теперь живет и чем занимается?

— Занимается он, братец ты мой, по коммерческой части. Еще вьюношей он к землепашеству охоты не возымел... Это уж как кому: у всякого свой талан. Вот Антон — совсем земельный человек... Он только землей да крестьянским обиходом и крепок. Отбей ты его от земли, от дома — он и совсем сгиб. Его, как и всякого крестьянина земельного, забидеть не долго. А Платон Абрамыч — тот в горожанина пошел, по матери (они ведь у меня от разных матерей; вторую-то жену я из городской слободы взял). Платон Абрамыч сам себе, своим рассудком, и супругу снизыскал: верст за пятнадцать отсюда, в селе, вдову, денежную вдову... Ну, к ней в дом и вошел; дом у нее собственный, после мужа остался. Я его, Платона-то Абрамыча, как следует, по обычаю отделил, что́, выходит, на его часть из нашего имущества приходилось.

— А ты часто у него бываешь?

— Часто. Я люблю к нему ездить. К родителю они с супругой почтительны, любящи. Приедешь, а они

оба, ровно вперегонку, около тебя ухаживают: «Тятенька, вы бы водочки выкушали! Да ты что, тятенька, отварную-то воду одну дуешь? Помилуйте! Да мы вам церковного винца подпустим в стаканчик-то!» Так это, братец ты мой, своею услужливостью проймут, что ровно масленицу маслуешь у них! Ей-богу! Истинно обходительные люди! Конечно, по коммерческой части без этой повадки нельзя! А ввечеру народ к ним соберется, гости, господа не в редком быванье, и все это к Платону Абрамычу с уважением, ну и к тебе, к родителю, уж кстати также, по сыну. Лестно.

— Отчего ж ты с ними не живешь? Они люди богатые, к тебе услужливые... Слаще ведь пироги-то есть, чем тюрю с квасом хлебать?

— Зовут... «Тятенька,— говорит невестка-то,— да когда же мы удостоимся вас с собой в сожительстве иметь?»... Зовут постоянно. Только я нейду.

— Что же так?

— Да не знаю, как тебе сказать. Ровно что вот не отпущает отсюда, а что — не знаю. Думается,— умереть здесь покойнее будет... Собирался, собирался, да нет вот! Погостишь с недельку, ан, глядишь, и опять сюда тянет. А обходительны!.. Непривычны мы, что ли, к этой обходительности, не знаю, как тебе это разъяснить! Да и то надо сказать: у Платона Абрамыча дело такое, что он и один при нем твердо стоит. А земледельчеству завсегда поддержка требуется. Хоть и стар я, а все же по силе-мочи пригожусь.

Дня через три, к утреннему чаю, вдруг является дед Абрам с французским хлебом в руках и улыбается.

— С гостинчиком и я! — сказал он.— Все ж как будто не даром буду от тебя кипяточком пользоваться.

— Где ж это ты достал?

— Платон Абрамыч. Кушай-кась. Не забывают старика. Как только навернется от них попутчик, завсегда что ни то приспособят с ним: бараночек фунт, водочки полуштофчик (своя у них)... Утешают.

Через неделю опять тащит дед к чаю что-то в небольшой берестовой набирке и опять улыбается.

— Полакомься! — угощал он, высыпая на блюдце.

Оказалась малина, впрочем не особенно свежая и отборная.

— Опять Платон Абрамыч?

— От них. От невестки это нищая принесла. «Отдай,— говорит,— дедушке полакомиться... Ему, беззубому, это будет в самый раз»... Утешают.

Старик перекрестился и с особым удовольствием стал жевать, деликатно отправляя в рот по одной ягодке.

— Это у них своя?

— Своя. Большую торговлю этим товаром ведут. Скупают у мужиков, да в город справляют.

— Можно бы и побольше прислать тебе от большой-то торговли.

— Ну-у! Зачем баловать? Дело у них торговое. Эдак всем-то раздашь — и торговать нечем. И малым утешить хорошо.

— А помогают они вам чем-нибудь?

— По-мо-гают... ка-ак же! По-мо-гают,— протянул как-то нерешительно старик,— только господь пока помиловал, Антон к ним не толкался еще... Обходимся как-никак... Признаться сказать, тугоньки они на деньги, тугоньки. Дело торговое, в нем без этой придержки себя — нельзя.

Дед оставил на блюдечке несколько ягод и пошел с ними искать внука. «Васютка! Ва-ась!» — кричал он на улице и долго еще ходил по деревне с блюдцем в руках, разыскивая внука и говоря на вопросы любопытных баб: «Платон Абрамыч с супругой все нас, старого да малого, балуют! Все они утешают... Такие дети у меня вышли — на редкость! Слава Создателю!»

По вечерам, когда уже окончательно потухала вечерняя заря и длинные тени ночи медленно наплывали из-за окрестных холмов на ложбину, в которой ютилась деревенька, мы, обыкновенно, сходились с Антоном на завалине избы. К этому времени он успевал прикончить все работы и считал уже совершенно позволительным отдохнуть. Так как вместе с тенями ночи наплывали на деревеньку и холодноватые полосы тумана, то Антон выходил всегда, закутавшись в ка-

кой-то старый, рваный шугайчик. Покряхтывая и беспечно улыбаясь, он неторопливо набивал и закуривал трубку. Он был вообще молчалив. На вопросы отвечал односложно; из него, что называется, надо было клещами вытягивать ответ. Вероятно, скудость интересов и постоянная работа в одиночку в поле окружали его ум и душу какой-то поэтическою неподвижностью. Впрочем, эта неподвижность была только кажущаяся; на самом же деле в его душе, хотя очень медленно, словно родник, пробивающийся тонкою струйкой под мягким, густым ковром травы, но все же текла таинственная струя своеобразной жизни. Вообще неразговорчивый, не умевший отвечать на вопросы, он иногда вдруг заговаривал и поражал неожиданными замечаниями.

— Вишь, как у нас по ночам дымком попахивает! Это полевой дымок! У вас, в городах, таким дымом не пахнет,— внезапно замечал он, когда неожиданно с подветренной стороны доносился до нас запах дыма от костра, разложенного собравшимися на выгоне ребятишками «в ночное».

— Да. Это деревенский дым.

— Люблю!.. Потому, выходит, хотя и ночь, а все же живут... Кто ни то не спит. И не жутко.

Пролетит летучая мышь, и я тороплюсь захлопнуть окно в свою комнату.

— Ты зачем от нее запираешься? — спрашивает меня Антон.

— Влетит, неприятно.

— Неприятности от нее никакой нет,— замечает он.— Ведь это та же мышка, что по полу бегает в избе... Только что крылья дал ей бог... Ты знаешь ли, как она нарождается?

— Нет, не знаю.

— Она от божьей благодати. В церкви священник, за причастием, ежели уронит на пол крошечку от просвирки и эту крошечку мышка съест, с того времени у нее крылья проявятся. И положено ей уж до земли не касаться, а летать в нощи... Она только на белое и чистое садится. Расстели здесь холст, она сейчас и сядет.

Пытался я его расспрашивать о близких к нему

людях и интересах и получал ответы в таком роде:

— Ладно вы живете, должно быть, со Степанидой?

— Ладно. Ничего.

— Хорошая она женщина?

— Хорошая. Ничего.

— А на деревне у вас хороший все народ?

— Хороший. Ничего.

— А старшина каков?

— Ничего... и старшина ничего.

— И писарь?

— И писарь... Надо быть, хороший и писарь.

— А становой?

— Не знаю... Не слыхал нешто.

— А брат твой, Платон Абрамыч, каков, по-твоему, человек?

— Ничего, хороший...

— А как мирские дела у вас идут?

— Ничего, ладно... Со всячинкой тоже бывает.

— Ну, а вообще-то как вам живется?

— Ничего, справляемся.

— Не тяжельше прежнего?

— Иной год справляемся, иной — нет... А вот как ты уедешь,— скучно нам будет,— вдруг перебивает он самого себя.

— Отчего же так? Какое от меня веселье?

— Так уж все как-то, привычка. Вот теперь выйдешь из избы, ан ты и тут... Мужики тоже толкутся, ребятишки. Все одно, как голуби к жилому месту, так и мы к хорошему человеку. Посидишь с тобой, и приятно.

Странное впечатление всегда производят на меня подобного типа крестьяне. Это — тип уже вымирающий, как тяжелая, неповоротливая, созерцающая кенгуру австралийских лесов, погибающая в борьбе за существование с ловкими, пронырливыми хищниками новейших формаций. Он уже редок в подгородных деревнях, хотя в глуши встречается еще во всей неприкосновенности. Чем больше вы с ним знакомитесь, тем более нежные чувства начинаете питать к нему, но вместе с тем в вашу душу забирается какая-то досадливая грусть. Неужели же суровый закон борьбы за существование всевластно царит и в человечестве?

Неужели человек не пробовал противостать его ужасному, антигуманному проявлению?

Это было в половине августа. День смотрел как-то особенно весело. Весело смотрела и деревня, словно венком окружившая себя золотыми одоньями хлеба. Душевнее и веселее смотрели мужики. Но еще веселее и благодушнее смотрели они оттого, что нынешнее лето, не в пример прочим годам, бог накинул им лишних две меры на меру посева. Это показал им умолот с первого же овина. Такое неожиданное приращение благосостояния в хозяйстве неизбалованного человека наполнило его душу несказанной радостью, которую спешил он выразить заявлением признательности. Накануне вечером, когда старики собрались посидеть у житницы и сообщить друг другу результат первого умолота, дед Абрам заявил: «Помолиться бы надо!» — «Надо! надо! Нельзя не помолиться: когда в беде, так просим, а отлегло, так знать не хотим!» — подхватили умиленные мужики. Тотчас же стукнули по окнам, собрали сход и постановили «заказной праздник». Итак, был заказной праздник, который, собственно, состоял в том, что решено было не выезжать в поле. Утром сходили к обедне, а после обеда все занялись «по домашнему обиходу» и приготовлением к началу посева.

Дед Абрам сегодня был особенно благодушен и, в умилении, постоянно крестился, когда заходил разговор об урожае нынешнего лета. Крестился и Антон, крестилась и Степанида. Мы не можем составить себе и приблизительного понятия о глубине той признательности, которая наполняет душу крестьянина при сравнительно ничтожном успехе его полевых трудов. Для этого необходимо быть таким же истинным землепашцем, каков был Антон.

После обеда мы все собрались у избы и весело глядели на желтые бока холмов, с которых была снята благодатная жатва и по которым теперь, картинно раскинувшись, лениво паслось стадо.

— Вишь, какие перезвоны от стада-то несутся! — заметил Антон, когда донеслись до нас, среди невозму-

тимой тишины, охватившей деревню, малиновые звуки от колокольцев и бубенцов, навешанных на шеях коров. Антон широко улыбнулся и посмотрел мне в лицо с детским ожиданием сочувствия к его словам.

— Хорошо будет теперь скотинке, благодарение богу! Травы собрали впору, соломы вдосталь будет... вздохнет! Все вздохнут — и люди, и скотина! — заметил с своей стороны дед Абрам.— И чего ж больше надо?.. Ничего больше не надо, как только вздоху! Ежели полегче вздохнуть — тут тебе и счастие!

— Ежели теперь вздохнул легко, всю зиму легко продышишь,— вставила и свое слово Степанида и вдруг вся зарделась.

Степанида была до того молчаливое, всепоглощенное физической работой существо, что редкие фразы, которые приходилось ей говорить, помимо отношения к хозяйству, бросали ее в краску, в особенности при посторонних людях.

Так наивно-благодушно беседовали мои хозяева, предвкушая ту невеликую сумму довольства, которая вся исчерпывалась словами: «Только бы нам вздоху, тут и счастие!»

В конце деревенской улицы вдруг показалось облако пыли, послышался рев коровы и скрип тяжело нагруженного воза. Пыльное облако разрасталось все больше и больше и, наконец, чуть не столбом поднялось над деревней.

— Эк напустил какую тучу! И поселенье наше все утопил! — сказал дед, всматриваясь в облако из-под ладони.— Кто бы это такой? Надо думать, прасол.

Дед поднялся и вышел на середину улицы.

— Антон! Глядь-кось ты, что-то мне мерещится, будто наши это...

И Антон стал всматриваться.

— Платон Абрамыч и есть!

— Господи помилуй! Что за оказия — всем домом снялся! — проговорил дед, когда воз почти уже подъехал к нему.— Что так? — спросил он Платона Абрамыча, в недоумении поглядывая на воз.

Платон Абрамыч,— низенький, коренастый, краснощекий, с русой бородкой, в розовой ситцевой рубахе, в картузе и больших сапогах, сплошь покрытых серым

слоем пыли,— шел вблизи лошади и нервно дергал ее постоянно вожжами. В ответ деду он только отчаянно махнул рукой и, сурово хлестнув лошадь кнутом, остановил ее у ворот Абрамовой избы. Но в то время как Платон Абрамыч собирался отвечать, с возу вдруг скатилась рыхлая, с большими грудями, уже довольно пожилая женщина, в ситцевом платье, и, истерически рыдая, поочередно припадала к груди деда Абрама, Антона и Степаниды. Сквозь ее рыдания только и слышно было, что: «Милые! Родные наши! Нищие мы, нищие! Милый тятенька! Родной Антон Абрамыч! Голобушка Степанидушка, невестушка дорогая! Не покиньте, не оставьте сирот горьких!» — причитала она и снова по очереди начинала припадать то к одному, то к другому из них. Я встал и отошел в сторону, так как заметил, что горе этой женщины, по-видимому, было настолько велико, что для излияния его ей недостаточно, казалось, было грудей родственников, и она выражала уже намерение броситься и к моим ногам. Между тем Платон Абрамыч уже ввел лошадь с возом, наверху которого сидел мальчик, а сзади были привязаны корова, телка и коза, под навес двора, и на рыдания его супруги начала сходиться к избе вся деревня.

Я ушел к себе и из отрывочных фраз, долетавших до меня со двора, мог, наконец, узнать, что сегодня утром Платон Абрамыч погорел.

Не прошло и получаса, как ко мне вошел Платон Абрамыч, уже в вытертых насветло сапогах, умытый и причесанный.

— Весьма, значит, приятно... Как выходит, по-родственному... Потому мы дети будем этому самому старичку Абраму... Весьма приятно вступить в обхождение,— говорил он как-то особенно вычурно и с ужимками торгового человека.

— Вы погорели?

— Да-с, воля божья. Но при всем том я не ропщу. Принимаю с покорностью.

И Платон Абрамыч присел.

Но он опять тотчас же вскочил и скороговоркой сказал:

— Стеснения не будет для вас, ежели бы сюда са-

моварчик... по-благородному? Потому мы с супругой все более по купеческому обиходу, и было бы весьма с непривычки затруднительно... ежели бы, по нашему несчастию, в курной избе... При всем том, мы хорошее обращение понимаем. Будьте в надежде!.. Жили завсегда в свое удовольствие!

Я еще не успел ответить, как в дверь, тяжело переступая через порог, вошла жена Платона Абрамыча с маленьким семилетним сынишкой за руку и тотчас заплакала.

— Ах, милый барин, не откажите сиротам! Ведь от такой, можно сказать, приятной жизни, и вдруг чайку негде с удовольствием напиться! Каково это, милый барин, век-то изживши в обхождении с богатыми и благородными? — причитала она.

— Побалуй уж их на первый раз, Миколай Миколаич! Что с ними сделаешь!.. Невестка-то, вишь, у меня в купеческом обиходе возросла, претит ей мужицкая-то кухня,— добродушно забросил и свое словцо дедушка Абрам.

— Сделайте милость,— согласился я.

Платон Абрамыч тотчас же побежал за самоваром и скоро внес его сам в комнату, пыхтя и приговаривая:

— Мы все сами!.. Мы, в несчастии нашем, никого утруждать не желаем! Мы скорее себе какое стеснение сделаем, нежели других убеспокоить!

За самоваром супруга Платона Абрамыча втащила какие-то корзиночки и узелки с чаем, сахаром, кренделями, хлебом. Вынимая каждую вещь, она приговаривала:

— Мы все с своим, мы не привыкли одолжаться, мы других одолжали, а не то что самим одолжаться... Мы к этому не привычны... Хотя и в разоренье мы и в большом несчастии, а последнюю рубаху лучше продадим, чем кого собою утеснять решимся!

Перебивая и дополняя речи один у другого, постоянно извиняясь, погорельцы, наконец, прочно основались около самовара и вполне, кажется, вошли в роль хозяев.

— Господин! Сделайте милость, искушайте! Не побрезгайте! Тятенька! да ты постой, погоди парную-

то воду дуть... Ах, старичок, старичок! Скусу ты хорошего не знаешь... Маланья Федоровна! бутылочка-то где же? — спрашивал Платон Абрамыч свою супругу.

— Здесь, здесь, милый тятенька! На вашу старческую долю господь сохранил церковного винца бутылочку... Так думать надо, угодили вы ему своими молитвами! — дополнила Маланья Федоровна.

— Что говорить! Радетели завсегда были! — отзывался благодарный дед.

— Да мы, тятенька, это весьма понимаем, что ежели родитель! Это будьте в надежде! Престарелость мы всегда весьма почитаем,— уверял Платон Абрамыч.— Где же братец Антон Абрамыч? Пожалуйста, братец, за компанию.

— А невестушка?.. Степанидушка, да пожалуйста! вот кренделечков... Да вы будьте по-родственному! Вы не смотрите, что мы в несчастии, мы последнюю рубаху продадим,— дополняла Маланья Федоровна.

— Да мы даже настолько к родителю привержены,— опять начинал Платон Абрамыч,— что ежели уж господу угодно такое произволение, так мы и землепашные труды примем в помощь родителю... Окажем всякую трудом нашим поддержку.

В таком роде долго еще объяснялись супруги-погорельцы, соревнуя один другому в выражении братской и сыновней любви, пока, наконец, не перешли к разговору о пожаре. По их рассказам оказывалось, что у них сгорело все «до синя пороха», что и денег они, которые «праведными трудами нажили», не успели спасти, что если что и осталось, так рухлядь, которую они даже не взяли с собой, а оставили у знакомых, чтобы «не стеснить родителя». Тема «разоренья» была настолько богата, что оказалось необходимым подогреть еще раз самовар. Мне надоело, наконец, это нытье, и я ушел. Но так неожиданно налетевшие на нашу мирную жизнь гости долго еще продолжали чайничать «по-благородному».

Действительно, на следующее утро Платон Абрамыч пожелал «принять землепашные труды в помощь родителю».

— Ну, ну, посмотрим! — говорил дедушка Абрам,

пока Антон, тоже посмеиваясь, снаряжал для Платона Абрамыча борону.

Платон Абрамыч при этом не переставал выражать чувства сыновней и братской любви.

— А я, милая Степанидушка, невзирая на купеческое свое обхождение, всякие труды с тобой поделю, и коровушек подою, и воды принесу, и печь истоплю. Приказывай! как хозяйка приказывай! Потому ежели такое от господа произволенье, что мы в несчастии, то смиренно стряпухино звание на себя примем, не ропща,— в свою очередь говорила Маланья Федоровна Степаниде.

Казалось, мир и любовь окончательно утвердились в благословенной семье деревенского патриарха. Так думала деревня, так, по-видимому, думали и сами Абрам и Антон.

По крайней мере, они благодушно молчали. Но я, как посторонний, и притом внимательный наблюдатель, мог с каждым днем замечать, как капля по капле просачивалось в «райскую тишину», царившую прежде в семье Абрама, нечто «новое», нечто такое, что, хотя и не заметно, но тем не менее неотразимо могло превратить эту «райскую тишину» в пристанище злого духа. Своей непосредственною натурой чуяла то же самое, должно быть, и Степанида, так как на лице ее с каждым утром все гуще и гуще ложились сумрачные тени. Это «нечто» замечалось мною в таком порядке: прежде всего, «чаепитие по-благородному и с купеческим обхождением» продолжалось в моей половине и на следующий день, затем и еще на следующий и так далее, пока не вошло в ежедневный обиход, даже без извинений. Я этим, впрочем, не особенно огорчался, так как большую часть времени проводил «на воле». Но не отметить этого, в сущности ничтожного, обстоятельства все-таки не мог. Не мог не отметить и того, что Вася и Степанида, спавшие прежде в прохладной клети, против моей половины, вытеснены были скоро в стряпную половину избы, в которой была нестерпимая жара и духота и где могли париться на печи только старые кости деда Абрама. Таким образом, прохладная клеть оказалась в распоряжении Маланьи Федоровны, вопреки ее обещанию покорно подчиняться

произволению божью — «спать ей в сенях, как горькой сироте». Не мог не отметить я и того, что Платон Абрамыч, несмотря на столь ревностно заявленное желание «принять землепашные труды в помощь родителю», в первое же утро работы вернулся очень скоро с поля домой с изорванной сбруей на лошади и с великим негодованием на плохой присмотр Антона за земледельческими орудиями, «с которыми разве только дурак может управляться, а не то, что умственный крестьянин». После этого Платон Абрамыч больше уже не брался за землепашные труды и только резонерствовал, да с сожалением пожимал плечами, когда Антон и дед Абрам добродушно посмеивались над его «неумелостью».

Скоро Платон Абрамыч стал и совсем редко бывать дома: то он целый день беседовал на деревенской улице, угощался «с нужными людьми» водкой, то ездил по соседним деревням и селам. Скоро в нашем мирном житье образовалась правильная торговая операция. Нередко, входя в свою половину, я находил за чаепитием Платона Абрамыча в компании с какими-то очень льстивыми и ловкими «сибирками», а по праздникам у нашей избы толпились мужики, что-то привозившие Платону Абрамычу в заклад, менявшиеся скотиной и лошадьми. Часто над нашей «мирною обителью» стала носиться ужасающая ругань и проклятия подпившей и обобранной кем-то бедности. Маланья Федоровна, в то же время, из своей клети скоро сделала не то деревенский магазин, не то кладовую: тихонько от мужей тащили к ней бабы яйца, масло, холст, кур, ягоды, и часто я имел удовольствие видеть и слышать, как она, вся мокрая от пота, раскрасневшаяся и раскисшая, как будто ее рыхлое тело делалось от жары еще рыхлее, восседала в своей кладовой на опрокинутой кадушке, и то торговалась или сплетничала с бабами, то окрикивала довольно-таки повелительно свою сношенницу Степаниду, то ругала и даже била Васю, на которого постоянно жаловался ее плаксивый сынишка. Из этого легко можно видеть, как постепенно преобразовывалось и во что, в конце концов, могло обратиться и мое деревенское «монрепо́», и мирная патриархальная обитель. И удивительное

дело: чем шире и шумнее становилось торжище, чем неотвратимее вытесняло оно собой «мирное безгреховное житие» истинного землепашца, тем этот землепашец робел все больше и больше, тем быстрее как-то он стушевывался, тем сосредоточенно-молчаливее он делался, и только густые тени скорби и грусти все резче ложились на его лицо. В этом торжище, действительно, как-то совсем затерялись не только Антон и Степанида, но даже сам дед Абрам. Даже я, посторонний человек, как-то оробел. Такова сила наглости. Наглость — это могучее орудие в руках хищника.

Я как-то сказал деду Абраму, что очень шумно и беспокойно стало у нас.

— Прости, Миколай Миколаич,— отвечал он,— да ведь мы тут непричинны, несчастие виновато. А с кем оно не бывает? Ежели несчастие кого утеснит, то и всяк должен потесниться, на себя часть принять. Так ли? У нас, при таком несчастии-то, чужие семьи в избу пускают, да еще не одну, одних ребятишек куча наберется... А нельзя, надо потесниться, пока обиталища себе не выведут... Надо погодить, поди, Платон Абрамыч давно уж об этом заботу имеет, чтобы к осени опять построиться.

Но предположение деда Абрама, по-видимому, не совсем оправдывалось.

Вскоре после нашего разговора, вечером, возвращаясь с гулянья, я застал на моей половине чаепитие: за самоваром сидел Платон Абрамыч, дед Абрам и один из зажиточных крестьян нашей деревни. Меня, по обыкновению, пригласили к чаю.

— Какову у нас старичок-то избу вывел после пожара! — говорил Платон Абрамыч гостю, показывая рукой на стену,— хотя бы купцу впору! Хоромы!

— Пространная изба! — заметил гость.

— Весьма пространная,— подтвердил Платон Абрамыч,— только хозяина при ней надлежащего нет. Старичок уж немощен, а Антон Абрамыч и сам только при умственном хозяине может значение иметь. Прикажи ему — он все равно как лошадь отработает, а ежели что из своего понимания — этого у него весьма мало имеется!

И Платон Абрамыч распространился с сожалением

о том, как такая «пространная» изба может остаться без всякого приложения.

— Ты вот, Платон Абрамыч, свой дом выведи с этими приложениями-то, а наша-то изба и так для собственного простора пригодится,— заметил дед Абрам.

— Бог даст, и свой дом выведем, и на это ума хватит! Только к тому говорим, что сердце болит, смотря на такую необстоятельность. Вот что, старичок! — с горестью заметил Платон Абрамыч.— И куда вам простор-то? Потомству хоть, что ли бы, его предоставить, а то и потомства в виду никакого не имеется...

— Ну, вымрем все — тебе достанется,— сказал, посмеиваясь, дед Абрам.

— Это все воля божия-с. А сказано тоже: «толцыте и предоставится»...

— А ты здесь, Платон Абрамыч, обжился. По нраву пришлась деревня-то? — заметил гость.

— Места привольные и здесь! А главное дело — в своем понимании,— отвечал Платон Абрамыч с смиренным сознанием своих достоинств.

— На то он и Платон Абрамыч! Платон Абрамыч — голова!.. Платона Абрамыча на болото посади, он и там гнездо разведет!.. Он не загибнет! — говорил дед уже не с умилением, как прежде, а как будто с возраставшим все больше и больше изумлением пред деловитостью своего молодого сына.

Так прошло полтора месяца; начинало пахнуть осенью, наступали заморозки, ненастье; я стал уже подумывать о переселении в город, тем более что и на душе у меня как-то стало тяжело, когда я видел, во что обратилось наше мирное деревенское житье, и предчувствовал конечную погибель слабого патриархального человека под тяжелою рукой хищника. Я начинал даже разочаровываться и в патриархальной способности деда Абрама «устроять домы чад своих» и совсем перестал называть его «Авраамом». Но неожиданно случилось такое совпадение обстоятельств. Дед Абрам вдруг захворал. Стариков, как и детей, недуг охватывает и изменяет быстро. Вчера ребенок был резв, весел, пухлые щеки пылали здоровым румянцем и ярко сияли быстрые глазки, но болезнь в одну ночь делает из него хилое, дряхлое существо, наутро его не уз-

наешь: бледная, прозрачная, синеватая кожа, вместо светло-розовой, тусклые глаза, с синими кругами под глазницами, тонкие, бессильные руки и ноги. Так и со стариками. Дед Абрам вдруг как-то осунулся, глаза еще дальше ушли под навес седых бровей. Старческие руки и ноги дрожали, с лица сошла улыбка нравственного спокойствия и довольства,— ее заменило выражение строгого и сдержанного беспокойства. К вечеру он совсем слег; этим же вечером исчез куда-то и Платон Абрамыч, на следующее утро не являлись ко мне чайничать ни тот, ни другой. Но около полудня к избе подъехал воз: это Платон Абрамыч перевозил понемногу свое имущество из места прежнего своего жительства. Вошла Степанида и сказала, что дедушка просит меня сойти к нему. В сенях, около подклети, я встретил Платона Абрамыча с супругой, которые заполняли подклеть всякой рухлядью: сундуками, кадушками, банками и коробками с каким-то товаром. В них заметна была какая-то лихорадочная поспешность.

— Что это вы? Совсем переселяетесь?

— На ваше местечко, господин?.. Что ж такому простору впусте находиться?.. Это и пред богом грех! — отвечал Платон Абрамыч с каким-то особенным нахальным лицемерием.

— Мы, милый барин, не только что себе, а и другим сумеем удовольствие составить,— дополнила Маланья Федоровна.

— А как ваша постройка на старом пепелище?

— Постройка, господин, от умного человека никогда не уйдет. Мы завсегда сумеем построиться, если в этом надобность будет,— несколько туманно объяснил он.

Я сошел к деду. Он лежал на нарах, навзничь, сложив на груди руки. Лицо его было строго и даже сердито.

— Ну, что, дедушка, как можется? — спросил я, подсаживаясь на лавку.

Он отвечал не скоро.

— Смерть идет, Миколай Миколаич,— проговорил он серьезно и неторопливо.

— Поправишься,— успокаивал я.— А что, дедушка, разве ты боишься умереть?

— Нет, умереть я не боюсь. Я только до времени умереть боюсь... Потому не все я в закончание привел, в чем, значит, человеку произволение жизни.

Он говорил медленно, с передышкой.

— Думал, все исполнил... Ан, выходит, жизнь-то не скоро учтешь. Учел раз, ан она опять вперед тебя ушла... Только в последний час и учтешь. Ты бы мне завещание написал,— сказал он,— так, чернячок... Для нашего обихода и этого будет... Да в другое время и без него бы обошлось. А теперь...

— Изволь.

Я взял бумагу и перо и приготовился писать.

— А ты перекрестись. Перекрестимся перед началом.

Следовало короткое завещание, по которому он отказывал своему названому внуку, Василию, 15 рублей деньгами, которые лежали у него в изголовье, зашитые в груди кафтана. Тем все и кончилось.

— А сыновей что же ты не упомянул?

— Сыновей я отделил как следует, по-дедовскому завету. А слышь! — вдруг спросил он.— Платон-то Абрамыч совсем к нам перевозится?

— Да.

Он замолчал.

— Не совладать им одним, не совладать... На меня люди скажут! — стал выговаривать он, словно в бреду, смотря неподвижно в потолок.— Пока жив, ничего, а умер... всяко бывает, всяко... Не совладать им одним... До суда доведут... А суд — все людской суд, не божий... Ты тут, что ли, Миколаич? — спросил он.

— Здесь, Абрам Матвеич, здесь.

— Ты что ж меня Авраамом-то ноне не зовешь? Давно уж что-то не звал... А и по деревне уж твое прозванье пошло.

— Разве нравится тебе?

— Не достоин,— проговорил он, помолчав, и затем смолк совсем.

Я положил написанную черновую завещания ему под изголовье и вышел.

На следующий день погода разведрилась. Осеннее солнце было ярко, но хорошо. В свежем, прозрачном

воздухе медленно плыли серебряные нити паутинника. Словно какая-то сила невольно тянула вон из дома, на волю, на простор. Мне хотелось воспользоваться последними хорошими днями своего деревенского житья, и я собрался на охоту. Хотя поднялся я утром очень рано, однако на половине деда Абрама было уже сильное оживление — говорили громко, крупно, хлопали особенно сильно дверями. Я сначала подумал, не умер ли дед. Но строгий час смерти невольно сокращает и смиряет даже самых хищников... Когда я вошел во двор умываться, встретившаяся мне Маланья Федоровна не только обычно не приветствовала меня льстивым приветствием, но как-то особенно сердито шмыгнула мимо меня. Самовар принес мне Антон, как и всегда, благодушно-молчаливо улыбавшийся.

— Ну, что дед? — спросил я.

— Ничего. Слава тебе, господи! Поправляется.

— Ну, вот и хорошо... А что это вы там расшумелись так с раннего утра?

— Ничего. Тут мы ни при чем... Дело родительское.

Антон улыбнулся и тотчас же перебил самого себя замечанием насчет поэтической «приятности», с которою распевал песни весело шумевший самовар.

А когда я совсем оделся, взял ружье и вышел, то на завалинке нашей избы встретил деда Абрама, сидевшего среди четырех-пяти таких же стариков. Сивые или совсем белые, как лунь, лысые или с выстриженными, по-стариковски, маковицами, они ежились от утренней свежести в своих дырявых полушубках.

Дед Абрам, несмотря на то что был слаб и его била лихорадка, старался шутить и глядеть веселее.

На мое приветствие и на мой вопрос, о чем они толкуют, дед отвечал:

— А вот гадаем, кому раньше в гроб ложиться, так грехи учитываем, чтобы уж чисто было... А коли что забудется, так пущай, кто вживе останется, за покойника справит. Об чем нам больше толковать-то? Нами уж и тына не подопрешь! — шутил дед Абрам.

Старики утвердительно кивали на его слова головами и подкрепляли их приличными изречениями народной мудрости.

— Разгуляться идешь? — спросил дед.

— Да, да.

— Ну, ступай, побегай, пока молод. А состареешься, как мы же, так больше того, что грехи учитывать не придется.

Я проходил весь день и вернулся только к вечеру. Каково же было мое изумление, когда я увидал следующую необычную сцену. От ворот, с завален и из окон изб любопытная деревня внимательно смотрела по направлению к избе деда Абрама, от которой неслись какие-то истерические рыдания, пересыпаемые руганью и всякими жесткими пожеланиями. Я узнал голос Маланьи Федоровны, хотя у самой избы еще не было никого заметно. Когда же я подошел на середину деревни, вдруг навстречу мне из ворот Абрамовой избы выехал тяжело нагруженный всяким скарбом воз, и на нем, как и раньше, сидела со своим сыном Маланья Федоровна. Она что-то кричала, обращаясь ко всей деревне, между тем как сам дед Абрам, спотыкаясь слабыми ногами, с открытою головой, выводил торопливо лошадь под уздцы на середину улицы. За этим возом, из-под ворот, выехал другой. Как и прежде, нервно и зло дергая вожжами, шел за ним Платон Абрамыч в розовой ситцевой рубахе, в жилетке с разноцветными стеклянными пуговками и в новом суконном картузе. Он был красен и весь в поту от волнения, а широко открытые глаза его, как у помешанного, бегали из стороны в сторону.

Дед Абрам поставил лошадь по направлению к вереє, сделал несколько шагов с ней по дороге, ударил ее вожжами, потом перебросил их ей на спину и, отойдя, махнул вслед уезжавшим рукой.

— Добрые люди! Добрые люди! Посмотрите! Возлюбуйтесь! Какие дела-то у вас делают, дела-то какие! — наконец разобрал я, как причитала Маланья Федоровна, подбирая брошенные дедом вожжи. — Родители детей своих изгоняют! Кровь свою, кровь пьют! Милые, да виданное ли это дело? За ласку-то нежную! За обходительность-то нашу! Возлюбуйтесь, добрые люди! — визгливо вскрикивала она, поворачивая постоянно к деревне свое раскрасневшееся лицо.

— С богом!.. — говорил ей в ответ дед Абрам, ма-

хая рукой, когда быстро проехал мимо него Платон Абрамыч, не сказав ни слова, и только так дернул вожжами, что лошадь шарахнулась в сторону и чуть не упала. Он выругал ее, и оба воза скрылись за околицей. Но долго еще из-за околицы неслись в деревню выкрики и причитания Маланьи Федоровны.

В это время уже почти совсем закатившееся солнце выглянуло в ложбину между холмами и последними красноватыми лучами облило деревенскую улицу, на середине которой все еще стояла высокая, несколько сгорбленная фигура седого старика, в синей изгребной рубахе, посконных штанах и лаптях, с открытою головой и широкою сивою бородой, которую раздувал слегка налетавший из-за околицы сырой вечерний ветер. Наконец он, поглаживая бороду и задумчиво опустив голову, поплелся медленно к своей избе.

Я уже успел раздеться и, усталый, лег на лавку. Какая-то безмолвная тишина воцарилась неожиданно кругом. Легко вздохнулось груди. Так после мучительной, но искусной операции трудно стонавший больной вдруг чувствует, как невыносимая тяжесть свалилась с его плеч и его грудь вздохнула свободно в первый раз после долгих, мучительных, бессонных ночей. И вот среди этой тишины раздался знакомый звук: скрипнула тихо дверь, в нее выглянуло благодушное лицо деда Абрама, и раздался обычный прежде, но давно уже забытый вопрос:

— Не наставить ли кипяточку?

— Да, да, дедушка Авраам! Непременно! — воскликнул я.

И затем опять услыхал я нетерпеливую хлопотню деда с внуком около самовара и обычные обучения «порядку».

За моим самоваром опять очутились мы втроем: я, дед и внук.

— Ну, что, дедушка, получше ли тебе? — спросил я.

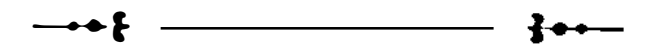
— Получше, кажись... А все плохо... Чую, что все уже не то что-то... Оборвалось!

Действительно, хотя он и старался по-прежнему, благодушно улыбаться, но что-то страдальческое виднелось в этой улыбке, а державшие блюдце грубые,

заскорузлые руки дрожали так, что чуть не выливалась из него вода. О Платоне Абрамыче мы не говорили больше, так как на мой вопрос: «Почему это все так случилось?» — дед отвечал нехотя: «Что тут! Видимое дело»...

Очевидно, ему было тяжело говорить об этом.

Скоро я распростился с дедом — и навсегда. Полгода спустя, в начале весны, я встретил в городе приехавшего на базар Антона. Он сообщил мне, что деду становилось зимой все хуже, что на рождество его похоронили, что Платон Абрамыч на похоронах не был и что на деревне и на селе, у попов, посейчас еще, вспоминая старика, прозывают его не иначе как дедушкой Авраамом.



Деревенский король Лир

Рассказ

Посвящаю приятелю моему,
Ивану Анисимовичу

Когда мне приходилось жить в деревне, я особенно любил беседовать со стариками. Вообще деревенский старик болтливее, разговорчивее с посторонним человеком, чем мужик-середняк. Старик всегда наивнее, непосредственнее, между тем как «середняк» непременно «солидничает», если он большак в хозяйстве, резонерствует, вообще старается быть не тем, чем он есть, старается «выказаться» с той стороны, которая, по его мнению, наиболее может поддержать его репутацию в глазах городского человека. Как бы там, впрочем, ни было, но я почему-то чувствую особое предрасположение к этим подгнивающим столпам, которые вынесли на себе тяжесть трех четвертей крепостного века и, подгнивши, погнувшись, но не упав под этой тяжестью, сложили исторический груз вместе с новыми наслоениями на не окрепшие еще основы своих сыновей. В этих хилых и дряхлых останках былого живет еще та органическая связь далекого прошлого с наступающим, которая невольно, неудержимо влечет к себе внимание.

— Вот, дружок, вымрем все мы, старожилые-то мужички... Таких, как мы, уж не будет... Другой ноне народ пошел! — выговаривают они свои вечные жалобы на новые времена.

И действительно, чувствуешь, что вот вымрут они, эти старожилые мужички, и вместе с ними уйдет в невозвратную историческую тьму что-то такое, чего, может быть, уже не увидишь, не встретишь больше, и как-то тоскливо сжимается сердце. Тоска эта, впрочем, вовсе не знаменует отсутствие веры в новых «сы-

нов народа», которые все же плоть от плоти и кость от костей этих же вымирающих стариков, но настоящее этих «сынов» такое хаотическое, смутное, за которым будущее представляется еще смутнее, еще неопределеннее. А тут в этих старожилых мужичках, посмотрите, как все окаменело, застыло в определенных очертаниях и формах! Они ясны, как книга, в которой вы четко читаете эпические страницы вековой борьбы.

Впрочем, все это вступление мало имеет отношения к тому, о чем я хочу вам рассказать. Сорвалось это с языка так, между прочим; пускай так и останется.

I

Несколько лет тому назад по кое-каким личным делишкам (племяннице моей достался, нежданно-негаданно, по наследству небольшой кусок из одного большого барского пирога) приехал я в село Большие Прорехи. В это село я заезжал и раньше, так как земля моей племянницы находилась как раз в соседстве с землей местных крестьян, и я сдавал ее в аренду одному зажиточному мужику-мельнику, у которого всегда и останавливался. У него же остановился и в этот приезд. Обыкновенно приезжал я из города в конце сентября и проживал, если осень стояла хорошая, недели полторы, две. Село это было большое, некогда разных владельцев. Многие мужики меня знали хорошо, в особенности из того «обчества», к которому принадлежал и мой арендатор. Это был высокий, плечистый мужик-середняк, с «резонистою речью», высоким о себе мнением и, вследствие этого, бахвал на сходке и деспот в своей семье. «Хозяйство» свое (а оно у него было большое: кроме своего надела, он брал в аренду земли помещиков и наделы своих бедняков соседей, притом у него была мельница и рушалка для обдирания крупы) вел он «круто»; с семьей и рабочими обращался свысока и сурово. Но в то же время любил болтать с сверстниками на сходах и в трактире, считался даже весельчаком и добрым приятелем. Любил он и со мной поговорить и потешить

меня веселым разговором, а больше рассказами и издевками над кем-нибудь из захудалых «рукосуйных» мужичков. Но я его видал всего раз в день, к вечеру, когда он приканчивал «хозяйные дела» и засаживался пить чай, сняв сапоги, полушубок, расстегнув ворот красной рубахи и вообще, что называется, распустив брюхо. К чаю он непременно приглашал и меня. За чаем, кроме нас двоих, обыкновенно редко кто-нибудь присутствовал из семьи, а если это случалось, то только по особой милости хозяина, и то после того, как мы уже выпивали стакана по три. Он обыкновенно звал тогда или жену, высокую, грудастую, довольно красивую, но туповатую бабу, или своего отца-старика, большею частью к этому времени или лежавшего на печи, или молча сидевшего в темном углу на лавке, скрестив на животе руки и изредка вздыхая.

— Эй, старик! — добродушно выкрикивал мой хозяин после третьего стакана, вытирая со лба обильный пот.— Поди, пополощи живот-то!.. Кипятку будет довольно! Все же развеселишься... А то, чай, скука все сидеть-то!

Старик, кряхтя и охая, искал около себя подог и болезненно поднимался на дрожавшие ноги, в старых валяных сапогах. У него вот уже года с два как совсем отнялись ноги, и он ничего не мог делать, как только ковырять лапти или про себя молиться богу. Впрочем, иногда, как разойдется, не усидит: то лошадь сводит к колодцу на водопой, то во дворе с чем-нибудь повозится. Говорил он обыкновенно в семье очень мало. Да и с ним никто не говорил. Это было нечто, предоставленное самостоятельному и естественному разрушению, как совершенно ни к чему не приложимое. Внуков у него не было; народ кругом был чужой: какие-то дальние двоюродные племянники, жившие в работниках, да работницы, которым некогда было хорошенько куска перекусить, не то что со стариком разговоры вести. И старик как-то заживо замирал в своем углу. Разве только изредка, в праздники, завертывал к нему иногда посидеть на солнопеке на завалинке такой же дряхлый старик благоприятель. Но когда приезжал я, старик как будто несколько оживлялся и особенно радушно улыбался мне из-под седой чащи волос, зара-

стившей все его лицо. И понятно: мы с ним были люди «гулящие», как говорил он, располагавшие досугом и потому почасту сидевшие на припеке осеннего солнца у избы и нетерпеливо беседовавшие обо всем, что бог на душу положит. Но и то он оживлялся ненадолго. Привычка к полусозерцательной, безмолвной жизни брала свое, и он больше слушал меня, чем говорил сам, да только улыбался, выражая свое удовольствие.

Архаические прорехинские старички, завидев нас сидящими с моим стариком (кстати, его звали Ареф) на лавочке у избы в тихий осенний, прозрачный и слегка пронизывающий дрожью осенний вечер, в свою очередь вылезали из своих темных углов и подсаживались к нам.

Особенно меня поразили трое из них. Один был высокого-высокого роста, кузнец по ремеслу, с желтыми и вечно перепачканными в углях руками (он все еще копался по целым дням в кузнице); но голова у него была совсем белая, маленькая, и лицо совсем ребячье, сморщенное, как будто он или плакать собирался, или смеяться. Он сидел и постоянно что-нибудь жевал беззубым ртом. Совершенный ребенок он был и по всему: наивен, беззаботен и легковерен. А между тем я знал, что единственный сын старика, тоже кузнец, веселый здоровяк-толстяк, когда был пьян, бил старика и выгонял из дома.

Другой, с кудлатою, с проседью, головой и кривыми ногами, вечно бывал подвыпивши (говорят, потаскивал у внука, у которого всегда бывала в запасе водка, а потом доливал водой). Этот старик никогда ничего не рассказывал, а только улыбался и всем кивал головой. Даже нельзя было сказать с уверенностью, чтобы он и слышал что-нибудь из наших разговоров, потому что, если его спросить о чем-нибудь, он, вместо ответа, приложит правую руку к виску, нагнет на бок голову и с неумирающею улыбкой под усами и в бороде вдруг затянет дребезжащим голосом заунывную песню. Посмеются над ним да так и махнут рукой. «Прямая ты, скажут, Самара!» (Почему-то его прозвали «Самарой».)

Третий был «сивый старичок», маленький, худенький, низенький. Но о нем речь впереди.

II

Для примера я расскажу вам, о чем и как мы беседовали.

Усядемся мы на колоде под окнами избы. Солнце в это время как раз стоит пред нами, так как оно закатывается за крыши противоположных изб. Своими бледными, негреющими уже лучами мягко ласкает оно старческие лица, старики жмурятся и ежатся под его лаской, как старые коты.

— Ноне, миленький, нам чести нету,— выговаривает мерным, неторопливым голосом Ареф, откинув свою массивную фигуру и большую седую голову к стене, скрестив на животе руки и совсем закрыв глаза.— Не те времена! Посмотри на сход — на сходе ноне все середняк-мужик... Нет нам чести! Говорят: «Окажи нам ум! По нонешним временам ум нужен... А какой у вас, стариков, может быть ум? Чего вы в нонешних веках понимать можете?» — «Понимали»,— молвишь. «Понимали, да не нонешние века! Нонешние века особенные...» — «Не глупее вас были, — молвишь,— за мир стоять умели... Выстойте-ка вы. Давайте-ка спинами али скулами считаться: у кого оне за мир больше трещали?» — «Трещали оне у вас,— смеются,— только и дело было что трещали... А ты вот окажи по нонешним векам ум... да!.. где нужно — змеей, где нужно — лисой, где попроси, где попляши — вот ноне мирская заслуга!..» — «И точно: глупы мы на эти дела... глупы!.. И бог с ними пущай!..» — «Ты,— говорит,— вот спиной-то мельницу не вывел, крышу железом не покрыл... Хорошо,— говорит,— оно тебе за чужим-то умом за печкой сидеть! Небось! скрозь железную-то кровлю тебе в лысину не каплет!..» — «Ну, и бог с ними. Пущай по-новому управляются... А мы послужили... Помянут и нас...»

— Еще по-мя-я-ну-ут! Нет, это погоди! — заговорил сивый старичок, сидевший по правую сторону меня, в накинутом на плечи старом нагольном полушубке.

Сивый старичок этот был с сивою же, повылезшей местами бородкой и слезливыми глазками, из которых один ничего не видел уж и только как-то особенно выразительно мигал.

— Нет, это ты постой, Арефа Пиманыч! — вскрикивал он и, встав пред нами, поправляя рубаху, затопотал своими новыми липовыми лапотками.— Еще мы напо-о-мним! Да!.. Коли что, мы напо-о-мним! Мы еще в своем деле — владыки! Ты еще нас — почти! Али я в своем доме не король? Али у меня заслуги нет? Е-есть!.. Коли что, мы еще напо-о-мним!..

— Друг, этого не скажи,— проговорил печально дед Ареф.— Исполнится предел...

— Предел-то еще когда исполнится!.. Да!.. Еще далеко до конца-то предела! Мы еще, слава богу, в полном разумении, чтобы нам конец-то предела показывать!..

— Ты ведь у нас бодер! Равно старый жеребец инно возгоришься,— заметил старик кузнец, не переставая жевать беззубым ртом, и беззвучно засмеялся в свои усы.

Самара весело все время смотрел на сивого старичка и хитро-снисходительно улыбался прищуренными глазками.

— Ты послушай-ка, дружок, ежели не в обиду твоей милости будет. Я тебе про платинку расскажу,— обращается сивый старичок ко мне, снова подсаживаясь сбоку и с удивительной деликатностью касаясь моей коленки своей заскорузлой ладонью.

— Сделай милость, дедушка Онуфрий,— отвечаю я и замираю, закутываясь плотнее в пальто, приготовляясь слушать, так как знаю, что это будет длинная-длинная страница воспоминаний, читая которую старик ухитрится пережить и перечувствовать вновь самые мельчайшие и неуловимые ощущения прошлого, хотя бы отдаленного уже на целые полвека.

Цепляясь одно за другое, плавно тянутся эти «напоминовения заслуг». Но только — удивительное дело! — как-то, в конце концов, из рассказа оказывалось, что «заслуги» эти вовсе не относятся к тому, к кому, по справедливости, должны быть отнесены, а к предметам, не имеющим с заслугами ничего, по-видимому, общего.

Вот, например, рассказ о похождении «платинки».

«Простое, известное дело: крутой барин, вымогательство оброка, «где хочешь бери — неси». Сошлись

старики, потолковали и вынули из онуч заветные платинки, где-то, когда-то сообща полученные ими за артельную работу. «На,— говорят,— Онуфрий, неси ему, брось...» Берет Онуфрий, идет к барину и думает: «Жалко платинки! Много ли обождать? Вот вернемся с заработков — отдадим, не зажилим... Зачем платинке пропадать, а старикам на последнем конце их жизни огорчаться? Ай, не отдам я барину платинки! Перетерплю, а не отдам!» И вот пока входит Онуфрий на барское крыльцо, он решительным жестом засовывает стариковские платинки в голенище сапога. Известная сцена: «Оброк!» — «Ваши рабы...» — и поклон в ноги... Бац, бац! А тут барынька, тихая заступница, вышла и говорит: «Не бей их, не бей, милый!» — и за руку его увела за дверь. Слышно, кричит он на нее там, ногами топает. А я стою: «Не отдам я тебе стариковские платинки! Перетерплю, а домой старикам назад принесу». Думаю так-то, жду... А она опять вышла, тихая заступница: «Ступай,— говорит,— я велю тебе и паспорт выдать... Вернешься с заработков — не забудешь!» Тихая барынька, заслужила она перед богом! Мужицкое горе за нее молить»,— кончает Онуфрий. Красный маленький нос его еще больше краснеет, а правый слепой глаз начинает чаще и чаще мигать.

А вот за платинкой следует длинная повесть о хлопотах по возвращению неправильно сданных в солдаты сыновей.

— Еду!.. Помолился — еду! Справку эту самую метрическую от попа крепко-накрепко держу. Приезжаю в город,— прямо к набольшему. «Врешь,— кричит,— врешь, мужичишка!.. Провести хочешь! Взятку хочешь дать?.. А я не возьму! Слышишь, не возьму! Не возьму!» Затрясся я весь, в ноги: «Не прикажи казнить, твоя милость, прикажи бумажку рассмотреть». Взял. «Жди»,— говорит. Жду день, другой, третий, с лошаденкой, в городе-то, значит... А самому думается: «Поздно! Ой, запоздаю! Сыны мои, запоздаю!» Чудится, везут уж их, забрали. Ждать не станут! Повернут дело в деревне скоро, коли узнали, что я такую прыть взял... Жду, братец, с лошаденкой... Неделю прожил, а все нет решенья... Ни себе, ни лошаденке кормиться нечем стало... Взял этто я лошаденку за

повод и пошел с ней по дворам, по миру, братец мой... Ей-богу! Взял лошаденку,— думаю, лучше разжалоблю... Ходим этто мы с ней, побираемся... А я кляну лошаденку: «И зачем я тебя взял, одра голодного? Сам-то я, може бы, кое-как прокормился! Связал ты меня, одер эдакий!» Кляну ее так-то денно и нощно... Одначе превозмог — дождался: приказали со строгим приказом к посреднику ехать, чтобы как можно... «Вышло,— говорит,— старик, твое дело правое... Только смотри — торопись!» Вышел этто я, плачу; тут и кобыленку свою вспомнил... Да, тут вот небось вспомнил! Первым делом — чуйку суконную заложил, в которой к набольшему являлся, да овса купил. Всыпал кобыленке: «Поешь, мол, родная, только услужи!» Еду, бежит кобыленка, сердце не нарадуется: так-то ли бойко по пороше отхватывает! А я ее еще прихваливаю: «Ну, мол, кобылка, беги, беги!» Приехал к посреднику, а от него старшина выходит. «Так и так,— говорю,— вот приказанье от набольшего...» А моего старшины и след простыл. Я за ним. Гляжу, а он коня сторублевого обрядил, чтобы, значит, зараньше меня к нам в село попасть да сыновей моих угнать, как бы, выходит, ради для того, что приказ, мол, опоздал... Сел этто я. не будь плох, на свою кобыленку да за ним следом. «Примерная,— кричу на нее,— примерная животинка! Не загуби души христианской! Сивушка, вынеси!» Сам этто гоню ее... Гоню, гоню, а сам посматриваю... Дрожит сердце: запыхалась, вижу... Ну, отпущу ей вожжи-то, вот так: отпущу-отпущу немного, дам вздоху, пока старшина-то у меня в глазах, а там и опять закричу: «Эх, примерная! Вынеси, ястреб ты мой поднебесный! Наберись силушки!»

Кричу эдак, да приговоры приговариваю, а у самого слеза бежит... мерзнет на бороде-то... «Нет,— думаю,— не вынесет кобылка... Нет, не вынесет! Загублю животинку... Того гляди — сейчас пластом падет! Микола милостивый,— думаю,— Фрол-Лавер, лошадные заступники, к вам прибегаю!» А сам опять нет-нет да отпущу ей вожжи-то: «Вздохни, мол, примерная!» Вот и последняя гора: село наше видно! На селе, вижу, народу видимо-невидимо около моей избы собралось: «Ну, отправляют!.. Али уж отправили?» Гляжу, стар-

шина к старостиной избе подъехал... Тут уж я остервенел, ровно зверь какой стал; чую только, будто во мне уж и жалости ни к чему никакой не стало... Встал этто я в санишках, намотал узел да и давай кобыленку бить... Бью в шальную голову! Ничего не помню... Видишь, братец, это уж во мне от горя-то жалость, значит, застыла: зверь стал человек — все одно! Обеспамятел! Прискакал к избе, толпа расступилась, от кобыленки только пар идет... Гляжу, поспел. У ворот подвода готовая стоит... Народ соболезнует мне: «Иди,— говорят,— прощайся, Онуфрий... К разу бог тебя донес! Поспел!»

Я молчу: ни гугу... Вошел в избу; старуха моя в переднем углу с хлебом-солью стоит, на каравае образ держит, молчит, а слезы-то на хлеб у нее кап да кап... Сыны мои тут же, одетые стоят, в полушубках, кушаки да шарфы красные... Старшой-то припадать к иконе сготовился... Тут вот, эдак в сторонке — стол, на столе водки четвертуха, всякое варево и печенье, а пред ним староста сидит... Я только моргнул на него — и поклона не сделал, перекрестился пред образом да с маху: «Старуха,— говорю,— прибирай иконы! Будет, помолились! А вы, сыны, хошь на печку полезай, хошь на улицу разгуляться ступай... Мир вам, родные!» А староста мне: «Это что за уставы?» Тут уж я совсем олютел, как бы сообразительность потерял, на него окрысился: «Коли ты хошь добром,— говорю,— Мирон Васильевич, так вот лакай водку, а не хошь добром, так вот тебе порог... Ступай, к тебе гости приехали, сам старшина!» Старосту так из-за бутыли и вымахнуло вон... А я, эдак, сел на лавке и сижу, молчу, себя не вспомню. А старуха и сыны стоят, смотрят на меня, ровно бы я и не в полном уме. Посидел немножко и говорю: «Уберите кобыленку! Жива ли она, примерная? Помни, родные, кабы не кобыленка, стоять бы сыну под красною шапкой... Заслужил конек!.. Умирать с голоду буду, ежели господь попустит, а с ним не расстанусь. Сам своими руками похороню, ежели переживу... Заслужила, примерная». Так-то, милый, вот она, заслуга-то от животины какая бывает! — закончил дед Онуфрий, утирая полой полушубка слезившиеся от умиления глаза.

— В ходоках хаживал, дружок... Ка-ак же! Хаживал! Годами хаживал... В миру-то мы в ту пору ладно жили, приятельствовали... Лесок у нас еще стариками был закуплен — в род, в века, в потомство, чтобы навеки нерушимо порешили в миру держать... А тут вот после «воли» стали у нас тягать лесок-то... Скорбь! А я завсегда был мирской человек... Дал мне господь на мирское дело разумение! Землю ли переделить, поравнение ли мирское сделать, учет ли мирскому капиталу произвесть — все Онуфрий, первым делом! Вот я какой был мирской человек — с улицы не сходил! Все ко мне шли за советом, от мала до велика! Ребятишки раздерутся на улице — и тем по справедливости, кому что, воздам!.. Стукну в оконце к старикам: «Почтенные! Мирское дело! Выходите, выходите!» У нас каждый вечер, у моей избы, сходы, ровно одною семьею жили... Ни у кого ни от кого тайны не было вот на экую малость!.. Горе ли, скорбь ли, радость ли у кого — все вместе: вместе всем миром слезами обливались, вместе и в смешки играли, коли господь веселым часком взыскивал. На улицу-то шел ровно в церковь. Из дому тянуло... Да мы по избам-то почесть что и не живали: духота в них, теснота, только спать ходили. А летом, так по дням и не заглядывали: все на улице, на миру — у всех в глазах!.. Не богато жили, тяжко жили, зато дружно! Теперь уж один я из нашего мира старик-то остался... Не хочется и на улицу выходить! Другая, братец, ноне улица стала... Прежде, бывало, на нашей-то улице к вечерку равно ангелы божии слетались невидимо... Тишь какая, мир и согласі.. А ноне отлетели они, должно, ангелы-то божии: ноне свара, брань, ненависть, надсмешки... Ноне на улицу-то идешь — поджилки трясутся.

Дед на минуту приостановился, как бы вспомнив, что он далеко уклонился от начала.

— Да, лесок... Мирская это была заслуга! Сидели, братец мой, везде сидели... Месяцами сидели... И гоняли тоже... Из Москвы (там нас настигли) гнали... Вишь?

И дед ткнул пальцем в какое-то пятно повыше лодыжки.

— Заслуга, друг... Отсудились!.. Не аблакатством,

милячок, брали, а брали верой!.. Встанем у суда и стоим: и день стоим, и ночь стоим, и в жару стоим, и во вьюгу, и под дождем стоим, и в сухмень стоим... Нас гонят, а мы стоим. Угонят, а мы опять придем — опять стоим... Месяцами стаивали... А все, милячок, вера!.. Ну, выстояли...

За этими рассказами мы и не замечали, как на нас наплывали сумрачные тени. Дед Онуфрий решался боязливо закурить трубочку (он курил потихоньку), и только что в ней разгорался огонь, как пред нами вставала высокая, плотная фигура возвращавшегося домой арендатора. «Хе-хе-хе! Опять у меня завальня-то куриною слепотой поросла... Смотри, барин, ослепнешь ты с ней или поглупеешь... А ты, Чахра-барин, опять соску засосал? Бесстыжие твои глаза!.. Ведь уж умирать пора, а ты соску сосешь... В бога-то ты веришь ли? У-у, бесстыдник! Как тебя сыны-то терпят!»

— Не люблю, признаться, я этих старичишек,— говорил мне арендатор, когда мы сидели с ним за чаем.— Так, ни за грош свой-то век отжили...

— А за что ты Онуфрия Чахрой-барином прозвал?

— Так прозывают... Шумливый старичишка... Баламут!

III

После одной из таких бесед Чахра-барин неожиданно явился ко мне. Слышу, за дверями кто-то осторожно и шепотом спрашивает прислугу. Я отозвался — и дед Онуфрий вошел в дверь. Не взглянув на меня, он истово три раза помолился на образ. Во всей его маленькой фигурке была видна какая-то особая торжественность. Едва можно было признать в нем того «захудалого мужичка», над которым любил посмеяться мой «умственный» хозяин и которого он называл «Чахра-барин». Теперь Чахра-барин был одет в синий армяк, застегнутый на все крючки, высокий, стоячий ворот туго стянут под бородой; на ногах свежо вымазанные дегтем сапоги. Сивая голова смазана маслом и тщательно причесана, с пробором посередине. Даже сивая борода была расчесана в виде рассыпающихся лучей, и только слепой правый глаз неизменно моргал.

— Здравствуй, Миколаич,— наконец сказал он и степенно прикоснулся кривыми пальцами к моей руке.— Я к тебе.

— Милости просим... Говори зачем. Коли в гости — садись, тогда и гость будешь.

— Всерьез пришел,— таинственно сказал он, присаживаясь на краешек стула.— Дело хочу зачинать... Вековое дело, братец! Потому, знаешь, оно в века пойдет...

— Что же, посоветоваться?

— Советов наших с тобой тут не надо... Для этого дела веками законы положены. Об одном надо стараться, чтобы отрешиться; ненависть какая осталась, али гнев, али жадность, али скупость, али огорчение — все из сердца вон чтобы! Чтобы у тебя душа, как стекло, светилась... И тогда воздай по заслугам, по равнению, по справедливости! Тогда будет твое вековое дело в мир и соглас, в совет и любовь!

Чахра-барин проговорил все это несколько восторженно и даже прослезился, но я никак не мог понять, в чем дело. Дед высморкался в полу, вынул из шляпы синий платок, утер вечно красноватый свой нос и глаза, уложил платок опять в шляпу и сказал наконец:

— Хочу сынов делить!

— Что так? Али умирать собираешься, али ладу в семье не поддержишь?

— Зачем так? — проговорил, как будто обидевшись, старик.— Умереть успеешь всегда. Мы еще послужим! Мы еще владыки при своем деле, в полном разумении...

— Что ж, или молодцы бунтуют, своей власти хотят, своим умом жить?

— Молодцы у меня, сказать тебе не в похвальбу, своему родителю не супротивны... И снохи, грех сказать... Уважительные... Все под моим умом ходят, моим распорядком живут! В них этого поведенья нет, чтобы тебе и в нос и в загривок тычки пущать... Конечно, не без греха... С кем греха нет? Поссоришься иной раз... Ну, только ежели этак посерьезнее прикрикну — молчок, все молчок!

— Так зачем же ты их делить хочешь?

— Для порядку, братец мой... Чтобы с бабой за

всегда можно резон иметь... А то эти бабы, хоша и почтительны, да много в них непостоянства: что ни день — все делятся между собой... Ну, для справедливости — ущерб! Ты бы их помирить, прикрикнуть, а и сам не смекнешь, чья плошка да ложка. Глядишь, ан ошибка! Того пуще содом... У нас ведь, друг, деревня... Дурости-то этой достаточно... Ежели вот кто в городе пожил, али кто разум крепкий имеет, али обхожденье понимает, тот из-за ложки деревню на ноги не подымет. Потому понимает, что из-за этого людям беспокойство делать глупо... А ведь у нас — деревня!.. Так вот, братец мой, для порядку, чтобы во дворце-то моем порядок завести, а то после старухи покойницы, признаться, как будто поопустился порядок-то маленько... Так вот для этого. Мне полегче большину вести, а им в века пойдет... без ссоры, без брани, без пререкательств... Да и навпредь будущее оно спокойнее... Неравно, грешным часом, бог конец предела положит!

— Зачем же я, дедушка, тебе?

— Как зачем? Для почету... Для дела почету больше — больше в деле крепости будет. Да ты уж захвати, сделай милость, карандашик, бумажки там... лоскут, что ли... Ты нам и пропишешь, так, для памяти больше, не для чего другого. Нам в волость не идти... Мы не из ненависти делимся, а делю я по своей отцовской справедливости, как из веков положено, по обычаям.

Я согласился с удовольствием.

Мы вышли. По дороге Чахра-барин постукивал в окно то к одному, то к другому шабру и говорил мне:

— Ты маленько, дружок, приостановись: я вот свату стукну, чтобы шел... Все, мол, готово!

Мы подходили к небольшой избушке, выходившей всеми тремя небольшими окнами на улицу, но зато длинной, делившейся сенцами на две половины. Некогда избушка выведена была прочно, крыта тесом, но теперь «выветрилась», осела на нижние венцы, а верхними, всем своим корпусом, накренилась в улицу. Тесины на крыше кое-где уцелели, кое-где заменены драньем, а вторая половина сплошь крыта уже соломой.

— Ну, вот, видишь мой дворец-то? Не велик —

точно, зато уютно было! Ты посмотри, какую команду вскормил со старухой для мира! Немалая заслуга. А как вскормил? Все сам принаблюл, друг мой сладкий, своею спиной, а инно и скулой! Зато и владыка я здесь! Никто мне не указ! Королем живу! А все, дружок, по заслугам... Кровью заслужил! — умиленно рекомендовал мне свой «дворец» Чахра-барин.

Но тут я заметил, что у избы топталась какая-то странная личность. Я несколько раз мельком видел ее и раньше у нас на селе, она постоянно водила за собой по улице ораву сельских ребятишек, обижавших и дразнивших ее. Одежда у нее была всегда одна и та же: изорванный в клочья пестрый жилет поверх посконной рубахи, распущенные порты, болтавшиеся на обеих ногах, в дырявых и стоптанных резиновых калошах; на лохматой, черной, с проседью, голове — поповская шляпа, увешанная разноцветными лоскутьями. Фигура эта особенно резко характеризовалась большими задумчивыми глазами, крючковатым носом, напоминающим клюв совы, беззубым ртом с сухим, выдвинутым вперед подбородком и клочком седых волос, вместо бороды, на правой щеке. Эта странная личность раза два в течение каждой недели являлась в наше село, с неизменными своими атрибутами — метлой и лопатой, которые она волочила за собой, и длинною палкой через плечо, с торчавшим на ней старым башмаком... Дурачок усердно работал около избы деда Онуфрия: метлой и лопатой поднимал он вокруг неё целые столбы пыли, расчищая вход в ворота.

— А вот у меня и камардин свой,— весело указал мне на дурачка Чахра-барин.

— Кто он такой?

Дед замотал головой, тихонько хихикая себе в бороду.

— Благоприятель мой,— сказал он, понизив голос.— Сват еще приходится.

— Что же с ним?

— А вот оно что значит не до конца-то предела! — таинственно сообщил дед и, помолчав, продолжал: — Какой мужик-то был! Сила! Истинный крестьянин... Все жил дома, при земле, большину большую вел.. Двоим сыновьям фитанцы купил. Ну, думал, то ли в

своем дому не король! Укрепил устой крепко, а сам в город поехал, думал там дворничать, да дело вышло незадашно... Через год обернулся в свое-то королевство, а ему сухую корку подали да за печкой угол показали (дед вытянул губы к самому моему уху). Баба его всю большину забрала.... Было, слышь, где-то у него двадцать золотых припрятано — и тех не нашел!.. Благодарю создателя! Меня старуха баловала!.. Ионыч, ты бы, голубь, того... приостановил своим-то орудием промышлять... Чисто уж! — обратился Чахра-барин к дурачку с какою-то особенною сердечностью в голосе.— Вот и барин говорит, что будет, вполне достаточно... Праздник вполне!

— Что ж, по мне как хочешь,— сказал, шепелявя, грубым и серьезным голосом Ионыч.— Если хочешь, я еще подмету, а не хочешь — я и перестану.

Он говорил мало, отрывисто. Его особая глубокая серьезность, доходившая до сдержанного озлобления и презрения к другим, заставляла иных предполагать, что он «сам на себя напустил».

— Ты вот что, Ионыч... Ты того... не ходи ноне ко мне, на праздник-то... Потому тут дело всурьез, видишь,— заговорил Чахра-барин, отвернувшись к стороне от окон избы и от меня и копаясь в кармане под полой армяка.— Будет тут народ сурьезный... Вишь, барин... Пойдут над тобой смешки, того гляди... Ты вот лучше сам... На-ка тебе.

И дед сунул ему в руку медяк.

Ионыч хладнокровно взял монету и сказал:

— Хорошо, я не приду ноне. Я после приду. Я в Грачево пойду,— и, собрав лопату, метлу и положив знамя с башмаком на плечо, широким, размашистым шагом пошел из села, сдвинув на затылок свою разукрашенную лоскутками шляпу.

— Ушел! — опять хихикнул дед.

Он, видимо, был доволен.

— Юродивец вполне. Иной раз тоже заупрямится — ничем от него не отойдешь... А теперь ушел... Ушел доброхотно! — весело повторял он.

Вероятно, он считал это за хороший признак, так как вообще метение при каких-нибудь особенно торжественных случаях жизни считается в народе за дур-

ную примету. А может быть, были и более глубокие причины.

IV

Мы вошли во двор. Как и самая изба, так и двор, и сенцы, и хлев, и сенница, и огород позади двора,— все было миниатюрно, бедно, дряхло, но, несмотря на то, все дышало жизнью, какой-то особенной жизнью, исключительно свойственною деревне. И в самом деле, какая сложная жизненная организация существовала на этом ничтожном, отмеренном мужицким «лаптем» клочке усадебной земли!

Солнце стояло как раз над сараем, но так как соломенная крыша последнего была покрыта бесчисленным множеством дыр и представляла из себя подобие полуободранного скелета или прорванного старого решета, то солнечные лучи в изобилии рассыпались в таинственном сыроватом полумраке двора и желтыми пятнами ложились на свежей соломе, скудно и жидко разбросанной на подстил. Там белые солнечные «зайчики» бегали по дырявым бревенчатым стенам, здесь два толстые луча, пробившись сквозь боковые отверстия, пересеклись и осветили темный угол, где лошадь, фыркая и переступая с ноги на ногу, время от времени матерински любезничала с жеребенком, облизывая его морду. В противоположном углу жалобно мычал теленок за загородкой, а новотельная корова, на правах родильницы занявшая самую середину сарая, флегматично отвечала ему легким мычанием. Две больных овцы, с обрезанными ушами и вставленными в них розовыми ленточками, вместо серег, не угнанные в стадо, терлись постоянно одна около другой, связанные узами какой-то непостижимой солидарности. Вверху, на подволоке, серая кошка вывела целую груду котят и беспокойно возится с ними, целый день перетаскивая их за шиворот из одного угла в другой. А еще выше, по застрехам и конькам крыши — воробьи, голуби и ласточки поселились своеобразными семьями и наполняли весь верх сенницы воркующими звуками. А эти воркующие звуки громким и восторженным криком покрывает петух, важно царящий над своим

куриным царством. И наконец, как царь над всею этою бессловесною животиной, «венец творения» — старик Онуфрий, по прозвищу Чахра-барин, господствующий над целой «командой» больших и малых жизней, втиснутых в маленькое, низенькое, трех окон жилье, именуемое крестьянской избой.

В самом деле, до какой степени велика «жизнетворная деятельность природы», выражаясь языком старинных ученых! Как она плодовита! Не потому ли она так и расточительна, так и беззаботна к судьбе своих созданий? Только на одном этом ничтожном клочке земли, величиной в несколько квадратных мужицких лаптей, сколько горя, бедствий, напастей, борьбы и страданий придется перенести этой массе жизней, прежде чем немногим из них удастся совершить полный цикл органического прозябания или дойти «до конца предела», как говорит старый Чахра-барин.

— Вишь, у меня как здесь людно! — любовно и самодовольно говорил дед, показывая под навес двора.— Ты войди-ка сюда, войди! Не просторно, да уютно. Натка-с вокруг меня сколько живота пригрелось! Оно и приятно... Потому знаешь, что все сам принаблюл, своею кровью... по заслугам, братец мой! Да! Выйдешь утречком в усадьбу-то свою и думаешь: одно слово — владыко надо всем! То ли не король? Все ведь это тобой живет, при тебе пригрелось... Разори-ка вот мое-то гнездо,— сколько слез будет! Да! Вот еще собачка была Шарок — страж, одно слово, слуга верный! Ну, волк окаянный утащил... ничего не поделаешь!

— А эта кобылка — та ли «примерная», что тебе заслужила? — спросил я.

— Нет, братец мой,— сказал с горечью дед, с каким-то особым певучим тоном в голосе.— Променял ту, на базаре променял. Хромать шибко стала. Пристарела, видишь... Нельзя по нашему делу, ежели через конец предела. Всякому конец предела есть... Долго терпел, жалко было, да, братец, ничего, видно, не поделаешь: старую колоду в овраг вали!.. Ну, сюда вот загляни,— повел меня Чахра-барин «на зады», так увлекшись осмотром своего «королевства», что забыл заглянуть в избу.— Вот здесь приспособленья мои покажу я тебе! Все ведь веком накапливалось.

А кое-что еще саморучно сделано... Тоже, в свое время, рукомесла кое-какие знал! Вот, вишь, передки-то у телеги — сам соорудил. Крепость-то какая!.. Лет пятнадцать живут... Право, не вру... что ты?!

Мы осмотрели телегу, роспуски зимние и летние, сани, две сохи, две бороны, косулю и другие орудия деревенского хозяйства, сваленные и свезенные к одному месту.

Было заметно, что насколько дед хотел показать мне свое «деревенское богатство, веками нажитое», настолько же он, кажется, делал осмотр лично для самого себя, часто останавливался и, по-видимому, соображал и считал: все ли собрано было, не забыл ли чего. Кроме того, деду, видимо, приятно было еще раз осмотреть каждую вещь, так как они вызывали в нем ряд воспоминаний, которыми он делился и со мной.

— Вот телега — купецкая телега в свое время была! Ну, немножко она теперь того... пристарела... Промокает у меня крыша-то, братец мой, частенько. Иной год самим-то соломы не хватит, так не то что крышу крыть, а еще у крыши-то одолжишься... Глядишь, по горсточке всю и перетащишь скотине. Всяко бывает... А добрая была телега. Старуха моя с собой ее во двор ввела... Тесть ей отдал. У меня тесть богатеющий был, именно крестьянин хозяйственный: трех лошадей держал, двух коров, овец да баранов штук двадцать, телок четыре... Ну, мне вот не привел бог! Да я доволен и тем... Я не жаден был, братец мой! Только то и брал, за что спиной платил. Вот гляди — из всего, что здесь лежит, нет, братец мой, маковой росины, чтобы лихвой али обманом взято было: все начистоту, друг мой любезный, все на кровную денежку принаблюдено! Ну, спроси про какую вещь хочешь... Спроси,— сейчас, по истинной совести, отчет дам, и краснеть не за что! Ну, скажи! — пристал ко мне дед.

Чтобы сделать ему удовольствие, я стал искать какой-нибудь вещи, выходящей из ряда обыкновенных. И нашел. В сеннице, на стене, среди шлей, хомутов, седелок, кос, граблей и пр. висел на гвозде барский ременный хлыст, с размочалившимся концом и обломанною ручкой.

— Ну, вот,— сказал я,— откуда ты достал такую штуку?

— А! — засмеялся, видимо довольный, дед.— Это уж, брат, умом!.. Да умным словом заслужил!.. Барин подарил,— года вот три всего,— не тот, что я тебе говорил, а нонешний,— помоложе меня будет... Любит он меня! Нас ведь здесь, в селе-то, всего два двора, ему временнообязанных-то... Мы так и живем в одиночку, у нас и «мир» свой... «Семидушный» зовут.

— Ну...

— Ну, так вот повез я ему, братец, оброк. Вхожу. А он сидит, чай пьет... Видно, скучно ему одному-то в деревне сидеть... «Это ты,— говорит,— Онисимыч?» Я, говорю, ваша милость. И сейчас это ему пятьдесят рубликов на стол... Вот ведь моему-то дворцу какая оценка идет! Да! Плох, плох дворец, маловат и тесноват, стар, в землю врос, а пятьдесят рубликов оплачиваю одного обро-о-оку, друг мой любезный! За пять это душ, выходит, братец мой. А ежели все-то счесть, что с моего королевства сходит, так, дружок, пожалуй, и считать устанешь... Я и сам доходов своих не считаю — собьешься!.. Придут, скажут: давай, с твоего дворца вот столько-то следует! Сделай милость, бери, коли есть, а нет — не взыщи... Да! Ну. так вот и говорю: оброк, мол, вашей милости. «Спасибо,— говорит,— старик, спасибо... Дай-ка я тебя угощу за это водочкой... Заветная у меня есть... Садись — гость будешь!» И за стол меня посадил с собой. Что ж, говорю, коли ваша господская милость будет,— выпью. Налил он рюмку (граненая рюмка, на солнышке так и играет — в добрый стакан будет), выпил я, налил другую — выпил, только поморщился! «Ну, что,— смеется,— какова водка?» Хороша, говорю, куда сладка! Я так тебе скажу, ваша милость: много я пил водки, а дороже этой не пивал. «Как так: дороже?» — спрашивает. А так, ваша милость, сами видите — по двадцати пяти рубликов за рюмку оплатил! «Каков! — закричал, да так со смеху и покатился.— Ну,— говорит,— хоть ты и стар, а у тебя еще ума — палата!» Ум, говорю, умом, а главное, прямотой я беру... А сам про себя думаю: «Постой, коли так...» Вот что, ваша милость, говорю, уж ежели тебе так мое умственное слово понравилось,

так ты меня за него вознагради... «Изволь,— говорит,— чем хочешь?» Оглянулся я эдак, да и говорю: «Дай ты мне вот эту рюмку, из которой я дорогую водку пил, да вот этот кнутик... Вишь, он уж растрепался, не нужен он тебе! Из той рюмки стал бы я водку пить, а кнутиком внучат учить да бар вспоминать! Дашь, что ли, на память мужику?» — «С удовольствием,— говорит,— бери, сделай милость!» А сам смеется, и я смеюсь. Погоди, я тебя из этой рюмки угощу,— заключил дед.— А теперь я тебе еще покажу... хомут немецкий!

Но в это время на задворки вышла из-под навеса двора девушка лет 20—22, с непокрытою, гладко и тщательно расчесанною головой, так что русые волосы светились, а в косу, толстым комлем примыкавшую к затылку, была вплетена лента. Высоко поднятые груди прикрывала ситцевая розовая рубаха с широкими рукавами, а поверх ее надет ситцевый полинявший сарафан. Она была босая, ноги толстые, изрезанные и растрескавшиеся в разных местах. Руки красные, с медными и оловянными кольцами. На загорелой шее виднелись голубые стеклянные бусы. Лицо у нее тоже было загорелое, обыкновенное лицо деревенской бабы после страдной поры: кое-где подпухшее, выжженное солнцем, щеки и нос были красны, с них лупилась от загара кожа. А по низкому лбу, на который спускались волосы, пробегали мелкие морщины. Но этот низкий лоб, густые выдающиеся брови и ушедшие в глазницы большие, карие, сердитые глаза придавали лицу девушки какой-то особый характерный отпечаток, сразу выделявший ее из всех других. Во взгляде ее карих глаз исподлобья было что-то и отталкивающее, и сразу овладевавшее вашим любопытством.

— Батюшка! — крикнула она от калитки.— Али ты совсем уж из памяти выжил? Забыл, что народ собрался? Сам завел потеху... Мало смеются над тобой! — неприятно раздался ее резкий, недовольный, брюзгливый окрик.

— Иду... Знаю!.. Что за приказы! — также недовольным тоном ответил Чахра-барин.— Не без дела шатаются... Порядки знают...

— А ты ступай скорей!.. Чего уж тут — поряд-

ки! — злонасмешливо сказала девушка, несмотря на нас, и слегка кивнула мне головой.

— Мы вот королевство осматривали,— пошутил я, чтобы извинить деда Онуфрия.

— Королевство!.. Воронье гнездо разоренное! — буркнула она, скривив рот, и скрылась за калиткой.

Чахра-барин сокрушенно махнул рукой и помотал головой.

— Это дочь твоя?

— Девка... Вот замуж никак не выдам... Давно пора... Лиходейка стала!.. Известно, парня надо... Ей отцовская честь что? Плюнуть... Ноне она здесь, а завтра с другим попом обедню правит... Ну, пойдем делить!— прибавил дед, стараясь попасть на прежний, добродушно-веселый тон.

— И дочери выдел будет? — спросил я.

— Нету, у нас этого не бывает... Девка не в дом несет, а из дому... к какому ей ляду выделять! Все одно к чужим пойдет...

— А ежели замуж не пойдет она?

— Не пойдет — другое дело... Незамужница заодно с мужиком идет... Выдел равный ей должен быть произведен, только ведь это редко... Удержишь ты девку, как же! Ей хошь золотой дворец посули, а она все будет от своих на сторону глядеть!.. Это уж, друг любезный, такое их произволенье!.. Ну, пойдем делить! — опять сказал он шутливым тоном.— Весь дворец, братец, поделим: до маковиной росины! Все отдам,— что мне? С собой в гроб не возьму! А пока все при мне же останется... Надо всем я же владыкой останусь!

Удивительное дело! Возвращаясь назад, я испытывал уже совершенно иные ощущения, чем в то время, когда Чахра-барин показывал мне «свое королевство». Чахра-барин был художник. Он не только сам жил образами и представлениями, разрисованными собственной фантазией, но умел заставить жить этими образами и других... Увы — странная девушка двумя словами разрушила иллюзию... Я видел, что королевство действительно было разоренным гнездом: все было дряхло, старо, без порядка. Очевидно, твердые хозяйственные руки отсутствовали и надо всем царила непроходимая и тяжкая нужда.

На небо набежали облака. Быстро, как гонимый ветром дым, неслись они с севера. Солнце, которое одно только и скрашивает унылость осеннего дня, несколько раз мигнуло среди разорванной гряды облаков и скрылось наконец совсем. Ветер тряхнул пожелтевшую вершину вяза, расправившую свои широкие ветви над крышей двора, и бурые листья закружились в воздухе. Я взглянул в глубину навеса — там был мрак. Пересекавшиеся золотые лучи исчезли, прихотливой и фантастической игры света и теней не было следа. Печально глядела ободранным скелетом крыша, в широкие пазы стен засвистел ветер. Корова жалобно замычала, и заблеяли тоскливо больные овцы.

Ничто так не разрушает иллюзий и фикций, как осень. Умирающий страстный, фантастический идеализм весны сменяется холодным и бесстрастным реализмом. В моих ушах как будто все еще звучали холодные и жалобные, как этот осенний ветер, слова девушки. А выражение лица — это злобное уныние — так шло к осени.

— Вот как, дружок, Чахра-барин поживает! — вдруг прервал мои тоскливые размышления дед.— Ежели живешь ты правдой да прямизной, да артель у тебя стоит в согласье и любви, да ежели ум у тебя есть, так вот ты и король! Ходи прямо, смотри бойко! Стыдиться тебе не перед кем! Что смотришь? Правду говорю...

Я, действительно, слишком пристально смотрел в лицо деда. Господи, что это было за лицо! Оно все играло и светилось так же, как у ребенка. Но что это было: сознательный самообман или иллюзия голодного?

— Ну, пойдем, я тебя теперь с моей артелью познакомлю... Ведь я, брат, ею и силен... Кабы не артель, так где бы мне королем быть! — наивно заметил Чахра-барин, вступая в сенцы.

V

Через сенцы, у которых половицы, что называется, «ходуном ходили», вошли мы в левую, «переднюю» половину избы. В ней было темно, душно и тесно. Сквозь маленькие заплатанные окна едва пробивался

осенний свет, да и его загородили широкие спины сидевших на лавке мужиков. Их было человека четыре; тут же была в сборе и вся семья, человек восемь; кроме того, висела в углу люлька, у которой сидела молодая баба и кормила ребенка. Чрезвычайно низко висевшие у самых дверей полати как-то еще больше увеличивали тесноту. На полатях, вниз животами, валялись малые ребятишки, свесив вниз свои кудлатые, взъерошенные головы и смотря на нас бойкими, шаловливыми глазами.

— Пришел? Ну, а мы думали, ты уж у барина загулял... Ты ведь с ним любишь хороводиться,— заговорили хором сидевшие по лавкам мужики.

— Загулял! Чай, я, слава тебе, господи, не вертопрах какой,— обиделся дед.— Осмотрел вот все, обсчитал в королевстве-то своем, чтоб после не забыл что...

— Не бойсь! Не собьешься в мужицком-то королевстве!

— Не велики кладовые-то припасены, упомним, бог даст! — сказал, улыбаясь, молодой мужик, вставший при нашем приходе.

— Ну, вот,— рекомендовал мне дед,— это вот сыны мои, а это — старики, сваты да шабры,— знакомы тебе... А это бабы! — махнул дед, не оборачиваясь взад, рукой к печке, за загородкой которой стояли две-три молодые женщины.

Я поздоровался с его сыновьями «в руку». Один из них был высокого роста, с большою рыжею лохматкой, плечистый, здоровый, с веселым, открытым лицом, из тех мужиков-весельчаков, у которых на губах постоянно витает добродушная насмешка. Он был в красной ситцевой рубахе, суконных шароварах и больших сыромятных сапогах. Другой выглядел еще совсем парнем: низенький, сухопарый брюнет, подстриженный «в кружку», с серебряною серьгой в ухе, в суконном пиджаке и глянцевитых, с набором, сапогах. Это было одно из тех ухарских, беззаботных и несколько нахально высматривающих лиц, которых много встречается среди столичного фабричного люда.

По передней стене, действительно, сидели все мои знакомцы — и Самара, и кузнец с детским лицом, и сам дед Ареф приплелся кое-как; только четвертый старик

не был мне знаком: это был кудрявый, черноволосый, смуглый, с крючковатым носом, низенький, коренастый мужичок, с вывихнутым плечом, которое он поминутно вздергивал до самого уха; на нем был новенький, со стоячим воротником сермяжный полуармяк. Он постоянно переводил глаза с одного говорившего на другого и так внимательно вытаращивал их и следил за разговором, что казалось, для него было крайне важно не потерять ни одного слова. Сам же он больше молчал.

— Пришел и ты? — обратились ко мне старики, кивая головами.— Посмотри, как нищую суму делить будем,— прибавил старик кузнец.

— Ну-у, нищую! Слава богу... чем наградить — найдется. Не по кабакам век прожили... Не знаю, как дальше дело поведут, а у нас, слава богу, заслуги есть... Крестьянство свое содержали,— обиделся опять дед, сердито расстегивая под бородой ворот кафтана.

— Да это я не в обиду тебе сказал, а так... больше для всего крестьянства... Что для барина наше хозяйство? Пустое место... А туда же, скажет, делить собрались... Вишь, старики собор собрали! Как быть! Все ж позабавятся, старину вспомнят! — добродушно подсмеивался старый кузнец, начиная жевать беззубым ртом.

— У всякого свой сурьез,— категорически заявил Чахра-барин и, обдернув синюю пестрядинную рубаху, махнул по столу рукой.— Бабы! прибери со стола! — грозно крикнул он.— Что за порядок! Что вы, не видите, что ли?.. Экая деревня! Рады, что мужья приехали, и глаза разбежались!

Дед ворчал, старики и сыны молча улыбались.

Я подошел к старшему сыну.

— Делить вас дед хочет,— сказал я, чтобы чем-нибудь начать разговор.

— Делиться хотим,— поправил он меня.

— Что же, сами хотите?

— Да из-за баб больше... Нам что! Мы в Москве живем, в заработках... А вот бабы... Дедушка-то стар уж стал, настоящего распорядка с бабой не сделает... Бабы забижают! — подмигнул он мне добродушно на отца.

— А ты бы... того... скромненько, Титушка,— сказал дед сыну, сдержанно кивая бородой.— Погодить

бы... Вот, когда я сам своему пределу конец положу, тогда и разговаривай!.. А то ведь здесь старики... Смешки-то оставь!

Сын захохотал беззвучным смехом и замотал из стороны в сторону своею рыжею лохматкой.

— Да нам что!.. Господь с тобой,— ответил он,— владычествуй!.. Мы в твою команду не встряем... Сделай милость!.. Мы вот — ноне здесь, а завтра нас нет... Все в твоих руках! Сам за все и ответствуй. Мило — так командуй, а не мило — твое дело!.. Мы тут ни при чем... Ваше дело с бабами!

И Тит опять засмеялся беззвучным смехом.

— Да уж надоть правду сказать: чужой век заедать — заедает, а распорядков хороших мало видно! — вдруг сказала сидевшая у люльки женщина, бросила в нее ребенка и порывисто начала его качать.— Кабы из его-то команды пользу видеть...

— Молчать! — грозно перебил дед.— Ах ты, эдакая... сорока! Али муж приехал, так и страх потеряла?

— Кабы ежели... А то шумит, что сухой веник,— не слушая, продолжала бойкая баба,— со всеми соседями перессорил своими-то порядками...

— Перестань!.. Что за самоуправство? — протянул презрительно-наставительным тоном, искоса взглянув на бабу, молодой мужик в пиджаке, все время крутивший цигаретку.

Молодая баба, вероятно, была его жена.

— Ну, умиритесь! — сказал торжественно дед.— Дело такое... вековое... Соглас во всем нужен!

И дед поставил на стол штоф водки, а бабы подали огурцы, куженьки, хлеб.

— Благословимся, старички! Начинай, Ареф,— приглашал дед, наливая водку.— Ну-ка, милячок,— обратился он ко мне,— для начала дела... из граненой-то! Вот она — заслуженная-то мужицким умом!

И дед подал мне граненую барскую рюмку.

— Ну, дай бог поделиться в совет да любовь!.. Пошли, господи, мир и согласие!.. Чтобы во веки веков!.. Без претыкательства чтобы!.. Чтобы жадности этой не было!.. Справедливо чтобы. главное!.. По заслугам!.. Чтобы судьбища этого после не было! Сохрани госпо-

ди! — и т. д., раздавались возгласы и пожелания по очереди встававших и выпивавших мужиков.

— Да нам что! Господи помилуй! Из-за чего нам ссориться?.. Свои люди, кровные! Ведь мы не из чего — не из ненависти али злобы делимся... делимся по доброхотному желанию!.. Кушайте, старички, во здравие!.. Благодарим на пожеланиях!.. А что насчет претыкательства или судьбища — упаси господи! С чего нам? Нам что?.. Все по-старому будет: пущай старичок управляет!.. К чему обиды?.. А только как будто для порядку лучше... Ведь вместе будем жить, никуда не разбежимся... Кому что надо — бери... Господи, царь небесный! Да мы это и греха на душу не возьмем! — и пр., и пр.

Такими возгласами и заявлениями отвечали, с своей стороны, на пожелания гостей в один голос хозяева: и дед, и сыны его, и невестки, и еще неожиданно откуда-то взявшаяся старушка, вероятно, дальняя родственница. Только Степаша (так звали дочь Чахрыбарина) не принимала никакого участия; она молча сидела в углу и сердито чинила старый отцовский полушубок.

— Ну, милячок,— обратился ко мне дед,— ты бы того... Бумажку-то приготовил... вписать, так, для памяти...

— Хорошо. Как же мне начинать?

— Да что начинать?.. Как вот будем говорить, так и пиши: Климу — лошадь, а Титу — корова; Титу — телку, а Климу — овцу...

— Как овцу! За телку-то овцу? — вдруг вскочила от люльки молодая невестка.— Господа старички! как вы хотите, мы на это не согласны...

— Ах, дура, дура!.. Вот она, баба-дура! — замотал дед сокрушенно головой.— Да ведь это к примеру... Ведь это я барину пример даю... Экая необузданная!

— Конечно, к примеру, глупая!.. Ты понимай, как речь идет,— наставляли в свою очередь и старики.

— Ты сиди! — прикрикнул на нее молодой муж.

Баба, по-видимому, смирилась, но по всей ее фигуре и разгоревшимся глазам было видно, что она приготовилась к борьбе на жизнь и смерть, что ничто не ускользнет от ее внимания.

— Ну, благослови господь! — сказал дед и, поместившись с правой стороны меня, положил локти на стол и искоса посматривал ко мне в бумагу.

Слева от меня присел черноволосый, кудрявый мужичок, он чрезвычайно сосредоточенно через руку смотрел, как я писал, и от времени до времени подергивал вывихнутым плечом.

— Клади избу.— начал дед.— Тут долго толковать нечего! Изба в род идет... Переднюю горницу клади старшому, Титу, а Климу пущай задняя идет... Так ли?

— Справедливо вполне!

— Ну, теперь ежели молодший совсем в отдел захочет, на новую усадьбу,— пущай ему, в зачет избы, сенница пойдет тогда. А до тех мест сенницей сообща владать... А мне что? Мне ничего не надо... Я вот из горницы в горницу и буду переходить. Так ли? Мне, старику, много ли надыть!.. Я знаю, моих заслуг не забудут... К чему тут уговоры?

— Зачем?.. Господи помилуй!.. Чать, ведь родитель... Да мы не токма что... Не крестьяне мы, что ли? — заговорили молодые.

— Мне еще вот, может, годков пять-шесть повладычествовать... Пока еще я в силе... А там — простите, родные, коли ежели старик отдохнуть захочет да печки запросит... Всему свой есть конец предела! Ну, тогда не осудите: старика приголубьте... Много ведь поработано на веку, и отдохнуть когда-либо надо будет,— и дед утер прослезившиеся глаза.

— Справедливо вполне!.. Да мы бы, пожалуй, и теперь... Мы не утруждаем... Коли ежели хочешь...

— Нет, зачем? Теперь я сам не хочу... Еще я сам теперь в полном разумении!.. Еще моему концу предела не положено!.. Еще мы послужим! Небось не хуже молодого дело поведем: у молодого-то оно, точно, ум бойчее, зато у старика прочнее... Молодой, глядишь,— фитю, фитю! за тем, за другим погнался, а старик что бык: он на своем крепко стоит, за свое дело держится, на моду не пустится, на соблазн не пойдет... Старик дедовскому завету крепок.

— Верно, верно! — поощряли деда старики.

— Ну, значит, теперь — надворное строение... Пиши так: а владеть нам, братьям, надворным строением

сообща, пока на одной усадьбе жить будем, без ссоры, без препирательства; а в тех случаях,— диктовал мне дед,— когда младший пожелает на новую усадьбу уйти, то выдать ему на снос сенницу, а прочее старшему пойдет... Так ли?

— Справедливо! — откликались лаконично в избе.

Я писал. Старики сидели по лавкам, опустив вниз головы и нагнув спины; сыновья и бабы стояли посередине комнаты около стола и молча смотрели, как бегало мое перо по бумаге, а выше, с полатей, сверкали бойкие, разноцветные глазенки ребятишек.

— Теперь одежу... Тащите, бабы, одежу! — приказал дед.

Бабы притащили из клети два вороха старых и новых полушубков, армяков, поддевок, две пары сапог валяных, бабьи шугаи и пр.

— Ну, вот,— говорил дед,— делите... Все отдаю! Себе только один армячишко оставлю... Что мне? Куда?.. Делите поровну... Все ведь это артелью строилось... Кабы я один, где бы мне столько богатства нажить?.. Все вместе в одну житницу тащили... Только вот Климу полушубка не дам... Заслуги нет! Ты у меня армяк в Москву взял да прогулял. А отцу хошь бы чем польстил, хошь бы гостинец какой!.. Заслуги не видать!..

— Да мне, пожалуй, не надо армяка-то,— отвечал сконфуженный Клим,— мне пинжак надо!

— Ну, и строй себе пинжак!.. А полушубка я тебе не отдам...

— Ты не по заслугам дели, а по равнению... Все в одно работали,— заметила бойкая жена Клима.

— А ты не учи. Одно дело по равнению идет, другое дело — по заслуге... Ну, равняйте сами!

Началось равнение. Каждая вещь рассматривалась — слегка и поверхностно сыновьями, очень тщательно — бабами и стариками, когда вещь вызывала спор. В особенности хорош был кудрявый черный мужичок; он вдруг вскакивал, подходил к ворохам, брал какой-нибудь шугай, молча осматривал его сзади и спереди и затем, положив на место, молча возвращался и садился на лавку.

«Ну что ж?» - спрашивали его. Он махал рукой и

говорил: «Справедливо!.. Пущай!» Наиболее говорливым оценщиком неожиданно оказался старик Самара, так любивший петь заунывные песни; он все время неустанно расписывал достоинства каждой вещи и определял их сравнительную ценность.

Прошло около двух часов, пока мы все собором выбрались во двор. Молодая жена Клима бросила ребенка в люльку на произвол судьбы и побежала за нами. За ней, быстрее молнии, слетели с полатей ребятишки и тоже высыпали на двор. К общей толпе с улицы прибавилось еще два-три соседа.

На чистом воздухе оценка пошла оживленнее, благодаря наплыву новых участников; да и самые предметы дележа представляли более интереса. Стало во дворе шумно и людно. Сам дед принял горячее участие в оценке вещей. Он совсем расходился. Его художническая натура снова заявила себя. Задетый кем-нибудь за живое насмешливым словом над телегой или сохой, он вдруг пускался в обольстительные подробности относительно их происхождения. И вот этими подробностями, в которых главный элемент составляла масса затраченного мужиком труда, изворотливости, самопожертвования, скудный крестьянский инвентарь приобретал в глазах наблюдателя какие-то фантастические размеры.

То одушевление и сердечность, с которыми дед защищал свое «королевство», вносили такую полноту жизни в это «разоренное воронье гнездо», что было очень трудно не поддаться иллюзии. А сколько времени было потрачено на оценку и раздел этого «деревенского богатства», чтобы все привести к принципу «равнения и справедливости»! Почти смеркалось, когда мы возвратились снова в избу. Заметно, что приустали, и только Чахра-барин, казалось, никогда не чувствовал себя таким счастливым, как в этот день.

— На-ткась,— сказал он,— какую махину осмотрели!.. Целый день делили... Вишь, и солнышко закатилось!.. Ведь оно у меня, королевство-то, не малое, веками накапливалось!.. Мне добрым людям не грех в глаза посмотреть! Али я вертопрах был, али я своей родной артели расточитель, али лежебок, али от глупости добро размотал? Вот оно — смотри, гляди кто хо-

чешь!.. Все в целости передаю! Потому тут на всем одно — кровь наша да пот наш... А этому цены нет! — заключил он несколько торжественно, залезая опять за стол.

Все молча усаживались по лавкам.

— Ну, милячок, прочти же ты нам, что у тебя там объявилось! — обратился ко мне Чахра-барин.

Сыновья подошли ближе к столу, бабы сдвинулись позади их. Черноголовый кудрявый мужичок выпучил на меня сосредоточенно глаза. Я прочел инвентарь имущества деревенского короля.

— Ну, вот! Справедливо вполне, кажись, старики?

— Справедливо вполне! Как быть!

— Мелочишка неважная кое-какая не вписана... примерно, сапог две пары валяных, да сыромятные... Ну, да это пущай так пойдет! Из-за валяных сапог судиться не пойдем! — сказал старик.

— Пожалуй, кому охота!.. С судом-то пятеро сапог новых пропьешь! — весело заметил старший сын и, по обыкновению, беззвучно засмеялся.

— А теперь, братец, ты вот что прибавь, — начал дед. — Дочери же моей Степаниде Онуфриевой... Слышь, Степашка, об тебе речь идет!

Степашка вдруг вся вспыхнула, ее глаза беспокойно забегали по работе, но она молчала и не подняла головы.

— Дочери же моей, — продолжал дед, — в случае, ежели господь даст просватаем, выдаю ношеную одежду, что после старухи моей осталась. Мы же, братья, наградим ее, кто может, по силе-помочи, по братней любви... Так ли?

— Что ж! Известно, по обычаю... Ежели будем в силах! — отвечали братья.

— За лиходейство награждать-то не приходится, — сдержанно заметила молодая жена Клима. — Что мы от нее видели? Ты ей слово, а она тебе десять... Ты ее работать пошли, а она тебе хвост задерет, что телка... только от нее и видишь! Какая от нее в доме заслуга?

— Только вот по дедушке еще и терпим, шепотом заметила старшая невестка старушке с добрым, сморщенным в кулачок лицом.

— Ну, молчите!.. Слышь! Степашка! Я тебе, для

великого нонешнего дня, лиходейство твое прощаю навеки... Бог с тобой!.. Не видал от тебя я ласки, ничем никому ты не польстила... Невестки чужие все же — с них много не спросишь... А ты — кровь родная... Ну, да бог с тобой!.. Девка, известно, ломоть отрезанный! На нее надежды не клади... Слышь, Степашка? Оправим тебя с братьями по-божьему, без обиды.

Степашка становилась все сердитее, лицо ее горело.

— А ты брось хоть словечко,— подошла к ней добрая старушка,— скажи что ни то... Вековое ведь дело.

Степашка молчала.

— Эка телка упрямая! — прошептала сокрушенно старушка.

Дед махнул рукой и неожиданно всплакнул:

— Бог с ней!.. Ну, а теперь, в закончание, напиши, милячок,— сказал он мне, утирая рукой глаза,— в случае же, ежели, чего господи сохрани — выйдет ей произволенье навеки в девках оставаться,— нам, братьям, выделить ей, по равнению третью из общего нашего имущества часть, как следует, по дедовскому обычаю, как-то: амбарушку, для местожительства, с приспособлением; печку вывесть; от приплоду телку да ягнят пару, а ежели пожелает хозяйствовать, то выделить ей соху, да борону, да мелочь, что по хозяйству будет нужно.

Вдруг Степашка поднялась, бросила на лавку тулуп и, вся нервная, порывистая, взволнованная, с сердито сверкающими из-под густых бровей темно-карими глазами, подошла к столу.

— Ты, барин, этого не пиши... Похерь это!.. Похерь!.. Я свое себе найду... Я свое судом найду... когда надо будет!.. Ты бы лучше, дедушка, чем о других промышлять, лучше бы себе валяные хошь сапоги выговорил... Все оно по миру-то ходить пригодятся!.. А то вон у Ионыча и их нет! — У Степаши пробежала по губам злая улыбка и искривила ей губы; она быстро повернулась и пошла к двери.

— Тьфу, тьфу, лиходейка!.. Глаз бы тебе на глаз, типун на язык! — плюнул ей вслед Чахра-барин, когда она громко стукнула дверью.

— Ишь ты, какая козырь! сказали старики.

— Огонь! — прибавил старший брат.

— Пора бы тебе, Онуфрий, ее усватать... Сгубит, того гляди, и себя, и семью... Мужика бы ей нужно, чтобы смирил... Вот что мой сын,— сказал дед Ареф,— он бы ее, что норовистую лошадь, кнутом выходил...

— Братец мой, пытался,— отвечал дед.— Неужели не пытался? Да сладу нет — нейдет. Говорит: по своей воле хочу! Бить ежели... Собирался иной раз, потреплю за косы... Да силы нет во мне на это; не такой уж я зародился... Думаю, из чего я ее стану бить? Ведь она не балует!.. Признаться, братцы, слабенек я, точно, грешен в этом! Думаю, лучше стерплю... Стерпится — слюбится... За словом николи не гнался!.. Думаю, добрые люди это завсегда в заслугу поставят... Вот она говорит: «Хоть бы валяные сапоги...» А я думаю: неужто ж мои заслуги валяных сапог стоют?.. Что мне их выговаривать, когда ежели я знаю, что у добрых людей заслуга не пропадает?.. Так ли? Ну, на том и порешим! Выпьем-ка, старики! Проздравим с благополучным окончанием! А там будем жить-поживать, как и раньше жили... Только с бабами мне теперь сподручнее будет! — пошутил дед.

— Тебе теперь с бабами чудесно! — заметил младший сын.

— Теперь распределено! Коли что — сейчас в бумажку,— прибавил старший сын со своей добродушно-хитрой насмешкой.

— Благослови господь вековому делу быть в соглас и мир, в совет и любовь... а мне, старику, стоять в большине твердо и неуклонно до конца предела, пока господь силы и разумения не отымет!.. Тогда сам скажу: «Не осудите, родные, приустал; печки старая спина просит! Моих же заслуг не забудьте»...

Снова раздались пожелания, впересыпку; все говорили, перебивая друг друга. Некоторые старички успели охмелеть и лезли целоваться с дедом Онуфрием и почему-то, кстати, со мной. Старший сын с рыжею лохматкой после трех рюмок совсем умилился, сбегал «мигом» за новой четвертью и потом стал со всеми целоваться и обниматься. Деда Онуфрия совсем зацеловали. От удовольствия и водки осовел он и сам, и лицо, и борода его светились несказанным блаженством.

— Король, король, Онисимыч, вполне! Дай тебе господь! — любовно несколько раз говорил ему черноволосый мужичок, постукивая по плечу и пристально глядя ему в лицо своими выпяченными глазками.

VI

Прошел год. Также осенью пришлось мне навестить одного знакомого землевладельца, жившего верстах в пяти не доезжая Больших Прорех.

Сидел я в зальце своего знакомого, у окна, выходившего в палисадник, из-за подстриженных жидких акаций которого виднелась невдалеке старая шосейная дорога; березовая роща с покрасневшими листьями стояла по другую сторону дороги, а из-за рощи, каждые полчаса, слышались свистки поездов и подымались беловатые, густые клубы паровозного дыма, мигом разносимые осенним ветром над головою рощи. Я сидел с моим приятелем и его женой, большой любительницей деревни, нарочно уговорившей мужа купить имение и заняться сельским хозяйством. Ей хотелось «изучить народ и деревню дотла», как выражалась она. Мы курили папиросы и вели разговор именно на тему «деревни». Катерина Петровна всегда считала своим долгом непременно говорить со мной «о деревне», так что, при всем уважении моем к предмету ее любопытства, такое постоянство мне несколько надоедало. Разговор на минуту у нас как будто истощился, и мы бесцельно стали смотреть в окно. Но в это время на шоссе показались два старика; один был в старом сермяжном кафтане и лаптях, другой — в рубахе и босой. Они чуть держались, хватаясь друг за друга, под напором ветра, который гнал их вдоль дороги, осыпал целым дождем побуревших листьев и пыли, срывал с голов шляпы и развевал их жидкие, седые волосы. Добравшись до поворота, они быстро повернули к нашей усадьбе.

Катерина Петровна давно уже внимательно следила за ними.

— Это мой приятель, — сказала она, — вот тот, в поповской шляпе... Дурачок.

— Я его видел, — сказал я.

— Да? Он меня чрезвычайно интересует... Мне очень хочется вникнуть в причины появления в наших деревнях этих дурачков, юродивых и пр. Их так много,— прибавила она и вышла в другую комнату навстречу старикам.

— Вот я тебе еще привел приятеля... Корми! — раздался из соседней комнаты грубоватый и шепелявый голос Ионыча, вероятно обращенный к Катерине Петровне.— Накорми его, а я тебе пойду дров нарублю, воды принесу, двор подмету...

— Ты, дедушка, откуда? — спрашивала Катерина Петровна.

— Я, сударыня, дальний... издалеча,— отвечал другой старческий голос.

— Куда же ты идешь?

— А так брожу... Потому, милая, мне конец предела пришел... Поработал на свой век, слава тебе, господи!.. Вздохнуть пора... Вот и пошел по миру разгуляться!

Голос показался мне знакомым.

— Кто ж у тебя дома остался?

— Дома у меня, как быть, дружочек, все в порядке... Королевство-то мое я, милая, пристроил, как быть; в полном виде сынам препоручил!.. Все ведь свое, трудовое было!.. Да!.. Созвал их, говорю: «Вот, сыны мои, хочу я своей власти положить конец пределу; владейте теперь нашим имуществом вы, сами принаблюдайте, а мне уж воли дайте... Приустал!» — «Ну что ж,— говорят,— старичок, иди, разгуляйся... Неволить тебя не будем! Ты и так потрудился... Вишь, какое нам королевство оставил! Твоих заслуг не забудем!..» Благодарю создателя, прожил век не без заслуг! Есть что на старости вспомнить, чем похвастаться!

«Неужели это говорит он, Чахра-барин? — недоумевал я.— Да, это он, его голос, нет сомнения».

— Ты нам вот что: ты нам квасу дай только, а хлеба да луку мы своего накрошим... А больше ты нам ничего не носи! Не нужно! Вели нам только квасу дать,— раздался опять бас Ионыча.

Когда Катерина Петровна прошла через залу, чтобы велеть принести квасу, я вышел к старикам.

— Ты, дедушка, какими судьбами? — воскликнул я, увидав Чахру-барина.

Чахра-барин, видимо, обрадовался.

— Вишь, и ты здесь! Какое мне счастие-то! — весело сказал он.— Али знаком? — спросил он шепотом, показав на дверь.

— Да знаком. Мои хорошие друзья.

— Хорошие, верно... Барынька — милосердная сестра, все одно!.. А ты подь-ка вот сюды... Мне тебе кое-что сказать нужно.

И дед пошел за дверь на крыльцо.

Ионыч все время усердно крошил черный хлеб в деревянную чашку, не обращая на меня никакого внимания. Я вышел вслед за стариком.

— Ты ведь, слышь, по зимам-то в Питере живешь? — допрашивал он меня, оглядываясь боязливо по сторонам, когда мы вышли на крыльцо.

— Да, в Питере.

— Чай, тебе, поди, человек там надобен? Поди, чай, тоже кое-где прислужить, за добром присмотреть...

— Нет, дедушка, мне не нужно... Что же ты, знакомого кого хотел пристроить?

Дед, не отвечая, притворил плотнее дверь в комнаты.

— Вот что я тебе хочу сказать, Миколаич,— заговорил он как-то стыдливо, не смотря мне в глаза и понизив голос,— сделай милость, возьми меня с собой в Питер! Будь друг! Я бы тебе вернее собаки услужил, слуга-раб был бы по гроб жизни... А от тебя одного востребовал бы: чтобы на улицу меня не выгонял да кус черного хлеба!.. Ну, рюмку водки когда. ежели твое расположение будет...

— Дедушка! да ведь тебе шестьдесят лет! Как же ты решаешься?

— Век, милячок, прожил в здешних местах, никуда не тянуло, и мысли не было, а теперь — хошь в самый Питер! Теперь ничего не боюсь... Теперь мой конец предела все одно загублен! Век нигде не бывал, а теперь иду! Бери! — иду! Я тебя полюбил... Я бы за тобой что нянька ходил... Ребятишек бы твоих нянчил, заместо родных внуков... Пса вернее, говорю, твое добро соблюдал бы!

— Да что с тобой случилось, дед?

Дед наскоро распахнул свой, подпоясанный мочалом, дырявый армячишко и, цепляясь костлявыми, дрожащими пальцами за ветхую и грязную синюю рубаху, стал усиленно рвать ее на груди.

— Вот, милячок,— говорил он, задыхаясь, напряженным шепотом,— глянько-глянь — рубаху-то!.. Полгода ношу... Обменки нету... Вошь заела!.. Другой раз выйду за село, к вечеру, чтобы не стыдно, разденусь да выполощу в пруду и рубаху, а порты... Сношенки снизвели меня!.. Говорят, «снизведем его, старого, вошью!»

— А где же Степаша?

— Степашка?.. У-у, беглая! Крови своей, родной крови бежала!.. Ты мне об ней не говори... Сношенки-то... Ты слушай, дружок,— все таинственным шепотом передавал мне Чахра-барин, стараясь снова застегнуть на голой груди рваный зипунишко,— сношенки-то говорят, как сыны-то уехали, говорят: «Мы его снизведем, старого кота...» «Кабы ты,— говорят,— старый кот, сдох, так мужья-то с нами жили бы, не шлялись бы по сторонам!..» «Мы,— говорят,— тебя снизведем...» И туда меня, и сюда меня... «Какое,— говорят,— от тебя промышленье? Какое,— говорят,— от тебя хозяйству приращение?» А я, милячок, от утренней до вечерней зари в поле... Едешь это с сохой домой да по дороге-то пять раз наземь приляжешь... Ноги-то трясутся. Многого с меня не возьмешь... А мне, в благодарность, сухарь с водой!.. Ты слушай-ка: одонья стали складывать, залез я наверх: потому я первый был мастер одонья класть, у меня одонье-то что точеная корона выходило! Залез этто я, а сношенки-то снопы мне кидают. Повернусь этто я задом, а мне нет-нет да снопом-то в спину... «Не дури! — крикну.— Поглядней действуй!» Обернусь опять, а мне снопом-то в загривок... Ну, я и ткнусь рылом-то... «Не дури! — кричу.— Ах ты, сорока!.. Ну, ты меня жизни решишь!.. Много ль мне надоть?»... Кричу эдак, а другая-то сношенка мне снопом-то в рыло... Да таково метко, индо из глаз искры посыпались, а из носу руда потекла... Тут я огорчился... Сполз этто с одонья... «Ах вы,— говорю,— лихое семя! Да вам что старик-то достался?»

Бросился за ними, бить хочу, кол было взял... А они на улицу,— на улице смех: «Го-го-го!» Ушел я этто, братец, на задворки, присел на кортки да и взревнул... Реву, что корова!

И дед вдруг всхлипнул раз, другой. Все его лицо как-то неприятно сморщилось в кулачок, и он дико и глухо заныл.

Я стал его успокаивать, но он сам тотчас же отер кулаком слезы и спокойным уже голосом проговорил:

— После того стал я, братец, своему дому не хозяин, своей земле не крестьянин; стал пропадать днями и ночами, с юродивцем стакнулся, по миру пошел... ровно бы божий человек!.. Возьми ты меня, сделай милость, отсюда!

— В Петербург, старик, не могу, а вот хочешь здесь, у барыни?

— Нету, нету... Ты меня дальше... на край света отправь.

— Ну, хочешь в город, к знакомому моему?

— Иду!.. Благослови господи!.. Иду!.. Дров нарубить, воды натаскать, с ребятишками заняться... Еще послужу!

Я хотел вернуться в комнаты, но он удержал меня за рукав и опять шепотом проговорил:

— Дай ты мне, ради христа, рубль. Один рубль! Я с себя блоху-вошь изведу. Только, милячок, не сказывай никому,— прибавил он таким сердечным, жалобным тоном, что мне сразу стала понятна его невинная ложь в разговоре с хозяйкой.— Пущай ты один мое дело знаешь... Такое уж, видно, от бога произволенье тебе!.. Оплошали мы с тобой тогда маленько, при разделе-то... Промашку сделали...

— А что?

— Ежели бы мы тогда с тобой хоть малую часть за собой удержали до скончания живота, хоть бы клевушок какой,— другой бы разговор пошел! Совсе-ем бы, братец, другой разговор пошел! — серьезно-деловитым тоном прибавил несчастный Чахра-барин и утвердительно несколько раз кивнул головой.— А то вот один кафтан охранил, с собой в мешке таскаю.

Мы вошли в дом. Катерина Петровна приготовила уже старикам чуть не целый обед и уселась беседо-

вать с ними. Но старики, наскоро поев, поспешно ушли.

Я обещал Чахре-барину уведомить его письмом на Катерину Петровну.

— Ну, ладно,— заметил он мне опять по секрету,— я забегу.

К вечеру я стал собираться в дорогу, но уехал, конечно, не раньше, чем обязан был рассказать своей хозяйке с мельчайшими деталями все, что знал о Чахре-барине.

VII

Прошел еще год. Я вновь вернулся из Питера в свой родной город и в первый же день по приезде отправился к тем моим хорошим знакомым, у которых я пристроил Чахру-барина. Но, к моему удивлению, я не нашел его там. Вот что мне передали мои друзья.

Вскоре после моего отъезда в Питер Чахра-барин, действительно, явился к ним с письмом от меня. Они его приняли, и старик, видимо, очень обрадовался. Первое время он хлопотал ужасно: старался угодить во всякой мелочи, брался за всякую работу, ходил за хозяевами, как за детьми, а за их маленькими сыновьями, как за внуками. Но не прошло и месяца, как старик начал тосковать, стал пить водку, ходить по кабакам и, подвыпивши, постоянно рассказывал о том, какое у него было королевство и как он его «принаблюл». Эти воспоминания обратились у него в idée fixe, а месяца через два он стал часто плакать и, наконец, впал в детство, рассказывали мои знакомые. «В это время стала к нему ходить девушка, о которой мы только после узнали, что она его дочь. Она жила где-то в услужении и случайно встретила отца в кабаке, когда приходила туда покупать водку. Не знаем, обрадовался ей старик или нет, так как он или постоянно улыбался ребячески, или плакал, но, по-видимому, он был доволен ею, в особенности когда она приносила ему белый хлеб, или кусок пирога от господ, или косушку водки. Случалось, что, выпивши, он вдруг валился к ней в ноги и, плача, просил в чем-то простить его. Так, незадолго до пасхи, вдруг приходит его дочь с узелком и

просит нас отпустить старика: «Потому, что ж вам его держать попусту? При вашем деле он не нужен... Совсем уж старичок негодным человеком стал... Вы уж со мной его отпустите в деревню. Ему там милей будет». И старик с дочерью пешком поплелись в свое село».

Приехал я в Большие Прорехи уже к вечеру. На деревенской улице царил полумрак, тот таинственный полумрак, когда еще на северо-западе горит оранжевая полоса зари и на востоке уже мигают чуть яркие звезды. В воздухе было свежо и сыровато; чувствовалось, что, того гляди, ночью ударит мороз. Пастух, собираясь в «ночное», плотно закутывался посредине улицы в большой мирской нагольный тулуп; кое-где у изб сидели мужики в ожидании, когда бабы зажгут в избах огни и приготовят ужин. Мне пришлось проезжать как раз мимо «дворца» Чахры-барина, и я велел остановить лошадей.

У избы лежало большое, недавно срубленное, свежее бревно, которое тотчас же обдало меня крепким смолистым запахом. На бревне сидели две-три фигуры. Подойдя к ним ближе, я узнал в одной из них большака-сына Чахры-барина с большою рыжею лохматкой.

— Опять к нам, господин, заглянул? — сказал он, по обыкновению, с добродушною улыбкой во все лицо, приподнимаясь с бревна.

— Да. Опять... А вы как живете?

— Ничего... Живем... Хозяйству вот по домашнему обиходу нонешнее лето...

— А дед где?

— Дед-то? Приятель-то твой?.. Али взыскался?

— Да, хотел бы повидать.

— Так, так... Он тебя любил... Ну, только, грешным часом, померши он.

— Умер? Давно ли?

— Померши... Так тебе сказать, около петрова дня будет... Померши, померши...

— С чего же это он? Ведь он еще не очень был стар?

— Точно... Где бы еще умирать!.. Еще годков пять за печкой посидел бы... Господь с ним! Еще годков бы пять лапти проковырял.

И большак закатился своим обычным добродуш-

ным, беззвучным смехом, покачивая из стороны в сторону золотисто-красною шапкой кудрявых волос. Засмеялись и сидевшие с ним рядом мужики.

— Я думаю, от огорчения он умер.

— Может, и с огорчениев... Старичок был чуткий... Это верно... Тоже все еще бодрился.

— Зачем же вы его огорчали?

— Кто его огорчал!.. Господь с ним!.. А уж это так, значит, предел ему пришел.

При этих словах так ярко припомнился мне рассказ старика о «кобылке и ее заслугах».

— Где же он умер? У тебя? — спросил я большака.

— Нету, нет... От нас он в бегах почесть год был... А умер он у Степаниды... Она его в городе обрела, сюда вместе и пришли. Степанида незамужницей объявила себя и свою часть востребовала... Ну что ж, думаем, ежели господь ее таким несчастием попустил: пущай! Миром ей надел вырезали, как мужику, вполне... А мы с братом вот хибарку ей отдали (вот, насупротив), печку ей произвели... Что по хозяйству надо — справили... Должно, у нее деньжонки принаблюдены были: лошадь купила... Хозяйство вполне повела. И дедушку при себе оставила... Ожил было старик. Ходит это вокруг избы с топориком, хлопочет, постукивает. Как быть опять хозяин. Ровно бы и в дело... Забавник такой стал, господь с ним! Ну, да вот бог веку не продлил... Натрудил себя очень огорчением-то заранькше, думать надо. Ну, и не осилил.

Я подошел к маленькой амбарушке, стоявшей напротив, через улицу, как-то совсем вдавшись в глубь усадьбы, к овражку. В амбарушке, заметно, недавно выпилены два крохотных оконца и приделаны, чуть не из драничек, сенцы; у ворот еще и теперь валялись стружки и чурки — остатки неоконченной работы. Поленница сучковатого валежника сложена была сбоку. Как живой, припомнился мне в это время Чахрабарин. Вот, казалось, сейчас выйдет он ко мне навстречу, с топором в руке, в новых лаптях, добродушно мигнет правым, слепым глазом и начнет напоминовение разных заслуг: «Вот, милячок, глянь-ко сюды, какой дворец-то я вывел! Все ведь, друг, кровью это досталось... Не лихвой, не обманом, не разбойным

ремеслом: во всем одна кровь наша да пот наш!.. Вишь, сенцы-то вывел: сам и дерево пилил, и скоблем скоблил, и тесину драл!..»

Вскоре мне пришлось заехать к моему арендатору Я полюбопытствовал насчет деда Арефа, и арендатор молча кивнул мне на запечку. Там, по-прежнему, увидал я деда Арефа, сидевшего, как статуя, в углу, в своих неизменных больших белых валяных сапогах, словно пригвожденных к полу.

— Что, дед, умер ведь Чахра-барин-то? а? А ведь ты, поди, не думал его пережить? — спросил я.

— Умер,— протянул он.— Кабы заживо замер, что я, так дольше бы просидел на свете... Я-то уж давно омертвел, раньше его помер.

— Как помер?

— Да какой я крестьянин? Замест меня не крестьянин здесь сидит, а моща сидит!

Дед был прав, так ужасно прав, что, уезжая в этот раз из Больших Прорех, я не знал, что ему пожелать на прощанье: долголетней жизни или скорой смерти...

Горе старого Кабана

Рассказ

...Он не год сидел, не два года.
Отпустил свою бородушку
До самого шелкова пояса;
Он по светлице похаживает,
Табаку трубку раскуривает,
Он поет песни, как лес шумит:
«Уж талан ли, мой талан худой,
Или участь моя горькая!..»

Народная песня

Спустя несколько лет после рассказанной мною истории с Чахрой-барином пришлось мне поселиться в Больших Прорехах надолго: я задумал построить на земле своей племянницы хутор. На все время, пока заготовляли материал для стройки, пока строилась сама изба, я должен был поселиться у кого-либо из прорехинских крестьян. С бывшим моим арендатором дела у меня расстроились (он мне иногда, как будто не нарочно, забывал даже кланяться, а если иногда и кланялся, то снимая нехотя картуз и не кивая головой); знакомые старики мои почти все примерли; умер, как вы знаете, Чахра-барин с «огорчениев», умер и Ареф, давно уже за́мерший заживо (говорят, «он и не слыхал, как умер», да и никто не слыхал, только уж сутки спустя хватились окликать его, а он лежит на печи и голосу не подает: «моща, так моща и есть»); умер и высокий старик кузнец с ребячьей головой и детским лицом «скоропостижно», после драки с сыном; умер и Самара, умевший ловко таскать у внука из бутылки водку, а после добавлять водой, но Самара, по крайней мере, оставил после себя приятеля, Кабана, до такой степени схожего с собой, что как будто он вовсе и не умирал для прорехинского мира. Когда и жив был Самара, так их с Кабаном почти что не различали.

Вот у этого-то «старого Кабана» и привела мне судьба поселиться. Поселился я у него прежде всего потому, что изба у него была если не больше всех других, зато двухэтажная, в три окна, с порожним верхом, и притом самая красивая во всем селе. Очевидно, строилась она напоказ и «в свое удовольствие». Крыша железная с вычурными водостоками; двор крыт тесом и крашен, вместе со всею избой, в темно-коричневый цвет; окна узорчатые. Через улицу, против окон, стояла житница, тоже узорчатая, с крашенными в тот же цвет бревенчатыми стенами, с ярко блестевшею зеленою железною дверью, вся новая и крепкая. Житница эта резко выделялась от своих дряхлых соседок, а в особенности от одной из них, переделанной в жилую избу, с двумя крохотными оконцами. То была изба Степаши, дочери покойного Чахры-барина. Я очень был рад этому соседству. Мне хотелось узнать поближе, как живет Степаша.

Впрочем, позвольте мне сначала поближе познакомить вас с Кабаном.

I

Кабан был мужик среднего роста, плотный, мускулистый, приземистый, так что его большая голова как будто несколько была вдвинута в плечи. Сивая круглая борода и довольно тщательно расчесанная, с пробором посередине, серебристая голова придавали ему очень благообразный вид, тем больше что одевался он чисто: кувшинные сапоги были всегда вымазаны, ситцевые рубахи и порты только что выстираны (от них всегда несло даже серым мылом). Но все это «благообразие» как будто было не его, не родное, а взятое напрокат, парадное. Наблюдали вы ребенка, когда наденут на него «обновку» и он еще не успел с ней освоиться? Таким же, постоянно смущенно улыбающимся, осторожно поскрипывающим сапогами, конфузливо выступающим и думающим, что все на него смотрят, был Кабан. «Не замарай рубашку, не запыли сапоги, не всклочивай голову!.. Ходи ровнее, не бегай, будь паинька... Теперь ты уж большой!» — говорят ребенку,— и ребенок, не чувствуя в глубине души, чтоб он

действительно сразу стал «большой», силится послушанием уверить себя и других, что папаша и мамаша не ошибаются. Если это забавно выходит в ребенке, то, понятно, еще забавнее у старика в 60 лет. А Кабан был именно таков. Войдет, бывало, ко мне наверх, слегка поскрипывая сапогами, пригладит голову, сядет напротив меня, сложит на животе руки и смотрит прямо в лицо как будто чуть-чуть, не постоянно смеющимися серыми глазами.

Так и хочется его спросить: «Что, Листарх Петрович, загнали, брат, тебя в чистые хоромы да в новые сапоги? Неловко, должно, тебе?»

Да и к своей красивой новой избе, ко всему своему хозяйству он относился как-то чрезвычайно странно, как будто все это было не его, не родное, не хозяин он тут, а только дворецкий.

— Видишь, какая у нас усадьба-то теперь... А ведь прежде-то у меня здесь что было? Хибарка, Миколаич, малая хибарка, колышками подперта, ветерком продута, в три слепых оконца, в соломенной шапке... Да,— говорил он мне, когда, на третий день по приезде моем, показывал он мне свою усадьбу,— и что сталось, что сталось-то, ты погляди!.. Ах, господи! До сих пор в ум не приду, ей-богу, не приду!.. Словно, братец, меня ушибло... Гляжу-гляжу на эти хоромы-то — и ума не приложу: ровно как будто сплю я все, грежу... Ей-богу!.. Бывало, братец, работаешь до десятого поту, спина трещит, ноги ноют, ломит, живот ведет, ты бы поесть, ан одна тюря; того пуще брюхо-то пучит... Беднота была, голь... Ах, братец, шибко тяжело было!.. И что сталось, что сталось! — причмокивал Кабан, покачивая головой.— Ну, чего мне теперь нужно? Все есть... Захотелось спать — ложись, хочешь на печку, хочешь на перину... В кладовой вон их две лежат по двадцати пяти рубликов штука стоила!.. Да подушек там же полдюжины пуховых хранятся... Ну?.. Есть захотел? Вот тебе сладкий кус, какой хочешь... Гороху, што ли? — и горох будет... Судака соленого закусить? — и судак будет... Разгуляться захочешь? — вот они, два коня стоят... Бери жеребца и поезжай, куда душа тянет... Да никуда, братец, не тянет, вот беда-то! Я уж и хотеть-то не знаю чего придумать! Ей-богу!

Иной раз, признаться тебе сказать, тоскую... шибко тоскую... Никогда этого со мной прежде не бывало!

— Да ведь ты и теперь работаешь, Листарх Петрович; с чего же тебе тосковать?

— Работаешь!.. Разве это работа? Так, баловство... Бывало вот, работал, точно, как тюрю-то ел... Летом-то преешь-преешь, да и зимой-то, и в стужу, и во вьюгу, за одром своим треплешься... Мы в извоз тогда хаживали... А теперь... — и тут Кабан сокрушенно махал рукой, — больше ничего, как одно баловство... Хотел было, братец, раньше-то еще, от тоски, по-прежнему, туда-сюда сунуться: земли хотел взять побольше, в извоз было собирался... Ну, не допустили!

— Кто ж тебя не допустил?

— А все господа-то мои: сынок с невесткой... «Да ты, — говорят, — тятенька, сделай милость уж, нас не срами... Пожалуйста, не срами... Чего тебе недостает? Что ты бога-то будешь гневить? Он нас, милосердый, взыскал, а ты недовольством своим его огорчать будешь? Ты одно знай — честь нашу держи... Смой с себя черную-то образину!.. А уж ежели тебе тоскливо, ну лавочку открой, так, для веселья, и грош лишний перепадет»... Ну, я этим ремеслом николи не занимался... Так вот и остался, что боров откормленный, — жир только нагуливать.

— Где же у тебя сын с невесткой?

— Да в Москве живут.

— Что же они там делают?

— А брюхо растят... В артельщиках у меня сын-то... Слышь, по три тысячи за год-то себе в карман очищает!.. Вот какая махина!.. Ну куда экую прорву денешь, коли ежели не в брюхо?.. Робятишки хошь бы, что ли, были, все же знал бы, что когда-нибудь в дело пойдут... И того нет: не родит толстая... Да где ей родить! Ожирела!

Последние слова Кабан произнес даже с сердцем.

— Вот, видишь, хоромы какие вывели!.. А к чему? Хошь бы внучата, что ли, были... Ну вот, и смотрю за домами-то! Хожу из угла в угол... Мужики говорят: «Житье тебе, Кабан!..» Завидуют... А мне другой раз

хошь в петлю лезть! Ей-богу! Еще летом побалуешься, туда-сюда, как-нибудь: поборонуешь с бабами, покосишь с мужиками сообща... Все как будто настоящий крестьянин... Забудешься другой раз, будто и взаправду работаешь... А зимой... что! Места не найдешь... Думал по осени телегу строить... давай тесать да пилить... А мужики смеются: «Ты бы,— говорят,— Кабан, лучше вот из колодца в колодец воду переливал... Скорей взопреешь!» И точно — взял бросил... Кому польза? — заключил он.— Так я думаю: сопьюсь я. Еще пока господь не допущает, а думается: враг одолеет... Вот оно што значит мужику шальные-то деньги: грех! один грех!.. Грабить оно при деньгах-то хорошо, точно...

И действительно, я стал замечать, что Кабан попивает. Не то чтоб он пил запоем или «кутил» — нет, а так вот — ходит-ходит, словно обваренный, да рюмку-другую и выпьет. К вечеру придет ко мне, а у него уж сквозь седую бороду на щеках румянец играет, с усов улыбка не слетает, а серые глаза не то смеются, не то плачут. И вот в эти-то минуты он бывал особенно похож на покойного Самару. Так же, как тот, облокотится он, прямо насупротив вас, на стол, склонит голову на ладонь и, не спуская с вас глаз, затянет заунывную-заунывную песню. У вас сердце щемит, а у него из-под усов блаженная улыбка не сходит.

А однажды он, совершенно неожиданно, поразил меня. Ходили мы с ним как-то по полям. Просил я его показать мне порядок общинного хозяйства — разные «гоны», «жеребья», «паи», «барышки» и т. п. Ему, видимо, очень нравилось, что я интересуюсь этим вопросом, и он с особенным удовольствием, даже с увлечением, отвечал мне такими подробностями относительно каждого жеребья, что вся деревенская жизнь встала передо мной как на ладони.

— Вот, вот жеребьёк-то... Это Миронов... Вишь ты, овес-то какой высыпал... гущина! (Мы ходили по яровому полю.) Конечно, что говорить! Сильная семья. Скотины одной крупной семь голов... А это вот, вишь, Степашкин жеребьёк.

— Плох.

— Плох, плох, брат... И говорить нечего — плох!.. А ведь труда-то она сколько кладет! Да, у нашей земли безданно-беспошлинно ничего не возьмешь... А у Степашки всего и скотины-то телка, да пара овец, да сивая кобыла. А ей бы, за ейные труды, золотую бы гречу-то надо! Вот что! Кабы по справедливости... Вот вишь, гляди — это вот мои жеребья-то... Вот какая гречиха-то нежится, господь с ней!.. А что наш-то труд? Так, баловство... Кому польза? Кого эта гречиха порадует? Зависть только народу... Отпишу я сыну: «Уродил, мол, нам господь гречиху ровно жемчуг, такую, что на год хватит, да еще и про запас останется». А он тебе, с женой-то, тишком да с улыбочкой: «А нам, тятенька, скажут, хошь бы чертополох у тебя уродился, так все единственно. Потому одна это только твоя потеха... А к нашему имуществу какая ни то пятерка приращения не сделает! Так, думаем, пустое это дело». И верно, и ве-ерно! — протянул Кабан и, неожиданно всхлипнув, отвернулся в сторону, высморкался. Я взглянул на старика, но он уже по-прежнему смотрел на меня, улыбаясь; только на щеках под глазами появились у него мокрые дорожки, да на бороде блестели две-три мелких слезинки.

Кабан сконфузился.

— Что с тобой, Аристарх Петрович? — спросил я.

— Дурак, одно слово — стал дурак голый... Пустопорожний человек,— ответил он серьезно, помолчав и смотря от меня в сторону, куда-то в далекое пространство полей.— Толку не видно из мужика стало,— продолжал он,— чт́о уж хорошего!

Мы шли, спотыкаясь о земляные комья пашни, по заросшей розовою и белою кашкой и полевою рябиной меже. Кабан, заложив руки за спину и смотря вниз, говорил отрывисто. Я его не прерывал.

— В другой раз мужики говорят: «Хошь бы ты, Листарха, грабил, что ли, все бы за тобой настоящее дело имелось... Право, ну! Землей бы, что ли, маклачил, торговлей. Так бы уж тебя и понимали... А то чего ты только себе и другим глаза мозолишь?» И верно, и ве-ерно, братец! Книгу бы, что ли, какую божественную читать, и на то у меня ума нету: не учен! Богу молиться — и то об чем не придумаю, не знаю, чего

просить (чего у нас нет!), не знаю, в чем каяться. Придумал было я тут одно дельце... Вдова у нас была тут с сынишкой; хотел было я его к себе во внучата присыновить. Ну, воспретили мои-то господа, говорят: «Ты умрешь, а мы опосля того с ними разделывайся!» Придумаешь что ни то, а они воспрещают: «Это,— говорят,— у тебя, тятенька, ум от безделья играет... Чего тебе не хватает, чего тебе недостает? Живи да бога не гневи». И точно, думаешь, за что же я, в самом деле, бога-то буду гневить?

Каким-то странным, невероятным диссонансом звучали для меня эти речи Кабана — для меня, в русской деревне, где кругом кипел только безустанный труд или беспокойная жажда наживы... Впрочем, я должен оговориться: не подумайте, что «безделье» Кабана было наше «барское» безделье. Далеко нет. Это было безделье только относительное, особое деревенское безделье, «мужицкое». Если бы вы посмотрели на Кабана со стороны, он ничем не выделялся бы для вас из общей трудовой массы. Хозяйство шло у него своим порядком: две здоровые бабы-родственницы, одна уж пожилая, другая — косая девка, убирались около дома со скотиной, сам Кабан, наравне с другими мужиками, вставал до свету, пахал и бороновал, сеял и косил, возил снопы и молотил. Он делал решительно все и так же старательно, как всякий мужик, так же галдел на сходах и всею душой участвовал в мирских делах и дележах. И между тем тоскует о том, что он лишний деревенский человек, что он потерял смысл жизни. Страшное это слово — потерял смысл жизни! Вот жил человек, трудился, прожил полвека в этих безустанных трудах и заботах о первых необходимейших потребностях жизни, и вдруг, в благодарность за все это, ему отравили жизнь, у него отняли первоначальный смысл его жизни и взамен не дали ничего.

II

Вначале, пока погода стояла хорошая, мне приходилось почти целыми днями бывать на хуторе, а иногда и ночевать вместе с рабочими в шалаше. Поэтому бывал

я в Больших Прорехах только урывками, на ночь, и только в праздники оставался на целый день. Тут-то я и беседовал преимущественно с одним Кабаном. Однажды, накануне праздника, я только что вернулся, отпустив плотников, и велел приготовить самовар. Самовар внес ко мне сам Кабан, по обыкновению, «благообразный», чистый, вымытый,— и теперь от него несло уже не только серым мылом, но и целою баней.

— Вот и я присяду,— сказал он со своею неизменною тоскующею улыбкой в усах, осторожно внося, вслед за самоваром, стакан специально уже для себя.— Не прогонишь?.. А то скажи, коли мешаю — я и уйду... Мне ведь что!.. Ведь от безделья я... Коли кто ничего не делает — и я кстати тут, а коли дело у кого есть — меня гони, гони прямо...

— Садись, садись... Я очень рад,— приглашал я.

И мы повели неторопливую беседу о работах у меня на хуторе, о моих планах.

Так разговаривали мы, выпивая стакан за стаканом. В открытые настежь окна плыли на нас тихие, полупрозрачные сумерки, все пронизанные какими-то отрывочными, как будто откуда-то издалека долетавшими звуками засыпавшей деревенской улицы. Где-то далеко, забравшись в конопляники, беспокойно блеют две овцы. Жеребенок тяжело простучал копытами по улице и, высоко подняв голову, насторожив уши и сверкая большими красивыми глазами, пронесся на другой конец. Перекликнулись ребятишки. Вдруг, как будто из-под земли, послышались частые, прерывистые, глухие удары — вот они все ближе и ближе. Громко фыркнула лошадь. Кабан быстро обернулся лицом к окну.

— Во-о! во-о!.. Гляди! — закричал он, сияя ребячески всею своею «благообразною» физиономией: его серые глазки блестели и смеялись, серебристые усы и борода образовали вокруг рта какое-то лучезарное слияние; вся его коренастая фигура как-то нервически задвигалась, заходила рубаха на плечах и спине.— Во-о!.. во-о!.. Ах, драть ее на шест!.. Гляди! — кричал он, махая руками и притопывая, как будто собирался выскочить в окно.— Го-го-го!.. фю! фю!.. Ха-ха-ха!..

Го-го-го! — наконец засвистел, заорал, загоготал Кабан, перевесившись в окно, вслед пронесшемуся мимо нас табуну, собранному в «ночное».

Выходка Кабана была так неожиданна, что я, долго изумленно смотря на него, решительно не знал, чем объяснить это внезапное возбуждение: обыкновенно флегматичный, вялый, «вареный» Кабан был неузнаваем. Он еще долго смотрел, высунувшись всею широкою спиной, в окно и продолжал то посвистывать, то горячо толковать с остановившимися посередине улицы мужиками.

Наконец, с раскрасневшимся лицом и возбужденно бегавшими глазами, он обернулся ко мне.

— Видел? — спросил он, кивая головой на улицу.

— Кого?

— Ну, Степашу... «Девкой с душой» у нас ее прозывают.

— Разве это она?

— Она самая!.. Она как есть! — ответил Кабан.— Видел, какие у нас девки-то есть?.. Только ноне уж оне на редкость. Так, извели их... Совсем, брат, эту породу изводят,— грустно прибавил он, откусывая небольшой кусочек сахару и задумчиво хлебая из блюдечка чай.

Событие, так неожиданно взволновавшее Кабана и так изумительно преобразившее его, состояло в том, что во главе промчавшегося мимо нас в ночное табуна, сопровождаемого ребятишками-всадниками, проскакала на сивой, с большим отвисшим животом и коротким хвостом кобыле Степаша, известная всему соседнему крестьянскому миру под именем «девки с душой». Повязанная синим платком в виде «шлыка», с торчавшими на затылке длинными концами, с грязными толстыми икрами, колотившимися и подпрыгивавшими, как упругие мячи, на лошадином животе, с высоко поднятыми голыми локтями,— «девка с душой» могла пленить только такого деревенского старожила, каков был Кабан.

Но может быть, вы не знаете, что такое «девка с душой»? Это своеобразный, уже архаический деревенский тип; это «монстр и раритет» современной деревни... Но его можно все же нередко наблюдать и теперь.

Если вы перед пасхой (когда пасха поздняя) или на фоминой неделе (если пасха ранняя) попадете на деревенский сход, когда идет обычное «распределение» земли и «свалка и навалка душ» перед началом полевых работ, вы увидите очень часто такую сцену.

На завальнях старостиной избы сидят «старики» домохозяева, воротилы деревенского мира. Перед ними собирается кучка баб, обыкновенно вдов, ребят, сирот и бобылей. Все это ждет своей части мирской земли, если такой много у мира, или же спешит «свалить с себя» надел, если такого у мира мало, а подати тяжелы и велики. Среди этой кучки вы заметите и будущую «девку с душой». Это — обыкновенная крестьянская девка, здоровая, мужиковатая, грубая, некрасивая. После смерти матери осталась она одна при старике отце. С десяти лет она уже тянула с отцом тягло, как и настоящий мужик. И лето, и зима были сплошным, бесконечным временем труда; этого труда было так много, что девке некогда было уже задуматься о «друге сердца» и она не успела завоевать себе мужа. Да и деревенские джентльмены больше склонялись считать ее скорее за товарища, чем за «друга сердца»; они уже слишком запанибратски хлопали ее по спине, так как вполне были уверены, что она им ответит тем же.

Теперь она стоит пред сходом, сложа руки под фартуком, подвязанным выше грудей, и равнодушно ожидает «решенья стариков».

— Ну, что, Паранька,— спрашивают ее старики,— как будешь без отца жить?

— Жив бог — жива душа моя! — кричит Паранька, не моргнув глазом.

— Бог-то жив, да ты д у ш у-то осилишь ли?

— А чего не осилить!

— И хозяйство вполне поведешь?

— А чего не повести!

— И повинности оправишь?

— А чего не оправить!

— И подати подымешь?

— Да чем я супротив вас не вышла? Али что бороды длинные, так вам и честь?

— Ловко, ловко! — подхватывают весело зрители.

— Ну, ну, ладно... Посмотрим,— говорят старики.— Справляйся!.. Не тебе с сумой ходить... Видим, что девка — казак... Ну, так быть тебе «девкой с душой» не в пример прочим! — шутит молодой староста и наотмашь надевает ей по самые глаза свою шляпу-гречневик.

— Не дури,— отмахивается Параня, хотя шляпы не снимает.

— А ты поклонись да спасибо скажи миру,— советует один из стариков.

— Ну, ин благодарим покорно, мир честной! — улыбаясь, кланяется Паранька, и долго еще виднеется на ее девичьей голове, вместо брачного венца, новая старостина шляпа.

Степаша почему-то невзлюбила город и, как мы знаем, вернулась в село, потребовала от братьев «свои права» и превратилась именно в такую «девку с душой».

Кабан усиленно и молча допил стакан и, повернув его на блюдце, сказал, приглаживая волосы:

— Благодарствую!.. А какова «девка-то с душой» у нас? а?.. Люблю... Люблю я, брат, таких, ей-богу!.. На месте не усижу!.. Эк, братец мой, зародится же такое дитятко... Вот ты и гляди, божье-то произволенье: вышла баба-мужик!

— Что же, как она теперь поживает?

— Плохо, брат... Так тебе сказать, трудно ей... Трудно ей теперь,— с искренним соболезнованием отвечал Кабан, и лицо его приняло какое-то особенно жалостливое выражение.

— Отчего же так?

— Ноне, брат, и мужику трудно, не то что бабе... Да!.. Это вот ежели дуром на тебя налезет благодать-то, что на меня, так оно легко, что говорить! Балуйся!.. Нагуливай жир-то!

Кабан сердито заворчал было, но, тотчас же поднявшись, как будто вспомнив свою роль, обдернул розовую ситцевую рубаху, передвинул на животе голубой пояс, пригладил обеими руками мокрые волосы и, улыбаясь, взглянул мне в лицо.

— Пойдем завтра к ней на праздник,— пригласил он меня.

— С удовольствием. Я уже давно собирался, да все недосуг было.

— Пойдем, пойдем... Я тебе покажу ее... Посмотришь!

Кабан был рад, как ребенок, что я согласился идти с ним к «девке с душой».

III

Наутро мы были с Кабаном у обедни. Еще когда только что начал звонить жидкий, пронзительный колокол погоста, ко мне заглянул Кабан и сказал:

— Пойдем богу молиться вместе!

Шли мы с ним тихо, нога за ногу. Хотя было только семь часов утра, но солнце жгло сильно. Небо стояло туманно-синее. Ветер не дунет. Солнечные лучи так ярки, что резали глаза. Несмотря, однако ж, на жару, мой Кабан был разодет в полную «парадную» мужицкую одежду и чувствовал в ней себя, по-видимому, не особенно ловко: суконный светло-синий кафтан был у него до того еще новый, что, казалось, только что сейчас взят в московском Гостином дворе; густо накрахмаленная подкладка у него шумела и топорщилась; высокий ворот колом подпирал шею и бороду Кабана. На шею он ухитрился еще повязать толстый полушелковый цветной платок, отчего лицо у него налилось кровью. На голове был также совсем почти новый картуз, «московский».

— Недавно, должно быть, закупил обновки-то? — спросил я.

— Купил?.. У меня и денег-то нет... Это — все мои... Все они обо мне промышляют... Прислали вот, пишут: «Посылаем тебе, тятенька, костюм московский и заказываем накрепко, чтобы его надевал в церковь, по праздникам... И чтобы, пожалуйста, в клеть не прятать, а стараться сделать нам удовольствие...» Ну, пущай... Вот и хожу, ровно журавль! Вот и сапоги... Вишь, какие подковы!.. Хошь в пляс пускайся на старости лет...

Листарх Петрович заворотил полу, поднял ногу и, показывая мне новый сапог, сам еще раз полюбовался

высокими каблуками с подковками и покачал головой.

— Ах ты, господи!.. До чего я дожил! — вздохнул он, бережно поправляя полы и рукава кафтана и корявыми пальцами стараясь снять оседавшую на них тонкую паутину.

— Чудак ты, Листарх Петрович,— засмеялся я.

— Не говори! — махнул он рукой.— Сам вижу... Ничего не поделаешь! Приказ такой вышел... Надо молодых потешить...

Из церкви мы вышли к «девке с душой» не улицей, а «задами», по пробитой между банями и поросшей репейником тропке. Перешагнув совсем высохший, грязноватый ручеек в овражке, мы вошли в «огород», состоявший счетом из трех гряд с капустой. За грядами был соломенный навес над двором на двух, трех столбах, между которыми сделан плетень.

— Вишь ты, братец, как у нее все беднеет,— проговорил Кабан, покачивая сокрушенно головой,— да!.. Худо, совсем худо... Вишь ты, как облысела крыша-то: солома-то вся прогнила, слезла...

— А чего ты ей не помогаешь?

— Помогаю... Даю когда соломы, семян... Тоже мне, брат, воспрещают... Надо мной тоже надсмотрщики есть... Бабы у нас такие ехидные — беда!.. Приедут мои-то левизоры, оне им в точную обо мне и донесут... Да... А левизоры-то говорят: «Ты, тятенька, жир-то нагуливай, господь с тобой, мы тебя этим не утесняем, ну только имущество наше расхищать мы позволить не можем...» Вот они как поговаривают!.. Ну-ка, заворачивай во дворец к Милитрисе-красавице!.. Ха-ха-ха! Красавица!

Кабан снял еще на улице картуз, вероятно боясь помять его торчащую тулью о низкую крышу сеней, и, полуотворив дверь, крикнул в глубь избы:

— Эй, Степаха!.. Сваты идут... Принимай гостей!.. Городские гости!.. Баре-то бывали ли у тебя когда ни то?

Но на этот возглас никто не отвечал. Мы вошли. По-видимому, наш приход не произвел никакого впечатления на обитателей амбарушки.

— Что же ты молчишь? Приглашай барина-то.—

сказал Кабан сидевшей у стола Степаше с большою деревянною ложкой в руках, которою она мерно и медленно хлебала что-то из чашки.

— Милости просим... У нас вход без запрету. Садитесь, коли любо,— сказала Степаша грубоватым голосом, искоса равнодушно взглянув на нас; она продолжала мерно есть, после каждой ложки тщательно вытирая пригоршней толстые губы.

Мы присели на лавке из узкой сучковатой тесины у стены, сбоку от окон, ближе к простой, сосновой, уже почерневшей божнице в переднем углу. Две иконы «темного письма» стояли на ней, затканные густой паутиной,— и только. С боков божницы, пришпиленные булавками, висели два клочка обоев с розовыми цветами (бедные крестьяне употребляют иногда, вместо картин, куски обоев, которые даром добывают у горожан). Тут же висит Еруслан Лазаревич на белом коне. Оказалось, что он приобретен ошибкой, вместо Георгия Победоносца, поражающего змия. Если прибавить к этому промасленный небольшой стол и висевшую по задней стене рухлядь,— вот и вся обстановка избы.

Кроме меня, Кабана и Степаши, в избе были еще два человека. У задней стены, в углу, сидел маленький, плюгавый мужичок, неопределенных лет, но не старик; лицо у него было тоже маленькое, белое, красноватое, нос — луковицей, глаза бесцветные, желтовато-серые волосы были вдоволь намочены квасом и прилизаны; бородка белая, маленькая, кудрявая, образовавшая вокруг рта подобие гнезда; рубаха на нем — изгребная, синяя, из-за ворота которой смотрела выжженная, перегорелая, с потрескавшеюся кожей шея; на шее, по-праздничному, был повязан грязный лоскуток, на ногах — синие же порты и лапти. Руки у него были сухие, изможденные, так что рукава рубашки висели на них, как на палках; впрочем, в них не замечалось болезненной дряблости; это были именно палки,— казалось, без нервов, без мускулов, без крови: твердые, жесткие, прочные, которые и нож не возьмет.

Мужичок этот не шевельнулся ни одним членом, когда мы вошли. Он молча жевал черный хлеб с луком, широко открывая рот и показывая замечательно белые,

здоровые зубы, чавкал, собирал с подола в рот крошки и смотрел на нас равнодушно во все глаза. Рядом с ним сидел кот и, лениво щурясь, наблюдал, как он ел.

Долго я внимательно глядел на этого мужичка. Что-то в нем было такое невероятно странное, загадочное, что как-то невольно обращало к нему внимание. Чувствовалось, что у этого мужичка или когда-то было в жизни что-то незаурядное, страшное, или же это непременно с ним когда-нибудь случится. Нередко приходится встречать такие фигуры, лица с таким выражением, что вас охватывает тяжелое предчувствие чего-то тяжкого, чтó непременно должно случиться с ним... вот не сегодня — завтра... Или вы, год-два спустя случайно попав на следствие о «мертвом теле», вдруг признаете в этом «теле» знакомое вам лицо, или среди группы арестантов в суде вас поразит знакомое, тупо равнодушное и жалкое выражение того же лица, и непременно все это при чрезвычайных обстоятельствах, при тяжелой обстановке. Не знаю, то ли же впечатление производил этот мужик и на крестьян; по крайней мере, Кабан и Степаша смотрели на него так же, как и на всех других; но моим воображением он овладел сразу, и так, что долго после того его образ вдруг, совершенно неожиданно, вставал в моем воспоминании с замечательно полною реальностью.

Прямо против нас, у дверей, была печка; кто на ней сидел, не было видно из-за трубы, только одни ноги свесились вниз, ноги старческие, обнаженные до костистых угловатых колен; синие подтеки покрывали сплошь дряблые, мешковатые икры; ступни были совершенно грязные; зеленые, растрескавшиеся и глубоко вросшие в пальцы ногти выдавались всего резче.

— Ну, вот, вот... смотри! — говорил мне с сияющим лицом Кабан.— Вот она, девка-то с душой, у нас! Настоящий обалдуй! Так ли, а?

И он любовно подмигивал мне на Степашу. Степаша продолжала есть какую-то странную смесь из кваса, лука и сухарей; при словах Кабана она несколько сконфузилась и полусердито заметила:

— Чего на меня смотришь-то?.. Какие узоры нашел?

Затем она тщательно вытерла последний раз всею пригоршней губы, поправила торчавший треугольником на лбу черный, с желтыми горошинами, платок и начала истово креститься. Все ее движения были неторопливы, обстоятельны, размеренны. Казалось, ничто в жизни не могло бы заставить ее изменить порядок того, что она делала, ничто не могло ускорить или замедлить ее грубовато-неторопливых движений. Степаша значительно постарела. Лицо ее и вся фигура отлились уже в те постоянные, устойчивые формы, которые почти не изменяются в течение десятков лет. Румянца на щеках не было и следа, а вместо него легли на лицо грубоватые холодные тени; прежняя девическая полнота заменилась тугою, жесткою, угловатою мускулистостью, и даже прежние, характерные, сердитые карие глаза как-то потухли, глядели степеннее, строже. Но в то же время она как будто одичала еще больше.

Крупным увесистым шагом, с серьезным, сосредоточенным выражением на лице, заходила Степаша из избы в сени, из сеней во двор, из двора опять в избу, то с водой, то с лоханкой, то с отрубями. Под ее могучими голыми ступнями как-то оживилась, заплясала и заходила вся избушка: трещали и стонали подгнившие половицы, вслед за ними подпрыгивали, визжа, лавки, покачивался из стороны в сторону стол, дребезжали треснувшие стекла в окнах и жалобно ныли жидкие доски сенного помоста.

— Вот пошла, вот заходила! — подпрыгивал Кабан и весь сиял восторгом, как будто и его душу захватили в свой странный концерт эти разнообразные звуки. Веселыми глазами всюду провожал он фигуру Степаши. Я в недоумении посматривал на Кабана и думал: что́ такое могло приводить его в восторг от этой обычной, трудовой процедуры? Что за странную, таинственную симпатию чувствовал он к Степаше!

— А ты бы ее в поле посмотрел! — говорил он мне.— Я бы тебе ее показал тогда... Что я али вот этот мужичонка,— мотнул он бородой в сторону все еще жевавшего мужичка,— плюнуть, одно слово... Какая наша работа? Так, через пень колоду тянем... Галок считаем... Мы в работу не смотрим: к какому она нам

ляду!.. Вот он получил деньги — и прощай! Полетел на другое место! Батрак, так батрак и есть... Продажная душа! Ему что колос, что волос из его работы выйдет — все одна цена!

Мужичок продолжал жевать, по-видимому, попрежнему равнодушно, и только при словах «продажная душа» вскинул на нас глазами и на минуту перестал жевать.

— Кто он такой? — спросил я Кабана.

— Мужичонка-то? А вот по найму у ней по летам работает... Не здешний, из дальних... Вот уже третье лето у ней батрачит... Сорок рубликов она ему за лето-то отваливает да кормежка... А какой его труд? Продажный... Только норовит от работы отлынять...

— Ты откуда? — спросил я белобрысого мужичка.

Мужичок опять приостановился жевать.

— Из белой Арапии он... Ха-ха! Белая рубаха! — отвечал за него Кабан.— Беляк, ты откуда? — окрикнул он мужичка.

Мужичок повернулся на месте, переставил ноги и, помолчав, сказал:

— Зарайский.

— Ну вот, рязанец,— пояснил мне Кабан.

— Семья-то есть ли? — спросил я опять Беляка.

— Холост, не женат.

Мужичок чуть заметно улыбнулся.

— Давно ли ходишь по людям?

— Сызмалетства... из веков,— протянул мужичок, доев последнюю корку, и вдруг как-то сразу весь заволновался, вышел на средину избы, наотмашь помолился на образа и заговорил, махая сухими руками, заговорил часто, задыхаясь, прерывая и не договаривая слова.— Сызмалетства... Во!.. Гляди! руки-то — плети!.. Пристанишша не видал... во! тридцать годов... на чужих кормах... Своего угла не знавал... на своей печке не погрелся... во, ноги-то! Пол-Расеи отмерил. Во-о, живот-то, гляди: пустой мешок!.. Сызмалетства... Хошь бы часок... хошь бы часок...

— Ах ты... дуй тебя в хвост!.. Да кто тебя гнал шататься-то? — полусердито, полудобродушно закричал на него Кабан.— Кто? Чего при своем месте не сидится, чего от своей деревни отбился? Шатущий!

Чего в одиночку-то бродишь, от артели отстал, от земляков?

Мужичок вдруг смолк и опять сел на прежнее место, так же равнодушно смотря на нас во все глаза, как и прежде. По-видимому, он плохо слышал, о чем ему говорил Кабан, он, кажется, увлекся воспоминанием о своей житейской колотьбе и продолжал про себя высчитывать — где, как и когда он проживал.

Но Кабан не унимался.

— Где земля-то? Чего землю бросил? Не любишь? Шататься лучше!.. Эх ты, продажная твоя душа!.. Ты вот смотри, вот девка, а она к своему делу как привержена! Бегает она али нет? — показывал Кабан на вошедшую Степашу.

Степаша приостановилась и стала слушать.

— А по зимам где живешь? — спросил я мужичка.

— В городу,— отвечал он, уже по-прежнему нехотя.

— В городу,— передразнил его сердито Кабан,— в городу! Леший вас тянет туда — к городу-то! Ты бы вот честь честью себе пристанище облюбовал, хозяйку бы взял, к земле бы к своей прилежал, ребятишек бы произростил... Ты бы тогда к своей-то земле не так прилежал,— ты бы в ее, что вон Степаша, кровь свою излил... А ты теперь ей, за деньги-то, как яровину-то спахал? а? Поди-ка, глянь... Ей бы, за ейные-то труды, золотую гречу-то надо, а не токмо что...

— Разве за деньги от нее что возьмешь?.. От нее, матушки, за деньги не возьмешь,— заметила серьезно Степаша, стоя все еще к нам вполоборота,— на деньги хорошего труда не купишь...

— Верно! — подтвердил Кабан.— Ты ей как яровину-то спахал? — опять накинулся он на мужика-рязанца.— Продался, вот и спорины в твоем труде нет... И для бога он не угоден. А ведь она тебе сорок рублев в лето-то отваливает!.. Ведь сорок-то рублев для нее что значит? а?

Я уже давно заметил, что ноги, свесившиеся с печки, понемногу стали двигаться. Сначала две костлявые, худые руки, с крючковатыми и почти не разгибающимися пальцами, силились все стыдливо натянуть на голые колени старый сарафанишко, потом ноги оберну-

лись пальцами к печи и долго старались попасть, вместо ступенек, в отверстия горнушек, где обыкновенно сушатся онучи, и, наконец, кое-как сползла уже с печи старуха.

— Сорок рублев, болезный, сорок рублев! — затянула старуха, едва ее ноги коснулись пола.— Как едина деньга!.. Где девке взять?.. Здравствуйте! — обратилась уже к нам маленькая, худая старушка с воспаленными и гноившимися веками, в повойнике на голове, из-под которого выбивались сухие, серые и хрупкие, как сено, волосы.

Она села на лавке у самой двери, рядом с мужичком-рязанцем, держась корявыми руками за острый край доски.

— Не хотела было раньше вылезать-то из-за печки,— продолжала она,— думаю, что им во мне, старухе!.. Да не утерпела... Вот ты справедливую речь заговорил, Листарха Петрович, больно мне по нраву пришлась. Сорок рублей, болезный, сорок рублей, вот по три лета выплачиваем... А где нам взять, где девке взять? Я вот уж плоха...

— Плоха, старуха, плоха! — добродушно подтвердил Кабан.

— Куда плоха, и слепа, и глуха, и, признаться, глупа стала. Ну, еще когда я была годна, все ничего... А теперь девке хоть в гроб ложиться... Недоимки пошли уж неоплатные.... Мужики ноне на миру стали необходительные: стращают — землю отобрать к семьяным... Что бабам делать? Как девке быть?

— Трудно, трудно...

— И я про то же... По нынешнему времени все мужик; только при мужике и вздохнешь... Вон бабы-то при мужьях как живут: сладким куском питаются, со своею судьбой одни не маются... Муж-то при доме денег не берет, сам несет... Он не за плату землицу-то свою охаживает, вот у него и спорина... И баба-то за ним вздох имеет!.. Ты гляди, вот избенка-то, вся в дырьях: где бы взять починить, где бы заплатку наставить, где бы крышу подобрать, а все заплати... все мужика-то найми, коли мужа нет!.. А он тебе за плату-то еще нагадит, заместо дела... Вот хошь бы Фи-

лашка (мотнула она головой в сторону мужичка), и смирен, и богобоязлив, непьющий, старательный, кажись (третье лето знаемся), а вот не дает господь спорины ему в работе... Кто же ведает отчего!.. Ровно у него из рук-то валится!.. А сорок рублев ему подай, где хошь возьми, а подай!.. А будь свой-то мужик, он еще тебе принесет и в работу-то сердцем войдет и лаской приголубит... Свой-то мужик не купленный, свой-то мужик ноне дешевле, только примилуй да приласкай его... А ласка-то не куплена, на хлеб не выменяна! Ласка-то бабья дешева...

— Вишь ты, старуха, как поговариваешь!.. Ну, одно жалко — рано тебя бог состарил, а то бы еще ты на своем веку почудила, надо думать,— захохотал Кабан.

— Надо по жизни говорить, Листарха Петрович, по жизни смотреть... Жизнь-то по-своему не перекроишь!..

— Так, так... Слышишь, Степаха, что старуха-то говорит? — подмигнул Кабан Степаше, теперь стоявшей в проходе между перегородкой и печкой, сложив под фартуком руки, и серьезно-вдумчиво слушавшей разговор.

На вопрос Кабана она не отвечала.

— А? Степаха! — переспросил Кабан.— Так как быть-то? Слышь, что старуха-то говорит?

— Неуж не слышу?.. Коли говорит, должно, так надо... Ни с чего говорить не будешь,— ответила наконец Степаха и опять замолкла, но замолкла так, как будто дожидалась, когда же мы уйдем.

«Ну, что еще будете говорить?» — спрашивали ее сердито-задумчивые глаза.

— А ты вот что, старуха,— заговорил Кабан.— Вместо чтобы на старости лет такие речи говорить да девку смущать, ты бы вот чулок-то развязала да деньжонок племяннице-то дала избу-то поправить... Как вы зимой-то жить будете? а? Чего ты капитал-то бережешь? Али с собой в могилу возьмешь?.. Ведь не возьмешь!.. Рано ли, поздно, все ей пойдет... Ах ты, скряга, скряга старая!.. Беспутные речи говоришь, а дела хорошего не делаешь... Что, испугалась? Ха-ха-ха! — засмеялся Кабан своей шутке.

По-видимому, он так и говорил в шутку. Но старуха вся так и затрепетала.

— Уймись, уймись! — крикнула она сердито на старика.— Али ум потерял, грех забыл?.. Али тебе легко чужую душу загубить пустым словом? Из-за этих слов что греха-то бывает?

— Ну, ну, старуха... Пошутил и то!.. Да ведь болтают все, ну и я сболтнул.

— Ты бы то знал: молва-то на человека — что чума... Мне уж, болезный, и так жить надоело... А другую душу на грех навести не трудно!

Мы поднялись и вылезли из-за стола. Вдруг мужичок-рязанец, или Беляк, как его звал Листарх, опять как-то заволновался. Глазки у него забегали; руками он то поправлял рубаху, то хватался за голову, за бороду, как будто наш уход представлял для него чрезвычайно важное событие, как будто он не успел от нас чего-то добиться, о чем-то спросить, на что-то получить окончательный и решительный ответ.

— Хошь бы часок... Хошь бы часок... Хошь бы часок пустил на своей-то печке понежиться,— вдруг сказал он, весь просияв какою-то странною, загадочною улыбкой, обращаясь к Кабану, когда тот только что сгорбил спину перед низенькою дверью.— Брюхо бы поправить,— продолжал он тянуть,— хошь бы часок... в свои-то хоромы полежать пустил.

И он опять улыбнулся; в улыбке было все — и стыд, и ирония, и злоба, и какое-то полунамеренное, полубессознательное юродство. Беляк наконец засмеялся тихим, дребезжащим смехом дурачка.

Кабан давно уже выпрямился и, широко открыв глаза, прямо в упор смотрел на Филашку. Он что-то беззвучно шевелил губами; по его шее и лицу постепенно разливалась кровь.

— По-оди! По-оди! Попробуй! — вдруг крикнул Кабан так неистово, что стекла жалобно затрещали в окнах избушки, а я вздрогнул.

Мужичок-рязанец смутился и боязливо опустил глаза.

Кабан продолжал беззвучно опять шевелить губами, тщетно стараясь что-то сказать. Но он больше ничего не мог произнести, медленно повернулся и

вылез в маленькую дверцу в сени, тяжело ступая по гнувшимся доскам помоста.

Мы все время, пока шли к своей избе, молчали. Кабан пыхтел, обливался потом и вытирал в волнении лицо красным, с голубыми цветами, платком. С лица понемногу сходила у него кровь, но шея долго оставалась багровою, а глаза смущенно-сердито блуждали. Праздник был испорчен. Кабан во весь день был неразговорчив и всего раза два заходил ко мне «по делам» на одну минуту.

IV

Прошел год, когда мне удалось вновь заехать в Большие Прорехи. В это лето я запоздал в столице и попал на свой хутор только уже позднею осенью, когда все работы почти были кончены. Тотчас же по приезде я немедленно должен был, по делам, отправиться в волость и здесь неожиданно сделался свидетелем чрезвычайных событий в жизни моих старых знакомых.

Старшина, между прочим, передал мне, что у них нынче суд, что судится Степаша со своим мужем. Можете себе представить мое изумление! Я сейчас же, конечно, пошел на суд.

В первой комнате толкались два-три мужика и сторож, в следующей было присутствие. За большим столом, заваленным книгами и бумагами, сидели писарь и два судьи. У дверей толкалась «публика» — она и свидетели, среди нее же толпились и истцы, и обвиняемые. Писарь был молодой, меланхоличный семинарист, уродливый и неповоротливый, флегматично относившийся к своей обязанности, как «к наказанию», и потому, может быть, не умевший брать взяток; он постоянно был чем-то недоволен, «всеми недоволен» — и старшиной, и судьями, и собой, и мужиками; постоянно жаловался, что мужики пьют много; что поэтому порядка с ними не устроишь, но сам от угощения никогда не отказывался и чем больше пил, тем угрюмее и молчаливее становился.

Из судей один был Листарх Петрович Кабан (не менее изумившая меня случайность). Он стоял, отшат-

нувшись спиной к стене, сердитый и задумчивый, и смотрел вниз. Когда я вошел и присел в угол у двери, он вскинул глазами, улыбнулся мне, мотнув бородой, и опять опустил глаза. Другой судья — мужик сухой, высокий, с жидкою черною бородой и большим горбатым носом — сидел, облокотившись обеими руками на стол, и сурово вел, по-видимому, все дело. Писарь писал, но, увидав меня, задвигался неповоротливо, вылез из-за стола, зацепив карманом пиджака за стол, проворчал что-то в неизменно мрачном настроении, подошел ко мне, подал руку и тем же путем вернулся опять за стол.

— Ну, старуха, рассказывай, что ли! — окрикнул густым басом суровый чернобородый старик, по-видимому недовольный перерывом дела.

Я взглянул на толпившуюся кучку у дверей. Все лица знакомые, всех их встречал я в Больших Прорехах. Впереди стояла Степаша, заложив руки под короткие полы синего казакина, узко обтягивавшего ее коренастые формы, с талией чуть не на спине. На голове у нее был тот же черный, с желтыми горошинами, платок. Рядом с ней, вытянувшись, как рекрут, с руками «по швам», высоко подняв голову и упорно, не мигая, смотря на судей. стоял Беляк в крашенинном зипуне. Старуха — тетка Степаши — сидела на краешке скамейки, постоянно порываясь встать. Сзади толпились прорехинцы мужского и женского пола.

На вопрос чернобородого судьи старуха, опять силясь приподняться, сердито заворчала:

— Чего тебе рассказывать, когда на всю волость шум и то идет? Вот вся деревня знает... Алистарх Петрович здесь — у него в глазах было. Спроси деревню-то, какое ей беспокойство было... Ни тебе день, ни тебе ночь спокою... Пошел чертить, пошел чертить — дальше да больше. Вот тебе радетель, вот тебе смиренник, вот тебе хозяйству помога!.. Ах, батюшки мои светы! За девкой-то с топором, с вилами гонялся, за косы таскал... Меня было в одночасье загубить хотел... «Я,— говорит,— тебя (так тебя) снизведу! Ты,— говорит (так тебя),— чего деньги-то прячешь? Али я вам задаром работать достался? Будет,— кричит,— и мне вздоху пора дать... Я вот теперь заставлю на себя

поработать!» Батюшки мои светы!.. Всю-то зимушку, все-то летечко глаз не сомкнула... И не чаяли такого беспокойства! Али мы какие, али мы сякие?.. Жили в мире, тишине...

— Ты говори, чего ж вам нужно, чего хотите? — обрывал суровый судья.

— Чего хотите? Вот и смотри, чего хотим,— сердито отвечала со своей стороны старуха,— на то ты и судья... Суди!.. Вот деревня-то, спрашивай...

— Что уж тут говорить — беспокойство полное! — загалдела в один голос толпа мужиков и баб.— Мужичонка совсем негодный!.. Бесперечь по кабакам!.. Беспокойство было — не приведи господи!.. Мы свидетельствуем... Дело видимое...— И т. д.

— Ну, чего ж ты хочешь, чего ищешь? Надо нам знать-то али нет?! — закричал судья на Степашу.

— Пропишите ему на выселку... Чтобы беспокойства не было,— сказала Степаша,— я его в избу не пущу, он беспокоит...

— Ведь он тебе муж?

— К какому он мне ляду!.. Кабы он робил... А он не робит... Я лучше батрака буду наймать... С чего терпеть? Кабы он робил... Пропишите ему на выселку, чтобы беспокойства этого не было... Кабы он робил, а так я мужнею женой быть не согласна.

— А ты что скажешь? — обратился все тот же судья к Беляку.— Ты чего ищешь?

Беляк чуть дрогнул и только еще больше вытянулся.

— Обиду ищу,— проговорил он отрывисто и в полном сознании своего права.— Пропишите бабам меня при моем хозяйстве водворить... Я хочу моему хозяйству порядок иметь...

— Э, э, э! — раздались мужские и женские голоса прорехинцев.— Ах ты... Водворить!.. А? Да ты, пустая твоя башка... Да мы тебя приютили... А? Да ты голоштанный пришел... Откуда? Да мы тебя в обчество приняли... Тебя к хозяйству пристроили... А? Да тебя, подлеца, мало что на выселку... А? Хотя бы ты мужик-то наш был... А то... Прописывай, прописывай ему на выселку!

Под влиянием ли этого неожиданного дружного

натиска голосов или по какому-то таинственному душевному побуждению вдруг Беляк повалился в ноги перед столом.

— Братцы, простите! — завопил он каким-то пронзительным голосом.— Православные... православные, простите!.. Будьте милостивы... Сызмалетства... из веков... Сызмалетства пристанища не видал...

Он быстро встал и, всхлипывая, волнуясь, рыдая, подошел к столу.

— Во, гляди, руки-то — плети! — заговорил он, тыкая руками в воздух и трепля на них рукава казакина.— Во... тридцать годов!.. Кажный год лихоманка треплет... Извелся... Тридцать годов своего угла не имел... На чужих кормах... Вздоху нет... сызмалетства... Во, живот-то, гляди, во! — кричал он, нервно расстегивая полы зипуна и поднимая рубаху...

— Ай, ай, ай! — кричала толпа.— Что делает! А?.. Ловок!.. Это он (так его) к нам на хлебы пришел... Отъедаться! За бабьей спиной брюхо растить захотел!.. Благодарим! Отчего не позволить! За это он еще лбом-то пол потрет!.. Лоб-то здоров!.. За этим он не постоит! Прописывай, прописывай ему, судьи, у бабы на печи лежать!.. Ха-ха!.. Прописывай ему позволенье... Пущай мужичок поправляется да жир нагуливает! А баб ему в крепостные определим!.. Барщину ему уставим... Авось поправится!..

Все эти возгласы слились в один сплошной, дикий гул, прерываемый странным, прерывистым, каким-то жестоким ироническим смехом, какими-то злыми вздохами и соболезнованиями.

— Стойте, молчите... Будет! Не хорошо! — строго крикнул Кабан на толпу.

Он был, видимо, взволнован.

— Пиши, Иван Елизарыч,— сказал он писарю,— пиши, чтоб прорехинское обчество приговор дало... на выселку! — проговорил он с усилием и вытер лицо платком.

Но едва он сказал это, как Беляк захохотал тоненьким смехом. Лицо его мгновенно приняло глуповато нахальное выражение.

— Что?.. что пиши?.. Успеешь,— заговорил он, насмешливо ворочая языком,— успеешь написать...

Погоди... чтобы переписывать не пришлось. Эх вы!.. Водки хотите?.. Думаете, у меня нет?.. На, вот сейчас — ведро... Мало? Два найду... Оболью! Вот, вот бери зипун... На!.. Тащи в кабак, тащи в залог! — кричал он, порывисто стаскивая с себя кафтан и бросая его на стол.— Бери!.. Пейте, иуды-передатели!.. Пей!.. Не жалко!.. Эх вы... иуды-передатели!.. Не знаю я вас, что ли?.. На, на, берите, берите и меня в заклад, коли мало... Душу мою заложите, иуды-передатели! Ду-ушу-у! На-те!

Беляк рванул на груди рубашку, заревел и захохотал в одно и то же время. По его маленькому раскрасневшемуся белому лицу потоком лились слезы.

— На вот тебе, брюхан, на... продажную душу! На, заложи на вино! — закричал он на Кабана, продолжая рвать рубаху.

Толпа зароптала, по ней глухо пробежал гул. Кабан поднялся с тем же ужасным лицом, какое я некогда видел у него в избе у Степаши. Так же сначала побагровела шея, так же беззвучно, силясь сказать что-то, он шевелил губами.

— Оставь, Листарха!.. Сядь, погоди! — сказал чернобородый судья, беспокойно взглянув на Кабана.— Пошли вон, пошли все вон! — крикнул он прорехинцам.— Сотский, возьми мужика отсюда!

Кабан тяжело сел. Толпа отпрянула за дверь. Высокий мужик-сотский, с заспанным лицом, подошел к Беляку и хотел его взять за руку. Беляк дернул локтем и продолжал стоять, по-прежнему выпучив глаза на судей.

— Пошел вон, говорю! — закричал судья.— Веди его!.. А ты, Иван Елизарыч, пиши...

— Постой, погоди... Не пиши,— сказал Беляк, как будто что-то соображая, тихим, ровным голосом.— Не пиши... Сам уйду!.. Уйду опять от вас... Сам... Места будет для всех у бога!.. Уйду сам...

Он взял со стола свой кафтан и неторопливо надел его.

— А ты теперь вот что пиши,— обратился он резонно к писарю, показывая пальцем на бумагу,— пиши: «Взыскать с жены крестьянина Филата Беляка в пользу мужа ее законного за летнюю работу сорок

рублев сполна»... Пиши... Пущай мне сорок рублев отдадут... По чести... Я справедлив... Я больше не хочу... Оне мне за батрачину искони сорок рублев платили... А ноне, по мужнему положению, ничего я не получал... С чего ж баловаться?.. Я свое прошу... Я по чести, без обману.

Но против этого неожиданного предложения запротестовала старуха и начала высчитывать, сколько «он вымотал от них угрозой» денег на водку.

— Ты что скажешь? — спросил судья Степашу.

— Чего сказать? Сорок рублев платили — это по чести... Пущай, кабы он ноне робил... Он прежде робил, а на мужнем положении, за его лень, не следует...

— Все одно. Рассчитайся, Степаха, пиши! — выговорил наконец Кабан сердито, почти приказывая.— Денег нет — я дам. После вернешь...

— По чести... Я справедлив... Я больше не возьму,— повторил Беляк.— Судите по справедливости... А уйти — я уйду, коли не по нраву вам... Для нас у бога место найдется!

Через полчаса мы ехали с Листархом Петровичем Кабаном ко мне на хутор. Масса неожиданных впечатлений, которая охватила меня на суде, не давала мне успокоиться. Я просто не мог прийти в себя. Мне необходимо было уяснить, осветить для себя все это странное стечение обстоятельств. Я несколько раз разговаривал об этом с Кабаном, но он смотрел грустно в сторону от меня и то отмалчивался, то что-то ворчал сквозь зубы. Наконец сказал:

— Ты, Миколаич, ежели хочешь со мной приятельствовать, об этом мне не поминай.

Потом помолчал и прибавил:

— Ведь я сам Беляка-то и усватал... Думал, что, мол... Все прахом пошло!.. Все уж у меня как-то прахом идет, все... Не то уж!..

И Кабан заугрюмел совсем.

V

Прошло больше недели, как Беляк исчез из Больших Прорех. О нем, по-видимому, все уже забыли.

Кабан хотя и сделался как-то задумчивее, грустнее, но, кажется, начинал понемногу приходить в себя и успокаиваться, только к Степаше все еще не ходил, не любил смотреть в сторону ее избы, куда, бывало, постоянно были обращены его взоры. Сердился ли он на нее или малейшим напоминанием боялся вызвать в своей душе пережитые впечатления...

Однажды, глухим осенним вечером, сидел я у него в избе и пил с ним чай. На улице гудел ветер и хлестал дождевыми струями в окна. На дворе зги не было видно: темно, хоть глаз выколи. Кое-где мелькали тускло огоньки в избах. Жутко в это время в деревнях. Чувствуешь какую-то беспомощность перед этим морем мрака, из-за которого ниоткуда не блеснет вам светлого просвета; чувствуешь, как эта тьма охватывает вас, душит, наполняет голову странными, причудливыми образами, томит вашу душу неопределенными, тяжелыми предчувствиями. В этом мраке исчезает для вас мир божий, вы видите себя отрезанным, отчужденным от всех... В деревнях в это время редко кто выйдет на улицу; на задворки редкий мужик рискнет сходить. Деревня живет в эту пору, может быть, более, чем когда-нибудь, на веру, на божию волю, стихийно, бессильная против каких-либо случайностей.

За окнами, откуда-то издали, глухо послышался чей-то голос; вот он все ближе и ближе. Слышатся какие-то выкрики. Мы вслушиваемся внимательно, но ничего разобрать нельзя. Вот слышно хлястанье сапог по лужам и грязи, и смолкло; кто-то остановился.

Гляжу, Кабан нахмурился и сурово смотрел в стол, не поднимая глаз.

Вдруг кто-то завыл дико, безобразно, рыдая и плача, сначала тихо, затем все сильнее и сильнее.

— Иуда!.. Иу-уда!.. Иу-уда! — раздирающе тянул голос, который мне показался похожим на голос Беляка. — Иу-уда!.. Отдай мою душу-у!.. Отд-а-ай!.. Иу-уда!.. Иу-уда!

Кричавший как будто на несколько минут ослабевал, затихал, но затем начиналось опять это убийственно-гнетущее повторение одних и тех же раздирающих звуков.

— Господи!.. Батюшки мои! — иногда болезненно выкрикивал голос и затем опять: — Иуда! Иу-да-а!.. Иу-да-а! — глухо неслось из мрака.

Старик, не взглянув на меня, вдруг поднялся и неторопливо вышел в сени. Он что-то искал там. Затем послышалось, как он медленно и тяжело стал спускаться с лестницы. Я подождал минуту — и мне вдруг мелькнула ужасная мысль: «Не сделал бы он чего-нибудь». Я схватил свечу и выбежал в сени. Внизу, навстречу мне, поднимался Кабан. Он был бледен и дрожащей рукой едва держался за перила, в другой руке он держал железный безмен. Страшное, зверское было выражение его лица.

— Что ты хочешь? — спросил я.

Старик не выдержал и вдруг зарыдал, опустившись на ступени лестницы. Тяжелый безмен упал и тяжело скатился вниз. В это время на улице проскрипел воз, потом послышались чьи-то голоса, которые кого-то ругали и искали. Слышалось опять хлястанье грязи. Завыванья прекратились. Прислушиваясь, я все еще стоял со свечой на помосте сеней.

Старик медленно поднялся и, шатаясь, стал спускаться от меня вниз по лестнице. За ним внизу хлопнула дверь: он ушел в «стряпную».

Наутро я расспрашивал мужиков. Говорили всякую несообразицу, но выяснилось, впрочем, одно, что Беляк все еще бродил по соседним кабакам в округе, что его многие встречали ободранным, пьяным, избитым, и не раз он уже подобным образом выл под окнами Кабана. Действительно, слышать эти звуки каждую ночь было ужасно.

Я опять уехал из Больших Прорех надолго. По возвращении моем весной на хутор, я уже не застал в живых Кабана. Мне рассказали, что еще два раза приходил на село Беляк и так же выл перед избой Кабана, что старик не выдержал — и запил. Пить он стал страшно, так что через месяц умер. Да и о Беляке больше уже не слыхали.

Степаша — все та же «девка с душой», и брачный венец не оставил на ней никакого следа. Старуха ее все еще жива, только земли им дают вдвое меньше, а убирать ее помогает за пятнадцать рублей семьяный

мужичок из соседней деревни, с лошадью. Лошадь свою Степаша должна была продать.

«А где же несчастный Беляк? — часто спрашивал я себя, так как образ этого мужичка-рязанца долго еще неотступно носился в моем воображении.— Неужели для него много еще у бога места?..»

Красный куст

Из истории межобщинных отношений

В предлагаемой статье я хотел бы коснуться того круга явлений деревенских будней, которые сосредоточиваются около так называемого «межевого столба». Круг этот, надо сказать, очень широк и захватывает чрезвычайно сложную и разнообразную группу деревенских интересов, а между тем нельзя не признать, что в представлении общества этот деревенский межевой столб или «яма» являются далеко не в том свете и не с тем значением, каково оно в действительности. Всякому из нас, городских жителей, отправляющихся летом на «дачи», в лоно деревенской природы, случалось, конечно, в своих прогулках набредать на заросшие бурьяном с плесневелою водой и целым царством лягушек на дне неглубокие ямы, на подгнивший, покосившийся серый деревянный столб с выжженным сбоку черным пятном, уныло согнувшийся набок с краю этой ямы. Вряд ли, однако, многим из нас приходило в голову при виде этого заброшенного в какую-нибудь недоступную дебрь столба, сколько волнений, хлопот, разрушенных надежд, горя, слез и «животишек» стоит он местному крестьянскому населению. Вряд ли в вашем воображении встанет эта печальная трагическая картина, средоточием которой служит межевой столб, если вы человек деревне посторонний. Но если вас сопровождает один из местных старожилов и если вы с ним наткнетесь на такой столб, будьте уверены, что пока вы, пользуясь этим столбом, успеете закурить папиросу, он не преминет вам сообщить, полудобродушно, полуиронически, какую-нибудь любопытную историю, связанную с этим столбом...

— Вот он, вишь ты, столбик-то, подгнил уж,— начнет он, покачивая столб за макушку,— штучка невелика, всего одно полено, а тоже, я тебе скажу, друг любезный, немало в его, проклятого, достатков вложено... и горя было и слез... и всего... В остроге тоже отсиживались немало... Деньгу эту самую со всех деревень шляпами таскали...

— Как же так? — невольно спрашиваете вы, и в ответ вам начинается одна из тех длинных историй о «недоразумениях», которые в недавнее время такой сплошной полосой тянулись через крестьянскую жизнь.

Не успеет еще ваш проводник кончить этой истории, как уже вы натыкаетесь на другой столб и невольно приостанавливаетесь у него.

— Вот тоже,— прерывает себя ваш спутник,— столбик-то... В церкви стояли, крест целовали, присягу присягали, а две головы сахару да три фунта чаю — и вернул на кривую!..

Да, ни много, ни мало, по любовному, значит, размежеванию пять десятинок у нас лугу-то и отдернул.

Вы спешите дальше, спешите, может быть, насладиться прекрасным видом волнующихся золотистых колосьев или отливающих изумрудом лугов, а уж в ваших ушах опять звучит: «Вот столбик-то... Присягу присягали, крест целовали, а два фунта чаю да три головы сахару...»

Но вы уже знаете, что будет дальше, и бежите в сторону от этого, не замеченного вами, столба. Вот наконец вы на опушке леса. Благодатная тень с сыроватым запахом елей охватывает вас. Вы присели в этой тени, опустили ноги в неглубокую ложбинку, всю обросшую душистым зверобоем. Впереди плещется река и играет золотой рябью в солнечных лучах. Вы только что забылись от этой бесконечной, монотонно печальной истории «греха», слез, «животишек», как вдруг замечаете, что ваш спутник, что-то шепча, внимательно разыскивает, всматривается в окружающую местность и что-то припоминает. Он то присядет, то, вытянув голову и шею, поднимется на колена, то встанет, отойдет в сторону, оглянется кругом и все что-то шепчет...

— Ну, так, здесь... Это верно, что здесь,— вдруг говорит он вслух и неожиданно начинает рыться в ложбине у вас под ногами.

— Вот!.. Нашел, как есть!.. Я помню, как не вспомнить!.. То-то, смотрю, как будто столбу надо быть... А вот, вишь, столб-то стащили... А яма-то позаросла. Ну, да я помню... Вот, гляди, вишь, вот и уголь и камни тут... ущупал как раз!.. Как не вспомнить!..

— Ну и что ж: опять — две головы сахару, три фунта чаю? — раздраженно спрашиваете вы.

— Как быть!.. И присягу присягали, и крест целовали... А замест того...

— Знаю, знаю! — говорите вы и лихорадочно спешите высвободить свои ноги из «ямы» и уйти, убежать хоть куда-нибудь от этих нескончаемых «двух голов сахару и трех фунтов чаю»... Но напрасно: эти стереотипные «2 головы сахару и три фунта чаю», выражающие собой стоимость целой «уймы» мужицкого горя, слез и животишек, уже плотно оседают в вашей голове; они преследуют вас всюду, где только нога ваша случайно переступает какую-нибудь границу, межу. С этих пор, есть ли при вас старожилый спутник или нет, всё одно: вам достаточно натолкнуться на такой столб или наткнуться на заросшую бурьяном яму, чтобы в вашем воображении моментально явились «две головы сахару и три фунта чаю».

Говорят, что в стародавние времена существовал обычай во время размежевания брать на межу детей и задавать им при каждой выкапываемой яме внушительную порку, чтобы, так сказать, навеки запечатлеть в их душе и на известных частях тела границы их и чужой собственности. Этот обычай исчез давно, и совершенно основательно, ибо «две головы сахару и три фунта чаю», перевешивающие целую уйму мужицкого горя, слез, молений и животишек, много чувствительнее березовой каши.

Но — это между прочим. Нас не столько интересует здесь маленький человечек, вечно пьяный, нахальный, обремененный семейством и вечно нуждающийся землемер недавно прошедшего времени, который за две головы сахару был готов отхватить у мужиков и мужицкого потомства столько удобных земель, сколько

это допускало их невежество в землемерных операциях, и не самые эти «операции», в большинстве случаев всем уже известные и приконченные, сколько интересует другая, современная сторона явлений деревенских будней, обусловливаемая этим межевым столбом.

Невозвратно, читатель, канули в вечность те блаженные времена, когда жила знаменитая бабушка Ненила. Понятно, что в те времена, когда эта бабушка Ненила со своей родной деревней, у которой «лихоимец жадный косячок изрядный оттягал, отрезал плутовским манером», все свои упования формулировала в словах:

> Вот приедет барин: будет землемерам!
> Скажет барин слово —
> И землицу нашу отдадут нам снова.

когда все эти упования сосредоточивались на «барине» — и «межевой столб» далеко не играл такой выдающейся роли в уме и душе крестьянина, какую занял он впоследствии. То было время «господское»: и сама Ненила была господская, и дело было господское. Но вот умерла Ненила, и с нею умерли ее «упования». Вместо Ненилы выступили другие фигуры, и ее «упования» должны были принять другую форму. Мужику предоставлено было «уповать» на самого себя, за собственный страх и риск. Но так как крепостной мужик никогда самого себя не знал и собственной воли не имел, то и уповать на себя не мог. А ведь без упования как же жить? И вот наступил период, когда мужик крепко уверовал в какую-то отвлеченную «правду и милость», которые будто бы должны были неуклонно бдеть над ним и не оставить его на конечное разорение. Новая бабушка Ненила свои упования формулировала уже несколько иначе: когда интересы этой бабушки Ненилы с «легкой совестью» размениваись на «две головы сахару и три фунта чаю», она навязывала на спину котомку и, направляясь куда-то, в никогда не виданную ей страну, вместе с «ходочками», говорила: «Да неужто же правды на земле нет? Есть правда, есть... Как не быть правде на земле!.. Только бы дойти до нее, матушки, а уж она,

правда-то, свое возьмет, милость окажет»... И пока вторая бабушка Ненила ходила за поисками «правды», история с «тремя головами сахару» принимала поистине грандиозные размеры, а ее детки и внучки уже начинали подумывать о том, как бы с упованиями второй бабушки Ненилы не случилось того же, что с упованиями первой. А раз запало в душу такое сомнение, все более и более подтверждавшееся тем, что ни бабушка Ненила, ни «правда и милость» вслед за ней что-то давно в деревню не заявлялись, оказывалась уже настоятельная надобность придумать какое-нибудь новое упование. И что мудреного, если упование на «правду и милость» сменится, в свою очередь, упованием на всесильные «две головы сахару»?.. Только новое это упование требует для своей реализации коечего более реального, чем одна «вера»; чтобы наилучшим образом утилизировать всесильный принцип, выраженный в формуле: «две головы сахару, три фунта чаю», требуется, конечно, прежде всего иметь эти «две головы» в своих руках, а для этого нужно «познать» самого себя и суть окружающих условий... В каком направлении пойдет это «познание» и каков будет его конечный результат, мы доподлинно сказать теперь не можем, ибо это «познание» трудно поддается обобщениям и не втискивается целиком в готовые шаблонные категории. Несомненно, впрочем, одно, что бабушка Ненила этого третьего, нового, «познавательного», так сказать, периода — будет далеко не так формулировать свои упования, как формулировали их ее родительница и прародительница.

Подсмотреть и анализировать трудный, совершаемый под давлением бесконечного ряда внешних условий процесс выработки народного «познавания» представляется работой многообещающей, так как только этим путем можно и самому интеллигентному человеку подслушать биение пульса народной жизни, подсмотреть святую святых ее души... Работа эта так широка и многообъемлюща, что мы, конечно, и в виду не имеем касаться ее во всем объеме. Как выше сказано, мы ограничимся здесь только теми явлениями, которые сосредоточены около «межевого столба». Но из обширного ряда этих явлений (ведь под символом «межево-

го столба» разумеется целая область земельных отношений, охватывающих собой $^{9}/_{10}$ всех крестьянских интересов) мы исключим, во-первых, те, которые благополучно или неблагополучно достигли вожделенного «предела» в форме разных «уставных грамот» и «владенных записей», как актов размежевания между помещиками и казной, с одной стороны, и крестьянами — с другой; во-вторых, те, которые заявляют себя в форме «передвижений» замельной собственности из рук «барства» в руки «коммерческие»; этот последний процесс если и не завершен еще, то все же более или менее читателям знаком. Но есть еще область явлений, народившаяся сравнительно недавно и, может быть, поэтому мало или почти вовсе не обращавшая на себя должного внимания. Это передвижение земельной собственности уже не между общиной и единоличным собственником (казной, помещиком, купцом), а между самими общинами, то есть здесь ставится вопрос о межобщинных отношениях. Вопрос этот вообще мало разработан в нашей литературе, потому ли, что нас теперь интересует больше вопрос о количестве в руках общин самой этой собственности, чем вопрос об ее передвижении меж общинами и распределении, или потому, что мы обращали больше внимания на распределение собственности внутри самой общины, чем вне ее. Во всяком случае, вопрос этот заслуживает большего внимания, чем это было до сих пор. В последнее время мне пришлось познакомиться с некоторыми фактами из этой области, которые и хотелось бы передать читателю.

Наблюдения нынешнего лета, как и значительная часть предшествовавших моих наблюдений, относятся к Владимирской губернии, и именно до центральных ее уездов. Признаться сказать, я неравнодушен к этой губернии. Впрочем, не по чувству узкого «землячества» и не по каким-либо особым красотам ее природы или душевным доблестям ее обитателей. Нет, просто по обширности и глубине той сферы, какую она представляет для наблюдений над народной «душой». Меня влечет к себе ее вечно деятельный, вечно подвижной, вечно ищущий «где лучше» сын народа, «этот истый великоросс-колонизатор». Обитатель умеренного кли-

мата и умеренной почвы, он избежал крайности поэтически-созерцательной лени малоросса и апатической косности своего северного или белорусского собрата, убитого и приниженного непосильной борьбой со стихийными силами природы и истории. Крайнее разнообразие исторических воздействий, которым подвергался обитатель Центральной России и из которых между тем ни одно не было настолько преобладающим, чтобы наложить свою обезличивающую печать и окончательно подчинить личность своему влиянию,— выработало в этом обитателе известную степень самодеятельности и придало населению этих местностей замечательное разнообразие типов. Здесь вы, сравнительно на небольшом районе, встретите всевозможные типы населений, выработавшиеся под разнообразными историческими воздействиями; здесь целы «барские села», прожившие век под тяжелой «барщиной» — то со смирным, пришибленным и убитым населением, то с буйным, пьяным, воровским; там огромные волости казенных крестьян и оброчных, с преобладающим развитием типа «хозяйственного» мужика, бойкого, здравомыслящего и оборотистого, обходившего из конца в конец всю Россию, побывавшего во всех больших городах, видевшего всю прелесть цивилизации. Не успели вы сделать несколько десятков верст, как уже перед вами фабричные села с разнообразнейшим населением «кустарей», и только перевалитесь вы отсюда за реку, перед вами стоит истый, исконный землепашец, негодующий на заречные «негодные порядки» и распутство. Вот какая обширная область открывается для наблюдения. Несомненно, здесь наблюдение труднее: разобраться в этом разнообразии представляется не легким; но зато здесь перед вами целая коллекция с драгоценными экземплярами, из которых воочию вы можете проследить всю вековую и страдальческую историю народа; вы можете проследить непрерывную цепь исторических наслоений, ибо здесь еще живыми сохранились такие формы социальных отношений, которые вы считали давно вымершими, и на ваших же глазах зарождаются социальные комбинации, о которых вы и не слыхивали еще и возможность которых даже не предполагали. Здесь встретите в одном и том

же месте и редкие экземпляры «барской» бабушки Ненилы, глухой и слепой, полузабытой и загнанной на печь, которая неудачи своих упований на барский гнев и барскую любовь изливает в беззубом брюзжанье на «вольные порядки»; здесь же увидите широко распространенный тип всеуповающей, всеверующей в «правду и милость» новой «пореформенной» бабки Ненилы, которая упорно ждет «поравнений» — «общих переделов», долженствующих неотложно засвидетельствовать собою присутствие на земле «правды»; но уже вместе с этим типом романтика вы замечаете, как быстро нарастает другой тип народных скептиков и позитивистов. Таковы основные типы, резко бросающиеся в глаза; но между ними существует целый ряд второстепенных градаций: индифферентистов, озлобленных, «жадных», вольницы, с одной стороны, и подвижников-ригористов — с другой, и т. п. Можете себе представить, каково должно быть здесь разнообразие социальных бытовых форм! И при всем том нигде так крепко не держатся и не преобладают общинные формы, как здесь. Часто мне приходилось слышать такие соображения: «Напрасно,— говорили мне,— вы выбрали для изучения общинных устоев такое исковерканное, изломанное всевозможными влияниями, разношерстное население кулаков и лодырей всякого рода. Какие там «устои»! Вот если бы вы направили свои наблюдения на север, в лесные недоступные дебри, где, по всем вероятиям, общинный тип уцелел в неприкосновенной чистоте», и т. д... Однако ж я держусь относительно этого иных взглядов. Меня интересуют не столько вымирающие, архаические формы общины (хотя, может быть, они и отличаются первобытной неприкосновенной чистотой), сколько именно «современная» община данной минуты, живая, борющаяся за существование, брошенная в водоворот всевозможных и разнообразных воздействий и влияний. Только здесь, при этом разнообразии центральных великорусских типов, можно по справедливости оценить, насколько общинные традиции упорно держатся в народном сознании, насколько община живуча и до какой степени она эластична и жизненна; только здесь можно проследить весь тот

ряд бесчисленных приспособлений и компромиссов, при помощи которых народное творчество силилось и силится удержать при себе излюбленную традиционную форму быта. Но здесь же, одновременно, вы можете проследить и весь процесс ее разложения, и все шансы, способствующие ему...

Вот почему именно здесь я одновременно мог наблюдать факты, о которых расскажу сейчас.

Есть у меня два хороших знакомых: два Елизара — Елизар Нагорный и Елизар Луговой. Они друзья, несмотря ни на то, что значительно разнятся по летам — первому уже шестой десяток в исходе, второму всего еще сорок лет, ни на то, что живут в разных волостях, верстах в 15 друг от друга, а значит, и видеться могут нечасто. Тем не менее на особые специальные деревенские праздники каждый из них считает непременным долгом навестить другого, и непременно с подарком. Откуда, когда и как завязалась их дружба — осталось для меня неизвестно.

Пока я жил у Елизара Нагорного, мне пришлось раза три видеть у него Елизара Лугового, и всегда в праздник. Едва мы засаживались после обедни за самовар, как подъезжала добрая каряя лошадь Елизара Лугового, и мой хозяин, улыбаясь, говорил: «Вон и благоприятель подъехал... как раз кстати! Он меня не забывает». И старику, видимо, было очень приятно посещение Елизара Лугового.

— Здорово, старина! — громко выкрикивал бойкий, разбитной, веселый, всегда чисто одетый, приземистый и коренастый Елизар Луговой.

— Здорово, здорово... Спасибо, не забываешь старика...

— Зачем забыть!.. Сказано — не имей сто рублей, а имей сто друзей...

— Ну, не от вас это слышать... Народ вы не таковский... Вы и отца родного, говорят, подешевле спустите,— добродушно посмеиваясь, говорит мой хозяин, поглаживая свою большую седую бороду.

Нужно заметить, что вообще все беседы свои благоприятели начинали в таком полудобродушно-насмешливом тоне.

— Пожалуй, что и правда... Только мы, брат, умеем

продать, да умеем и выкупить... А вот ваши, нагорные, говорят, задаром отдают отцов-то, да и выкупать не хотят,— продолжал отпарировать Елизар Луговой, расстегивая ворот кафтана и присаживаясь к столу.

— Да уж лучше, по-моему, эдак-то,— говорил дед,— а то торговля-то эта больно... того... на душе тяжело ложится... Лучше уж оно задаром-то...

— Ну, это, как смотря... Дела-то как у вас нонче? Как живете?.. Ходят слухи, бойко стали жить...

— Бойко, верно, что бойко... У вас, должно, учиться стали... Такая грызня пошла — не приведи господи!.. Ровно собаки из-за обглоданной кости... Нехорошо бы об крестьянском народе так говорить, да невтерпеж... Правда!.. Правду не спрячешь... Все перегрызлись: деревня деревню грызет, мужик мужика, брат брата... Гляди того, друг друга поедом съедят...

— Ничего, не съедите... Размежевка у вас все?

— Размежевка... Вот она, что ржа, нас и ест... Сказано: замежуетесь и не размежуетесь до конца века... Нет, уж тут рукой махни. Деньжищев этих однех в ямы-то межевые просадили — страсть!.. А в кабаки сколько ушло, в город, землемерам, абвокатам — и несть числа!.. Драк сколько было, смертоубийственных драк... В греха-то греха!.. Только одно — отойти от зла, сократиться... Еще как и живы,— не знаю... Живешь только уж единственно верой, что правда свое возьмет, правда придет. Нельзя быть без правды...

— Ничего, старина, перемелется — мука будет!..— хлопая старика по колену, говорит Елизар Луговой.— Мы, братец, тоже, знаешь, сколько лет грызлись из-за энтих столбов, чуть было не по миру все пошли, а ничего, друг друга не съели, все живы... Подравшись-то, оно после дружнее выходит. А там правду-то еще жди.

— Этого тоже не скажи... Народ-то вы известный!.. Мало ли вы самих себя загубили по судам да кляузам?.. Ваши законы для других не писаны... Вы народ хитрый, оборотистый... из лычка ремешок сделаете... Лодырники... А мы народ старинный, мы искони веков землепашеству да старине были крепки... Нам тянуться за вами нечего. У нас вот тронь порядки-то, все и полезло врозь... Вон до чего дело дошло:

говорю, хоть бежать, так в ту же пору... Только бы душу сохранить... В старину-то святее нас жили...

— Эх ты, старина, хочешь во миру душу спасти!.. Ежели душу спасать, так в монастырь шел бы... А то вишь чего захотел!

Елизар Луговой хохотал.

— Ну, да вы ведь... известны нам... Вам что душа-то?.. Вы уж ее давно запродали. Пожалуй, можно и весело жить, коли об душе не думать...

— Поди, старичок,— говорю,— в монастырь... Ежели насчет души — разлюбезное дело,— дразнил Елизар Луговой и продолжал смеяться, подмигивая мне на старика.

— Чего ржешь?.. Ну, чего?.. Христопродавцы вы! Спроси кого хочешь, кто про луговых хорошее слово скажет? Ерники, кулаки...

Друзья начинали ссориться.

И так каждый раз. Елизар Нагорный скорбел, Елизар Луговой разыгрывал роль деревенского Мефистофеля.

Однако это нимало не мешало Елизару Нагорному, тотчас же после чаю и обеда, отправляться со своим приятелем к себе на задворки — в хлев, в риги, в огород, в сад... Он с удовольствием показывал ему свое хозяйство — новую корову или выращенного жеребенка собственного, свою свинью, телок, новую телегу и т. п. Любил он его водить в свой сад, показывал малину, смородину и в особенности хвалился двумя сливами, которые привез ему в подарок Елизар Луговой из поездки в южные губернии, хвалился он ими потому, что Елизар Луговой хотя и подарил их ему, но, по обыкновению скептически посмеиваясь, говорил, что где же ему их выходить! Разве нагорный мужик что знает!.. Что он видал в свой-то век? Кроме корявой сосны ничего не знает! и т. д. Это старика подзадорило, и он ходил за приятельскими сливами с неослабным вниманием.

И опять-таки, хотя друзья прощались у ворот очень любовно, шутя и подтрунивая один над другим, все это не мешало Елизару Нагорному, едва скрывалась за углом плетушка Елизара Лугового, говорить мне, махнув сокрушенно рукой: «Вот мужик — беда!.. На-

родец, не приведи господи! Отца родного съест... Ему палец в рот не клади!.. Нет, брат, не такой человек... Только перед ним распусти губы-то, и не услышишь, как хвост отгрызет... С ним тоже помолившись за беседу-то садись...»

— А вот ведь ты с ними приятельствуешь?

— Что ж не приятельствовать? Они дело понимают... Они народ дошлый... Мы вот смирны, а за ними тянемся...

И Елизар Нагорный опять заскорбел, заскорбел на свою излюбленную тему, что не стало в миру «правды», что народ сам себя поедом ест и что ежели еще кое-как живешь, то единственно в уповании, что «правда придет и милость придет».

И так он скорбел, скорбел и я вместе с ним, скорбели мы оба за «смирный» народ, сбивавшийся со старинного пути. Мне же, лично, тоже очень не понравился Елизар Луговой, с его самомнением и насмешливым самодовольством. Такое впечатление поддерживалось во мне, кроме того, общими отзывами о Луговой стороне, что там преимущественно обитают исконные сутяги и кулаки.

Однако, хотя мужики постоянно отзывались о луговых в насмешливом тоне, но под этой насмешкой слишком ярко уже начинало сквозить как будто тайное уважение к бойкой натуре Елизаров Луговых, их сноровке, оборотливости, уменью быстро ориентироваться во всяких трудных обстоятельствах. Да эта же струнка чувствовалась и в отношениях двух друзей Елизаров. Для меня, например, лично, как и для всей местной интеллигенции, Елизары Луговые были народ отпетый, народ погибший, на которых никаких уже «либеральных» надежд возлагать нельзя. И раз вы пришли к убеждению, что для смиренного, старозаветного нагорного обитателя обитатель луговой начинает являть собою тот вожделенный, новый идеал, который уже порешил со всякими старозаветными «упованиями» и на их место выставляет нечто другое,— для вас, стороннего наблюдателя, нет ничего легче, как сейчас втиснуть это явление в «категорию» о бесповоротном разложении, например, общины, о ее несомненном вымирании, как отжившей формы, на-

сильственно удерживать которую при народе — значит идти вопреки свободным его инстинктам.

Елизар Нагорный, несомненно, имеет основание скорбеть. Этих оснований жизнь приготовила для него очень много, но мы здесь обратим внимание только на некоторые из них. Возьмем для примера такое яркое событие из современной жизни обитателя Нагорной палестины, как недавняя резолюция одной из высших судебных инстанций, которая очень выгодна для самого Елизара Нагорного и его односельцев, но которая в то же время в душе и уме Елизара Нагорного и его односельцев санкционирует собою заведомую и несомненную несправедливость. Событие это возымело свое бытие уже очень давно, лет пять-шесть назад, долго и упорно волновало всю Нагорную волость, почти разорило две соседних деревни — Борки (в которой обитал Елизар Нагорный) и Сосенки — и завершилось, наконец, к соблазну смирного и старозаветного мира нагорного неожиданной резолюцией. Дело это было такое. Деревни Борки и Сосенки некогда принадлежали к одной волости (о б щ и н ы - в о л о с т и, далеко не совпадавшей с административной волостью), находились некогда во владении одного помещика, «какого-то князя», и владели сообща с другими деревнями Нагорной волости большими поемными лугами, лесами и пустошами. Но уже давно, под давлением разнообразных обстоятельств, община-волость почти совсем разложилась, деревни «размежевались», процесс точного разграничения и распределения собственности завершился, надлежащие столбы, при достаточном поощрении в виде «двух голов сахару», были установлены, и к настоящему времени от общины-волости остались только кое-какие не успевшие еще атрофироваться окончательно элементы, свидетельствующие лишь, что что-то было, да сплыло. В общей размежевке приняли, конечно, участие и Борки с Сосенками и в общем процессе распределения нищенской суммы взяли и свои доли, — доли, конечно, по числу надельных душ: Борки на 30 душ, Сосенки на 60. В числе этих долей были доли и большого пойменного покоса, некогда ежегодно переделявшегося между всеми деревнями общины-волости. Путем длинных

переторжек, обмеров, подкупов, сутяжничества и прочих некрасивых вещей, выдвинутых закреплением за каждой деревней «собственности», дело наконец приведено было к концу, сделаны общие и специальные планы и розданы по деревням. Когда планы были получены, один из них попал в руки «умственного» сына деревни Борков, некоего Яшки-Зуба, грамотного, бойкого мужика, прошедшего огонь и воду и далеко уже шагнувшего в «познании» самого себя и смысла окружающих условий. Рассматривая план своей деревни, Яшка-Зуб вдруг сделал неожиданное открытие своим односельцам, что они прежде всего «дураки», не видят, что у них под носом грибы вырастают. Когда же просили разъяснить столь смелое заключение, он вынес на сходку план и подлинно доказал, что «по плану» они оказываются собственниками не того участка пойменного луга, которым пользовались исстари «по равнению» и владеют теперь в размере 30 надельных душ, а того, которым владеет теперь деревня Сосенки в размере на 60 надельных душ, то есть вдвое больше. Открытие это было так неожиданно, что односельцы Яшки-Зуба долго не хотели ему верить, пока наконец компетентность в этих делах Яшки и его усиленные разъяснения не убедили их окончательно в справедливости открытия. Но совершенная невозможность понять, каким образом такая история могла случиться, повергла борковцев в сильное смущение. Большинство, со стариками во главе, все это единодушно считало «бесовским наваждением и искушением» и настоятельно предлагало на это дело плюнуть, так как если его поднять, то придется «в кровь» рассориться с шабрами из Сосенок и разорить их вконец, меньшинство же, притом молодых, с Яшкой-Зубом во главе, агитировало в том направлении, что эта «находка самим богом нам, дуракам, послана, а мы ее бросать будем... После этого какие же мы люди!.. Плачемся на бедность, на то, что земли мало, а божеский дар из рук сами упущаем». Меньшинство в начале, под первым впечатлением, потерпело полнейшую неудачу. Справедливость и братство торжествовали, поддерживаемые большинством. Однако же это открытие совершенно нарушило относительно мирный уклад

борковской души. Всю зиму у борковцев не выходила из головы мысль об открытии Яшки-Зуба. Как ни сойдутся мужики на улицу, в избах, о чем ни говорят, а в конце концов непременно сведут разговор на это открытие. Благомысленные люди деревни Борков все еще с успехом боролись с убеждениями умственных мужиков, и инертная, нерешительная масса была на их стороне, считая необходимым крепко стоять против «искушения». Скоро весть об этом открытии разнеслась по всей волости, и волость распалась на такие же две фракции, какие были и в Борках. Проходила зима, а толки об этом деле крепчали все больше и больше. Сосенковцы упорно молчали и надеялись на одно, что «правда свое возьмет», что «их правое дело всему миру известно» и что «мир (вся волость), как один человек, станет за правое дело и их в обиду не даст».

Однако Яшка во имя торжества собственной «умственности» не переставал агитировать в пользу сделанного открытия. Еще бы! Он стал теперь «героем дня»... «Слышь ты, Яшка-то каков!.. Планты, брат, ровно землемер разбирает... Зубасты ноне молодые парни стали...» — в один голос твердила вся волость. Все же еще Яшка не мог составить себе большинства, не мог склонить на свою сторону колеблющуюся массу. Он чувствовал, что эту массу очень соблазняет лакомый и даровой кусок, но для массовой совести необходимо было найти хоть какое-нибудь, хоть фиктивное оправдание, за которое она могла бы ухватиться.

Вот этого-то оправдания долго не находил Яшка. А между тем наступала весна; вопрос обострялся. Яшка волновался и ругал мужиков еще пуще «дураками» и иными нелестными прозвищами. Но ругань помогала плохо. Как вдруг на Яшку снизошло вдохновение. Он объявил на миру, что готов самолично и за свой страх доказать, что это дело во всех частях «законное», что он от мира готов быть адвокатом, если бы пришлось даже до самого царя идти. «Вы то подумайте: ведь закон! — кричал он.— Что значит закон? Закон, значит — правда! Нам так кажется, а по закону другое выйдет... Потому, закон всему голова...» и т. д. «Коли по закону выйдет... так что ж!.. должно так и

быть надо», — заговорила колеблющаяся масса. Только этого Яшке и нужно было. Оправдательная фикция была найдена, и Яшка-Зуб повел решительные переговоры с сосенковцами. Понятно, что сосенковцы и слышать не хотели. И вот когда пришла пора сенокоса, борковцы под предводительством Яшки-Зуба явились на луг сосенковцев и принялись было, хотя еще очень нерешительно, косить. Но сосенковцы бросились на них и прогнали. Борковцы ушли, а Яшка тотчас же сочинил прошение, в котором «изъяснил», что крестьяне деревни Сосенок противозаконно, с орудием в руках, как-то: граблями и косами, усильственно изгнали крестьян деревни Борки с их собственной, по государеву закону приписанной им земли, а посему и проч.

Дело таким образом приняло надлежащее и законное течение, какие на этот раз существуют в благоустроенных государствах.

Прыжками и скачками, с проволочками и «подмазываниями» поскакало оно по бесконечной цепи разных административных и судебных инстанций, спотыкаясь о различные «статьи» и «разъяснения», цепляясь и выбиваясь из целой хитрой сети крючков, возвращаясь назад, потухая и снова возгораясь... Чтобы довести такое дело энергично и стойко до конца, нужно руководиться какими-нибудь чрезвычайно сильными мотивами. И надо всю честь энергии приписать всецело Яшке-Зубу, который неослабно, в течение нескольких лет, вел это дело. Сосенковцы разорились окончательно, борковцы залезли в долги, а Яшка все агитировал и агитировал с неоскудеваемой «энергией», поддерживаемый «молодым поколением» своей деревни. И из-за чего? Какой для него лично был здесь барыш? Единственно из-за поддержания репутации своей как «умственного мужика» и «умственности», вообще, как нового принципа, завоевавшего себе права гражданства в старозаветном складе жизни!.. Чтобы оценить силу этой энергии, с одной стороны, и значение «соблазна», какое имело это дело для всего нагорного мира, читателю нужно представить себе всю ту массу лишений, волнений, споров и пререканий, проволочек и начальственных посещений, которым в

течение нескольких лет подвергались сосенковцы и борковцы. Вначале, когда дело вращалось еще в сфере исключительно «крестьянского положения», когда шли сходы за сходами, сельские и волостные, наезжали старшины, становые, непременные члены и члены крестьянских по делам присутствий, когда все дело ограничивалось «опросом сведущих и старожилых людей», когда, таким образом, дело сводилось на апелляцию к общественной, «общенародной совести», дела борковцев, с Яшкой-Зубом во главе, шли плохо; доходило нередко до того, что несколько раз, пристыженный на общих сходах, борковский мир в лице большинства и стариков («Не стало у вас бога-то! Али вы память зажили, что не помните, как мы в старину жили?.. Стыдно бы вам, старикам, за молодыми-то гоняться! Умирать уж вам пора!» — так внушительно корили борковских стариков на сходках) — этот борковский мир сам вдруг отказывался от всяких претензий, от дьявольского искушения, мирился в кабаке с сосновским миром, клялся ему в вечной верности и братски взаимно лобызался. Усталое начальство, с непременными членами во главе, радовалось такому «полюбовному соглашению» и спокойно уезжало. Но Яшка-Зуб не дремал и продолжал действовать. Имея в виду, что «законный документ» полюбовным соглашением в кабаке не умалялся в своем значении, он переносил дело в новую инстанцию, и чрез несколько месяцев оно неожиданно вновь вспыхивало еще ярче прежнего. Учуяв, что пока дело вращается в той сфере, где в ходу апелляции к «общенародной совести», то «полюбовным соглашениям» и братским клятвам, заливаемым вином, конца не будет, Яшка старался перенести дело в инстанцию, где все апеллировало уже «к прямому и точному смыслу законов».

Тут дело пошло совсем иначе. Чем инстанция дальше отстояла от непосредственного сообщения с народом, тем опросы сведущих и старожилых людей становились ненужнее, тем всякая возможность полюбовных соглашений исключалась все больше и больше; чья-то другая, «сторонняя совесть» стала на место общественной совести и явилась вершительницею судеб; эта другая совесть уже неуклонно понесла с собою

соблазн. Едва борковцы приметили, что апелляция «к точному и прямому смыслу законов» явно покровительствовала Яшке-Зубу, как вдруг с каким-то чуть не ожесточением бросились все поголовно сносить в помощь Яшке-Зубу последние свои «животишки»... потому что «высшие инстанции» с межевыми чинами, прокуратурой и адвокатурой требовали целую уйму денег. И жертвы эти не остались безрезультатны. Была объявлена резолюция такого содержания: ввести во владение крестьян деревни Борки той частью луга, которою доселе, вопреки прямому и точному смыслу законов, владели и пользовались крестьяне деревни Сосенок, во владении каковых значится по плану специального размежевания лишь часть, находившаяся во владении деревни Борки. Взыскать с крестьян деревни Сосенок в пользу крестьян деревни Борки арендную сумму за 6 лет, со дня размежевания, за пользование ими чужою собственностью вопреки точному и прямому смыслу законов... На основании таких-то и таких-то статей все издержки по сему делу взыскать с крестьян деревни Сосенок, да с оных же... и проч., и проч., и проч.

Когда эта резолюция сделалась известной нагорному миру, этот мир единодушно крякнул и сказал: «Н-ну, паря, пошла битка в кон!» И точно: «умственность» сразу возросла на пятьдесят процентов, и взаимному поеданию открывалось широкое поле.

Согласитесь, что как Елизар Нагорный, так и я вместе с ним имели все основания, чтобы скорбеть, тем более что такие «события» не исключительны и не единичны: они из году в год растут и вширь и вглубь; они несут с собой какую-то новую «идею» (с Елизаром Нагорным мы теперь видим пока только одну идею — идею «разложения», за которой для нас не виднеется даже призрака «созидания»), и эта новая «идея» проникает собой все поры крестьянской жизни. Но чтобы понять должным образом всю глубину скорби Елизара Нагорного, читателю, хотя поверхностно, надо познакомиться с тем, что в нагорном миру «было да сплыло», а было в нагорном миру вот что.

Нагорный мир, составлявший плотную, связанную длинным рядом традиций общинную организацию,

общину-волость (не смешивайте только с административной современной волостью) из семи-восьми деревень, с общим количеством до тысячи душ одного мужского пола, владел в прежнее, крепостное время сообща полями, лугами, лесами, пожнями и пустошами; кроме общей «барской межи», отделявшей владения их помещика от соседних, угодья нагорного мира не знали никаких границ, никаких столбов и ям. Общины-сестры, связанные общим союзом, вместе поднимали барскую и собственную «тяготу» жизни, тянули за общий страх и риск. В распорядки их внутренней жизни никто не вмешивался; «прямой и точный смысл закона» им был неведом; народная «общинная совесть» могла жить рядом с «совестью барской», и если эта барская совесть «вносила соблазн», то только порывами, налетом; он мог быть, но при случайно благоприятных условиях мог и не быть. Эти благоприятные условия существования для нагорного мира дольше, чем у их соседей, и вот почему дольше. Нагорный мир апеллировал во всех своих распорядках исключительно к одной народной, общинной совести. Ежегодно, в известные сроки, сходился весь нагорный мир в одну из деревень (считавшуюся родоначальницей всех прочих, так как время заселения терялось во мраке веков) и здесь производил дележ и равнение своих общеволостных «угодьев». Сначала он разбивал себя на семь-восемь «вытей» по числу общин, равняя их по душам. По этим вытям уже разбивал «жеребьевкой» все угодья и леса, и луга, и даже поля (хотя последние в более продолжительные периоды переделов, от 3—5 лет). Все уравнивалось в «вытях» по самой строгой справедливости. Затем каждая выть, как самостоятельное целое, вела свои собственные равнения, сообща рубила и охраняла леса, косила луга, отправляла повинности. Эта же строгая общинная организация держалась и во всем; принцип равнения общей работы и взаимопомощи был строго проведен чрез всю общеволостную жизнь. На случай пожаров — все выти обязывались выбегать на пожарище, рубить лес, ставить избы погорельцам... и проч., и проч. Мы не будем здесь вдаваться в эти подробности... Об этом когда-нибудь мы еще будем говорить в своем месте.

Нас интересуют здесь собственно земельные отношения.

Когда наступало время передела полей, вся тысячедушная масса нагорного люда сходилась на большой холм и здесь у старинной, дряхлой часовеньки с облупившимся образом «старинного письма» выбирались вытчики, мерщики и целовальники, здесь вся толпа осенялась крестным знамением, призывая бога в свидетельство справедливости предстоящего дела, и бросались жеребья между вытями.

Вот другая картина. Настало время сенокоса. Уже не тысячедушная, а масса народа, числом до трех тысяч душ баб и мужиков, парней и девок, разряженная и гульливая, выступала на широкие пойменные луга, расстилавшиеся кругом, как степь. На этой зеленой площади все три тысячи душ жили одной жизнью, одной мыслью, одним чувством и биением сердец. Что за дело, что каждой из этих трех тысяч душ достанется из этого обширного луга всего $^1/_{3000}$ часть, величиною, может быть, в $^1/_2$ мужицкого лаптя... Может быть, это и плохо, это скудно, но зато он чувствовал себя «хозяином» и царем не одного этого несчастного пол-лаптя, а всей необозримой зеленой степи, по которой рассыпались три тысячи душ, его однообщинников!.. Вот где суть, вот где великое значение того «былого», о котором скорбит и ноет сердце Елизара Нагорного! И — увы — все это прошло, миновало, какой-то вихрь разрушения и разложения пронесся над общиной-волостью, и община-волость стала нахронизмом, раритетом, «сонным мечтанием» в воспоминаниях стариков... Откуда все сие? Этот вихрь «разложения» общины-волости явился, конечно, не без причины. Он подготовлялся в течение длинного предыдущего периода, незаметно, медленно, но неуклонно, и в период крепостного права необходимые элементы назрели окончательно. Когда наступила ликвидация барства, все ощетинилось, все напрягло внимание, все спешило вооружиться, чтобы «не упустить момента»...

В хаосе, поднятом первым порывом ветра, трудно было что-либо разобрать: слышались только стоны, мольбы, окрики, усмирения, а под этот шум все, что половчее, входило во вкус принципа «двух голов саха-

ру и трех фунтов чаю». Но когда туман несколько рассеялся, оказалось, что многое из того, что было, уже сплыло невозвратно. Старинная часовенка на холме среди полей оказалась разрушенною и поверженною вихрем, и никто уже не заботился реставрировать ее; зеленая, раздольная, как степь, пойма была растерзана на клочки, изрезана полосами и ремнями, истыкана межевыми столбами и изрыта ямами. На этих клочках и «ремнях» копошились, как одинокие шмелевые гнезда, кучи людей, не только уже не дышавшие той животворной поэзией «общего», всеми чувствуемого, всем понятного, которая некогда носилась над степью-поймой, но или совсем равнодушные одна к другой, или даже прямо враждебные. Даже самые эти кучки, эти шмелиные гнезда были уже не однообразны: одни оказались «собственниками», другие — «подворными», третьи — «четвертными», четвертые — «половинниками» и проч., и проч. Каждый лапоть, каждая пядень земли спешила отгородиться от своей соседки, спешила обставить себя столбом, ямой, значком «по положению». И этот «лапоть» уж больше не чувствовал себя частью некоего гармонического целого! И только теперь этот «лапоть» — едва прошел первый порыв увлечения «свободным трудом» на «собственном» клочке земли — почувствовал, как ему стало на этом месте душно, неуютно и неулежно... И Елизар Нагорный, родившийся еще тогда, когда эта степь-пойма дышала одной жизнью, одним «общим» простором, не мог не скорбеть теперь, когда приходил он на «собственный», отрезанный ему и обставленный межевыми столбами «лапоть»... Положим, этот лапоть не только все тот же «лапоть», что был и прежде, но он стал его «собственным», тогда как прежде был «барский», положим, это обязан он считать большим преимуществом. Но тем не менее вдруг ему стало душно на этом «собственном» лапте, нестерпимо душно и нестерпимо тесно, безотрадно стало «копаться» в пределах собственной загородки... То ли дело, когда он на этом (хотя и называвшемся «барским») лапте мог переноситься, как на ковре-самолете, с одного конца раскидистой поймы на другой и чувствовать, что он может на каждой точке ее ды-

шать полной и свободной грудью, общим дыханием с каждым своим собратом... Эта жажда простора и воздуха — поэзия. Говорят, что поэзия только свойственна тому, что исключительно привык человек считать своим, собственным, интимным: поэзия «своего» угла, хотя бы нищенского, «своего» личного труда, «своей» собственности, «своей» семьи... Но есть другая поэзия — поэзия «общего»... Вот этой-то поэзией некогда жил и дышал Елизар Нагорный.

Он имел основание скорбеть.

Но возвратимся к нашим приятелям, двум Елизарам.

Как-то около петрова дня я собрался навестить моего знакомого народного учителя, проживавшего в той же волости, к которой принадлежал и Елизар Луговой. Подъезжая к школе, я неожиданно встретил выходившего из нее, в сопровождении учителя, Елизара Лугового.

Елизар в новом суконном синем кафтане, причесанный, прибранный, вымытый, прощался с учителем «в руку»; во всей его фигуре замечалось сознание собственного достоинства, а в разговоре его с учителем светилось ясно если не покровительственное отношение, то желание стоять на равной ноге.

— Так уж будем в надежде,— протягивая учителю руку, говорил он.— Конечно, какое же наше образование... Ну, а все же понимаем. И ежели что насчет чего прочего понять можем...

— Конечно. Что ж!.. Я ничего не имею,— отвечал учитель.— Заявите ваше желание.

— Да-с, желали бы... и очень... Конечно, мы больше в практике сильны... Только вот в теории-то слабы. Кабы ежели нам этой теории...

Но тут разговор прервался: они заметили меня.

— А, и вы в наши места пожаловали! — весело приветствовал меня Елизар.— Очень рады... Посмотрите на нас... У нас здесь веселее, чем в лесу-то у нагорных... Поживете — увидите. Будьте добры, посетите нас... Пожалуйста... Не побрезгуйте нами... Мы очень

будем довольны, как значит умственный ежели человек. Мы всегда с радушием. Пожалуйста, хоть вместе с господином учителем. Хоть послезавтра... Праздник у нас, сенокос... Народу соберется видимо-невидимо. Полюбуетесь. Лошадку, может, желаете прислать за вами?

— Зачем же? Здесь близко... И пройтись приятно.

— Само собой-с... Так уж вы лучше с кануна пожалуйте. Ведь у нас по росе косят.

Мы с учителем согласились непременно навестить его. Елизар уехал в своей красивой желтой плетушке, в которую была заложена красивая, здоровая лошадь.

— Вот народец, ну, доложу я вам! — сказал с плохо сдерживаемым раздражением учитель.— Пожить бы вот вам здесь, так иначе стали бы расписывать... А может, и совсем бросили бы писать...

Но «желчные реплики» учителя были мне давно знакомы.

— Зачем он к вам приезжал? — спросил я, когда мы вошли в школу.

— А вы не замечаете здесь обнову?

— Нет, а что?

— А вот это? — И учитель показал мне новенькую, всю светящуюся лаком и самыми яркими, светлыми красками икону, в золотой раме, и пред нею позолоченную лампадку.

— А... Это кто же вам презентовал?

— А вот он самый... Видите ли, ему ужасно вдруг захотелось быть попечителем.

— Это похвально.

— Ничего похвального нет... Разве я не знаю, зачем он добивается этого попечительства? Ему не хочется служить по выборам, и не то что не хочется, а просто невыгодно. Он целую зиму и осень разъезжал по России с серпами и косами, ведет деятельную торговлю, и, понятно, первый же выбор его в старосты или в старшины, на три года, разорит все его операции вконец. Вы только бы посмотрели, как он от всех допытывается, освобождает ли попечительство от выборной повинности.

— И очень резонно, если только повинность,

притом очень тяжелая, и ничего больше. Отчего ж бы от нее и не откупиться, хотя бы иконой?

— Он, все одно, платил же раньше своим однодеревенцам ежегодно 15 рублей на водку, чтобы его не выбирали... И продолжал бы опаивать их, чем... Однако, извольте видеть, говорит, что лучше на школу буду давать, чем на водку... Скажите, пожалуйста, какой просвещенный человек!

— Отчего же вы думаете иначе? Почему вы не хотите поверить, что он искренно скорбит о том, что они только практики, что он сознает себя умственным человеком только в практических делах и что им, он чувствует, недостает теории... Отчего вы не хотите поверить, что он искренно уважает эту «теорию» (конечно, насколько он ее понимает) и хочет действительно оказать деревенским детям посильную помощь в приобретении ее.

— Я удивляюсь вам,— горячился учитель,— вы не хотите понять... Да нет!.. Нужно только пожить здесь несколько лет, потереться среди них плечо о плечо, чтобы достаточно оценить, что́ это за народ здесь! Это один ужас! Они поедом съели друг друга. Вы не поверите, сколько у них здесь между собою было тяжеб, драк, подходов один под другого, подвохов... А вы тут солидарность! Станет он вам думать о крестьянских ребятишках, чтобы помогать им посвящаться в «теорию»... Тут один принцип — homo homini lupus...

Понятно, я, как человек одинаковых «умственных настроений», вполне сочувствовал учителю, и если возражал ему, то единственно для того, чтобы из уст другого выслушать подтверждение своих тайных скорбей и помышлений.

На другой день, к вечеру, мы отправились в деревню Угор к Елизару Луговому. Еще далеко не доходя до деревни, мы могли слышать уже тот специфический звук, который сопровождает «отбивание» кос, накануне покосов, как будто целая армия гигантских кузнечиков неустанно, словно силясь перекричать друг друга, дребезжала по всей окрестности. Подвижной и деятельный Елизар, несмотря на то что был, по-видимому, занят какими-то приготовлениями, встретил нас очень любезно и с видимым удовольствием; он даже

извинился, что его застали «попросту», в одной рубахе, портах и старых валеных сапогах; через минуту он уже явился в жилетке и валеные сапоги сменил на кожаные. Во всем дворе его и в избе было заметно хлопотливое оживление: два-три мужика (принятые мною за наемных косцов и батраков) усердно отбивали косы, сыновья Елизара, подростки (кстати сказать, они учились у него в городском уездном училище), уделывали для баб грабли; сами бабы — старуха мать, жена и дочери суетились в избе, как будто пред светлым днем: топилась печка, месилось тесто, пеклись пироги, куженьки, варилось мясо... Хотя меня несколько и поразили такие усиленные приготовления, но я объяснил их просто хозяйственностью делового Елизара, у которого, конечно, на страду должно скопляться много батраков, или же он хотел устроить обычную у кулачков-землепашцев помочь с угощением. Вообще от порядков таких пресловутых деревень, как Угор, я не ждал ничего особенного: целые десятки лет судившиеся, грызшиеся друг с другом общинники-кулачки, очевидно, давно постарались обособиться друг от друга, отмежеваться, елико возможно, и каждый двор вел свое хозяйство и все свои дела в одиночку, на свой личный страх и ответственность, не обращаясь за помощью к соседям, не интересуясь ими и зато уже не рассчитывая и от них на эту помощь, иначе как за деньги. От той же «единственной картины», которою соблазнял нас Елизар Луговой, понятно, я не ждал ничего больше, как только «блезиру»: ряды разряженных баб с граблями, визгливые песни, поэтический простор луга, эффектно освещенного восходящим солнцем, мерные взмахи кос и т. п., что называется «природа», которую, как мужикам известно очень хорошо, так любили некогда «господа». Да и «блезир-то» этот скорее мог уцелеть у каких-нибудь старозаветных нагорных обитателей; а уж у таких практических людей, как луговые, какой же может быть «блезир»!

Но мне, к изумлению, пришлось увидать нечто большее, чем один «блезир».

Мы с учителем, конечно, проспали, и когда встали, хотя все же рано, то уже не нашли в деревне почти никого. Мы пошли по горе по направлению к лугу, и

когда выбрались на открытое место, пред нами, действительно, открылась «единственная картина».

Под горой расстилалась огромная полоса, приблизительно десятин до 100 в этом месте; ее окаймляла вдали, как серебряная рама, полукругом река; четвертая часть поймы уже была скошена и уложена правильными рядами «валов» сена. И на этой-то скошенной части теперь расположен был целый лагерь косцов. Ряды телег с выпряженными лошадьми тянулись прямой линией через весь луг.

Около возов собрались косцы, а бабы, рассыпавшись по всему лугу, ворошили сено. Народу было до 500 душ обоего пола. Меня изумило такое многолюдство, но учитель ничего не мог мне объяснить, кроме того, что этот луг считался знаменитым почти на всю половину губернии: снимаемое с него сено было великолепное. Действительно, редко можно встретить такую богатую траву: когда мы пошли по лугу, так положительно заплетались в густой и высокой траве: кашка и мышьяк (травы, считаемые крестьянами лучшим кормом) непрерывным ковром расстилались в обе стороны; на всем необозримом пространстве ни куста, ни болота, ни ямы. Великолепный это был луг, но зато луговые только им и дышали! Другой земли у них было мало, да и та плохая: летом — луг, а зима, осень и весна — бесконечные странствования «в отход», по всей необъятной России

От Финских хладных скал
До пламенной Колхиды.

Мы шли вдоль ряда телег, около которых, как пчелы, копошились и жужжали люди. Около каждой телеги сидело 5—6 мужиков; раскрасневшаяся хозяйка суетилась у больших корчаг и горшков, покрытых полушубками, чтобы не остыло «хлебово», привезенное из деревни еще с раннего утра. Хозяин носился со штофом водки и угощал сидевших с пирогами в руках. У одних телег уже хлебали горячее; сытный пар расстилался в свежем воздухе. Кое-где уже кончили обед и гости лежали врастяжку на брюхе тут же под телегами. Распряженные лошади ходили вблизи... Не-

смолкаемый, бессвязный говор носился над поймой, а вдали звенела песня, подхватываемая бабами. На меня пахнуло было той эпической величавостью, той поэзией «общего», о которой мы скорбели с Елизаром Нагорным. Но все же это был еще только один «блезир», и не знал еще я, какое содержание за ним скрывалось. Да и ожидать я не мог многого от этого «блезира», так как подобный «блезир», как отживающий остаток доброго старого времени, мне приходилось нередко наблюдать в самых разлагающихся общинах «хозяйственных мужиков», где уже, кроме настоящего «блезира», за этими «единственными картинами» ничего и не скрывалось... Мы отыскали наконец среди ряда телег и телегу наших хозяев.

— Ну, вот и вы,— сказал Елизар Луговой, обнося водкой своих гостей,— запоздали, дюже запоздали... А мы уж вот угощаемся... Вы бы пораньше, как вот весь народ на ногах был... Примерная картина!.. Да вот ужó, послезавтра уберем это сено, вторую четверть (луга) сносить будем... Тогда приходите... Еще ведь у нас долго эта прокламация пройдет...

Пятеро мужиков, сидевшие вокруг чашек со щами, которые накануне отбивали на задворках косы и которых я принял за батраков и наемных, оказались вовсе не батраками, а «гости».

Я вступил с ними и Елизаром в разговор, и вот что сообщили они мне о современных своих распорядках.

Пять соседних деревень, известных под общим названием Луговых, в числе которых была и деревня Угор, некогда принадлежали одному помещику; затем они были, по завещанию, приписаны в дар Троице-Сергиевской лавре и впоследствии в разряд так называемых экономических. Давно еще, еще до воли, они составляли одну общину-волость, владели сообща землей, переделяли ее между собой, но скоро эти стародавние порядки у них рухнули, и их общину-волость разрушил тот же вихрь «разложения», который продолжал разрушать и нагорную общину. У них процесс этого разложения совершился уже очень давно, благодаря, с одной стороны, непосредственному влиянию городской цивилизации, с другой — торгово-промыш-

ленному характеру населения. Все свои угодья они поделили и размежевались начисто; было тут много драк, доходивших до смертоубийства, были подкупы, подвохи. Понятно, что в этом взаимном поедании особенно выдающуюся роль играл их знаменитый луг. Чтобы получить лишнюю десятину его, не стояли ни за чем: судились со своими, судились с чужими, закашивали, уничтожали межевые знаки, заводили тяжбы, на «подмазывание» которых сбирали шляпами мирское серебро, как рассказывает предание, и сносили к городским чиновникам. Наконец, кое-как все уладилось, все разбилось на особенные участки, все размежевалось, разъединилось. В этой длинной процедуре тяжб, кляуз и драк пропали, по-видимому, последние признаки солидарности. Деревни окончательно отделились одна от другой. Всякий ведал и обрабатывал свой участок, как хотел, на свой личный страх. Многодушные семьи, конечно, еще управлялись кое-как с луговыми участками, но семьи средние и маломощные должны были нанимать на летние работы и особенно для уборки драгоценного сена, которая требовала спешной и дружной работы, работников со стороны. Но работники в той промышленной стороне с каждым годом все ценились дороже и дороже и становились притом все неисполнительнее... И вот лет 10—12 назад — по какому поводу и по чьему почину — предание не говорит — собрался весной сход всех четырех деревень, некогда бывших сестрами-общинами, и на этом сходе постановили, чтобы впредь все деревни, при обработке луга, взаимно помогали одна другой. Таким образом установился тот порядок «общей работы», который происходил на моих глазах. Весь луг был разбит на четыре участка. На общем сходе бросали жребий — чей участок косить прежде. Когда жребий был вынут известной деревней, назначался день косьбы. К этому дню все наличные работники трех остальных деревень обязаны явиться на участок деревни, вынувшей жребий. Затем луг, общим порядком передела, делился на карты, карты на десятки, десятки на доли по душам и дворам. Учет и распределение пришедших на помощь работников производились так: на каждую душу косившей в известный день

деревни выходило по три работника, по одному из каждой остальных деревень. Так, если во дворе три души, то являлись девять работников на помочь. А так как каждая из луговых деревень имела 100—150 душ, то и выходило на покос за раз от 300—400 душ. Помогавшие работники распределялись по дворам «помилу», «кто кому люб», по родству, по знакомству (см. «Деревенские будни», порядок «обирания вытями»). Косившая деревня обязана была угощать пришедших на помочь работников. После косьбы три деревни помогали четвертой убирать сено и свозить в стоги. Управившись окончательно с первым участком, переходили ко второму, и тогда первая деревня уже посылала своих работников на помочь к тем дворам второй деревни, которые помогали ей, и в том количестве, в каком эти работники были на ее покосе, и т. д.

Если погода благоприятствовала, за одну неделю убиралась вся огромная пойма.

Замечательно, что такого рода порядка общей обработки раньше у луговых крестьян не существовало, и старики не помнят, чтобы у них было когда-нибудь что-либо подобное, что это явление совершенно новое, самобытное. Объясняли его старики тем, что нынче «народ стал хитрее». О причинах же, побудивших ввести такой порядок дел, крестьяне не могли мне сказать определенно, но предполагали, что оттого это так стало, что рабочие руки стали дороги, взять их негде, приходилось нанимать из своих же деревень. «Значит, сегодня я тебя нанял, деньги тебе заплатил, а завтра ты меня к себе нанимаешь и те же деньги мне назад отдаешь!.. Так чего же тут канитель-то тянуть — из кармана в карман деньги перекладывать! Значит, лучше попросту: ты ко мне пришел помочь, а назавтра я к тебе приду... Вот и вышел такой порядок!..» — объясняли мне мужики.

— Надо правду сказать,— заключил с своей обычной добродушной насмешкой Елизар Луговой,— туговаты были насчет сообразительности наши старики... Вот хоть бы взять теперь эти самые луга... Сколько теперь на эти столбы да ямы деньжищев засажено!.. Сколько греха было... А теперь, я так думаю, вот не-

много погодя и совсем эти столбы ни к чему будут... Хоть вон повытаскивай все!.. Вот хоть бы теперь взять у ваших нагорных: та же канитель идет, что у нас была...

Возвращаясь с учителем, я спросил его: «Как вы думаете насчет этих новых «порядков»? Мне кажется, вы не совсем справедливы, когда говорите об отсутствии у здешнего народа солидарности и понимания общих интересов».

— Какая же это солидарность? Просто выгода...— отвечал он, с неудовольствием пожав плечами.

— Выгода? Конечно, выгода... но выгода для всех...

— Вы неисправимый оптимист,— заметил он мне с улыбкой.

— Пусть так: «я верю в народ»...

Приехав обратно к Елизару Нагорному, я передал ему, что видел.

— Знаю!.. Они народ хитрый... У них тоже смотри в оба... Они глаза-то отведут как раз...

— Отчего бы и вам так не сделать?

— Нам нельзя... Мы народ старинный, смирный... Мы вот жили по правде, а теперь тронулось все, ну, уж тут все одно не удержать... Может, вот и наши ребята хитрее нас будут!.. Кто-е знает!.. А я так думаю, что, пока правда не объявится, хорошему не быть...

Но уж не начинает ли хоть слабым мерцанием объявляться возможность этой правды?

Кстати, этот знаменитый луг, который дал мне случай подсмотреть единственную в своем роде картину, зовется в народе Красный куст[1].

---

[1] «Красный куст» находится во Владимирской губернии и уезде, в Воршинской волости, Троицкой вотчины, деревень Колокша, Угор, Малетево и других.

Триумф художника

Современный случай

I

Небольшая и бедная студия художника N находилась на одной из линий Васильевского острова, в Петербурге, в четвертом этаже нового громадного дома. В осенний вечер 18... года студия была слабо освещена стенной керосиновой лампой. Сам художник N, только что вернувшийся с выставки, на которую он недавно выставил свою картину,— нервно ходил из угла в угол, то той, то другой рукой пощипывая бороду. Он был человек уже полысевший, лет 35—38, с крупными, но симпатичными чертами лица, на котором резко выступал тот особый отпечаток, который кладет вечная смесь докучающих житейских забот с напряженной работой и редкими минутами высокого вдохновения. Глубокие складки какой-то сердитой и хмурой, но мягкой, робкой серьезности бороздили его лоб, а тот же сердито-робкий взгляд серых глаз выдавал все бессилие человека перед удручающими парадоксами жизни. Очевидно, они были ему хорошо знакомы. Он продолжал ходить из угла в угол, а сидевшая в углу его жена — худая и бледная молодая женщина — с пугливым состраданием следила за ним. Она, видимо, несколько раз порывалась что-то сказать мужу, но взглядывала на него — и не решалась. Наконец слова эти сорвались с ее губ.

— Ты не обижайся, друг мой,— проговорила она робко и запинаясь,— я опять повторю тебе... ты слишком высоко поставил цену... У нас, теперь, когда вкусы публики такие странные...

— Лида! Лида! — вскрикнул муж, останавливаясь перед ней и покачивая сокрушенно головой.

— Ах, боже мой! — с грустью и торопливо перебила его жена.— Неужели до сих пор ты не можешь понять, что я не хочу тебя обидеть?.. Ведь я понимаю, знаю все... чего тебе это стоило... Но я истерзалась, глядя на тебя!.. Вот уже полгода, как картина на выставке, и... у нас уже все заложено, кредиторы не дают покоя тебе... Дети... Ведь ты не можешь забыться, ты сам мучаешься...

— Лида! — заговорил муж.— Ты безжалостна... Три тысячи, только три тысячи — за три года упорного труда, страстного напряжения... Ты знаешь, я в нее положил всего себя... Мне уж скоро стукнет сорок. Надо же когда-нибудь было сделать что-либо капитальное... Бог весть,— сделаю ли я что-нибудь еще лучшее!.. Три года! Ты знаешь, мы перебивались кое-как, и ты, и дети — всем жертвовали... У нас долги, у нас все прожито... И за все это — три тысячи! Только три тысячи — и ты говорищь: много!.. Да пойми ты, радость моя, если мы получим эти три тысячи, то послезавтра... послезавтра у нас уже не будет сотни рублей, а мы успеем покрыть едва половину долгов!.. О, Лида, если б я взял за нее даже пять тысяч с них,— у меня не дрогнула бы рука!.. Притом, Лида, мне как-то все еще жалко с ней расставаться,— с особой нежностью заговорил художник, садясь рядом с женой и пожимая ей руку, словно умоляя о чем-то,— на выставке — она еще моя, ее видят еще все. Я каждый день бегаю смотреть... Мне так дорога каждая деталь... Ведь на каждую эту деталь потрачено столько муки, восторга, чувства и мысли... И все это продать, продать свое дитя, чтобы уже никогда не видать его больше!..

Жена тихо и молча, вместо ответа, пожала, в свою очередь, мужу руку и, вздохнув, вышла в соседнюю комнату на плач проснувшегося ребенка. Художник долго сидел молча, в том же положении, и смотрел в передний угол, на пустой мольберт, на котором некогда так долго стояла его любимая картина. И вот деталь за деталью вставали в его воображении: и лик Христа, строгий и величественный, но вместе полный неизъяснимой нежности к собравшейся вокруг него группе матерей с детьми; целый цветник детских головок, разработанных в самом тщательном, строгом и высоком

стиле, был разбросан по полотну. О, какая прелесть были эти головки, кудрявые, розовые, нежные, с ангельски-наивными и доверчивыми личиками. И эти же матери — как они строго выдержаны, как полны воплощением здоровой, нормальной жизни под ярким небом Палестины. Казалось, чувствуешь их чувствами, мыслишь их мыслями, ощущаешь всю полноту внутреннего материнского чувства гордости и довольства, которыми были они охвачены. Эта идея — соединить в одном моменте полноту здоровой реальной жизни с высочайшим идеализмом — особенно занимала художника... И ему казалось, что он овладел ею... Хотя масса зрителей как будто плохо понимала ее внутренний смысл, не приходила от нее в восторг, но строгие судьи оценили по достоинству ее выдержанный классический стиль,— и художник верил, что таких судей будет все больше и больше, что, наконец, все поймут и по достоинству оценят его добросовестность, глубину мысли и чувства, вложенных в картину. Он уже увлекся мечтой, что его картина красуется среди произведений великих мастеров, в громадной национальной галерее, равно доступной всем, и он сам не раз-другой забегает взглянуть на свое детище и улыбнуться тихой, нежной улыбкой отца, в душе которого проснулись все пережитые впечатления... Он рад, он в восторге, он чувствует, как из этих тысячных масс, проходящих ежегодно через галереи,— то в той, то в другой восприимчивой душе его картина вызовет чувство высокого эстетического наслаждения.

Он мечтал уже целый час, при сумрачном свете лампы, весь охваченный тем тихим сладким чувством удовлетворенного мастера, которое иногда, но в очень-очень редкие минуты, посылает судьба исстрадавшемуся в сомнениях художнику.

Раздался звонок.

— Можно видеть господина художника? — спросил кто-то в передней.

— Можно. Входите.

И в студию вошли два господина: один пожилой, солидный, но чувствующий себя как бы не в своем месте; другой — помоложе, изящный и вертлявый, очевидно, состоящий при первом в качестве атташе. Оба

со сладкими и располагающими улыбками протянули руки к художнику, расшаркиваясь и сыпля комплиментами.

— Ваша картина... Изумительная техника... Единодушный отзыв всех просвещенных ценителей... Притом заметны... глубина и строгость стиля... Вот-с Петр Иванович,— говорил младший, показывая на старшего,— известный коммерсант из Р., обратился ко мне... Они отделывают себе дом и желали бы придать возможное изящество... Развитие вкуса уже сказывается везде... даже в глухих углах отечества... Поощрение истинных талантов... Я, конечно, счел своим долгом указать...

— Главное дело... сюжет... Одобряю... вполне... Хорошо, очень хорошо!.. Может быть, не откажете уступить... Вполне бы украсило ваше произведение мою... избу-с!.. Могу сказать, вполне... сделали бы честь... Помещение будет хорошее-с, ручаюсь... Вполне, думаю, достойное,— говорил старший.

— Я согласен,— сурово ответил художник, пощипывая бороду.

— Не уступите — с тысчонку?

— Не могу.

— Ну, может статься, рубликов 500 скинете? Я бы рамку посоответственнее на свой счет приобрел...

— Хорошо,— резко и неожиданно ответил художник и в волнении раза два прошелся по комнате.

— Позвольте просить... пожаловать к нам,— приглашал старший,— вы уж сами сопроводите картинку... Мы все честь честью... примем вас, как подобает... Будьте в надежде... Ценить умеем... Вы уж сами все установите... Посмотрите, как вам будет удобнее... Пожалуйста... Будет для нас как бы торжество... А вот и задаточек, и на дорогу.

Коммерсант положил деньги на стол, и, рассыпаясь в комплиментах, посетители вышли.

— Лида! Конец восторгам и сомнениям, мечтам и терзаньям! — крикнул художник.— Вот все, что требовалось доказать,— прибавил он, подавая ей пачку ассигнаций.— А теперь будем натягивать новое полотно.

— Зачем же так мрачно смотреть, друг мой,— за-

метила жена,— твое создание ты продал не на сожжение... Оно будет жить в чувствах тех, которые будут им наслаждаться... А притом, посмотри, еще какой тебя ожидает триумф в Р.!

— Что ж, возьмем хотя эту небольшую долю радости! — воскликнул художник.— Лида, пошлем за бутылкой вина и повеселимся хоть один час! Мы и дети по крайней мере сейчас будем сыты... Неужели что-нибудь отравит нам даже эту ничтожную радость?

II

Большая картина, в сопровождении самого мастера, прибыла с вечерним поездом в город Р. Роскошное, недавно оконченное палаццо провинциального коммерсанта уже готовилось встретить давно ожидавшегося гостя. Осенние, пронизывающие и сырые сумерки едва успели спуститься на город, а дом коммерсанта сиял уже, весь залитый огнями, как и стоявшее с ним рядом громадное здание фабрики, неистово и сердито как-то гудевшее на весь город. Скромный художник добрался наконец до богатого подъезда со своим дорогим детищем. Четыре гайдука быстро подхватили последнее и бережно понесли вверх по бронзированной лестнице. Встреченный у самого входа гостеприимным и радушным хозяином, художник, несколько ободренный, вступил в роскошное палаццо вслед за своим творением. Он в душе детски порадовался, что его детищу судьба готовила такую обстановку. На верхней площадке лестницы картина была распакована из ящика и торжественно пронесена через ряд роскошно меблированных покоев, при единодушных и торжественных овациях целой толпы гостей, в большую залу, где было уже приготовлено для нее место. Двери за картиной затворились,— и в святилище остались пока только гайдуки, хозяин и сам художник. Прошел час, пока наконец картина была повешена настоящим образом, при надлежащем освещении, и утомленный художник проведен хозяином в назначенную для него комнату, чтобы приготовиться к обеду. Большая гостиная уже была полна городской знатью, когда вошел художник, встреченный рукоплесканиями. Наконец,

по знаку хозяина растворились двери в залу, и нетерпеливая разряженная толпа двинулась в нее — и вдруг в изумлении остановилась, как будто замерла на минуту, и затем медленно стала подвигаться к картине... Нет, это не была даже картина — это была группа живых женщин и детей, как будто перенесенных из жаркой Палестины в глухой провинциальный русский городишко. Яркий восточный колорит так и выпирал из золотой рамки и, казалось, совсем поглотил собой пеструю роскошь провинциального палаццо. Зноем полуденного солнца, казалось, жгло всю залу, пальмы как будто распространяли благоухание; дети — настоящие херувимчики,— казалось, вот сейчас выскользнут из рук матерей и бросятся бегать по блестящему, навощенному полу залы... Купчихи умилялись, не зная, можно ли им креститься или нет, купеческие дочки ахали и восторгались, купцы сановито поглаживали бороды и улыбались от удовольствия, и даже сам исправник не нашел, в чем бы можно было упрекнуть картину. Изумление и восторг были полные. И когда раздалось приглашение к столу, единодушные овации посыпались на художника. И земцы, и юристы, и учителя, и представители духовного ведомства — все сливались в единодушном выражении одобрения художнику и благодарности хозяину за доставленное им удовольствие. Обед был только еще более шумным продолжением триумфа. Тостам не было конца. Когда же раздалось хлопанье шампанского,— все встали и громкий крик «ура!» загудел по всему дому... Хозяин до того был польщен таким успехом своей покупки, что, отведя в сторону художника, попросил позволения расцеловать его и тут же вручил ему всю сумму сполна, даже не кладя в счет задаток...

Взволнованный и утомленный, художник, машинально сжимая в руке ассигнации, вышел в соседнюю пустую комнату. Здесь он прислонился к косяку и стал смотреть в окно. Черная, сумрачная, осенняя мгла висела там, за окном,— и только какие-то странные огоньки мигали, двигались, потухали на одном определенном пространстве вдали. Словно блуждающие огни на кладбище, перебегали они с места на место, фантастические, причудливые,— а за ними, так же фантасти-

чески, то вырастая до гигантских размеров, то сокращаясь и совсем исчезая, двигались какие-то тени.

Долго и пристально всматривался художник в эту странную картину и не мог оторваться от нее.

Обеспокоенный его отсутствием, к нему подошел хозяин.

— А! Вы здесь...

— Скажите, что это такое? Я никак не могу догадаться!.. У вас там заколдованное место,— сказал художник,— это не кладбище?

— Это-с? Это мои огороды, там, за фабрикой.

— Что же это за огни?

— А это-с ребячья смена...

— Что это значит?

— Ребячья смена... Ребятишки на фабрике сменились... На отдых, значит,— смену кончили... Чем бы вот отдыхать идти, спать,— а они, вон плуты, на огороды забираются... Это уж каждую осень... Как снимем огурцы, капусту, картофель выроешь, репу,— так вот они после того целый месяц еще в грядах копаются: кочерыжки едят, картофель откапывают, репу... Много находят... Ну, да я допущаю... Пускай... Пойдемте же, пойдемте, б-атюшка, к нам туда... Вы уж нам расскажите,— желаем послушать,— откуда вы это для своей-то картины все взяли, чтобы так, то есть натурально, все изобразить?

— Позвольте мне выйти на четверть часа... У меня голова идет кругом,— сказал художник,— я пройдусь на свежий воздух...

— Хорошо-с, хорошо-с!..

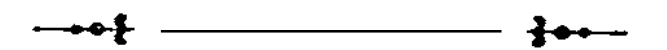
Художник прошел через шумную залу, где весело раздавались смех, говор и клики подкутивших гостей. Вино не переставало литься в бокалы; музыканты разыгрывали туш; кто-то продолжал кричать «ура!» и «браво!» Кто-то произносил спич... И долго этот гул еще слышался художником, хотя он уже давно завернул за угол дома. Он прислонился к углу и смотрел опять в ту сторону, где мелькали огни... Он сначала долго стоял и всматривался в них,— и вдруг крупным шагом пошел по направлению к ним. Спотыкаясь во тьме, попадая в канавы и ямы, почти ощупью, шел он по замерзавшей земле, увлекаемый какой-то непо-

бедимой силой... Он видел, как огоньки становились все реже и реже, как они пропадали один за другим... Вот их осталось не больше пяти, мигавших вдали один от другого, в разных направлениях. Один такой огонек шел прямо на него и, чуть не столкнувшись с ним, вдруг быстро и в испуге побежал в сторону. Он мог только заметить, что это был фабричный мальчик — рабочий, с деревянным фонарем в одной руке и с шапкой с набранным картофелем — в другой... Художник шел дальше на один огонек, горевший все время неподвижно, на одном месте.

Вот он наконец подошел к нему. Еще издали ветер донес до него острый свежий запах дыма. То была разложена в борозде теплина, в которой виднелась кучка уже обуглившегося картофеля. Теплинка медленно потухала, потому что два мальчика, бывшие около нее, спали прямо на земле; один был в стареньком рваном полушубке, другой в шугайчике. Мальчик в полушубке лежал прямо на груди, а мальчик в куцавейке заснул, облокотившись на его спину. Измятый, свалившийся с чьей-то головы, с изорванным козырьком картуз валялся тут же... Мальчик в казакине, должно быть, услыхав шелест шагов, проснулся было, взглянул через полуоткрытые веки на теплину и, уронив голову на грудь, заснул опять... Холодный осенний ветер рвал его беловатые волосы, срывал шляпу с головы художника, пробирался холодной струей под пальто и раздувал потрескивавшую теплинку. Вдали виднелись черный столб высокой фабричной трубы с красным снопом пламени, как-то зловеще-ярко горевшим во тьме, освещенные ряды фабричных окон и весело лившийся свет из окон хозяйского дома.

С тех пор художника уже не видали ни в Р., ни в доме, где была его картина, которую на другой же день купец завесил покрывалом. Через год после того рассказывали в Петербурге, в кружках художников, о странном случае внезапного падения таланта, подававшего большие надежды, и приводили в пример художника N, который, после удачного дебюта, уже не мог написать и докончить ни одной картины. Он перебивался с семьей тем, что успевал зарабатывать рисованием дешевых портретов да иллюминовкой фотогра-

фических карточек. Через три года он стал совсем стариком, осунулся, сделался нелюдим, избегал своих товарищей, не имел связей ни с каким обществом и знал одну свою семью. Только часто целыми днями и вечерами он долго бродил по фабричным окрестностям или в глуши соседних деревень, каким-то странным, блуждающим взглядом озирая проходившую перед ним трудовую жизнь. Встречавшиеся с ним в это время говорили, что он, несомненно, накануне роковой психической болезни, другие предполагали, что в его художнической душе совершается глубокий мучительный перелом, из которого он не находит выхода. В среде его близких были уверены, что он так мучительно искал нового творческого воплощения Христа... Христа для «малых сих», и когда он найдет это, — он снова воскреснет для жизни и искусства.



Город рабочих

I

— А ведь здесь, действительно, хорошо у вас! Как хотите, а я начинаю не доверять вам. Судя по тому, как вы расписывали свою «милую родину», я не ожидал вступить в нее в таком хорошем настроении,— сказал я одному из своих спутников, хмурому, насупившемуся черноватому молодому человеку.

Мы переправлялись на тяжелом дощанике через большую реку.

— Да, природа — ничего, жить можно. А вот посмотрим, что-то вы скажете после, когда увидите нашего «царя природы»,— сурово отвечал мой сосед.

— Конечно, если вы будете смотреть на все глазами этого буквоеда, насквозь прогноенного бурсой, то лучше вам вернуться назад,— нетерпеливо перебил другой мой спутник, белокурый молодчина, с русою, только что пробивающейся бородкой по широкому подбородку.— Я уверен, что, вместо этих берегов, которые еще вас, слава богу, восхищают, он видит одно бесконечное кладбище, уставленное крестами; вместо вон тех живых людей, которые там копошатся в горе, в алебастровых копях, он видит сухие, заскорузлые формулы и производит над ними какие-нибудь отвлеченные вычисления. Нет, право, если вы так же... право, лучше не ездите, лучше вернитесь назад, потому что все, что вы после скажете, будет не то.

Хмурый молодой человек только что-то промычал в ответ на эту реплику, а я улыбнулся.

Нас было трое, исключая перевозчика, который мало интересовался нами: я, хмурый брюнет, готовивший-ся сдавать экзамен на кандидата, и кудрявый коренас-

тый мужчина, когда-то сбежавший с последних курсов бурсы в народные учителя. Первый, Попов, был сын священника; второй, Полянкин, сын крестьянина.

Так как эти контры и пререкания между моими спутниками, органически, казалось, им присущие, были мне давно знакомы, то я мог не особенно тревожиться ими и продолжать любоваться прелестью летнего вечера на реке.

Заходящее солнце вкось обливало реку целым потоком ласкающих лучей, которые, ударяясь в правый берег, постоянно играли на нем разнообразными переливами света и теней: вот сейчас заросшее дубняком ущелье в скалистом береге казалось погруженным во мрак, темное, дикое, а через минуту все оно сверкало яркой зеленью с золотистым отливом, все радостное, веселое, светлое. Мы огибали крутой выступ, когда Полянкин сказал мне:

— Ну, приготовьтесь... Вот сейчас вы увидите нечто такое, что уж, конечно, не думали встретить на какой-нибудь речонке в Великороссии. Вам, конечно, по меньшей мере нужен Кавказ или Швейцария. Тогда ваше восхищение не будет иметь границ только потому, что все это давно воспето в стихах и прозе... Ну-с, что же, плохо? — волновался мой экспансивный друг, переводя глазами с расстилавшейся перед нами изумительно прекрасной дали на мое лицо.

— Да, хорошо. Ведь уж я сказал, что хорошо,— отвечал я.

— Сказал! Но ведь как сказать... Этого мало. Надо почувствовать всем сердцем. Надо... надо полюбить! Вот когда не будет лжи,— говорил он, очевидно, адресуя свои замечания к нашему хмурому спутнику.— Впрочем, и то сказать, *как* полюбить!

Полянкин совсем расходился: сильный, коренастый, но живой, впечатлительный, он махал руками, двигая взад и вперед ногами и туловищем, снимал фуражку и ерошил волосы; лодка постоянно рисковала хлебнуть воды. Но Попов хладнокровно от времени до времени откашливался с недовольным мычанием.

— А вот и *вечевой град* наш,— проговорил он с очевидной иронией в голосе.— Рекомендую полюбо-

ваться. Некоторым образом идеал, уже воплощенный в действительности.

— Ну что же? Конечно, вечевой,— нетерпеливо опять перебил Полянкин,— но это, прежде всего, город рабочих.

— Поучительное явление. Есть над чем подумать,— продолжал Попов.

— Вот это верно, что поучиться есть чему, потому что и в малой капле вод отражается небо. Я против этого ни слова. Но только ведь не всякому внуку на пользу наука,— заметил Полянкин.

Пока мои приятели перекорялись, я в изумлении смотрел на открывшуюся передо мной картину. Это было нечто очень своеобразное: направо лежала бесконечная зеленая пойма, по краям которой оазисами мелькали или группы деревьев, или белые церкви, или ближе к реке кучки изб на высоких столбах, вроде свайных построек,— это были сельские конторы или лесопилки. Весь плоский песчаный берег уложен смолистыми плотами. Влево, напротив, почти на четверть версты, тянулась высокая и совершенно отвесная скалистая стена, в которую бились тихие волны и в которую теперь ударяли косые солнечные лучи. Вся стена была вдоль прорезана разноцветными поясами пластов: белый алебастровый слой сменялся красной глиной, желтым песком. Контраст этой стены с зеленой равниной поймы и серебряною далью реки был поразителен и оригинален.

И вот наверху этой стены был перед нами город рабочих: кресты высоких причудливых колоколен и церквей, стены каменных домов и маленьких лачуг, лепившихся по скатам холмов, зеленая листва садов — все это ярко искрилось золотистым светом от закатывавшегося за поймой солнца.

Внизу, там, где отвесную стену берега прерывает глубокая ложбина оврага, составляющая единственный путь из города к реке, стоял у пристани пароход, запасавшийся дровами.

Мы пристали около этого же места и стали подниматься в город по избитой, расщепавшейся бревенчатой мостовой.

II

Город рабочих, как называл наш спутник — «сын народа», собственно не был город: это было большое промышленное село, с десятитысячным рабочим населением, с обычным крестьянским самоуправлением, и представляло собою скорее сконцентрированную в одно селение целую волость, чем село; притом же от обычного представления о селе его отличало то, что среди этих 10 тысяч рабочих не было ни одного занимавшегося земледелием, хотя все село получило обыкновенный надел, «по душам», впрочем, в очень незначительном размере. Издавна, чуть не столетие назад, здешний рабочий сделался кустарем-ремесленником стальных изделий, и так как основная и самая большая часть населения состояла именно из этих самостоятельных кустарей-рабочих, равноправных граждан в своем населении, то мы и оставим за этим последним название города рабочих.

Да, это был, действительно, город рабочих. Едва мы выбрались из ложбины оврага и поднялись на гору, как нас сразу охватила та особая характерная атмосфера, которая свойственна мастерской: визжанье напилков, стук молотков, лязганье железных полос, шипенье колес у станков. Это был звенящий шум целой армии гигантских кузнечиков, и, что изумительнее всего, этот гул точно так же исходил неведомо откуда: вы слышали его справа, слева, сзади, из густой чащи зелени. Мы переходили целый ряд часто пересекающихся пыльных переулков, замечательно похожих одни на другие: по обе стороны стояли трехоконные, с тесовыми крышами, иногда двухэтажные, на городской манер, домики, с обязательными почти занавесками (белыми или разноцветными на окнах), с горшками гераней и фуксий, с длинными заборами, оберегавшими зеленые садики, из густой чащи которых, казалось, и неслись эти сплошные звенящие звуки. Это и были дома кустарей. В каждом из них, в нижних этажах или в задних пристройках, были собственные мастерские, в которых и работала вся семья хозяина. Мы почти никого не встретили на улицах в этот час, разве иногда пожилая женщнна в

ситцевом домашнем платье, с озабоченным лицом, выглянет в ворота с ведром в руках, взглянет на солнце и скроется опять, или вдруг выскочит прямо из окошка мастерской чумазый, закоптелый, с ремешком на голове, с открытым воротом на черной груди мальчуган лет 7—8, швырнет мимоходом камнем в стаю воробьев, пронесется, подпрыгивая на одну ногу, мимо нас и через две минуты уже скачет назад от соседа с напилком или молотком, да изредка лениво потягивавшиеся псы у ворот хрипло тявкали на нас, прищуривая глаза. Было как-то особенно торжественно-пустынно в этой мирной трудовой обители. Кругом не виднелось пока ни высоких фабричных труб с гнетущими корпусами-острогами, со зловещим свистом — этою эмблемой каторжного, подневольного труда. Это была окраина — часть города рабочих, населенная коренным кустарем-хозяином.

— А вот и наша х р а м и н а,— сказал Полянкин.— Вон, вишь ты, и батька как раз проветриваться вышел.

Влево, у двухэтажного трехоконного домика, с зелеными ставнями и большим густоветвистым вязом сзади, показалась высокая, коренастая, голая по самый пояс, в одних камлотовых шароварах, бородатая и лысая фигура. Уперев одну руку колесом в бок, а другой заслоняя от солнца глаза, она вглядывалась пристально в нас.

— Здравствуй,— сказал Полянкин отцу, подходя к нему и пожимая его мускулистую широкую ладонь.— Вот гостей веду...

— Добре, добре,— ласково говорил старик, по очереди каждому из нас подавая руку, предварительно вытерев ее о грязный суровый фартук.— Милости просим. Кстати, главное дело... Мы уже зашабашить хотим. Разве вот еще полчасика, пока мать самовар становит. Проходите-с в п а р а д н у ю, пожалуйста. Меня уж извините, что я, значит, как бы совсем без мундира,— прибавил он, хлопая широкой ладонью по здоровой, мускулистой голой груди.— Что сделаешь, обиход рабочий... Мы так-то все, не то что летом, а и зимой щеголяем... Пожалуйте-с.

Прежде чем идти в «парадную», мы, однако, сначала спустились в мастерскую. В ней усиленно работало

несколько человек, больших и малых, очевидно торопясь поскорее закончить дневной урок. Мужчины почти все были голы по пояс, как и хозяин; ребятишки всех возрастов были чумазы и черны, как галчата, и сквозь копоть на их лицах бойко сверкали только синеватые белки глаз. Две молодые женщины и одна девушка-подросток работали в стороне, покрывая сделанные вещи олифой. Мастерская исключительно делала замки, и притом замки не больше как двух-трех типов, самых дешевых и обиходных. Все части замка делались «от руки»: кто выпиливал дужки, кто стенки, кто сверлил ключи. Таких частей, наделанных за неделю, лежали целые кучи около каждого мастера. Легко можно себе представить, как быстро должна была готовиться каждая часть и сколько их нужно было сделать, если сказать, что готовый такой замок покупается в лавках за 5—10 коп. (а ведь замок, как бы он прост ни был, все же механизм сложный), кустарь же сбывает их скупщикам за 15—20 коп. дюжину. Эти цифры могут служить типичным указателем всех вообще экономических норм, установившихся в «городе рабочих»: они укажут, сколько должен сработать, например, замков кустарь в день, чтобы пропитать семью (в периоды промышленных кризисов, когда цены падают еще ниже, часто семья всю неделю работает с раннего утра до глубокой ночи, едва зарабатывая пропитание), как велика должна быть скорость рук в приготовлении каждой части без всякой почти помощи машин.

Из рабочих мужчин один был старший сын хозяина, уже женатый, другой — брат, холостой, двое — рабочие по найму; из женщин одна была жена сына, другая вдова после умершего брата; мелкота же — все были хозяйские дети. Молодой Полянкин наскоро и весело поздоровался со всеми и стал нам показывать разные способы приготовления замков. Он по очереди становился на место того или другого из мастеров, чтобы показать, что он не забыл ни одной отрасли родовой работы.

Он оказался, действительно, мастером на все руки, что было очевидно из молчаливо поощрительных улыбок мастеров, которые передавали ему инструмент.

— Погодите, братцы, только еще денька три: вздохну малость после экзаменов и тогда уж заправски стану с вами,— сказал Полянкин и перекрестился в подтверждение своих слов,— вот, ей-богу же, не надую!.. То есть так, братцы, хочется руками поработать... просто до зуда. Всю зиму ни за что не брался, разве что дрова рубил.

— Поди, как отец тогда тебя расхвалит. Ноне же обороты-то у нас не хвали,— отвечали мастера.

— Верно, встану. На все лето. Только вот со своими господами немножечко пожуирую по энтой части,— иронически подмигнул он на нас, повертев пальцем около лба.

— Ну, проходите сюда, Павел. Не смущайте там народ-то! — крикнул сверху хозяин.

Мы вошли в «парадную». Старик уж «зашабашил по случаю гостей», как заявил он, умылся и надел старенький камлотовый пиджак. В парадной половине, действительно, все было «парадно»: на окнах коленкоровые занавески и горшки с цветами; по стенам старенькие плетеные стулья; столик, покрытый вязаной скатертью, комод с посудой, часы с кукушкой, керосиновая лампа с абажуром из папиросной бумаги и, наконец, в углу кровать за большим ситцевым пологом со сборками. Все чистенько, простенько, по-мещански и по-домостроевски. По-домостроевски, сановито и степенно строго держал себя и старик; по-домостроевски нес он звание хозяина, отца, мужа и владыки очага, сурово покрикивая на свою жену, сухую, пожилую и добрую женщину, хлопотавшую около самовара и все конфузившуюся незнакомых людей, несмотря на свои пятьдесят лет; поглощенная хлопотами, она даже и с сыном не нашла времени или боялась «при других» поздороваться; сын, впрочем, скоро опять убежал вниз, оставив нас со стариком.

— Видели наше поселенье, проходили? — спросил старик, начиная с великим удовольствием всхлебывать с блюдечка чай.

— Нет, еще мало, только с реки вид хорош.

— Хорош?.. Ведь город, а?.. Совсем город! Собор, семь церквей... Собор не видали?.. У нас насчет божественного радетели есть... Везде певчие, дьякона на

выбор... У нас это хорошо, есть за что похвалить... Город ведь, а? Совсем город? — переспросил старик с видимым удовольствием.

— Постоит еще другого города.

— Постоит!.. У нас уж кое у кого из богатеев есть это помышление, чтоб, значит, вполне на городское положение перейти. И записку уж в сенат подавали... Подавали, слышно было...

— Что же, вам нравится это?

— Нет, нам не нравится. Да к чему? Для нас так-то больше чести: вишь ты, село, деревня мужицкая, а еще почище другого города будет! Мы и так, значит, на городовом счету,— чего ж еще? Да ведь кабы улучшение от этого какого ждать...

— А вы не ожидаете?

— Нет. Это ведь богатейская забава... Пользы нельзя ожидать... Отказали,— да, отказали... И лучше, пожалуй,— серьезно говорил старик, во что-то вдумываясь.— Так думать надо, что этой затее все сам же препону положил.

— Кто же это сам?

— Сам-то? — улыбнулся хитро старик.— Не знаете? Державу-то нашу? Это у нас Петр Бессменный, голова нашим дурацким головам... Это будет Петинька-кормилец, Петинька — отец наш родной... Вот кто он у нас, сам-то! Слава богу, вот двенадцать, должно быть, уж годков за ним, что у Христа за пазухой, проживаем... Да!

Старик как-то особенно хитро и двусмысленно вел весь этот рассказ про старшину.

— Полюбили уж очень вы его,— заметил мой хмурый спутник с обычной иронией.

— Полюбили? Полюбишь!.. Полюбишь, брат!.. Да. Вот он и такой, и сякой, а вот двенадцать годочков бессменно на своем положении стоит, и никакой такой силы нет, чтобы его снизвести... О, о!.. Нет, тут, брат, подумаешь снизвести-то его... Вот ты и гляди... И вор-то Петинька, и мошенник, и мироед, и притеснитель,— всяко про Петиньку говорят, а вот снизвести не могут... Кто ни пытался его снизвести: и губернаторы, и прокуроры, и всякие члены, и чины,— одни наши богатеи сколько хлопот и денег на это самое дело ухло-

пали, а где теперь эти губернаторы, и прокуроры, и всякие чины? Про них только сказки остались, а Петинька Шалаев все при нас державу держит... Так-то, милейший человек, вот ты ученый человек, а как скажешь на это? Нужно на этакое дело ума али не нужно? — спросил старик не без тайного ехидства Попова, которого он, по-видимому, знал хорошо.

Попов только повернулся на стуле и сердито молчал.

— Так это он, говорите вы, против городового положения идет?

— Кому же больше? Никто, как он. Ведь он кем жив? Нами, простым народом. Тут вся и жисть его, что в нас... Голодным народом жив, вот кем!.. А на городовом положении ему сейчас смерть! Потому на городовом положении вся сила в богатее... Бедному простому человеку там делать уж будет нечего... Ну, без бедного человека и Петиньке смерть. Тут ему и конец. Так тут, хочешь не хочешь, и нас полюбишь. Вот он нас и любит, а мы его своей любовью не покидаем. Так у нас и идет вкруговую... по любви... И живем еще как ни то... Вот у нас чем люди-то живы! Хе-хе-хе!

И старик засмеялся каким-то странным, сухим смехом.

— Это возмутительно! — вдруг вскакивая в волнении со стула, заговорил Попов, обращаясь ко мне одному.— Вы только представьте себе: мироед, который никому вздоху не дает, который расходует все общественные деньги без всякого контроля: самый этот контроль делается немыслим, потому что их пресловутое вече — это не больше, как двухтысячное стадо баранов, из которых половина этим самим закуплена, запоена, задобрена, а другая — запугана, задавлена. Ведь здесь нельзя слова свободного сказать, потому что завтра же, кто осмелится только не согласиться с этим самим, будет отправлен туда, куда Макар телят не гоняет. Ведь это... это один ужас!.. А вот они все так здесь с смешком да с ужимочкой говорят... А ведь вы только одно представьте, что здесь на десятитысячное рабочее население одно училище, больница только на три койки и больше никаких общест-

венных заведений безусловно: ни библиотеки, ни технических музеев или училищ, ни театра. Вы книги, самой пустейшей книжонки ни у кого не встретите! Вот вам и «город рабочих»!.. Вече!..

Попов еще волновался, а старик все не переставал смеяться. Но потом он вдруг сделался серьезен и даже суров, сдвинув густые белые брови и набрав морщины на лбу.

— Это верно, верно, все верно,— заговорил он, покачивая головой,— вот до чего довели! Беда, разврат народу совсем! На глазах вот, так и видим, как народ портится. Патьи[1] этой с каждым годом все больше да больше, этого самого обнищалого народа. Да и нельзя иначе... Нельзя.

Старик замолчал, сокрушенно опять покачивая головой. В это время вошли брат и сыновья, все уже обмывшиеся и принарядившиеся, и стали усаживаться вместе с нами за стол.

— Вы о чем? — спросил молодой Полянкин.— Успели уж, чай, поспорить?

— А вот о чем! — сказал старик, вскочив с места и сурово обращаясь к Попову.— Ты вот видишь эти дома-то на горе? — показал он в окно.— Видишь? А были бы они у рабочего или нет, спрашиваю я тебя? Вот он, видишь, новенький, и чистый, и просторный: есть где голову преклонить... Были, я тебя спрашиваю, у нас эти пристанища, как вот в третьем году триста дворов снесло пожаром, а?.. То-то вот... Кто в Петербург-то ездил да выхлопотал полтораста тысяч на погорелую братью, а?

— Да из них себе в карман пятьдесят тысяч положил,— заметил вскользь Попов.

— Ну, это мы того... Оставим эту расценку... Это бог знает. А ты вот скажи, кто ездил? — Петр Шалаев ездил, да! Ты вот об этом подумай... А? Им это не по губе, должно... Не по губе, что Петр Шалаев с нас подати скостил да на них переложил, на дворцы-то ихние. Не по губе им, разбойникам... Городовое поло-

[1] Патья — местное название беднейшей части села и вместе самого бедного, бесхозяйного пролетария, не имеющего своих мастерских.

жение!.. Мало они из нас крови-то пьют... Мало еще, дворцов-то понастроивши да брюхо-то распустивши!

Старик совсем расходился: он стучал кулаком по столу, махал руками и сверкал на Попова сердитыми глазами.

— Да уж не хуже было бы: по крайности, хотя бы школы вам завели, больницы, богадельни были бы, грязь-то невылазную с улицы убрали, да и грабежа-то бы не было...

— Не было бы? По головке бы стали нас гладить? Да, друг ты мой, ведь только на них и грозы-то, что Петр Шалаев! А уж мы все ими до сердца проклеваны... вот как, до самой печенки проклеваны этим вороньем-то! Ты вот видел, какую мы уйму за неделю наработали, по 18 часов спины не разгибая? А что вот я послезавтра, как, господи благослови, потащу все это на ряды,— что я за это получу, а? Ты вот видишь замок-то, видишь? Ведь его сделать надо! Ведь это не гвоздь, что раз молотком ударил — и готово! А ведь скупщик мне за него моей цены только полцены даст, моей! Да и то еще покланяешься ему в пояс, чтобы взял, да и то еще половину деньгами-то только, а то поди-ка у него другую-то половину из его лабаза харчами выбери, да по той цене, по какой его голова назначит! А ведь, друг ты мой, вот у меня сколько народу-то,— ведь нам пить-есть надо... Ведь я вот дому хозяин, большая голова, ведь вот посчитай-ка, сколь много вокруг меня теперь народу-то: ведь у меня, с малыми-то, их двенадцать душ... Дру-уг!.. Ведь все на мне взыщется, все, и на этом свете, и на том!..

— Это верно,— заметил опять хмуро Попов,— только чего же огулом-то всех в яму валить? И из них есть люди.

— Кто это?

— Да вот хоть бы Струков.

— Это Валериан-то Петров? Лукожуй он, Валериан-то Петров твой.

— Этого недоставало! Человек за них душу положил, весь свой век, до пятидесяти лет, все для них хлопотал... Вы представьте,— обратился опять в негодовании ко мне Попов.— Вы только представьте, что переиспытал, перенес этот человек для своих односель-

чан: разорился, несколько раз был облыжно отдан под суд, сидел по тюрьмам, в холодных. Это какая-то воплощенная энергия, беззаветность, незлобивость и любовь!.. И за все за это вот ему благодарность... И он знает это, давно знает и — все же хлопочет за них.

— Ха-ха-ха! — засмеялся старик, у которого уже давно разгладились морщины и переменилось настроение.— Ха-ха-ха! Лукожуй... Потому он и лукожуй, что как ни верти, а он все ихней стаи. От своей крови не уйдешь... Нет, за ними, брат, присматривай в оба... Свои собаки дерутся, чужая тоже опасайся пристать.

— Что же он такое делал для них?

— А кто на городовое положение тянет? А кто всю эту музыку-то поднял? Кто говорит, что без них нам и житья не будет, пропадом пропадем, а?.. То-то вот... Нет, оно, брат, тут в оба присматривай...

— Ну, полно тебе расценивать-то,— заметил наконец весело молодой Полянкин, похлопав любовно рукой отцовскую спину.— Так нам расценивать нельзя. Зачем всех в одну кадку валить? Ты бери то, что хорошо, везде; нам нужно только свою линию вести, вот что!.. А Петр-то Шалаев из каких? Разве он не из них? На него какие надежды? Разве он не такой же скупщик, как и те? Разве он на ваши-то кровные изделия своих клейм не кладет? Разве он не нахватал себе вашими руками орлов-то? А какие у нас сходы? Чем они держатся? — Обманом... Все приговоры подписываются под страхом.

— Да, конечно... что — Шалаев! Петр-то Шалаев еще почище их всех будет,— задумчиво произнес старик.

— Почище еще, пожалуй, почище,— сказал и брат Полянкина.

— То-то и есть. Нам, брат, свою линию надо не терять: хорошо — бери, плохо — не надо.

— Ох, да, да,— вздохнул старик,— тоже, брат, нашу-то линию не вот найдешь... Тоже, брат, из нас всякий есть: один говорит — вот она, наша-то линия, другой — на другую гнет... О, господи создатель!.. Все, должно, плохи... Всем, должно, перед господом отвечать придется.

— А ты, батька, гляди веселей... Не бойсь, не

унывай только; все мы свою линию найдем... Поплотнее нам надо только — вот что... Только бы солнышко просветило... А то в себя вера потемнела — вот что, в себя перестали верить... Это хуже всего. А Валерьян Петрович — хороший человек, и обижать его нечего.

— Да ведь разве я не знаю? Только на что он лукожуйничает?.. А лукожуй, старый хрен, большой лукожуй!.. Ха-ха-ха!.. Ну, да ладно... Бросим это! Будет! Пойдем-ка разгуляться в садочек... Эх, время-то хорошее стоит!.. Запахи теперь у меня там разные: сирень, жасмин белый... Пойдем! А пущай здесь женский пол уж на свободе чай пьет... Мы ведь женский пол строго держим, по-старинному... У нас оне чужого народу стесняются... Этих модных повадок не имеют... У нас девушка — вот у окошечка посиди, в теремке, за занавесочкой, да на молодежь-то, что по улице ходит, только в щелочку погляди али вот в праздник на раскат, на гору сходи с матерью да степенно маленечко на реку полюбуйся, да и домой... Мы по-старинному живем!

Так долго рассказывал старик, пока мы ходили по его «садочку» с десятком захудалых и старых яблонь и кустов, за которыми он, однако, с особою любовью ухаживал. В «садочке» старика Полянкина так было хорошо, уютно, так душисто; так мягко и густо зарастила кругом сочная трава, так весело и безмятежно глядело на нас чистое лазурное небо, что мы совсем забыли, что хотели идти смотреть город, и провалялись на траве до полных сумерек. Отложив осмотр города на утро, мы ночью, вместе с дядей и братишкой молодого Полянкина, ушли на реку ловить рыбу. Наша великорусская, немножко сыроватая, но мягкая и нежная ночь окутала нас своими объятиями, как нежная мать, и нам так хорошо было в эти мгновения чувствовать, как убаюкивала она в нас тревожные дневные заботы и думы.

III

Представьте себе такую картину: кривые, неправильные, перепутавшиеся, как клубок ниток, улицы, кое-где мощенные булыжником или бревнами, а чаще

пыльные и грязные, и на них странную смесь архитектурных стилей: тут выпятился старинный терем из темного кирпича с позеленевшими стеклами и высокой, поросшей травой и плесенью остроконечной деревянной крышей; за ним спрятались два-три небольших домика — новеньких, чистеньких, веселых; здесь жеманно и, очевидно, рисуясь, выдвигается красивым палисадником, с вычурной разноцветной решеткой, с фигурными воротами, каменный, двух- или трехэтажный дом новомосковского типа, со всеми признаками современной культурности, с богатыми драпри в окнах, с изящными антре и ярко-зеленою железною кровлей с трубами, украшенными прихотливыми колпаками; дальше — длинное, мрачное, с клочками грязной, давно облупившейся штукатурки, с окнами, напоминающими старинные бойницы, фабричное здание, потом какой-нибудь полуразрушенный плетень, охраняющий огород, и затем опять новенькое палаццо какого-нибудь только что оперившегося молодого богача, «тронувшего» тятенькины капиталы; торговая площадь, на которой никогда не просыхает грязь, со свободно бродящими по ней свиньями; вонючие, скучившиеся торговые ряды с деревянными навесами и потом опять что-нибудь в «своем собственном скусе», вроде, например, хоро́м, представляющих собой не то масленичный балаган, с мачтами, флагами и разноцветными узорами по карнизу, не то уродливый павильон в русском стиле, притащенный прямо с выставки. Такова центральная «богатая» часть города рабочих.

Было утро воскресенья, и мы имели удовольствие видеть сразу обывателей всех родов и типов: степенными группами выползали они из переулков, из домов, направляясь к церквам. Густой звон колоколов, видимо доставлявший всем обывателям особое удовольствие, блеск солнца, бородатые и массивные священники, и дьяконы в летних ярко-цветных рясах, и разнообразная смесь костюмов, начиная от широких старомодных цилиндров стариков, в длиннополых двубортных сюртуках, и кончая пиджаком молодого приказчика с молодою женой, тащившей сзади какие-то изумительные пристройки на своем платье,— все это вместе взятое производило странное впечатление какой-то удивительной

кунсткамеры: на протяжении каких-нибудь сотни сажен вы несколько раз переноситесь от современной цивилизации к XVII или даже к XVI столетию.

— А вот и вечевая площадь,— иронически сказал Попов, когда мы переходили не особенно большой пустырь, пыльный, изрытый ямами и едва просохшими лужами, окруженный потемневшими кирпичными и деревянными старыми зданиями, занятыми трактирами и лабазами; в одном из домов помещалось «правление», или местная ратуша, центр всего местного самоуправления.

Признаться сказать, грустное впечатление произвел на меня этот форум, и я тщетно силился представить себе величавую картину схода из двух тысяч полноправных граждан-рабочих — все так пахло кругом базаром, трактиром, домостроем, лавкой.

— Вы разочаровались? — спросил меня, улыбаясь, Полянкин, заглядывая мне в глаза.— Признаюсь, я сам не люблю это место или, лучше сказать, всю эту часть города... Каким-то извращением несет от всего, что здесь... Как будто здесь все силится именно извратить, опаскудить, омерзить... Пойдемте отсюда... опять в наши окраины. К Струкову теперь рано. Он, как и всякий из здешних коренников, теперь, наверное, у обедни. Струков в самые бурные моменты нашей общественной борьбы никогда не пропустил ни одной службы: поет на клиросе, раздувает кадило и пр. И ведь нашлись наглецы, которые не задумались оговорить его в нигилизме. Один губернатор так и принял его в этом ранге и даже большое поучение на этот счет сказал старику.

Поднимаясь с холма на холм, на которых расположен был город рабочих, мы скоро опять вступили в заросшие зеленью окраины, окружавшие кольцом центральную часть города. Но далеко не все окраины производили впечатление той домовитости, которая так приятно удивила меня в усадьбе старика Полянкина. Все чаще и чаще бросались в глаза несомненные признаки упадка и разложения, и именно упадка. В то время как центральная часть города, очевидно, била на прогресс,— здесь, напротив, все бледнело, дряхлело; трехэтажные домики все чаще сменялись лачужками,

да и самые эти домики, с их садочками, скорее говорили о своей прежней домовитости, чем о настоящей... А вот и пресловутая патья с своими голыми лачугами, почти вросшими в землю, напоминающая бедные пригородные мещанские слободы, с хилыми, оборванными ребятишками у ворот, с хозяином в изодранной рубахе, с подбитыми глазами и бумажной сигареткой в зубах, нечесаным, грязным, пьяным, которого уже не привлекали ни колокола, ни концерты певчих, ни басы дьяконов, ни самое вече.

— Вот Струков все о городовом положении мечтает,— заметил Полянкин,— а мы фактически довольно давно уж на городовом положении стоим. Ну, вот вам и терем нашего старика,— показал Полянкин на дряхлый, древний длинный дом, когда мы снова по кривому и узкому проулку повернули от окраин к центру.

Мы вошли.

Чуть не в дверях нас встретил сам хозяин, седой старичок с длинною бородой, живой, с умными, добрыми, но зоркими, быстрыми глазами, с крутою грудью и с характерным лбом, в каком-то длинном старомодном пальто нараспашку, из-под которого виднелась красная рубашка и широкие помочи, высоко подтянувшие серые камлотовые шаровары такой необычной ширины, что в любую половину их можно было запрятать по большому подростку.

— Милости прошу! — вскрикнул Валериан Петрович самым гостеприимным тоном.— Ждали, ждали!..

— Как так? — изумился я.

— Да ведь слухами земля полнится... Слышал, что вы в нашей округе гуляете... Ну, как же нас проехать, помилуйте!.. Этого никогда не бывало! Ведь мы хоть и мужики, а тоже и нас люди навещали... Вот здесь, в этой комнате, этого кресла никто не минул... Прошу и вас не миновать его: присядьте! Вы, может, скажете: ишь, расхвастался старик!.. Ха-ха-ха!.. А дело-то просто-с: вчера вот я с Павлом-то Павлычем встретился, он мне и сообщил, а я его просил, чтобы ко мне безотменно... Да, батюшка, полюбил я образованного человека, люблю! В двадцать-то лет, благодаря господа,

немало я из них хороших знакомых приобрел... И они меня любили... Ей-богу, любили!

И старик Струков, действительно, пересчитал массу известных имен, из которых одних литераторов была целая половина.

— Да-с, много за двадцать лет всего видел: в Питере сколько раз бывал, в Москве... Столько большого народа видел, что от одного воображения голова может кругом пойти! Ха-ха-ха!

— Все в качестве народного ходока?

— Да-с, все воюю... С самых шестидесятых годов-с... с тех пор, как с барином из-за земли дело начали... Прыти-то мы тогда сколько набрались! Думали, что нам и сам черт не брат, да!..— И Валериан Петрович с мельчайшими и обстоятельнейшими деталями, увлекаясь и махая руками, целыми пачками таская какие-то справки и документы, буквально целый час рассказывал свои похождения в качестве ходока. Это была история, длившаяся около десяти лет.

Первый период этой истории был всецело занят тяжбой с помещиком из-за надельной земли и разных оброчных статей; но когда эта тяжба закончилась наконец мировою сделкой и «ходоки», принадлежавшие все к зажиточному классу, готовы были пожать лавры своей полезной деятельности, наступил второй период этой поучительной истории. Дело в том, что среди ходоков сказался раскол: одни из них «отшатнулись» и повели «другую политику», стараясь дискредитировать всю деятельность своих товарищей в глазах рабочего населения, захватив власть в свои руки.

— Ну, и что же в конце концов? Как теперь ваши дела? — спросил я, признаться сказать, не без тайного намерения хоть несколько умерить наивную болтливость старика, тем более что вся эта история была мне, в общих чертах, хорошо знакома.

При моем несколько неожиданном вопросе старик как будто растерялся. Он вдруг переменил тон, лицо его приняло, вместо оживленного, какое-то грустно-меланхолическое выражение. Он развел руками и тихо сказал:

— Плохо-с!.. Очень плохо-с!.. Не ожидал я, знаете,

после стольких, можно сказать, триумфов так закончить свою карьеру жизни!.. Не ожидал-с, признаюсь вам...

— Что же так?

— Разорен, ошельмован пред высшими и низшими, сделался жертвой недоверия... И это после двадцати лет!.. Как хотите, упал духом... Нет, больше не могу... Да и невозможно-с, невозможно!.. В конце карьеры жизни стал не больше как притчей во языцех, жертвой насмешек... зовут сумасшедшим!..

— Полноте, вы преувеличиваете.

— Нет, нет, не говорите...

— Вы потеряли веру...

— Нет-с, не то что веру потерял, а обидно-с, вот что!.. Обидно!.. Все — и сверху, и снизу, кругом от мала до велика — кричат, что мы бунтовщики, баламуты, скупщики, что мы только о себе все время заботились, что, наконец, даже очевидное приобретение наше для народа (хотя бы одну землю взять, которую мы выхлопотали) и то, говорят, только разор принесло, убыток!.. И ведь в газетах пишут, книги об этом печатают... Все против нас!.. Нет, это что же-с?.. С каким же утешением умереть?.. Какой же это смысл в своей жизни найдешь?.. А ведь это вздор-с, ложь, обида, клевета... Я не умру, пока не разъясню все это, не докажу документами, цифрами... Все объясню, всю правду-матку открою, кто нас ошельмовал, какие иуды погубили и губят народ... Я сто печатных листов напишу, а уж разъясню!.. У меня уж много написано, я ночей не буду спать, а всю правду выведу!.. Нельзя так издеваться над людьми!.. Что́ они с нами сделали?.. Ведь они убили мир и согласие в нашем населении.

Валериан Петрович, взволнованный и раздосадованный, бегал по комнате, горячился: отрадно было смотреть на старика, сохранившего так много неиссякаемой энергии и жизни, несмотря на почти детскую наивность его сетований и упований. Пока Валериан Петрович говорил, мы и не заметили, как вошел тоже старичок, также в длинном двубортном сюртуке нараспашку, и тихо, ни с кем не раскланиваясь, уселся в уголке, меланхолически покачивая головой и улыбаясь на старика Струкова.

— Все петушится! — сказал он, подмигнув на Струкова старушке, вошедшей с большим подносом, уставленным стаканами с чаем, водкой и закуской.

— Господь с ним,— сказала старушка,— я ему никогда не перечила, никогда поперек дороги не стояла... Худого от него никому не было.

— Вот, вот моя старушка правду говорит! — вскрикнул Струков, обнимая свою неизменную спутницу в жизни.— Вот она моя неизменная! Что древняя княгиня: проводит князя на битву и сидит себе в тереме да богу за него молится... А приедет князь с войны, она его утешит и успокоит и дух в нем поддержит!.. И опять он бодр!.. Да, никогда от нее слова супротивного не слыхал... А уж чего-чего не претерпели с ней!.. А это вот друг мой старинный, друг и приятель,— показал он на старичка.

— Так-то все так, Валериан Петрович,— сказал старичок,— а пора бы нам с тобой угомониться. Право, лучше.

— Почему так?

— А потому смерть нам идет.

— Ну, это еще когда будет!

— Идет, идет... Только вот ты не хочешь видеть... А мертвых не воскресишь...

— Полно ты пустое толковать... Вечно у тебя этакая мрачность в жизни проявляется!

— Пора угомониться... Потому все это ни к чему... Смотрю я хоть на нашу жизнь: что это? Так, одно представление идет. Все это мы волнуемся, кипятимся, грыземся, бога гневим, начальство утруждаем, все-то, все, что собаки перегрызлись... Себя губим, мучаем, народ гибнет... А что это все? — одно представление!

— Как представление? Господь с тобой! Серьезное общественное дело, общественный интерес, жизненный интерес каждого. Ведь мы все вздоху хотим, ведь нас давят, нам дышать не дают... Ведь мы только и хотим вздоху, согласия, мира.

— Представление! — повторил старичок и выпил, обстоятельно закусив, без приглашения рюмку водки.

— Да почему?

— Потому что все одно, всем нам погибель.

— Откуда? Кто такой нас погубит?

— Фабрикант.

— Ну, ну!.. Поди ты!..

— И я, скупщик, погибну, и все наше население.

— Ну, пошел, пошел!.. Десять тысяч народу погибнет!

— Погибнет! Разве не видишь? Малый ребенок, что ли? Вот за тридцать верст от нас какая фабрика завелась, а?.. На тысячу человек, и все рабочие — новые, деревенские, свои... В нашем рабочем даже не нуждаются... Еще такая фабрика — и вот конец и мне, и тебе с городовым положением, и Петру Шалаеву с его политикой, и всем этим кустарям, всем одна расценка будет: ни дна ни покрышки...

— Ну, ну!.. Ха-ха-ха! Эк хватил: десять тысяч народу погибнет! Да что у нас Садом-Гаморр, что ли? Отчего это нам погибнуть?

— Садом-Гаморр и есть,— упорствовал старичок,— потому мы рабы... рабы вот этой самой вещи, вот этого замка... Потому ни я, скупщик, ни кустарь без этого замка или ножа ничего не стоим, ломаного гроша!.. Замок — тут нам и жизнь, и смерть... Без замка нам вздоху нет, из-за замка мы грыземся, лаемся, бога забываем, друг друга предаем... Потому, кроме замка, ни в чем мы жизни не находим... Тут нам и погибель!.. Ты думаешь, вот теперь нас, скупщиков, травят почему? Да потому, что мы уж измору предназначены, все одно. Кабы в нас будущая-то сила виделась, так ты думаешь, нас дозволили бы травить?

— Ну-у, оставь, оставь, сделай милость! Ведь вот, братец, всегда ты эту меланхолию заведешь... Он у нас умница, министр, сам из кустарей вышел, только вы ему не верьте,— уговаривал нас Валериан Петрович,— это одна меланхолия!.. Вы дайте нам только вздоху, дайте нам городовое положение и тогда посмотрите, как мы процветем!.. Вот у нас денег сколько! С одной земли, с аренды, мы получаем тридцать тысяч в год (а говорят: мы хлопотами о земле убыток только принесли!). Посмотрите, мы училищ настроим, технических заведений!.. Даже театр откроем-с... Слава богу, у нас народ есть!.. Посмотрите, какие у нас есть мастера-самоучки!.. Таланты, гении-с — гении, прямо сказать! А теперь у богатого класса сколько сынков в

университетах! Все будут свои медики, адвокаты!.. Да нам такое будущее рисуется, что иной раз раздумаешься, так дух захватывает... И мы еще послужили бы! Так ли?.. Нам бы только вздоху... А эта меланхолия у него все от обиды... Другой раз и на меня этак как бы отчаяние находит... Хе-хе-хе!.. Мы со старухой против отчаяния крепки!..

— Так, конечно,— поддакивали мы охотно старику.

Долго еще мечтал Валериан Петрович о будущем блестящем процветании своей родины; целая масса проектов, стремившихся к установлению мира и согласия между всеми гражданами, так и сыпалась им: тут был проект и новых начал городского самоуправления, и городского банка, который бы снабжал богатых кредитом, чтобы они могли безостановочно и безобидно, не обижая и не утесняя, брать от рабочего народа изделия, и много других наивных вещей.

Вообще он окончательно стряхнул с себя всякое уныние, ожил, и только его приятель все меланхолически качал головой.

Наконец мы распростились со стариком.

— Похлопочите за нас где можно, похлопочите,— сказал он мне, прощаясь.— Ведь десять тысяч рабочего населения, хороших, добрых, трудящихся людей — не шутка! Нельзя же, господа, так отдавать на поругание... Пишите, говорите, и, бог даст, все устроится к лучшему! Так ли?

— Так, так... Вот это прежде всего! — сказал молодой Полянкин.— Вера, Валериан Петрович, вера в людей прежде всего!

— Да, да!

— Пропала у нас вера в человеческое сознание, вот в чем дело! — говорил Полянкин.— Все от этого...

— Да, да! — подтверждал Струков, но он, по-видимому, или не ясно понимал, что говорил Полянкин, или же плохо доверял этому «человеческому сознанию».

— Да, потеряли веру в человеческое сознание,— повторял Полянкин, когда мы ушли от старика.— Мы во все верим: верим в силу закона, в силу городового положения, в силу рынка, фабриканта, в силу исправника, адвоката, прокурора и — никогда, никогда в силу

обыкновенного, простого человеческого сознания.

— Да как же ты в него поверишь после всего, что видишь? — спросил раздраженно Попов.— Это изумительно!..

— Ну, мы с тобой в этом никогда не сойдемся...

IV

Приятели продолжали, по обыкновению, пререкаться, когда мы вышли на другую часть окраины и остановились у старенького двухоконного домика с палисадником. Это был дом кустаря Ножовкина, одного из тех самоучек-гениев местного мастерства, о которых говорил Струков. На дворике нас встретила целая куча ребятишек самого малого калибра, а в дверях «передней» еще не старая, худая женщина, с ребенком на руках, тотчас же сконфузившаяся и растерявшаяся.

— Что, дома ваш-то супруг? — спросил Полянкин, здороваясь с хозяйкой.

— Дома, работает, в заднюю проходите.

— В праздник-то работает?

— Он уж всегда такой у нас... прилежный к своему делу... Разве вы не знаете?

— Как не знать!

Мы прошли в заднюю, занятую мастерской. Здесь, за станком, в рубашке, засунутой по-городскому в брюки, с засученными рукавами, в фартуке, работал человек чрезвычайно высокого роста, рыжий, бритый и совершенно худой, с ввалившейся грудью, сутуловатый, в очках, с костистыми скулами на худом, темном от железной пыли лице. Это и был Ножовкин, хмурый, солидный и малоразговорчивый, но, видимо, натура выдержанная и стойкая. В особенности об этом говорили его костлявые, худые, но твердые, цепкие руки.

— А, Перепелочка, и ты здесь? — крикнул весело Полянкин, здороваясь с сидевшим сбоку станка около Ножовкина его постоянным другом, тоже кустарем. Белокурый, коренастый, среднего роста, в узком и коротком пиджаке, в карманы которого он постоянно силился затискать свои толстые руки, с веселым, постоянно добродушным лицом, Перепелочка, или, вер-

нее, Иван Иванович Перепелочкин, холостяк, живший только с старушкой девицей сестрой да с сиротами от брата, был, очевидно, натурой совсем другого с Ножовкиным разбора. Кроме них, в мастерской была еще личность, в черном сюртуке, среднего роста, лет тридцати: это, как оказалось, был хозяин небольшой канатной фабрики, оставшейся ему от отца (таких разнообразных маленьких фабричек в «городе рабочих» есть несколько по различным отраслям).

— Что это вы, Прохор Прохорович? Пора вам бросить эту повадку... в праздник работать. Ведь другим глаза мозолите, а ведь уж все вы, кажется, и то немало работаете,— сказал Ножовкину Полянкин.

— Да что делать? Нечего делать. По трактирам я не хожу... Читать — да все перечитал, что было, а беседовать и так можно... Думаем опять газетину выписать, да вот фабрикант у меня скупится... А одному мне не осилить...

— Надо в складчину, Прохор Прохорович, иначе, ей-богу, не могу... Вдвоем нам не осилить. Надо человеков пяток...

— Найдешь у нас пяток, держи карман!

— А я, ей-богу, не могу! Что делать! — говорил фабрикант, весь покрасневший, как маков цвет.

— А еще фабрикант,— как-то тяжеловесно шутил Ножовкин.

— Какой я фабрикант!.. Что вы?.. Только слава.

— Такой фабрикант — умора! — смеялся Перепелочкин, качаясь из стороны в сторону всем туловищем.— Ну-ка, покажи ручки-то свои.

Фабрикантик вспыхнул и тотчас же спрятал руки, но я успел заметить, что пальцы у него на обеих руках были сведены и покрыты какими-то наростами. Оказалось, что он, вместе с отцом, сам вил веревки.

Приятели еще долго продолжали шутить, пока наконец не подошли к интересовавшему меня делу. Ножовкин был одним из самых горячих приверженцев большой кустарной артели, основанной здесь около десяти лет назад при содействии петербургских интеллигентных и влиятельных лиц. По идее, это было прекрасное и грандиозное предприятие, долженствовавшее связать в одну плотную, дружную организа-

цию всех местных кустарей-рабочих устройством самостоятельных складов для сбыта изделий, минуя посредство скупщиков. Говорят, это было самое оживленное время для «города рабочих». Большинство населения, не говоря уже о лицах, так искренно и беззаветно преданных делу артели, как Ножовкин, жило самым радужным ожиданием; они были уверены в громадной экономической выгоде для кустарей от такого предприятия; в главных центрах России были устроены артелью собственные склады, по стогнам и весям ходили всюду свои, артельные, ходебщики; выхлопотана была на операции по первому обороту субсидия. Но дело, по прошествии нескольких, очень немногих лет, стало быстро чахнуть и еще быстрее угасло совсем, оставив после себя какой-то чад и угар, надолго отуманивший головы и набросивший подозрение на самую сущность испорченного дела. Тем интереснее было узнать мнение обо всем этом деле такого человека, как Ножовкин.

Но только что заговорили об артели, как Ножовкин насупился, замолчал и, отвернувшись к станку, стал работать. Зато вместо него, тотчас же близко принял к сердцу это дело Перепелочкин.

— Вот дело было!.. Ах!.. Малина дело — одно слово!.. То есть такое дело, что, кажись, нашему благополучию и конца-краю видать не было!.. Только бы, братец, тогда живи себе да поживай по-божьи, честно, благородно.

— А вот не пошло,— заметил Попов,— не пошла машина-то, не принялась.

— Не пошла, верно, не принялась, братец! Вот те и поди... И бог ее знает отчего! А уж такое дело... Просвет, кажись, на всю жизнь увидали.

— Не учась, ничего не сделаешь,— проговорил Попов,— и верно говорят, что все лопнуло от неуменья, от лености, что народ привык только работать на других, что он не может вести свое дело, не может поддержать настоящий контроль, нет ни выдержки, ни стойкости... Оказывается, что для народа скупщик необходим, что он без него двинуться не может, пропадет, потому что скупщик — естественный, бывалый, знающий посредник между кустарем и рынком.

— Кто это говорит? — отрывочно спросил Ножовкин.

— Говорит Струков, говорят другие...

— Струков! Миндальничает он, Струков-то ваш... Пора бы ему бросить конфетничать-то... Или еще все ему мало науки-то, все неймется? Пора бы ему глаза-то продрать на мир божий...

— Однако вот артели-то нет,— заметил Попов,— горячитесь — не горячитесь.

— Не-ет! Конечно, нет, когда лучший народ раскидают: одного сюда, другого туда... Конечно, нет! Ведь живые люди... нынче одного выдернуть, завтра другого... Жизнь проще, чем вы думаете... Тут разгадка простая.

— Это так, Прохор Прохорыч; только вот я посторонний человек, а видел у нас недостаточки с первого же разу,— заметил фабрикантик.

— Ну-у? — крикнул на него Ножовкин.

Фабрикант сконфузился и замолчал.

— Ну, какие же? Говори, что ж ты замолчал?

— Да ведь я, может быть, ошибаюсь. Я не хочу выдавать свое мнение за верное.

— А ты говори, коли начал.

— Я так думаю — оттого, что уж в самом начале в народе веры не было.

— Какой еще веры? Разве не для всех выгода видимая была? Что наш народ-то, в самом деле, без мозгов, что ли, родится, чтобы своей выгоды не понимать? Что, вы со Струковым-то совсем с ума спятили? Опекунов все хотите к нам приставить? Мало их еще было!.. Плохо опекают?.. Ишь ты, народ сам ложку мимо рта будет проносить!.. Юродивенький!.. Выгоды, вишь, своей не поймет!

Ножовкин горячился.

— Это так, Прохор Прохорыч,— несмело и краснея говорил фабрикантик,— а только что... как вам сказать?.. тут что-то есть...

— Есть, есть что-то, Прохор, и я скажу: есть,— заметил Перепелочка.— Кабы не было, ну как бы такому важному делу пропасть?

— Так говорите, что́ есть-то! — крикнул опять сердито Ножовкин.

— А вот... Эта самая, может, выгода-то,— заключил фабрикантик,— все выгода да выгода... Только одна выгода... Ну, всякий и мыслит только о том, где выгоднее.

— Ну?

— Ну вот, разве у нас не сначала же дело так выходило, что пока у вас дела при деньгах шли хорошо, к вам шли, а тут как на месяц позамялось,— глянь, ан ваш артельщик же половину товара потихоньку и спер скупщику; потому у вас еще жди, а он тут же на дюжину пятачок накинул... Что ж, так и рассуждает: выгоднее!

— Ну?

— Ну, вот тут и все: коли во всем только выгода, так того уж и смотрят.

— Мало ли мошенников есть на свете!

— Да нет, при чем мошенники? Мошенники — это особая статья... А тут так, простой человек так мыслил...

— Верно, верно, Проша, бога люди не видали при деле,— сказал Перепелочкин.

— Еще бы бога увидать, коли всех хороших людей рассовали, а мошенников наставили! Они и разграбили все дочиста! А тут, брат, особой какой выгоды понимать нечего. Она у всех на виду... Нам нужно взять рынок в руки, чтобы не быть в кабале... Без этого нам смерть... Что тут понимать? Какие хитрости? Есть умеет всякий!

— Так-то так, а вот возьми его, рынок-то,— говорил Попов.

Ножовкин заворчал, как медведь в берлоге, окруженный рогатинами, и начал сверлить, тяжело и, видимо, в сильном раздражении сопя носом.

— Вот что, Прохор Прохорыч, и мне кажется, что Перепелочка прав,— заметил Полянкин.— Именно в деле народ бога не видел, то есть, по-моему, это значит, что все дело было поставлено на одну узкую, экономическую почву... Что оно не захватывало, так сказать, всю личность целиком, гармонически, не отвечало ей во всей совокупности... Так ли?

— Так, так, верно: бога не было при деле! — твердил Перепелочка, понявший из слов Полянкина, кажется, только одно, что он встал на его сторону.

— Мне кажется, что именно в деле выдвигалась вперед исключительно выгода, экономический расчет лежал главной основой... Так ли? Все прочие стремления, условия и тому подобное не связывались в одну простую, ясную и понятную для всех систему... Так ли?

— Так, так! — кричал Перепелочка.— Верно!.. Веры в деле мало было спервоначала уж, потому всякий и раньше говорил, где нам торговать, разве нам в этом деле за скупщиком угнаться? Тут, брат, тоже качества-то эти в себе надо произвести!

— Рынок бы нам, вот! — продолжал упорно ворчать Ножовкин.— Без рынка нам смерть.

— А вот возьми поди его, рынок-то! — мефистофельствовал Попов.

— Кабы те, что о любви к народу расписывали, в самом деле хотели дело делать, не бойсь, сделали бы... А то одной рукой посулов насулят, а другой разделывать начнут,— уже совсем сердито проговорил Ножовкин.

Между приятелями разговор велся еще долго, но как поправить дело и чем, так и не могли прийти к соглашению. В конце концов оказывалось, что жизнь — дело не такое простое, как многим думалось. Мало выяснились и основные пружины, погубившие дело артели, хотя, конечно, Ножовкин был прав, что в этом деле большую роль играли интриги богачей скупщиков и прямое насилие сельских воротил.

— Ну, видели, каковы у нас дела-то? Красивы? — спросил меня Попов, когда мы шли от Ножовкина.

— Да, дела не хороши.

— Что дела! Дела — дело поправимое... А люди-то какие у нас есть, люди-то? Разве плохи? — перебил молодой Полянкин, заглядывая мне в лицо.

— Да, люди хороши.

И мы невольно все улыбнулись на этот совершенно неожиданно сказавшийся грустный каламбур.

V

Признаться сказать, в конце нашего путешествия я начинал чувствовать себя все более и более удручен-

ным. Это однообразие и какая-то жуткость «общественного интереса» просто подавляли собой. Как-никак, все виденные мною личности, за исключением старика Полянкина, были, что называется, уже «тронутые рефлексией», слишком с определившимися взглядами на сложные житейские отношения,— взглядами, кроме того, в значительной степени уже невольно заимствованными из другой среды. Ножовкин еще мальчиком был отдан в Москву и воротился к себе домой только после смерти отца; он был хотя и самоучка, но не только грамотен, а по-своему и образован, благодаря своим московским знакомствам. Сам Струков в течение своей долгой карьеры народного ходока так часто вступал в сношения с людьми другой среды, и притом так упорно, настойчиво вращался в исключительной сфере юридических вопросов, что все это, конечно, наложило на него сильно свою печать. Притом все это были личности исключительные, более или менее, так сказать, «умственные аристократы». Мне хотелось уйти куда-нибудь от всех этих напряженных вопросов к самым простым, обыкновенным людям, обыкновенным житейским отношениям, тем более что «умная» беседа умных людей только поставила для меня целую бездну удручающих вопросов, которую, однако, ни я, ни они не могли разъяснить удовлетворительным образом или, по крайней мере, прийти на их счет к соглашению: все они были, несомненно, правы и в то же время у каждого из них чего-то не хватало.

Я выбрал наконец удобную минутку, чтобы ускользнуть от своих спутников, этих «вечных спорщиков» и вечно же, однако, неразлучных. Я спустился с крутизны береговой горы к реке и здесь сел на одном из бесчисленных плотов, тянувшихся вдоль берега.

Здесь, в виду игравшей яркими солнечными лучами спокойной реки, я почувствовал, как меня что-то сразу высвободило из какой-то узкой, удручающей клетки на простор, где так свободно стало дышаться. На плотах там и здесь стояли и сидели девочки и мальчики различных возрастов, все с величайшим удовольствием и вниманием занятые рыбной ловлей.

Я подсел к одной такой группе из троих подрост-

ков, из которых старшему было уже лет пятнадцать, но все они были низкорослы, худы, с зеленовато-землистыми лицами, с которых, казалось, никогда не сходила железная и наждаковая пыль.

— Хорошо ловится? — спросил я.

— Да, у нас хорошо ловится... Только теперь вот к полудню хуже.

— Вы, что же, по воскресеньям только и ловите рыбу?

— Да. Больше нечего делать.

— А гулянья у вас бывают?

— Нет, у нас гулянья нет... Порой вот разве в орлянку соберутся.

— А хороводов нет? И посиделок?

— Нет. У нас этих заведеньев нет, — улыбнулся парень, — у нас насчет этого строго, не то что в деревнях... Так вот, порой, пройдут стаей по закоулкам — и все.

— Ведь эдак скучно...

— Скучно.

— А читали вы книги какие-нибудь?

— Нет, у нас книг брать негде. У нас это не в заведенье. У купцов разве есть да кое у кого из мастеров... А у нас книг нет да и грамотных мало... Неколи... Вот разве певчих когда послушать сходишь в церковь.

— А на сходках не бываете?

— Нет. Что нам! Это большаки ходят.

— А вот артель была у вас... Знаешь ты?

— Слышал.

— Что же ты слышал?

— Слышал, говорили, что будто товар будем в склады сдавать.

— Что ж, это лучше?

— Говорили, лучше... Не знаем...

— А теперь ее нет?

— Должно, нет.

— Да ведь ты уж взрослый. Тебе нужно бы знать...

Мальчик молчал.

— А вы много работаете?

— Много. Встаем с огнем и ложимся с огнем.

— Кто же вас так много заставляет работать? Ведь вы не на фабрике.

Мальчик улыбнулся.

— Отцы, матери.

— А им что за охота? Ведь они же на своей воле живут?

— Мы мастера,— ответил мальчик посмелее.— Разве не знаешь павловских замошников? Это вот замошник, а это — ножовщик, это вот — личильщик.

Мальчики засмеялись.

Этот ответ им очень, видимо, понравился: как будто вдруг он им что-то открыл, совершенно новое. Им забавно было то, что все они, конечно, знали, что один из них — личильщик, другой — замочник, а между тем как будто только теперь об этом узнали, то есть узнали собственно, в чем их право на жизнь. Ведь об этом они раньше никогда не думали. А это вдруг так оказалось просто.

— Ты, должно, не здешний?

— Нет.

— То-то! — счел уже своим долгом один даже как будто упрекнуть меня в этом незнании.

Я видел много крестьянских детей, и нигде и никогда не поражали они меня такой оторванностью от жизни,— по крайней мере, от окружающей их жизни,— как здесь. В деревне как-никак ребенок стоит всегда в центре своей жизни, и когда он входит в нее взрослым членом, ему уже известны все уставы, весь смысл, все содержание этой жизни, вся сумма взаимных отношений между членами. А здесь? О, как далеки, недосягаемо далеки от этой живой жизни показались мне наши «мучительные» и «проклятые вопросы», наши мудреные интересы и разговоры, так терзавшие нас своей нерешимостью! Как недосягаемо далеки от этих окружавших меня юных жизней даже такие «свойские мудрецы», каковы Струков и Ножовкин, и даже молодой Полянкин! Да не потому ли и терзаемся мы безвыходностью решения этих проклятых вопросов, что живем и мучаемся где-то там, в стороне от живой жизни, наверху ее, и оттуда думаем снизвести благодать, а не прямо, непосредственно вызвать ее из этой живой жизни?

— Хотите, я с вами буду говорить о небе, о земле, о людях,— сказал я моим собеседникам.

Нужно было вообразить странное изумление и даже испуг, недоумение, какое выразилось на их лицах. Потом они все переглянулись и засмеялись.

— Вам говорил кто-нибудь об этом?

— Нет.

— А отцы?

— И отцы не говорят... Когда им!

— Ну, давайте, я вам буду рассказывать.

И все опять остановили на мне широко открытые глаза, изумленные, и улыбались (так это им казалось дико!), и я улыбался, потому что и мне казалось это так непривычным, диким, нелепым... Как это вдруг взять и начать говорить с детьми, т а к, без школы, без учебника, не будучи «призванным» педагогом, учителем? И имею ли право поверить им «великие истины», которые так мудрены, что сами мы добрались до них путем невероятных мытарств, да и то еще не сойдемся ни на одной безусловно? Все это мелькало у меня в голове. Но я утешил себя, что ведь «это не больше как шутка, нельзя же придавать этому какого-нибудь серьезного значения!». И конечно, это оказалось не больше как шуткой. Стал было я говорить, но у меня путался язык, я не умел приискать выражений; для выражения самой простой мысли не оказалось в нашем лексиконе таких же простых слов, варварская терминология исключала почти всякое общение человека с человеком. А помимо всего стало скучно. Что из того, что в две-три ребячьи головы я заброшу какую-нибудь мысль, шевельну воображение? Ведь это такие пустяки, как лишняя капля, упавшая в море. Но так ли это? Не потому ли и трудно решаются сложные вопросы человеческой жизни, что эти решения односторонни, что они никогда не брали всю человеческую личность целиком, не оставляя без одинакового внимания ни одного малейшего ее стремления и желания, не отвечали всей человеческой душе разом, гармонически? Но как это сделать? — спросят.

«Надо думать, надо искать средств, но не предрешать вперед, что это невозможно»,— припомнились мне слова молодого Полянкина; мне думалось, что он близок к истине уже потому, что близок к самой жизни.

Я продолжал еще «шутить» с детьми, рассказывая им первое, что попадало на язык, когда я заметил, что за нами давно уже внимательно следит какой-то мастеровой, в стар採ньком камлотовом кафтане и фуражке, сидя на корточках на самом краю плота и низко опустив голову к коленам. Он, казалось, не подавая вида, напряженно слушал нас одним ухом. Когда он заметил, что я пристально наблюдаю за ним, он поднялся и робко, тихо подошел ко мне, молча снял фуражку и улыбнулся. Это был худой, с маленьким, морщинистым, безбородым лицом рабочий, лет тридцати.

— Ребятки-то повеселели,— сказал он мне, показывая играющими глазами на детей.— Славно!.. Хорошо!.. Так душа-то у них и заиграла...

Я тоже улыбнулся на его наивное довольство.

— Вы не здешний, должно?

— Нет, не здешний.

— Славно! Хорошо! — опять как-то умиляясь, протянул он и плавно замахал руками, как крыльями,— а ведь всего только так... словечко... одно словечко... от сердца глубины... А вон уж он и окрылел!

— А вы... тоже не здешний? — спросил я.

— Нет. Я верст за тридцать отсюда, с фабрики...

— По той же части?

— По той же — ножовщики.

— Что же, у вас лучше на фабрике, чем здесь?

— У нас, может, получше кому ни то, потому мы еще при земле... Жены с ребятишками при земле, а мы на фабрике... Ну, все же хозяйство...

— И у тебя есть хозяйство?

— Есть. Мы четверо живем... вместе.

— Братья?

— Да, братья... Только не родные.

— Все?

— Все.

— И все женаты?

— Все, и дети у всех.

— И сообща все ведете?

— Все сообща... Мы мирно.

— Как же это вы так сошлись?

— Сошлись-то? — переспросил он, как-то странно блуждая глазами, как будто все эти мои вопросы

очень мало интересовали его, а мысль его была поглощена чем-то другим.

— Как же вы сошлись? — повторил я опять.

— Сошлись-то? А просто... Вот так же... Я был старший из всех... Бывало, вот эдак же... слово... от сердца глубины... С тем, с другим... Вдумчив я в жизнь-то был... сызмладости... Люблю... Ну, и они меня полюбили... Так и живем... Так, сами по себе сжились...

Он помолчал.

— А много таких-то! Сколь много!

Он вздохнул и покачал головой.

— Что же им мешает всем так же соединиться, сжиться?

Он посмотрел на меня долго, внимательно, потом задумчиво сказал:

— От страха.

— Перед чем же?

— От жисти запужаны... А напрасно... Только бы... одно слово... от сердца глубины... всем бы... И окрылеют!.. И... хорошо! Славно!

И он опять замахал плавно руками. Но вдруг глаза у него замигали чаще и чаще, сверкнули в них слезы. Он как-то стыдливо улыбнулся, сконфузился и, натянув на лицо разорванный козырек фуражки, быстро зашагал от нас, но не к берегу, а по плотам, перепрыгивая от одного на другой и все ускоряя шаги, как будто боялся, что мы пустимся за ним вдогонку. Я не мог оторвать от него глаз, пока наконец он не присел опять на самом дальнем от нас плоту, около такой же кучки юных рыболовов. Появление этого странного человека, так совпавшее с моими размышлениями, до такой степени было неожиданно и поразительно, что образ его навсегда запечатлелся в моей памяти. Более чем когда-нибудь мне хотелось остаться с глазу на глаз и поговорить «от сердца глубины» с самыми простыми, невидными людьми.

VI

Я пошел к старику Полянкину в надежде застать его одного дома. Мне так хотелось послушать попросту

этого самого обыкновенного старожилого кустаря. Действительно, мои молодые спутники еще не приходили, но у Полянкина я застал гостя, который, впрочем, при моем приходе тотчас же встал из-за стола, с самоваром и закуской, и стал молиться.

Гость пытливо обвел меня глазами и вышел.

— Это приятель у вас был, Павел Мироныч? — спросил я.

— Какой приятель! Так, из своих, сосед.

— А мне показалось, дружны вы.

— Ноне со всяким будешь дружен; еще со врагом-то повадливее ведешь себя, чем с приятелем... Ноне беда...

— Он кто же, кустарь, как и вы?

— Мастер, как и мы! Только что у него заведеньице просторнее... Теперь уж человек десятка на полтора распространился.

— Вот как!

— У нас ведь теперь много таких: у кого на пять человек, на десять, на сорок есть... Всякие!

— Он у вас покупать приходил что-то?

— Да. Уговаривал, вишь, сдай ему товар, что я наработал, вместо чтобы на рынок нести.

— Так он и скупщик?

— Мало ли у нас их! Да признаться, не люблю я его... Из шалаевских молодцов... Горлопан, мироед, везде это шныряет да нюхает... Такой лёза — беда!.. Только спаси бог!.. Вот тебя заприметил,— уж что ни то наплетет... Без этого уж не отстанет!.. Ах, бедовская стала жизнь!.. Без бога, брат, совсем стала жизнь... Эх, приустал! — вздохнул старик, садясь на стул.— Присядь... Вот утром-то к обедне сходил, а потом все вот товар подбирал... Вишь, какая куча! Надо подготовить.

— Куда же?

— Как же! Ведь у нас уж заведение такое: с воскресенья на понедельник у нас торжище... Торжище, друг любезный!.. Вот поглядел бы, какая травля-то идет!.. Господи боже мой! Проснется это все село в ночь, часа в два, огни везде зажгут... Там наверху (у богатеев) тоже все из пуховиков-то повылезут: и хозяева, и приказчики. Ключами загремят, медяками

Наш брат отовсюду к рынку потащит связки с образцами, что, значит, успел за неделю с семьей наработать. Ну, тут уж вся надежда: сбыл — сыт на неделю и материал на работу получил; не сбыл — так вместе с ребятишками в петлю и полезай... Никто и внимания не обратит!.. Вот оно у нас какое торжище-то!.. Не то, что все наши богатеи,— с округи все скупщики наедут, и жиды, и наши, всякие проходимцы: божба пойдет, ругань, мастеровой другой плачет, молит, за третьим жена с ребенком следит, как бы с деньгами в трактир не убежал... Что делается в эти часы — сказать нельзя!.. Так-то вот наш пот да кровь и продаются.

— Как же это у вас такое хорошее дело не удалось, артель-то?

— Артель-то? Хорошее оно дело, да тоже затейное...

— Отчего же так?

— Да оттого и есть... Артель там хороша, где народ весь ровня — вся артель. А то какая же у нас для всех артель? Вон сосед-то: он и кустарь сам, и скупщик... Ну, какого ему ляду в артели-то? Какой антирес? Артель прямо ему в оборотах препятствует... А бедного возьмешь: опять тоже ни к чему, - ему не выстоять, выждать он не может... Ему вон ноне ребятишкам и маслица ложечку надо, и крупки горсточку, и капустки... Он и бежит к скупщику: тот его и снабжает, и сыт он с ребятишками-то на нонешний день... Где это артель-то их всех прокармливать будет? Артель скажет, что я не богадельня... Так-то, друг!.. Пойдем-ка мы с тобой в садочек! Важно у меня в садочке-то. Только одна и утеха, да вот коровенкой кое-как раздобылся. Это уж вон Павел помог... А то где бы!.. У нас ведь хозяйство редко у кого есть... Да ведь оно хорошо при земле... А у нас все-то, все до маковой росинки купи... А от земли — бог ее ведает — с коих пор и кем отбиты!.. Еще прадедов наших замо́к обошел!.. Поди-ка, как мы своим мастерством тоже гордимся!

Мы вошли в сад, и старик развалился на траве.

— Любо, братец, здесь, важно! – заговорил он, смотря в небо.— Другой это раз выйдешь сюда, ляжешь на траву и думаешь: эх, кабы все-то на свете жили в дружбе да в любви!.. Семейственную жизнь

вели бы чинно-благородно... обчественные какие дела — опять же чинно-благородно, по согласу, по миру, чтобы было насчет каждого беспокойство и помощь в случае чего. Вот как, говорят, по старине люди живали. Так ли?

— Навряд, говорят, так было.

— Ой ли? Да ведь откуда ж ни то взялось эндакое помышление? Только ежели нам этого ждать — уж не дождаться. То есть так народ, братец, развихлялся! Тут бы тебе мир, соглас,— кажись бы, ничего для энтого не пожалел,— а между тем никак невозможно! Воюй — и шабаш! Да еще с кем и воевать-то — ребятишкам и маслица ложечку надо, и крупки, и то не разберешь хорошенько. Вот хоть бы наше дело взять — замок; думаешь, кому какая причина тебя в этом твоем ремесле обижать, а наместо того, слышь, англичанин тебе в карман, как тут, значит и насолил!.. Вишь ты, куда хватило: англичанин! Англичанин там себе форсы разные придумывает, а ты голодай... воюй с ним!.. Нет, уж так думаю, нам этого мирного житья не видать.

Мы еще долго промечтали со стариком с глазу на глаз в его «садочке». И самый этот садочек, и его «разные запахи», и «от сердца глубины» слова этого старого кустаря как-то врачующе действовали на мою душу: мало они разрешили моему уму, но я чувствовал, что для сердца тут было разрешено все.

VII

Наутро мне хотелось непременно побывать на «торжище», но я проспал самым безбожным образом, к своему стыду. Когда я проснулся, вся операция торжища была уже закончена давно, а вся семья хозяина работала в мастерской. Я было посетовал на старика, что он меня не разбудил, но он сурово на меня прикрикнул:

— Ну, чего тебе там смотреть? Как люди друг друга грабят? Нашел потеху!

Старик был сильно не в духе и уже ни одним словом не подавал надежды на возвращение к нему вчерашнего благодушного настроения. Товар ему при-

шлось сбыть самым невыгодным образом, на целую четверть цены меньше, чем давал ему сосед-кулак. Но он к нему все-таки не понес.

Я собирался к вечеру уезжать и до отъезда хотел зайти к одному фабриканту, по одному поручению. Сам фабрикант в селе не жил, но имел дома и склады. Его ждали в воскресенье, накануне торжища.

Я пришел к нему часов в 10 утра и застал его еще при делах. Это был человек средних лет, один из сыновей старого фабриканта. Он, видимо, не спал всю ночь: лицо и глаза были утомлены.

— Вот, еще не ложился,— сказал он.

— Да вам-то что же? Разве вы скупщик?

— Ка-ак же! Мы и свои делаем, и скупаем... Мы стягиваем в свои склады всевозможные изделия. Нам нужно, чтобы покупатель у нас находил все. Тогда мы не будем бояться конкурентов. Имея возможность взять у нас товар всевозможных образцов, зараз, в одном месте, без лишних хлопот, притом имея от нас, конечно, скидку и кредит, покупатель нас держится так, что его не отобьет никто.

— Вы не живете сами здесь?

— Нет.

— Отчего же вы не примете участия в здешних общественных делах? Вы — большая сила и помогли бы им распутаться...

— Пустое это дело-с!.. Так это у них промеж себя забава до поры до времени, всякие там артели, городовые положения, банки... Все это пустое.

— Отчего же?

— Да оттого-с, что не прочно все это-с, мечта!.. Нет, мы в стороне, не принимаем участия. Притом у нас дела большие-с; у нас у самих до тысячи человек в руках-то... Надо их управить-с!

И каким суровым холодом веяло от его слов!..

VIII

Вечером я собрался было ехать, но молодой Полянкин удержал меня, сказав, что завтра праздник и что мы можем веселее проехаться по реке, чем теперь.

Я остался, и наутро неожиданно сделался свидете-

лем необычайного происшествия. После обедни, часов около одиннадцати, я увидал, как от всех церквей шли крестные ходы, направляясь к площади. К хоругвям, иконам и духовенству постоянно приставали выходившие из домов обыватели. Оказалось, что это шли служить благодарственный молебен и вместе поднести адрес за полезную деятельность Петру Шалаеву от беднейшей части обывателей-рабочих. Гляжу, сердито, спешно и порывисто застегивая ворот кафтана под бородой, торопится из своего дома и старик Полянкин.

— Эй, сосед! Не видишь, что ли? Прошли уж,— стукнул к нему в окно знакомый нам скупщик.

— Иду! — крикнул старик и, сильно стукнув дверью, вышел.

IX

После обеда мы спустились к речке, к лодке. Молодой Полянкин все посматривал по сторонам, чего-то дожидаясь, но не дождался, и мы поехали.

— Ну, говорите ваше непосредственное впечатление, прямо, без всяких предисловий,— спросил он меня,— как вам наш город?

— Ваш город — заколдованный город, в заколдованном круге, и я не вижу даже проводника, который бы вывел из него.

Полянкин ничего не сказал и молча стал смотреть вдаль. Попов был еще сумрачнее, чем в первый раз.

— Эх, господа,— сказал наконец молодой Полянкин,— не верите в человеческое сознание... Повторяю, веру вы в это потеряли... А уж в это веру потерять — последнее дело. Потому что без веры в него — что же после этого человек?

— Я опять тебе повторяю: легко говорить,— заметил было Попов.— Какое тут сознание, когда...

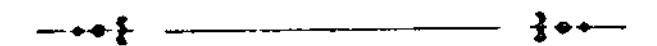
— Знаю, знаю! — перебил Полянкин.— Смотрите не назад, а вперед — и вот вам и вера!.. Впрочем, ее не передашь... Она вот здесь, в этих мускулах, в жилах... Если одрябли, отжили они у тебя, так зато у меня только еще наливаются!.. А вон и наши!

От берега к нам тяжело направлялась другая

лодка, в которой сидело человек пять молодых рабочих, брат и дядя Полянкина и двое подростков с разными рыболовными снастями.

— Вот и важно, братцы! Дружнее, вперегонку! Валяй, Пров, «Вниз по Волге».

Мы обогнули гористый мыс, и молодой, сильный тенор затянул песню. Под незамысловатый, но подмывающий и захватывающий мотив этой родной песни, так привольно разносившийся над тихою рекой, в моем воображении, один за другим, вставала целая вереница знакомых образов, всех этих «хороших людей», томившихся и мучившихся в невыразимо сложной сети, когда-либо прежде так хитро сотканной для них жизнью. Но тем не менее, больше чем когда-нибудь, мне думалось, что молодой Полянкин был прав: где есть живые люди, там будет и жизнь.



Надо торопиться

Посвящается памяти В-ой
Suum cuique...[1]

I

В небольшом трехоконном домике чиновника Побединского, стоявшем на крутом обрыве к гнилой речонке города N, произошло очень важное для обитателей его событие: вчера умер от скоротечной чахотки единственный сын хозяина, гимназист 6-го класса. Болезнь свалила его быстро. Еще неделю тому назад можно было каждое утро, в обычные восемь часов, встретить Костю Побединского — этого длинного, сухого, сгорбленного, с худым лицом и близорукими глазами в очках юношу, поднимавшегося с трудом на высокий вал, для сокращения пути в гимназию.

Это был юноша тихий, смирный, способный — один из первых учеников гимназии. Все прочили ему хорошую карьеру, и только чересчур напряженное прилежание и какая-то лихорадочная торопливость, которая замечалась во всех его действиях, да как будто несколько блуждающая мысль — признак человека, постоянно сосредоточенного на каком-нибудь одном пункте, вызывали некоторое опасение за его судьбу. Но вообще им были довольны все. Даже был доволен отец, добрый в сущности человек, но имевший странный взгляд на воспитание: он считал обязательным быть суровым с детьми и не допускать «нежностей». Он говорил: «Наша жизнь трудная. Нам не к сердцу миндальничать... Нужно, чтобы наш брат с пеленок закалял себя, чтобы каждый час у него был рассчитан... Нам время терять нельзя...» И благодаря такому взгляду он упорно душил в себе всякое проявление

[1] Каждому свое... *(лат.)*.

чувства, чтобы не выказать «слабости». Тем не менее дети хотя и боялись его, но уважали. Отец был суров и с Костей, но Костя чувствовал по интонации в голосе отца, по некоторым чуть приметным взглядам, на которых он ловил его, что отец им доволен, что он любит его, что он верит в него и ждет от него многого. Действительно, отец возлагал на своего единственного сына большие надежды, что, наконец, он выведет их всех в «люди». Это был самолюбивый человек. В свое время он сам мечтал «выйти в люди», выбиться из всенивелирующей пошлости и приниженности — на это он потратил много энергии (уже будучи чиновником, он приглашал к себе на уроки семинаристов, платил им из своего скудного жалованья, мечтая, при помощи их, пополнить недостатки собственного образования). Когда у него родился Костя, он еще сам мечтал сдать вступительный экзамен в университет! Но нужда и неудачи час за часом обрывали крылья этой энергии, и, не выигрывая в осуществлении своих мечтаний, он только проигрывал по службе, как человек, смотревший несколько свысока на своих начальников и сотоварищей. Это его озлобляло. Костя рос, и понятно, что все мечты отца-неудачника сосредоточились на сыне. Он следил за ним, за каждым шагом в его развитии с каким-то мучительным томлением. Трудно сказать, кому было больнее и обиднее от каждого неудовлетворительного балла — отцу или сыну. Отец почти никогда не наказывал Костю, но последний в тысячу раз больше всякого наказания боялся взгляда отца, этого невероятно мученического и страдальческого взгляда, как будто с него заживо снимали кожу. «Эх, Константин! — бывало, скажет отец таким невыносимо-страдальческим тоном, что в Косте перевернется вся душа.— Неужели, братец, нам всем так и суждено сгибнуть?.. Ведь, кажется, бог не обидел нас ни умом, ни талантами, а?..» И этого было достаточно, чтобы в Косте вызвать всю силу напряжения, которая в нем могла найтись. Целые ночи пролетали за латинскими и греческими вокабулами; портились глаза, горбилась спина, преждевременная дряхлость сказывалась в молодом организме... Вот уже проходили последние годы гимназического ученья, еще

несколько шагов и — Рубикон будет перейден; там, впереди, все же будет легче... И еще томительно-мучительнее наблюдал молча за сыном отец, и лихорадочно-торопливее напрягался сын.

Костя умер в конце осени. Легко вообразить, какое впечатление произвела его смерть на отца. Стоило только взглянуть на эту высокую, сухую фигуру, суровую и строгую, с гладко выбритым подбородком и ввалившимися, зеленоватого цвета, щеками, с поседевшими за одну ночь волосами,— фигуру, неподвижно стоявшую целыми часами в маленькой зальце у гроба сына, чтобы понять, какую душевную муку переживал Побединский. Все три дня, пока шло «убиранье» покойника, прощанье, похороны, поминки, Побединский почти ничего ни с кем не говорил. Когда кто-то из педагогов захотел пособолезновать и сказал Побединскому, что Костя «надорвался», что надо бы ему полегче относиться к делу, что ведь так невозможно...

— Что невозможно? — сурово перебил его Побединский.

— Так надрываться... Надо легче относиться к жизни.

— Легко-с?.. А позвольте вас спросить, если бы мы не надрывались в школе, легче нам было бы жить?.. Я вас спрашиваю: легче было бы нам жить?.. Нет, вы при наших детях этого не говорите...

— Но ведь вот какой результат...

— Пусть! — сурово проговорил Побединский.— Это лучше... Не вывезло, ну что ж?.. Лучше смерть, чем прозябание... Для нас иначе нельзя... Для нас отдых только впереди...

II

Когда Костя лежал уже мертвый, сначала на постели, потом в гробу на столе, потом в церкви, за ним, в наивном недоумении, упорно, со страхом и любопытством следили два бойких голубых глаза. То была краснощекая, с густыми кудрями двенадцатилетняя сестренка его Надя, прозванная «чемоданчиком» самим Костей за ее изумительный аппетит. Когда

Надя увидала рыдавшую мать и мрачное, смоченное слезами лицо отца, она игриво и неслышно, как кошка, просунула голову в дверную щель в комнату, где лежал на кровати труп Кости, и долго внимательно смотрела в его сухое, зеленое лицо и спрашивала: что же это такое? Это и значит умер? Значит, он больше не будет сидеть в кабинете за латинской грамматикой или заниматься с нею по арифметике? Или он полежит так еще с неделю, другую и потом встанет, и опять она будет видеть его за тем же столом, сгорбленного, в очках, у лампы с голубым абажуром, низко уткнувшего свой нос в толстый лексикон? Да, конечно, так, решила она и убегала прыгать на улицу.

Но вот принесли гроб. Костю нарядили, положили в гроб и поставили среди залы на стол. И опять, когда все ушли, два быстрых и внимательных глаза сверкнули в дверной щели, потом высунулась кудрявая головка, потом два несмелых шага, и Надя опять в недоумении всматривается в новую незнакомую ей картину. Она уже ничего не думает, она поражена и только спрашивает: «Ну, что же дальше будет?»

Потом пришли вдруг разом все товарищи Кости, весь класс, подняли на руки гроб и унесли в церковь, а оттуда так же понесли на руках на кладбище.

Особенно забавны были ей двое, которые надели на головы крышку гроба, словно одну большую шляпу... И Надя все продолжала спрашивать себя: «Что же дальше?» Дальше — Костю закидали землей и уехали...

«Только-то? — это был последний вопрос, который так и застыл в ее больших глазах.— И больше уж Костя не будет учить свои латинские вокабулы? Не будет сидеть сгорбившись целые ночи за своим столом у голубого абажура лампы? И для этого только он сидел сгорбившись столько дней и ночей?»

И опять она спрашивала себя: «Только-то? И больше ничего не будет? И все тут?» И никак она не могла с этим примириться, и все думалось ей, что Костя вернется и опять сядет у голубого абажура, потом будет сдавать экзамен, все будут довольны — и он, и папа, и мама... Всем будет так весело, потому что все будут мечтать, как скоро Костя «выйдет нас-

тоящим человеком», как для всех них начнется какая-то новая, не такая — «настоящая жизнь».

Как для отца и матери, так и для нее в Косте заключались представления, все мечты о будущем: что-то такое неизвестное, но несомненно новое, хорошее, какие-то громадные перспективы должен был открыть им Костя. На нее, девочку, хотя ей и было уже двенадцать лет, мало обращали внимания; если мать, стоя у ее постельки, и мечтала иногда об ее судьбе, то судьба эта как-то неизбежно всегда приурочивалась опять-таки к тому же Косте. Костя же занимался с нею в свободное время; хотя в городе два года была уже открыта женская гимназия, но Надю отдавать не торопились, стесняясь средствами.

Кудрявая, краснощекая, она все еще беззаботно носилась по улицам, по садам и огородам, перепачканная, пыльная, больше напоминавшая резвого уличного мальчишку, чем степенную барышню.

Смерть Кости как-то сразу оборвала даже ее беззаветную резвость: даже для нее стало понятно, что что-то оборвалось. Бегает-бегает она теперь и потом вдруг, совершенно невольно, забежит в кабинет, в залу, и присядет в уголок, и долго смотрит в передний угол, где недавно стоял дьячок, читал Псалтырь, искрился и блестел большой серебряный подсвечник в изголовье гроба,— а вот тут гроб и в нем Костя... И ее охватывало какое-то страшное, гнетущее недоумение, и ей казалось, что теперь уж нельзя почему-то больше бегать и лазать по деревьям так, как она бегала и лазала раньше, «при Косте»... Что же нужно было делать, как жить «по-новому», она не знала, но чувствовала, что что-то надо было делать по-другому.

Однажды, когда она так же сидела в уголке зальца, ранним утром, вернувшийся откуда-то отец вдруг заговорил с ней.

— Надежда,— сказал он с обычною суровостью,— оденься получше... Поди, мать оденет... Да скорее, надо торопиться!..

Надя сначала вздрогнула (она боялась отца бессознательно; он был для нее таким же воплощением грозной правды, как громовержец), потом она вся вспых-

нула, вскочила и робко стала смотреть на отца широко открытыми глазами.

— Ну, ступай же... Говорю: торопиться надо! Еще, может быть, успеем...— повторил отец.

Надя робко и смиренно опустила глаза, сконфузилась и степенной, торопливой (совсем, совсем не прежней прыгающей, козьей) походкой пошла к матери: во всем ее существе вдруг сказалось, что вот теперь наступило это «новое», и новое это заключалось прежде всего в том, что куда-то зачем-то неизбежно, необходимо «надо торопиться»...

Мать одевала ее плача и крестя (из ее головы, конечно, не выходил Костя, и, может быть, в ее воображении мелькнул новый гробик)... Вот Надя в голубом платьице, белой пелеринке, капоре и стареньком драповом пальто вышла с отцом из дому. Отец шагал широким, торопливым шагом, Надя семенила, едва поспевая за ним, взволнованная, запыхавшаяся, полная неясных, тревожных ощущений.

— Ну, Надя,— говорил отец,— теперь уж ты... Теперь на тебя вся наша надежда... Тебя и зовут Надеждой,— улыбнулся он ей.— Почем знать, может быть, это и недаром... Бог знает, к чему все ведет!.. Конечно, ты не мальчик, не Костя... Уж от тебя ждать того нельзя, а все-таки... Нам больше нечего делать: мы не баре, чтобы выезжать на балы, заниматься изящными искусствами и обольщать богатых женихов; мы и не купцы — у нас нет средств делать тебе приданое... Все наше — мальчик ли, девочка ли, все равно,— все наше вот здесь,— постучал он себя набалдашником трости в околыш фуражки.— Ум, Надя, знание... прилежание... вот твое приданое!..

Так говорил Побединский, как будто действительно думал, что в жизни разночинца нет ни старых, ни молодых, что одинаково для всех должно быть присуще сознание суровой борьбы с жизнью.

Побединский вел Надю определять в гимназию, в которой уже начались занятия. Надо было торопиться поступлением. Кое-как, хотя и с грехом пополам, Надя сдала экзамен во второй класс, и ей сейчас же опять надо было торопиться — догонять своих одноклассниц.

III

Прошло пять лет (и как изумительно быстро они пролетели!), и вот в том же трехоконном домике, в том же узеньком и душном кабинете, пред той же лампой с голубым абажуром, на том месте, где некогда сидел Костя, так же все пять лет сидела Надя. И как она стала похожа на Костю! Давно уже нет у нее ни прежних розовых щек, ни пухленьких ручек, ни того завидного аппетита, за который прозвал ее Костя «чемоданчиком»... Высокая, длинная, с выдавшимися лопатками и плоскою грудью, с тою же лихорадочною торопливостью, как и Костя, в обычные восемь часов утра шла она по дороге в гимназию... Иногда утомленный организм просил отдыха, такая нападала страстная потребность лени, что Надя бросалась на кровать и долго неподвижно лежала, не думая ни о чем, не чувствуя ничего... Это полное бездействие, когда утомленный мозг переставал напряженно работать, доставляло Наде единственное безмерное наслаждение... И казалось, пролежала бы она так долго, бесконечно долго.

— Надя, ты приготовила уж уроки? — раздается ровный, тихий голос отца, заглядывающего осторожно в комнатку Нади, когда что-то долго не долетало до его слуха шуршанье книжных листов.— Нам бы, Надечка, только теперь поналечь... Уж недолго... Только бы теперь не застрять... Поналечь, поторопиться... А уж там...

Отец не договаривает, что такое будет «там»,— да не знал этого ни он, ни Надя... Надя только видела перед собой все тот же невероятно страдальческий, мученический взгляд отца, в котором так ярко светились и надежда, и несбывшиеся мечты, и эти вечные, тревожные потуги достичь чего-то «нового», хорошего — не такого, как эта окружающая жизнь.

Надо торопиться...

Надя хорошенько не может определить, когда именно это совершилось. Ни мать, ни отец ей ничего не говорили; сама она в своей безотчетной, лихорадочной торопливости, погруженная в учебники, не могла всматриваться внимательно в то, что происходило

вокруг нее. Только уже спустя неделю она стала замечать, что отец позеленел и поседел, что он весь вдруг как-то опустился. Аккуратный, исполнительный и трудолюбивый всегда,— он теперь сидел целыми часами и днями у окна, молчаливый и мрачный, и курил трубку за трубкой; целыми неделями он не снимал халата, не делал шага из дому, не брился... Он забывал пить и есть, пока его не звали...

— Мамаша, что такое сделалось с папой? — спросила Надя мать.

— Ну что же такое? Ничего... Все, бог даст, исправится! Очень уж он к сердцу принимает... А ты не думай об этом. Все, бог даст, уладится...

Надя догадывалась, что отец отказался от места. Она уже замечала, как начали исчезать из дому более ценные вещи, наконец, материны платья; потом не стало кухарки, и мама, всегда молчаливая, кроткая, простая, сама возилась в кухне. Однажды Надя взглянула в окно и вдруг вспыхнула: мама, накинув на голову шаль, несла с колодца через улицу на коромысле ведра с водой...

Надя встала, тихонько приотворила дверь в соседнюю комнату и посмотрела на отца: глаза его были красны, и какая-то судорога сводила его губы (он не замечал ее). Она тихо подошла к нему. Он вздрогнул и так умоляюще, так ребячески-беспомощно взглянул ей в лицо, что у нее сжалось сердце и подступили к горлу слезы.

— Папочка, папа! Зачем так убиваться... Я для вас все... сделаю... Я... готова на все... только уж немного подождать... Вот экзамены,— говорила, волнуясь, заикаясь и плача, Надя, сжимая руку отца.

— Надя, я, конечно, знаю, вы меня любите... Мать меня любит... Но я не выношу этого смиренья. Это слишком... Это значит — укорять меня... Но я не мог... Я самолюбивый человек, я не мог стерпеть, когда видел, что мою голову, мой ум, мои труды другие... бессовестно и почти нагло... не стесняясь, не стыдясь... выдают за свои и... торжествуют!.. Потому что они начальники, а я — письмоводитель... служу по найму... что это так и должно быть... что я получаю деньги... за это... Впрочем, ступай учись,— сказал отец и как-то

торонливо поднялся, погладил ее рукой по голове и стал одеваться.

В этот день пришел он поздно. Надя только что легла. Она стала прислушиваться. Отец был необычайно весел, смеялся над матерью, шутил, считал какие-то деньги... Потом он, нераздетый, повалился на диван и сразу заснул. Надя вскочила и, приотворив дверь, заглянула сначала на спавшего отца. Лицо его изумило ее: у него никогда не было такого выражения, какого-то блаженно-глуповатого, как у пьяного... Он то храпел, то что-то бормотал бессвязное, искривляя губы в глупую улыбку... Надя испугалась и подошла к комнатке матери и так же тихо заглянула в дверь. Мать стояла на коленях пред образом и, припадая к полу, жарко молилась, обливаясь слезами... У стены, на кроватке, спала крепко маленькая шестилетняя сестренка Нади... И как пуста, неуютна показалась Наде комнатка матери, в которой прежде так было хорошо, так много было вещей на этажерке, на комодах,— еще остаток материнского приданого... Сколько, бывало, хороших вечеров провела Надя в этой комнатке с матерью, которая показывала ей каждую безделку и долго-долго рассказывала длинную повесть о своей девической жизни. Надя так же тихо вернулась в свою комнатку; сердце ее усиленно билось, на глазах навернулись слезы... Вот ей так ясно представился Костя, сидевший по ночам у лампы с голубым абажуром. Надя забралась под одеяло на кровати, а голова продолжала работать.

— Нет, я не такая, как он... Я ленивая... Мне так тяжело сидеть за учебниками... А если я не выдержу?.. Господи, помоги мне!.. Нет, надо торопиться... Так нельзя...

Мысли носились разорванные, бессвязные в голове; куда, зачем торопиться,— Надя опять-таки не знала определенно, но она чувствовала всем существом, что на нее ложится все настойчивее какой-то фатальный долг — долг жизни... И ни на минуту в ее голову не закралось сомнение в необходимости этого долга. Ее доброе, юное сердце говорило ей одно, что она должна быть на все, на все готова...

Это было уже спустя полгода, незадолго до выпуск-

ных экзаменов. Отец опустился совсем; он каждую ночь приходил навеселе и иногда приносил денег, иногда сам уносил последние ценные вещи. Их уютная квартира пустела час за часом. А мать смирялась все больше и больше, все уходила в себя, все сокращалась, как улитка, все становилась молчаливее и только с какою-то подвижническою настойчивостью отдавалась хлопотам по хозяйству. С утра до ночи она варила, шила, стирала без слова упрека и даже иногда весело смеялась, когда в праздничный вечер собиралась вся семья около чистого самовара. И ее веселость была так заразительна, что сам Побединский пускался рассказывать городские новости, и всем было так хорошо, как будто лучшего они не знавали раньше и лучшего не желали... Но это были очень редкие минуты; достаточно было кому-нибудь припомнить какую-нибудь недостающую вещь — и вдруг иллюзия разлеталась, опять болезненно сжималось сердце, отец как-то порывисто поднимался и торопился скрыться.

Однажды, часов в семь вечера, отец воротился не один; с ним пришел молодой человек, недавно приехавший в город, кандидат на судебные должности. Его высокую, с гордо поднятой головой, франтоватую фигуру Надя встречала на городском бульваре, когда ей приходилось проходить из гимназии с подругами. Эти же подруги давно и ей указывали на молодого человека, которого звали «подававшим надежды», так как первая защитительная речь его в суде произвела эффект, а слух, что у него есть в Петербурге в сенате двоюродный дядя, совсем утвердил прочно его репутацию как выгодного жениха. Надя сидела за учебником в своей комнатке, когда в зальцу вошли отец и молодой юрист. Она как-то вся замерла, и почему-то сердце ее забилось. Как ни заставляла она себя погрузиться в учебник, но это было свыше ее сил. И не столько молодой человек занимал ее, сколько все то, что связывалось с ним... Она слышала, как весело говорил ее отец, как вдруг он преобразился и стал тем прежним, гордым, энергичным, умным, она чувствовала, что он как будто вновь воскрес... Чувствовала она и то, что молодой юрист не был пустой фат, что он был и умен и проницателен, что он умел находить и ценить хоро-

ших, честных людей и что это он преобразил ее отца, потому что сумел оценить его и сочувствовал ему, несмотря на его внешнюю приниженность и опущенность... Они говорили оживленно и долго. Отец ее с давно уже небывалым увлечением рассказывал о своих прежних планах и стремлениях, о том, как ему трудно было выбиться и быть оцененным среди окружающей косности. Надя пошла было к двери, чтобы в щель полюбоваться отцом, когда увидела, как молодой юрист вскочил и с чувством пожал руку отцу. «Я вас понимаю, я вас понимаю»,— сказал он.

Отец сиял...

Наде показалось, что они оба направились в ее сторону... Она в бессознательном испуге отшатнулась от двери, поспешно села за стол и уткнула голову в книгу.

Через несколько минут действительно дверь тихо отворилась, и в нее, словно крадучись, вошел отец. Надя взглянула на него... Господи! что это было за лицо: тут и стыд, и робость, и мольба, и страдание, и боязнь за что-то.

— Надя,— прошептал он ей, чуть не умоляя,— пойдем к нам, посиди с нами... Он такой хороший, такой умный, такой...

Побединский не договорил.

«Вот,— подумала Надя,— вот, значит, это самое...»

Кровь ей бросилась в голову, руки побелели и задрожали; взволнованная, она поднялась и вышла в залу...

IV

Была осень. По одной из крайних улиц Песков, в Петербурге, грязной и вонючей, торопливо шла девушка лет двадцати трех, в черном платье, стареньком драповом пальто, поношенном пледе и черной шапочке. Мелкий дождь, перемешанный с снежными хлопьями, застилал воздух. Утро было серо, холодно, мрачно... Девушка приостановилась, вынула наскоро записку из кармана, взглянула расписание лекций и часов уроков, затем посмотрела на поношенные, обтертые никелевые

часы и маленькими шагами еще быстрее продолжала путь. Часы показывали всего четверть девятого. Девушка шла по направлению к Николаевскому госпиталю, куда в то время только что были переведены женские медицинские курсы. Девушка была студентка. По устремленным беспокойно вперед взглядам, по лихорадочной торопливости, по всей той напряженной заботливости, которая замечалась во всем ее существе, было очевидно, что ей надо куда-то торопиться и что эта торопливость стала для нее настолько обычной, необходимой, что придавала какой-то особый типичный отпечаток всей ее фигуре, походке, жестам и даже костюму.

Впрочем, как ни озабочена была эта девушка, сегодня, казалось, мысли ее сосредоточены были на чем-то далеком не только от лекций, грязных улиц Песков, длинных казарм Николаевского госпиталя, от уроков с ленивыми и прилежными учениками и ученицами, но даже от выпускных экзаменов, которые уже должны были начаться скоро.

Вот ей встретились гимназистки, торопившиеся в классы, и одна из них почему-то особенно обратила ее внимание. Она приостановилась, посмотрела ей вслед и улыбнулась.

«Это, должно быть, семиклассница,— подумала она.— Мне кажется, я была очень похожа на нее в то время, там, в нашем городишке... Та же неопределенная торопливость куда-то, тот же блуждающий взгляд и то же наивное неведение святого пути, целей, сил... Господи! И вот еще пролетело пять лет... И каких еще лет! Какой горизонт вдруг открылся предо мной, какая масса новых, неожиданных впечатлений! Какая жизнь, о которой я не имела никакого представления, вдруг стала моей жизнью! Я стала участницей в ней. Пять лет назад была ли у меня хотя мысль о том, что это будет со мною?.. Удивительно, как все это непостижимо делается у нас!.. Право, часто думается, что мы — такие ничтожные, маленькие существа со всем нашим знанием, со всей нашей волей, энергией... Не случись того, в сущности такого незаметного обстоятельства, пройди этот разговор, простой разговор двух девочек-гимназисток, мимо меня, ну, просто даже не

вслушайся я в него хорошенько,— и вот я не была бы, может быть, здесь, не были бы все мои здесь, не было всей моей жизни: было бы совсем другое настоящее, другое будущее. Может быть, я была бы уже давно-давно замужем за молодым юристом (теперь, говорят, он уже прокурор, значит — я была бы прокуроршей), у меня были бы дети, мамки, няньки, хозяйство, вечера, игра в винт, визиты к судейским женам, читали бы романы, ездили в театр... И папа был бы доволен или, по крайней мере, материально обеспечен... Муж, наверно, пристроил бы его... Мама ходила бы опять в шляпках, не стирала бы белье, не носила бы воду... И все это было бы делом одного месяца, одной недели!.. Прямо после выпускных экзаменов в гимназии могла бы быть моя свадьба... И вдруг... Как точно я вспоминаю всю эту сцену! Вот мы все, выпускные, собрались после педагогического совета слушать объявление о результатах экзаменов... Вот вышла начальница с ведомостью в руках, сопровождаемая всем советом. Я чувствовала, что глаза всех обращены на меня. Вот начальница подходит ко мне, подает свою руку: все улыбаются и поздравляют меня с золотою медалью. Она говорит, что я — звезда не только нашей гимназии, но всей губернии, что я поддержала честь всех наших женщин, всего нашего молодого женского образования; что теперь моими успехами, моим усердием упрочено существование нашей гимназии; что я оправдала возлагавшиеся на меня надежды; что теперь враги женского образования обезоружены мною!.. «Браво, Надежда Побединская: мы победили в лице вашем! О, недаром, недаром у вас такие имя и фамилия!» — говорит начальница, добродушно улыбаясь... Нет, я этого не ожидала, такого триумфа, я чувствовала, что едва стою на ногах, что у меня дрожат руки. Но, что всего важнее, я почувствовала, что вдруг в мою душу проникло что-то новое, какие-то не изведанные никогда прежде ощущения. Помню, я была сильно взволнована: на меня все смотрели как на диво, даже все наши ученицы, как будто я в самом деле была героиня, как будто я действительно совершила необычайный подвиг!.. Вот чтение ведомости было наконец кончено... Шумная толпа учениц рассыпалась по

рекреационному залу. Еще вся трепещущая, я подошла к окну с одной из своих подруг и о чем-то говорила с ней, плохо слушая ее. В это время невдалеке от нас о чем-то горячо говорила собравшейся группе одна из наших выпускных. Эта была девушка простого звания, старше нас всех, из дальнего уездного городка: она поступила к нам уже в старший класс прямо. Говорили, что она была прежде учительницей в селе, затем в свободное время приготовилась одна, без всякой помощи, к экзамену в старший класс. Признаться сказать, мы все пред ней казались детьми. Мы почему-то боялись ее, чуждались, избегали говорить с ней, даже когда она сама заговаривала. Она читала какие-то книги, о которых мы ничего не знали; она знала в жизни то, о чем мы не имели понятия; она говорила всегда так серьезно, когда нам хотелось или шалить, или хохотать, или торопиться учить уроки, как мне... Теперь, прислонившись к подоконнику и постукивая по коленкам книгой, она говорила собравшейся вокруг нее кучке наших.

— Ну, господа... или как вы теперь — mesdames?.. Куда? Замуж?.. На отдых?.. Утомились?.. Говорят, у многих из вас уже есть женихи... Вот, говорят, у Крыловой (самая младшая из нас, маленькая и совсем выглядывавшая девочкой), говорят, даже у нее есть жених,— говорила она, смеясь и показывая на Крылову.

Крылова засмеялась сама, покраснела. Засмеялись и все.

— Впрочем, шутки в сторону... В самом деле, меня изумляют наши... дочери разных всяких таких... разночинцев. (О богачах я уже не говорю!) Не понимаю!.. Учатся в женской гимназии, которая содержится на счет земства, выучатся на чужой, мужицкий счет, получат золотые медали, и вдруг — замуж!.. играть в ералаш, танцевать на вечерах, читать романы, ездить по визитам... Изумительно!.. И, главное дело, всем им кажется еще, что они героини, что они в самом деле кому-то большое одолжение сделали... А по-моему — это просто подло!..

И говорившая пожала презрительно плечами. Все окружавшие слушали ее молча с каким-то страхом и

стыдом, как будто они действительно только что сделали большую шалость.

— Побединская! — вдруг обратилась она ко мне, не смотря, впрочем, прямо мне в лицо.— Вы замуж... с золотой медалью? (Она, бедная, едва получила удовлетворительные баллы, потому, как говорили классные дамы, что много тратила времени на чтение «необязательных» книг.) А вы, Петрова, неужели тоже? И вы, Кольцова? И вы, mesdames?..

Но в это время начальница громко сказала:

— Ну, дети, теперь на отдых!.. Будьте здоровы, веселы, счастливы!..

— Да, конечно... теперь уже отдыхать... Чего же больше! — заметила суровая девушка. И все стали расходиться.

Не знаю, как ни тяжело мне было жить здесь, чего только не перенесли мы, но, кажется, более тяжелых минут, как тогда, я не переживала.

Я вышла из гимназии. Я не замечала, скоро или тихо я шла, одна или с подругами. Я помню только, как у меня стучало в висках, кровь то бросалась в лицо, то отливала, мысли бессвязно носились в голове. Все перемешалось: торжество и позор, радость и отчаяние, жажда отдыха (просто даже физического отдыха) и решение тотчас же, не теряя ни минуты, снова идти и идти. Но как идти? Это безумие, невозможность!.. Бросить всех своих? И вот опять мысль о матери, об отце... А он теперь такой стал бодрый, хороший... в нем только что вдруг все поднялось, воскресло!..

— Ну, Надечка! — сказали враз отец и мать, встречая меня такими сердечными поцелуями... А мама так радовалась, что уж теперь я отдохну, и все крестила меня.

Но дальше я ничего не помню. Прошли три невыразимо томительных, тяжелых дня: у меня была горячка, и вот, перед кризисом, я, помню, пережила таких же три, четыре дня... пока, наконец, все оборвалось. Я не выдержала и разразилась истерическим плачем. Я плакала громко и неудержимо, плакала целые часы. Отец был особенно нежен со мной. Однажды он подошел к моей кровати, робко присел сбоку и стал гладить

меня по волосам. Потом, видя, что я немного успокоилась, он тихо сказал:

— Надечка, ты вышла бы в залу, тебе было бы лучше...

— Я не хочу, я не люблю его,— закричала я, не понимая сама, что говорю, зачем.. и не в силах была сдержать себя.— Я пойду скажу ему,— говорила я, быстро вскакивая с кровати и в то же время смутно сознавая, что я делаю что-то нелепое, что я все брежу, сумасшедшая...

Отец был бледен,— даже я это заметила. Он быстро положил мне на горячие губы свою холодную ладонь, уложил меня на кровать и вышел...»

Побединская оглянулась. Там и здесь по тротуарам шли, обгоняя и догоняя ее, студентки. Впереди виднелся Николаевский госпиталь. Воспоминания Побединской резко оборвались, и мысль пошла какими-то неуловимо быстрыми скачками, будто торопясь что-то закончить.

Вот Побединской почему-то вспомнился вагон железной дороги. Поезд словно плывет, покачиваясь и погромыхивая цепями; тут и сердитый, молчаливый отец, и мать, которая то и дело крестится, и сестренка, с любопытством осматривающая пассажиров, и она, которой почему-то неловко смотреть и на отца, и на мать, и на сестру... Да и все они, хотя и сидят друг против друга, избегают смотреть один на другого. Когда же глаза ее встречались с глазами отца или матери, у нее вдруг почему-то сильно начинало биться сердце: она вспыхивала и опускала свои глаза...

Странно! У нее из головы не выходило сравнение их поезда с кораблем. Ей казалось, что вот именно так, должно быть, совершал свое знаменитое путешествие Колумб... Кругом безграничное море. Корабль плавно несется, чуть покачиваясь и скрипя снастями; путники молча стоят на палубе и смотрят вопрошающе то в безвестную даль, то на стоящего впереди их, со сложенными на груди руками, вперившего взор в туманную дымку горизонта, большого человека. Этот человек тоже невольно опускает глаза, когда случайно встречает обращенные к нему взоры спутников. О, он так хорошо знает, о чем спрашивают его эти взгляды,

он так страшно сознает ответственность, которую возложила на него судьба!.. И ей казалось, что и у него, должно быть, замирает сердце,— у этого большого человека, как и у нее, слабой, худой, бессильной девушки.

Потом быстро проносится в ее голове другая картина. Сырая, холодная квартира в одном из узких переулков Выборгской стороны (тогда они еще жили там). Все они теснятся в одной маленькой полутемной комнатке, потому что две соседние сдают жильцам. Вечер... Побединская возвращается с урока. У ворот дома с чем-то возится народ: это привезли ее отца, в продранном пальто, растерзанного; его тащат дворники во двор, вот его вволокли в их комнату и положили на старый, провалившийся диван...

И первая мысль, которая пробегает в голове Нади, это — мысль скверная. Господи, когда же будет конец?..

Несчастный неудачник измучился сам, измучил других и падал все ниже и ниже...

Наутро он лежал уже на столе под образами.

«Это он от меня погиб... Зачем я их всех завлекла сюда?.. Он понадеялся на мои убеждения, что его здесь лучше оценят... Я сама верила в это искренно. Но как же я могла иначе?.. Отчего он не дожил?.. Вот уж... скоро... конец... Вот еще последние шаги, последние...»

Побединская стояла уже у госпиталя. Она отворила массивную дверь. На нее хлынул знакомый шум, ряд воспоминаний моментально оборвался и потонул в совершенно новом, другом круге представлений, интересов, идей.

V

По широким коридорам и пустым палатам были рассеяны своеобразные группы студенток. Одни кого-то слушали, другие горячо разговаривали, третьи поспешно списывали программы и расписание экзаменов.

— Господа! — крикнула одна высокая студентка, с черными кудрями девушка, поднимая кверху сверток лекций.— Господа! Кто идет к Р.? У него сегодня

последняя операция. Больше нам не удастся уже видеть... торопитесь, а то провалимся все на позор всему женскому миру!

— Это ужасно! — также громко отвечал ей кто-то из группы.— Уже теперь только и слышишь: а вот посмотрим, как-то вы оправдаете надежды?.. Говорят, на наши экзамены соберется вся знать: словно — спектакль!..

— Ну, авангард, крепись! — крикнула первая черноволосая девушка.— За тобой пойдут целые полки!..

— Побединская, я совсем трушу... Ей-богу же!.. Никогда, никогда я так не трусила, бедненькая,— говорила одна молоденькая студентка с розовыми щеками и почти детским лицом, беря под руку Надю Побединскую и скрывая под шутливо-поддельным ужасом действительное волнение.— У вас все есть программы? Нам надо торопиться, торопиться...

— Да, Петрова, надо торопиться... и не падать духом!.. Уже теперь остается дать один, последний ход... А там!..

Побединская улыбнулась своими бледными, бескровными губами и тотчас же заторопилась.

— Я вот только сейчас сбегаю на урок. Никак, знаете, не могу оставить уроков даже на этот месяц... Право, такое стечение обстоятельств... А вы спишите расписание и ждите меня через полтора часа.

И Побединская сбежала вниз по лестнице, вышла из госпиталя и почти бегом пустилась на урок, вся поглощенная тою напряженною торопливостью, которая, казалось, никогда уже в жизни не покинет ее: так она слилась с ее натурой.

Между тем в одной группе студенток шел такой разговор по ее уходе.

— А у Побединской какое нехорошее лицо, заметили вы? Ей-богу, так и кажется, что ей не протянуть недели...

— Если бы вы знали, как она живет, что ей стоили все эти пять лет,— это возмутительно!.. Она содержала почти все это время мать, сестру и даже отца. Мать у нее ходит по найму стирать в прачках, тихонько от нее, а она сама, тихонько от матери, набирает столько

уроков, что у нее уже буквально нет свободной минуты...

— Право?

— Да, я ее знаю... но она никому ни слова. Ее ведь почти не встречаешь на вечеринках... Изумительно чуткая и деликатная натура!.. Я никогда не встречала такой.

— Ну... вы, Петрова, вечная идеалистка: постоянно преувеличиваете.

— Право, право... Что вы?.. Я знаю это по себе, по всем нашим... Наша жизнь мало-мальски деликатную натуру доводит до такой чуткости, что или в конце убивает совсем наповал, не давая вздоха, или уже выделывает тупое, забитое, индифферентное существо.

— А еще каких два месяца предстоит пережить ей!.. Хотя бы выхлопотать ей какое-нибудь пособие на это время.

— Нет, знаете, ей лучше посоветовать бы остаться еще на год.

— Что вы, что вы? Это значит ухлопать ее окончательно... Еще год такой жизни!.. Она ведь только и живет надеждой, что вот, наконец, будет вздох, хотя немного... Притом она обидится, если ей заикнуться об этом.

- Что делать!

Даром ничто не дается — судьба
Жертв искупительных просит,—

продекламировал кто-то.

— Какие, однако, мы, господа, все еще эгоисты!.. А народ? Миллионы, миллионы...

В группе разговоры смолкли. Потом кто-то тихо спросил что-то насчет лекций, и все стали расходиться. Кто-то совершенно, по-видимому, непроизвольно запел про себя: «Укажи мне такую обитель...»

VI

Два месяца спустя в самый скверный петербургский вечер, когда, обыкновенно в конце ноября, идет суровая борьба упорствующей осени с зимой, в квартире Побединских справляли окончание курса Надежды

Павловны. Но если бы посторонний человек заглянул в эту слабо освещенную единственною лампой с полуразбитым абажуром комнату, то он затруднился бы сказать, что здесь справляли — праздник или поминки. В комнатке было всего пятеро. Перед столом, на котором стояла бутылка дешевого портвейна, на старом кресле сидел лысый господин с большою русою бородой, такими же большими добрыми голубыми глазами, чаще смотревшими поверх очков, чем в них. Он был высок, плечист и плотен; но скорбно-наивный взгляд и добродушная улыбка плохо гармонировали с его геркулесовским телосложением. Он иногда отпивал по глотку из стоявшего перед ним стакана и упорно смотрел поверх очков на сидевшую на диване Надежду Павловну. Побединская чувствовала этот взгляд, полный такой томительной скорби... и любви, и участия, и избегала встречаться с ним. Она сидела, откинувшись к спинке дивана и закинув руки за голову,— поза, которую она никогда прежде не знавала. В этой позе она так была похожа на труднобольную, которую вывезли в креслах на свежий воздух и позволили «вздохнуть». И вот она «вздыхала», вся отдавшись этой невыразимо сладкой истоме изболевшего организма.

На другом конце дивана, облокотясь на стол, сидела подруга Надежды Павловны, «розовая» Петрова, так ее прозывали, и наивно-ребячески не сводила глаз с Побединской. Тут же, около них, пристроилась и Анюта, сестра Побединской, на высоком кожаном стуле, и, положив руки на колени, недоумевающими как будто глазами смотрела и на сестру, и на ее подругу, и на почтенного собеседника. Мать Побединской присела в уголку, как-то совсем неудобно, и силилась, надев большие очки, всматриваться при тусклом свете в шов платья, которое она чинила. Вот уже минуты три как собеседники молчали.

— Знаете что? — сказала наконец Побединская.— Сегодня, кажется, единственный день, когда мне некуда торопиться... И мне скучно!.. Что значит привычка!.. Я думаю, что то же должна чувствовать обозная лошадь, когда ей долго не приходится везти воз.

— Что за сравнение! Это мило! — с неудовольствием воскликнула Петрова.

— Вы — героиня, Надежда Павловна,— серьезно произнес, даже не без волнения, почтенный господин и отпил глоток вина.

— Что за вздор! — вспыхнула Побединская.— Если вы, Василий Иванович, еще раз повторите эти слова, я с вами разбранюсь... Зачем кощунствовать! Какие мы герои? Если бы вы знали, сколько раз в моей жизни я роптала на свою судьбу, сколько раз мне, в глубине души, хотелось уйти, уйти от всего этого... на покой. Сколько раз я завидовала какой-нибудь барыне, которая спокойно, развалившись в коляске, мчится... И это — героиня!.. В таком случае скажите мне, сколько же героев живут там, по деревням, которые изо дня в день, из часа в час трудятся, не разгибая спины, не видя просвета...

— Она еще, чего доброго, измучает себя угрызениями совести,— сказала Петрова,— этого еще недостает!..

— Клеветать на себя можно,— проговорил Василий Иванович.

— Нисколько,— сказала Надежда Павловна,— я говорю правду... Какие мы герои?.. Мы все просто — люди своего типа, как пахарь — человек своего типа.

— Прекрасно,— улыбнулся Василий Иванович,— это не умаляет его достоинств... И я повторяю опять: вам необходимо, обязательно — отдохнуть. Если вы не хотите воспользоваться моим... приглашением (тут Василий Иванович весь вспыхнул)... в поместье у моей матери, то во всяком случае... как-нибудь иначе... но только пора перестать торопиться... Это невозможно, это возмутительно!..

— Это дело не мое... Как велит судьба,— улыбнувшись, проговорила Побединская.

— Надо бы, Василий Иванович, очень надо,— прибавила и мать,— да ведь точно... Все у нас от бога!.. Все в его руках!.. Надо его молить, чтобы он хотя на годок дал вздоху...

— Потерпите, мама... Мы уже привыкли... Хуже пережили,— опять улыбаясь, говорила Побединская.

— Вот и еще доказательство, что вам необходим обязательно отдых. Вы впадаете в какой-то мрачный

фатализм, а это признак упадка воли,— сказал Василий Иванович, не без искреннего беспокойства взглядывая на Надежду Павловну.— Судьба!.. Но ведь у каждого есть свой ум, свое сердце, которые тоже имеют право...

— Это, конечно, так... Но есть еще что-то!.. Я, право, не умею вам сказать,— задумчиво возразила Побединская,— не умею назвать, что это: совесть... или какой-то долг, долг типа... Вот именно... мне кажется, что у всякого типа есть свой долг... И этот долг фатален...

В это время кто-то позвонил. Все вздрогнули, так как никого не могли ждать. Вышедшая на звонок мать принесла городское письмо Надежде Павловне.

Вследствие ли настроения от предыдущего разговора, или от неожиданности руки Побединской дрожали, распечатывая письмо. Она быстро пробежала первые строки и улыбнулась, хотя руки ее побелели и похолодели совсем.

— Ну, вот!..— сказала она и, стараясь скрыть дрожание в голосе, прочла следующее:

«Ура, Побединская! Поздравляю вас от всей души... Сегодня утром я зашла в госпиталь, где встретила начальницу. Она просила меня передать вам, что, по ее рекомендации, место врача в -ском земстве упрочено за вами, что она очень, очень рада этому случаю, и за вас, и за курсы, что она надеется — в вашем лице не будет скомпрометирована судьба русской женщины-врача... Все мы тоже искренно рады, что первое место получаете — вы... Лучшего выбора судьба не могла сделать. Вы вполне достойны... Ну, Побединская, вперед!.. Не выдавайте нас... Знаете — на вас теперь будет смотреть вся Россия; от вас зависит связать узами прочного доверия интеллигенцию и народ... О, какое широкое поле открывается перед вами!.. Помогай же вам бог, collega! Сообщите нам, когда поедете. Все наши желают вас проводить и проститься с вами.

Ваша Курбатова.

P. S. Да, я и забыла: вам надо торопиться представляться управе — особенно на этом настаивают, так как у них среди деревень сильно распространяется эпидемия».

Дочитав письмо, Побединская в волнении вышла из-за стола и быстро обняла мать.

— Ну, вот, мама... Вот и все!..

— Вы не можете ехать... Это безумие! — сказал, вставая, Василий Иванович (он был совершенно красен от сильного волнения).— Вы посмотрите на себя только: ведь у вас ни крови, ни мускулов, ведь у вас полное истощение всего организма, ведь у вас... Вы сознаете ли ясно, что предстоит вам? Ведь этот уезд чуть не в Западной Сибири, за две тысячи верст, ведь это непросветная глушь, где вы не встретите даже русского мужика, где живут, по уши в грязи, одни башкиры, где почти не говорят по-русски...

Василий Иванович приостановился, как будто ожидая результатов своей речи.

— Побединская! — крикнула, вскакивая, Петрова.— Пустите меня — я поеду за вас!.. Право!.. Я обязываюсь высылать до тех пор, пока вы не получите через год другого места и не выздоровеете,— высылать вам половину жалованья...

— Браво, Петрова, браво! — закричал в восторге Василий Иванович.

— Согласны? Вы согласны? — спрашивала Петрова, впиваясь глазами в Надежду Павловну...

— Какие славные вы! — проговорила Побединская, крепко пожимая руки тому и другой.— Давайте-ка выпьем лучше да поздравимся!.. А затем — надо торопиться...

VII

Через три месяца в квартире Петровой происходила такая сцена. Петрова, облокотившись на стол, плакала. Три-четыре студентки, в шляпах и пальто, не раздеваясь, наскоро читали какое-то письмо, передавая одна другой, и рассматривали лежавшую на столе фотографию.

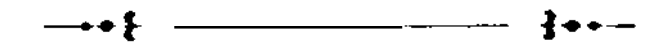
«Милая Лидия Николаевна,— писала мать Побединской Петровой на засаленном лоскутке почтовой бумаги крупным старинным почерком,— вот и все кончилось с нами, бедными, по воле божией!.. Вот и вся наша короткая радость и надежда!.. Из глубины сердца

и день и ночь только спрашиваешь: господь милосердный, зачем же дал ты нам земную жизнь?.. Впрочем, все в твоих всемогущих руках! Неисповедим твой промысел... Вот и дорогой нашей Надечки не стало, милая Лидия Николаевна... Не стало,— нет ее больше у нас... Ах, матери, матери!.. На что вы родитесь, на что зачинаете детей своих? Словно кровью поливаете вы землю, а земля эту кровь пьет, как ненасытная губка... Посылаю вам, милая Лидия Николаевна, карточку,— по заказу председателя снимали... Спасибо им, схоронили с честью и с венками дорогую нашу... Дорога была дальняя. Когда еще ехали, видела я, что Надечка утомилась. А там приехали в деревню: с утра до поздней ночи народ... А Надечка такая деликатная, едет и в ночь и в непогоду... А помощи никакой нет — один фельдшер. Случится операцию делать трудную,— сама дрожит вся, боится за больного, по новости, а посоветоваться с кем или помочь — некому... Извелась совсем от одной думы, не только что от дела... А в деревнях бедность, грязь, все в тифу перевалялись и мы-то... А после всех и Наденька не вынесла... Простите, милая, не могу писать. Вчера только похоронили... Мы с Анечкой не знаем, что делать. Сообщите, милая, примут ли опять Анечку в гимназию. Будем ждать вашего ответа с нетерпением. Как-нибудь перебьемся,— пока председатель не оставляет. Добрый человек... А все же надо торопиться Анечке... До свидания, милая Лидия Николаевна, не оставьте нас, бедных. Хорошо, если бы вы телеграммой известили. Мы бы сейчас же поторопились выехать. Все в Питере лучше, я бы работой могла Анечку поддержать, пока на ноги встанет. Что делать? Теперь одна надежда».

Приложенная к письму фотографическая группа, несмотря на некоторый расчет на эффект со стороны фотографа, производит удручающее впечатление, видимо, на всех девушек, собравшихся у Петровой. Содержание группы, впрочем, было не особенно сложно: скромная комната, посредине белый гроб, серебряные подсвечники по бокам и впереди; в гробу — маленькое, высохшее совсем тело, как у ребенка; в головах — венок, а близ гроба — две фигуры: мать в черном платье, повязанная платком,— эта простая, скромная, роб-

кая и смиренная пред велениями судьбы русская женщина, с нею рядом двенадцатилетняя девочка, с широко открытыми глазами, обращенными на лицо покойницы... «Только-то! — говорили эти глаза.— Тут все? Нет, это не может быть...»

О, конечно, не может быть, потому что в маленькой Анюте уже несомненно воскреснет ее сестра... Ведь в экономии мирового блага все равно: Костя, Надя или Анюта...



Безумец

Былина

I

Он шел изнеможенный и усталый, покрытый пылью. Путь его был долог, суров и утомителен. Впереди и позади его лежала желтая, высохшая, как камень, степь. Солнце палило ее горячими лучами, жгучий ветер, не освежая, носился и рвался по ней, перегоняя тучи сухого песку и пыли. Кое-где бродили только серые стада овец да табуны кобыл. Селения попадались редко, да и те были жалки и убоги. Он ненадолго останавливался в них и снова торопился вперед. Он чувствовал, что изнемогает. Но то, что оставалось ему пройти и вынести теперь, было бесконечно мало в сравнении с тем, что было им пройдено и испытано позади. Это придавало ему бодрости и силы. А когда он прижимал руку к груди и чувствовал, что драгоценный клад, найденный им, лежит около его сердца, ему становилось так легко, отрадно, как будто ноги его не чувствовали усталости, голова — истомы, и ему казалось, что его несли невидимые крылья.

Он еще более ускорял шаги и говорил себе: «Скорее! скорее! пора! дойду ли я? Я чувствую, что мои силы иссякают с каждым шагом... Увы! — их едва хватило, чтобы совершить только то, что я успел. Кого я застану там, дома? Каковы они теперь, мои братья, сестры и дети? Ждут ли они меня или же давно похоронили и сочли погибшим навеки мечтателя-безумца? Или, может быть, они отвернутся от меня, отрекутся и, устыдясь своего отца и брата, скажут: «Мы не знаем тебя и не хотим слушать твой безумный бред!»

При этой мысли он вдруг побледнел, приостановился и медленно провел рукой по горячему лбу.

— Бред! — повторил он.— И это — бред?!

Он снова приложил руку к сердцу и, просияв младенческою радостью, быстро двинулся вперед.

К концу пути как будто еще жесточе палило солнце; как будто еще злее крутилась вкруг него горячая пыль; как будто вся степь, окутанная распаленною дымкой, дышала зноем и истомой; он шел все быстрее и быстрее. Лицо его уже давно обгорело и стало медно-красным, руки были покрыты истрескавшимися сухими мозолями, на босых ногах виднелись язвы, посконная рубаха взмокла от пота, сквозь слой пыли, покрывавшей его бороду, проступала седина.

II

На этот путь он вышел рано, когда еще только занималась заря его жизни, когда горячая кровь еще ключом билась в его жилах, когда он только что испытал первые ласки взаимной любви, когда все сулило ему впереди покой, довольство, досуг и блага земных счастливцев,— вот еще когда безумная мысль забралась в его душу и стала терзать его бедную голову.

Вначале никто не замечал приступов его безумия, но когда он робко заявил сомнение в правоте и прочности сулимого ему благополучия, его стали подозревать...

Он ушел не один: их было много вместе с ним, таких же безумцев. Что они были безумцы,— для всех скоро стало ясно и бесспорно. Когда они уходили, они дали друг другу клятву: «Мы не вернемся к своим, пока не испытаем и не перенесем на себе все язвы страждущих и угнетенных, не сносим на себе всей проказы, разъедающей их, не причастимся их скорбей и радостей, не переживем их печалей и упований...» Они ушли. Это был путь долгий, крестный и тернистый: они шли по городам, спускались в вертепы нищеты и разврата, били камни на мостовых и выгребали нечистоты, страдали и валялись, как прокаженные, вместе с другими по приютам и больницам, они входили на фабрики и стояли за станками до ломоты

в костях, до отупения головы, до онемения членов; они спали на нарах, переполненных паразитами, среди жен, не знавших мужей, и среди матерей и отцов, не узнававших детей, они рыдали с запроданными в рабство младенцами, закабаленными стариками. Они шли в деревни — и корчевали пни, бороздили тяжелым плугом под палящим зноем каменистую почву; становились к пылающим горнам кузниц. Они шли на широкие реки с толпами голодных рабочих и тянули бурлацкую лямку; они спускались в темные подземные шахты и, под страхом смерти, как черви ползали по норам; они голодали с переселенцами, мокли по пояс в грязных ямах с землекопами; терпели от штрафов, обмана и безработицы; ложились под розги; сидели по казематам и острогам...

Таково было это безумие.

III

Ему оставалось немного до конца пути, всего два-три ночлега. Он присел отдохнуть у верстового столба, и когда взглянул на свои ноги, грудь и руки, когда почувствовал, что все члены его онемели и застонали кости,— ему вдруг вспомнился весь его добровольный крестный путь, и ему стало страшно. Он невольно оглянулся кругом себя: он был один, совсем один в беспредельной, пылающей зноем степи. Немного осталось их из этой кучки безумцев: одни давно изменили и продали себя, другие не вынесли, «устали вперед идти» и вернулись, третьи... третьи погибли, как безвестные пловцы в безбрежном и глубоком море. Ему стало тяжело, горько и больно; казалось, он только теперь ощутил всю бесконечную тяжесть поднятого креста; казалось, он только теперь понял всю глубину своего безумия... «Зачем? Зачем было все это? И кому будет от этого легче, кому прибавится хотя на ноготь счастия, силы, энергии, славы?.. Безумие! Безумие!» — готов был он крикнуть в отчаянии, как почувствовал, что его сердце радостно забилось и тихая врачующая теплота разлилась по всему телу: он не слыхал уже ни стона костей, ни боли язв. Он схватился за грудь, почувствовал драгоценный клад, лежавший около

сердца, и отчаяние сменилось трепетной боязнью: «Скорее, скорее! Только бы донести... Бог весть, будут ли из нас еще такие безумцы, как мы!.. А если... если опять и опять там не поверят в слепом самодовольстве? Если мои слезы и восторги опять и опять обзовут безумием даже родные дети?! О, тогда... тогда я уйду назад!» И глаза его, действительно, заблистали безумным огнем.

IV

«Скорее, скорее!» — твердил он и шел вперед. На четвертые сутки он вошел в родной город. Робость овладела им среди шумной и многолюдной улицы. Многие останавливались в изумлении и смеялись над его лохмотьями. Одни говорили с жалостью и состраданием: «Он еще все бредит, несчастный!» Другие восклицали, в недоумении и испуге: «Он еще жив, безумец!» И среди тех и других он приметил некоторых из своих друзей и близких, которые не желали признать его. Третьи указывали на его грудь и кричали, самодовольные и упитанные: «Он думает, что несет настоящие перлы! Не верьте ему... Он лжец и смутитель. Вот у нас настоящие перлы, потому что мы сами оттуда, откуда пришел он!» И они шумно и нагло продавали поддельные перлы, вынося их на уличный рынок. То были народные иуды.

Его охватил ужас. Но он скоро расслышал, что многие, видя кровь, сочившуюся из его ран, робко и оглядываясь, уже стали шептать друг другу: «Нет, он искренен... Его перлы не могут быть поддельны...»

Тогда в душе его мелькнула искра надежды.

Смущенный и робкий, переступил он через родной порог.

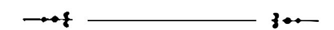
И когда он увидал своих близких, изможденных от труда и забот, грустных от труда и забот, грустных от пережитых потерь и измен, изнуренных от духовной жажды и неудовлетворенности, и когда двое — юноша и девушка, его дети — бросились к нему, целуя прах его ног, он, безумец старый, упал и обессилевшею рукой едва успел передать с груди своей драгоценный клад.

— Это — перлы, которые достал я с глубины народного моря... В них залог его и вашего воскресения и спасения.

И когда увидал он, как благоговейно приняли они эти перлы на свои груди, он радостно улыбнулся им и едва слышно прошептал:

— Я чувствую — мой конец близок... Мои силы иссякли... Взлелейте же вы эти перлы в своей душе... Освятите их творчеством мысли и теплотою сердца... Когда же вы будете достойны, чтобы возвратить их народу в блеске и сиянии торжества и славы, скажите тогда: т в о я о т т в о и х т е б е п р и н о ш у...

После того мечтатель-безумец тихо скончался.



Мечтатели

Рассказ

I

Когда кто-нибудь спрашивал Липатыча или Дему, всякий тотчас же, с особой готовностью, показывал в угол длинной и высокой мастерской с огромными закопченными и пыльными окнами, где они оба работали бок о бок: «Вон, вон они, Липатыч и Дема, у нас как же!» И при этом все почему-то улыбались непременно, но улыбались добродушно, ласково, любовно, как будто одно напоминание о них уже вызывало особое настроение в душе заводского человека.

Липатыч и Дема — оба были простыми рабочими в механической мастерской и закадычные приятели.

Липатыч был старый служака, выслуживший уже все сроки на пенсию, если бы только последняя для него существовала; Дема был почти вдвое его моложе. Липатыч был давно одинок и давно уже семьей была для него только та постоянно менявшаяся артель, в которой он работал; Дема же был женат и имел двоих детишек. У Липатыча поэтому не было своего хозяйства, и он нанимал «угол» в каморке Демы, а ребятишки Демы звали его «дедушкой».

И Липатыч и Дема были крестьяне, но Липатыч так давно уже был увезен из деревни в «учебу», что совсем забыл о своем деревенском происхождении: ему казалось, что не только он сам никогда не выходил за пределы «заводской округи», но что и родился он чуть ли не в самой мастерской. Это был истинно рабочий человек,— та, всем знакомая городская «мастеровщина», у которой, как известно, есть свой «нрав».

Дема — совсем наоборот. Несмотря на то что он уже лет десять работает рядом с Липатычем, несмотря на

то что уже давно и семью к себе выписал он из деревни, — он весь жил в деревне; он за все эти десять лет как будто не видал хорошенько своей мастерской; она с утра до вечера только неясно, в каком-то тумане мелькала пред ним. И завод, и самый город — это было для него что-то временное, переходящее, как сонное видение, как станция, на которой останавливаются на несколько минут, чтобы проглотить кусок. Перед ним, в туманной дали, как желанная пристань, постоянно носилась деревня; вместо закопченных и сырых стен мастерской, среди грохота и шума машин и инструментов, он слышал трели жаворонка, скрип возов с сеном и снопами, говор сельской улицы; он видел свою избу, свою корову, лошадь, широкие поля, чистое бирюзовое небо, зеленый лес и... и простор, простор необозримый. «Вот уж скоро,— думал он постоянно и упорно каждый вечер, кончая работу в мастерской,— вот еще разве годок только, а там с ребятами переберемся к себе в деревню... И жена вздохнет... Все же оно там привольней, а то здесь, в прачках, уморилась... Теснота, сырь, болезни... Только бы вот на хозяйство скопить, а там и шабаш!..» Но проходил год, другой, а Дема все стоял у станка с утра до ночи, а другой раз и с ночи до утра, и пред ним по-прежнему, вместо грязного, темного и вонючего заводского двора, расстилался чистый, благоуханный простор деревенского поля... Дема, одним словом, был ненадежный человек среди коренного заводского населения; он принадлежал к той особой, впрочем, у нас еще довольно значительной группе рабочих, которая известна на заводах под кличкой «деревни».

Таковы были наши два приятеля. Дема уважал и по-своему даже любил Липатыча; Липатыч был привязан к Деме, но, как городской человек и притом пожилой, несколько ему как будто покровительствовал. Вообще они жили мирно и дружно, за исключением тех случаев, когда на Липатыча «находило» или «накатывало», как сам он говорил, и когда Дема за него «опасался». Особенно часто стало «находить» на Липатыча в последнее время, — оттого ли, что он чаще стал прихварывать или по другим причинам. Прихворнув, теперь обыкновенно Липатыч сердито говорил:

«Ну, пора, пора тебе, служака, в яму лезть! Чего еще ждать?.. Сваливай колоду — отслужила!.. Кому нужда в гнилой колоде!.. На гнилую колоду неоткуда и слезе капнуть!..» Дема обыкновенно обижался на эти речи Липатыча, но в душе тем не менее хорошо понимал и чувствовал, как холод одиночества снедал Липатыча, и старался его утешить. Однако Липатыч этого не любил. «Ну, деревня, распустила нюни!.. А ты гляди прямо, в самую точку... Нечего глаза-то в сторону сворачивать!..» — ворчал он. И действительно, чуть только болезнь «отпускала» Липатыча,— он снова бодро нес свою рабочую службу, и только теперь чаще, чем прежде, разнообразя ее взрывами того особого «озорства», которое знало за Липатычем все население завода.

— Эй, деревня! Али помирать здесь задумал? — говорил одним воскресеньем Липатыч, входя в мастерскую, где уже все не только кончили «казенные уроки», но и то, что успели урвать из «казенного времени» на свой собственный барыш, а Дема, ничего не замечая и не слыша, продолжал неистово визжать громадным рашпилем по куску стали, воображая, может быть, что жаворонок напевает ему свои трели.— Ты чего же, деревня, забыл, что ли, что ноне праздник?.. Чего жадничаешь? Вас бы, жадных, давно следовало по шеям с завода... Баловство вот эдакое заведете да потом по деревням и разбежитесь... Брось, говорю, эту ахинею — все об одном думать... Я, брат, думал тоже. Не хватись вовремя, смотрел бы давно вперед затылком... На гвоздь уж веревку прилаживал... Бог спас!.. Я вот и один, да от такой подлости отбился, а у тебя семья... Брось, говорю...

— Ты, Липатыч, другой человек,— тихо и как-то мечтательно заметил Дема.

— Какой такой другой человек? Почему так? — обиделся Липатыч, грозно сверкая темными глазами из-под седых бровей.— Это еще надо доказать... Да... И ты человека старше себя обижать не имеешь права.

Липатыч был вообще очень чуткий человек ко всякой обиде; теперь же он окончательно был рассержен и хотел уйти, не дождавшись приятеля.

Тогда Дема, взглянув мельком на Липатыча, грустно почему-то покачал головой и сказал:

— Я вас, Вавил Липатыч, обижать не намерен... Я только к тому, что у меня — одно мечтание, а у вас — другое. Я вот к чему.

— Ты так и говори... А то — другой человек!.. Мы, брат, все одни, человеки-то!.. Пойдем чай пить.

Оба приятеля выбрались из мастерской и пошли по направлению к трактиру, и трудно было определить, кто из них был старше, так как Липатыч всегда шел впереди, гоголем, гордо и вызывающе подняв, как петух, голову, покрытую копной седых волос, на которой сбоку, блином, лежал замасленный картуз, а обе руки были засунуты в штаны под блузу; Дема же, напротив, шел тихо, медленно двигая длинными ногами, сутуловато согнув широкую спину и опустив вниз изъеденное оспой широкое добродушное лицо, с мясистым носом и крупными губами, как будто его неустанно пригнетала его неотвязная дума.

В ближайших к заводу трактирах и портерных стоял дым коромыслом; все столы были заняты. Двери уже не визжали, а как-то жалобно стонали, устало и изнеможенно. Липатыч и Дема сели рядом с одной кучкой рабочих. Липатыч заказал чаю и мрачно молчал. Дема уже не раз внимательно и опасливо взглядывал на него и чувствовал, что нынче Липатычу не по себе и что, того гляди, он окажет свое «озорство».

Рядом сидевшие рабочие о чем-то громко беседовали, когда Липатыч совершенно неожиданно прервал их, не обращаясь в частности ни к кому.

— Я говорю, что всему причина дух этот самый... немецкий,— твердо и уверенно выговорил Липатыч на всю комнату несколько осипшим басом, подняв вызывающе, как и всегда, свою седую львиную голову и сверкая из-под седых бровей темными глазами.— Да, и от этого к нам всякая пакость идет...

— Ну-у! — проворчал Дема и сокрушенно покачал головой. Он уже знал, что такой приступ ни к чему хорошему не приведет, если Липатыч попал на эту «линию».

— Не смей! Молчи! — замахал Липатыч грозно своей, принявшей уже совсем стальной цвет рукой,

предупреждая возражение.— Я знаю, что говорю... Сорок пять лет он у меня вот где сидит... И как его только к нам через границу пропущают — диво!.. Деньги, главная вещь,— не иначе... Потому, нет чтобы перенять что ни то хорошее от него, а все норовят пакость самую... Вот от этого и нет ни свету, ни воздуху для рабочего человека... Это просто одна подлость али измена!.. Да, ума нет — вся причина: дурачье! Больно уж смирен да богобоязлив русский человек, страх божий у него есть,— вот его всякий и лупит и в хвост, и в гриву...

— Ну, брат, тоже...— возразил вдруг один молодой, худенький и низенький рабочий, в новой синей блузе, с темным маленьким лицом, длинным сухим носом и быстрыми бегающими глазками, которого все звали Юркой.— Другой русский тоже, брат... есть тоже такие... хахали!.. О, о! Еще почище немца... Еще они самим-то немцем вроде как колбасой закусят да жидом поперчат!..

Громкий хохот десятка голосов раскатился по трактиру.

— Что-о? — сурово спросил Липатыч.

— А вот и то! — говорил поощренный Юрка, входя в азарт.— Брешешь ты — вот что! Немецкий дух!.. Своего весьма достаточно... Зачем, вишь, за границу пущают, измена! А ты вот поди попробуй — устрой шламбаум?

— Ты со мной не смей так говорить... Слушай ухом, а не брюхом об чем говорят,— степенно-сурово сказал Липатыч.— Молодо-зелено так-то разговаривать... Послужи с мое... Сорок пять лет...

— Что — сорок пять лет! Заладил одно!.. Тут, брат, наука-то нехитра... Мы тоже побывали в разных хороших местах, насмотрелись прелестей... Немцы! И немцы есть хорошие люди... Тут не в немце дело, а в положении лица... в жизни... в самой то есть жизни... Понял? Вот я тебе и говорю — своих подлецов весьма достаточно... Русачок-то, он, брат, тоже скользкий, мылом смазан... хоть бы наш Псой Псоич!.. Да чего далеко ходить: середь нас самих такие есть братцы-русачки — их голой-то рукой не трожь... Ящеры! Ха-ха! — засмеялся Юрка своей собственной остроте, и

хохот гостей снова потряс жидкие трактирные перегородки, а на лампах задребезжали стеклянные подвески.

— Молчи! — крикнул Липатыч, грозно поднимаясь из-за стола.— Как ты смеешь такие слова говорить про своего брата? про рабочего?.. Ящеры?.. Да ты кто сам-то? — И вдруг Липатыч, схватив Юрку за плечи своими могучими руками, затряс его, как медведь молодую осину.— Ты кто, молошная твоя губа? — спрашивал Липатыч, сверкая глазами и подставляя свой толстый с синеватым налетом нос к самому лицу Юрки. Юрка не ожидал такого наступления: он смутился и медленно отступал, когда, не торопясь, по обыкновению, подошел к Липатычу Дема и ласково и тихо положил ему на плечо руку.

— Вавил Липатыч, нельзя так,— проговорил он,— несправедливо... У всякого своя есть правда... и всякий волен свою правду говорить... Надо быть справедливым...

— Ежели правда — всегда скажу! — заговорил ободренный защитой и Юрка.— Почему правду нельзя говорить?

— Убью!.. Молчи!.. Слышишь, убью за свово брата! — кричал Липатыч на Юрку, не обращая внимания на Дему.— Все поносят, все... и ты еще... Дуби-ина-а эдакая!..— выразительно закончил Липатыч и оттолкнул, хотя и осторожно, могучими руками слабого и худенького Юрку к стене. Затем он сурово окинул взглядом Дему и, ничего не сказав, отвернулся от него в сторону. В это время Юрка, чтобы оправиться и несколько поддержать в себе упавший дух, стал крутить дрожащими руками сигаретку, опасливо посматривая исподлобья на Липатыча, который продолжал стоять посередине комнаты, обводя возбужденным взглядом все еще смотревшую на него толпу трактирных гостей. Это временное затишье, по-видимому, опять придало храбрости неугомонному Юрке.

— Правду, брат, не скроешь,— снова осмелился он заметить, хотя и значительно тише.— Видали мы народец и из наших русачков... Видали, брат... Плодится он теперь не меньше немца... Не к чему и за границу посылать!.. Тоже немецкий вкус понимаем! — уже довольно свободно закончил Юрка, попадая в преж-

ний тон снова, когда раздался поощрительный хохот.

— Отстанешь ты? А? Ты меня, окаянный, до какой степени довести хочешь? — уже не сказал, а как-то зашипел на Юрку Липатыч, высвобождая из карманов руки. Заметив жест Липатыча, Юрка не решился продолжать. Но зато вдруг возмутился смиренный Дема; с ним произошло что-то странное; он весь покраснел, пот выступил у него на лбу, прежде чем он собрался говорить.

— Не хорошо... так... Нет, не хорошо,— сказал он, не глядя на Липатыча, и на лице его уже не было обычной грустной улыбки; оно было сердито, и напружившиеся на лбу жилы побагровели от непривычного волнения и напряжения. — Что ж, коли правда?.. Правду должен говорить всякий... Надо быть справедливым... Особливо старому человеку... Это — первое дело!..

Липатыч подозрительно и удивленно взглянул на Дему.

— Правда, по-твоему? Правда, говорите?.. А? Так на что же тогда надеяться-то, надеяться на что, окаянные вы люди? — крикнул Липатыч, но вдруг в самом конце его голос неожиданно надтреснул, задрожал, он почувствовал, как что-то поднялось у него к горлу и слезы подступили к глазам.

Липатыч смутился, быстро отвернулся, отошел в свободный угол и затем, подойдя к стойке, сердито сказал буфетчику: «Налей!..» Он выпил стакан водки и, не закусывая, ни на кого не смотря, не оборачиваясь, сердито вышел в другую, заднюю дверь.

Дема все время исподлобья следил за ним — и опять грустная, задумчивая улыбка чуть заметно появилась на его губах.

— Липатыч-то наш... загрустил, братцы,— уже совсем развязно сказал окончательно оправившийся Юрка, подсаживаясь к товарищам.

— Загрустишь, брат,— заметил глухо кто-то из дальнего угла.— Еще то ли заговоришь, как во тьме-то кромешной тридцать лет просидишь!

Дема при этом вдруг о чем-то вспомнил, может быть о своем собственном «мечтании», и глубоко вздохнул. Он было поднялся, чтобы выйти из трактира,

как тихо и медленно ступая, словно в туфлях, подошла к нему и к Юрке какая-то странная фигура, в длинном, потасканном и засаленном пальмерстоне, в резиновых калошах вместо сапог, в старом цилиндре, с большими очками на толстом носу и с бритым подбородком. Странная фигура сняла цилиндр, оголив совсем гладкий череп, обрамленный жидкими рыжеватыми, с проседью, волосами, и стала низко раскланиваться, улыбаясь и причмокивая ввалившимися губами.

Юрка вопросительно и несколько даже нахально вскинул на нее глаза.

— Извините... Позвольте пожать ваша честная рука,— сказала фигура, протягивая сначала Деме, потом Юрке свою пухлую, красную, с рыжими веснушками руку.— Вы добра душа... Да... Мы тоже бывайт много несчастлив... О, да, да!.. Много труда и много несчастлив... Надо быть справедливый!.. Бог один...

И фигура, жалостно улыбаясь, робко раскланялась и снова отошла, надев цилиндр.

— Пфр! — фыркнул Юрка и вслед ей сделал самую школьническую гримасу; сидевшие с ним рабочие фыркнули, в свою очередь, и громко засмеялись.

Жалкая фигура медленно повернулась и в недоумении посмотрела на них.

— Бог один для всех! — повторила она и, снова жалобно и ласково улыбнувшись, пошла к двери.

Дема был взволнован и всей историей с Липатычем, и этою сценой, которую он не мог понять хорошенько, но от которой чувствовал тяжесть на душе, и ему не нравился смех рабочих. Он взял фуражку и незаметно выбрался из трактира.

II

Липатыч быстро шел по заводской улице, расталкивая попадавшиеся ему группы рабочих. Напряженно растерянными глазами он глядел вперед себя и, повидимому, кого-то и что-то искал, но кого ему нужно было, он никак не мог припомнить. Он только чувствовал, что ему было душно и жарко и что внутри у него что-то «подкатывало» и клокотало, как в котле с

кипятком. Он скоро и незаметно дошел до конца улицы — и остановился: пред ним был пустырь. Тогда он вдруг как будто что-то вспомнил и, быстро повернувшись, пошел к своей квартире. Там была жена Демы,— высокая, худая, с высохшей грудью женщина, которая шила у окна, и ее ребятишки. Ребятишки бросились было весело к Липатычу, но, взглянув на его лицо, пугливо и смущенно остановились. Липатыч этого не заметил. Он стоял среди каморы и рассеянно оглядывал ее. Наконец он спросил: «Нет его?»

— Да ведь он с вами пошел, Вавил Липатыч.

— Куда пошел? — строго допрашивал Липатыч.

— Да ведь вы в трактир пошли... вместе пошли... всегда вместе... Я уж и не знаю — как так вышло, что вы друг от друга отбились.

Липатыч опять что-то вспомнил, сошел с лестницы, но вдруг вернулся, вынул из кармана горсть подсолнечных семян, молча насыпал их в подолы ребятишкам и снова вышел на улицу. Подойдя к трактиру и заглянув, не входя, в дверь, он, наконец, казалось, все понял и уже уверенно, как к определенной цели, зашагал крупными шагами за заводскую округу. Чем дальше оставлял он за собой и невнятный гул, и говор заводской улицы, и песни, и визг гармоники и трактирных дверей, тем он начинал чувствовать спокойнее на душе и как будто приходить в себя: его не душило больше и не клокотало внутри. Он шел минут десять. За заводом скоро город кончился, и за небольшим выгоном уже начались поля: рожь, гречиха, горох... Кругом было так тихо, что Липатычу не верилось, что у него не шумит в ушах, не бьет в голову, не вертится все колесом пред глазами. Он остановился, посмотрел на ясное, беспредельное небо и вздохнул: «О, господи!.. Господи! — прошептал он.— Благодать!..» Ему стало почему-то грустно, но и хорошо. Потом он почему-то подумал: «Али умирать уж пора?..» И при этом он почувствовал, что там, на самой глубине души, что-то еще ныло и болело, за что-то было обидно... Он опять вспомнил, зачем пришел сюда, и стал кого-то внимательно высматривать. Вон вдали, среди самого поля, он заметил черную фигуру, неподвижно сидевшую в глубине межи. «Он самый!» — подумал Липатыч и,

утвердительно мотнув своей лохматой седой головой, подошел к полям.

Между двумя полосами высокой золотистой ржи сидел на пригорке один-одинешенек Дема и задумчиво делал букетик из нарванных им васильков, ромашки и ржаных колосьев. Грубые и почерневшие от железной пыли пальцы плохо ладили с тонкими и нежными стеблями и лепестками. Но Дема, кажется, мало обращал на это внимания. Он иногда бросал в сторону сделанный букетик, срывал несколько новых колосьев ржи и начинал внимательно вглядываться в них, считать семена, пробовать их на язык. И в то же время он что-то мурлыкал себе под нос: это была какая-то длинная-длинная и бесконечно грустная мелодия, состоявшая даже не из слов, а из одних певучих звуков.

Липатыч подошел к Деме и тихо остановился возле него. Дема мельком взглянул на него и снова взялся за букетик, продолжая мурлыкать. Липатыч молча присел к нему и стал вертеть бумажную сигаретку.

— Я так и знал... Здесь, мол, он, беспременно,— наконец заметил Липатыч, не глядя на Дему и, повидимому, весь занятый собственными мыслями.

Дема молчал.

— Беспременно! Я так и знал,— опять говорил Липатыч и уже начинал раздраженно сплевывать, затягиваясь крепким дымом махорки.— Да все одно — ахинея... Ничего не будет... Это вот ежели умирать пора — точно, места прекрасные... Пожалуйте, милости просим!.. И могилка свежая, и цветочки прорастут... В лучшем виде!..

— Что ж, Вавил Липатыч, я ведь, кажись, никому своим занятием не мешаю,— грустно заметил Дема,— на глаза не лезу... Стараюсь сторониться...

— Не мешаю!.. Не мешаешь — да не так рассуждаешь!.. Вот об чем я говорю,— строго и даже сурово сказал Липатыч.

— В чем же я не так рассуждаю?.. Только что насчет правды... Правду свою всякий должен говорить предо всеми. Запрещать это нельзя, и притом с кулаками!.. Надо быть справедливым,— в свою очередь возразил Дема в ответ на строгое поучение Липатыча,

стараясь по возможности говорить резонистее и поучительнее.

— Заладил!..— раздраженно заметил Липатыч и сердито сплюнул.— Словно поп... ха!.. Право, словно поп,— повторил Липатыч и фыркнул в бороду: ему почему-то понравилось самому это сравнение Демы с попом.

Они оба замолчали. Дема все думал, что бы такое сказать, чтобы окончательно успокоить и себя, и Липатыча. И наконец, сказал то, что говорил всегда в затруднительных случаях.

— Я вам всегда говорил, Вавил Липатыч: оттого вы на меня осерчаетесь, что у вас — одно мечтание, а у меня — другое.

Но это замечание, по-видимому, не произвело теперь того впечатления на Липатыча, какое производило прежде. Дема искоса посмотрел на старого приятеля — и удивился. Липатыч, очевидно, совсем не слыхал, что сказал Дема: он сидел, нагнув седую большую голову над коленками, и до того смотрел грустно и раздумчиво в расстилавшуюся пред ним даль, что Дема почти не узнал Липатыча. Никогда еще не видал он его в такой «меланхолии», и Деме стало почему-то жалко старика, и вдруг он понял как будто, зачем это его старый приятель заговорил нынче так насмешливо о «могилке».

— Эх, брат, Демьян Петрович! — неожиданно заговорил Липатыч таким необычно мягким голосом, все посматривая перед собой вдаль, что Дема невольно, как будто ожидая чего-то необыкновенного, насторожился, стараясь не проронить ни одного слова своего приятеля.— Тоже, друг, говорят: правда!.. Видали и мы эту самую правду... Видали!.. Не обидел бог. Было у меня такое времечко в моей жизни... Тоже стар уж я, добрая ты душа, грешить-то зря али попусту языком болтать. Тоже слова-то они с языка не спуста идут... Гляди, не ноне-завтра в яму свалите... Было и у меня времечко. Давно уж это было, признаться... Ты еще тогда, поди, без штанов бегал... Эвона когда это!.. Тянул это я тогда лямку на немецком заводе, в Питере, по Шлиссельбургскому тракту... Ну, тяну эту лямку, как быть, по чести, умный ты человек,—

а не то что... Тогда я, даром что моложе был,— куда был скромнее... Это уж я, умная ты голова, от старости озорую!.. А ты думал, я уж всегда был такой пропащий?.. Нет, погоди, друг... Так вот, служу я, значит, у этих немцев верой-правдой, жизнь свою для них покладаю и конца этому не чаю; только, леточком этак, помню, вдруг к нам в мастерскую гости!.. Добро пожаловать!... Впереди дирехтор наш идет, значит, дорогу показывает, все объясняет, а за ним персона со звездой, а там еще персона, а за ними все юнцы — десятка два их было али три... Идут, работы рассматривают, инструменты, машины... Ну, глядят — как глядят, и шабаш!.. Поглядел и я на них, а потом думаю — чего нам в их!.. Их дело — глядеть, наше дело — статья особая... Забрал в руки напильник — только свист пошел за ушами!.. Глядь, кто-то меня по плечу трогает... Обернулся, а вокруг меня все гости стоят... Отер рукавом лоб, смотрю на них,— что дальше будет. «Молодец,— говорит один персона,— люблю таких!.. Эка,— говорит,— силища-то!.. Ну-ка,— говорит другому персоне,— ощупайте его!.. Жилы-то, жилы-то — проволока,— говорит!.. А это — кремень!..» А сам это меня пальцами то там, то в другом месте потычет. Ну, думаю себе,— что-то будет с тобой, Липатыч!.. Как бы тебя на конную площадь в продажу к барышникам не пустили!.. А персона тут и говорит нашему дирехтору: «Отдайте,— говорит,— его нам... Мы,— говорит,— его на выставку выставим!» Смеется. Дирехтор говорит: «С удовольствием!..» И раскланивается... Ему что я!.. Конечно, с нашим удовольствием, хоть в омут головой спущай... «Ну, хочешь,— говорит,— братец, к нам в техническую школу?.. Вот ты будешь работать, а наши молодцы эти будут смотреть на тебя да к делу приучаться. Жалованья,— говорит,— тебе будет столько-то, работы столько-то...» Говорит он, а у меня пред глазами ровно уж мухи летают... Ну,— думаю,— должно, создатель с небеси на меня своим оком воззрил... Эко, подумаешь, на человека счастье сдуру нанесло... Ну, и пожил я тогда, умный ты человек!.. Было времячко и у нас!.. Было!.. Что!.. Сам себе хозяин, сам себе работник!.. Встанешь утром с прохладой, пойдешь в мастерские, материал, струмент изготовишь... Сам это,

братец, в чистой блузе ходишь... Сапоги глянцем наведешь... Рыло-то с мылом вымоешь... Ну, а там, глядишь,— налетит к тебе в мастерские молодая команда... Шу-шу!.. Зажужжит, что улей... Молодо все, весело... Все барчуки... Неделя прошла, а уж все со мной ровно век прожили... Один кричит: Липатыч! мне бы то, пожалуйста... другой: Вавило Липатыч, будьте добренькие, мне бы это показать: как тут да как там... Ну, а ты, значит, этак держишь себя строго, в ноте,— тому покажешь, другому... Объяснишь все, обстоятельно... Полюбил, друг мой, я эту молодягу, ну, вот ровно своих племяшей... Такая у нас дружба пошла... А вечером, коли главный наставник уйдет, побросают инструменты, заберутся кучкой в угол, на станках, на чурбанах усядутся, и тут-то пойдут беседы!.. Меня притащут, посередь себя посадят... Про наше житье заставят рассказы говорить... И пойдут кто что знает!.. «Эх, господа,— закричит какой ни то кудряш,— кабы вот рабочего человека так-то устроить... по божьему!..» А другой кричит: «Кабы вот и мужичку деревенскому такое ж одолжение насчет жизни сделать?..» А третий расскажет, как по другим странам наш рабочий человек живет... И все так любовно... Все чтобы так доброе сделать трудящемуся, значит, человеку... Помню, один такой кудряш был... Говорит,— у мово,— говорит,— дяденьки фабрика; умрет — мне достанется... Я,— говорит,— первым делом по любви... Скликну,— говорит,— рабочих: вот, мол, братцы, так и так, по любви будем жить... Я пред вами весь начистоту буду... Обо всем сообща будем договариваться. Я в чем прошибусь — вы поправите; вы в чем недомекаете — я укажу... Говорит, а у самого глаза так и играют... Известно — вьюнош!.. А тут, глядь, кто ни то песню затянет... Одним махом подхватят, так ровно к небесам и вынесут!.. Голоса молодые, воздуху забирают в полную волю!.. Да, было времячко, Демьян Петрович, и у меня... Есть чем вспомнить... Да! Пожил Липатыч часок!.. Ну, и за то спасибо... Благодарим покорно!.. Так ли?

И Липатыч как-то особенно выразительно высморкался на сторону — и замолчал. Он ждал, может быть, что скажет Дема. Но Дема словно застыл, уставив

глаза в землю, как будто рассказ Липатыча убаюкал его до сонных грез.

— Ну и что ж после того? — спросил Липатыч и долго смотрел на Дему. Но Дема не шелохнулся.

— Измена!..— выразительно сказал Липатыч.

— Слышь, Демьян Петрович, что я говорю: из-ме-е-на-а! — строго и отчетливо выговорил Липатыч.— И что всему начало и причина — немец... Вот что я говорю... Ты теперь пойми!..

Дема зашевелился. Очевидно, он готовился что-то наконец сказать.

— Что ж, Вавило Липатыч,— почему ж немец?.. Разве измена без немца быть не может,— сказал он.

— Где эти юнцы?.. Ты мне скажи — где они? — строго спросил Липатыч.

— Выросли, надо быть...

— Где ж они рощеные-то?

— Вы, Вавило Липатыч, не огорчайтесь очень,— мягко заметил Дема.— Где ж им быть?.. Знамо, они не немцы, а наши... барчуки... Проживают где ни то, потому они по мастерским или где около простого рабочего... черной работой заниматься не станут... А живут где ни то, по-благородному... Может, по заграницам.

Вдруг Липатыч поднялся и, нагнувшись к самому уху Демы, сказал каким-то тяжелым удрученным шепотом:

— Вот тут и есть... измена!.. Это он самый их деньгой обошел!.. Отшиб — прямое дело!..

Дема сомнительно покачал головой.

— Ну? что еще? — сурово прикрикнул на него Липатыч, выпрямляясь во весь рост. Дема опасливо взглянул на него: пред ним снова стоял прежний Липатыч, тот «озорной старик», которого знал и по-своему любил весь завод.

— Вот, Вавил Липатыч,— заметил Дема так же сурово,— вы вот все на стороне вину ищете... А я говорю: надо быть справедливым... особливо старому человеку...

Липатыч сурово посверкал на Дему своими черными глазами, плюнул — и, засунув руки в карманы

штанов, сердито посвистывая, гордым гоголем пошел к заводу.

Дема только грустно покачал головой и остался. Он любил и очень уважал Липатыча, но он никак не мог, по мягкости и рассудительности своей натуры, переносить резкий, нетерпимый тон, который в последнее время все больше и больше прорывался у Липатыча,— а потому часто на него обижался. Дема знал Липатыча давно, слышал, как он ругает ругательски «немцев», и сначала просто не понимал, почему это Липатыч распалялся всегда такой к ним ненавистью. На заводе, на котором служили он и Липатыч, было и прежде и теперь всякое начальство: были и немцы (точно, что их было немало), и поляки, и евреи, и англичане (ну, положим, что и это все «немцы»), но были и самые настоящие, свойские русаки. Вот и теперь у них смотритель мастерской — самый коренной русак, и зовут его Псой Псоич (шельма он — точно и выбрался в начальство всеми правдами-неправдами). Очевидно, Липатыч был несправедлив и разносил только немцев единственно по своему озорству и крайней нетерпимости; когда же ему указывали на Псоя и спрашивали, какой он будет нации,— он с обычной своей озорной резкостью говорил: «Какой Псой нации? Пес он — вот какой нации!..» Дема так и не мог понять озлобления Липатыча против немцев и приписывал его исключительно «озорству».

И вот теперь, когда Липатыч так оскорбительно оставил Дему одного,— он, однако, не обиделся: он вспомнил и признание Липатыча, и его необычно мягкий тон, каким он вспоминал о своем прошлом, и его замечание о «могилке», и чем больше он думал об этом, тем грустнее и больнее становилось у него на душе; ему стало жалко и «старого служаку» Липатыча, и себя самого, и многих-многих других,— жалко и вместе обидно за что-то... На него как будто вдруг повеяло общим холодом жизни, тем холодом, который раньше он смутно ощущал в себе и думал, что это только ему «холодно», и от которого бежал он в свои «мечтания» среди полей, стыдливо скрывая их от шумной сутолоки заводской жизни.

— Ах, Липатыч, Липатыч,— прибавил он, так же

загадочно и уныло покачав головой. Дема поднялся и медленно, раздумывая, пошел домой. Он вдруг открыл в Липатыче что-то, чего прежде не знал и не понимал.

III

Это случилось спустя месяц после «дружеского признания» Липатыча. Все заметили, что с Липатычем творится что-то необычное. Липатыч перестал совершенно кстати и некстати разносить «немцев». Липатыч сделался сразу как-то мягче, добродушнее и вместе с тем таинственнее; Липатыч не только не стрелял теперь сурово и вызывающе направо и налево своими черными глазами, но — напротив — весело всем улыбался ими и как будто каждому, на кого смотрел, загадочно подмигивал. Рабочим своей мастерской, поочередно, он уже успел неясно и туманно намекнуть на что-то, что сулило им в ближайшем будущем неизреченные блага. Дело было в том, что Псоя наконец совсем «порешили», и мастерская ждала назначения нового начальника. Завод был заинтересован. И только Юрка с некоторыми другими заводскими скептиками позволял себе по-прежнему сомневаться в значении таинственных подмигиваний Липатыча; но это всего единственный раз нарушило добродушное настроение Липатыча и вызвало в нем взрыв старого «озорства».

— Кто же он это будет? этот самый незнакомец? — спросил как-то опять в трактире неугомонный Юрка Липатыча,— стало быть, из русачков, не из немцев?

— Не из немцев, брат! А из наших... из самых, из настоящих,— таинственно подмигивая, сказал Липатыч.

— Та-ак-с!.. Какие же такие у них будут особые прелести?.. Все мы вот ждем от вас, что разъясните в точности, а замест того — только один туман...

— Дурак!..— проворчал сквозь зубы Липатыч. Он начинал волноваться.

— Это они-то-с... Ну, не велики прелести! — издевался Юрка, поощряемый обычным хохотом трактира.

Липатычу не хотелось объясняться с Юркой, а тем меньше открывать ему что-нибудь из того таинственного сокровища, которое полжизни носил он в своей

груди. Но ему, однако, хотелось сразу убить Юрку одним словом. Он долго и пристально смотрел на него.

— Прелести какие — говоришь? — спросил он с расстановкой и отчетливо.— Душа-а!..

— Хо-хо! — залился Юрка.— Ну, нынче эта штучка по дешевым ценам ходит!..

И едва раздался новый взрыв поощрительного хохота, как Липатыч оглушительно закричал: «Убью!.. Посмей кто еще насмеяться!..»

Он, действительно, был страшен с своими сверкающими темными глазами, над которыми совершенно сошлись в одну сплошную крышу его густые седоватые брови. Смутился не только Юрка, но и весь трактир. Но, кажется, смутился теперь своего «озорства» и сам Липатыч: он сердито положил свой блин на мохнатую голову и ушел.

Дема, сидевший тоже в трактире, уже не думал теперь возражать Липатычу обычными благоразумными наставлениями. Но некоторые сомнения были и у него, и, придя домой, он осторожно заметил Липатычу, не ошибается ли он насчет своих предположений.

— Ну, вот еще!.. Не знают, что ли?.. Все узнал... Бутенко... Из тех самых,— уверенно отвечал Липатыч...

— Стало быть, немец? — еще более осторожно осмелился заметить Дема.

— Как немец?.. Никакого тут немца нет...

— Бу-те-нко... стало быть... Ну, стало быть, немец... или другой какой нации,— сомневался Дема.

— Говорю — человек... настоящий!.. Какого черта лысого еще тебе надо? — закричал Липатыч.— Нация!.. Никакой тут нации нет... Человек настоящий — и шабаш!..

После такого доказательства, сопровождаемого ударом кулака по столу, Деме ничего больше не оставалось, как терпеливо ждать событий.

Но не так терпеливо ждал этих «событий» Липатыч. От кого узнал Липатыч о назначении нового начальника — осталось для всех тайной; хотя очевидно было, что это стоило ему немало трудов и ухищрений. Но ни для кого не было тайной, что последние два дня, после работ, Липатыч аккуратно, даже не поужи-

нав хорошенько, отправлялся в ту часть завода, где жило начальство, и долго ходил мимо того дома, в котором, как предполагалось, должен был поселиться новый начальник. Липатыч упорно смотрел в темные окна, ожидая того счастливого момента, когда наконец мелькнет в них свет. Так он ждал два вечера. Наконец «событие» совершилось. На третий день показалось несколько извозчичьих дрожек, которые подъехали разом к пустой квартире: на первых ехала прислуга с багажом; на вторых — барыня с двоими детьми; на третьих — жидкая, неказистая фигура, сгорбившаяся, в каком-то странном картузе с необыкновенно большим козырем вроде подзора над крыльцом. Липатыч так и впился в нее глазами, скрываясь за фонарным столбом. «Должно, и точно он!» — думал Липатыч еще с некоторым сомнением, переходя на противоположную сторону и устремив свой упорный взгляд на окна. Вот наконец и он — давно жданный свет. Окна мало-помалу освещались; в комнатах замелькали тени. Вот резко вырисовалась в окне высокая сухая фигура, с худым длинным лицом и длинной узкой бородой. Для Липатыча, очевидно, этого было достаточно. Он весело поправил на своей львиной лохматке блин и быстро пошел к своей квартире. Он был доволен и приветливо улыбался самому себе. «Он! — уверенно твердил Липатыч.— Самый... настоящий он... Я уж сразу узнаю, хоть с того света приди... Совсем тогда еще юнец был, а теперь, вишь ты, хозяйка, детки... Как быть, по порядку... Ну, конечно, пригляднее это, веселее для жизни!» — думал Липатыч, и редко знакомое ему чувство нежности наполняло его грудь. Липатыч не замечал, как он шел все скорее, и когда отворил дверь и увидал вопросительный взгляд Демы, он не удержался и торжественно крикнул: «Он!»

Зато с следующего утра Липатыч вдруг «замер», весь спрятался в себя, что-то глубоко затаил на дне своей души и молча, не проронив ни одного слова, не сверкнув ни на кого своим черным глазом, упорно работал за своим станком. По-видимому, он ничего не видал и не слыхал, но внутренно он весь жил одним напряженным ожиданием, и для него не пропадал ни один звук. Пробило десять часов — и худая, высокая,

сутуловатая фигура нового начальника показалась в мастерской. Чувствовалось, что все работали дружнее, энергичнее, двигались быстрее и оживленнее, искоса и как бы мимоходом стараясь заглянуть в лицо начальника. Один Липатыч не шевельнулся, не взглянул на сторону от станка, как будто для него не было уже ничего важнее в мире того куска стали, над которым он возился: он — замер.

Между тем г. Бутенко, в кургузом пиджачке, как-то странно спотыкаясь длинными ногами в узких серых брючках, из-под которых несоразмерно выступали огромные острые носки штиблет, быстро прошел вдоль всей мастерской, направляясь, по указанию старшего мастера, в свою рабочую комнату. Хотя лицо его с длинным носом, продолговатое и смуглое, казалось суровым, но серые мягкие глаза так робко прятались за дымчатыми консервами и так боязливо старались избегать чьих-либо взглядов, что вся его персона производила какое-то неопределенное, двойственное впечатление. И когда он, сгорбившись, словно юркнул в дверь своей комнаты, Юрка никак не смог не крикнуть: «Усь!» — фыркнул на всю мастерскую, и тотчас же, спохватившись, взглянул на Липатыча. Но Липатыч не повел даже бровью... И с тех пор г. Бутенко был окрещен вновь, и мастерская единодушно признала за ним новое прозвище: он стал не г. Бутенко, а «Гусь»... Таковы нравы Юрки и его закадычных товарищей.

«Событие», о котором заставил Липатыч смутно мечтать и думать весь завод, совершилось, и осталось теперь одно — ждать «поступков». Липатыч, под видимым хладнокровием и суровой молчаливостью, внутренно был взволнован и переживал тяжелое душевное напряжение. Чтобы избежать излишних разговоров и даже просто пытливых взглядов со стороны Демы, Липатыч теперь и обедал, и ужинал урывом, наскоро и тотчас уходил из квартиры на улицу, на завод... Липатыч напряженно и терпеливо ждал «поступков», но поступков никаких не было.

Проходили дни — и жизнь мастерской шла обычным, заведенным порядком, как будто решительно ничего не случилось, кроме самой невидной и не ред-

кой смены начальников, из которых каждый до того был похож один на другого, что Юрка даже затруднялся придумывать новые клички. Господин Бутенко попрежнему, аккуратно, каждый день, четыре раза пробегал, спотыкаясь длинными ногами, через мастерскую в свой кабинет и обратно, вызывая молчаливое недоумение рабочих. Может быть, он все еще принимает мастерскую с ее запутанными счетами от Псоя? Может быть, так как назначать и принимать работы продолжал по-прежнему старший мастер. Господин Бутенко был неуловим — и это начинало, по-видимому, тревожить рабочих, и только когда, по поводу каких-то недоразумений с мастером, некоторым из рабочих пришлось являться к нему в кабинет, — все узнали, что он сух, холоден, неразговорчив и робок и что он никогда не смотрит в лицо рабочего, а либо в стол, либо на сторону. Это было первым открытием, которое несколько задело за живое всю мастерскую. Но вместе с тем было сделано и второе открытие: когда мастерскую посетило самое на́большее начальство, г. Бутенко был с ним также сух, холоден, молчалив и... робок. Но больше никаких «поступков» не было. Так прошла неделя. Очевидно, терпеть Юрке дальше было невозможно, — и вот однажды, когда г. Бутенко проскользнул, «как ящера», по словам Юрки, через мастерскую, торопясь обедать, в мастерской громко раздалось раздраженное восклицание: «Ну, погоди, гусь лапчатый. Я тебя выведу на свежую воду... Ты у меня заговоришь!»

Это говорил Юрка, внушительно поглядывая на Липатыча, — и поощрительный гул пронесся по всей мастерской. В груди Липатыча что-то заныло, «подкатило», кровь бросилась ему в голову. Но теперь он не только не закричал на Юрку, — он не взглянул на него: Липатыч его боялся.

После обеда старший мастер некоторым из рабочих назначал новые работы; в том числе был Юрка.

— Ступай, отнеси в кузницу, а я этой пакостью заниматься не намерен, — сказал отчетливо Юрка и бросил под станок стальную кувалду, которую мастер назначал ему для обработки.

Мастер искоса и подозрительно взглянул на него.

— Ну, мне что ж! — равнодушно сказал мастер.— Это не мое дело... Это он назначил...

Мастер махнул рукой и отвернулся от Юрки.

— Он? — спросил Юрка, в то время как его маленькие глазки сверкали раздраженно и вместе насмешливо, вызывающе.— Ну, поди и скажи ему, что здесь не ученики... Здесь мастера... Ежели он этого до сих пор не знает... Скажи ему!..

Мастер, не оборачиваясь, опять повел искоса на Юрку глазами и медленно прошел дальше.

В мастерской говор смолк и слышался только визг и грохот инструментов. Мастерская напряженно ждала «поступков». Юрка от нечего делать чистил свой станок и посвистывал и от времени до времени возбужденно поглядывал на Липатыча. Но Липатыч не поднимал глаз.

Прошло полчаса, когда послышался мягкий стук штиблет, которые рабочие прозвали «немецкими». Господин Бутенко, в сопровождении старшего мастера, подошел к Юрке.

— Мною назначена работа... Отчего не исполняют? — спросил, не повышая тона, г. Бутенко, останавливаясь против Юрки, но обратив свои серые, устало добродушные глаза на закоптелые окна мастерской. В руках он держал свернутую в трубку бумагу, и тонкие пальцы нервно постукивали по ней.

— Я не кузнец... Я мастер... по чистой работе,— отвечал Юрка, но почему-то сгустив голос до басовой октавы и смотря исподлобья, боком.

— Я этого не знаю... Я знаю, что мастерская должна исполнять назначенную работу,— говорил г. Бутенко, переводя глаза с окна на стены и еще нервнее барабаня по свертку пальцами.

— Я тоже не знаю,— грубил Юрка,— мое дело чистое... Я на всякой дряни измождать себя не намерен...

— Запишите штраф,— сказал г. Бутенко старшему мастеру, стараясь избежать его взгляда.— Если он и после того не возьмет работу,— запишите двойной... Если он...

— Здесь таких правов нет... чтобы издеваться!.. Здесь не каторжные работы,— крикнул Юрка, отходя

к двери.— Сначала бы надоть людей узнать, а не поверх очков глазами гулять!.. Мы живые, а не чугунные...

Господин Бутенко как будто ничего не слыхал, повернулся и, спотыкаясь, направился в свой кабинет.

В мастерской никто не сказал ни слова. Все чувствовали, что дело еще не решено и «настоящие поступки» еще впереди.

День уже приходил к концу. Работы заканчивались нынче, по случаю субботы, раньше. Все спешило покончить с протекшей неделей. Что делал в это время в своей рабочей комнате г. Бутенко — никто не знал, но, по-видимому, и он решил свести итоги своей недели.

Минут за десять до окончания работ в мастерской снова показался г. Бутенко. Он остановился около одного станка и что-то сказал старшему мастеру. Рабочие прекратили работу — и все смолкло.

— Я вынужден объясниться... Я надеялся, что это не будет нужно,— заговорил г. Бутенко тихим, слабым и прерывающимся голосом, по-прежнему ни на кого не смотря, опустив глаза на свои тонкие белые руки, которыми он, как и прежде, нервно барабанил по стальному колесу станка.— Я надеялся, что это не будет нужно... Но я, как и думал, ошибся... Как предполагал, к сожалению... И вот я вынужден сказать, что я не допущу... всего этого... не могу потерпеть... Я — честный и деликатный человек; я хочу, чтобы и мое дело сделано было честно и мои подчиненные были честны и деликатны... Я привык к этому... И не хочу учиться поступать по-другому.

Господин Бутенко становился все нервнее, и если бы слушатели были хотя сколько-нибудь расположены понимать его, они почувствовали бы, как дрожал его подбородок, когда он говорил, и сколько нравственных усилий стоила ему эта речь. Он заикался и не находил слов.

— Я думал... Я надеялся, так как я сам никого никогда не желал бы обидеть грубым словом... Но я увидал, к сожалению, кругом себя распущенность во всем — вот школа нашего рабочего. Это погибель для вас самих... Я не могу потерпеть... Я честно должен

исполнить свой долг перед компанией, вы — передо мной... Да, честно,— повторил г. Бутенко и тяжело перевел дух, как будто собираясь с последними силами. — Пора, пора нам очнуться — и не купаться в грязи, а высоко поднять свое дело!.. Все, что этому будет мешать — вон, вон, как сорную траву... Мастерская — не богадельня и... не кабак... А я вижу — кабак!.. Это сделали вы сами, ваши здешние порядки и мои предшественники. Я буду точен и строг... Кто не хочет — пусть уходит... Мы найдем других. Другие не захотят — третьих, но у нас будет истинная мастерская, честно исполняющая свой долг,— а не кабак!.. И на первый раз я увольняю вот этого господина,— указал он на Юрку.

— Бессты-ыдник! — вдруг сдержанно раздалось среди общего молчания.

— Что это... Что это такое? — также сдержанно, пересиливая себя, спросил г. Бутенко, взглянув на ряды рабочих.

Все молчали.

— Вы делаете вызов,— проговорил г. Бутенко дрожащими губами.— Будем бороться!.. Будем...

— Бессты-ыдни-ик! — пронеслось уже явственно над всей мастерской.

— Старший! Запишите и оштрафуйте... Вы знаете сами кого... Я не хочу знать личностей,— почти прошептал г. Бутенко побледневшими, как мел, губами.

— Бессты-ыдник! — загремело уже под высокими сводами мастерской, и Липатыч, с сверкающими темными глазами, горевшими огнем обманутой, любимой мечты, боком выдвинулся из толпы мастеровых.

— Старший, старший!..— почти истерически выкрикнул г. Бутенко, увидав страшное и возбужденное лицо Липатыча.— Уведите отсюда вон... вон... навсегда... возьмите от меня этого дикого, злого старика!..

— Уморить меня хочешь... как собаку, на улице? На, коли... на, возьми!.. на память... от старика!..

Липатыч быстро разорвал ворот рубахи и, сняв со шнурка медный крест, протянул его к г. Бутенко.

Кровь бросилась в лицо г. Бутенко. Он быстро и смущенно отвернулся и, спотыкаясь еще более, чем обыкновенно, вернулся в свой кабинет.

Рабочие помолчали минуту, как пораженные столбняком, но тут кто-то сказал: «Ну, гусь лапчатый!» Мастеровые ахнули и с громким шумом и говором почти выбежали из мастерской.

Между тем из кабинета раздался тревожный звонок. Старший мастер бросился туда. Там в кресле сидел весь разбитый, как параличом, г. Бутенко, бледный, и прерывисто истерически дышал.

— Дайте... мне... воды...— чуть слышно прошептал он.

IV

Липатыч исчез. Прошло два дня, а его никто не видел ни в мастерской, ни в заводе. Липатыч был настолько свой человек в заводе, что его исчезновение заметили все сразу и это вызвало даже невероятные слухи. Говорили за достоверное, что Липатыч покончил с собой. На этом особенно настаивал Юрка, который теперь целыми днями болтался по трактирам и портерным. «Конечно, прикончился!.. Чего ж больше нашему брату надоть? Вот тебе за тридцать пять лет — пенсия, получай квитанцию! — говорил он обыкновенно зло и раздраженно.— До смертоубийства — прямое дело!.. Теперь у нас это разлюбезным манером приспособлено: прилег эдак к рельсу удалой головой — и прощайте, братцы-товарищи, до радостного утра!»

Один Дема не совсем доверял этим слухам, тем не менее он был неспокоен. Пользуясь всяким свободным часом, он уходил из дому и бродил по окрестностям, надеясь встретить Липатыча, один раз он как будто приметил его бродившим по тем самым полям, где они когда-то с ним беседовали. А затем Липатыч опять пропал из глаз. Придя домой, Дема часто сидел по целым часам и думал, думал медленно, упорно, напряженно... Когда он работал в мастерской, ему очень хотелось повнимательнее присмотреться к начальнику, но Бутенко являлся теперь в мастерскую на очень короткое время; все говорили, что Бутенко нездоров. Дема прислушивался теперь ко всему, что только говорили о Бутенко. Однажды, когда Бутенко совсем не пришел после обеда в мастерскую, Дема ве-

чером, потихоньку, отправился к дому, где он жил, долго заглядывал в окна его квартиры и, присев у ворот на скамеечку, долго беседовал с дворником и кухаркой Бутенко. В его душе зрели и боролись какие-то совершенно новые для него мысли и ощущения, непонятные и противоречивые, зрели медленно, мучительно и не давали ему покоя.

На третий день вечером Липатыч вдруг «объявился». Дема был уже дома, когда Липатыч вошел своим обычным тяжелым и размашистым шагом.

— Входи, входи, не бойся!..— сказал он кому-то, и вслед за ним робко вошла в дверь жалкая фигура в резиновых опорках с цилиндром в руке; она вела за руку другую, еще более несчастную и жалкую фигурку — маленькую девочку, в старенькой шляпке, бумазейной коротенькой юбочке и больших старых мужских штиблетах.

— Вот и пришел,— сказал Липатыч.— Поди, думали, пропал Липатыч?.. Липатыч не пропадет!.. Это все одно, что с похмелья: погуляешь денек, продует свежим ветерком — всю дурь из головы вышибет!..

Липатыч, очевидно, старался казаться хладнокровнее и развязнее, но Дема смотрел на него подозрительно и опасливо.

— Вот, немца нашел,— продолжал Липатыч, ставя на стол бутылку с водкой.— Зашел в трактир, а он ко мне: раскланивается, словно чиновник!.. Позвольте,— говорит,— мусью, пожать вашу руку... Вы карош человек... Я вас,— говорит,— понимаю...

— О, ja, ja!.. Вы честна душа... Я вас теперь понимайт,— заговорила жалкая фигура, улыбаясь всей своей широкой красноватой физиономией.

— Ну,— говорю,— коли понимаешь, так пойдем со мной на квартиру ужинать, к приятелю... Ну, немец, садись и девчонку сажай.

— О, мы вас понимайт!..— говорил немец, робко присаживаясь на краешек стула и поместив между своими ногами маленькую фигурку и свой большой цилиндр.— Мы вас понимайт... Мы тоже был балшой механикер... О, ja!.. Балшой механикер... Большая служба служил... сорок лет служил...

— А теперь с голоду дохнешь? — сурово спросил Липатыч.

— О, ja... Много труда, много служба и много несчастлив... Бог один справедлив!..

— А девку зачем с собой таскаешь?.. Чья она?

— О, мне бог посылайт эту маленькую Антигон... и маленький канарейка... Мы поем, и бог нам дает пища... Бог справедлив!..

— Ну, коли так — ешь, немец!.. А потом... будем писать! — сказал Липатыч и раздраженно двинул немцу стакан водки и закуску.

Дема все подозрительнее и подозрительнее смотрел на Липатыча; он чувствовал, что хладнокровие и спокойствие Липатыча были напускные и что в душе его, очевидно, созрела какая-то мысль, которую он бесповоротно решил осуществить.

— А потом будем писать! — повторил Липатыч и вынул из кармана своего старого пальто бумагу и карандаш.— Говоришь, грамоту знаешь?

— Чего писайт?..— спросил немец и с грустным сомнением покачал головой...

— Как что?.: Обо всем будем писать... Все изложим, до последнего... Мы им покажем!.. Мы с тобой сами пойдем, самолично... Вот, мол, мы — смотри!..

— Куда будем ходить?..

— Правду искать, немец, правду искать!..

Немец опять жалостно покачал головой.

— Мы это не знайт... Мы сам себе помогайт... У нас там ферейн... Здесь нет ферейн...

— Сам помогай! Ты вот сначала полюби человека, по душе. В харю-то ты ему не плюй, на съезжей-то не пори! Вот как сначала-то!.. Ничего ты, немец, в наших делах не понимаешь... так слушай, что тебе говорят... У нас, в нашей России, этого не было, чтобы люди с голоду умирали... Это, брат, шалишь!.. Мы, брат, ее разыщем, правду-матку! Со дна моря найдем!.. Я тебе говорю — пиши, завтра мы с тобой и в дорогу!.. Мы, брат, и до Питера дойдем... Со мной не бойся!..

— О, господин механикер, мой очень плохо писайт по-русски!..

— Ничего!.. Было бы написано, а там разберут... Хитрости не велики... Пиши!..

Немец, видимо, совсем упал духом и почти умоляюще посмотрел сначала на Липатыча, потом на Дему.

— Не бойся, ничего не бойся... Я тебе говорю: найдем правду!.. Пиши!..— строго и решительно повторил Липатыч.

Вдруг Дема, сидевший все время в стороне, по обыкновению, тяжело поднялся, напружился и, весь покраснев, как всегда, когда он должен был сказать что-нибудь важное, проговорил, дотрагиваясь до плеча Липатыча:

— Вавил Липатыч!..

— Ну, что еще? — сурово спросил Липатыч.

— Оставьте это...— отчетливо выговорил Дема. Липатыч взглянул в глаза Деме: он смотрел на него твердо и решительно.

— Оставьте это... Время будет,— повторил он.

И к удивлению и немца, и самого Демы, Липатыч ничего не возразил. Может быть, во взгляде Демы, таком ясном, твердом и решительном, он уловил проблеск той надежды, которая еще продолжала смутно жить в его душе.

V

Назавтра был праздник. В маленькой каморке Демы, разделенной на две половины ситцевою занавеской, за которой помещалась печь и ютились его жена и дети, происходило нынче что-то не совсем обычное. Как раньше Дема подозрительно следил за Липатычем, так сегодня Липатыч, исподлобья и молча, подозрительно наблюдал за Демой, выкуривая сигаретку за сигареткой. Прежде всего его поразило уже то, что Дема нынче особенно долго и тщательно отмывал мылом с лица и рук насевшую за неделю стальную пыль; потом он потребовал от жены вынуть из сундука единственную манишку, существовавшую исключительно для очень важных случаев, вычистил особенно усердно свой «парадный» пиджак и, наконец, особенно долго и внимательно чесался пред маленьким тусклым зеркалом. Притом все это он делал до такой степени серьезно и вдумчиво, что жена, дети да и сам Липатыч боялись и не решались заговорить с ним.

Одевшись совсем по-парадному и надев новый картуз, Дема коротко сказал, что пойдет к обедне, и вышел. Липатычем овладело беспокойство; он хотел было выйти вслед за Демой, но подумал, швырнул свой блин на окно и остался.

Обедня отошла, и Дема торжественно и тихо вышел из церкви. Но домой он не пошел, а так же медленно и торжественно двинулся по направлению к квартире Бутенко. Подойдя к дому, он сначала заглянул в окна, постоял около парадного крыльца и затем прошел уже во двор, где отыскал дворника и спросил его тихо: «Дома сам-то?» — «Дома, надо быть».— «Здоров?» — «Надо быть, здоров. А что?» — «Здоров, ну и слава богу... А то как бы беспокойства не сделать». Собрав все эти предварительные сведения, Дема, наконец, прошел через задний ход на кухню. Здесь он снова, тихо и деликатно, «чтобы как-нибудь не побеспокоить», повторил прислуге те же самые вопросы, какие предлагал дворнику, и затем попросил доложить, «что, мол, слесарь из ихней мастерской желал бы самолично их видеть».

Минут через десять из двери, ведущей из комнаты в кухню, выглянули из-за очков подозрительно робкие глаза Бутенко.

— Что надо? — тихо спросил он, не входя в кухню.

Дема замялся.

— Желали бы переговорить... самолично,— сказал он.

Бутенко еще более робко и вместе подозрительно окинул взглядом Дему, но Дема с совершенно спокойной серьезностью выдержал этот взгляд...

Бутенко скрылся, и затем, через минуту, раздалось из-за дверей: «Войдите!»

Дема прошел через кухню в коридор и в отворенную дверь увидал Бутенко, сидевшего в своем кабинете. Он остановился в дверях.

— Что скажешь? — тихо спросил Бутенко, сидя боком к Деме, не оборачиваясь и не смотря на него; опустив вниз глаза, он вертел портсигар в своих тонких, хрупких пальцах, которые слегка дрожали.

— Насчет старичка, стало быть... Уволить изволили вы старичка, Вавилу Липатыча... А он, стало быть,

заслуженный старичок... Так вот, стало быть, насчет его,— проговорил Дема, заминаясь, едва находя слова и в то же время желая как можно деликатнее разъяснить Бутенко дело, боясь, как бы не сказать какого-нибудь обидного слова.

Бутенко поморщился, и по лицу его пробежала тень болезненного раздражения.

— Вы не извольте беспокоиться,— тотчас сказал Дема, заметив это выражение на лице Бутенко.— Мы не то чтобы вас беспокоить али просить о чем...

— Так чего же вы хотите? — как-то досадливо-недоумевающе спросил Бутенко, подняв тусклые глаза на Дему. Дема кашлянул тихонько в руку и осторожно приблизился к Бутенко.

— Вы изволили, стало быть, уволить старичка... за озорство,— заговорил он, совсем понизив голос и нагибаясь туловищем почти к самому уху Бутенко.— А он, стало быть, Вавила Липатыч-то... Любит он вас!.. Да... Как любит-то, господин!.. Как отец, стало быть, родитель свою дитю малаго — вот как!

И Дема употребил все усилия, чтобы сказать эти слова как только можно нежнее, и при этом обычная грустная улыбка появилась на его лице.

Бутенко удивленно вскинул глазами на Дему и внимательно смотрел на него, как будто стараясь прочесть на его лице таинственный смысл непонятных слов.

— Что же вы об этом знаете? — наконец спросил он.

Дема весело улыбнулся и снова кашлянул в ладонь.

— Вот изволите видеть, с месяц эдак тому... вышли мы, стало быть, с этим старичком в поле... разгуляться, стало быть,— начал было Дема и остановился: он не знал, как и с чего начать.

Дема никак не ожидал, чтобы было так трудно передать все то, что он так глубоко и ясно чувствовал в своей душе. Дема, как и всегда в таких случаях,— напружился, покраснел, взглянул беспомощно в окно — и вдруг ему представилось так ясно и золотистое поле, и цветы, и он сам с своими «мечтаниями» с львиной седой головой, и все, все это стало пред

ним, как живое, как будто происходило сейчас, тут, перед ним, и Дема заговорил свободно, просто, заговорил о каких-то «могилках», о полях, о своей деревне, потом опять о «могилках» и о Липатыче, о «немцах», об озорстве Липатыча и о том, как он любил и баловал его ребятишек, и о том, как мягко и нежно мог говорить иногда Липатыч о своих «мечтаниях», и, наконец, опять о немцах, и об «юнцах», и о том, как Липатыч караулил приезд его, Бутенко, и даже о том, как он, Дема, советовал Липатычу быть справедливым.

Дема говорил и смотрел на Бутенко такими добродушно улыбающимися глазами, как будто для него не было ни малейшего сомнения, что Бутенко чувствует и понимает всю эту странную пеструю панораму, которую развертывал он пред ним, как чувствует и понимает он ее сам.

А Бутенко сидел, не говоря ни слова, опустив голову и нервно перебирая дрожащими пальцами часовую цепочку.

Дема, наконец, остановился, подозрительно взглянул на Бутенко и опять кашлянул в руку.

— Стало быть,— начал было Дема.

Вдруг Бутенко вскочил и, нервно дрожа, начал быстро ходить по комнате.

— Что ж от меня хотят? Я... я ничего не понимаю,— заговорил он, стараясь не глядеть на Дему,— Это, это все... какой-то сумбур...

— Стало быть, только насчет этого старичка,— робко отступая к двери, проговорил Дема.— То ись, стало быть, полюбовнее бы...

— Я ничего не понимаю... Что такое делается? Что вы говорите?.. Я... я, наконец, поймите, ничего не могу... Что я могу сделать?.. Оставьте меня с этим стариком!..

— Стало быть, этого старичка... не вспоминаете?

— Какого старичка? Что такое? — нервно вскрикнул Бутенко, как будто его хотят лишить жизни.— Поймите... мы должны исполнять свой долг... каждый... честно исполнять... А это что такое?.. Вы губите себя, губите меня... Это — одна распущенность... Это это не даст жить спокойно ни вам ни мне

никому... Это бог знает что такое!.. Все мы... понимаете?.. все мы должны...

Бутенко заикался, заминался, не находил слов. Дема смотрел во все глаза на Бутенко и, казалось, так же мало понимал его речи, как мало понял Бутенко его «панораму», смысл которой был так ему понятен и дорог.

Бутенко, так и не кончив своей речи, опять сел в кресло и замолчал, по-прежнему нервно перебирая дрожащими пальцами часовую цепочку.

А Дема в изумлении продолжал смотреть на Бутенко, решительно не зная, почему он так испугался. «Стало быть... стало быть, это — не он!» — мелькнуло в голове Демы.

Дема еще несколько раз взглянул искоса на Бутенко — и ему как будто стало даже жалко его.

— Пока прощения просим... И извините,— тихо проговорил Дема и, едва ступая на носках и кланяясь, выбрался из квартиры Бутенко.

«Стало быть... это не он!» — решил окончательно Дема.

Дема шел домой уже далеко не так важно и торжественно, как прежде.

Войдя в свою камору, он прежде всего встретил сердито-пытливый взгляд возбужденного Липатыча.

— Где был? — сурово спросил Липатыч.

— В церковь сходил,— отвечал Дема, снимая осторожно свои парадные одеяния.

— А еще где?

— А еще... к нему заходил.

— Так я и знал! — раздраженно проворчал Липатыч.— Ну и что ж ты ему говорил?

— Все говорил... То и говорил, что вы мне в поле говорили. Вот все это и говорил... А больше ничего не говорил... Мое дело сторона. Я ежели и говорил про себя — так одно, что надо быть справедливым, особливо старым людям... Вот это говорил.

— Ну и что ж он? — промычал Липатыч, скрывая за сиплым басом охватившее его волнение.

— Что ж он!.. Стало быть... стало быть — это не он, Вавила Липатыч... Так думать надо — ошибка вышла.

— Не он, говоришь? — быстро спросил Липатыч с загоревшимися глазами.

— Нет, не он,— решительно ответил Дема.— Потому, ежели бы он...

— Молчи... не смей!.. Не говори ничего мне больше! — вдруг перебил его, сверкая возбужденными глазами, Липатыч и, схватив свой блин, быстро вышел из каморы.

Где пропадал Липатыч этот день — так и осталось тайной для Демы, хотя он вечером и обошел все заводские трактиры и портерные. Липатыч даже и не ночевал дома. А дня через два в трактире происходила такая сцена.

Липатыч, с котомкой за плечами, стоял среди толпы рабочих, окружившей его. Рядом с ним стоял немец и испуганно улыбался.

— Ну, братцы, прощайте! — говорил Липатыч, нервно потряхивая своей львиной гривой.— Не поминайте лихом! Куда ни шло — погуляю в последний разок по матушке-Рассее!.. Мне уж один конец, а только мы ее, эту правду-матку, выищем, мы ее со дна моря найдем. Нам не придется с нею жить — вам пригодится... А мы ее с немцем вам предоставим... Это, брат, шалишь: добро даром в миру не пропадает!..

— Куда будем ходить, господин механикер? — грустно и боязливо говорил немец, дрожащими пальцами перебирая по цилиндру.

— Со мной не бойся! Хуже нам с тобой не будет,— утешал его Липатыч,— а что лучше найдем — все наше будет!.. Айда́, немец!.. Прощайте, братцы!.. Главное — живите дружнее... вот как мы с Демой жили! Кабы еще не это,— так...

И Липатыч отчаянно махнул рукой.

— Ну, а за озорство мое не обессудьте... Что делать!.. Такими, значит, нас мать-Рассея зародила да такими вот и в гроб кладет!.. Айда́, немец!..

Когда в ответ ему разнесся по трактиру сочувственный гул голосов, Липатыч степенно раскланялся на обе стороны и надел свой блин.

— Прощайте, братцы! А это мы с немцем все расследуем, как и что...

Липатыч вышел своей обычной гордой походкой, гоголем; за ним поплелась жалкая фигура немца в не менее жалком цилиндре и пальмерстоне, совершенно не понимая, какая сила увлекала ее за Липатычем.

Рабочие несколько минут молчали; грустно им было расставаться с Липатычем: жалко им было его и знали они, что не далеко уйти старику за своей заветной «мечтой», что уже ждет его, не нынче-завтра, одинокая могила, но все же им было отрадно думать, что среди них жил Липатыч и что это был свой человек для них.

Сироты 305-й версты

Наступала весна: конец нашим зимним скитаниям по скверным столичным квартирам. Я, как скворец, ежегодно с первыми весенними лучами отправлявшийся в долгий перелет по стогнам и весям деревенской России для освежения духовного и подкрепления телесного, объявляю своим присным, что пора нам двинуться в путь.

Все готово! В мелочную лавочку и за квартиру заплачен последний долг; ребятки вот уже две недели как не хворают; жена чуть-чуть вздохнула после бессонных ночей, сплошь переполненных заботами о детях, о работе, о должишках, о голой необеспеченности... Да, бывали тяжелые минуты! Но зато у нас было великое сокровище, которое мы, путем этих лишений, насколько могли, охраняли как зеницу ока: это была свобода духа и свобода перелета, и мы могли не быть рабами, прикованными к колеснице какого-либо господина...

Итак, едем! «К Сидорычу, папа, к Сидорычу! Мы у него не были уже два года!» — категорически заявляют мои скворчата. К Сидорычу? Гм... не близкое место... Но скворчата, уже привыкшие к ежегодным весенним перелетам, ничего не имеют против почти недельного путешествия по водяным и сухопутным путям сообщения, ведущим в царство Сидорыча и ему подобных... К Сидорычу так к Сидорычу! Четыре-пять суток от Петербурга — и перелет совершен, и мы уже переброшены далеко за великую русскую реку и благодушно устраиваемся в первый же ночлег на покрытом соломой и валеными кошмами полу огромной избы за-

волжского села. А на другой день, почти с первыми лучами яркого весеннего солнца, мои нетерпеливые ребятки уже тащат меня вместе с собой к резиденции Сидорыча...

Мы очень любили Сидорыча. Это был просто старый отставной солдат, еще в молодости защищавший Севастополь, добродушно суровый и исполнительный на службе, философ-юморист в жизни, вечный герой и нищий по судьбе, проходивший свою жалкую жизненную карьеру с тем же героизмом, с каким он некогда стоял на Малаховом кургане,— старый служака с седыми щетинистыми усами, служивший теперь сторожем па будке 305-й версты заволжской железной дороги.

Отправляться почти ежедневно за полверсты от деревни, на линию, к «шламбою», около которого в небольшой будке жил Сидорыч, было величайшим удовольствием моих ребяток. Его «усадьба», как звал он свою будку с примыкавшим к ней огородом в пять квадратных сажен, была действительно прелестным местечком: сама будка стояла па краю резерва пути, и маленький огород, украшенный «по-хохлацки» (как всегда объяснял сам Сидорыч) махровым маком, мальвой и подсолнечниками, упирался в край оврага, поросшего кустарником; на дне этого оврага струилась, немолчно журча по мелким камням, маленькая речка, как змейка, игриво проскользавшая в каменный туннель под полотном дороги. По другой стороне оврага густо разрослась березовая рощица — наш любимый приют в тихие, теплые дни. Здесь, сидя на высоком береговом мыску, я любил смотреть на родной пейзаж, с овражками, долинками и перелесочками, чередовавшимися полосами озимых и яровых полей, с видневшеюся вдали улицей села, с расстилавшейся за ним безграничной приволжской поймой, усеянной озерками; а мои ребятки вместе с несколькими деревенскими сверстниками в это время копошились внизу у оврага, у глубоких бочагов речки, в которых ходили стайками окуньки и ерши.

Здесь-то и свели мы первое знакомство с Сидорычем, который считал себя полновластным владыкой не только своего двухверстного «околотка», но и всех ближайших

мест, которые примыкали к нему. Особенно так называемый резерв (или «лезерв», как называл Сидорыч) он считал прямо-таки неприкосновенным для обычных смертных и должен был по этому случаю выдерживать бурные столкновения с деревенскою молодежью во время урожая ягод и грибов, когда она безжалостно топтала его покосы. Таким образом, прежде чем рассчитывать наслаждаться поэтическою прелестью этого милого местечка, носившего казенное название «305-й версты», необходимо было заручиться расположением Сидорыча, что, впрочем, не представляло особенного затруднения: стоило только в принципе признать его власть над всем этим железнодорожным «уделом» и побеседовать с ним «по душам», сидя на лавочке около будки, чтобы размягший старик, большой любитель всяких бесед, тотчас же не только великодушно уступил в ваше пользование все поэтические прелести своих владений, но и сам принял самое деятельное участие в организации всякого рода «удовольствий». Вместе со своей маленькой тринадцатилетней Катенкой, тоненькой, жиденькой черноволосой девочкой, с темно-карими, какими-то пугливо-резвыми глазенками, прыгавшей, как козленок, в полинялом сарафанчике, едва доходившем ей до колен, он ставил нам в рощице самовар, разводил костер и делал яичницу или варил в котелке раков, а иногда и уху из ершей, которых тут же налавливал. Я же, с своей стороны, не забывал прихватить для старика скляночку «горилки» (как любил он иногда говорить «по-хохлацки», вспоминая свои военные постои в Украйне) и «ведомости» — две вещи, к которым он из всех «пустяков», служащих для соблазна и удовольствия людей, чувствовал особенную слабость, конечно не забывая искони излюбленной махорки.

И вот теперь, когда спустя три года после нашего первого знакомства с Сидорычем, мы опять приехали в эти знакомые места, мы снова застали его на том же посту, тем же неизменным владыкой крохотного железнодорожного «удела».

Сидорыч встретил нас по-прежнему, как старых знакомых, радушно, по-видимому, даже обрадовался. За эти три года, как мне показалось, он не только не

подряхлел, но, напротив, как будто стал сановитее, «подтянулся», а волосы на голове и усах стали как будто даже чернее. Он теперь был «при полной форме»: в новой форменной фуражке и синей блузе, подпоясанной кожаным поясом, на котором висели свернутые флаги, с длинным молотком в руке. После обычных радушных приветствий он присел к нам на излюбленный нами мысок.

— Погоди, ужо вечером свободен буду. Освобожусь от дежурства, тогда мы с вами тут по-настоящему разгуляемся. Теперь я, вишь, в очередь на дистанцию собрался,— говорил он.

— Кто же у тебя здесь остается? Как твоя коза Катенка?

— Катена-то? — поправил он меня.— Катена у меня теперь хозяйствует... Катена у меня теперь — девка в полной форме... Катену вы и не узнаете... Теперь она на деревню ушла.

— Что же, она за тебя здесь остается?

— Нет. Это еще ей пока по молодости не положено.

— Кто же при тебе еще?

— При мне-то? А жидок... Али вы, может, его не знаете? При вас, в ту пору, его, пожалуй, не было еще. Вон дудит... слышите? Хорошо играет, собака...

Действительно, мы еще раньше слышали как будто откуда-то издалека долетавшие нежные звуки флейты, на которые мы раньше не обратили особого внимания.

— Так это он играет?

— Он... Хорошо играет... Известно — жид, это им уж от натуральности дадено. Другой раз, собака, до слез проймет... А ничего — малец добрый, складный... Худого не скажу... Обходительный... Вот под команду ко мне прислали. Покалечило его здорово, под поезд на станции попал,— служил он там. Ну, его сюда ко мне и сослали под начал... Баба мне должна бы полагаться... Ну, а как бабы у меня нет, вот и прислали, значит, как бы замест доподлинной бабы... Ничего, я им доволен. Обходительный малец... Я вот ему неравно скажу: коли что вам занадобится, он сейчас, с удовольствием...

— Абра-ам!.. Абра-амко!..— закричал Сидорыч. -

Не слышит, пес... Абрамчук!.. Не слышит, жиденок... Ну, я пойду сам скажу ему... Идти мне надо. А вы разгуливайтесь здесь на здоровье...

Сидорыч ушел куда-то за будку, и скоро флейта замолкла. Несколько минут спустя я увидел медленно подвигавшуюся к нам фигуру на деревяшке вместо правой ноги, опиравшуюся на толстую палку. Перейдя речку по полотну, она остановилась недалеко от мыска, где я сидел, и, сняв шапочку, поклонилась, слегка кивнув головой. Это был еще совсем молодой человек, почти юноша, с своеобразно красивым лицом еврейского типа, обрамленным маленькой кудрявой черной бородкой, с немного сгорбленным носом и большими темными глазами, слегка подернутыми туманным налетом, под густыми ресницами, с тем робко-мечтательным выражением, которое часто встречается у музыкантов. Он был в стареньком, порыжелом на спине, легком люстриновом пиджачке и такой же шапочке с комической шишечкой на маковице.

— Здравствуйте,— сказал я.

Он снова левой рукой снял шапочку, мотнул головой и молча улыбнулся пухлыми розовыми губами.

— Вы — Абрамчук?

— Да-с, Абрамсон я... Это старичок меня так прозвал Абрамчуком... А я — Абрамсон,— проговорил он мягким гортанным голосом с чуть заметным жаргоном и опять с молчаливой улыбкой продолжал смотреть на нас.

— Садитесь с нами,— предложил я.

Слегка смуглое лицо его почему-то вспыхнуло румянцем; он сделал неторопливо несколько шагов и осторожно присел на пенек, продолжая смотреть на нас робким, мягким, улыбающимся взглядом.

С первого раза он мне очень понравился: в нем было что-то деликатное, располагающее к нему и вместе с тем благодаря, вероятно, отрезанной ноге невольно вызывавшее к нему сострадание. Одно только в нем было для меня загадочным — его мягкий, нежный, уж как-то чересчур ласкающий взгляд темно-бархатных глаз, в глубине которых, однако, таилось что-то такое, чем он, по-видимому, вовсе не желал делиться со всяким встречным.

— Вы давно здесь? — спросил я.

— Два года... После того как отрезали мне ногу.

— Как же это случилось?

— Я служил на станции. Была ночь, большая вьюга́, очень сильная вьюга́. Подходил поезд... Уже видны были огни... Вдруг господин начальник станции заметил, что первая стрелка стоит неправильно... или показалось так ему... он кричал мне, чтобы я бежал смотреть стрелку... Я бежал. Вьюга́ била мне в лицо снегом... Я бежал к стрелке,— она стояла верно... Я хотел крепче держать ее за рычаг... Я протянул руку, но ветер меня сшибал... Я поскользнулся... Поезд проезжал мою ногу...

Абрамчук говорил неторопливо и хладнокровно; ему, по-видимому, наскучило уже передавать бесчисленное количество раз одно и то же.

— Ну и что же? Наградили вас чем-нибудь?

— Мне отрезали ногу... Я лежал два месяца в больнице... Потом мне сказали: «Тебе, Абрамка, надо ходить в отставку... Вот тебе пятьдесят рублей в пособие — и иди, куда желаешь...» Куда я мог желать идти? У меня уже не было ни отца, ни мать, ни брат, ни сестра... Я был один... Я плакал... Тогда господин главный начальник дистанции сказал: «Пошлем его, господа, на триста пятую версту; там один старик без бабы; пусть оп будет при нем вместо бабы...» И меня послали к старичку...

— Только этим-то вас наградили?

Абрамчук пожал с улыбкой плечами.

— Господин главный начальник говорил: «Ты никого не спас. Стрелка стояла правильно... Когда бы стрелка стояла неправильно и ты бы перевел ее как следует, тогда мы благодарили бы тебя по-другому».

— Что же вы на них не жаловались? Ведь вы же все одно остались калекой на всю жизнь, без ноги, не по своей вине.

Абрамчук опять пожал плечами, но ничего не сказал.

— Вы что же, довольны здесь своим положением?

— Я доволен, господин,— сказал он совершенно искренно и вздохнул.

Быть может, заметив на моем лице недоумение, он прибавил:

— Я сирота... совсем одна сирота... Моя родина далеко — Бессарабия... Мой отец приезжал сюда делать гешефт на линию, когда строилась дорога... Гешефт не пошел... Тогда мой отец ходил в город с музыкой и велел мне тоже играть с собой... И я играл, и потом скоро стал играть хорошо... и отец меня хвалил... Потом мой отец скоро умирал, и мать скоро умирала... Я плакал... Тогда господин главный начальник дистанции сказал: «Ты, Абрамка, оставайся пока у меня прислуживать, а потом я тебя поставлю на станцию...» Я опять плакал и благодарил господина главного начальника... Он велел мне играть при себе, когда приходил домой... Я часто ему играл; он хвалил меня и давал немного денег.

— Я слышал вас... Вы хорошо играете. Вы, должно быть, артист в душе... Вы любите играть?

— Да, я люблю, господин, играть... И петь люблю... И здешний батюшка меня хвалил. И я просил батюшку позволить мне петь в церкви. Батюшка сказал: «Я этого не могу позволить, потому что ты еврей... Такой закон... Если бы ты был православный, тогда можно...» И я тогда плакал... Теперь господин учитель мне разрешает ходить к нему и петь с мальчиками... Очень хорошо поем... И здешние мужички говорят: «Абрамка поет хорошо...» И все хвалят... Но в церкви не велят.

— А вам хотелось бы в церкви петь?

— Да, я очень хотел бы петь в церкви... У нас здесь нет евреев и нет своей церкви... Я хожу к русской церкви, стою у дверей, и слушаю, и плачу... И мне так хорошо!

Я взглянул на Абрамчука. Он сидел, опустив свои пушистые ресницы, и глядел вниз; лицо его было серьезно и грустно. Но он тотчас же, как только почувствовал мой взгляд, поднял на меня глаза, чуть-чуть повел плечами и улыбнулся мне своей обычной мягкой, ласкающей улыбкой, в которой было и что-то милое, и что-то заискивающее, как у сиротливой собачки.

— Вы, может быть, господин, чего хотите? — вдруг спросил он.— Старичок мне сказал, чтоб я вам услуживал... Может, самовар хотите?

Нет, не теперь... Когда-нибудь в другой раз...

— Может, желаете, чтоб я вам сыграл?

— О да, пожалуйста! — воскликнул я.

Абрамчук вынул из бокового кармана, который у него чересчур топорщился, как я только теперь заметил, странный инструмент, развернутый на три небольших колена, всего больше напоминавший флейту; он составил колена, предварительно обслюнив винтовые нарезки, раза два провел боковые отверстия по губам, сделав несколько рулад, потом он поднялся, приподнял свою шапочку, кивнул головой и сказал:

— Я уйду, господин, недалеко... Вот в лесок... Я лучше играю, когда один.

— Пожалуйста, как хотите! — сказал я.

Он еще раз поклонился и заковылял на деревяшке в зеленую чащу.

После нескольких минут тишины вдруг послышались нежные, тихие, прерывистые звуки, как будто откуда-то прилетели в кусты влюбленные птички и весело перепевались друг с другом; но затем мелодия становилась все непрерывнее, звуки гармоничной волной переливались одни в другие и, наконец, поднимаясь все выше и выше, наполнили собою всю рощу и как будто реяли над ее зеленым шатром.

Я заслушался и в то же время как-то бессознательно смотрел на Сидорычеву будку, которая, казалось мне, под эту музыку постепенно оживлялась чьей-то неугомонной, деятельной жизнью. Вот с шумом распахнулись сначала большие оконные рамы, и чьи-то оголенные до самых локтей руки энергично гнали в окно тучи мух; потом с шумом отворилась передняя дверь, и на крыльце мелькнула живая небольшая худенькая фигурка девушки, босая, в стареньком ситцевом платье и красном платочке, слегка наброшенном на густые черные волосы, выбивавшиеся спереди из-под платка кудрявыми непослушными прядями, которые девушка то и дело поправляла руками; на минутку она приостановилась, посмотрела в нашу сторону, прислушалась и затем, скрывшись быстро в будку, уже мелькнула сзади, на заднем крыльце, и что-то сыпала из решета на землю, собирая вокруг себя бежавших с разных сторон кур; через минуту она уже была около огорода, таща за собою на коротком поводке маленького теленка;

привязав его на ближней лужайке, девушка опять пропала... Пробужденная ею в задремавшей одинокой будке жизнь уже не прекращалась: на крыльце появилась сначала, выгибая спину, большая белая кошка с целым выводком котят, подпрыгивавших друг около друга, как резиновые мячи; затем откуда-то вылез старый желтый пес и, заметив нас, лениво тявкнул спросонок; шумно кудахтали куры на слетевшуюся на чужой корм тучу воробьев; мычал теленок; в ответ ему послышалось другое мычанье, и из-за будки показалась большая, с круглыми рогами голова коровы, меланхолично и степенно покачивавшаяся из стороны в сторону, позвякивая колокольчиком, а за нею мелькала фигура девушки с хворостиной в руке; быстро и ловко обернув рога коровы веревкой, девушка привязала ее тут же на луговине, около теленка, и снова исчезла на мгновение, чтобы появиться на высоком переднем крыльце будки. Здесь она присела на скамейку, погладила большую белую кошку, собрала к себе в подол котят и стала смотреть вдоль полотна дороги, прикрыв рукой глаза от солнца.

А нежные мелодичные звуки все заливали и заливали собою зеленую чащу рощи.

Вдруг девушка быстро вскочила со скамьи и крикнула резким, визгливым голосом:

— Абра-ам!.. Абра-а-ам! Скорей беги... Второй нумер идет!..

Но Абрамчук, по-видимому, не слыхал.

— Абра-а-м! — сердито-настойчиво взвизгнула девушка, как будто досадуя, что ее голос не может сразу прервать мелодию. Звуки флейты оборвались, и Абрам быстро проковылял мимо нас к будке. Девушка уже стояла у запертого шлагбаума со свернутым зеленым флагом, и едва она успела сердито сунуть его подошедшему Абрамчуку, как с грохотом, визгом и ветром пронесся курьерский поезд, окутав все кругом облаком дыма, медленно расползавшегося молочно-белыми клочками над рощей.

Дым рассеялся, но живой фигуры девушки уже не было видно: она снова исчезла. Для меня, впрочем, не было сомнения, что это была именно Катена, выросшая за три года из растрепанной и вертлявой козочки

Катенки в девушку «в полной форме», как говорил старый Сидорыч.

Спустя немного времени мы, собрав после неудачной ловли удочки, пошли по направлению к будке, чтобы, по обыкновению, отдать на сохранение наши рыболовные снасти. Абрамчук сидел на крылечке и, по-видимому, устало-мечтательными глазами глядел вдоль извивавшегося полотна дороги.

Вдруг в полурастворившуюся дверь раздался тонкий, певучий голос Катены:

— Ты — глупый, и был всегда глупый, и будешь всегда глупый... Да... ты играешь на дудке и всегда зеваешь поезда,— торопливо выговаривала она.— Я не буду больше смотреть за поездами, и звать тебя, и искать... И пускай тебя прогонят со службы!.. Куда ты пойдешь на своей деревяшке?

И девушка, схватив с пола игравшего около двери котенка, бросила его на плечо Абрамчука и со звонким смехом захлопнула за собой дверь. Но это обстоятельство, кажется, нисколько не смутило ни Абрамчука, ни котенка; последний постарался даже тотчас же возможно покойнее усесться на плече Абрамчука.

— Катена, должно быть, на вас сердита? — спросил я, подходя к будке.

— Да, она теперь часто сердита на меня...— отвечал он с искренно-грустной улыбкой.— Она теперь такая... очень серьезная девушка... Она и на старика тоже бывает сердита... Она часто мне это говорит: «Если ты будешь только играть музыку и плакать, то тебя, Абрам, будут все гнать, и бить, и смеяться над тобой... И жена тебя будет бить!..»

И Абрамчук печально пожал плечами, как будто для него не оставалось сомнения, что его будет бить даже жена.

— Вы ее, кажется, побаиваетесь? — шутливо спросил я.

— Да... и старичок боится... Она стала такая... очень сурьезная девушка... Да!..— повторял Абрамчук, утвердительно кивая головой, как будто стараясь всячески поднять в моих глазах репутацию Катены.

Я с ним согласился, и мы приятельски распрощались.

Наступило ненастье, и только спустя почти неделю мы могли снова возобновить наше путешествие к будке Сидорыча. К нашему удивлению, ни сам Сидорыч, ни Абрамчук не подходили к нам с тою предупредительностью, как это делали раньше, и совсем не разделяли нашей компании. Иногда только, завидев нас сидящими на мыску, кто-нибудь из них издали любезно раскланивался с нами и тотчас же уходил или в избу, или на деревню. Только спустя уже несколько дней к нам неожиданно подошел Сидорыч с явным намерением отдохнуть вблизи нашей небольшой теплины (костра).

Солнце уже закатилось. На речке дымился туман. Мы готовились в котелке варить уху. Сидорыч шел к нам торопливой походкой, собирая по пути хворост, и, подойдя, бросил его в разгоревшуюся теплину.

— Ну, доброго здоровья! — заговорил он.— Как гуляете? Наловили моей-то рыбешки?.. Ну и слава богу! Кушайте во здравие... Хорошо оно на воле-то покушать... Другой скус! А мне вот все недосуг было...

— То-то, видно, заботы у тебя, Илья Сидорыч?

— То-то что заботы! — сказал он, присаживаясь на корточки у теплины и поправляя палочкой горевший хворост.— Как не заботы! Стар уж стал, умирать пора... И не увидишь, как еще заживо похоронят... Гляди того, начальство сообразится: а сколько, мол, у нас лет значится этому старику с триста пятой версты? Надо бы проверить его старость!.. У нас ведь строго... Известно, дело ответственное... Вот другой раз и подтянешь себя, подбодришься видом-то, особливо ежели когда дистанционный едет... Другой раз подфабрюсь... Да!.. Усы подчерню, брови. Я на это прежде мастер был: сразу десять годов смахну... Хи-хи-хи!..— добродушно засмеялся Сидорыч.

— А уж пора бы тебе на покой, Илья Сидорыч.

— Как не пора! Пора... Вот и надо обо всем сообразиться...

Он замолчал, помешивая ложкой в котелке.

— Н-да, мудреное дело... Ой-ой, мудреное дело затеяно! — вдруг сказал он, поднявшись и покачивая головой. Потом он молча присел на пень и стал набивать трубку.

Я молчал, выжидая, когда он выскажется сам. Я чувствовал, что он был в таком настроении, когда излишние расспросы только напрасно раздражают и заставляют человека или говорить ничего не значащие фразы, или совсем уходить в себя. Когда он закуривал трубку, руки у него слегка дрожали, а левый ус то и дело передергивала судорога.

— А что же поделаешь! — заговорил он опять.— Хоть и не родные, а тоже жалко... Вроде как родные стали, сжились... Катена-то ведь мне не родная... Али я вам рассказывал?

— Нет, нет...

— Да, не родная совсем... Приемыш... Я в то время на другом участке служил. Глухой был участок, лес кругом один. В ненастную погоду беда: всю душеньку надорвет лес-то своим ревом. Вот как-то сижу я один в будке, товарищ ушел на линию, кто-то слышу стукнул в дверь. Отворил окно — темень страшенная... Ветер, дождь... «Кто, мол, тут?» — спрашиваю. «Это я»,— говорит. «Слышу, что ты... да кто ты-то?» — «Пусти,— говорит,— ради Христа, обогреться... Смерть моя с ребенком пришла... Обессилела совсем». Взял фонарь, вышел на крыльцо. Стоит женщина, ну, вот все равно цыганка: волосы растрепаны, глаза черные так и сверкают при фонаре-то, на плечах шаль, а в шали ребенок завернут. «Ну,— говорю,— ступай обогрейся...» Пустил ее... Села у печки, распутала ребенка и на лавку посадила... Он тоже ровно цыганенок: голова черная, кудрявая, обличье смуглое, глазенки ровно черные тараканы бегают. Годков трех-четырех, гляди, будет... «Что ж,— говорю,— куда идешь? Как тебя,— говорю,— занесло в этакое место в такую пору?» — «По линии,— говорит,— иду на станцию. На родину, слышь, еду... Издалече я...» И опять молчит, на ребенка смотрит. «Муж-то померши, что ли?» — спрашиваю. «Муж-то? — спрашивает.— Да, да, помер»,— говорит. Потом вскочила с лавки-то, шепчет что-то над ребенком... На меня этак посмотрит пронзительно... Чего, думаю, ей во мне? А потом и говорит: «Ты,— говорит,— дяденька, погляди девушку-то, как бы не упала... Я только за малым делом выйду...» И вышла... Да так вот по сию пору ходит неведомо где... А дев-

чонка сидит и хоть бы ты что! Хлебца ей дал, ест да глазенками на меня сверкает. «Что ж,— говорю,— мать-то долго нейдет?» Молчит. Пошел на крыльцо — никого не слыхать. Окрикнул — ни тебе словечка. Давай громче кричать — только ветер ревет. Я тут так и руками по полам ударил... Ах ты, думаю, оглашенная! А! Как старика обошла!.. Цыганка, так цыганка и есть: блудливое отродье... Что ж мне теперь делать? Подкинула ведь ребенка-то... Где ее теперь искать в таком месте? Вошел в избу. «Где ж мать-то у нас с тобой? — говорю девчонке-то.— Куда пропала?» А она сверкает на меня глазенками-то, улыбается... «Ах ты,— говорю,— дрянь ты этакая! Что ж мы с тобой будем делать-то? Ну, да нечего толковать... Придет вот товарищ, спать с тобой ляжем... А завтра по начальству донесу»...

Наутро дал, значит, объявление в волость. А там говорят: «А нам что с ней делать? Твое счастье... Тебе бог подал... Прокормишь, чай... Самому веселее будет»... Подумал, подумал: а может, это и верно говорят, что божье поизволенье... Приписал на себя... Вот она какая мне дочь-то!.. А все же жалко ее, сжились... ровно родная стала!.. Надо тоже и ее обдумать.

Сидорыч долго молча выбивал о каблук трубку, долго выковыривал из нее золу, прежде чем опять начать говорить.

— Ой, мудреное дело затеяли! — начал он опять.— Да... Вот и Абрамка... жиденок-то, тоже вот пожалеешь... Что он мне! Уж совсем ни к чему... А тоже вот как ребенок... привязался... Прямое дело — сирота одинокая... Мы тут все сироты... Я уж вот сколько годов никакой родни не знаю... Вот и цепляемся друг за друга, сирота за сироту. Думаем, может, оно по-настоящему, по-любовному дело-то у нас уладится... Вот оно сиротам-то и нескучно будет на свете!..

— А где же Абрамчук? Что-то давно не видно его,— спросил я.

— В губернию уехал. Гляди, скоро вернется. Так, побывать поехал... к родителям, вишь, на могилки побывать... Он ведь что ребенок, Абрамчук-то... Как есть вот малое дитя... Порешило было тут начальство перевести его от меня А он в слезы Так рекой и раз-

ливается... Припадет это ко мне, руки целует. «Что ты это,— говорю,— глупый?» А он твердит: «Дяденька,— говорит,— упросите начальство не убирать меня отсюда. Я,— говорит,— слюбился с вами: и вас,— говорит,— старичка, люблю, и Катену люблю, и мужичков здешних люблю... Очень,— говорит,— мне здесь приятно!..» А сам так и обливается. Катена, гляжу, ни жива ни мертва сидит... Ну, обхлопотал,— оставили. Опять на своей дудке заиграл, соловьем разливается... Гляжу, и Катена моя повеселела. Ну, думаю, может, и нам, сиротам, бог счастье пошлет... А дело-то, господин, вышло мудреное... Ой-ой какое мудреное!.. Много я мудреных делов видывал, ну, а мудренее этого, пожалуй что, и не видал...

Сидорыч закряхтел, подымаясь с пенька и схватившись за поясницу.

— Стар уж стал, сударь... Неможется... Сироты так сироты и есть — одно слово! — проговорил он; вдруг его ус опять задергался судорогой, он быстро провел рукавом по глазам и заторопился.— Надо быть, скоро сорок семой пойдет... Бежать надо... А вы гуляйте, гуляйте! Ишь какой вечер-то — бархат, теплынь!

— Тятенька-а-а! — вдруг от будки раздался резкий, чистый, звенящий оклик Катены.— Беги на шламбой!.. Сорок семой идет!

— О-у! — крикнул Сидорыч.— Бегу!.. Вишь, тятенькой кличет... Какой я ей тятенька!.. А любит,— проговорил старик, ласково улыбнулся мне и быстро задвигал плохо слушавшимися ногами к «шламбою».

Я принялся вместо Сидорыча доваривать уху, подкладывая в теплину хворостинки, пока мои ребятки, усиленно вглядываясь сквозь сероватый туман сгущающихся сумерок в поплавки, все еще долавливали не успевшую уснуть рыбешку. Скоро тяжело пропыхтел мимо нас длинный товарный поезд, гремя и визжа цепями, как будто передвигался целый острог. Стало уже почти совсем темно, когда поспела уха и ребятишки уселись кругом котелка, освещая его ярким пламенем подбрасываемого можжевельника. Мы с аппетитом принялись хлебать, когда в темноте неожиданно показалась высокая фигура Сидорыча; он был

теперь без блузы, в одной рубахе, заправленной в широкие шаровары.

— Вот и я, значит, со службы пришел... Теперь уж я на свободе,— сказал он,— до утра на свободе.

— Присаживайся,— предложил я,— вот ложку бери.

— Нет, благодарствую... Что-то вот эти дни и на пищу не тянет.

— Что так? Нездоровится?

— Нет, этого, кажись, нет... Так уж... Как-то малость с порядку сбились... С хлопотами все... До кого ни доведись!.. Катена вон тоже ровно тень ходит... Что поделаешь!.. Бывает всяко... А что, ваше благородие,— неожиданно спросил Сидорыч, присаживаясь около меня опять на корточки и стараясь говорить как можно тише,— ежели теперь есть какой закон, ведь требуется его исполнять?

— Да, конечно... Смотря по тому...— начал было я, не понимая, к чему он ведет речь.

— Вот я и думаю: уж ежели закон — надо, значит, исполнять. Где закон, там уж строго. Вот у нас, бывало, по военному делу: беда строго, что ежели касательно закону! Или вот по путейскому делу: принял закон — держись крепко! Исполни закон, а там и живи уж, как бог тебе велит, располагайся, как, значит, желаешь.

— То есть как же это? — несколько недоумевая, спросил я.

Сидорыч снял картуз, посмотрел в его тулью, потом опять надел и, помолчав, сказал:

— Будем так примерно говорить: есть у меня на селе избенка, неважная избенка, прямо сказать — бобыльская, а все ж обернуться на первое время можно... Заколочена она у меня теперь... Ну, вот я и одумал. Пришел к нашим мужикам и говорю: «Вот,— говорю,— братцы, того гляди, начальство сообразится да и пропишет мне чистую... Куда я денусь? С сумой ходить ежели только».— «Зачем,— говорят,— с сумой? Зятя возьми к Катенке во двор да и хозяйствуй! Мы тебе на душку земли отрежем».— «А Абрамку ежели... можно взять?» — закинул я. «Что ж,— гово-

рят,— и Абрамку можно... Абрамку мы знаем... Только, вишь ты, насчет Абрамки есть закон... Охлопатывай, а мы Абрамку примем»... Ну, думаю, коли так, надо всё охлопотать... Стал это я дознаваться: как и что... И в город съездил, и в волости побывал, и так, значит, насчет законов с разным умственным народом разговариваю. Смотрю, дело не малое... Купец у нас тут есть по соседству, больно охоч робят крестить, и к нему толкнулся... Ну, дознался обо всем... «Что ж,— говорю,— Абрамчук, обдумаем дело? а?» Стал я ему обсказывать,— как и что... Глянул на него, а он аки покойник... Молчит... Только мне да Катене так жалостливо улыбается... Так ничего и не сказал... Гляжу, по ночам не спит, все что-то лопочет... Книжку свою возьмет,— закон у него тоже свой такой есть,— все и смотрит, и смотрит в нее, а слезы так и бегут у него... Жалко мне его стало, признаться... Потом уж и говорит: «Я,— говорит,— дяденька, в губернию хочу проситься съездить... Там родители у меня похоронены... и все прочее такое... Я,— говорит,— тоже крепко любил своих-то: и отца, и мать любил, и братьев... Учитель у меня был, тоже помню и его...» — «Что ж,— говорю ему,— дело хорошее — родителей почитать и помнить... Н-да!.. Может, у тебя на душе-то и полегчает... Может, от них и указание тебе какое будет... невидимо... Это бывает!..» Вот и уехал...

Сидорыч опустился на траву, поднял колени, охватив их руками, уткнул в них голову и долго молчал: одолевала ли его усталость и он дремал или непосильная для его ума и непривычная задача налегла тяжелым грузом на его старый мозг?

Вдруг он поднял голову и проговорил, улыбаясь какой-то пришедшей ему в голову мысли:

— Чудной он, Абрамчук-то: как есть малое дите... Какие ему законы! А нельзя, вишь ты: по жизни везде закон... Сколько ни видел я всяких народов, где ни служил — везде закон: у одного свой закон, у другого — свой, у третьего — инакой, а все закон... В жизни ежели — от закона никуда не уйдешь. Какой ни то закон тебя настигнет!.. Только отец небесный, господь милосердный един! Законов много, а господь милосердный — все един! Так ли я, господин, говорю?

— Да, это верно, Илья Сидорыч,— поддержал я старика.

— Только у него, милосердного, и есть един закон — истинный! Эх, сироты, сироты! — заключил он, кряхтя и с трудом поднимаясь с земли.— Ну, прощайте! Пора и вам баиньки и мне на покой.

— А ты, Илья Сидорыч, должно быть, много всякого повидал на своем веку?

— Много, господин! С каким народом не жил, с каким разговоров не водил... Чего не переслушал, чего не перевидал — и-и-и! Счастливо оставаться, ваше благородие!

Через три дня мы собирались уехать на пароходе недели на две к знакомым. По поручению детей я должен был зайти к Сидорычу, чтобы захватить оставшиеся у него на сохранении наши рыболовные снасти. Накануне нашего отъезда, под вечер, я тихо подвигался к будке, наслаждаясь чудной картиной заката. Я прислушивался, не играет ли где Абрамчук. Мне так хотелось послушать именно теперь, в тишине этой чарующей вечерней зари, нежные мелодии его скромной, старой флейты. Но ее не было слышно. Я был уже около будки, когда в раскрытые настежь окна до меня донесся неторопливый, прерывистый разговор.

— Ну, и... потом-то он что ж?.. Да кто это он-то? — спрашивал Сидорыч.

— Это наш старый учитель, меламед... очень старый, и самый ученый, и самый мудрый,— неторопливо отвечал Абрамчук чуть слышным голосом.— О, какой ученый, и мудрый, и строгий, и весь седой!.. Я плакал и ползал у его ногах и говорил, что я люблю бога, и его люблю, и мать, и отца, и старичка, и Катену люблю... и господина начальника дистанции. Я сирота, и я хотел любить... А он кричал на меня: «Уходи от меня, ты — скверный, ты — противный человек... Мы запишем тебя в книгу и будем говорить всем, что ты и скверный, и противный, и совсем нам чужой!.. И отец твой и мать твоя будут приходить к тебе каждую ночь и говорить, какой ты скверный, как ты противный им сын!..» И я опять ползал у его ногах, и опять плакал... А он все махал на меня руками, и страшно смотрел на меня, и кричал: «Уходи, ухо-

ди, ты — противный сын!.. Ты давно потерял свой закон...»

Я невольно замедлил шаги, не решаясь войти в эту минуту в будку. Абрамчук замолк... Вдруг послышался стук по столу, и резкий, пронзительный голос как-то истерически вызывающе выкрикнул:

— Ну и пущай... их всех!..

Вслед за этим дверь будки с шумом распахнулась настежь, и в ней показалась Катена с возбужденно бегавшими большими темными глазами и пылающими щеками. Заметив меня, она тотчас же испуганно скрылась в избу, громко захлопнув дверь.

Я подождал, но никто не выходил, и было тихо. Тогда я вошел сам в будку.

Сидорыч стоял у окна и усиленно сопел догоравшей трубкой. С одной стороны стола сидел Абрамчук, вытянув вперед свою деревяшку. Но что с ним сталось! Таким я его никогда еще не видывал. Весь какой-то желтовато-бледный, осунувшийся, сидел он, низко опустив свою черную кудрявую красивую голову. Тяжелые черные ресницы совсем закрывали его глаза. Это было что-то жалкое, беспомощное, как тяжелобольной ребенок. Я невольно быстро окинул комнату, ища Катену: она стояла около угла печи, прислонившись к ней закинутыми за спину руками, и вызывающим взглядом своих темных глаз недружелюбно окидывала всех нас. В этом взгляде одновременно светились и недоверие, и презрение, и злость: казалось, она находилась в последней степени того возбуждения, которое часто разрешается у женщин взрывом неудержимых рыданий.

Я поздоровался, но ни Катена, ни Абрамчук не ответили ни слова: последний только поднял чуть-чуть на меня глаза и посмотрел с мягкой улыбкой безнадежно и кругом виноватого человека, но не поднялся, как это он, по своей деликатности, всегда делал прежде, а продолжал сидеть, как расслабленный, опустив на колени руки. Один только Сидорыч приветливо закивал головой, предлагая мне присесть. Я отказался, объяснив, зачем я пришел, и спросил Абрамчука:

— Что ж, Абрамчук, или несчастливо съездил? Захворал, должно быть?

На мой вопрос Абрамчук опять ответил той же молчаливой ласкающей улыбкой.

— Ничего-с!.. Все бог, ваше благородие! — заговорил Сидорыч, торопливо собирая мои вещи.— Как, значит, бог, так и мы... Как уж он одумает... Это ведь, ваше благородие, только законов много, а бог-то, господь милосердный, всем один! Он уж одумает,— говорил старик на ходу, и мне казалось даже, что он старался внушить свою излюбленную мысль не столько мне, сколько Абрамчуку и Катене.— Вот все, кажись,— прибавил он, передавая мне вещи.

— Ну, прощайте пока. Дай вам бог всего хорошего! Увидимся еще опять,— сказал я.

— Отчего не увидаться! — говорил, провожая меня за дверь, Сидорыч.— Одумает господь увидаться — увидимся... Это ведь, сударь, у людей законов много, а у господа милосердного один закон, истинный для всех! Верно ли я говорю, ваше благородие? — заключил Сидорыч, очевидно еще раз желая получить подтверждение своей любимой мысли.

Я поддержал его своим согласием, и мы распрощались — увы! — навсегда.

Вернувшись через три недели, мы застали на будке уже совсем новых хозяев и владельцев железнодорожного «удела» 305-й версты. Нас встретил низенький, черноватый господин с маленькими торчащими усами и бритой бородой, который тотчас же отрекомендовал нам и себя и свою высокую, толстую, с большим животом жену, обязательную железнодорожную «барьерную бабу», и целый рой мал мала меньше ребятишек.

— Где же Сидорыч? — спросил я.

— Уволен вчистую-с, ваше благородие. Нельзя-с... Для всего есть закон. Ну, а главная причина — бабы у него не было... А у меня баба-с, как быть по закону.

— А где же его дочь и Абрамсон? И сам он где?

— Не могим знать-с... Да вам зачем же их? Ежели разгуляться здесь пожелаете, то и мы для вас с полным нашим удовольствием: и ежели самоварчик, и молочка, и все такое прочее, как следовает...

Но мне жаль было Сидорыча, жаль Абрамчука,

жаль Катены, всей той странной, неуловимой и в то же время какой-то роковой поэзии, которая, как дымкой, окружала жизнь этой ячейки сиротских душ. И теперь уже не было здесь этой поэзии, сдунутой и развеянной стихийным вихрем судьбы.

Я пошел на село к «бобыльской» избушке Сидорыча: она стояла по-прежнему дряхлая, покосившаяся, с заколоченными окнами, с густым бурьяном на пустой усадьбе.

Проходивший мимо мужичок объяснил мне, что Катена, выхлопотав паспорт, уехала в город, чтобы наняться в услужение, что вслед за нею куда-то пропал и Абрамка; начальство тут сообразилось, что Сидорычу давно уж, по его одиночеству и старости, не позволяется по закону быть «линейным», и его уволили вчистую. Теперь он нанялся в подпаски в большое соседнее село, верст за двадцать.

Я слушал этот форменный «доклад мужичка о «сиротах» 305-й версты» и все смотрел на избушку Сидорыча. Мне жаль было этой избушки и грустно, что «господь не одумал», чтобы в ней вспыхнуло и загорелось даже то скромное сиротское счастье, о котором так мечтал старый служака.

Это было спустя уже лет пять. Я жил на пригородной даче в окрестностях Москвы. Однажды в очень жаркий майский день, в те часы, когда еще даже на московских дачах стоит относительная тишина и пока оживленно шумят и возятся на солнце одни дети, я услыхал с терраски своей дачки нежные меланхолические звуки флейты, несшиеся ко мне от ближайших соседних дач. Сначала я подумал, что играл это какой-нибудь недавно поселившийся дачник. Однако в своеобразной мелодии музыканта мне все больше чудилось что-то очень знакомое, невольно вызывавшее во мне какие-то смутные, ранее испытанные мною настроения. Но я никак не мог связать эти мелодии с каким-либо определенным воспоминанием. Скоро флейта смолкла, и вместо нее раздались грубые, резкие, фальшивые звуки плохой шарманки, сопровождавшейся чуть слышным, слабым позвякиванием стального треугольника. Очевидно, это были уличные музыканты. Проиграв свой несложный репертуар, замолкла и шарман-

ка, и вскоре на дороге, проходившей мимо моей дачки, показалась сначала невысокого роста женщина в короткой, суровой юбке, толстых чулках и башмаках, характерно повязанная по-цыгански красным платком, из-под которого на лбу и висках выбивались густые пряди черных кудрявившихся волос; женщина, по-видимому, без особого усилия, согнувшись, несла на спине небольшую шарманку; за нею следом шел, опираясь правою рукой на палку, хромой, с деревянною ногой, молодой мужчина; на левой руке он нес худенькую трех-четырехлетнюю девочку, охватившую одной ручонкой его шею, а в другой державшую стальную палочку с треугольником.

Музыканты, по обыкновению, напряженно посматривали на дачные окна, рассчитывая на внимание к себе обывателей. Когда они поравнялись со мной и молодой музыкант взглянул на меня, я сразу вспомнил этот мягкий, ласкающий взгляд знакомых бархатных глаз Абрамчука.

— Абрамчук, это вы? — вскрикнул я.

Он остановился, с неопределенно блуждающей улыбкой, и затем, по-видимому узнав меня, радушно закивал головой.

— Это вы, Абрамсон? — спрашивал я, почти уверенный в своей догадке: так мало он изменился за это время! Даже шапочка на голове, казалось, была все та же.

— Это я-с,— все улыбаясь, отвечал музыкант.

Ушедшая было вперед женщина с шарманкой, услыхав наш разговор, приостановилась и стала внимательно вглядываться в меня. Конечно, это была она, Катена; однако ее было нелегко узнать сразу: она сильно возмужала, кожа на ее лице и руках стала совсем бронзовой; в ней уже не было заметно прежней «козьей» грации, зато все члены ее, казалось, были так же крепки, как у здорового мужчины. Ее скоро выдал знакомый мне взгляд ее больших карих, постоянно возбужденных глаз, светившихся своеобразною энергией и вместе подозрительною недоверчивостью.

— А это... ваши?.. Ведь это бывшая Катена? Да? — спрашивал я, кивая головой на женщину и девочку.

А последняя была вылитая мать: ее темные глазенки исподлобья сверкали на меня так же недружелюбно и недоверчиво.

Абрамчук не отвечал на мой вопрос и только смущенно кивнул головой.

— А где же старый Сидорыч?

— Старичок скончался... Еще тогда... давно... Мы ему посылали туда немного денег... всего три рубля, господин, больше тогда не могли,— наивно извиняясь, добавил Абрамчук,— ну, и нам прислали их назад, потому что старичок скончался...

— Что ж, Абрамчук, должно быть очень плохо вам живется? — спросил я.

Он отвечал мне только характерным для него подергиванием плеча и робкою, молчаливою улыбкой безвольного человека.

В это время его спутница, очевидно, меня наконец признала. Она быстро окинула меня подозрительно-недоброжелательным взглядом, перекинула шарманку на другое плечо и двинулась дальше. Абрамчук беспокойно посмотрел ей вслед, намереваясь тотчас же тронуться за нею. Но я задержал его.

— А вы все еще хорошо играете,— сказал я.— Нет, даже лучше... Отчего же вы не поступите в оркестр? Заходите ко мне... Мы это обдумаем... Я вас познакомлю с артистами... Зайдете?

— Все быть может! — отвечал он и снова закивал мне головой, смущаясь, кажется, тем, что он благодаря палке в одной руке и девочке — на другой никак не мог приподнять, по всегдашней привычке, свою шапочку.

Отойдя порядочно далеко, Катена остановилась, поставила шарманку на подставку и заиграла.

Абрамчук торопливо еще раз кивнул мне головой, улыбнулся и поспешил к своей спутнице.

Он, впрочем, больше не играл. Шарманка, проиграв две-три пьесы, грубо оборвалась и замолкла, и мои старые знакомцы скрылись вдали аллеи.

Немного погодя я оделся и пошел пройтись по той же дороге. Признаться, я надеялся, что Абрамчук еще раз где-нибудь заиграет; мне так хотелось послушать его игру, в которую он вносил что-то такое необыкно-

венно своеобразное, чего, я уверен, я не мог бы услыхать еще никогда и ни от кого.

Я проходил в парке около получаса, а никакой игры не было слышно ниоткуда. Как вдруг из самой чащи парка, со стороны большого пруда, стали доноситься прерывистые звуки знакомой флейты, как будто кто-то или настраивал инструмент, или разучивал новую, незнакомую пьесу. Звуки то прекращались на время, то снова возобновлялись. Я пошел на них,— и вскоре невдалеке, на мыску около пруда, в тени лип заметил знакомую группу, сидевшую на траве. Катена, вынимая из узелка хлеб и еще что-то, разрезала все на кусочки и подавала то ребенку, то Абрамчуку. Абрамчук держал у себя на коленях развернутые листы нот и действительно разучивал какую-то пьесу. Я не хотел подходить к ним и смущать их. Я думал, если Абрамчук захочет возобновить со мною знакомство,— сам воспользуется моим приглашением и придет ко мне. Я присел тоже в тени, на берегу пруда. И вдруг Абрамчук заиграл «по-настоящему».

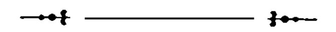
Это было что-то совершенно новое и еще неслыханное мною. Чем дальше, тем Абрамчук играл все с большим упоением. Нежная, как трели соловья, мелодия то тихо струилась в чаще густых дерев, то вдруг с шумом рвалась ввысь, к небу, на простор, из-под кудрявой шапки лип и дубов.

Я слушал и не спускал глаз с этой группы жалких «маленьких людей», которые не знают, чем и как будут жить завтра. Катена теперь сидела, опустив усталую голову на руку, упиравшуюся на колено, а другой гладила по головке девочку, лежавшую около нее на траве. Абрамчук играл, отойдя несколько в сторону, в глубь деревьев, как это он делал обыкновенно прежде. Быть может, ему именно хотелось вызвать воспоминание о чудном просторе поволжских берегов, на которых он вырос и научился играть, которые одухотворяли его игру чистой возвышенной поэзией. И мне самому чудилось, что это была действительно своеобразная мелодия, создать которую и наполнить ее своеобразным смыслом могли только они, эти несчастные «маленькие люди».

Да, это был именно их гимн, их мольбы тому богу

милосердному, всепрощающему, любвеобильному, о котором когда-то с такой верой говорил Сидорыч.

Скоро Катена, по-видимому, заметила, что на игру начали понемногу сходиться то там, то здесь слушатели. Она сказала что-то Абрамчуку; он замолк. Затем они наскоро собрались и скрылись в парке... для меня уже навсегда. Абрамчук не заходил ко мне, да и вообще они больше не появлялись в этих местах.



ИЗ ЦИКЛА «КАК ЭТО БЫЛО»

В старом доме

Я помню хорошо его, этот старый, дряхлый дом, колыбель моих детских и отроческих лет. Вижу я его с болтающимися на полуоторванных петлях закроями, с побуревшими от времени стеклами, проплесневевший по углам, ушедший в землю, среди ряда других таких же домишек, закинутых в глушь маленького городка. Мало того что сам этот городок почти не имел никакой связи с тем, что лежало за пределами его, но и самые эти домишки не были связаны между собою никаким единством интересов и симпатий: каждый из них влачил свое жалкое существование на собственный страх и риск. Все мы, обитатели этих домишек, были мелкота, и — к добру или к худу — мы никогда не заглядывали в те высшие слои, где пировала чиновная бюрократия, разнообразя свою жизнь взаимными подсиживаниями, интригами и ералашем. Пыльная и грязная улица, вся заросшая по заборам бурьяном да столетними вязами, усаженными вороньими гнездами,— вот, прежде всего, чем мир божий показывался нам. Зато все, что наполняло наше детское сердце горем или радостью, что закладывало в наши души семя добра и любви,— все это было там, у семейного очага, за покосившимися стенами наших домишек. Холодно было в них в суровые осенние и зимние стужи, голодно было в тяжелые дни житейских неудач, когда родительское сердце тоскливо ныло и надрывалось в когтях нужды, но наивное детское сердце и здесь успевало находить теплый уголок, и трепетно забиралось в него, и наполняло его поэзией.

Бывало, очень-очень долго тянутся эти суровые и холодные дни и ночи — так долго, что даже детскому сердцу, кажется, не вынести их, и вдруг откуда-то прорвется ясный, теплый луч, и озарит, и согреет душу, и наполнит ее жаждой веры и жизни.

Не знаю почему, может быть, потому, что они всего чаще встречались в моей жизни, моя мысль прежде всего останавливается на этих холодных вечерах.

Вспоминается отец то в вицмундире и фуражке с цветным околышем, вечно просыпавший по утрам и потому всегда хмуро торопившийся на службу, или на эту «каторгу», как выражался он, то вижу я его в старом халате, подпоясанном полотенцем, как он ходит в высоких валенках из угла в угол нашего маленького зальца, укачивая на руках больного корью или скарлатиной брата или сестру. А мы хворали часто: из-под прогнившего пола так дуло холодом по зимам, и старинные печи так много просили дров.

Я сижу тут же, за катехизисом, но мое внимание тщетно ловит мертвые буквы: больная сестренка на руках отца так жалобно стонет, а там, в спальной, грудной ребенок надсаживается и слышатся нервные восклицания больной матери: «Ах, царица моя небесная! Мученица я, мученица!» Но вот стон и плач на время стихают; отец, закачав больного ребенка, уходит в свой «кабинет», маленькую холодную каморку, и я слышу, как он глубоко вздыхает... Почему-то этот вздох и восклицания матери меня ужасно терзали: у меня замирало тоскливо сердце и на глазах навертывались слезы. Я знал эти вздохи: тайное предчувствие уже говорило мне, что за ними последует еще что-то тяжелое, нелепое, потому что эти задержанные вздохи в конце концов разразятся бурной вспышкой, в которой выльется вся внутренняя, глухо живущая в сердце неудовлетворенность.

Проходит полчаса, и снова начинает надрываться грудной ребенок, за ним стонет другой, просыпается третий; снова слышится голос матери, тщетно старающейся их успокоить, и, наконец, опять нервные выкрики:

— Да что вы меня одну-то на каторгу оставили? Не слышите вы, что ли? Мучители вы мои!

— Ах, боже мой, боже мой! — вздыхает отец.— Где же Акулина? Позовите Акулину!

— Акулина! Акулина! — кричат и мать и отец через сени в кухню.

— О, чтоб вас! — чудится мне, как сердито ворчит кривая Акулина, сползая нехотя с теплой печи.— Экая жизнь каторжная! Господи! Пресвятые угодники! Ни часочку-то днем спокою не видишь, да и в темную ночь глаз не сомкнешь... Убегу вот, ей-богу, убегу на прорубь да туда и махану... Один конец!..

— Акулина! — раздается опять.— Да ты оглохла, что ли?

— Иду... О, чтоб вас!..

— Да ты что, забыла, к чему ты приставлена? А?.. Забыла? — нервно вскрикивает мать.— Ты зачем живешь? На печи лежать день и ночь?.. А я здесь мучайся... Есть ли в тебе бог-то?

— Во мне-то есть,— грубит рассерженная Акулина, хватая из кроватки ребенка и перебрасывая его с руки на руку, как мяч.— Ну, нишкни, нишкни!.. А вот в вас-то есть ли,— продолжает она,— есть ли бог-то? Я вам тоже не на каторгу далась... Думаешь, деньги заплатили в кои-то веки, так и со свету сжить готовы... У нас большие господа были, да и то такой каторги от них не видала... А вы еще не бог весть какие господа...

— Ах ты, неблагодарная!.. Да как ты смеешь так говорить? Вон с глаз моих, вон, неблагодарная!.. Ее же выкупили, из-за нее же в долг вошли... триста рублей как одну копейку внесли... Вон, вон, чтобы глаза мои тебя не видали! — еще раздраженнее кричит мать, выхватывая из рук Акулины ребенка и снова кладя его в люльку.— Вон, вон, голубушка! Нет, после таких слов... Осмелилась ты сказать!.. Вон, вон! Чтобы сейчас же ноги твоей здесь не было.

И раздраженная мать толкает ее в спину за дверь, через сени, в кухню.

— Бог с вами, Ивановна, бог с вами, коли моих заслуг не считаете... Воздай вам господь!

И я слышу, как Акулина начинает горько всхлипывать.

— Вон, вон! И знать ничего не хочу! — продол-

жает кричать мать, выбрасывая за порог дырявую, вытертую шубенку Акулины и какие-то мешки. Матушка выталкивает окончательно Акулину за дверь на холод осенней ночи.

Я уже давно выскочил из-за катехизиса и из-за двери слежу за всем, что происходит между матерью и Акулиной; я чувствую, как мое сердце болезненно бьется, как весь я дрожу, как в лихорадке, между тем как щеки горят от негодования, жалости и стыда за мать. И едва только матушка возвращается в комнату, запыхавшаяся от нервного возбуждения, как я выскакиваю и, задыхаясь, едва выговаривая слова, с горящими глазами кричу на нее:

— Ты... ты... злая, злая!..

— Вот так, вот так,— это мать-то? — говорит матушка, вдруг вся вспыхнув от неожиданной обиды.— Хорош сынок! Вот так дети!.. Господи, царица небесная!.. До чего я дожила? До чего они довели меня!

Я чувствую, как в моем детском сердце начинается невыносимая борьба: мне стыдно, горько, что я обидел матушку (ведь она такая добрая, нежная, ведь я люблю ее!), но мне обидно и горько за Акулину, мне жалко ее, меня возмущает такая несправедливость к ней (ведь и она добрая, ведь она нас как любит!). И, чтобы заглушить эту борьбу, я истерически кричу с глазами, полными слез:

— Впусти ее... Она замерзнет!..

— Поди с глаз моих прочь!.. Ты мне не сын!

Но я уже ничего не слышу. Мне представляется, как Акулина, эта «старая нянька», теперь замерзает за дверью, и вот я быстро лечу в сени и, к удовольствию своему, нахожу Акулину сидящею на пороге с узелком в коленях и по особому сморканью заключаю, что она тихо плачет и жива. Я оставляю нарочно отворенною дверь и бегу обратно к матери и, всхлипывая, захлебываясь слезами, бросаюсь к ней в колени.

— Прочь, прочь с глаз моих,— кричит вконец разобиженная матушка,— ненавижу я тебя!.. Ступай к Акулине, ступай к отцу... Он вам потатчик!.. Что вам я?.. Вы все сговорились уморить меня... Варвары вы, варвары!.. Что вы со мной делаете? До чего вы меня довели?.. Какую вы мне жизнь устроили? О том ли я

думала?.. Уйду, уйду от вас к дедушке, пока вы меня совсем в гроб не загнали... Господи, сжалься надо мной!

И матушка разражается целым потоком совершенно искренних слез. Плачет она, истерически рыдаю я, надрывается грудной ребенок, за нами плачут сестренки.

— Сумасшедшая! Сумасшедшая! — кричит вне себя отец на матушку.— Что ты делаешь из дома-то, из семьи... Ведь это один ад кромешный... Что ты делаешь?.. Ты меня до петли хочешь довести?.. Мало вы изломали мою жизнь?.. Мало ты ее еще загубила?.. Смерти моей хочешь? Дождетесь, дождетесь скоро!..

И я чувствую, как голос отца дрожит и он глотает слезы, но, чтобы не выдать пред нами всей глубины своего волнения, он быстро скрывается в свой кабинет... А оттуда уже слышится опять прежний вздох: «Ах, боже мой, боже мой!.. Когда же и чем это кончится?.. Там — бессмысленная каторга; здесь... да что же может и быть здесь иное?.. Ах, дети, дети!.. Что же с вами будет?»

Гроза прошла, и все мало-помалу успокаивается, смолкает. Как-то разом наступает гнетущая тишина, но я не доверяю ей. Мое детское сердце еще томят тяжелые предчувствия, и я потихоньку начинаю осмотр: неслышно заглядываю сначала в спальню к матери,— она еще плачет, но уже без слов, без причитаний, тихо склонившись головою над засыпающею малюткой-сестренкой; в глазах ее светятся уже материнская грустная ласка и любовь, победившие раздражение и горечь жизни; потом я на цыпочках подхожу к кабинету отца и в дверную щель смотрю на его убитое, грустное лицо; но на этом лице я уже не замечаю ничего зловещего, на нем видится только одна упорная мысль, что надо, надо как-нибудь жить иначе, не так, что так жить нельзя... Но как?.. Я знаю уже, что после этого он засядет за письменный стол и будет писать какие-то письма к каким-то важным и высокопоставленным лицам в столице, прося их дать ему какой-нибудь «осмысленный труд», уверяя их, что он чувствует в себе силы и желание отдаться этому труду (впоследствии я много нашел этих писем в ящи-

ке отцовского письменного стола вместе с различными благородными проектами и даже литературными статьями и — увы! — почти столько же иногда жестких, иногда доброжелательных, признавших его заслуги и способности ответов с отказами, сожалениями и обещаниями). Теперь я только смутно, непосредственным чутьем догадывался о значении этих длинных писем, когда он, в минуты светлого настроения, прочитывал некоторые из них матери. Наконец я пробился и на кухню, незаметно для матери, чтобы справиться о существовании Акулины, и, когда находил ее свернувшеюся в уголку около двери на лавке, совсем одетою и готовою на всякий случай двинуться в путь, но тем не менее спавшею теперь крепким сном, я успокаивался и ложился спать, как и все, с тяжелою головой, все еще с тоской на сердце. И мое маленькое сердце никак не хотело успокоиться, и я вслед за отцом спрашивал: «Зачем же все это, зачем? И что же такое будет? Ведь я знаю, что все они, все вовсе не злые, что и мама совсем не злая, что не злая и Акулина, что и папа не «варвар», что и я вовсе не «изверг», что, напротив, я очень люблю маму... но и Акулину люблю... Ведь бывают же дни у нас, когда всем так хорошо, когда все так любят друг друга... Ах, если б поскорее праздник!»

С этою последнею мыслью, усталый, измученный, я крепко засыпаю, и вот мое детское воображение уже рисует мне во сне мирные, безмятежные, дорогие детскому сердцу картины.

Еще задолго до праздников уже начинает чувствоваться их приближение. Не знаю почему, отец всегда принимал, во-первых, вид особой торжественности, строгой и суровой; во-вторых, несмотря на то что он уже был заражен некоторым свободомыслием, по крайней мере, сравнительно с матушкой, женщиной беззаветно религиозной, он в тот же день, когда нас распускали из училищ, брал Библию или Евангелие, садился в зальце за большой стол, и мы все охотно усаживались вокруг него, и дети, и матушка, и даже Акулина. Акулина приносила с собой гребень, скамейку и мочки льна, и ее веретено так гармонично всегда жужжало под мерное и торжественное чтение отца.

Мы, дети, да, вероятно, и матушка и Акулина, далеко не все понимали в славянском тексте божественной книги, а отец не считал нужным разъяснять нам, но нам не было скучно, нам так было отрадно вслушиваться в мерный речитатив, как в музыку, и еще отраднее чувствовать тот мир и душевную теплоту, которую вносили эти книги вместе с собой. Прикорнув к коленям матушки или Акулины, долго-долго всматриваешься в лица отца, матери и Акулины — в эти внезапно преображенные лица, и почему-то так захочется обнять их и целовать — так они вдруг сделались и добры, и красивы, и свежи.

Накануне праздников наша мирная аудитория увеличивается: приезжают обыкновенно родственницы матушки, двоюродные сестры и тетки, с ее родины, из села; приезжают и к Акулине кое-кто из ее родных — то сестры-вековушки, то брат, то старичок отец. Тогда наши мирные беседы из зальца, после чтения Евангелия, уже переходят или в спальню к матушке, или же в кухню, к Акулине, за теплую большую печь, и далеко за полночь тянутся простые, бесхитростные рассказы деревенских гостей.

Наконец праздник наш достигает полного расцвета, когда вместе с веселым звоном колоколов и целым облаком пара, если этот праздник рождество, в широко отворенную дверь врывается «наш дорогой ополченец», коренастый, лет под сорок мужчина, в черкесской папахе, черном полушубке и валяных сапогах... Нашему детскому восторгу нет конца!.. Едва он переступает за порог зальца, едва показывается нам его широкое, румяное, гладко выбритое, с большими усами и широчайшею, но в то же время девически стыдливою улыбкой лицо,— мы чувствуем, что теперь «праздник» нашей жизни обеспечен надолго, что нечто новое, такое любовное, свежее и бодрое озарит наше существование...

— Вот и опять мы! — говорит нам ополченец, сияя на всех своею стыдливою улыбкой и вытирая наскоро заиндевелые усы. Он медленно снимает, как бы не решаясь еще остаться, свою папаху, полушубок и, наконец, остается в сером ополченском кафтане, с большим медным крестом на груди.

— Простите... не утерпел... по обыкновению... Скучно одному торчать в своей деревнюшке! — прибавляет он, широко и как будто извиняясь, размахивая красными руками.

— Что вы это?.. Да вы для нас... все равно как родной!.. Не стыдно ли вам так говорить? — восклицает матушка.

А отец уже весь размяк как-то от внутреннего удовольствия и только топчется на одном месте да повторяет:

— Ну!.. ну!.. Полно!..

Наконец, когда, расцеловавшись троекратно с матерью и отцом, наш ополченец — этот одинокий холостяк и мелкопоместный дворянин, раненный в ногу и вернувшийся из Севастополя,— усаживается около печки и закуривает длинную трубку «Жукова», как вполне «свой человек», является и сама Акулина «поклониться барину».

— Милости просим,— говорит она.— Хорошее это дело, что опять пожаловали, батюшка...

— Здравствуй, старая... А что хорошего — другим надоедать, коли некуда себя девать?

— И-и, батюшка, как хорошо-то на людях!.. Что одинокому? К чужой семье прилепишься и то свет увидишь...

— Должно быть, что правда твоя, старуха... А поди-ка ты там с Прошкой опорожни-ка сани да прибери...

— Вынесли, батюшка, все уж вынесли: и поросят и гусей...

— Ну-ну-ну!.. Знай про себя!.. Ступай с богом!..— говорит ополченец и опять стыдливо вспыхивает, как красная девка.

Нас, детей, ополченец старается не замечать совсем и даже бегло и боязливо отводит глаза, когда они невольно встретятся с кем-нибудь из нас. Но мы уже знаем, что в ближайшем будущем ополченец весь будет «наш», со всею своею тройкой, с бубенцами и широкими санями, с севастопольскими рассказали и «Живописным обозрением», запрятанным до поры где-нибудь у кучера Прошки, вплоть... до вырезывания бумажных коньков и транспарантов. Но только не надо

насиловать ополченца, не надо приставать к нему, иначе... может случиться, что он вдруг «сконфузится этого своего поведения» и стыдливо уйдет в себя и даже, как бывало, возьмет и неожиданно уедет. Мы с детскою чуткостью уже хорошо понимали его. Знали мы, что ему нужно дать время, чтобы сам он «вошел в роль».

Вот сначала, в первые два-три дня, усевшись с отцом и матерью в «гостиной», между жарко натопленными печами, попыхивая «Жуков» в черешневые чубуки, бесконечно долго и неторопливо поведутся беседы. Иногда мы, ребята, очень мало понимали, о чем говорили они, но нам приятно было, усевшись в уголку, смотреть на ополченца, на батюшку и матушку, лица которых оживлялись все больше, и взгляды их становились такими любовными, добрыми. Притом же мы знали, что ополченец будет оживляться все больше с каждою беседою, что все чаще будет он закручивать свои длинные усы и вот, наконец, перейдет к своим «севастопольским рассказам»... Шаг за шагом, день за днем расскажет он весь поход «нашего» ополчения: и проводы ополченцев с родины, и встречи их в попутных городах, и их тяжелый путь под дождем, в грязи, часто в изодранных сапогах и армяках, которые расползались раньше, чем приходили они к месту назначения... А потом и Севастополь!.. Подвиги простой серой массы, самоотвержение героев и сестер милосердия, страдания раненых, скорбь братьев, отцов и матерей — все это вставало перед нами как живое, и, затаив дыхание, мы не спускали по целым часам глаз с нашего «ополченца», который, совсем забыв свою девическую стыдливость, стоял перед нами среди комнаты уже настоящим севастопольским героем, воином, который вместе с нами снова переживал великие дни великой борьбы за родину... Как он хорош был тогда! А умилению окружающих не было конца: слушать его собирались не только мы, но и все наши сельские гости, и матушка вызывала даже Акулину из кухни, со всеми ее родными, какие в то время гостили у нее, называла ее «Акулинушкой» и усаживала у двери.

Помню особенно хорошо один случай, который про-

извел на нас сильное впечатление. «Наш ополченец» был особенно оживлен, когда робко подошли к дверям «послушать барина» Акулина с своей старухой теткой и стариком отцом.

— Садитесь, садитесь, старики,— сказал ополченец,— послушайте, что я вам про ваших братьев расскажу... Да, вот я, барин, полвека в деревне прожил, а до этого времени не знал, не понимал, кто такой мой брат во Христе, каков этот простой человек... И только вот как заодно с ним прошел я, под зноем и непогодой, тысячи верст, как пришлось мне не раз вместе с ним трепетать под божьею грозой, как вот вместе с ним рядом валялся и стонал я, раненный, собираясь умирать за общее дело,— вот когда я понял своего брата во Христе и узнал его!

И по раскрасневшемуся лицу ополченца потекли слезы. Он быстро отвернулся и вышел в другую комнату.

И таким навсегда запечатлелся в моей душе образ нашего ополченца. Не думаю, чтобы он говорил тогда именно такими словами, но когда я стал уже юношей, вспоминая ополченца, я любил вкладывать такие речи в его уста... А на это, значит, имелись основания.

Но праздники проходили. Ополченец, как улитка, забирался в глушь своей деревни, и снова будничная наша серенькая жизнь, с холодом зимних вечеров и ночей, вступала в свои права. Снова отец вздыхал и охал от «бессмысленной лямки», которую тянул без вкуса и любви, снова тщетно взывал в Петербург об «осмысленном труде»...

По-прежнему матушка ежегодно рожала и мучилась в заботах о нас, по-прежнему то ругалась с Акулиной, то в минуты покаянного прилива кланялась ей в пояс и говорила со слезами на глазах: «Прости меня, Акулинушка, в сердцах это я тебя обидела!..» И Акулина по-прежнему тянула свою «крепостную лямку», хотя вовсе не была у нас крепостной... И попрежнему для нас из учебников мелькали «мертвые буквы» и мы безвкусно тянули свою «школьную лямку», так как и самая школа была мертва и холодна.

Крепостное право еще в полной силе царило над жизнью. Но «великий праздник», один из тех «праздников», которые венчают собою усилия, муки и надежды целого ряда поколений, казалось, был уже накануне... Наше поколение зарождалось под счастливою звездой...



Мой «маленький дедушка» и Фимушка

Вот уж сорок лет прошло, а как хорошо я помню своего деда. Какая пестрая вереница разнообразных существований за эти долгие годы прошла предо мной,— то гордых и надменных, стоящих на самом «верху горы», то окруженных ореолом славы и почестей, пред которыми склонялись ниц целые толпы, то полных величавого самопожертвования, останавливавших на себе изумление всего мира,— и между тем никак, никак не могли они стереть с глубины души это, такое ничтожное, маленькое существование... Проходят долгие годы, полные душевных смут, и вдруг из-за этой массы пережитых впечатлений нет-нет и встанет пред тобою это маленькое существование, такое живое, такое одушевленное, полное плоти и крови. Да и не одно оно, а непременно вместе с ним и еще много таких маленьких и ничтожных существований,— и охватит душу тихое упоение детской веры и любви...

Чаще всего дед является мне после долгих и тяжких душевных смут в виде маленькой-маленькой фигурки, низенькой, худенькой, в камлотовом подряснике, с жиденькою темно-русою бородкой клинышком, с сухою загорелою лысиной, около которой вьются остатки кудреватых косичек; смотрит он на меня съежившимися маленькими глазками, смотрит и смеется,— и я засмеюсь... Потом он непременно вынет из длинного кармана кубовый платок и берестяную табакерку и, будто подразнивая меня, начнет постукивать об нее костлявыми суставами, а сам опять подсмеивается: «Вот, Коляка, видишь дьякона-то — какой он!.. Хе-хе-хе!.. А ведь он, дьякон-то, дедушка твой!.. Видал ли

дьяконов-то? Да где!.. Разве у вас в городе такие дьякона-то?.. А у нас вот как, Коляка, дьякона-то живут, ну-ка!»

И вдруг маленькая фигурка в подряснике, раскинув руки, прямо пред всею деревенской улицей начинает слегка приседать и притоптывать, а тоненький-тоненький тенорок, как комариный звонок, кажется, сейчас еще звенит у меня около уха:

Как под яблонькой такой,
Под кудрявой зеленой!..

— Хе-хе-хе!.. Вот у нас, Коляка, как дьякона-то весело живут!.. Коли погостишь у деда подольше, так я тебе еще то ли покажу!.. Хе-хе-хе! — смеется опять дед прямо мне в лицо, и я смеюсь, и вся белая, вся душистая яблоня смеется вместе с нами, и вся деревенская улица смеется.

— Он тебе, дедушка-то, еще то ли покажет: погости-ка у нас подольше! — подтверждает деревенская улица. И мне кажется, что мой «маленький дедушка» (Я звал его так в отличие от «толстого» дедушки — благочинного, по матушке),— мне кажется, что он действительно показывает мне что-то важное, любовное, веселое: то — мое детство, самое раннее, зеленое детство проносится предо мною и, как бледная зорька, гонит с души тусклый сумрак душевных смут... Но отчего ж так дороги мне эти детские ранние зори?..

Я расскажу вам теперь об этом, потому что в последнее время как-то чаще, чем прежде, стал посещать меня мой «маленький дедушка», приводя с собой, из тьмы позорного забвения, ряды таких же, как он, маленьких и ничтожных существований.

Прошло всего, кажется, сорок лет, а какое уж далекое время было, такое далекое, что если бы могли перенестись усиленным воображением на тогдашнюю сельскую улицу, вы увидали бы, как наш батюшка-поп, с большим животом и сивою бородой, в тихий летний полдень сидит на своей завальне в одной, длинной по колена, белой, без пояса, рубахе и, сложив на этом большом животе красные руки, беззвучно хохочет вместе со всею деревенскою улицей — над чем? А над

моим «маленьким дедушкой», которого тут же, на этой самой деревенской улице, моя толстая, высокая, суровая бабка, с большими бровями, в красном повойнике, с подоткнутым за пояс подолом, бьет кочергой по его сухой и костлявой спине, а я верезжу благим матом, схватившись за ее подол и стараясь оттащить ее от несчастного и оробевшего деда. Вы увидали бы также, как в тот момент, когда неожиданное для деревенской улицы веселье уже достигало, кажется, наивысшей степени, вдруг раздается пугливый окрик: «Господа идут!» — и все живое, что было на этой улице: и батюшка-поп в белой рубахе, и целая уйма мужицких смеющихся бород, и сама моя суровая бабка, схватившая за что попало меня и деда,— внезапно и без остатка исчезало за заборами и калитками своих убогих хат. Вот какое далекое это было время, когда жили на свете близкие мне маленькие и ничтожные существования.

Да, невозможно мне скрыть, что нередко случались с моим «маленьким дедушкой» эти неприятности, потому что дедушка любил выпить, а выпивши, любил прежде всего целый день-деньской гулять по этой деревенской улице и, остановившись перед своею хатою, дразнить бабушку своим комариным тенорком с притоптыванием. Ну, да простятся же старой, запуганной и угнетенной сельской улице эти невинные минуты патриархального увеселения, так как все же не потушили они мои детские ранние зори и из-за них не переставала тлеться в маленьких, ничтожных существованиях «искра божия»!

И вот, когда мой «маленький дедушка», являясь мне, переносил меня в это далекое прошлое, мне прежде всего припоминалось одно из самых важных событий моей юности, имевшее большое значение как для всей моей жизни, так и для жизни близких мне по крови и духу. И это потому, конечно, что самое событие запечатлелось во мне неразрывно с образом деда. Событие это в общем всегда представлялось мне довольно смутным: оно прошло чрез мою душу только какими-то отрывочными, но яркими полосами света и оставило на ней неизгладимый след.

Шел мне тогда уже двенадцатый год. В начале лета

мы, я и две моих сестры — одна погодка со мной, другая еще грудная — с матушкой приехали, по обыкновению, гостить к дедушке из города. Приезд свой мы всегда пригоняли к престольному празднику в дедушкином селе, а затем оставались гостить на несколько недель; я же другой раз оставался один у дедушки на целое лето.

Однажды, вспоминается мне, сидели мы с дедушкой, как и всегда, около хаты, под любимою его старою яблоней, которая, перевесившись из сада через плетень на проулок, осеняла нас своею широкою тенью и обливала нежным своим ароматом. Здесь было любимое прибежище дедушки — и потому, что он в свободное время, сидя на опрокинутой кадушке, занимался здесь сапожным ремеслом, и потому, что «бегал» сюда от ворчливой и хозяйственной бабки, которая «не давала ему вздоха», когда он сидел в избе, и потому, наконец, что был он человек действительно «уличный», как обзывала его бабка, и только на этой деревенской улице, «на людях», чувствовал он себя вполне довольным и счастливым. Сидит, сгорбившись, дед и тачает какой-нибудь разбитый мужицкий сапог, я и сестренка копошимся около него, а матушка, сидя тут же на мураве, шьет и тихонько мурлыкает какой-нибудь «стих».

— Ты бы, Настя, про прекрасную мать-пустыню мне спела... Люблю, — говорит дед, умильно улыбаясь.

— Хорошо, папенька, — говорит матушка и тоненьким голоском начинает «Мать-пустыню». Я любил слушать, когда пела матушка, любил, думается мне, потому, что она всею душою уходила в песню; бывало, подопрет голову рукой, сама смотрит в неведомую даль, а из ее больших темно-карих глаз потоком льются слезы... Отчего она плакала, для меня в то время всегда оставалось загадкой, приводившей меня в недоумение, но пение ее слушать я не мог равнодушно, и у меня захватывало горло, сердце отчего-то билось, и мне хотелось уйти куда-то далеко-далеко за этою песней... Недаром любил и дед эти ее песни. Да они всегда были между собою большие приятели; оттого ли, что уж искони свекровь с снохой не уживаются, или потому, что слишком уж они рознились по складу

души, только матушка жила не в ладах с бабкой и зато крепче дружилась с дедом.

Матушка — сколько я ни запомню ее в молодых годах — всегда представлялась мне какою-то... «необычной», в особенности с тех пор, когда я случайно услыхал смутный рассказ о том, как она в девушках «бегала». Говорили, что был уже назначен у нее сговор с одним молодым богословом, который должен был взять с нею «место», как вдруг она пропала из дому с одною молодою черничкой, наказав сказать дома, что пошла «к святым местам». Долго бродила она с места на место, жила где-то в женском скиту и, наконец, вернулась исхудалая и изнеможденная, с истерзанными и опухшими ногами. А жених пождал-пождал и взял другую, с другим «местом»... После, когда я был уже постарше, я иногда с удивлением, незаметно, следил за нею, когда она вдруг, бросив хозяйство, остановится пред окном и долго-долго, сложив молитвенно руки, смотрит в беспредельную небесную лазурь. Я с боязнью думал тогда, что вдруг моя мама уйдет от нас... Бегство моей матушки невестой из-под родительского крова имело, однако, для нее те последствия, что «солидные» женихи свататься за нее боялись и «место» было сдано за младшею ее сестрой. Трудно сказать, что сталось бы с «беглою невестой», если б случайно не встретилась она с другим «мечтателем» — моим отцом. Он тоже бежал от «места». Кончив курс в семинарии, он, когда суровая и хозяйственная бабка уже приискала ему «невесту с местом», бежал в Москву «от свадьбы», думая поступить в университет, но у него не было ни средств, ни силы, чтобы перебиться год, необходимый для подготовки к экзамену, и он вернулся, изголодавший и обносившийся. Духовное начальство подозрительно отнеслось к «блудному сыну», и для него уже не оказалось «мест», к ужасу бабки. Тогда два «мечтателя» встретились и неразрывными узами связали себя на долгую страду «чиновничьей» жизни. И это была для них действительно одна бесконечная страда, от которой уже не было сил убежать,— страда, полная взаимных огорчений и недоумений... И вот почему в отрочестве осталось у меня такое впечатление, что как будто и батюшка, и

матушка, и мы все живем не на своем месте, как будто все мы тут только «временно», и что каждому из нас где-то должно находиться совсем в других местах и служить другому богу...

Спела матушка «Мать-пустыню» и долго-долго, как всегда, смотрела своими большими, темными, полными слез глазами в беспредельную даль.

— Ах, хорошо, Настя! — говорил дед в умилении.— Хорошо-то как, хорошо!.. И что это нынче Фимушка не пришла послушать?.. Не пришла вот — и на-поди. А ты, сдается, никогда так хорошо еще не пела...

Только что дед упомянул о Фимушке, как она и сама издалека показалась. Только теперь чего-то бежит она, торопится...

Фимушка тоже была большая приятельница деда, и не было того дня, чтобы они вместе не сидели здесь под любимою яблоней. Жила Фимушка как раз напротив, в избе у брата, в большой крестьянской семье. Фимушку мы все так давно знали, что почти за родную считали, да и вся деревня ее родной считала. Совсем это было какое-то безгрешное существо. Она была старушка, убогая, слепая с детства, «с самой воспы», как говорила она,— вся такая же маленькая, худенькая, хрупкая, но живая, юркая, как и мой «маленький дедушка». Ходила она всегда в синем изгребном сарафане, который висел на ней, как на худом ребенке; на голове носила черный платок с белою каймой, из-под которого виднелось худое, сморщенное в комочек лицо, но с длинным сухим носом; этот длинный нос и потухшие, но полные какого-то своеобразного, необъяснимого блеска и выражения глаза придавали ее лицу необычайно сильный и энергичный характер. Но нисколько оно не было сурово, а вместе с ее маленькими сухими губами как будто сдержанно и любовно смеялось. Ходила она всегда скоро, уверенно, постоянно помахивая подогом вперед себя, как будто загребала воздух и плыла.

Это маленькое, ничтожное, но дивное существо всегда жило в моем воспоминании вместе с дедом. Откуда взялась она, откуда и как явилась на этой грешной и суровой земле в то грешное и суровое время, это была для меня такая же необъяснимая, но

чувствуемая всем существом тайна природы, какою была и эта — вся такая белая, разубранная, как невеста, вся душистая, нежная и веселая яблоня, под которой мы сидели. Одно, впрочем, я знал тогда из этой тайны, да и то потому, что нам открыла ее сама Фимушка, когда мы спросили ее, как она ходит и бегает — не упадет и не спотыкнется, как она всякую ямку и жердочку знает лучше нас?

— А предо мной облачко ходит,— объяснила она.— Как встану, пойду, а облачко предо мной... Я и хожу-то не сама, а облачко меня водит, белое да светлое... Куда оно поведет, туда и я... И ни пред чем у меня с ним страху нет!..

И не только мы, малые ребята, не только легковерные бабы, но и бородатые мужики, и сам дедушка, даже сами «барин с барыней» как-то боязливо и бесспорно верили, что пред Фимушкой ходит «белое облако», и водит ее за собой, и указывает ей путь,— если к кому Фимушка придет, то это значит, не сама она пришла, а облако ее привело. Да и сама Фимушка не только безусловно верила в это облачко, но она, может быть, действительно постоянно видела его пред собой.

Если бы я в то время знал и видел больше, чем мог знать и видеть, я понял бы, откуда и как явилась эта легенда о «белом облачке» и какое большое значение имела она не только в жизни такого маленького и ничтожного существа, как Фимушка, но и в жизни других таких же ничтожных существований. Но понял я это только уже впоследствии, и, к стыду моему, довольно поздно. Не задавался я тогда вопросом и о том, какими образами жила душа этого убогого существа, что за мир теней носился пред ее духовным оком, с тех пор как в самом рассвете жизни упала зловещая завеса между нею и озаренным солнцем миром. Кто такие были для нее мы все из этого светлого мира и какими таинственными нитями душа ее была связана с нашими? Я не мог отвечать на эти вопросы, но вместе с другими я был уверен, что Фимушка не только знала и видела все, что делалось кругом, но знала и понимала лучше, чем все мы, и потому именно, что ей на все светило ее «белое облачко». Понятно,

почему я вместе со всеми испытывал пред этим воображаемым «облачком» какой-то необъяснимый страх, смешанный с таким же необъяснимым уважением и изумлением. Понятно было мне также, почему пред этим хрупким, худеньким и ничтожным существом нередко смущенно стихал разбушевавшийся сход бородатых мужиков, боязливо заискивали пред нею моя суровая бабка и сам наш толстый батюшка, знавший за собой порок мздоимства и стяжания, и бывали случаи, как приходилось мне слышать под секретом из боязливых уст, что Фимушку заводило белое облачко к самим «господам», и даже эти «господа» не менее смущенно опускали пред нею глаза и старались задобрить это бедное, но любвеобильное, правдивое и сострадательное существо. Действительно, вся она была преисполнена необычайной чуткости к малейшему страданию самого малейшего из живых существ. Поэтому вся жизнь ее была одним напряженным волнением, одною неустанно-чуткою заботой. Вот сидит она с моим дедушкой, слушает его, кажется, кругом тишина полная, мир и покой, но напряженный слух ее уже вдруг насторожился, в бесцветных глазах загорелся беспокойный огонь, и Фимушка быстро срывается с места и уже бежит куда-то мелкою, семенящею походкой, быстро-быстро загребая вперед себя подогом: это коршун откуда-то спускается медленными мерными кругами над селом — и бедные наседки встревожились и заметались по задворкам. Заметалась с ними и Фимушка; бегает, волнуется, выкрикивает своим тоненьким голоском и грозит своему — увы! — невидимому и не виданному ею врагу, который невдалеке быстро схватывает и раздирает свою жертву. Фимушка слышит только болезненный крик жертвы, и, кажется, он слышится ею во сто, в тысячу раз пронзительнее и громче, чем всем другим, и, значит, во столько же раз жесточе режет ее сердце. Вокруг ее мечутся и кричат перепуганные куры, гуси, утки, вверху — целый содом галочьего стада, и она еще больше мечется из стороны в сторону, опять кому-то грозит, кого-то молит и просит и, наконец, утомленная, обессиленная, садится на землю и плачет горькими слезами. И не было, кажется, такого черствого сердца,

которое в эти минуты не прониклось бы к ней самою искреннею сострадательною нежностью.

— Ах ты, бедная, ах ты, голубка! Вишь, как она везде горе-то чует, как она над ним сердце-то надрывает!.. То-то богу-то, поди, на нее с неба-то радостно смотреть!.. Ведь вот уродится же такая божья душа среди нас, грешных! — так говорят, бывало, бабы и мужики, остановившись возле нее.

Да и я теперь, когда бестелесный образ этого бедного существа проносится в моем воображении, изумляюсь и спрашиваю: зачем, зачем это такое любвеобильное и правдивое существо бог послал на нашу суровую и грешную землю?.. И когда я вспоминаю, что сделал с нею наш грешный и суровый мир, мое сердце обливается кровью, и это сердце могло бы разорваться на части от отчаяния, если бы вечно юная и могучая природа не украсила ее бедную и забытую могилу такою яркою зеленью и не вырастила из праха ее этих нежных, веселых голубых и розовых цветов... И мне верится, что это доброе маленькое существо не только не успел «загубить» наш греховный мир, но что оно живет духовно вокруг нас еще полнее, чем прежде,— и в этом нежном благоухании ландыша, и в милой детской песне малиновки, и среди молодой жизни, так пышно распускающейся над прахом могил...

Когда Фимушка подбежала к нам в тот злополучный для нее день, то, мне вспоминается, она была именно охвачена вся тем напряженным волнением, как я привык ее видеть: она дрожала, как мелкий лист на березке, подог прыгал в ее сухой руке, пока она старалась им ощупать дедушку; в глазах ее светилось изумление и страх, и они горели тем странным блеском, который мы замечали только у одной Фимушки и считали чем-то особенным, «не здешним». Она, наконец, ощупала дедушку и быстро постучала подогом по его плечу.

— Дьякон, пойдем! — сказала она резким, отрывистым и уверенным голосом, взяв дедушку за руку.

— Куда, Фимушка, куда идти?.. Али кто кого обидел? — спрашивал дедушка, с некоторым страхом всматриваясь в ее лицо.

— Пойдем! — выкрикнула она, словно собиралась сейчас зарыдать, и потащила дедушку за собой.

Я и сестренка побежали за ними. Мы подошли к Фимушкиной избе. Смутно помню, что в растворенные настежь двери мы увидали в избе всю семью Фимушки, чем-то взволнованную и озабоченную. Посредине стоял высокий мужик, племянник Фимушки (старший сын ее брата-большака), и старался надеть поддевку, но ему мешали старуха мать и жена, которые плакали навзрыд и постоянно припадали к его плечам и груди. В переднем углу неподвижно, словно застыв, стоял старик отец в изгребной рубахе и портках, подпоясанный лыковым поясом, на котором висел большой ключ. Старик, как будто в испуге, не говоря ни слова, смотрел, что пред ним происходило, и изредка медленно крестился. Малые ребятишки — наши сверстники и приятели — стояли в углу около печки и, как мы же, кажется, ничего не понимали. Другие сыновья старика, подростки, что-то озабоченно хлопотали: кто искал сбрую, кто складывал одежду, один закладывал на дворе лошадь.

Фимушка необычайно волновалась: она то подходила к любимому племяннику и, любовно заглядывая ему в лицо своими потухшими глазами, гладила костлявою рукой его волосы, мотала головой, то подбегала к старику и слегка похлопывала его по плечу и что-то таинственно шептала ему, то убегала за дверь, кому-то грозила подогом и к чему-то прислушивалась, то подходила к дедушке и спрашивала его несколько раз на ухо: «Ты слышишь ли, дьякон, слышишь?»

Дедушка тоже долго не мог понять, что такое тут сделалось, какое горе стряслось над бедной семьей. Наконец ему что-то коротко сказал старик. Дедушка закрякал и полез за табакеркой и долго постукивал по ней пальцами, но не нюхал: это всегда было признаком, что он сильно взволнован. А когда Фимушка опять подошла к нему и, заглянув ему в глаза, так же, как и племянника, погладила его по голове, он вдруг отвернулся в угол.

Я видел, как он долго, отвернувшись, утирал глаза синим клетчатым платком. Потом пришел староста и с ним два мужика. Они долго топтались в дверях, не

решаясь войти. Потом староста, нехотя и несмело, подошел к Мирону, которого все оплакивали, и, держа себя за кушак, сказал:

— Надоть, Мирон, связать... Мимо барского дома поедем.

— Вяжите,— тихо сказал Мирон, и, мне показалось, он улыбнулся.— Меня свяжете — всех не перевяжете.

Все молчали, как будто нашел на них столбняк. Никто не двигался с места. Наконец староста снял с себя кушак и стал завязывать сзади Мироновы руки. Старик отец опять медленно перекрестился. Бабы разом заголосили и припали опять к Мирону. Фимушка, дрожа как в лихорадке, остановилась среди избы и долго к чему-то прислушивалась.

— Совсем? — спросил кто-то.

— Совсем.— И шепотом прибавляли: — Слышь, этапом угонят.

Фимушку словно что-то подрезало: она вдруг опустилась на пол, припала к нему своей старою головой и, затрепетав вся, как подстреленная птица, зарыдала, как больной ребенок, тоскливым и мучительным рыданием. Моя сестренка схватила меня за руку: она была бледна и тоже вся дрожала.

— Ну, скорее уж! — сказал Мирон. Потом как-то разом все опять на минуту замолчали.

Нам с сестренкой, которая держала меня за руку, стало вдруг так страшно, такой охватил нас ужас, что мы, не разнимая рук, бросились вон и бежали без звука, едва переводя дыхание, вплоть до матушки и бросились ей на колени. Объяснить мы ей ничего не могли: мы чувствовали только один невыразимый ужас.

Немного спустя пришел и дедушка и что-то долго шепотом говорил матушке. А вечером кто-то постучал в окно, когда мы укладывались спать, и спросил: не видали ли где Фимушки?.. Фимушка пропала. Потом, впросонках, я слышал, как с кем-то дедушка разговаривал и кто-то говорил, что Фимишку нашли на барском дворе, что она что-то «у господ натворила»... Но больше я не расслышал. После того мне всю ночь снилась Фимушка, как она металась и бегала по улице,

словно гусыня с поломанным крылом, когда коршун утащил ее цыпленка, как она помахивала и грозила, по-видимому, ее врагу своею липовою палочкой и, наконец, припала к земле и плакала тоненьким, жалостным плачем, как маленький ребеночек...

Наутро кто-то из ребятишек сказал нам, что Фимушку заперли на барском дворе в холодную баню и что они потихоньку бегали туда. Нам опять стало с сестрой страшно, и мы долго не решались идти вместе с ребятами. Но я и теперь вспоминаю, как что-то странное, непреодолимое тянуло меня за ними, только это не было простое детское любопытство: мне смутно что-то хотелось сделать, но что именно, я не мог определить — сказать ли что Фимушке от дедушки, как посылал он иногда меня к ней, или подать ей «тихую милостыню», как это иногда делала матушка... Наконец я пошел, но не сразу; несколько раз возвращался опять назад. Я стоял за плетнем и из-за угла смотрел на таинственную баню, в которой сидела маленькая старушка; мне хотелось дождаться, не увижу ли я ее в окно. Нас, ребят, было тут человек с десять; все перешептывались и постоянно озирались по сторонам, чтобы кому из «барских» не попасть на глаза. По-видимому, всем нам одинаково хотелось дождаться зачем-то, не покажется ли Фимушка в окне. Не знаю, почуяла ли она наше присутствие или, как с нею часто случалось, просто разговаривала с теми таинственными тенями, которые ей заменяли действительный мир, только вдруг мы услыхали, как Фимушка сильно застучала в раму и закричала своим тоненьким голоском:

— Уйду, уйду, скажите! Не удержать меня запором!.. Придет срок — уйду, из-под чугунных замков уйду от вас!.. Господь батюшка поможет мне, старушке божьей!..

Я бежал вместе с другими, не чуя под собою ног, и мне слышалось только, как маленькая, худенькая старушка из-за «белого облака» грозно кричала, помахивая подогом: «Уйду!.. уйду!.. уйду!..»

За обедом дедушка сказал, что Фимушка дома теперь, что она говорит, что неведомо кто отпер ей дверь у «темницы», что она стукнула в нее легонько подожком, дверь и отворилась, что потом за ней барыня мо-

лодая присылала, дала ей пирог и все говорила: «Молись за меня, Фимушка, молись за меня, грешную!..»

Прошло два дня, я все ждал, что вот скоро увижу Фимушку на улице, но Фимушка не показывалась, а нам с сестрой так хотелось узнать, «какая она теперь». Идти же к ней в избу мы боялись. И вот мы все эти два дня почему-то были очень тихи и скромны и все чего-то ждали. Мне казалось, что, с тех пор как увезли Мирона, и на деревне стало вдруг так тихо, как никогда не бывало, и там все как будто чего-то ждали. Дедушка тоже присмирел и все чаще и чаще нюхал табак и покрякивал, а на наши ласки и вопросы отвечал как-то мимоходом, полусловами. Вечером он уходил куда-то на зады, за деревню, где собирались мужики, а потом, за ужином, о чем-то тихо передавал матушке и бабушке. Я помню только одно, когда он рассказывал про какого-то «старого солдата», который проходил через село и говорил, что «скоро всему будет конец». И эта напряженная тишина сельской жизни и эти таинственные, непонятные для нас рассказы еще больше запугали нас с сестрой; мы чаще, чем прежде, не отдавая себе отчета, вертелись около матушки и пытливо вглядывались в лицо дедушки, когда он возвращался от кого-нибудь из крестьян. Но никакого утешения ни от матушки, ни от дедушки мы не получали. Поэтому мы очень обрадовались, когда приехал из города батюшка и сказал, что он возьмет нас «домой». Как ни любил я дедушку, каким великим счастьем и удовольствием ни было для меня всегда то время, когда я гостил в деревне, как ни рвался я, обыкновенно, туда из города, но на этот раз мне как-то было тут жутко, и мы с сестрой с удовольствием ожидали отъезда. Отец тоже мало привез с собой на этот раз веселья. Больше, чем прежде, он был скучен и недоволен и тоже передавал дедушке какие-то вести, вычитывая их из газет. Дедушка, казалось, не доверял батюшке, «чтобы так могли писать вслух всем», и, надев очки, брал у него из рук газету и внимательно, чуть не по складам, но шепотом перечитывал все снова и покачивал головой.

Мы уже собирались уезжать, и дедушка пошел на

село договариваться насчет подводы, когда вдруг послышался на улице звон ямщицкого колокольчика и бубенцов и перед черною, закоптелою старою избой дедушки остановилась тройка взмыленных лошадей: кучер в плисовой безрукавке и в поярковой шляпе с павлиньим пером, новый «барский» тарантас, коренастый мужчина с длинными усами, в белой фуражке и сером полукафтане с большим медным крестом на груди,— все это было по тому времени совсем необычным явлением для старой сельской улицы. Не только дедушка, но и суровая бабка моя были до того смущены приездом какого-то «важного барина», что все время, пока приезжий гость беседовал с моим батюшкой, они стояли в стряпной половине, в уголку, около печи, и, тихонько вздыхая, крестились, словно ждали какого-то несчастья.

Но мы с сестрой не боялись неожиданного гостя так, как дедушка с бабушкой: это был тот знакомый нам добрый ополченец, который иногда гостил у нас в городе и привозил нам гостинцы. Я не мог понять, почему это так испугались этого доброго человека и дедушка, и бабушка, и старая работница девка-вековуша, и крестьяне, которых застал в нашей кухне приезд гостя, и я уже собирался было успокоить дедушку, сообщив ему насчет гостинцев, когда снова звякнули бубенцы, прогремел по улице тарантас и страшный «барин» уехал. А когда я вошел вслед за дедушкой в переднюю горницу, я заметил, что что-то совершилось важное в нашей жизни: отец был взволнован, но весел и доволен; мать молилась на коленях пред образом.

Когда вошел дедушка, батюшка радостно вскрикнул:

— Тятенька!.. Как я рад! Как я счастлив, тятенька!.. Знаете ли, куда они меня зовут, к какому делу? — и, добродушно и весело посмеиваясь, батюшка что-то стал передавать дедушке.

Мы с сестренкой во все глаза смотрели на них, но ничего не понимали... Потом батюшка весело стал торопить ехать в город. Мы стали укладываться. Но я не узнал своего веселого «маленького дедушки»: всегда прежде при проводах или встрече он бывал так оживлен, добродушно-весел, подшучивал над нами, угощал и сам угощался «на дорожку» и, весь раскрасневшийся, постоянно со всеми целовался. Теперь он словно совсем по-

терялся, ходил постоянно из горницы в стряпную, из стряпной на двор и опять в горницу, покрякивал и изредка, как будто тихонько от других, крестился. Оттого ли, что я все эти дни не понимал хорошенько, что делалось вокруг меня, или потому, что на нас отражалось невольно общее настроение окружающих, только мне чувствовалось тоже как-то не по себе, и я невольно ходил без цели за дедушкой с одного места на другое. Когда я проходил через кухню, один мужичок сказал мне: «Скажи тятеньке, что, мол, готова подвода... Подавать, что ли?.. А слышь, теперь тятенька-то твой господам служить будет?.. Ась?.. Правда али нет?» — спросил он как будто мимоходом.

Я в недоумении посмотрел на него и не знал, что ответить: хорошее или дурное это было дело со стороны отца. Как вдруг ко мне подошел дедушка и шепотом спросил:

— У вас бывал, слышь, в городе этот барин?

— Бывал, дедушка! — обрадовался я случаю успокоить дедушку и поспешил сказать: — Он добрый!..

— Добрый, говоришь?

— Совсем добрый...

И дедушка перекрестился, но, кажется, мало успокоился.

Прежнее общее напряженное состояние продолжалось. Матушка укладывалась; отец перебирал какие-то бумаги; бабушка особенно усиленно хлопотала, собирая обед на дорогу. И она как-то совсем затихла. Я вышел к воротам, и там мне показалось как-то сумрачно, скучно. Никто ко мне не подходил из товарищей: всех, очевидно, напугал приезд «барина», и они с любопытством смотрели на меня издали... Мне отчего-то стало грустно, хотелось плакать и так захотелось почему-то увидать еще раз пред отъездом Фимушку. И вдруг я заметил, что Фимушка бежит прямо на меня, торопится, помахивая подогом.

— Где дьякон-то? Где он? Где? — быстро спрашивает она кого-то и, ощупывая подогом дверь нашего крыльца, идет в кухню. Я за нею.

— Здесь ли ты, дьякон? — спрашивает она в кухне, взволнованная, дрожащая.

— Здесь, Фимушка, здесь,— говорит дедушка.

И вдруг Фимушка стала молиться и повалилась пред ним в ноги.

— Прощай, дьякон, помолись за меня, бедную... Благослови меня, дьякон,— заговорила она.

— Что с тобой, Фимушка?

— Молиться надо идти!.. к угодникам!.. Всем надо молиться!.. И ты, дьякон, молись!.. Молись, дьякон, паче всего. Дай я тебя благословлю...

И Фимушка стала крестить его сухою, маленькою, коричневою рукой.

Я смотрел и дрожал: меня охватывал безотчетный страх; почему-то мне показалось, что мы в чем-то вдруг стали все виноваты.

— Молись, дьякон! — говорила все Фимушка и стала гладить его по голове.— И Лександре (моему отцу) скажи, чтоб молился. Пропадет без молитвы... Так и скажи: «Пропадешь без молитвы». Молиться надо!.. Всем надо молиться!.. Прощай, побегу... Богомолки ждут!..

И Фимушка быстро, как мотылек, такая же легкая и словно вся прозрачная, вылетела из избы и исчезла.

Я еще не опомнился, как послышался голос отца:

— Тятенька, где вы?

— Я здесь, здесь... Закусили ли? — спросил растерянно дедушка, по-видимому не зная, что сказать, и заторопился навстречу отцу.

— Пора, тятенька, ехать,— говорил отец уже в горнице.— Что ж это вы нынче... хоть бы бражки на прощанье?.. У меня такой нынче день... Хоть бы поздравили меня...

Я видел, что отец был очень весел, и это меня несколько успокоило, и мне хотелось, чтоб и дедушка был весел по-прежнему. Но дедушка сделался еще серьезнее. Вдруг он как-то весь выпрямился и голосом, каким он обыкновенно говорил только в церкви, и то во время особенно торжественной службы, сказал строго бабушке:

— Анна, подай-ка мне образ!.. Ну, присядемте все, как по порядку,— прибавил он, когда бабушка подала ему образ.

Бабушка теперь совсем изменилась и стала такая смирная, послушная деду.

Мы все сели. Посидев несколько минут молча, все

поднялись. Дедушка стал молиться, потом благословил образом батюшку и матушку, потом меня с сестрой.

Потом дедушка совсем заволновался: руки у него дрожали; обыкновенно влажные и мягкие, глазки его теперь смотрели строго, почти сурово.

— Саша,— заговорил он батюшке,— дай я тебя перекрещу... Смотри... будь тверд... духом... Время идет большое... Помни Иуду... сребреники... али мздоимство... али искательство... У нас в роду... этого не было... Бедные мы... простые... Долго ли до греха! Ну, прощайте... Господь благословит вас!..

Никогда, никогда еще деревня и дедушка не провожали нас так. Я смутно чувствовал, что в жизни моей, и моих кровных, и в жизни всех этих близких мне простых людей, которые окружали меня в деревне, готово совершиться что-то важное и чрезвычайное...

Когда мы выехали из села, мне самому почему-то хотелось плакать и молиться.

Старые тени

Я уже говорил, что в минуты тяжких душевных смут особенно любил навещать меня мой «маленький дедушка», приводя с собой из тьмы забвения ряды таких же, как он, маленьких и ничтожных существований. Мое детство и отрочество, кажется, неразрывно связаны с этими маленькими существованиями. Особенно вспоминаются мне те странные таинственные образы, которые вдруг являлись неизвестно откуда — и в нашем «старом доме» в провинциальном городе, и в старой сельской почернелой избе моего деда, — и так же исчезали неизвестно куда. Это были какие-то блуждающие тени, пугавшие наше детское воображение, тем более что моя старая бабка, которую я не могу иначе вообразить себе, как в огромном повойнике, с нависшими бровями и грозным сковородником в руке, сильно их недолюбливала и называла «шатунами», «шатущими людьми» и «людишками». Несмотря, однако, на существование моей старой суровой бабки, которая являлась предо мной всегда как бы воплощением того сурового времени, эти «шатущие людишки», казалось мне, все больше и больше плодились на русской земле, и вместе с тем все больше доставалось от суровой бабки и моей мечтательной матушке и «уличному пустомеле», «маленькому дедушке», которые привечали этих людишек и к которым, казалось, льнули они, как мотыльки к свету.

Смутно проходят предо мной эти странные, таинственные образы, которых так много создавало то невозвратно минувшее время. Вспоминается высокая, сколоченная из толстых бревен, старая, закоптелая, но крепкая дедушкина изба. В ней тепло, но на воле мороз к

вечеру все крепчает. Вот уже половина стекол покрылась пушистым инеем, по углам то там, то здесь постукивает и потрескивает. Дедушка сидит у сальной свечи и торопится заплатать куском кожи пробитый валяный сапог. Матушка истово и певуче читает, неторопливо выговаривая слова, стихотворные переложения псалмов, и мне очень нравится, как звучно и складно льются слова одно за другим, но я плохо понимаю их смысл. Мы с сестренкой уже прикорнули под теплым овчинным тулупом и витаем в каком-то легкомысленном сказочном мире, для которого нет ни времени, ни пространства; из фантастических стран восточной Шехеразады быстро переносишься то на теплые, мягкие берега Иордана, то в суровое царство фараонов, то вдруг уже вертишься в вихре веселого, яркого света, среди моря торжественных звуков музыки, в блеске нового легкомысленного мира европейских столиц, куда так чарующе манит и зовет все молодое, бодрое, свежее, что раньше нас успело уже выбраться и выбиться из суровых и темных обиталищ крепостных деревень... Хотя мы с сестрой ничего не говорим друг другу, но я совершенно уверен, что она носится своей мыслью там же, где и я; мне стоит только спросить ее: «А помнишь, вчера мама читала письмо дяди Саши из Петербурга?», чтобы быть уверену, что юная фантазия тотчас же унесет ее, как и меня, далеко-далеко от этих хотя и теплых, но тусклых и темных стен дедушкиной избы.

И вдруг слышится тяжелый скрип по помосту, стукнуло кольцо у калитки, кто-то откашлялся за дверью. Мы все прислушиваемся; робко и неуверенно отворяется дверь, и, заволокнутая холодным паром, на пороге появляется незнакомая, высокая, худая фигура: длинный овчинный подрясник, занесенный снегом, толстая и высокая, набитая хлопками скуфья на голове, в руках — длинный посох, на спине — подбитый телячьею шкурой мешок, худое, длинное, с провалившимися щеками, мокрое лицо, с жидкими клочьями седоватой бородки, и черные, боязливо бегающие под длинными бровями глаза.

— Мир и благословение дому вашему! — отчетливо выговаривает пришедший, стоя у порога, и не трогается с места.

— Благодарствуем, — говорит дедушка. — Куда странствуете? Маша, принеси-ка от бабки коровашек... для странника, мол.

— Не признал, отец? — спрашивает между тем странник, все еще не отходя от порога.

— Нет, нет... Али знакомы? — говорит дедушка, ища очки.— Кто же будете?

Странник пугливо окидывает комнату своими черными, пронизывающими насквозь глазами и тихо говорит:

— Презренный раб божий, раб человеческий... дворовый человек Александр... вечный жидовин, Агасфер треклятый...

— О? Александр!.. Признаю, признаю,— говорит дедушка.— Обогреться. переночевать, поди, хочешь, изустал, чай?.. Место будет... Садись, Александр, садись, странник божий...

— Дозволяешь, отец? — все еще спрашивает странник, робко озираясь кругом.

— Не бойся, не бойся... Входи с богом, располагайся.

И вот странник медленно и неуверенно начинает снимать с себя мешок и с тяжелым вздохом садится на скамью.

— Что ж, Александр, али все не нашел успокоение душе своей? — спрашивает дедушка.

Но странник сидит молча, опустив голову.

Потом слышно, как снова глубокий вздох вырывается из его груди. Потом он заговорил истово, неторопливо, опустив вниз глаза, как будто стыдясь смотреть на нас.

— Прошел все пределы... везде был... все обители посетил... Был на полднях и на полунощь... на знойном Афоне и в хладных Соловецких обителях... Везде, отец... Искал неустанно грядущего града, и нет приюта презренному рабу!.. Исхолодал, отец, изголодал... И в лето и в зиму, как тать, скрываюсь от света и брожу в нощи... Прихожу в грады — и изгоняют, стучусь у обители — и не принимают отверженного... Не вижу ни кровных своих, ни сродственников, ни жены, ни детей, в неволе пребывающих... И да будешь проклят ты, раб презренный, что возомнил о свободе, и покинул кровь свою, и отженился ближних своих!.. Нет тебе угла в пространном мире моем, и не будет успокоения душе твоей!..

Захочешь возвратиться в дом господина твоего — и отрекутся, страха ради иудейска, дети твои от тебя и ближние, и предаст тебя поруганию и истязанию господин твой... Убоишься вернуться в неволю и будешь скитаться, как вор, и приют твой будет логовище зверей...

И вдруг странник с глухим шумом падает на колена и начинает молиться. Долго слышатся среди полного молчания только одни глухие вздохи странника да редкие покрякивания дедушки.

И матушка, и я, и сестренка давно уже впились глазами в это худое, словно отлитое из бронзы, тусклое и костистое лицо, на котором так ярко лежали следы бесконечных скитаний и безмерной скорби.

Странник поднялся, выпрямился и все еще не спускал глаз с образа. По щекам его текли крупные слезы, между тем как черные глаза блестели в одно и то же время злым отчаянием и суровою верой.

— Отец!..— вдруг заговорил он, подымая к образу руку.— Там... там взыщем грядущего града!.. Там единственно!.. Там — не отринут...

— Да не отчаивайся, Александр... бог тебя поддержит,— говорит дедушка.— Нет той слезы, Александр, чтобы пролилась тщетно и не была услышана у престола всевышнего!.. И волос не упадет даром с головы человеческой... Ищи — и всегда обрящешь... Толцыте — и отверзятся врата правды... Сядь, Александр, подкрепись, чем бог послал...

И странник, несколько успокоенный как будто, опять садится на лавку, но теперь голова его поднята и блестящие глаза его смотрят куда-то вдаль, как будто пронзают стены нашей избы, и светится в них какая-то странная борьба, как будто не знают еще они, на чем остановить свой выбор: на небе или на земле...

— Ну, Александр, расскажи нам про мир божий. Вам, странникам, многое открыто... Поди сюда, присядь здесь.

Странник садится у стола, и я вижу, как матушка, с загоревшимися таинственным любопытством глазами, уже подвигается к нему, поставив на стол руки и склонив на них голову, и своим обычным мечтательным взглядом впивается в лицо странника.

И странник начинает говорить... Но мое детское воображение, запечатлев в себе его туманно-суровый образ, уже не сохраняет ничего больше, и его речи вспоминаются мне только как шум бурного, но смутного потока, несущегося чрез безграничные степи... А по этим степям, гонимая ветром, быстро шагает высокая суровая фигура, тщетно ищущая, где преклонить главу сыну человеческому...

И мне представляется, что еще не успел кончить странник свои рассказы, которые так длинны, кажется, что длятся целую ночь, и день, и еще ночь, как уже за ним появляется в дверях нашей избы новое странное и поражающее наше детское воображение существо.

Прежде всего виден только один огромный старый нагольный тулуп, перепоясанный кушаком, и большие старые валенки, но совершенно невозможно определить ни пола, ни возраста, ни звания того, кто скрывается в недрах этого огромного тулупа, вверху которого едва виднеется голова, так плотно окутанная заиндевелою шалью, что из-за нее не видно даже глаз. Но вот странный тулуп быстро и нервно делает наотмашь три поклона пред образом, затем в углы избы и так же быстро начинает развертывать с головы шаль, и мало-помалу сначала показывается жиденькая, белесоватая бороденка, потом длинный тонкий нос, маленькие, словно мышиные, серые глазки, и, наконец, из-под бараньей шапки освобождается большая лысина, кое-где опушенная всклоченными косичками беловато-рыжих волос. А когда разом и неожиданно свалился в угол тулуп, пред нами вдруг объявился самый обыкновенный, самый «ничтожный» из «людишек», какие только живут на свете, по мнению моей бабки, старый крепостной мужичишка, в заплатанной и изодранной серой свитке. Едва только мужичок этот почувствовал себя на свободе от угнетавшей его тяжести огромной овчины, как вдруг он весь озабоченно оживился, умильно улыбнулся всем нам, поклонился еще и еще раз в оба угла и, быстро засеменив пред дедушкой короткими ногами, также умильно выкрикнул:

— Преподобный!.. Отец!.. Приюти! Подкрепи!.. Обнадежь!..

Ах, Филимон, Филимон!.. Да неуж это опять

ты? — говорит мой «маленький дедушка» в видимом волнении, стараясь найти свою табакерку...

— Я, преподобный... Не обессудь,— выговаривает мужичок до того тихо, что, кажется, боится собственного голоса.

— Ах, Филимон! — качает почему-то сокрушенно головой дедушка и торопится успокоить себя понюшкой табаку.— Доколе же ты не успокоишься?.. Друг, есть ли в тебе место живо?

И нам казалось, что в мужичке действительно не было живого места: ни мускулов, ни мяса, ни крови, только одни крепкие и несокрушимые кости, обтянутые темно-бурою кожей...

Мужичок на слова дедушки еще умильнее улыбнулся, еще меньше, казалось, сделались его серые глазки, и вдруг он опять весь оживился, заволновался, задвигался всеми своими костистыми членами и, охваченный какою-то необычайной заботой, стал что-то искать за пазухой своей рваной чуйки.

Вот он вытащил оттуда что-то завернутое в темный платок; бережно, дрожащими корявыми пальцами развернул его и, обернувшись пугливо по сторонам, с заботливым взглядом положил пред дедушкой какие-то старые, замасленные бумаги и опять поклонился ему в пояс.

— Преподобный... Докука!..

— Ах, Филимон! Ах, Филимон!..— вздыхает дедушка, снова сокрушенно качая головой.— И зачем испытуешь господа бога?.. Себя не жалеешь — пожалей кровных.. Умирись духом... Будет!.. Будет, Филимон!.. Послужил, друг... Господь видит, господь взвесил и взмерил... Он не потребует изможденния до конца... Не испытуй судьбу!..

— Преподобный!.. Иду!.. Забота о людях... Надо идти...

— Куда идешь, безумец?.. Вздохни... Залечи хоть язвы старые... Дай поджить...

— Отец... залечились... Не обессудь!.. Иду... до высших пределов!..

И мужичок опять умильно смотрит в лицо дедушки, и кажется нам, что дедушка никак не может спокойно выдержать этот умильный взгляд.

И вот дедушка встает, взгляд его делается суров и серьезен, и он строго говорит:

— Филимон!.. Пожалей меня... С меня бог взыщет за тебя... с меня, попустителя и помощника!..

— Отец... не жалей!.. Постучусь еще... Стук! Стук! Стук! А может, господь даст... Вот так, легонько, отец: стук, стук, стук! «Кто,— спросят,— там?» — «Всё, мол мы, бессменные, стучим... Всё мы...»

— А который раз ходишь стучать?

— Осьмой, отец... Осьмой, ежели до высших пределов... Шесть разов этапом гнали... Шесть — шкуру спущали...

— Филимонушка, много ли ж с тебя останется?.. Пожалей!.. Меня, прошу, пожалей, мою душу: за что я пособничаю твоей муке-погибели?..

Мужичок еще раз умильно улыбнулся в самое лицо дедушки и вдруг быстро повалился ему в ноги.

— Преподобный!.. не жалей!..

И, так же быстро поднявшись, он нервно и возбужденно задвигал и замахал своими сухими, как скалки, руками, забегал пугливо по углам мышиными глазками и заговорил, заговорил неудержимо, словно сразу пролилось из него дождем все, что долго, бережно и опасливо нес он сюда целые дни и целые десятки верст... Это был один, казалось, нескончаемый, напряженный шепот, как отдаленный шум воды на мельнице, прерываемый какими-то неожиданными выкриками, от которых трепетало наше детское сердце... Я помню, что от этого напряженного шепота костистого мужичка у меня голова сжималась, как в тисках, страшно стучала и билась кровь в виски до того, что мне хотелось разрыдаться и выбежать вон из избы и бежать, бежать куда-то далеко от этого страшного шепота, несмотря ни на мороз, ни на глубокие сугробы, ни на ночные вьюги, сурово гудевшие вокруг нашей избы... И если бы еще хотя на минуту продолжился этот ужасный шепот, истерзавший мои нервы, я вырвался бы из-под теплой шубы и действительно убежал бы, как в горячечном бреду. Но «маленький дедушка» подошел к нам и погладил задумчиво наши головы. Зачем? Он, казалось, и сам не замечал этого. А может быть, он невольно хотел как будто

спросить нашего согласия па что-то. И он сказал, прерывая мужичка:

— Филимон!.. В последний раз... так и быть... Чую, что в последний раз... Быть концу!.. Нельзя!.. Надо быть концу!.. Велик господь в своем долготерпении — точно... но и страшен во гневе своем!..

Мужичок просиял весь и вдруг как-то сразу прекратил свой шепот.

— О чем писать? — спросил дедушка.

— Отец, пиши всю правду... Говори прямо обо всем. Ничего не скрывай... И нас не милуй: казни иудину кровь!.. Иудина кровь над народом лютовать стала!.. Главное, чтобы по правде, отец, обо всем...

И мужичок торжественно поднимал кверху руки.

— Пиши!.. Терпели, перетерпим еще. Не боюсь ни новой тюрьмы, ни новых кандалов... Преподобный, не жалей!.. Пиши!..

И долго-долго в безмолвной тишине зимней ночи, сквозь тревожный сон видится нам и костистый мужичок с своей умильной улыбкой и какой-то детски наивной решимостью и верой, освещающей все его маленькое лицо, и наш «маленький дедушка», вдруг сделавшийся таким серьезным и строгим и, с суровым сознанием какого-то великого долга, истово и неторопливо выводивший на бумаге четкие полууставные буквы...

— Пиши, пиши, отец!.. Есть правда!.. Правда будет!..— все еще слышится нам голос костистого мужичка, и чем дальше следит он за пером дедушки, тем, кажется, лицо его все светлеет больше и больше.

Мы почему-то радуемся и за мужичка и за дедушку, но в то же время нас томит какое-то тайное чувство страха и боязни, потому что кажется нам, что вот сейчас войдет из стряпной половины наша суровая бабка, сердито окинет подозрительным взглядом всех нас «непутных» и «шатущих людишек» и крикнет:

— Что за людишки опять набрались? Откуда бог привел?.. Не берут, должно, ни казни, ни угрозы шатущих... Чего нашли друг в друге, что льнете, как мухи к меду?.. Ну, эта хошь полоумная зародилась,— мотает головой бабка на матушку,— а ты что, старый?.. Ой, дьякон! Несдобровать тебе, несдобровать!.. Попомни мое слово... Дождешься ты себе за этих людишек награды!..

Но «людишки», на первое время как бы действительно смущенные и оробевшие от грозного окрика суровой бабки, однако, не только не исчезают, но как будто вырастает их еще больше...

Вот я вижу, что уже около дедушки, выводящего пред сальным огарком полууставные буквы, сидит уже не один костистый мужичок Филимон, а вместе с ним и наша слепая деревенская печальница и самая близкая дедушкина подруга Фимушка, и суровый беглый человек Александр, и еще два-три каких-то новых, таинственных, «маленьких и ничтожных существования», которых, однако, я очень смутно различаю, и все, с внимательно устремленными взорами, слушают сидящую пред нами Аннушку,— слушают до того напряженно и внимательно, как будто не слова, а нектар и чудное благоухание льются из ее уст...

Аннушка

Аннушка! Как передать мне вам этот дивный в своей простоте образ, который давно уже заполонил наши юные сердца, который не раз после, в тяжкие минуты духовного изнеможения и надорванной энергии, вдруг яркой звездочкой выплывал пред нами из-за сумрака серых туч и о чем-то говорил нам с высоты небесной и как будто манил к себе, в надзвездную высь, своим мягким, ровным блеском?..

Мы мало ее знали: это была тоже одна из блуждающих теней, которые раз-другой проносились мимо нас, как видения, и исчезали, казалось, бесследно; но это так казалось нам, пока легкомысленный угар молодой жизни еще туманил наши духовные очи и мы с детской надменностью полагали, что между нами и прошлым нет уже никакой связи, что все благодатное, что было в нас, родилось вместе с нами и из самих нас...

Я расскажу лучше всего, что мы знали об Аннушке.

Однажды, когда «наш ополченец» гостил, по обыкновению, у нас, в нашем старом провинциальном трехоконном домике, сокращая скучные зимние вечера своего одинокого деревенского существования, он, сидя на диване и покуривая «Жуков» из длинного чубука, после довольно продолжительного молчания вдруг сказал, обращаясь к матушке:

— А знаете ли, ведь в молодости я чуть было не женился на своей крепостной девушке?..

Он таинственно улыбнулся и усиленно стал сопеть трубкой.

— Да,— продолжал он,— и наверно бы женился и сделал бы свою крепостную девку барыней, если бы

судьба так же охотно исполняла все глупости, которые нам взбредут в голову, как мы сами.

Мы были еще так юны, что подобное сообщение нашего ополченца, имевшее для него, по-видимому, большое значение и которое он не без труда решился сделать, не особенно нас заинтересовало бы, если бы оп не начал дальше рассказывать о какой-то черноглазой девочке, смуглой, как цыганенок, которую его мать взяла к себе «в горницы» из дальней деревни и которую все у них прозвали «галчонком». Это обстоятельство заставило меня и сестренку бросить вырезывание транспарантов и внимательно выслушать весь рассказ ополченца, хотя мы понимали в нем далеко не все.

— Н-да, удивительная вещь,— говорил задумчиво наш ополченец, прерывая свою речь долгими попыхиваниями в чубук,— не то удивительно, что я хотел жениться... Это глупости, вздор!.. А то, что вот она... этот «галчонок»... засела где-то там... в подоплеке... в глубине юнкерско-дворянской подоплеки... и свербит там... Да, по временам...

И ополченец опять начал сопеть в чубук и при этом долго и внимательно, с таинственной улыбкой, смотрел на мою сестренку.

— Вот,— сказал он, указывая на нее чубуком,— вот, помню, такая же была... Мне было лет четырнадцать, а я все еще жил дома, был сорванец-мальчишка и балбес. Один был у маменьки; была раньше сестренка, да умерла лет десяти; мать долго и очень об ней тосковала. Помню, однажды, когда матушка вернулась из поездки в одну из наших деревенек на юге, я заметил в людской нового человека, маленького, худенького, черномазенького, с черными глазами, запрятавшегося в угол за печкой... «Вот нашли еще сокровище! — сказала наша ключница.— Настоящий галчонок, и зовут-то, слышь, Галькой... Полюбуйтесь! Хохлушка, слышь, а может, арапка»... Галчонок!.. И мне и всем в людской это очень понравилось... С тех пор галчонок стал галчонком и на другой же день принялся было, грязный и босой, как и все другие дворовые галчата, прыгать на заднем дворе, как вдруг матушка вспомнила о галчонке, приказала вымыть, причесать, одеть Гальку и представить к ней «в горницы»... Священнику, кото-

рый ходил к нам давать мне уроки, приказано было учить Гальку грамоте... Матушка стала ее держать при себе целые дни, занималась с ней сама, учила ее вышивать и даже баловала лакомствами... Иногда она, смотря на нее, тихо плакала... Но так продолжалось недолго; матушка вдруг ее забывала... Глядишь, а уж галчонок снова толкается в людской, на кухне, бегает на посылках у ключницы, перетирает тарелки, ходит в рваном затрапезном платьишке, нечесаный и немытый; опять урывками играет с дворовыми ребятишками на заднем дворе... А там опять — смирно и робко галчонок по целым дням сидит в комнате матушки, четко выговаривая тоненьким голосом склады, сложив под столом ручонки, и только бойко прыгают по буквам его черные глаза... Ну, да... все это, как видите, в порядке вещей... Гм!..— вдруг почему-то заволновался наш ополченец, и, поставив в угол трубку, он протянул руки к моей сестренке и тихонько привлек ее к себе.— Да, вот и галчонок был такой же тогда!.. Я хорошо помню... Вот и глаза,— говорил он, как-то особенно любовно смотря в лицо сестры.— Ну, после я его забыл... Меня увезли в Москву... Вообще... из старого ничего не осталось... Новые интересы, новая жизнь... Все было забыто... Да... все... А потом... потом, знаете, как это бывает: вдруг все сразу неожиданно и хлынет.

Ополченец помолчал, забился в самый угол дивана и, как мне показалось, весь съежился, смутился, перестал смотреть на нас, робко опустил глаза и вообще совсем не стал походить на бравого ополченца.

— Да, все было забыто,— повторил он.— Ну, сначала корпус... Был и в лицее... и за границу ездил... Прошло, вероятно, лет десять... Наезжал и в деревню, но все это так, мимоходом... Другие интересы, другая жизнь... А это все... старое, что тут осталось, так мелькало только... мимо... Одно мелькание было... Вот однажды получаю письмо от матушки, что очень больна... Приехал... Кругом, конечно, заботы... Врач дежурит... Дворня ходит на цыпочках... Проходит день за днем... Матушка моя будто стала поправляться... Вхожу к ней как-то вечером... Около нее сидит девушка с Евангелием в руках и читает... Девушка показалась мне очень скромной. с маленьким, смуглым, худощавым лицом...

Да и вся она была не столько худая, сколько именно маленькая: и нос у нее, с горбинкой, тоже был маленький, и руки маленькие, только глаза были большие, как крупные вишни, да толстая черная коса... И я вдруг вспомнил «галчонка»...

Я стал всматриваться в нее, чтобы припомнить хорошенько сходство, но тут почему-то мне пришла в голову мысль, что она, вероятно, вот уже замужем за кем-нибудь из лакеев или кучеров... И мне стало неинтересно... Ну да, потому что все это так... в порядке вещей...

Ну, матушка, однако, не поправилась: через неделю она умерла... Надо было привести дела в порядок... Впрочем, все это должен был приготовить мой дворецкий... А я больше, грустный и меланхолический, ходил по саду, по берегу реки и думал, что это и есть самое хорошее дело. Забрел я как-то однажды в самый глухой угол сада, уже в сумерки, и слышу, что кто-то очень близко от меня тихонько всхлипывает. Гляжу, прямо предо мной на скамье сидит девушка, закрыв лицо фартуком.

— О чем ты плачешь? — спросил я, но еще не узнал, кто эта девушка.

Она вздрогнула, опустила фартук, быстро поднялась и стала смотреть мне боязливо в лицо: я заметил, как блестели от слез ее черные глаза...

— Ты — Аннушка, да?.. О чем ты плакала? — спрашивал я.— Можешь ты мне сказать искренно?..

— Мне... тоска... бывает... Мне хочется тоже... умереть,— прошептала она так тихо, что я едва расслышал ее голос.

Я никогда еще не слыхал таких слов... от дворни. Да, в романах читал, но там — другие люди... свои...

— Сядь,— сказал я,— сядь, бога ради...

Она присела на самый краешек скамьи.

— Отчего ж ты тоскуешь?.. Может быть, нехорошо живет с тобой муж...

— Я — девушка...

Это меня несколько изумило, но вместе с тем мне было почему-то приятно.

— Отчего ж до сих пор не вышла замуж? Никто не любил?..

— Я была при вашей мамаше... все время... Она меня любила... очень любила и никуда не отпускала...

А у меня часто бывает так... тоска... Еще когда я моложе была, ко мне по ночам все приходили то дедушка, то бабушка... И все корили за что-то... Я все плакала... Я просилась у мамаши отпустить меня к своим... А они говорят: «Ни за что!.. Лучше убей меня! Вот умру — ступай...» Мне их жалко было... Они меня всему научили... Я им книжки читала... Все книжки, какие у нас в шкапу были, все почти перечитала... А некоторые и не один раз... А только на вашу мамашу тоже другой раз находило... и она не любила тогда меня... прогоняла от себя... А на меня тогда еще пуще тоска... Собиралась убежать, уйти — да не смогла... Простите меня... Это во мне, говорят, кровь говорила... Родная кровь.

И она опять заплакала.

Я старался успокоить ее, но в то же время я не хотел ее и смущать еще больше и ушел. Я проходил всю ночь до рассвета по мокрому лугу... Что-то во мне тогда вдруг заговорило, поднялось, смутное, неопределенное, что-то воскресло старое, все это забытое... «Все лучшие годы, всю молодость... не отпускала!.. Собиралась бежать — и не смогла, жалко было»... Все эти отрывочные слова девушки тысячу раз вертелись в моей голове, и она стояла предо мною, как живая: такая маленькая, худенькая, а в глазах ее было столько тоски и слез...

Мне казалось, что после бессонной ночи я пришел к какому-то важному решению — и заснул. На другой день я позвал к себе старого дворецкого и, как бы мимоходом, расспросил об Аннушке. Вся дворня смотрела на нее, как на странную девушку, немножко будто «попорченную»... «Барыня-покойница очень привечала ее при себе — точно,— говорил дворецкий.— Иной раз, слышно, так говорили: кабы ты, слышь, моя дочь была... Да нет, говорят, нет... Уйди, говорят, уйди прочь от меня! И прогонят. А то от себя не отпущают: всему ее обучили и книжки все себе заставляли читать... Ну, а она другой раз выбежит к девкам (известно, молодость!.. тоже в охотку), побегает с ними в горелки, песен попоет... А там, глядишь, найдет на нее — где-нибудь в уголке по ночам плачет и все богу молится...»

К изумлению своего дворецкого, я вдруг объявил ему, что на этот год я останусь с ними, а может быть, и навсегда.

— Я забыл вас совсем!.. Да, совсем забыл! — прибавил я, чувствуя, что голос у меня дрожит. Но мой добрый старик дворецкий, по-видимому, не оценил этого и, не осмеливаясь высказать свое недоумение, проговорил, почесав за ухом: «Слушаем-с!..»

Да, я решил «вспомнить их всех»... Я справлялся у ключницы об Аннушке, что она, не тоскует ли... Ключница подозрительно взглянула на меня и сказала: «Что ей, сударь, делать: известно, о барыне-покойнице тоскует...» Я все думал, что бы мне для нее сделать, и ничего не мог придумать... Я позвал ее и сказал, чтобы она мне что-нибудь прочитала... так же, как матушке. Я дал ей новую, только что появившуюся тогда замечательную повесть, которую привез с собой. Она скромно села за стол и стала читать. Лицо ее было серьезно; худые, смуглые, с пробивающимся румянцем щеки, опущенные ресницы, певучий тонкий голос напоминали мне тех молодых клирошанок, которых я любил так смотреть и слушать в московских монастырях... Она читала и, по-видимому, начала все больше увлекаться сама чтением. Она читала долго, не смотря на меня. Я не мешал ей. Я смотрел на нее и не мог отвести глаз. Потом как-то она подняла на меня свои темные глаза и покраснела. Я чувствовал, что сам покраснел и смутился... Вечером я опять просил ее читать. Она принялась охотно, и мы кончили повесть. Но она все время не подняла на меня глаз. Так продолжалось день, и другой, и третий... Я просил ее читать мне, как матери. Она не отказывалась и аккуратно исполняла свой «урок». Да и могла ли она подумать отказаться, она, крепостная девушка? Но я не думал об этом. Мне было приятно слышать ее нежный, молодой голос, следить за переливами стыдливой крови на ее смуглых щеках и ловить робкий взгляд ее темных глаз, которые она изредка подымала от книги. И я думал: «Как мне хорошо здесь при ней... Я останусь здесь... Что же: мне стоит только протянуть ей руку — и я спасу ее сразу, искуплю грех моей матери против нее...» Я чувствовал, что становился великодушен и нежен.

Одним утром, когда я только встал, вдруг отворилась тихо дверь и на пороге робко остановилась Аннушка.

Она не смотрела на меня, но я чувствовал, что в глазах ее стояли слезы... А мне почему-то было приятно, что она сама вошла ко мне.

— Что, Аннушка? — спросил я.

— Я к вам,— стала она говорить так тихо, что едва можно было ее расслышать.— Я пришла... просить вас, Петр Григорьич... Отпустите меня... на волю... Прошу, ради господа... Я и барыню просила... Да не пустила, говорит, умру — тогда... Пустите... Я ведь не для себя... в монастырь уйду... Только на родину схожу... Ежели не верите, я клятвенно перед образом побожусь... Ежели я обману, что для себя это я, по этапу тогда меня вытребуете... Да ведь я и не нужна вам, Петр Григорьич... Для мамаши была нужна... А для вас я к чему годна?.. Петр Григорьич, бог вам воздаст за меня сторицею, потому что не для себя я... Я вот только на родину схожу... Отпустите,— тихо прошептала она,— ради мамаши, ради памяти...

Я, понятно, был изумлен и смущен.

— Что с тобой, Аннушка?.. Зачем это ты... хочешь похоронить себя в таких молодых годах? — заговорил я.— Ведь ты уж и так... ведь мать моя тебя и без того держала, как в монастыре... Она молодость твою загубила... Нет, нет!.. Это ты хочешь меня наказать... Ты хочешь, чтобы я тебя вконец загубил... Проси, что хочешь... другое... я готов... Вот я останусь здесь... Я постараюсь устроить твою жизнь... Выпишу сюда твоих стариков... Может быть, ты полюбишь... кого-нибудь... Будешь счастлива...

И вдруг Аннушка покачнулась, как былинка от ветра, и упала мне в ноги.

— Петр Григорьич, не погубите,— шептала она глухо, сквозь слезы.— Отпустите... Тоска мне... Ради памяти маменьки... Я не для баловства... Клятвенно говорю вам... Ежели что — по этапу...

— Хорошо, хорошо,— быстро сказал я, испугавшись, что она будет продолжать какие-то страшные слова.

Она вышла. А я почувствовал, как у меня заныло сердце... да и так и засело вот что-то с тех пор в дворянской подоплеке... И свербит...

Ополченец замолчал и взялся за трубку. Матушка,

как мы заметили, была взволнована, но долго молчала, прежде чем спросила его:

— И она ушла? И вы с тех пор не видали ее больше?

— Нет, не видал... Но справлялся, расспрашивал... Говорили, что с нее взять? Известно, чудная была — такой и осталась. Слышно, живет, что птица, что божия птаха. Летает с места на место: то там объявится, то здесь. Где облюбует местечко в деревне, совьет гнездышко — поживет, а там опять вспорхнула и полетела... Вообще я заметил, что когда рассказывали о ней наши дворовые, то старались теперь говорить как-то нежнее, любовнее... Рассказывали, что она часто ходит по городам, по богатым, собирает деньги на что-то. На что — наши не знали, но были уверены, «что деньги эти ни к чему ей, как на божье дело... Потому что старики у нее умерли, совсем одиночка, как перекати-поле...». Однажды, когда я уезжал, говорили, что Аннушка заходила к нам, просила мне поклон передать и чтоб я не думал, что она меня обманула: что она в монастыре была недолго, только ей не показалось там, что если она теперь и живет на миру, на народе, то все равно что черничка, что ей самой ничего не нужно... Просила слезно меня в этом уверить... Что она давно думала побывать у нас, что тосковала очень, да и то думала, что вот я такой добрый — вольную ей дал, а она будет людям, с которыми свой девичий век изжила, глаза мозолить своей вольностью... Грех, слышь, это... А что она меня очень помнит и часто молится за меня, чтобы бог открыл мне сердце... К чему она это говорила — не знают; многое она говорила, что птица щебечет... Ночевала ночку, а там и опять улетела... «Что ж,— заметил мой старый дворецкий,— от нее ведь вреда нету, Петр Григорьич, а больше как бы утешение простому народу... Я так думаю...» — «И я то же думаю, Прохор Петрович»,— сказал я... Ну, вот и все, что я о ней знал, и никогда ее не видал уже... Но это, впрочем, не значит, чтоб я мог ее забыть!.. Гм... Это не так легко, пожалуй, как дать «вольную»... Да, знаете ли,— прибавил ополченец и тихо засмеялся,— ведь я вот часто во сне летал за этой «божьей птахой»?.. Да, дворянская фантазия разыгрывалась: то будто я ввожу ее в московский свет и мы кружимся с нею в вальсе... И все на нас смотрят... То

будто она Жанна д'Арк (а я знаю, она должна была про нее читать с матушкой), а я будто рыцарь Лиопель, стою перед нею на коленях на поле битвы (ополченец засмеялся уже громким смехом)... Да, а вот как она теперь, в действительности-то, мы это не знаем, и фантазии у нас на это не хватит...

Ополченец окончательно задумчиво замолчал, пуская густые клубы дыма, и как-то особенно выразительно и долго смотрел тогда на мою черноглазую сестренку. А матушка встала, подошла к окну и долго смотрела куда-то в неведомую даль полными слез глазами. Мы с сестренкой совсем присмирели и тоже почему-то загрустили.

Нам всегда как-то становилось грустно и жутко, когда матушка впадала в это мечтательно-грустное настроение. Нам все думалось тогда, что вдруг мама уйдет от нас. Если вы припомните, что матушка наша тоже была «мечтательница» и когда-то в девушках «бежала», накануне своей свадьбы, с одною молодою черничкой к «святым местам», то будет понятно впечатление, какое произвел на всех нас рассказ нашего ополченца, хотя, повторяю, в то время мы понимали в нем далеко не все. Перед нами носился только в смутном очертании какой-то очень милый и грустный образ маленькой черноглазой девушки, с большой черной косой и смуглыми щеками, которую похитила от ее папы и мамы какая-то злая волшебница, и с тех пор она дни и ночи принуждена была читать у кровати больной и капризной барыни. Потом, когда барыня умерла, ее выпустили из клетки, и вот она, как вольная пташка, думалось нам, летает теперь по таким же деревенькам, в какой жил наш «маленький дедушка».

В какой последовательности случилось все это, скоро или долго спустя,— не знаю, но хорошо помню, как однажды, когда мы с матушкой, по обыкновению, приехали летом гостить в село к нашему «маленькому дедушке», матушка нам сказала, что наутро мы поедем в лес, «в пустынь», прибавила она, чтобы, вероятно, яснее определить цель нашей поездки. Матушка нередко предпринимала с нами такие поездки по монастырям,

скитам и «пустыням», вечно ища ответов на беспокойные, неудовлетворенные запросы своей души. А мне и сестренке, среди скудости впечатлений нашей глухой провинциальной жизни, такие поездки были истинными светлыми праздниками, и чрезвычайно нам нравились: ведь столько было вечно живой и светлой поэзии в сочной, яркой зелени лесов, через которые приходилось нам проезжать, и в мягком, ласкающем воздухе тихих больших рек, переправляясь через которые на утлых паромах переживаешь так много разнообразных ощущений! Впрочем, эти поездки для нас с матушкой редко проходили безнаказанно. Прежде всего недолюбливал их и сам батюшка, скорее просто из зависти, так как ему приходилось в одиночку тянуть свою крепостную чиновничью лямку, оставаясь на целую неделю с одной кривой Акулиной; главным же врагом этих наших романтических поездок была бабка, которая приходила от них всякий раз в негодование, обзывая матушку и «полоумной» и «транжиркой», которая совсем расточит все хозяйство и пустит мужа по миру. Матушка, обыкновенно, на все это вздыхала, жаловалась на свою мученическую жизнь, проливала потоки слез и тем не менее в конце концов всегда делала по-своему: неожиданно подъезжала подвода, и мы уезжали. Так было и теперь. Бабка весь вечер ворчала, и в особенности доставалось от нее какой-то «шатущей бабенке», которая неизвестно откуда еще с утра забралась к матушке и все о чем-то с ней шепталась: очевидно, она и была главной «смутьянкой» и виновницей нашей поездки. К ночи бабка совсем расходилась и окончательно запретила дедушке давать нам лошадь — «шататься невесть по каким местам, незнаемо зачем!». Дедушка покряхтел и усиленно понюхал табаку, матушка горько поплакалась на свою судьбу, но когда только что чуть-чуть начало рассветать, матушка разбудила нас, наскоро и тихомолком собрала и велела выходить к задворкам. Скоро подъехала лошадь, которою правила «шатущая бабенка», а дедушка наскоро затискивал в роспуски два наполненных чем-то мешка. Мы «духом» уселись, перекрестились и торопливо по росе тронулись в путь, сопровождаемые успокоительными знаками нашего «маленького дедушки».

Ехали мы, помнится мне, очень долго, все больше

забираясь в самую лесную глушь. Помнится, нам с сестренкой уже становилось жутко в узкой просеке, между высокими, нескончаемыми стенами вековечных сосен, цеплявшихся за нас старыми, мшистыми ветвями. При каждом шорохе, раздававшемся в лесу, мы боязливо бросались и прижимались к матушке. «Э, малыши, что боитесь? Нечего бояться,— и здесь божьи люди живут. А где люди живут, там и Христос живет. Чего бояться?» — утешала нас «шатущая бабенка», заменявшая нам теперь кучера. Действительно, скоро и как-то совсем неожиданно вдруг в лесной прогалине, на зеленом отлогом спуске к заросшей камышом речке, высыпала перед нами небольшая деревенька. «Здесь?..» — спросила матушка. «Здесь, здесь,— отвечала почему-то шепотом баба и тотчас же свернула с дороги и поехала задами.— Вот сейчас тут и изба моя... И о н а у меня... Я ведь бобылка, с дочкой только живу, убогая у меня дочка — глухонемая с рождения... Так и жили вдвоем, а вот как о н а поселилась у нас, ровно просветлело все, народ около нас стал ютиться; старички, странники заходят всякие, безродные, больные которые... Так будто друг другом и держимся, и веселее, и в бога-то батюшку будто больше веруешь... Ведь нам, милая, на кого надеяться? Никто к нам, милая, не снизойдет... А ежели господь и пошлет к тебе добрую душу с утешением, то и то оберегаешься, все тихомолком».

Лошадь остановилась на задворках двойной старинной избы. Баба торопливо вскинула себе на спину мешки и, шепотом пригласив нас за собой, повела под темный навес двора.

— Вот сюда, сюда входите,— говорила баба все более и более таинственным шепотом.

И этот странный шепот, и напряженные впечатления дремучего леса, и вообще вся таинственность нашей поездки — все это так и запечатлелось в нашей душе в смутных образах тех же пугающих теней, какие тревожили наше детское воображение в избе нашего «маленького дедушки».

Мне припоминается большая темная изба, освещенная бледноватым светом спускающихся сумерек. Вдоль стены, где должна быть печь, висел полог; за ним была постель. На постели лежало что-то длинное и худое,

чего мы не могли еще разобрать, но от чего из-за полога распространялся по избе тяжелый, смердящий запах трупа. Близ полога у изголовья сидела маленькая, худая, смуглая женщина, с большими темными глазами, повязанная черным, с белыми горошинами, платком; рядом с ней по лавкам сидели какие-то девушки в синих сарафанах, старухи, два-три старика. Привезшая нас баба ходила хлопотливо по избе и продолжала со всеми говорить шепотом.

Но мы напряженно и с каким-то неопределенным страхом смотрели на смердящий полог и сидящую близ него женщину, в руках у которой была книга.

— Мама! Это — Аннушка? — вдруг спросила моя сестренка.— А тут... за пологом... тут старая барыня умирает?..

Маленькая женщина удивленно посмотрела на нас своими темными глазами и, казалось, хотела подойти к нам. Но в это время полог раздвинулся чьими-то длинными и сухими, как тонкие палки, руками, и на кровати поднялась жидкая и сухая фигура темно-коричневого цвета, едва прикрытая синей изгребной рубахой. Это был мальчик лет 15—16, с изъеденным оспой лицом и белыми испорченными оспой же глазами, блестевшими каким-то странным, восторженным и лихорадочным взглядом.

Он вдруг закивал нам черной кудрявой головой, выразительно улыбаясь сверкающими белыми глазами, и сказал, показывая на сидевшую около него женщину:

— Вы к ней?.. Я знаю, что к ней... Послушайте... Да, да, послушайте ее! Ничего... Она ведь для всех рассказывает, у кого к тому желанье есть...

И мальчик, радостно улыбнувшись, опять лег навзничь, устремив в потолок свои сверкающие глаза.

— Это вот тот самый паренек... суседского мужичка,— говорила шепотом матушке хозяйка-бобылка.— Смердит, поди? Да, да... Точно, ежели с непривычки... Вот мы притерпелись — ничего... Что делать?.. Божье дело... Вот уж седьмой годок, как у отца все на печи лежал... Был прежде паренек справный, годков до девяти,— отцу уж помогал... А тут ехал как-то из ночного, лошадь сшибла — упал, да с того и прикинулось: хуже да хуже... Да вот седьмой годок с одра не сходил,—

ни тебе солнышка, ни тебе людей, ни травку, ни скотинку — ничего не видывал... Так и лежал один в избе... Все на работу уйдут, у всех заботы, где им заняться: и лежит один-одинешенек да в темный угол смотрит...

Маленькая женщина с добрыми темными глазами поднялась и, подойдя ко мне с сестрой, стала гладить нас по волосам.

— Хорошо, что приехали... Хорошо,— заговорила она чистым, звонким, певучим голосом.— Посмотрите, как живут здесь бедные-то... Доброе дело, сударыня, что с собой их берете... Как знать, что им вперед уготовано... Может, придет время — вдруг сердце им и откроется... И вспомнится им обо всем, что видели да слышали... Я ведь по себе знаю... Вон какая востроглазая!.. Я вот такая же была,— говорила она, любовно и весело смотря на мою сестренку.— Вырастешь — не забудь меня...

Вдруг худой мальчик опять поднялся на кровати, замахал нам руками и головой и заговорил:

— Семь лет... не видал божьего солнышка... теплого ветерка не чуял... птичьего гласа не слыхивал... цветочков, травушки зеленой не видывал... Одна тьма вокруг стояла,— говорил мальчик, порывисто, задыхаясь, нервно и торопливо.— А теперь... теперь все вижу и знаю!.. Теперь она мне солнышко красное, месяц светлый, звезды яркие... Теперь я везде — моря-океаны переплыву, жаркие и холодные страны пройду... Вот Авраам, патриарх, странствует в шатрах своих, со стадами... Вот Моисей-пророк народ свой избранный изводит из плена фараонова... Вот младой юноша царь Давид... И сам Христос на Голгофе... И великие мученики, за нас, бедных, кровь пролившие... И что я вижу: времена и пространства... и несметное полчище людей проходит... И были для всех времена тяжкие, изживали казни лютые... И все проходило!.. Нарождались мужи великие, приходили к бедному народу, провещали могучие глаголы — и погибала неправда великая!.. Что я теперь вижу, слепец прозревший!..

В испуге смотрели мы, не спуская глаз, на мальчика: он весь был как в лихорадке, коричневое лицо его передергивалось все, он постоянно поднимал кверху руки и восторженно сиявшие глаза.

— Петя, ляг... Ляг, болезный, умирись... Нехорошо тебе так... Вот поправишься, окрепнешь... Вот тогда уж...— говорила маленькая женщина, заботливо укладывая мальчика.

— Беспокоится очень,— говорила бобылка,— того гляди, не выживет... Оченно уж его все сразу осветило... А паренек-то добрый, до всего чуткий...

— Почитай им!.. Расскажи им!..— вдруг тихо сказал мальчик маленькой женщине.— Пусть послушают...

И когда мальчик несколько успокоился, маленькая женщина начала рассказывать...

Но утомленные ли дорогой, или всеми этими странными, напряженными и необычными впечатлениями, мы с сестренкой, прикорнув в противоположном углу, скоро заснули под певучий, размеренный рассказ маленькой женщины, и для нас все смешалось с миром фантастических сновидений и потонуло в них.

И чудится мне опять старая дедушкина изба, зимний морозный вечер и таинственные блуждающие тени, которые одна за другой собираются робко «обогреться» в гостеприимной дедушкиной храмине. Вот тут и мрачный дворовый человек Александр, и костистый мужичок Филимон, и сам мой «маленький дедушка», и его приятельница слепая Фимушка, и моя мечтательная матушка, и батюшка с ополченцем, и еще какие-то «маленькие и ничтожные существования», и бобылка, у которой мы были в лесу, и худой убогий Петя с восторженными белыми глазами, и сама Аннушка, и будто она все говорит и говорит долго-долго своим певучим, размеренным складом. Говорит она о великих пророках и ходатаях народных, о подвижниках и мучениках за правду и обо всем, что сохранила ей память... Часто в ее рассказах правда перепутывалась с вымыслом, перепутывались события, но одно только горело в них непреходящим светом — правда любви, самоотречения и подвига за униженных и обремененных.

И вот, когда она рассказывает что-то из событий, близких к нашему времени, чудится мне, как мрачный Александр поднимается и, сверкая своими пронизывающими глазами, говорит:

«Стой, женщина, останови лукавые уста!.. Кого хочешь обольстить речами сладкими? Зачем обманом хочешь напоить душу, дабы потом ввергнуть ее в пасть отчаяния?.. Зачем?..»

— Александр, не отчаивайся!.. Верь,— говорит дедушка, но Александр продолжает сверкать своими острыми глазами на Аннушку.

— Верь!.. Чему верить?.. Нет теперь защитников бедных и сирых, нет подвижников правды!.. То были древние люди,— и не посылает господь более к людям спасителей... Все померкло во мраке греха и суеты!.. Рабу презренному нет надежды, кроме петли Иуды!.. И вот конец ему, Агасферу треклятому... Отец! — вдруг с какой-то дикой мольбой, чудится мне, обращается он к моему деду.— Отец, скажи, укрепи: неужели не ложь говорит устами обольстительными этой женщины?.. Неужели и в наши дни господь может говорить через избранных — в защиту сирых и бедных, в поношение и обличение мира зла и неправды?.. Отец! Спаси — или... один конец ему, Агасферу треклятому!..

— Александр, не отчаивайся... Слушай эту женщину, и сердце твое откроется кроткой вере, и мир, и радость, и надежду обретет душа твоя...

— Говори, умница, рассказывай, рассказывай нам, слепым и темным! — говорит вдруг и костистый мужичок.— Верно это: быть правде, быть!.. Стучись, умница, стучись — и вскроется правда!..

Канун «великого праздника»

Когда мы с батюшкой и матушкой вернулись от дедушки, из села, в свой «старый дом», мы скоро почувствовали, что весь наш прежний жизненный обиход быстро стал изменяться. Батюшку нельзя было узнать: он стал веселее и бодрее, но вместе с тем серьезнее и озабоченнее. «Наш ополченец» совсем переселился в город и стал бывать у нас чуть не каждый день. Но для нас, детей, и он стал уже далеко не прежним. Прежних вечеров, с длинными благодушными и неторопливыми беседами и покуриванием «Жукова» в длинные чубуки, уже не повторялось больше,— не стало больше ни севастопольских рассказов, ни «Живописного обозрения», ни вырезывания коньков. Батюшка теперь уже не нянчил больных сестренок, ходя в халате и валенках вдоль зальца, а ополченец нас не занимал и не замечал, казалось. Но мы теперь не огорчались на это; напротив, мы стали смотреть на батюшку и ополченца отчасти с каким-то тайным страхом, отчасти с благоговением, тем более, вероятно, что нас постоянно гоняли теперь из зальца, куда стали приходить какие-то незнакомые, но важные лица, а батюшка с ополченцем теперь что-то долго по вечерам читали, писали, о чем-то говорили, часто шепотом, наглухо запершись в «кабинете». И вот этот маленький, жалкий, вечно холодный «кабинет» и наше зальце, с дырявыми и покосившимися полами, вдруг стали для нас вместилищем чего-то таинственного, но важного и серьезного. В особенности такое впечатление укрепилось в нас после того, как это зальце и батюшкин кабинет оклеили новыми обоями, перебрали в них пол и поправили рамы, поставили новые стулья и

обили новою материей старый наш диван. После этого «важные гости», как называла их Акулина, стали нас навещать еще чаще (это были большею частью помещики и чиновники, всегда только мужчины), а мы с матушкой еще укромнее забирались в спальню и детскую, и только благодаря детскому любопытству мы с сестренкой знакомились с происходившим в нашем зальце через замочные скважины или полуотворенные двери, а иногда батюшка, когда гости расходились, приходил к нам, веселый и оживленный, брал нас па колени, гладил ласково по головам и что-то весело передавал матушке. Матушка грустно улыбалась ему, и часто крестила его, и говорила:

— Ты, Саша, будь поосмотрительнее... Поосторожнее... Боюсь я.

— Да чего ты боишься? — спрашивал, улыбаясь, батюшка.

— Я не знаю... так... сердце болит. Вот зачем к тебе стал ходить этот рыжий попов сын?.. Дедушка говорил, нехороший он человек, и весь род их жадный да вероломный.

— Пустяки, голубушка!.. Это вы, женщины, всегда так... всего боитесь. И меня только смущаешь... А теперь не такое время: ты меня должна поддерживать... А ты вот заберешься в детскую, ну тебе и кажутся всякие страхи... Ты бы вот когда-нибудь к гостям вышла... Что ж, мы не люди, что ли?.. Вот другие — настоящие дамы! А у нас закуску ли подать, или чай — все Акулина.

— Ну, ты уж знаешь, что мы всегда были пе так, как другие,— отвечала матушка.

— Ну, отчего же так?.. Чем же мы хуже других?.. Ты вот увидишь... куда мы взлетим!

И батюшка весело и добродушно смеялся и подхватывал сестренку под мышки и поднимал к потолку. Нам и самим всем после того становилось весело. Только матушка грустно улыбалась на нас, а когда батюшка уходил, она становилась на колени перед образом и долго молилась... Тогда нам опять делалось чего-то боязно и жутко, и мы тихонько выбирались на кухню к Акулине.

Но и кухня и сама Акулина теперь тоже были не

прежние. С тех пор как матушка сшила Акулине новый сарафан и ярко-розовые рукава и ее заставили подавать гостям чай и закуски, она преисполнилась какой-то особой важности: начала говорить шепотом, с растяжкой и стала нам читать даже нравоучение, как нужно вести себя «господам», когда к ним «важные гости» приезжают. Мы весело смеялись на это, но тем не менее Акулина все больше укреплялась в своей новой роли. И это имело, как оказалось, свои основания и последствия, получившие и для нас особый интерес. Едва только Акулина почуяла, что с нашим «тятенькой» совершилось что-то «важное», как она в скором времени, на первом же базаре, поставила в известность (конечно, шепотом и под большим секретом) об этой «важности» всех своих деревенских родных и знакомых. Что и как она им передавала — это трудно сказать, но только случилось так, что в то время, когда все чаще и чаще стали наполнять наше зальце «важные гости», в кухню к Акулине, робко и крадучись, стали все чаще заходить «неважные гости», к великому нашему детскому удовольствию. И вот наша старая закопченная кухня, так похожая на деревенскую избу, вдруг оживилась, заговорила с нами ласковыми и нежными голосами, как будто к нам сюда, в город, переселилась дедушкина деревня, ездить в которую для нас было всегда таким великим удовольствием.

Но теперь эта «деревня», которая собиралась в кухне Акулины, была до того робкая и смирная, что нас самих невольно охватывала какая-то необъяснимая робость и, странно, постоянная боязнь, что вот не сегодня-завтра вдруг совершится над этою робкою деревней и над всеми нами, вместе с нею, что-то ужасное, как приговор над пойманными и внезапно уличенными в чем-то преступниками. «Неважные гости» нашей кривой Акулины все являлись больше то в виде богомолок, то каких-то странников и странниц. Завидев нас в кухне, они сначала приходили в недоумение и как будто боялись нас и начинали рассказывать о монастырях и других святых местах, но потом скоро осваивались, гладили нас по головам, угощали нас деревенскими лепешками и начинали шепотом разговаривать между собою, причем оказывалось, что та или другая были солдатки,

у которых «неправдой забрили» мужей или сыновей, то какие-то «беглые», которые из своей деревни «ушли уходом», потихоньку, «не спросясь», и теперь плакали, вздыхали и говорили, что не знают, «что с ними будет, если их взыщутся...». Все рассказы этих бедных и робких людей были какие-то томительные, тоскливые, медлительные и шепотливые... А потом мы стали замечать, как тот или другой из этих «неважных гостей» вдруг незаметно выскальзывал за дверь, в сени, или уходил на двор, за избу, и здесь долго шептался с Акулиной и что-то передавал ей то из сурового мешка, то из-за пазухи, потом, вместе с Акулиной, крестились, что-то внушительно кивали головой друг другу, и, как ничего не бывало, «гость» затем возвращался в кухню и начинал молча вздыхать и рассказывать о святых местах.

Но так было только вначале; скоро стали являться к Акулине гости другого разбора, уже не такие смиренные и робкие: то были большею частью высокие бородатые мужики в толстых нагольных шубах, в больших валенках, в огромных меховых шапках и кожаных голицах. Приезжали они всегда поздно к вечеру, никогда ничего с нами не говорили и в нашей кухне ночевать не оставались; поговорив о чем-то короткими фразами с Акулиной, они сейчас же уходили опять, но за ними тотчас же скрывалась и Акулина. Иногда при этом она нам говорила:

— Неравно, спаси бог, хватится мамынька, скажите: к землякам, мол, побежала, одною минутой обернется...

Вообще значение Акулины в наших глазах вырастало с каждым часом, и мы теперь уже не только не смеялись ей в глаза, когда она читала нам нравоучение, а начинали на нее смотреть с таким же почти страхом и почтением, как и на «важных гостей», сидевших в нашем зальце. А Акулина забирала все выше и выше: она уже секретно шепталась о каких-то важных делах не только с своими деревенскими гостями, но и с самим батюшкой. Мы стали замечать, что она часто вызывала батюшку в прихожую (говорить о своих «важных делах» в «чистых» комнатах она не решалась), передавала ему завернутые в платок какие-то бумаги и долго о чем-то ему внушительно сообщала. Батюшка, обыкновенно, над нею подсмеивался, но тем не менее бумаги брал и прочиты-

вал их вместе с ополченцем. А Акулина, покончив с батюшкой, тоже украдкой, где-нибудь в углу за печкой, передавала матушке какие-то сверточки, мешочки то с маслом, то с поросенком или курицей.

— Бери, бери! — уговаривала она матушку.— Это тебе деревенский гостинец.

— Да откуда у тебя, Акулина, нынче столько гостинцев этих появилось? — спрашивала матушка.

— А ты бери — не брезгуй... Дают, так и бери... Другие-то еще то ли берут... силком дерут!

Вот какое было это «доброе старое время», когда даже Акулина брала безгрешные приношения!

Но когда матушка спрашивала ее, о чем это она с батюшкой шепчется и какие у нее с ним дела повелись, Акулина, обыкновенно, отвечала:

— А вы, барыня, молитесь знай укромно... Не нашей сестры это дело... Большие это дела!.. Куда нам их знать!

А в действительности Акулина знала, как нам казалось, очень многое и куда больше, чем знала матушка. Однажды вечером вошла Акулина к матушке в спальню и, по обыкновению, стала ей что-то шептать.

— Да откуда ты все это знаешь, Акулина? — спрашивала матушка.

— Э, сударыня, как свои дела не знать!.. Кровные свои ведь эти дела-то. Уж вы меня, Настасья Ивановна, пустите завтречка... Я и печку чем свет вам истоплю... Мне ведь только за заставу проводить их, сердечных, да попечаловаться... Хошь и далекие они нам, а все как будто свои, близкие... Жалко...— И Акулина кончиком головного платка чуть приметно утирала слезы.

— Что ж, ступай.

— В кандалах, слышно, гонят, в железных цепях.

— Спаси их господи! — перекрестилась матушка.

Мы с сестренкой давно уже насторожили все свое внимание, но плохо понимали, в чем дело, и между тем у нас отчего-то уже щемило сердце.

Странное впечатление вообще производило то время на нашу детскую душу: совершавшиеся большие события стояли, конечно, выше нашего понимания, а между тем какая-то жуткая напряженность и таинственность, сказывавшиеся в самых даже простых явлениях, нас

окружавших, мучительно трогали наше сердце и заставляли его постоянно быть настороже, чутко ловить каждый неясный звук и жизненный отклик.

— Да не напечь ли бы нам, сударыня,— продолжала опять шепотом Акулина,— пирожков, так, сочешков бы с кашей?.. Как бы хорошо-то было!.. Что говорить, дорога дальняя... Погонят их, слышно, до самой китайской земли... А у нас и мука-то есть залишняя, что даве из деревни-то в гостинец прислали...

— Ну что ж, это хорошо будет, Акулина,— вздохнув, сказала матушка.— Господи, сколько греха, сколько греха в жизни! — мечтательно воскликнула она и, по обыкновению, долго-долго задумчиво смотрела на образ.

Все это еще больше затрагивало наше детское воображение, но ни от Акулины, ни от матушки мы не получили никаких разъяснений. Поэтому все следующее утро мы с сестрой тщательно следили за каждым шагом Акулины и почти не выходили из кухни, смотря, как она делала загадочные пироги и сочни. А потом, когда она, собрав их в мешок, пошла куда-то, мы незаметно скользнули за нею. Она подошла к большой улице, к той общеизвестной в то время «Владимирке», которая проходила через наш город. Она долго, стоя посередине улицы и держа под рукой мешок, всматривалась в даль и ждала чего-то. И вот скоро мы увидали большую толпу, послышался лязг цепей, чьи-то завывания и плач... Мы не могли осилить долго назревавших уже раньше и теперь сразу нахлынувших впечатлений, нам стало так чего-то страшно, что, схватившись за руки, мы, дрожа, бросились бежать, как когда-то бежали от «темницы» Фимушки, услыхав ее полубезумные выкрики. А это был этап переселяемых по власти рабовладельца в Сибирь взбунтовавшихся крестьян, но уже последний этап, последний акт великой несправедливости того времени...

Но это мы уже узнали после, а пока... пока наше детское сердце жило тоскливыми впечатлениями какой-то неотвратимой двойственности, в которой мы вместе с матушкой бились, как птицы в клетке. Там, у батюшки,— «важные гости», возбуждавшие и в матушке, и в нас, да, пожалуй, и в самом батюшке

какие-то неясные страхи, неопределенную боязнь за что-то и неуверенность; здесь, в кухне Акулины,— другие «неважные гости», приносившие с собой к нам что-то дорогое, заветное, которым они хотели бы искренно и сердечно поделиться с нами, излить все это, накопившееся в их душе, и в то же время все они говорили только намеками, шепотом, по углам и боязливо, дрожа за каждое слово, за каждый лишний вздох... Ощущение этой двойственности в моем детстве было так велико, что оно наложило на мою душу неизгладимую печать на всю жизнь, и продолжала биться эта душа долгие годы все тою же птицей в клетке, ища у жизни выхода из жестоких тисков этой двойственности, которая терзает нашу бедную русскую жизнь... Когда же наконец заря истинной свободы снимет с нас ее позорные путы?..

Между тем время шло быстро, или так казалось нам, потому что мы все чего-то ждали, хотя наша жизнь и теперь уже далеко не была похожа на прежнюю. «Важные гости» прибывали в наше зальце все больше и больше, все были важнее и важнее, вместе с этим улучшалось и наше материальное положение; мы чувствовали, что значение батюшки все возрастало, говорили, что у него «талант», что никто так хорошо не умеет писать бумаг, как он, что «он теперь — птица», как сказал матушке о нем рыжий попов сын, служивший вместе с батюшкой, и при этом облизнул языком губы, как облизывается жадная и завистливая собака при виде жирного куска.

С возрастанием «важных гостей» в нашем зальце возрастали в свою очередь и «неважные гости» Акулины, и, казалось, вместе с значением батюшки росло и значение Акулины. Теперь она уже не довольствовалась ролью только посредницы, она начала прямо «доводить» своих «неважных гостей» до батюшки и ополченца, и они уже теперь сами осмеливались переступать порог того самого зальца, которое посещали такие «важные гости». Мы с удивлением, а матушка с обычною тайною боязнью следили за такими необыкновенными в той нашей жизни событиями и напряженно

ожидали, чем все это кончится, когда однажды вечером вдруг вместе с новыми «неважными гостями» в нашу кухню явились наш «маленький дедушка» и Фимушка. Это было в конце ноября, в самую морозную зиму. Приехали они все покрытые снегом, заиндевелые, до того закутанные в нагольные бараньи шубы и увязанные платками, что сразу трудно было дедушку отличить от Фимушки, несмотря даже на его меховую ушастую шапку. Дедушка, обыкновенно, навещал нас очень редко (село его отстояло от города больше чем на сто верст), а потому такое внезапное появление его было для нас большою неожиданностью, да притом вместе с Фимушкой и еще каким-то, тоже маленьким и худеньким, шестипалым мужичком, который назвался их извозчиком. Батюшка с матушкой удивлялись, спрашивали дедушку, какими судьбами надумал он к нам приехать, не случилось ли чего-нибудь, но дедушка только шутил, смеялся, ничего особенного не говорил, а все больше забавлялся с нами, ребятами.

— Вот и мы к вам, Коляка, забрались! Думаешь, уж мы и не доедем до вас!.. А мы и тут, как снег на голову, с Фимушкой!.. Хе-хе-хе!.. Ну как, Коляка, живете?

— Хорошо,— говорим,— весело. У нас теперь все гости...

— Слышали, слышали...

И мы тотчас же поставили дедушку в известность о всех превращениях нашей жизни, даже до таких подробностей, что батюшка, например, купил себе черную шляпу цилиндр, а матушке подарил «дамскую шляпку».

Дедушка от всего приходил в изумление, в то же время покрякивал и часто понюхивал из своей берестяной табакерки. Мы заметили, что и дедушка был в озабоченном и деловитом настроении, как и все, хотя и шутил с нами, казалось, по-прежнему. Несмотря на просьбы батюшки ночевать в «кабинете», дедушка настойчиво отказался и поместился в кухне. «Ты меня, Саша, оставь,— говорил он отцу,— лучше мне здесь, среди своих... А там у тебя теперь все такое важное... И не уснуть мне!.. А вот днем-то я из-за двери послушаю тихомолком да посмотрю на вас». Батюшка

обижался, хотел дедушку во что бы то ни стало представить своим гостям, но дедушка ужасно смущался, присаживался только на минуту где-нибудь в уголке зальца и затем незаметно скрывался опять за дверь. Но из-за двери он, казалось, прислушивался внимательно и чутко ко всему, что происходило в зальце среди «важных гостей». А когда батюшка, веселый и довольный, после ухода гостей говорил об успехе «их дела» и своих личных преуспеяниях, дедушка, по обыкновению, только покрякивал подозрительно и говорил: «Ну, ну, дай бог, дай бог!.. Пора!..» А днем он все сидел либо у матушки, либо в кухне и о чем-то говорил с «неважными гостями»; я один раз даже застал его, когда он потихоньку, как мне показалось, что-то писал за печкой, надев большие медные очки, крупным полууставным почерком, а около него сидел привезший его шестипалый мужичок и что-то, кажется, диктовал ему. Но когда пришел со службы батюшка, дедушка наскоро все бумаги спрятал и ничего ему не сказал.

Прошло несколько дней, и мы стали замечать, что дедушка становился озабоченнее, даже как-то смотрел на все подозрительнее и шутить стал меньше; говорил с нами мало, разве только зайдет к матушке, которая очень обрадовалась Фимушке и вела с ней длинные разговоры на любимую свою тему — о «святых женах-мученицах». Наконец, как-то вечером дедушка сказал, что уже пора им и ехать и что завтра он будет собираться, как неожиданно произошло важное обстоятельство. Наутро батюшка вернулся со службы очень рано, весь сияющий, веселый, и сообщил, что его назначили на очень важное место и что вместе с тем из Петербурга пришли «крайне серьезные вести», что теперь «их дело» окончательно восторжествует. Батюшка был рад несказанно: целовал матушку, нас и даже дедушку. Затем сказал, что к нему завтра соберутся все «важные гости», что Акулине одной не справиться и что надо подыскать ей на подмогу повара, и затем уехал делать закупки. Дедушку он окончательно отговорил уезжать, пока он не отпразднует этот «дорогой день», как он называл. Дедушка остался.

Мы, ребята, ожидали завтрашний день с каким-то

трепетом и волнением, и, что всего было удивительнее, с не меньшим волнением ожидал его и дедушка. Про матушку и говорить нечего: она с Фимушкой весь вечер этот промолилась. Фимушка даже молитву особую придумала — «об укреплении в духе болярина Александра».

На другой день у нас с утра в доме начались хлопоты. На помощь Акулине пришел какой-то безусый поваренок, который «всячески помыкал ею», как она говорила, «а и всего-то в нем звания, что белый колпак надел!..».

Гости, по-провинциальному, стали собираться рано, «к закуске». Всех раньше приехал ополченец. Он был теперь такой же сияющий и веселый, как и батюшка; вспомнил наконец и о нас, забрался к нам на матушкину половину, поздравил матушку и стал шутить с нами и даже с дедушкой. Он был так беззаветно весел, что даже дедушкины озабоченность и подозрительность пропали было. Гости собрались уже почти все, как вдруг приехал «самый важный гость»: такой чести для отца никто не мог ожидать. Наш праздник принимал характер важного события. Батюшка, взволнованный, прибежал на нашу половину и приказал нам надеть самое лучшее платье. Затем нас с сестрой (матушка считалась по-прежнему больной и выходить отказывалась) повели в зальце и представили «самому важному гостю», который подставил нам для поцелуя тщательно выбритую и обсыпанную душистою пудрой щеку. Был представлен, почти насильно, батюшкой и дедушка, который совсем смутился от этой чести и не знал, куда девать себя. А между тем я заметил, что дедушку охватило такое же волнение, как это было в день нашего отъезда из деревни. Он стоял в самом углу, у порога, как будто ничего не видя, смотрел на гостей, вздрагивал и то и дело искал карман с табакеркой и никак не мог найти. Среди гостей уже шли шумные разговоры. Но вот принесли вина и закуски. Стали выпивать, и начались поздравления. Дедушка весь так и впился глазами, полными страха, в толстого важного гостя, с крестом на груди, и высокого рыжего попова сына, когда они подошли к отцу с поздравлениями. Я стоял рядом с дедушкой, и он ловил все мою руку,

как будто хотел опереться. Я взглядывал на него и не понимал, что с ним делается, только чувствовал, как рука его дрожала, как будто его била лихорадка.

Между тем беседа среди гостей стала оживленнее, веселее. Сам важный гость стал шутить и предметом шутки выбрал разряженную нашу Акулину.

— Ну, кривая,— говорил он,— хочешь быть вольной? А?.. Чай, спишь и видишь, поди? А?.. Хе-хе-хе!.. Только бы, мол, дождаться, а там бы я показала хвост-то, даром что кривая! А?.. Так, что ли?

— Ась? Чего-то я в толк не возьму, вашескородие,— говорила, кланяясь в пояс, Акулина.— Совсем с пахлей сбилась с хлопотами-то, да вот поваренок меня с ума-понятия совсем сбил...

— А ты зубы-то, кривая, не заговаривай... Говори прямо: как только объявят волю, так сейчас и в бега от хозяев, в деревню? А?..

— Да с чего ж мне такды бежать-то, сударь, коли вольная буду? — выпалила Акулина и даже осмелилась улыбнуться всем гостям.

— Ишь хитрая!.. Крива, крива, а в оба глаза видит! — смеялся важный гость.

А дедушку все трясла лихорадка. Вот он зачем-то вышел. Потом опять появился в дверях в то время, как подали «донскую шипучку» и все снова стали поздравлять батюшку, жали ему руки, обнимались друг с другом и с чем-то тоже поздравлялись. Вдруг важный гость расчувствовался до того, что обнял батюшку и троекратно облобызал его. Увидев это, рыжий попов сын тоже обнял батюшку и потом бросился обнимать и целовать дедушку. Дедушка затрепетал весь, как осиновый лист, и его хватил невыразимый страх. Но через минуту он вдруг выпрямился, его влажные глазки засверкали, он сделал два шага к батюшке и громким, слегка дрожащим голосом, каким он читал в церкви ектении, подняв правую руку, вдруг сказал:

— Александр!.. бога помни... Помни... бо-ога-а!

Все сразу смолкли и стали смотреть в изумлении на дедушку. Батюшка был смущен и не знал, что сказать. Дедушка смотрел все на него, дрожал и силился что-то сказать, но его губы только беззвучно шевелились.

И вдруг он заплакал, опустив голову.

— Саша,— заговорил он,— мы бедные... простые... У нас в роду этого... не было... сребреников... али мздоимства... Помни Иуду... Вспомни, Саша, в избе родился... Ах, долго ли до греха! Соблазн-то какой, соблазн-то!.. Почести барские, яства, приношения... Закупят, закупят!

— Да что вы, тятенька, что с вами?.. Какой вы чудак,— заговорил батюшка.— Вот как вы засиделись в деревне-то, вам все в страх да в новинку... Неужели, думаете вы, мы не знаем себя?

Батюшка весело засмеялся, засмеялись за ним и гости, как вдруг из-за двери показалась Фимушка и, помахивая вперед себя подожком, заговорила:

— Дьякон, ты где?.. Слышно, говоришь?.. Учи сына-то, учи... Ты — отец; на тебе спросится там... А ты, Лександра, молись... чтобы духом укрепиться!.. Молись, голубь!.. Ну, прощайте, добрые мои!.. Пора нам... ждут нас.

И Фимушка с дедушкой вышли.

Потрясенный всею этою странною сценой, я чуть не разрыдался и бросился за дедушкой: мне казалось, что его кто-то больно и горько чем-то обидел. Увидав его в комнате матушки утирающим слезы, я бросился к нему на грудь и разразился рыданиями, совершенно непонятными и неожиданными.

Гости скоро разъехались. Батюшка ничего не упоминал об этой сцене, но был сдержан и молчалив с дедушкой. Дедушка тоже был серьезен и молчал. А к вечеру он с Фимушкой уехал.

Все это долго и глубоко волновало мою ребячью душу; я часто видел во сне своего «маленького дедушку», грозно возглашающего что-то, с поднятою кверху, дрожащею рукой, и мне становилось и страшно чего-то и больно за что-то. Но я совсем не понимал значения всего этого, и только уже после, из рассказов отца и матушки, я узнал, что дедушка в этот раз приезжал к нам неспроста: его послала с Фимушкой, в сопровождении шестипалого мужичка, наша родная деревня, так как до нее дошли слухи, что «Лександра запродался господам»... А еще после я узнал о своем «маленьком дедушке» нечто более поразительное.

Спустя месяц он вдруг приехал к нам опять совсем

неожиданно, ранним утром. Когда я к обеду вернулся из училища, я заметил какое-то особенно напряженное настроение у нас. Отец и матушка вместе с дедушкой сидели, запершись в кабинете, и о чем-то шептались. Я долго, волнуясь любопытством и предчувствием чего-то необычайного, ходил около двери, надеясь услыхать что-нибудь хотя через щель. Наконец вышла матушка, вся в слезах, притворив за собою тихо дверь. Я сейчас же пристал к ней с вопросами, еще более встревоженный ее видом.

— Ничего... Так... Дедушку обидели,— проговорила она, всхлипывая.

— Кто же это его?

— Сам владыка...

— Сам вла-ады-ыка? — переспросил я почти с ужасом.

— Да, за напраслину... Наговорили на дедушку злые люди... Ты, Коленька, вырастешь — паче всего остерегайся злых людей... А ты не стой тут, не беспокой дедушку... Ступай к себе...

Я ушел и увидал дедушку, когда он уже садился в кибитку, собираясь уезжать обратно. Глаза его были красны и слезились, и он постоянно вытирал их кубовым платком. Был он теперь как-то особенно ласков и долго целовал нас, своих внучат.

Вскоре я узнал (вероятно, из рассказа самой матушки), что дедушка был экстренно вызван в город самим владыкой, и, когда он явился к нему, владыка вне себя от гнева велел встать ему перед собой на колени и, топая ногами, всячески ругал и поносил его за «преступное поведение», потом «наложил на него епитимию», приказав класть у него в келье перед образом целый час земные поклоны. В конце концов архиерей отдал приказ сослать деда в монастырь «на покаяние». Плохо еще понимал я суть того, в чем именно он провинился, но мое воображение долго неотступно преследовал образ моего старого доброго «маленького дедушки», поставленного, как школьник, на колени.

Так дорого обошлось дедушке его тайное «ходачество» за деревенский люд. «Несдобровал-таки»,— как предрекала ему строгая бабка.

Не знаю, спустя сколько времени после того, как уехал от нас дедушка, батюшка однажды вошел к нам в детскую, грустный, озабоченный и усталый. Все это время он с ополченцем работал сильно; часто просиживали они в нашем кабинетике целые ночи. Матушка с беспокойством вглядывалась в его лицо, мы тоже.

— Ну, Настя,— сказал батюшка,— завтра... важный день... бог знает что может быть... и для нас и вообще для дела... Страх меня берет...

— Все бог,— сказала матушка.— Зачем унывать?

— Я прежде не думал,— продолжал батюшка,— а теперь вижу... много врагов... Вот и тогда остались недовольны, что папенька так... позволил себе, что зачем вообще около нас простой народ... ну, и прочее... Можно все потерять...

— А ты, Саша, укрепись духом... Вспомни, что папенька говорил.

— Да уж мы решили говорить до конца... всю правду... Будь что будет! — сказал батюшка, поцеловал нас и ушел.

На другое утро батюшка, уже одетый в полную парадную форму, вошел опять к нам и велел меня одеть, сказав, что он возьмет меня с собою. «Пусть это для него будет на память». Когда я оделся, матушка перекрестила нас обоих и мы вышли. Батюшка шел быстро; я едва поспевал за ним. Мы подошли к большому дому, около которого стояло уже много экипажей, но еще больше их подъезжало. В дверях стоял швейцар с булавой и толпились лакеи: из просторных сеней кверху шла широкая лестница, теперь покрытая зеленым ковром. Мы поднялись вверх: большая зала была переполнена народом. Батюшка посадил меня в уголок около двери, и я в изумлении смотрел, как мимо меня проходили дворяне во фраках, в гусарских венгерках, в военных и дворянских мундирах. Вот пришел ополченец; я заметил, что он был теперь в белых перчатках; он потрепал меня ласково по щеке, улыбнулся как-то таинственно батюшке и прошел в глубь залы. Наконец посетители мало-помалу расселись по стульям. Разговоры стихли. Началось какое-то чтение. Я узнал голос нашего ополченца. Чем дальше он читал, те в зале все стихало больше и больше;

наконец наступила мертвая тишина. Батюшка взял меня за руку; я почувствовал, что его рука была холодна и дрожала. Он, облокотившись о косяк двери, не спуская глаз, смотрел на ополченца, читавшего впереди на возвышении, покрытом красным сукном, около стола. Батюшка был бледен. Я тревожно спросил его, о чем это читают. Он тихо сжал мою руку и прошептал мне: «Слушай, это твой отец писал»... Но сколько я ни напрягал внимания, я плохо слышал и понимал, только мне представлялось почему-то, что ополченец теперь был именно таким, как я привык его видеть на наших прежних семейных праздниках, и я был уверен, что он и говорил то же, что тогда, и теми же словами. Я еще не знал тогда и того, что мой бедный отец не мог от своего лица читать свою записку, так как не был дворянином.

Но вот скоро мертвую тишину начал сменять какой-то невнятный шум в разных местах залы: чтение начали прерывать какие-то возгласы, потом иногда вырывалось шиканье, наконец стали раздаваться громкие, угрожающие окрики, двиганье и стучанье стульями. Потом поднялся невообразимый шум, все повскакали с мест. Мне показалось, что одни, схватившись за спинки стульев, наступали на других. Я чувствовал, что руки отца дрожали еще сильнее; он был еще бледнее и как-то совсем растерялся. Ополченца уже не было видно. Мимо нас то входили, то выходили взволнованные лица, большею частью красные, потные и негодующие, громко, размахивая руками, что-то говорившие. Некоторые, как мне казалось, взглядывали на нас с недоверием и презрением. Вдруг кто-то, проходя мимо нас, громко сказал: «Подлец!» — и быстро прошел мимо. Отец тяжело опустился на стул, но тотчас же поднялся, как будто не зная, на что решиться. Он тщетно, кажется, искал глазами ополченца, может быть, думая от него найти утешение и успокоение. В это время вдруг подошел к нам с широкою, заискивающею улыбкой рыжий попов сын и, пожимая руку отцу, стал поздравлять его с чем-то.

Я заметил, что батюшка теперь весь затрепетал точно так же, как дедушка, когда попал в собрание «важных гостей», и его охватил такой страх, что,

взяв меня опять за руку, он быстро потащил меня вон из залы по лестнице.

. . . .

Прошли долгие дни какого-то томительного и напряженного ожидания; «важные гости» нашего зальца мало-помалу сокращались, а «неважные гости» тоже почему-то вдруг исчезли. И отец, и ополченец, и мы, и все кругом, как мне казалось, чего-то ждали. Мне все представлялось еще, что где-то, в какой-то огромной зале идет шумная и напряженная борьба, откуда-то глухо несутся ее отклики, и все ждут, с боязнью и страхом, когда и чем это кончится.

«Великий праздник» наступил.

. . . .

Но когда я уже начал не только смутно чувствовать, но и понимать все, что совершилось вокруг меня,— в жизни и моей, и батюшки с матушкой, и «маленького дедушки», и всего нашего «старого дома», и всей Фимушкиной деревни, и вместе с нами многих-многих других,— наступил глубокий кризис.

Потанин вертоград

Нигде, кажется, нет стольких «мечтателей», как среди нас, русских. Это явление в высокой степени знаменательное. Мечта — что бы ни говорили против нее люди практические — ведь это поэзия жизни, заглушенный порыв к идеалу, страстное желание взмахнуть духовными крыльями, чтобы хотя на мгновение подняться над скорбной и серой юдолью жизни. И никогда, кажется, не плодилось у нас столько этих «мечтателей», как в годы, непосредственно предшествовавшие и следовавшие за «освобождением». Предо мною прошло много таких фигур, которые оставили на душе глубокий след.

Освободительные идеи уже носились в воздухе и проникали все глубже и глубже в самые глухие закоулки нашей родины — и вот из этих глухих «недр» вдруг потянулись, как из пещер на мерцающий вдали свет, какие-то странные личности, удивительные, приводившие всех в изумление, а иногда даже и в страх, о существовании которых никто, кажется, не мог даже и подозревать. Эти странные личности иногда появлялись и в зальце моего отца, поражая наше детское воображение. Личности были действительно странные: помещики — лохматые, бородатые, в нагольных или суконных полушубках и личных сапогах или валенках, но в то же время в очках или с какими-то особыми перстнями «с сувенирами» на грубых, толстых, загорелых пальцах, курившие из каких-то особых «турецких» трубок с причудливыми чубуками; говорили они большею частью громко и грубовато, хотя нередко вставляли французские фразы, и очень много выпива-

ли водки. Но зато над ними все добродушно подсмеивались и говорили, что это самый милейший и добрейший народ, за исключением, впрочем, истинных «бар», которые ими брезговали и посматривали на них очень подозрительно, встречая их теперь, к своему изумлению, на дворянских собраниях. Все они приезжали в город, обыкновенно, в простых крестьянских пошевнях или телегах, всегда рядом с «братом-мужиком», который, однако, непременно оказывался каким-нибудь особенным, «феноменальным мужиком»; этого «феноменального» брата-мужика они почти насильно тащили с собой в комнаты, к гостям и в гости, поили водкой и рассказывали присутствующим про его какие-нибудь необыкновенные дарования: то он оказывался замечательным оратором и знатоком народных песен и мотивов, то изобретателем удивительных машин, но настоящим «министром» по уму...

— Вот оно где сидит — это будущее-то!.. Вот здесь-с!.. Дайте только нам с ним ход!.. Уж поверьте нам, мы с ним из одной чашки одной ложкой хлебаем!..

И увлеченный патрон, похлопывая по плечу своего протеже, машет возбужденно руками, ерошит на голове волосы и особенно выразительно сверкает на всех глазами, в которых так ясно светится какая-то неизреченная «мечта»...

Потом — какие-то удивительные добровольцы из духовного звания, добровольцы-расстриги, чрезвычайно неловко чувствовавшие себя в мешковатых, купленных наскоро и по случаю сюртуках и брюках, не знавшие, куда девать свои руки и ноги, и стыдившиеся своих подстриженных затылков и бритых бород. Это они вдруг расстались с своими «пещерами» и, гонимые какой-то изумительной «мечтой», выношенной в длинные вечера в своих берлогах, двинулись в города и столицы «приложить свои силы к делу... на светском поприще».

А вот какой-то толстенький, низенький, с проседью человек, мещанин, надевший барский сюртук, но забывший переменить сапоги-кубышки, подбривающий по-прежнему, как рекрут, затылок и носящий оловянную серьгу в ухе. Это — бывшая правая рука знаме-

нитого откупщика, вдруг взбунтовавшийся какой-то дикой мечтой, и теперь вот чего-то волнуется, бегает, суетится, плюется, на чем свет ругает и проклинает и своего бывшего «хозяина» и свою собственную «продажную душу», не дает никому покоя своим покаянным порывом и доносами на всевозможные откупные фортели и плутни и какими-то невероятными реформаторскими проектами, которые он сочиняет сотнями, просиживая напролет целые ночи в грязных номерах гостиниц. А вот еще — высокий, белобрысый, длинный и сухой, как веха, юный послушник, с висящими косицами желтыми волосами, в шумящем коленкоровом полукафтане. Он постоянно всех просит шепотом на пару слов, «по секретному делу», и затем, уведя собеседника куда-нибудь за печку, целый час мучит его какими-то странными, маловразумительными сообщениями, вытаскивая в то же время таинственно из-за пазухи целый ворох стихотворных упражнений «обличительного направления»...

Было тут же немало и крестьян, но так как все они в то время принадлежали к какому-то особому «секретному» разряду людей, с которыми разговаривали не иначе как в темных передних, или сенях, или прямо на кухне, и то какими-то полунамеками, то вначале мы, дети, имели о них очень смутное представление.

Намечались уже в то время личности и несколько другого характера, так сказать «обратного течения» — не «из недр», а «в недра». Я помню хорошо одного мелкого чиновника, уже не молодого, лет тридцати, который до того заинтересовался «начавшимся делом», что чуть не каждый день приходил к нам, говорил с отцом, прислушивался ко всему, что только имело какое-нибудь отношение к делу, но сам не высказывался, а между тем все более становилось заметно, что он что-то носил в душе, что-то в нем назревало. Это был раньше просто скромный, задумчивый, одинокий человек, а теперь вдруг он сделался оживленным, нервным; он чего-то ждал напряженно, со страхом, но вместе и с надеждой на что-то такое, что должно было его спасти чуть не от смерти. Он был словно заключенный, считавший лихорадочно минуты своего

освобождения, о котором до него долетела смутная молва. И действительно, когда «вопрос» был уже окончательно решен, он пришел к нам и торжественно объявил отцу, что «он теперь свободен»! И в доказательство прибавил, что уже продал довольно удачно «всю форменную свою пару». Оказалось, что Буднев (так его звали) подал в отставку и заявил его преосвященству о своем смиренном желании «принять иноческий чин». Это было так неожиданно, что даже отец был изумлен. И только впоследствии оказалось, что тайною мечтою Буднева было поступить в миссионеры... Но почему он не мог это все сделать раньше, почему все это было приурочено им к освобождению крестьян, к которому он мог иметь только очень отдаленное отношение,— это, как и многое другое, касавшееся всех этих странных личностей, составляло загадку, еще раз доказывавшую только, что 19 февраля было у нас явлением далеко не сословного только характера: оно являлось преддверием великого освобождения личности вообще, как материального, так и духовного. Чтобы хотя несколько понять это и почувствовать, достаточно было в то время взглянуть на Буднева, когда, после нескольких месяцев «искуса» в каком-то монастыре, он явился к нам, вместо знакомого, шаблонного вицмундира, в новеньком черном подряснике, подпоясанном широким кожаным поясом, с отпущенной бородкой и уже длинными волосами; глаза его вдохновенно горели, все в нем было возвышенно и торжественно. Да, действительно, «он, наконец, был свободен!..». И в сияющих взорах этого чудака светилась та же таинственная всепокоряющая «мечта», которая раскрывала пред ним какие-то неизреченные перспективы.

Все это были, конечно, «чудаки», личности несколько исключительные, но в этих оригинальных «уродцах», выброшенных со дна взбудораженной общественной и народной стихии, может быть, невидимо прозябали те ростки, которые после сказались в явлениях изумительных и большого значения.

Но эти «чудаки» были и в глазах своих собственных и наших «люди серьезные», а потому исклю-

чительно имели дело с моим отцом и всегда наполняли только наше зальце. Но у нас, на детской половине, у матушки, хотя и не призванной к «серьезной, деловой жизни», были, однако, свои «мечтатели», свои чудаки и оригиналы, заявлявшие какие-то свои права на жизнь, и, конечно, это были прежде всего женщины. И в то время когда для нас, детей, серьезные люди батюшкиной половины были малопонятны и являлись только чудаками и оригиналами,— мечтатели, ютившиеся скромно и робко около матушки, напротив. всегда как-то очень скоро становились для нас своими людьми, «живыми», к которым мы сразу привязывались своей детской душой.

Бывало, вдруг вынырнет на свет божий из каких-то неведомых ни для кого палестин такая «душа» (и, вероятнее всего, еще крепостная), заявится к нам, всегда сначала по каким-то «делам», а там, глядишь, и живет у нас неделю и другую: нас спать укладывает, сказки рассказывает, грудного ребенка по целым часам нянчит, с матушкой по ночам какие-то таинственные беседы ведет, словно она с нами век прожила, вы́ходила нас и вынянчила. Живет-живет так, бережно храня на сердце что-то дорогое и заветное, и вдруг снова нырнет, иной раз навсегда и бесследно, и исчезнет в необозримой глуши наших палестин. А иной раз... иной раз такая бродячая душа неожиданно соединит свои судьбы с твоими невидимыми и непостижимыми узами...

— Ну, вот и опять я прилетела к вам, милые птенчики! Прилетела опять, надоедница!

Эти слова, обыкновенно, произносились таким ясным, звонким, птичьим тоненьким голоском, что он, мне кажется, еще сейчас звенит около меня.

Мы, малые птенцы, заслышав этот голос, восторженно поднимали кверху руки и, как испуганные цыплята, еще не поздоровавшись с прилетевшей гостьей, летели стремглав в детскую к маме, в кабинет к отцу.

— Папа! мама!.. Прилетела! Прилетела!..

— Кто?

— Потаня! Да... Опять прилетела!.. Потаня!..

— А! Это опять она... Не сидится ей дома! Вот достанется ей на пряники... за эти шатанья,— притворно-сердито ворчит отец и с недовольным видом нервного, раздраженного человека спускает на нос очки и продолжает прерванное чтение.

Но мы мало обращаем внимания на слова отца и на тон, с которым они сказаны: мы чувствуем, что нам почему-то вдруг стало ужасно весело, смешно, радостно... Пробежав обратно детскую, где мама нервно возилась с больным ребенком, мы уже неслись снова навстречу прилетевшей гостье.

А «прилетевшая» гостья, по обыкновению, прежде чем войти в горницы, заходила на кухню и здесь, развязав мешок в уголке, укромно, тщательно переодевалась из дорожного в визитный костюм. Это одевание почему-то имело для нас особый, таинственный смысл. Мы останавливались молча за дверью и терпеливо ждали, когда кончится таинственный обряд. Наконец дверь тихо скрипела — и на пороге появлялась Потаня...

Это — такое маленькое, такое жалкое существо, о котором я никогда не мог вспоминать без чувства какого-то особого грустного и тихого умиления. Она стала ходить к нам еще задолго до того, как странные чудаки-мечтатели начали заполнять наше маленькое зальце. Потаня была уродец; с двумя горбами — на спине и груди, с маленькими ручками и ножками, она была до того низенького роста, что казалась даже ниже нас, десятилетних детей; несмотря на то что голова ее была несоразмерно велика, что на подбородке у нее сидела большая волосатая бородавка, что нос у нее был очень длинный и что ей было не меньше тридцати лет, лицо ее было такое улыбающееся, детски наивное, а быстрые глазки так живо бегали под густыми ресницами, что нам казалось всегда, что она вот-вот пустится прыгать и играть с нами в жмурки или в лошадки. И это было бы, вероятно, так, если б, по нашему мнению, не мешал ее парадный наряд. В этом парадном наряде она желала быть такой солидной, чопорной, степенной и... даже надменной!.. Да и как же

могло быть иначе? Ведь это был ее генеральский мундир, ее драгоценность, ее родовое наследство, которое она хранила пуще глаза, никогда не расставалась с ним, постоянно носила бережно в мешочке и надевала только в самых важных случаях жизни. Такими важными случаями были, между прочим, тайные посещения ею нашего маленького городка. Я даже не могу сказать наверное, знал ли кто-нибудь в ее деревне и господской дворне, к которой она была приписана, о существовании ее парадного наряда. И что это был за изумительный наряд! В особенности для нас он был необычаен. Вы легко поймете наш восторг и изумление, когда после таинственного переодевания Потаня вдруг являлась перед нами в ярком пунцовом сарафане, спереди которого тянулся бесконечный ряд блестящих пуговок среди петель из золотого шнурка; подол этого удивительного сарафана был оторочен широчайшей каймой из позумента и целой прихотливой гирляндой цветов и листьев, вышитых шелком. Затем на Потане была надета обыкновенная душегрейка палевого цвета, значительно полинявшая, отороченная также позументом, а по воротнику и по бортам, кроме того, узкой меховой опушкой, местами, впрочем, повылезшей, и только на голове Потани был скромный платочек, из-под которого вилась чуть не до подола ее черная густая коса. Если к этому прибавить несколько колец и перстней, которые появлялись на ее тонких пальцах только в то время, когда она одевалась в свой знаменитый наряд, и, наконец, неизбежный чистый белый платочек, который она держала в руках и в который всегда было завернуто «что-то важное», то мы легко можем представить Потаню в тот момент, когда она являлась неожиданно из далекой деревни по каким-то «важным делам» в наш город. Очевидно, важные дела требовали, по ее мнению, и важного костюма.

И вот в таком-то торжественном виде наша маленькая Потаня, как-то особенно приседая и порхая, степенно входила в наше зальце, в то же время весело и любовно здороваясь с нами своими быстрыми, бегающими глазками.

— Ну, как живы, милые птенчики? Что папенька,

что маменька? Все грустят? Ничего, потерпим господу... Будет весело, будет, милые птенчики!..— быстро звенела она своим птичьим голоском.

И затем, чинно протянув батюшке, с низкими поклонами, кончики своих маленьких тонких пальчиков, украшенных перстнями, и едва прикоснувшись ими к руке отца, она степенно садилась перед ним на краешек стула, едва дотрагиваясь до полу маленькими ножками.

— Ну-ну! опять прилетела! — говорил, подсмеиваясь и посматривая на нее, батюшка.— А зачем?

— Зачем, сударь?.. А все за тем же... Мы все за тем же...

И маленькая Потаня, не без тайной хитрости, както двусмысленно поигрывая глазками, смотрит в упор на батюшку.

— Ну, смотри! — грозил ей батюшка.— Ведь вы все бредите там? А о чем?.. Вздор все... все пустая болтовня... Ничего не будет... Зададут вот вам всем: чик! чик!..

— Будто уж, сударь, ничего еще об ином о чем неизвестно? — недоверчиво спрашивает Потаня и стыдливо опускает глаза при таинственных словах: «Чик! чик!»

— Ни о чем еще неизвестно... Ну, о чем? О чем тебе нужно? Ничего нет, ровно ничего нет... и не будет!.. Что вы там, с ума сошли все? — сердито ворчит батюшка на Потаню.

— Ну, это вы, сударь, напрасно... скрытность эту оказываете... Напрасно!.. Мы уж тоже известны кое о чем...

— Вздор, говорю тебе... Выбросьте из головы эти бредни, пока беды не нажили... Ну, что шляешься без толку? Ведь, поди, потихоньку сбежала? Ведь опять, как в прошлый раз, посадят на месяц на хлеб да на воду... засадят в свинарню... Или неймется? А то и того хуже будет... Не посмотрят, что золотой сарафан.

Батюшка начинал сердиться и уже раздраженно ходил по комнате, а Потаня еще стыдливее опускала при последних словах отца глаза, но по таинственному

блеску их было заметно, что такими словами Потаню трудно смутить.

— Ну, что будет? Что? — вдруг сердито останавливался батюшка пред Потаней.— Ну, ежели кому и будет что-нибудь, так не нам с тобой, калекам. Мы все одно будем каторжную-то лямку тянуть. Для кого мы живем? Кому служим? Для своей-то души живем ли мы?

— Для души, сударь,— вот-вот истинное слово!.. Для души будем жить все... сообща... Вот-вот золотое слово!..— вдруг подхватывала Потаня и начинала восторженно-детски махать своими руками.

— Ну, что замахала?.. Чему обрадовалась? — еще сердитее ворчал батюшка.— Ну, кто тебе это позволит, сумасшедшая? Кто? Откуда тебе что известно?

— Ах, ах, сударь... Какой маловер! — качала головой Потаня, весело играя глазами.

— Ну вот, не угодно ли! И ей еще весело! Она всеми глазами смеется! — говорил батюшка, махая на нее в отчаянии рукой, как на неисправимую сумасшедшую.

— Стало быть, погодить велено, сударь?..— обыкновенно спрашивала Потаня.— В секрете еще это самое слово держать, стало быть, приказано?.. Ну что ж, погодим... А мы вот уж удумали... Так решили: как, господи благослови, объявится это слово, так чтобы, благословясь, и начать...

— Что такое удумали?

— А вот-с, извольте взглянуть...

И Потаня бережно развертывала свой чистый белый платочек и подавала торжественно отцу какую-то таинственную бумагу.

Отец развертывал засаленный лист бумаги и внимательно начинал читать, по-видимому с большим напряжением стараясь понять, в чем дело. И вдруг, не дочитав до половины, он бросал лист на стол, вскакивал в еще большем раздражении и, снова махнув безнадежно рукой, уходил в кабинет.

Потаня совсем конфузилась, в недоумении покачивала головой и тихонько шептала, свертывая опять бумагу в платочек:

— Ах, какие маловеры!.. Ах, какие...

Нам очень было жаль, что батюшка почему-то ни в чем не верил Потане и называл ее сумасшедшей, и вместе с тем очень хотелось узнать, что такое было в ее заветной бумажке. Как-то один раз, когда Потаня осталась у нас ночевать и мы собрались в нашей детской, матушка спросила ее:

— Это что же у тебя, Потаня, в бумаге-то, вот что ты показываешь?

— А это, сударыня... это — вертоград... Вот тот самый, что я вам говорила.

— Вертоград-то твой, Потаня? — задумчиво переспросила матушка.

— Он! Он!.. Теперь уж тут все изложено доподлинно, обдумано, облюбовано, осмотрено... А он вот, сударь-то, вон как... не верит!.. Ах, какие маловеры!..

— Изверились, Потаня, мы... Что делать!.. Одни изверились, получше-то, у кого еще совесть есть, а другим-то и так хорошо, и желать лучше ничего не хотят.

— Ах, милая сударыня, надо верить... и домогаться надо,— говорила Потаня,— бог это любит!.. А без веры что же мы будем? Трава... Тварь бессмысленная... Так ли, милые птенчики? Надо верить и надо домогаться... Как вертоград-то земной мы насадим, так все расцветем тогда и душою воскреснем!..

И Потаня весело оглянула нас такими восторженными, такими сияющими глазами, как будто в них отражался весь ее чудный вертоград!..

О добрая, наивная Потаня!.. Из всех «мечтателей», которых мы знали в то время, вряд ли кто мог создать что-либо более поэтичное, чем вертоград Потани.

И создать этот мечтательный вертоград, может быть, могла именно только Потаня, этот несчастный уродец, с такой поэтической и чистой душой, разбитый вдребезги раньше, чем он успел узнать от кого-нибудь первое слово и поцелуй любви. С тех пор как она помнит, она знала себя уже уродцем, которому знакомы были ласки только одной матери, проливавшей над

ним горькие слезы. Так навсегда в памяти Потани и остались и эти слёзы и это бледное, красивое, чернобровое лицо, которое с такой грустью склонялось над ее колыбелью... Помнит, что они жили в барском доме, в большом-большом флигеле, что мать ее ходила всегда нарядно, наряжала и ее, но редко пускала ее дальше флигеля; потом помнит, как часто приходил к ним высокий черный мужчина — и что все боялись его: это был «сам барин»... Только она и знала о нем. А потом их увезли куда-то далеко, в другую деревню... И вместо черного барина стал жить с ними какой-то седой, толстый, обрюзглый старик, отставной дворецкий, и велел его звать «тятенькой»... А мать все плакала, прижав к своей груди свою единственную Потаню, а потом ее не стало: ее снесли на кладбище и схоронили вблизи зеленой рощи... У старого дворецкого было много детей, и маленькую Потаню заставляли ходить за ними; у старого дворецкого было еще больше гусей, кур, уток и поросят — Потаню заставляли ходить и за ними; у дворни много было ребятишек — и Потане велено было за всеми ими смотреть, когда матери заняты были работой. Маленький уродец хлопотливо и заботливо, с утра до ночи, не зная устали, бегал по господскому двору с хворостинкой в руках, принимая на себя все попреки и побои за шумливое и блудливое свое стадо... Но она все же пока росла на воле, под голубым божьим небом, уходя со своим веселым стадом на целые полдни то «на могилу к матушке», под зеленый шатер березовой рощи, то на веселую, шумящую в камышах речку, то в залитые душистым цветом луга. А когда ей минуло четырнадцать лет, ее вместе с другими девушками загнали в душные, темные «девичьи», где, не покладая рук, изо дня в день плели они нескончаемые кружева и вышивали нескончаемые узоры. «Ах, девушки, девушки! — вздыхала, бывало, Потаня.— Как хорошо теперь на воле-то!.. Хоть бы на часок сбегать туда на маменькину могилку!..» — «Что на часок!.. Совсем бы нам убежать, девушки... Так бы убежать, чтоб и следа нашего никто не открыл... Да куда убежишь?.. В монастырь — и в тот не пустят... Пытались бегать, да опять вернули...» — «А есть, говорят, девушки,— рассказывал кто-ни-

будь,— такие места... скрытные от всех... в далеких зеленых лесах... И кого, говорят, господь доведет туда, тому счастье на всю жизнь откроет... Стоят в этих зеленых лесах обители: избы выведены большие, чистые, светлые... Вокруг довольство всякое: и реки многорыбные, и сады понасажены... И живут там все одни девушки, живут на полной своей воле — на свободушке, честным трудом сами себя во всем продовольствуют; шьют они себе одежды самотканые, вышивают шелками и золотом... Все сами книгочеи-начетницы, ни от каких мужей-начальников не подневольные... И никому в те обители доступу нету, кроме как сиротам убогим, или вдовам, или девушкам, что от горя да насилия бегут... Только, девушки, не всем счастье, не всем пути в те обители открываются... Пытались, слышно, бежать и от нас, да ловили их скоро и опять на пущую неволю ворочали. Не всем пути туда ведомы!..» Идут годы подневольной девичьей жизни, вырастают тихомолком девичьи подневольные мечты, а Потаня все слушает и слушает девичьи секретные разговоры, все чаще-чаще вспоминается ей любимая матушка, ее скорбная молодость, смоченная слезами, прибитая горем красота... Ноет все больше сердце у Потани, не дает ей покоя девичье горе... Вот и надумала она у старой строгой ключницы попроситься на богомолье сходить. Долго не сдавалась ключница, да видит, что уродец далеко не уйдет,— пустила ее. Идет Потаня с котомкой по селам, по деревням, по малым и большим городам и ко всему прислушивается, обо всем выспрашивает. И вот было веселье и удовольствие девушкам, когда она вернулась!.. Каких-то каких рассказов не рассказала им, подневольным, Потаня из своих странствий! «Вот божье дело!» — радовалась себе Потаня и стала у ключницы опять проситься. Но только старая ключница теперь не поддавалась — не пустила Потаню. Подумала-подумала Потаня: «Что ж! Для хорошего, для божьего дела и потерпеть хорошо!..», помолилась богу да темною ночкой поднялась и ушла убегом. Пропадала с неделю, вернулась, стала было у старой ключницы прощения просить, да та и слов не принимает: посадили Потаню на месяц в светелку на хлеб да на воду... Высиживает

Потаня свой срок в заключении, не только не грустит и не убивается, а как будто даже радуется, что ей пришлось претерпеть «за большое, за божье дело», а какое это дело, никто у нее никакой силой из сердца не вырвет. Выпустили Потаню, опять ее в девичью «на урок» посадили. Смотрят на нее девушки с великим любопытством, потому что по играющим глазам ее видят, что хранит она что-то на сердце такое, о чем им, подневольным, и не снилось. Ждут они только темной ночи, когда тихим-тихим шепотом передаст им Потаня свои новые тайны: может быть, не узнала ли она «пути» к той удивительной обители, о которой мечтала вся «девичья». И точно, поведала им Потаня таким тихим шепотом, что, пожалуй, и сами стены его не слыхали, свою великую тайну: слышно, по большим городам, среди больших господ, молва идет, будто в скорости по всему государству объявится «слово», чтобы быть им, подневольным, от того часа вольными, чтобы все заставы, приказы и воспрещения были нарушены и чтобы все пути-дороги открылись вольные для всего простого народа черного... Удивились, перепугались девушки от такой тайны до того, что не хотели верить Потане и даже в явной лжи ее стали попрекать, что такими речами она только попусту мутит их души да не доведет до добра ни их, ни себя... Перепугалась и сама Потаня, и сама усомнилась — уж точно ли она такие вести слышала и точно ли те вести достоверные? И вот снится одной ночью Потане такой удивительный сон: сидит будто она на матушкиной могиле под вечер, а вечер будто такой розовый весь да теплый, а во все-то небо будто заря играет, а над ней зеленая роща веселым шепотом шумит; и видит она, будто к ней из рощи ее родимая матушка идет, и такая же разряженная, как и прежде ходила, такая веселая, приветливая, какой она ее уж и не запомнит. Стала она этак поодаль, стоит, а вблизь не подходит и так любовно да радостно на Потаню смотрит, а Потаня ни жива ни мертва сидит. Матушка и говорит: «Ты,— говорит,— Потанюшка, не бойся; это я самая есть, твоя матушка. Только,— говорит,— мне подойти к тебе теперь нельзя, потому как ты — земной человек, а свидимся с тобой вблизь уж на том свете...

А пришла,— говорит,— я к тебе на тот раз, чтобы веру в тебе укрепить... и чтобы в отчаянность ты не впадала. Верно говорят, я знаю, что господь вас, бедных и подневольных, не оставит, и что, точно, то «слово» по всему русскому царству объявится, и что всем вам, простым людям, страда ваша зачтется... А тебе, моя дочка милая, я завет даю: как придет время тому слову объявиться, как снимутся все заставы, запреты, приказы подневольные, на том месте, где могилка моя, где мы с тобой страду свою изнывали, устрой-насади ты, дочка, веселый зеленый вертоград, а в том вертограде возведи ты обитель светлую-высокую и раствори ты эту обитель для всех сирот несчастных и бедных, девушек и честных вдов, что терпят в жизни страду, насилие, и пусть живут они здесь на полной своей женской волюшке, честным трудом занимаются, книжному разуму набираются, ни от каких мужей-начальников не подневольные! И будут тебе, дочка, всякие помехи, и предадут тебя посмеянию, а ты укрепись верой и неуклонно домогайся!..»

Проснулась Потаня и сама себя не узнала: и духом стала бодрее, и на душе у нее все просветлело, и будто сила и бодрость в ней такие проявились, ровно выросли у нее невидимые крылья...

Вот что мало-помалу узнали мы от маленькой Потани, когда она, случайная нянька, долгими зимними вечерами убаюкивала нас своими рассказами.

Так вот он каков был, Потанин вертоград, и вот о чем было подробно «облюбовано-обдумано» в «важных бумагах», которые носила Потаня в своем чистом белом платке!

И долго тревожил наше детское воображение этот чудный фантастический вертоград, неразрывно связанный для нас с именем маленькой Потани.

Помню, это был особенно мрачный год для нас. Чем ближе был час, когда должна была загореться заря «новой жизни», тем сумрачные облака ночи сгущались, кажется, больше и больше. Отец был мрачен и раздражителен; тяготевшее над ним подозрение в «новом духе» ничего не сулило хорошего в будущем.

Матушка была больна, а вместе с ней захворала и моя сестренка. Все мы притихли, нахохлились, как воробьи в ненастье. В это время заглянула к нам наша «надоедница» Потаня, и чуть ли это было уже не последний раз.

— Что, милые птенчики? Грустите?.. Ничего, ничего... Не унывайте!.. Будет весело, будет, милые птенчики...— щебетала она. И как чудно ласкал тогда нас ее птичий голосок! А чудный вертоград ее, кажется, расцвел тогда в ее воображении еще пышнее, еще фантастичнее! Она уже не довольствовалась бедной маленькой девичьей обителью. она любовно призывала к насаждению вертограда всех чающих и взыскующих грядущего града.

Ах, как отрадно было слышать нам эти певучие звуки, взывавшие к жизни светлой и радостной, среди зеленых благоухающих рощ, на берегах многорыбных вод... Нам, «маленьким людям», ведь так холодно было в наших жалких и бедных серых углах!

Помню, моя бедная сестренка слушала Потаню, смотря на нее своими большими, лихорадочно блестевшими глазками, облокотившись на подушку худой белой ручонкой.

— А ты, Потаня, пустишь нас в свой... этот вертоград? — спросила она задумчиво и с некоторым страхом, что Потаня откажет ей в этом наслаждении.

— Ах, милые птенчики!.. Да как же это можно, чтобы не пустить?.. Ведь это дело-то общее будет, у всех общее... Унывать только не надо да отчаиваться... Поневоле мы брать не будем только, неволи этой у нас не будет, а коли кто охоту такую возымеет, желание, чтобы жить с нами в любви, так мы только будем радоваться да молиться, что открыл господь вашим душенькам такие пути...

— И маме с нами можно будет?

— И маменьке... Как же можно без маменьки!..

— И... и... па-апе тоже? — спрашивала сестренка опять с некоторым сомнением.

— И папеньке... Только бы, милые птенчики, желание было... И нам всякие хорошие люди нужны...

Все ведь, сообща, мы будем вертоград-то насаждать... Нам ведь только одно не нужно: неволи да мздоимства... Что господь сказал? «Приидите,— сказал,— в вертоград мой все труждающиеся, и я успокою вас...» Вот, милые птенчики, что господь сказал... Не надо только в уныние, в отчаянность впадать... Верить надо и домогаться надо!..

Это было последнее, что сохранила мне о Потане моя детская память.

. . . .

Шли годы. Давно уже «объявилось великое слово», и — увы! — давно уже волны новой жизни унесли нас далеко от доброй, наивной Потани, и эти же волны в свою очередь далеко унесли от нас Потаню... Мы забыли друг друга... И чудный Потанин «вертоград» отступал перед нами, как мираж, все дальше и дальше... А сама Потаня?

Это было уже долго спустя, десятка два лет.

Случайно пришлось мне проезжать через свою далекую, давно покинутую родину, и как-то само собой во мне вспыхнули забытые воспоминания, а с ними вместе и Потаня. В самом деле: что она теперь? и как? жива ли? где бродит и о чем бредит? — задавал невольно мой утомленный и саркастически настроенный ум эти вопросы, имевшие для меня теперь значение только праздного любопытства: не мог же я в самом деле думать, что она действительно «насадила свой земной вертоград»!

Но и на мои праздные вопросы никто ничего не мог мне ответить, и я, вероятно, покинув родину, снова забыл бы, может быть, навсегда этого несчастного уродца. Но случай... случай ответил на мои смутные воспоминания.

Возвращаясь с родины, я проезжал через те палестины, из «недр» которых некогда появилась Потаня. Разговаривая с ямщиком, я припомнил название прежнего барского имения, в котором она жила. Оказалось, что это было действительно оно. Остановив на селе какую-то женщину, я спросил ее о Потане. Она сказала: точно, что Потаня — «горбатенькая дворовая» — живет тут; и мне указали на маленькую келью, стоявшую на отлете от деревни между кладби-

щем и жалкими остатками бывшего барского парка.

Когда я подъехал к келье, на крылечке стояла девушка-подросток и на мой вопрос долго в недоумении смотрела на меня и, наконец, спросила:

— Это бабыньку, может, вам нужно?

— Да, да, бабыньку,— отвечал я, припоминая, каким малышом был еще я, когда впервые узнал Потаню.

— Больная она, бабынька... Вот там, на огороде она... На огород просилась вынести ее, на солнышко...

Я прошел на задворки — и только теперь заметил, что сзади кельи был разведен длинный, узкий огород, а среди гряд были насажены целые ряды яблонь, груш и кустов малины и смородины, густо заросших всю правую сторону огорода.

Было прекрасное летнее утро. Солнце уже стояло высоко, но в воздухе не чувствовалось еще ни истомы, ни пыли, ни духоты. В садике Потани весело чирикали всякие пичужки, или «малые птенчики», по ее любимому выражению, а в грядах пололи траву еще три девушки-подростка. Около плетеного двора, на самом припеке, лежала на разостланном войлоке маленькая старушка, покрытая нагольным полушубком, и кашляла, прикрывая рот маленькой худой рукой. Откашлявшись, она подняла на меня глаза, и я сразу узнал Потаню.

— Здравствуй, бабушка,— сказал я.— Я вот уж и не знаю, как тебя звать-то... Прежде мы тебя Потаней звали...

— Меня и теперь на деревне все Потаней зовут... Я люблю это... Маменька-покойница все, бывало, меня так звала! — отвечала Потаня, и голос у нее, хотя и хриплый, но все по-прежнему был певучий.

— А ты не узнаешь меня?

— Нет, не признаю... Много ведь я за свое-то время господ перевидала.

Я напомнил ей наш город и семью.

— Как же, вспоминаю... Только где же всех узнать! Давно уж разошлись... У вас свои дела пошли, у нас свои... Где помнить!.. Где помнить!..

И, махнув своей маленькой рукой, Потаня снова закашлялась тем томительным кашлем, который готов был на части разорвать ее сухую, узенькую грудь.

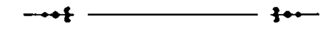
— Вот больна я... говорить-то не могу... Вот уж месяца два валяюся... Да это пройдет... Еще какая я старуха!.. Такие ли старухи бывают... Еще я вот, погоди, горошком вскочу да скорее молодых побегу... Хоть в горелки играть, так и то смогу!

— Ну, дай бог тебе!.. Довольна ли ты?.. Помнишь, бабушка, как ты нам про вертоград-то рассказывала? — спросил я, улыбаясь ей, как ребенку, осматривая жалкую лачужку и крохотный садик.

— Как же не помнить!.. Умру с этим... Вот господь помог, слава создателю,— починочек поставила,— отвечала Потаня таким серьезным тоном, что мне стало стыдно за свою насмешку,— починочек вот... Вот у меня пять сироток кормятся... Еще две вдовы честных при мне... Вот трудимся, слава богу, в любви, в согласии... Малых же девочек книжному делу обучаем... Пущай растут да уму-разуму набираются, а окрепнут духом — пущай тогда выбирают, какая доля лучше приглянется!.. Вот у меня тут и могилка маменькина под глазами... Вербой я ее обсадила... Вот только рощу-то маклаки-купцы всю свели... А какая была роща прекрасная!.. Думала я тогда в ней бы заложить обитель... Домогалась всячески, верой не падала... ну, стало быть, не вышло — все опять же в досужие руки пошло. Ну, что делать!.. Вот починочек есть... Мал он, что говорить!.. И пропитаться чуть что хватает... Да в людях все разбежалось, вот причина! «Слово»-то, точно, объявилось, а в людях-то все разбежалось... Помоги-то друг дружке уж и нет! Вот подымусь, отдышусь, встану — опять побегу по людям, надоедница, опять запою!.. А умру — молодые за меня останутся... «Домогаться, милая дочка, надоть, домогаться и верить,— говорила мне маменька-покойница,— и удостоишься,— говорит,— зато узреть вертограда небесного!»

Старушка оживилась, защебетала, снова заискрились и заиграли ее глазки, и мне казалось, что передо мной опять прежняя Потаня, а я — маленький, маленький мальчик...

Я присел рядом с ней на кошму и долго-долго слушал ее щебетанье. Мне было так тепло, отрадно, мне даже не было стыдно чувствовать себя ребенком... Меня захватило всего целиком это дивное чувство неумирающей девственной веры и мечты — и во мне вдруг вспыхнули все бодрые и светлые упования моей юности...



Примечания

Николай Николаевич Златовратский родился 14 (26) декабря 1845 года в г. Владимире. Его отец, Н. П. Златовратский, мелкий чиновник канцелярии губернского предводителя дворянства, был сыном бедного сельского дьякона Николо-Златовратской церкви, от названия которой, как считают, произошла фамилия писателя.

О решающей роли революционных демократов-«шестидесятников», всей атмосферы общественной и идеологической борьбы кануна 19 февраля 1861 года в идейном и духовном формировании юного Златовратского писатель ярко и живо расскажет в своей книге «Как это было. Очерки и воспоминания из эпохи 60-х годов» (М., 1911).

В 1864 году Н. Златовратский закончил владимирскую гимназию, одновременно сдав экзамен на звание землемера-таксатора.

Поездки в деревню, знакомство с ее бытом и нравами, землемерская практика не только дали ему обширный фактический материал для будущего творчества, но пробудили любовь к угнетенному народу, стремление искать пути для достижения блага народного.

В 1865 году Златовратский становится вольнослушателем словесного факультета Московского университета. Не выдержав жизненных лишений и голода, через год переезжает в Петербург и поступает в Технологический институт, надеясь получить казенную стипендию. Ведя и здесь жизнь «голодного пролетария», скитаясь «по углам», вынужден оставить мысль о высшем образовании и поступить помощником корректора в газету «Сын отечества».

Знакомство в ранней юности с «Колоколом» Герцена, сочинениями Белинского, Добролюбова, Салтыкова-Щедрина, поэзией Кольцова и Некрасова пробудило страстный интерес Н. Златовратского к литературе, жажду творчества. В гимназии он издает школьный журнал «Наши думы и стремления», пишет стихи

«по Некрасову» и «по Кольцову». Несколько юношеских стихотворений Н. Н. Златовратского опубликованы в кн.: Буш В. В. Очерки литературного народничества 70—80-х гг. Л.— М., 1931.

В Петербурге начинается активная литературная деятельность молодого писателя. В 1866 году он дебютировал в журнале «Отечественные записки» рассказом «Чупринский мир» под псевдонимом Н. Череванин. Его рассказы и очерки часто появляются в журналах «Искра», «Будильник», «Семья и школа», в газетах «Неделя», «Новости» под псевдонимом «Маленький Щедрин» и др.

Писатель правдиво рассказывает о своих мытарствах и невзгодах в большом городе, описывает будни служилого люда, городской бедноты, жизнь рабочих стекольных заводов («Рассказы заводского хлопца», 1868—1870), типографских рабочих, крестьян, пришедших в столицу на заработки («В артели», 1876), полупролетарских слоев города («Предводитель золотой роты», 1876), сцены народного и провинциального быта, наблюдения из своей землемерской практики.

Творческие поиски Златовратского в конце 60-х — начале 70-х гг. связаны с демократической обличительно-реалистической прозой той поры, с увлечением сатирами Салтыкова-Щедрина. Некоторые из этих произведений вошли в книгу «Маленький Щедрин. Сатирические рассказы золотого человека», Спб., 1876.

Свое место в литературе писатель находит в 70-е годы, когда он начал систематически печататься в журнале «Отечественные записки» (где сотрудничал вплоть до его закрытия в 1884 году) и его захватила современная общественная жизнь, литературная борьба.

«...Писательство свое, в лучшем и дорогом для меня смысле,— признавался Златовратский,— я собственно могу считать только с напечатания повести «Крестьяне-присяжные» в «Отечественных записках» в 1874 году» (Н. Н. Златовратский. Собрание сочинений. Т. 1—2. М., 1891, т. 1. От автора, с. 7). Повесть была встречена с интересом, особенно прогрессивно настроенной молодой интеллигенцией, принесла автору литературную известность.

В течение последующих десяти лет Златовратский напечатал в этом передовом демократическом журнале все свои самые значительные крупные произведения — повесть «Золотые сердца» (1877), роман «Устои» (1878—1883), «Деревенский Авраам», (1878), «Очерки деревенской общины (Деревенские будни). Из дневника наблюдателя» (1879), «Кабан» (1880), «Очерки деревенского настроения. Современное обозрение» (1881), «Красный куст» (1881).

О роли журнала в его писательской судьбе Златовратский писал Салтыкову-Щедрину в 1882 году: «Вы сами знаете, что даже то немногое, что я успел еще сделать лично, было исполнено только при неослабном участии ко мне редакции «Отечественных записок». Без этого стороннего участия моя деятельность была бы немыслима...» (Литературное наследство. М., 1934. Т. 13—14. С. 366).

В творчестве писателя-народника Салтыков-Щедрин высоко ценил демократизм, любовь к трудовому крестьянству, реализм в воспроизведении пореформенной действительности, особенно те произведения, в которых заключена правда о «колупаевской революции», отдававшей «освобожденного» мужика «на поток и разорение» капиталистическому хищничеству. Очерк «Красный куст. (Из истории межобщинных отношений)» он назвал «отличной вещью». Резко критиковал народнические иллюзии, веру в общинные «устои».

Конец 70-х — начало 80-х гг.— период высокой творческой и общественной активности Н. Н. Златовратского. Он становится одним из самых популярных писателей передовой литературы своего времени. Сотрудничает в журналах «Северный вестник», «Русская мысль», «Русское богатство», «Устои», «Слово», в «Неделе», «Русских ведомостях» и др. Участвовал в создании и был избран редактором артельного народнического журнала «Русское богатство» (1880). В эти годы созданы лучшие реалистические рассказы о деревенских жителях, хранителях нравственных общинных традиций,— «Авраам», «Деревенский король Лир», «Горе старого Кабана» и др.

Программным произведением в творчестве Н. Н. Златовратского и в народнической беллетристике стал роман «Устои. История одной деревни». Первоначально тема была воплощена в драме «Устои», которую автор назвал «опытом народной комедии». (Не опубликована, сохранилась в рукописи.)

В романе, провозглашенном народнической критикой «величавой эпопеей борьбы старой и новой деревни» (П. Сакулин), наиболее убедительно сказались противоречия идеалов и действительности в творческих исканиях Златовратского. «Старые народники,— писал Плеханов о Златовратском и Г. Успенском,— бесстрашно описывали то, что совершалось перед ними; они не боялись истины ...им даже и в голову не приходило, что истина противоречит их «идеалам» (Плеханов Г. В. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 9. С. 164).

А. М. Горький, не принимая «слащавую романтику» Златовратского, называл «Устои» в числе замечательных произведений

русской реалистической литературы, отразивших существенные черты своего времени, «волнения эпохи».

Тема подвига, горестных судеб участников народнического движения, споры о путях развития России и месте интеллигенции в развернувшейся борьбе, стремление разночинного интеллигента к духовному единству с народом — всегда волновали писателя. С особой силой они зазвучали в повести «Золотые сердца», повестях и рассказах 80-х гг.— «Скиталец», (1881—1884), «Старый грешник» (1881), «Боярская дочь» (1883), «Триумф художника» (1884), «Надо торопиться» (1885), «Мои видения» (1885). «Гетман» (1888), в былине «Безумец» (1887).

В 1883 году закончился петербургский период жизни и творчества Златовратского, писатель до конца жизни обосновался в Москве.

В октябре 1883 года он знакомится с Л. Н. Толстым. В 1883—1891 годах, в пору, когда Златовратский переживает тяжелый духовный кризис в связи с крахом народнических иллюзии, нарастающей реакцией, писатели неоднократно встречались, переписывались, несмотря на разные взгляды на многие проблемы времени.

В письме к Златовратскому от 20 (?) мая 1886 года Толстой одобрительно отозвался о его рассказе «Искра божия» (1886), приглашает писателя сотрудничать в «Посреднике». В издательстве «Посредник» несколькими изданиями выходили рассказы Златовратского «Искра божия», «Белый старичок», «Деревенский король Лир» (под названием «Деревенский король»).

В 1908 году в связи с 80-летием Толстого Златовратский выступил с воспоминаниями о нем («Два слова»).

Толстому посвящен рассказ «Мои видения», статья «Великие заветы» о значении великого писателя для русской литературы.

В 80—90-е гг. в Москве выходят — трижды при жизни автора — собрания сочинений Н. Н. Златовратского: Сочинения. Ч. 1—3, М., 1884—1889; Собрание сочинений: В 2-х т. М., 1891; Сочинения: В 3-х т. М., 1897.

Последнее издание (Златовратский Н. Н. Собрание сочинений. Спб., 1912—1913. Т. 1—8) автор сам редактировал, готовил к печати, но вышло оно посмертно.

В 1884 году произведения Златовратского, широко издававшиеся и имевшие читательский успех, были запрещены к обращению в публичных и народных библиотеках. Запрет был снят лишь через двадцать пять лет.

Революцию 1905 года Златовратский встретил с большим подъе-

мом. В статье «Три легенды» писатель-народник приветствовал бойцов пролетариата, с их приходом ждал «воплощения царства божия на земле, созидаемого великим творчеством духа человеческой солидарности во имя братства, свободы и справедливости!..» (фрагменты включены в статью «Народничество Н. Н. Златовратского» П. Сакулина — Голос минувшего. 1913. № 1. С. 132).

Теме рабочего класса, труду кустарей, ремесленников Златовратский посвятил в 80—90-е гг. очерк «Город рабочих» (1885), рассказ «Мечтатели» (1893). По воспоминаниям Н. Д. Телешова, «старик Златовратский любил приютить у себя талантливую молодежь из народа, из рабочих...». Многие «были обязаны ему как своим развитием, так и в дальнейшем своим участием в литературных изданиях» (Телешов Н. Записки писателя. М.: Московский рабочий, 1980. С. 107).

В 1900-е годы Златовратский участвует в собраниях демократической русской интеллигенции «Среды», сотрудничает в журналах «Детское чтение», «Вестник воспитания», составляя обзоры, пишет критические заметки и статьи о новых книгах и журналах, занимается библиографической работой в энциклопедиях и словарях (обычно под псевдонимами).

Литературно-критические статьи разных лет, рецензии, обзоры не включались ни в одно из четырех изданий собрания сочинений Н. Н. Златовратского, не переиздавались и в наши дни.

Несомненный интерес представляют воспоминания Златовратского «Детские и юные годы», опубликованные в 1908—1910 годах (отдельное издание: «Как это было. Очерки и воспоминания из эпохи 60-х годов. Рассказы о детях освобождения. Детские и юные годы». М., 1911); литературные воспоминания 1895—1897 и 1910-го гг.

В 1909 году Н. Н. Златовратский был избран почетным академиком по разряду изящной словесности.

Писатель умер 10 (23) декабря 1911 года в Москве.

В советский период произведения Н. Н. Златовратского переиздавались отдельными изданиями и в сборниках. Роман «Устои» (1928, 1935, 1947, 1951); «Избранные произведения» («Крестьяне-присяжные», «Устои», «Золотые сердца»). М., 1947; «Воспоминания». М., 1956. Рассказы «Авраам» (1919, 1926), «Надо торопиться» (1919, 1955, 1961), «Сироты 305-й версты» (1955, 1961), «Рассказы» (Пг., 1919), очерк «Город рабочих» (1956), «Деревенский король Лир» (1957). Опубликована переписка Н. Н. Златовратского с Л. Н. Толстым, М. Е. Салтыковым-Щедриным.

Крестьяне-присяжные

Впервые в журнале «Отечественные записки». 1874, № 12; 1875, № 3. Отдельным изданием — Бытовые очерки. I. Н. Златовратского. Крестьяне-присяжные. Спб, 1875. Включалась во все собрания сочинений Н. Н. Златовратского.

В советский период вошла в книгу: Златовратский Н. Н. Избранные произведения. М.: ОГИЗ, 1947. Текст печатается по этому изданию.

...лежащего в палестине... — Палестина — здесь: равнина.

...состоявший ... сотским... — сотский в дореволюционной России — крестьянин, назначающийся в помощь сельской полиции.

...потискали ржаных кокурок... — кокура, коку́рка — пресная лепешка, сдобная, иногда с творогом, ватрушка, шаньга.

...отябель... — бесстыжий, наглец, отчаянный, окаянный.

В за́жору ... попал... — зажо́ра — талая вода под снегом в рытвинах и ложбинах на дороге.

...на мамону чужую работать! — мамона, мамон — богатство, пожитки, земные сокровища.

...даром что мы казенные были... — государственные (казенные) крестьяне — незакрепощенные, находившиеся на казенных землях, владельцем которых было государство, а не отдельные помещики.

...как положенье вышло... — «Положения» 19 февраля 1861 года, законодательный акт, оформивший отмену крепостного права в России.

Коник, конник — ларь с подъемной крышкой.

Скуфья — остроконечная бархатная черная (фиолетовая) мягкая шапочка у православного духовенства.

Протодьякон — старший по чину дьякон, одно из низших духовных званий.

Фуляр — легкая и мягкая шелковая ткань; здесь: шелковый платок.

Налой, аналой — высокий столик с покатым верхом, на который в церкви кладут иконы, книги.

...плетенки из суконной покромки... — плетенка — здесь: половик, сплетенный из полос сукна.

Бурак — кузовок, коробок, корзиночка.

Шугай, шугайчик — крестьянская короткополая кофта.

«Кобыла» — скамья, к которой привязывали подвергаемого телесному наказанию.

Золотые сердца

Впервые — в журналах «Отечественные записки». 1877. № 4, 5, 8, 12, и «Слово». 1878. № 6. Отдельным изданием — Златоврат ский Н. Золотые сердца (Листки из загубленной повести). Спб., 1879. Включалась в собрания сочинений Н. Н. Златовратского 1891 г. (т. 2), 1897 г. (т 3), 1912—1913 гг. (т. 5).

В советский период вошла в книгу: Златовратский Н. Н. Избранные произведения. М.: ОГИЗ, 1947. Текст печатается по этому изданию.

Перелог — оставленный без обработки и заросший участок земли, бывший прежде под пашней.

Мязга, мезга — мягкий внутренний слой коры дерева.

Чуйка — длинный, до колен, суконный кафтан.

Юрьев день — в России XV—XVI вв. время перехода крестьян от одного феодала к другому. Отменено Соборным уложением 1649 года, которое запрещало всякие переходы и окончательно закрепляло крестьян за помещиками.

Два Аякса...— Аяксы; в «Илиаде» два греческих героя, неразлучных друга, сражавшихся под Троей. Перен.— «два Аякса»: неразлучные друзья.

Речь ... шла «о событиях дня», которыми были восстание славян.— Имеются в виду освободительные войны 1876—1878 годов. в Сербии и Черногории против Турции. В июне 1876 года Сербия и Черногория объявили Турции войну, которая стала частью русско-турецкой войны 1877—1878 годов, способствовавшей освобождению народов Балканского полуострова от османского ига.

...в темном кубовом платье... — кубовая краска, синяя растительная краска из растения куб, индиго.

...в барском пальмерстоне... — пальмерстон — длинное пальто особого покроя (по фамилии английского дипломата Пальмерстона (1784—1865), носившего такое пальто).

...из кантонистов...— кантонистами в России назывались солдатские сыновья, числившиеся со дня рождения за военным ведомством.

Четьи-Минеи («чтения ежемесячные»), сборники житий святых, составленные по месяцам в соответствии с днями чествования церковью памяти каждого святого.

Инок — монах, отшельник.

Власяница — грубая одежда аскета.

Вретище — рядно, дерюга, самая грубая одежда из этой ткани.

Дягиль — высокое травянистое растение с зеленовато-белыми цветками, собранными в зонтики.

Роспуски — крестьянская длинная повозка без кузова для перевозки тяжестей.

Журнал «Живописное обозрение достопамятных предметов из наук, искусств, художеств, промышленности и общежития, с присовокуплением живописного путешествия по земному шару и жизнеописаний знаменитых людей». Издавался в Москве в 1835—1844 годах.

Старшина — должностное лицо крестьянского самоуправления.

Шлык, башлык — шапка с длинными ушами.

Шоры — здесь: конская упряжь без хомута.

...роман Элиота... — Джордж Элиот (псевд.; наст. имя — Мэри Анн Эванс) (1819—1880), английская писательница, автор романов «Адам Бид» (1859), «Мельница на Флоссе», (1860), «Сайлес Марнер» (1861).

...с пахвей сбившийся мужичок... — сбиться с пахвей, с пахвы, с пахвов — наделать глупостей.

Харон — в греч. мифологии перевозчик умерших через реки подземного царства до врат Аида.

Поярковый, поярчатый — сделанный, сотканный, свалянный из поярка, шерсти от первой стрижки ягненка.

Шеверенька — корзинка, плетенка.

Вильгельм фон Каульбах (1805—1874), немецкий живописец и рисовальщик.

Треба — жертвоприношение; богослужебный обряд, совершаемый по просьбе самих верующих (крестины, венчание, панихида и пр.).

...нанковое полукафтанье... — из нанки, бумажной ткани.

Семо и овамо (церк.) — туда и сюда.

Послушник — лицо, готовящееся к пострижению в монахи; воспитанник в монастыре.

Очеса́, очи — глаза.

...в ... изгребной рубахе... — из грубого холста, вытканного из оческов, изгребей.

Подог, подожок, падог — палка для ходьбы.

Авраам

Впервые — в журнале «Отечественные записки». 1878. № 11, под заглавием «Деревенский Авраам». Печатался отдельной книгой,

переиздавался в сборниках рассказов Н. Н. Златовратского. Включен во все собрания сочинений Н. Н. Златовратского.

В советский период переиздавался дважды — в 1919 и 1926 годах.

Текст печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Собрание сочинений. Т. 1—8, Спб., 1912. Т. 2.

Ареопаг — высший суд и контролирующий орган в Древних Афинах, названный так по месту заседаний; *перен.:* собрание авторитетных лиц для решения каких-либо вопросов.

...почитаемый причтом... — причт — церковнослужители одного прихода.

...выбранный в десятские своей деревни... — десятский в дореволюционной России — выборное должностное лицо из крестьян для выполнения полицейских и различных общественных функций. Обычно избирался на десять дворов.

Какой я Авраам... — Авраам, по библейской легенде, родоначальник еврейских племен, в библейской мифологии отец Исаака. По велению Яхве Авраам должен был принести сына в жертву богу, но в момент жертвоприношения был остановлен ангелом.

...золотыми одоньями... — одонье — небольшая скирда круглой формы из снопов необмолоченного хлеба.

Прасол — в дореволюционной России торговец, скупавший рыбу или мясо для розничной торговли; гуртовщик, оптовый скупщик скота, различного сельскохозяйственного сырья.

Сибирка — короткий кафтан, неразрезной сзади, на мелких пуговках, нередко с меховой опушкой и с невысоким стоячим воротником.

Деревенский король Лир

Впервые — в журнале «Русское богатство». 1880. № 1, под заглавием «Деревенский Лир». Выходил отдельной книгой, переиздавался в сборниках рассказов Н. Н. Златовратского. Включался во все собрания сочинений Н. Н. Златовратского. Переиздавался в книге: Русские повести XIX века. М.: Гослитиздат, 1957.

Печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Собрание сочинений. Спб., т. 1—8, 1912. Т. 2.

...из захудалых рукосуйных мужичков... — рукосуй — бездельник, лентяй.

Платинка — платиновая трехрублевая монета.

...стоять бы сыну под красною шапкой... — то есть быть отданным в солдаты, в рекруты.

Камардин — искаженное «камердинер» *(нем.)* — комнатный слуга.

...большину ... вел... — большина, большой, большак, большуха — старший в доме, хозяин, хозяйка; старший в общине или артели.

Подволока — чердак.

Косуля — соха или легкий плуг с одним лемехом.

Полати — помост в крестьянской избе от печи до противоположной стены, род полуэтажа, антресолей; общая спальня.

...пестрядинную рубаху... — пестрядь, пестряднна, затрапез, затрапезник (от купца Затрапезникова, которому Петр I передал пестрядинную фабрику) — пеньковая, грубая ткань, пестрая или в полоску.

Куженька — лепешка с творогом, ватрушка, шаньга.

Горе старого Кабана

Впервые — в журнале «Отечественные записки». 1880. № 8, под заглавием «Кабан. Рассказ моего знакомого». Переиздавался в сборниках рассказов Н. Н. Златовратского. Включен во все собрания сочинений Н. Н. Златовратского.

Текст печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Собрание сочинений. Спб., 1912. Т. 2.

Тюря, тюра, тюрка — самая простая еда: хлеб или сухари, корки, покрошенные в воде с солью.

Извоз — перевозка лошадьми (иногда волами) грузов и пассажиров, в России одна из натуральных повинностей крестьян, один из промыслов.

Гон — часть поля, пашни, которую обрабатывают в один прием, без отдыха; участок пахотной земли отдельного крестьянина.

Жеребья — участок, доля, пай земли, доставшийся крестьянину в надел по жеребьевке.

Горнушка — ямка на левой стороне шестка русской печки для сгребания в нее углей.

Онуча — обмотка для ноги под сапог или лапоть; портянка.

Казакин — мужская верхняя одежда, застегивающийся на крючки полукафтан со стоячим воротником и со сборами сзади.

Зипун верхняя крестьянская одежда, обычно из самодельного сукна.

Красный куст

Впервые — в журнале «Отечественные записки». 1881. № 1, под заглавием «Красный куст. Страница из деревенских будней (К истории межобщинных отношений)». Включался в собрания сочинений Н. Н. Златовратского 1891 г., 1897 г. и 1912—1913 гг.

Печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Собрание сочинений. Спб., 1913. Т. 8.

Уставная грамота 1861 — документ, который устанавливал размер надела временнообязанных крестьян по «Положениям» 19 февраля 1861 г. и повинностей за пользование им; содержала сведения о разверстании угодий, перенесении усадеб и т. п. Составлялась в ходе крестьянской реформы 1861 года помещиком и вводилась в действие мировым посредником; в случае отказа крестьян могла утверждаться и без их согласия.

Выть — здесь: небольшая крестьянская община.

Собственники — крестьянская реформа 1861 предоставляла крестьянам права выкупа усадьбы и — по соглашению с помещиком — полевого надела, до осуществления этого они именовались временнообязанными крестьянами...

Подворный, подворник — крестьянин, не являющийся членом крестьянской общины, владеющий подворным участком, платящий подворную подать. «Этот порядок называется подворным или участковым владением, обыкновенно противопоставляемым общинному земледелию». (Н. Златовратский, Деревенские будни).

Четвертные, половинники (половинщики) — здесь: крестьяне, владеющие соответствующей частью земельного пая.

Экономические крестьяне — в России второй половины XVIII века феодально-зависимые от государства крестьяне, бывшие монастырские, переданные в 1764 под управление коллегии экономии (позже — в ведение местных органов администрации, казенных палат). Барщина и натуральный оброк для экономических крестьян были заменены подушным денежным оброком.

Триумф художника

Впервые — «Русский сатирический листок». 1884. № 5, под заглавием «Триумф художника. Современный случай».

Текст печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Собрание сочинений. Спб., 1912. Т. 7.

Город рабочих

Впервые — в журнале «Русская мысль». 1885. № 7. Включался во все собрания сочинений Н. Н. Златовратского. В советский период переиздавался в книге: Русские очерки: В 3 т. М.: Гослитиздат. Т. 3. 1956.

Текст печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Собрание сочинений. Спб., 1912. Т. 7.

Дощаник — речное плоскодонное судно с палубой или полупалубой, род большой гребной лодки, а иногда и парусной, для переправы, для перевоза тяжелых грузов.

Вечевой город — город, где высшим органом власти было народное собрание — вече. Вечевое управление существовало в некоторых городах Древней Руси в X—XI вв. (Новгород, Псков и др.). Здесь имеется в виду общинное управление «города рабочих».

...с обычным крестьянским самоуправлением... — по «Положениям» 19 февраля 1861 года сельское общество (одно село и прилегающие земли) являлось самоуправляющейся административной единицей, а несколько смежных сельских обществ составляли более крупную самоуправляющуюся административную единицу — волость.

Драпри (франц.) — оконная и дверная портьера.

Антре (франц.) — вход.

Клирос — место для певчих в церкви.

Кадило — металлический сосуд на цепочке, в котором во время богослужения курятся ароматические вещества на раскаленных углях.

Да что у нас Садом — Гаморр... — согласно библейской легенде, палестинские города Содом и Гоморра были уничтожены землетрясением и огненным дождем, которые бог обрушил на них за крайнюю развращенность жителей. В переносном смысле — беспорядок, хаос, шум.

...по стогнам и весям... — по городам (площадям) и селам.

Хоругвь — полотнище на длинном древке с изображением Христа или святых, церковное знамя во время крестных ходов и других шествий.

Надо торопиться

Написан в 1885 г. Неоднократно выходил отдельной книгой, в сборниках рассказов Н. Н. Златовратского. Включен во все собра-

ния сочинений Н. Н. Златовратского. В советский период неоднократно переиздавался.

Текст печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Надо торопиться. Сироты 305-й версты. Рассказы. М.: Гослитиздат, 1955.

Вокабулы — слова или речения иностранных языков, подобранные в известном порядке, снабженные переводом и предназначенные для заучивания наизусть.

Перейти Рубикон — сделать решительный шаг, определяющий дальнейшие события.

Псалтырь — одна из библейских книг Ветхого завета, состоящая из псалмов, религиозных и морально-поучительных песнопений.

Рекреационный зал — помещение, предназначенное для использования во время рекреации, свободного от занятий времени, отдыха.

Безумец

Впервые — в газете «Русские ведомости». 1886. № 273, под заглавием «Безумец (Былина)». Включался во все собрания сочинений Н. Н. Златовратского.

Текст печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Собрание сочинений. Спб., 1912. Т. 6.

Мечтатели

Впервые — в журнале «Русское богатство». 1893. № 4.

Неоднократно выходил отдельной книгой, в сборниках рассказов Н. Н. Златовратского. Включен в собрания сочинений Н. Н. Златовратского 1897 г. и 1912—1913 гг.

Текст печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Собрание сочинений. Спб., 1912. т. 7.

По́ртерная — торговое заведение, где продают и пьют портер, английское темное пиво.

...на съезжей-то не пори!.. — съезжая — место, где производилась полицейская расправа.

Сироты 305-й версты

Впервые — в «Журнале для всех». 1902. № 1, под заглавием «Сироты 305-й версты (Из старых записок)». Включен в собрание сочинений Н. Н. Златовратского 1912—1913 гг.

Текст печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Надо торопиться. Сироты 305-й версты. Рассказы. М.: Гослитиздат, 1955.

Присный — истинный, настоящий, вечный; единомышленник.

Люстриновый — сделанный, сшитый из люстрина, шерстяной или полушерстяной ткани с глянцем.

Меламед — учитель в еврейской школе.

Из цикла «Как это было»

Впервые рассказы «Мой «маленький дедушка» и Фимушка», «В старом доме», «Канун «великого праздника» автобиографического цикла «Как это было» — в журнале «Русская мысль». 1890. № 12.

В первом отдельном издании «Как это было. Очерки и воспоминания из эпохи 60-х годов. Рассказы о детях освобождения. Детские и юные годы». М., 1911, автор дополнил цикл рассказами, опубликованными к этому времени,— «Старые тени», «Аннушка», «Потанин вертоград», «Лес». При подготовке последнего собрания сочинений Н. Н. Златовратский исключил из этого цикла рассказ «Лес».

Текст печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Воспоминания. Серия литературных мемуаров. М.: Гослитиздат, 1956.

В старом доме

Катехизис — краткое изложение догматов христианского вероучения в вопросах и ответах; книга, содержащая изложение этих догматов; (перен.) сущность, основные положения чего-то.

Мой «маленький дедушка» и Фимушка

Камлотовый — сделанный, сшитый из камлота, плотной шерстяной ткани (с примесью шелка или хлопчатобумажной пряжи) в полоску.

Подрясник — длинная одежда с узкими рукавами, надеваемая под рясу.

Старые тени

Агасфер — персонаж легенд, возникших в средние века, «Вечный жид». Агасфер был якобы осужден богом на вечные скитания за то, что не дал Христу отдохнуть на пути к месту распятия.

Аннушка

Клирошанка — монастырская послушница, поющая на клиросе или прислуживающая в церкви.

Черничка, черница — монахиня.

Пу́стынь — уединенное безлюдное место, где живет отшельник; одинокое жилье отшельника.

Канун «великого праздника»

Ектенья, ектения — часть православного богослужения; моление, содержащее разные прошения и сопровождаемое обычно пением певчих.

Епитимья, епитимия — род церковного наказания, состоящего в строгом посте, усиленных поклонах, паломничестве.

Архиерей — лицо, имеющее высшую степень священства; епископ.

Потанин вертоград

Личны́е сапоги — сшитые из кожи, повернутой стороной, где была шерсть, наружу.

Пошёвни — широкие сани, ро́звальни.

Расстри́га — служитель религиозного культа, лишенный сана, или монах, лишенный монашества.

Преосвященство — в соединении с местоимениями «его», «ваше», «их» — титулование епископа.

Иноческий — то же, что монашеский.

Миссионер — проповедник, посылаемый церковью для религиозной проповеди и распространения христианства среди нехристиан.

Содержание

Николай Николаевич
Златовратский

ДЕРЕВЕНСКИЙ КОРОЛЬ ЛИР

Повести, рассказы, очерки

Редактор
В. ДОЛЬНИКОВ

Художественный редактор
Г. САЛЕНКОВ

Технический редактор
В. КОТОВА

Корректор
Т. ВОРОТНИКОВА

ИБ № 4993
Сдано в набор 10.11.87. Подписано к печати 13.07.88. Формат 84×108[1]/32. Гарнитура об. нов. Печать высокая. Бумага тип. № 1 Усл. краск.-отт. 36,28. Усл. печ. л. 36,12+0,11 вкл. Уч.-изд. л. 34,24. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1913. Цена 2 руб. 80 коп

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46



Златовратский Н. Н.

З-67 Деревенский король Лир: Повести, рассказы, очерки/Вступ. статья С. П. Залыгина; Примеч. Т. А. Полторацкой.— М.: Современник, 1988.— 685 с., портр.— (Из наследия).

Русский писатель-демократ конца XIX — начала XX века Николай Николаевич Златовратский (1845—1911) известен как бытописатель русской пореформенной деревни, горячий защитник обездоленных масс, создавший ряд художественных и публицистических произведений, и поныне представляющих несомненную познавательную и художественную ценность. «Писатели-народники, реалисты, к которым принадлежал Н. Н. Златовратский,— писал Серафимович,— медленно, почти неуловимо подготовляли почву для колоссального взрыва революционных рабочих масс».

В книгу входят повести «Крестьяне-присяжные», «Золотые сердца», рассказы «Авраам», «Деревенский король Лир», «Горе старого Кабана», «Безумец» и другие.

З $\frac{4702010100-244}{М106(03)-88}$ 16—88 **ББК84Р1**

ISBN 5—270—00125—х

2 р. 80 к.

•СОВРЕМЕННИК•